

георгий

гулиа

георгий гулиа

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ
ТОМАХ

георгий гулиа

ТОМ ПЕРВЫЙ

ДРУЗЬЯ ИЗ САКЕНА

Трилогия

КАШТАНОВЫЙ ДОМ

СКУРЧА УЮТНАЯ

Р2
Г94

Вступительная статья
Александра Дымшица

Оформление художника
Льва Чернышова

Г $\frac{70302-215}{028(01)-74}$ **подписное**



Начнем с короткого рассказа о жизни писателя Георгия Дмитриевича Гулиа. Затем перейдем к кратким характеристикам его произведений — романов и повестей на современные темы, романов и повестей на темы исторические, рассказов и художественной публицистики.

Георгий Гулиа родился 14 марта 1913 года в семье известного писателя и ученого, выдающегося деятеля культуры, народного поэта Абхазии Дмитрия Иосифовича Гулиа. Уже в детские годы проявился у него творческий интерес к литературе, к искусству. Но отец хотел, чтобы Георгий пришел к художественной деятельности, основательно «поучившись у жизни». И вот, после окончания средней школы (1929 г.) и Закавказского института инженеров путей сообщения (1935 г.), юный Гулиа отправился «в жизнь»: участвовал в строительстве Черноморской железной дороги, а затем занялся журналистикой, работал разъездным корреспондентом, писал очерки, статьи, фельетоны, репортажи, основательно изучил жизнь села, побывал на стройках, обследовал так называемую глубинку.

Но тяга к искусству была непреодолима: Георгий Гулиа много писал, пробовал силы в литературе (писал рассказы, написал повесть, работал для театра), занимался живописью, графикой и, как художник, был в 1943 году удостоен звания заслуженного деятеля искусств Грузии. И все же, по совету отца, он долгое время не становился на путь профессионального литератора. Только в 1947 году, четверть века тому назад, завершилось для него время подготовки, время накопления сил, и наступила пора систематической, профессиональной писательской работы. Вышел в свет его «первенец» — повесть «Весна в Сакене». Тепло встреченная читателями и критикой, она была удостоена Государственной премии. Георгия Гулиа по праву и

справедливости признали талантливым писателем, самостоятельным, оригинальным мастером литературы.

С тех пор, за четверть века, широко развернулась литературная деятельность Г. Гулиа. Были созданы многочисленные книги, были написаны произведения чрезвычайно разножанровые и разнохарактерные. Когда я думаю о Георгии Гулиа, о путях и особенностях развития его таланта, мне вспоминаются два суждения Чехова. Первое из них говорит о необходимости вторжения писателя в жизнь, о необходимости его участия в народной жизни. В одном из писем к Суворину, в 1891 году, Чехов писал: «Если я врач, то мне нужны больные и больница; если я литератор, то мне нужно жить среди народа...»

Мне представляется, что Георгию Гулиа очень близки такого рода мысли. И о том свидетельствует вся его жизнь. Он очень «мобильный» литератор, крепко связанный с народной жизнью, жадно изучающий жизнь родного советского народа в непрерывных поездках по стране. Даже профессионализовавшись как писатель-художник, он не отошел от журналистики. Много лет он является активно работающим членом редакционной коллегии «Литературной газеты», и на страницах этой газеты часто появляются его очерки, корреспонденции, репортажи, публицистические статьи. Стремление как можно шире охватить современную жизнь, отозваться на характерные явления нашего времени приводит его, писателя и журналиста, к многочисленным поездкам за рубежи нашей страны. Его корреспонденции посвящены впечатлениям от Англии и Египта, от Франции и Болгарии, от Скандинавии и ГДР, от многих других зарубежных стран. Журналистская работа писателя-общественника обогатила его представления о жизни и людях, укрепила его позиции в социальной, в идеологической борьбе современности.

Есть и другое суждение Чехова, которое приходит мне на память, когда я думаю о творчестве Гулиа, о масштабах, о диапазоне его творческих исканий и свершений. В 1888 году Чехов писал Ивану Леонтьеву-Щеглову, что разнообразие в художественном творчестве «может служить симптомом не распушенности, как думают иные критики, а внутреннего богатства». Убежден, что именно таково разнообразие творчества Гулиа, — оно от внутреннего богатства, от накопления большого жизненного опыта, от таланта, от свойственного таланту пафоса творческих исканий.

В минувшем году Георгию Гулиа исполнилось 60 лет. Возраст, когда человека еще нельзя назвать старым, но уже нельзя назвать молодым. Судя по творческой активности Г. Гулиа,

но его кипучей, полной эмоционального азарта, писательской, журналистской, общественной деятельности, он еще не чувствует бремени возраста и сохраняет ту душевную молодость, которая есть молодость таланта.

2

Мне уже не раз приходилось писать о творчестве Георгия Гулиа. Я посвятил ему специальный критико-биографический очерк, вышедший в Сухуми в издательстве «Алашара» в 1971 году, — в нем я мог охарактеризовать писателя подробнее, чем в этой статье. Среди моих статей об этом писателе имеется статья под названием «Сердце современника».

Да, Георгий Гулиа писатель современный, проникнутый глубоким интересом к нашему времени, стремящийся с партийных позиций разобраться в ряде характерных явлений нашей общественной жизни. Большинство его произведений посвящено современным темам и проблемам, а если он и обращается к сюжетам из истории, из прошлого, то также в интересах современности, в поисках актуальных «поучений» для современного читателя.

Уже первая повесть Г. Гулиа — «Весна в Сакене» (1947) — была произведением о современности, о послевоенных годах в жизни абхазского села. «Весну в Сакене» и последовавшие за ней повести из жизни абхазских крестьян сразу полюбили читатели и критики. О них тепло отзывались в статьях старейший писатель Юрий Либединский и старейший критик Александр Дейч. Позднее этот цикл получил высокую оценку в статьях А. Кривицкого, В. Фролова и других. «Весна в Сакене» принесла Георгию Гулиа подлинный успех.

Успех этой повести побудил автора написать ее продолжение. И вот за «Весной в Сакене» появились еще две повести — «Добрый город» (1948) и «Кама» (1950), возникла трилогия под общим названием — «Друзья из Сакена». Эти повести следует, по моему убеждению, рассматривать «на фоне» художественной прозы о селе, которая была характерна для нашей литературы конца 40-х годов. Было бы неверно «охаивать» эту прозу для того, чтобы, так сказать, «приподнять» трилогию Гулиа. Но в интересах истины нельзя не отметить, что «Друзья из Сакена» встали в ряд лучших произведений нашей литературы о селе, созданной в то время романистами и новеллистами, что эта трилогия, вместе с лучшими произведениями того периода, решительно противостояла тенденциям

7

к бесконфликтности и лакировке, тенденциям к приземленному бытоописательству.

Георгий Гулиа писал свои повести о сакенцах, об абхазских крестьянах, преобразующих жизнь родного села, нисколько не скрывая трудностей времени, трудностей послевоенной поры, когда страна, когда деревня с огромным напряжением залечивала раны, нанесенные войной. Не обходил он и других социальных сложностей — в частности, той борьбы с пережитками далеко не лучших, отмирающих традиций, с которыми приходилось бороться новым людям, стремившимся к преобразованию жизни села. Повести о сакенцах поэтичны, нередко лиричны, полны любованием красотой природы, духовным благородством людей, поднятых к новой жизни революцией и социализмом. Но в этой поэтичности нет слащавого умиления, нет никакого искусственного украшения, — в ней выражается поэзия жизненной правды. Обстоятельства жизни даны как обстоятельства суровые, люди показаны в развитии, не только в борьбе с отрицательными явлениями действительности, но и в преодолении некоторых собственных психологических трудностей и предрасудков, — они даны как люди живые, реальные, с духовными противоречиями и сложностями.

И все же, несмотря на все трудности жизни, которые показаны в трилогии, несмотря на сложности ряда социально-психологических проблем, встающих перед ее героями, писатель показал нам мир прекрасных дел и прекрасных людей, мир в высокой степени поэтический. Не будет преувеличением, если мы скажем, что Г. Гулиа явился в литературе на русском языке первооткрывателем этого прекрасного, поэтического мира. Он открыл широкому читателю абхазскую народную жизнь, показал духовную красоту абхазских крестьян, строителей нового, социалистического общежития на селе, передал поэзию абхазской природы, быта, нравов. И этому в значительной мере способствовало отличное, я сказал бы — династическое, знание писателем родного фольклора, умение насытить свою трилогию образными богатствами устно-поэтического творчества абхазского народа. Пронизать светом поэзии созданное им художественное «здание» помогло Г. Гулиа и обращение к манере сказа, введение образа рассказчика, к тому же — художника, остро чувствующего прекрасные краски изображаемого мира, гармоническое соотношение частей в композиции, пластику человеческих образов, тона, оттенки, переливы цвета.

Уже в трилогии «Друзья из Сакена» Георгий Гулиа, обратившись к жизни родной для него Абхазии, сумел показать

связи этой жизни с жизнью всей нашей страны. Связь эта непрестанно ощутима не только в «Добром городе», где она выражена непосредственно тематически, но и во всем повествовании, где она ощущается как нерушимая духовная «нить». У людей в Абхазии есть свои специфические, местные проблемы, но решать их помогает духовный опыт всей страны, всего советского народа. У людей в Абхазии есть свои, специфически местные, психологические проблемы, но решаются они на основе общих для всего советского народа социально-нравственных принципов, на основе общенародного жизненного опыта. Можно сказать, что Сакен — малая капля по сравнению с гигантским морем, каким может предстать поэтическому воображению огромная наша страна. Но в этой капле, прозрачно чистой и пронзенной светом могучего солнечного луча, отражается великое: страна и время.

Столь же современным, живущим общими интересами советских людей и особенными, местными, абхазскими обстоятельствами и переживаниями, оказывается Георгий Гулиа и в следующих своих повестях — «Каштановый дом», «Скурча уютная» и в романе «Пока возвращается Земля...». Произведения эти также социально-проблемны, в них еще углубленнее разрабатывается писателем нравственно-психологическая проблематика, еще резче звучит пафос гражданственности, — пафос утверждения добра и правды, обличения духовных уродств, бытового и «идейного» мещанства.

«Каштановый дом» (1959) написан уже в иную пору, чем «Друзья из Сакена». Страна проделала путь великого подъема — в абхазском селе появились телевизоры, ракета прилунилась и принесла наш вымпел на Луну... И все же у борцов за новое немалые социально-нравственные задачи, и этими задачами, их решением, захвачены герои повести — русская девушка-учительница Наташа Боровикова и директор школы Кирилл Тамшугович. Повесть эта особенно интересна как пример все углубляющегося у Гулиа исследования народных героических характеров. Вслед за героями «Друзей из Сакена» — Кесоу Мирбой, Камой, Смелом и другими — Наташа и Кирилл предстают перед читателями как люди высокой идейности, нравственные принципы которых определены их патриотическими устремлениями, их желанием участвовать в социалистическом преобразовании жизни.

В небольшой повести Г. Гулиа сумел глубоко войти во внутренний мир двух ее главных героев. При этом ему существенно помогла избранная им форма повествования — форма

записок Наташи, запечатлевших не только ее лирическую исповедь, ее жизненные впечатления и раздумья, но и наблюдения над внутренней жизнью Кирилла. И Наташа и Кирилл выступили в повести как яркие, цельные личности, как люди, живущие интересами современности, обдумывающие самые разнообразные проблемы, от непосредственно воспитательных до эстетических.

Роман «Пока возвращается Земля...» (1961) также затронул современную тему. В сравнительно небольшом, экономно «спрессованном» романе Георгий Гулиа представил нам героя высокой идейности, благородных нравственных качеств, человека, не только способного возродиться духовно для новой, созидательной жизни, но и умеющего создавать вокруг себя атмосферу активности в труде и творчестве.

Произведения Г. Гулиа написаны с открытых авторских позиций. Писатель весьма откровенен в своих чувствах, — он откровенно любит благородными нравственными качествами изображаемых им людей, он откровенно ненавидит, презирает всевозможные духовные уродства. Повесть «Скурча уютная» (1963) проникнута пафосом гражданского негодования, пафосом обличения мещанства, самодовольной, эгоистической обывательщины.

Написана повесть в оригинальной манере: фигурой наблюдателя и повествователя, журналиста, приехавшего на отдых в Скурчу, автор «скрепляет» множество эпизодов, позволяющих, словно в калейдоскопе, показать различные характерные ситуации, социальные типы, психологические характеры. Эпизоды эти различны по содержанию; порою едва-едва соприкасающиеся микроновеллы, веселые и смешные, грустные и огорчительные, смонтированы, однако, таким образом, что не оставляют никаких сомнений в позиции автора, решительно осуждающего все проявления социальных мерзостей и с любовной нежностью относящегося к нравственно цельным, народным натурам. Иначе говоря, и эта повесть написана автором с позиции решительного, боевого мироотношения.

3

В творчестве Г. Гулиа довольно рано проявился интерес к историческим сюжетам. На страницах его книги об отце («Дмитрий Гулиа», 1962) встречаем короткий рассказ о том, как он участвовал в создании пьесы «1866 год» и как тогда (дело было в 1936 году) высказался об этой пьесе Д. И. Гулиа.

«Хороший спектакль, — сказал он. — Публика принимала хорошо. Но стоит ли писать пьесы для того, чтобы проиллюстрировать историю? История мертва. И если писатель оживляет ее, то только ради волнующих вопросов современности».

Этот «урок» отца не прошел даром для Георгия Гулиа. Все его произведения, написанные затем на материале истории, проникнуты пониманием связи времен, написаны для современности и для современного читателя. К ним можно применить слова замечательного немецкого писателя, автора многочисленных исторических романов, Лиона Фейхтвангера, который в речи «О смысле и бессмыслице исторического романа» между прочим заметил, что важнейшая задача исторического романиста состоит в том, чтобы «изобразить органическую ясную взаимосвязь между жизнью и историей, сделать минувшее — историю — плодотворной для современности и для будущих времен».

В 1950 году Гулиа написал повесть «Черные гости», которая вышла в свет в 1951 году. Повесть была посвящена событиям, разыгравшимся в Абхазии в 1808 году, когда суда Оттоманской Порты пытались высадиться на Сухумском побережье, но были отбиты русским военным кораблем «Гавриил». Для того чтобы написать эту повесть, автор проделал немалую исследовательскую и изыскательскую работу. В результате он сумел показать на реальном историческом материале реакционную роль абхазских феодальных князей, терзавших абхазское крестьянство, сумел показать и жизнь простого люда, его страдания и подвиги. «Черные гости» заслужили высокую оценку в печати, — повесть была поддержана в отзыве крупнейшего советского историка, академика Е. В. Тарле. Вместе с тем ученый отметил и некоторые недостатки повести: «облегченность» изложения, «пунктирность» в обрисовке персонажей.

В следующей своей работе на историческом материале — в романе «Водоворот» — Георгий Гулиа учел справедливые замечания Е. В. Тарле. В этом героико-эпическом произведении, написанном в 1959 году, рисуя события, разыгравшиеся в Абхазии в период русско-турецкой войны 1877—1878 годов, он сумел сочетать широту изображения обстоятельств с более пристальным проникновением в характеры основных персонажей. Снова писателем была проделана большая работа по собиранию исторических данных, нередко при этом он шел по «целине». Тщательное изучение эпохи, ее социальных противоречий, ее движущих сил, бытовых реалий, свидетельств о нравах, характерных для различных общественных сфер, — все это позволило ему дать верный социально-исторический «срез» изображаемой

поры. Он широко, обстоятельно показал различные типы абхазских князей и их прислужников, игравших предательскую роль по отношению к народу, охарактеризовал провокационный смысл так называемого махаджирского, переселенческого движения. Вместе с тем в романе была вновь представлена картина (на этот раз широкопанорамная) народного движения против иноземных и собственных угнетателей, которое осуществлялось под руководством партизанских отрядов, сражавшихся за свободу и честь родного народа.

В романе «Водоворот» реалистический показ народных движений и реалистическая лепка характеров вступила в синтез с романтическими средствами изображения народных героев, прекрасных юношей и девушек, образы которых поэтически воплощают лучшие черты трудового абхазского народа. В них, в людях труда и ратниках свободы, автор увидел и показал носителей тех традиций, которые стали в дальнейшем предметом национальной гордости абхазского народа.

С середины 60-х годов Георгий Гулиа обратился, как писатель на исторические темы, к временам стародавним. Возникли три романа: один — из истории Египта («Фараон Эхнатон», 1967), другой — из истории Греции («Человек из Афин», 1969), третий — из истории Рима («Сулла», 1970).

События, о которых пишет Гулиа в романе «Фараон Эхнатон», относятся ко времени около 1400 года до нашей эры, и поэтому в романе можно искать лишь черты реальности, порою намеки на нее, догадки о ней. Автор сливает эти догадки с художественным вымыслом романиста. Как и многие романы о прошлом, роман об Эхнатоне говорит об уроках истории — в данном случае об уроках, вытекающих из непоследовательности утописта-реформатора, каким для своего времени был фараон Аменхотеп — Нефер-Хеперу-Ра Уен-Ра, принявший имя Эхнатона и выступивший против рабовладельческой родовой знати без опоры в кругах, действительно антагонистических в отношении аристократии и жречества. Социальная трагедия Эхнатона показана в романе ярко и сильно, она особенно отчетливо выступает на фоне трагедии угнетенных масс, которым культ Солнца, провозглашенный фараоном, не принес избавления от страданий, от гнета.

Образ Эхнатона — властителя, полного противоречий и метаний, проникнутого стремлением к духовной цельности и именно ее-то и лишенного, — представляет глубокий интерес как социально-психологический феномен, тонко «сконструированный» писателем. Эхнатон — человек, с одной стороны, опере-

жающий время, мечтатель и поэт, одержимый идеями равенства людей и гармонии мирной жизни, а с другой — жертва непреодоленных традиций и предрассудков, правитель, неспособный расстаться с деспотическими навыками. Он отважился поднять руку на религию предков, на культ Амона, возвестил народу новую религию — культ Атона, бога Солнца, вступил в открытую распрю с жреческой кастой. Но он ни в чем не пошел навстречу истинным интересам народных масс, ни разу не усомнился в своей миссии фараона — земного божества. Эхнатон пытался «взлететь» над временем, но пал в борьбе со временем и с самим собою.

Писателю удалось расслышать сквозь даль веков трагический голос этого философа и поэта древности, распознать в нем нотки гуманистических признаний. Гуманистический пафос звучит не только в словах Эхнатона, но и в помыслах Нефертити, он увлекает древних мастеров искусства, ваятелей, создавших бессмертные творения, передающие из века в век духовную красоту человека — мыслителя и созидателя. Гулиа написал первый русский роман из древнеегипетской истории. И написал его в своеобразной, динамической манере, подвижной то выразительными (почти сценически «скупыми») диалогами, то внутренними монологами, оттеняющими психологический мир героев. Форма, в которой претворена огромная тема, изящна, она выражает большую творческую самодисциплину автора.

Роман «Человек из Афин» можно определить как историческую и поэтическую хронику, в центре которой — образ Перикла. Перед нами Перикл периода его опалы, отстраненный от гражданского служения, которому были отданы многие годы борьбы за совершенствование афинской демократии, за создание замечательных памятников культуры и искусства, годы ратных походов. Сцены в доме опального Перикла постоянно перемежаются со сценами ретроспективными: Перикл вспоминает, обдумывает прошлое. Все ретроспективные сцены не случайно выделены курсивом, — они поданы в виде «оживленных» расшифровок скурчинских папирусов, якобы обнаруженных молодым абхазским археологом З. Гунбой. На самом деле ни такого археолога, ни такой находки не существовало, и «курсивные» эпизоды — это не что иное, как результат разработки писателем различных исторических источников, свидетельствующих о походах и боях Перикла, о древней Диоскурии, о жизни Афин, о прениях на агоре, о строительстве Акрополя и т. д.

«Человек из Афин» — роман социально-философский, насквозь проблемный, в котором почти всеми персонажами напря-

женно обсуждаются различные аспекты демократии и ее политических, гражданских, нравственных, эстетических проблем. Афинская демократия в соответствии с историей противопоставлена жестокой, тиранической власти кучки олигархов в Спарте. Вместе с тем афинская демократия отнюдь не превозносится писателем, нисколько им не идеализируется. В сознании Перикла даны черты, выражавшие его историческую, социальную ограниченность. Но главное в Перикле — это стремление расширить рамки и углубить содержание афинской демократии. Силу Перикла писатель видит в том, что, отвергая тиранию и социальную безответственность правителя, он решительно отмечает и представление о демократии как о безвластии. Показательна в этом отношении в романе линия расхождений между Периклом и юношей Агероном, представляющим себе демократию как своего рода анархию.

Роман «Сулла» по своей проблематике тесно связан с двумя предшествующими романами Г. Гулиа. Как и в книгах об Эхнатоне и Перикле, в нем одной из центральных проблем является проблема правителя и массы, диктатуры и демократии. Однако герой романа «Сулла» существенно отличается и от Эхнатона и от Перикла. Он жестокосердный, непреклонный в своем стремлении к цели военный диктатор, не брезгующий коварными методами для достижения своих намерений. «Хроника» жизни Суллы, история его преступлений, его «философия» тирании, его демагогические приемы подавления и развращения масс — все это вызывает у читателя романа определенные параллели с делами и «философией» новейших диктаторов. Читая о Сулле, мы невольно вспоминаем о Гитлере, Муссолини, о заправителях террористических военных переворотов, о врагах прогресса и демократии в современном мире.

Проблематика романа «Сулла» освещена глубокой и верной мыслью. Читателю романа ясно, что возвышение Суллы, его превращение в Эпафродита, в единовластного диктатора, — это успех чисто внешний, скрывающий под блестящей мишурой роковую обреченность диктатуры. Ясно, что Сулла своей диктатурой начал полосу нисхождения Рима, приведшую позднее к его падению. В двух исторических героях античного мира Георгий Гулиа увидел и показал две резко противоречащие друг другу тенденции, два резко противопоставленные друг другу типа. Перикл и Сулла, афинский демократ и римский диктатор, — оба остались в истории. Но первый связан с ее живыми, развивающимися, творческими силами, его жизнь не прошла даром, тогда

как Сулла стал символом насилия и тирании, а усилия его остались бесплодными.

Как и два предыдущих романа, роман о Сулле написан живо, динамично. Обстоятельства даны в быстро сменяющихся эпизодах, калейдоскопично. Описания баталлий кратки, «сжаты», представлены в основных очертаниях. В такой же манере написаны сцены, изображающие борьбу в сенате, формирование народных мнений, кровавые расправы приспешников Суллы с пленными, коварные акции диктатора, направленные на обман и разгром противников. Такие лаконичные и динамичные формы романного повествования для Г. Гулиа далеко не случайны. Он не раз выступал в прессе со статьями, направленными против «разрыхления» повествовательной формы, против растянутости изложения, против безразборчивого злоупотребления деталями, против ухода в частности, за строгий отбор материалов и их строгую, компактную типизацию. Как известно, у писателей эстетические декларации вырастают из творческой практики. Но они же, в свою очередь, питают творческую практику.

Надо сказать, что критика высоко оценила исторические романы Г. Гулиа, отметила современность его историзма и новизну его «свободной», «эссеистской» манеры повествования, своеобразие «особенностей жанра, композиции, интонации, ритма...». Эти слова я процитировал из интересной статьи Ю. Барабаша «Три мгновения истории», посвященной исторической трилогии Гулиа. В той же статье критик верно указал, что «в построении трилогии есть что-то от кинематографа. Монтаж — вот слово, которое, пожалуй, подходит здесь более всего. Подобно тому как в кино мысль нередко возникает «на стыке» отдельных кусков, зависит от их соотношения, сопоставления, три исторических романа Г. Гулиа объединяются в трилогию не по внешним — сюжетным, хронологическим, географическим — признакам, а по законам глубинной логики, внутреннего единства. Залог этого единства — личность и позиция художника, его чувство историзма».

О том же единстве и цельности авторской личности, авторской позиции, о целенаправленности творческих исканий в исторической трилогии Георгия Гулиа пишет и другой критик, И. Гринберг, в статье «Через горы времени». Характеризуя каждую из книг этого цикла, он замечает, что «каждая развернута на свой лад и имеет особые цели, а в то же время они связаны меж собою единством писательского замысла, общностью принципов, которым предан рассказчик. Г. Гулиа находит свои, самостоятельные опорные точки, свои оригинальные краски и до-

казательства, и они естественно входят в силовое поле нашего исторического романа — просторное и многоцветное».

Критика права: Гулиа — исторический беллетрист — органически входит в историю советского исторического романа и занимает в ней свое, оригинальное и во многом новаторское место.

4

Следует остановиться на творчестве Гулиа-рассказчика. В предисловии к сборнику своих рассказов «А если это любовь?» (1972) Георгий Гулиа заметил:

«Что такое рассказ?

Не мудрствуя лукаво, можно сказать, что это случай из жизни, сравнительно небольшой эпизод, в котором, однако, словно в капле воды, может отразиться очень, очень многое. Поэтому рассказ бывает и маленький и большой по объему».

Далее Георгий Гулиа сказал, что в его книгу вошли «рассказы короткие и длинные, есть и исторические, а есть и просто зарисовки с натуры».

В этих соображениях писателя обращают на себя внимание две мысли — о содержательной «наполненности» рассказа («словно в капле воды») и о диапазоне жанра. Действительно, рассказы Георгия Гулиа всегда связаны с жизнью, с реальным жизненным материалом, с наблюдениями над событиями, над людьми. И при этом всегда таят в себе «очень, очень многое», по большей части не высказанное прямо, а содержащееся за текстом, в подтексте. Что же касается диапазона жанра, то он весьма широк: тут и рассказ-новелла, и рассказ-эпизод, и зарисовка с натуры, и страничка из дневника, и рассказ-сценка, и рассказ-притча, и рассказ-фельетон, и пародия, и юмореска...

Рассказы Георгия Гулиа не всегда поддаются точной «классификации». Трудно, скажем, назвать тот или иной рассказ только бытовым, только героическим, только лирическим, только юмористическим. Если взять, к примеру, «Рассказ за праздничным столом», то мы встретимся в нем с тончайшим переплетением быта и героики, лирики и юмора. Смешное и серьезное также сплетаются друг с другом в одном и том же рассказе, читается рассказ с улыбкой, а прочитанный — он вызывает на весьма серьезные раздумья.

Есть у Гулиа рассказы, пронизанные светлыми лирическими чувствами, как, например, «Рапсодия Листа». Есть рассказы чуть грустные, тронутые какой-то просветляющей чувства гру-

стинкой, рассказы, полные сочувствия людям, нуждающимся в понимании, в поддержке, в способности раскрыть в них большие резервы благородства и красоты. К ним относятся такие рассказы, как «Алоль! Алоль! Алоль!» — маленькая повесть о чуде духовного преображения, вызванного умением настоящего человека увидеть прекрасное за обыденным, или как рассказ «Литавры». Глубоко лиричны по духу написанные на бытовом материале рассказы «Белая ночь», «В Солотче вьюжным вечером», «Коля, Николай, Николай Павлович». В них «школа» Чехова, раннего Андреева. В них поэзия чистых сердец, прекрасных народных сердец, которые бьются, покоряют, побеждают в новых условиях, когда люди живут созидательно, мудро, в условиях строя, поднимающего человека, возвышающего его нравственно.

Есть у Гулиа и рассказы с эксцентрическими ситуациями, но также не лишённые лирического отношения к персонажам и сочувственного понимания их необыкновенных поступков. Одержимые, фантазеры в таких рассказах, как «Геофобия Андрея Бутбы» или «Жажда», этот таинственный Гутас из рассказа «В командировку...», этот эксцентрический Джемал Бганба, рвущийся из мира обыденности («Этот странный Джемал...»), — автор относится к ним с пониманием, чуть иронично и чуть лирично, как и к некоторым персонажам в таких рассказах о невероятных историях, как «Брак по-абхазски» или «Смерть неизвестного абхаза».

Лирика и юмор в рассказах Гулиа почти нерасторжимы. Но есть рассказы с преимущественно иронической, юмористической «окраской». Таков, например, рассказ «А если это любовь?» — о неистовом бульдозеристе и девушке Жоржетте. Есть рассказы, которые можно охарактеризовать как чистейшие юморески: «Хроника как таковая...», «Безопасный ночлег», «Постскрипtum», «Домовладелец на час», «Великий скульптор» и др.

Впрочем, в последнем уже юмореска перерастает в сатиру. Как сатирик Гулиа всего активнее выражает себя в жанре рассказа-фельетона. Его сатира движима чувством гражданского негодования, она воинственна, непримирима по отношению к проявлениям собственничества, социального эгоизма, мещанства, хамских замашек. «Урок», «Брак в декабре» (написанный в традициях сатиры М. Зощенко рассказ об угнездившихся в современности типично зощенковских «героях»-мещанах), «Существо дела» и другие рассказы-фельетоны ярко представляют нам Георгия Гулиа как мастера сатирического жанра.

Иногда Гулиа и в новеллистическом жанре обращается к истории. Но в таких случаях рассказ превращается у него в рас-

сказ-притчу, в рассказ с очевидной назидательной тенденцией, он становится, как говорят в наше время теоретики литературы, «параболой». «Перикл на смертном одре» — именно такой рассказ, написанный с прямым поучительным заданием. Примером иронического рассказа-«параболы» может служить притча «Заветное слово Рамессу Великого». Рассказом-иносказанием является и «Баллада о первом живописце». Такого рода рассказами Георгий Гулиа разрабатывает «золотую жилу» в литературе. «Парабола» в современной литературе живет преимущественно в драматургии, меньше в новеллистических произведениях. У новеллиста Гулиа она изящна, остра, остроумна, «прицельна», хорошо «пристреляна».

Особо хочется сказать о серии рассказов писателя, которую он назвал «Рассказы моих друзей». «Это действительно рассказы моих друзей, — замечает в связи с ними Гулиа. — Бывало, расскажут они любопытную историю и сами часто забывают о ней, а у меня записано. Конечно, было бы неверно, если бы кто-нибудь попытался сделать на основании этих историй обобщение, касающееся самих рассказчиков. Это всего-навсего штрихи, как говорят живописцы, мазки на холсте». Сказанное здесь, в принципе, верно, но требует некоторых дополнений. «Записи», которые Гулиа сделал, слушая рассказы своих друзей, не такие уж простые «стенограммы», какими он их представляет. Во-первых, Гулиа «записал», как говорится, с выбором, взяв из рассказов все то, что в большинстве случаев тяготеет к так называемому анекдоту, — в том его значении бытовой оригинальной истории, действительного случая, которое, как известно, ценил еще Пушкин. Во-вторых, «записи» сделаны рукой талантливой литератора, а вовсе не «стенографа», каковым хочет казаться Гулиа. Они — самые что ни на есть пародии на рассказы товарищей и знакомых. Пародируются сюжеты, которым придается чуть-чуть иронический, а порою и лирико-философский характер, пародируется стилистика, манера мыслить и манера говорить, пародируются типические черты рассказчика. И уж конечно — рассказы друзей выбираются с самыми различными социально-назидательными целями, отчетливо проступающими за развлекательной формой повествования, за анекдотической, нередко гротескной ситуацией того или иного рассказа.

Некогда, в двадцатых годах, Владимир Маяковский написал несколько небольших статей, посвященных «технике» комического, тому, как вызвать смех. Он утверждал, что многое тут зависит от искусства словесной «обработки» материала и темы, от

умения заострять слово, он писал, что у нас выработается, создастся наша школа юмора и сатиры. Как известно, такая школа существует. Маяковский, Ильф и Петров, Зощенко, Кольцов, Булгаков и многие другие мастера юмора и сатиры создали традиции, мимо которых не прошел, разумеется, и Георгий Гулиа.

Для Гулиа характерны некоторые особенности в юмористике, в сатирическом творчестве. Читая его, мы всегда чувствуем эмоциональное соучастие автора. По большей части автор не вторгается в действие, не вторгается в повествовательную ткань. Но мы чувствуем, почти что видим его, незримого, слышим его дыхание. Бывает и так, что автор прямо вступает в рассказ, как, например, в рассказе-фельетоне «Брак в декабре». Мы знаем также, что в работе над теми или иными образами-персонажами он придает большое значение диалогам как форме речевой автохарактеристики персонажей. Гулиа особенно ценит «натуральность», «подслушанность» диалога, и в этом отношении он близок к Зощенко. В одном из своих рассказов Гулиа специально подчеркнул свое отношение к характеру диалога как средству выявления характерных черт персонажей: «Вот вам, — написал он, — живой, современный диалог, и накажи меня бог, если наши драматурги напишут его лучше... Хочу сказать, что диалог, взятый непосредственно из жизни и никак не отредактированный, всегда прельщает своей самобытностью, так сказать, фольклорной окраской». И хотя слова эти сказаны в рассказе сатирическом, написанном в ироническом ключе, тем не менее сказаны они вполне всерьез. Диалоги в рассказах Гулиа живые, реплики пластичные, язык и стиль их выхвачены из живой жизни, из просторечия.

«Смеховая обработка слова», как сказал бы Маяковский, чувствуется у Георгия Гулиа и в характере словесного строя его сравнений и метафор. На этом словесном строе лежит печать времени, контрастирующая с традиционными «штампами», в нем проявляются как «смехотехника» неожиданные словесные, понятийные сближения.

«И как раз в это время выглянула из-за облачка такая нахально светлая луна. Не та, прежняя. С вольфрамовой спиралью накаливания. А новейшая. Креоновая, наподобие ламп дневного света. И оттого особенно нахальная». Солнце, «этот великолепный костер, отстоящий от нас на полтораста миллионов километров, ныне мог и на этом расстоянии поджарить любой кусок мяса». «Вот это были глаза! Большие, чистые, любопытствующие. Словно бы и форточки вдруг приоткрылись в иной — бездонный и прекрасный — мир. И повеяло из тех форточек таким теплом, что Борис невольно предложил еще кусок холодца».

Как говорится, примеры можно приумножить. И, конечно, не как примеры «изолированных» приемов, а как примеры приемов, обусловленных, оправданных колоритом повествования, логикой характеров персонажей, социально-психологическим характером повествователя и т. д. Ведь вопрос о том, как «сделан» тот или иной рассказ, может получить ответ только тогда, когда мы знаем, почему и зачем он написан.

5

В этой статье я остановился только на некоторых произведениях Георгия Гулиа, — прежде всего на тех его произведениях, которые заняли в его творчестве заметное место, которые показательны для его творчества. Эта статья — не более чем введение, вступление к книгам писателя, которые, как говорится, лучше всего сами скажут за себя.

Мы видели, что за четверть века, прошедшую со времени появления «Весны в Сакене», писатель работал много, интересно, разнообразно. Он выпустил много книг, — все их не перечислить в кратком введении. Он все время в работе. Пишет новые и новые рассказы на современные темы. Пишет в жанре «романизированной биографии», — в частности, написал в этом жанре книгу о Лермонтове, обнародованную в журнале «Москва», продолжает работу над историческими материалами, — приступил к повести о гениальном поэте и великом мудреце Омар Хайяме, чтобы ощутить «локальный колорит», съездил в Иран, а затем снова углубился в книги, в постижение того характера, который выразился в философской поэзии его нового исторического героя.

О Георгии Гулиа можно сказать, что он — в пути. Дорога писателя — всегда дорога исканий. На этой дороге нужен «компас».

У Гулиа есть «компас», который безусловно надежен. Это о нем сказал он однажды, касаясь формального разнообразия своих произведений. «Впрочем, — заметил писатель, — наверное, не это самое главное. Главное — правда. Можно рассказывать коротко. Можно и длинно. Но и в том и в другом случае непременно должна присутствовать правда. Без нее нельзя. С этой стороны и должно проверяться любое литературное произведение».

И с этой стороны, на этом главном направлении творчество Георгия Гулиа выдерживает проверку. Оно правдиво и талантливо.

Александр Дымиц

Друзья из Сакена

Трилогия

В Сакéне... Но прежде всего, я полагаю, вы должны знать, где находится эта местность, именуемая Сакеном. Не пытайтесь искать ее на карте мира — слишком малы масштабы карт, чтобы обозначать на них столь укромные уголки земного шара (обстоятельство, не беспокоящее обитателей Сакена). Однако если попадется вам на глаза карта Абхазии — ищите Сакен приблизительно в северо-восточном углу.

Сама природа как бы решила подальше упрятать это живописное и, безусловно, заслуживающее внимания село. Судите сами: с севера Сакен защищают крутые отроги Кавказского хребта, на востоке — гора Гуа́гуа, высокая и мрачная, на западе — Клыч, гора коварная, у которой за пазухой всегда припасена снежная лавина, — так, на всякий случай. Сакен как бы взят в клещи. Вы скажете: остается еще юг. Однако с юга путь к Сакену преграждают девять перевалов и восемь горных рек — препятствия одно страшнее другого. Как в сказке, не правда ли? И все же Сакен существует и здравствует!

Туристам, которым довелось побывать на Кавказе, знаком Клухорский перевал. Знакома также и дорога к морю. Дорога эта вьется над крутыми берегами бурных рек Гуа́ндры и Кодóра. Должно быть, не раз на привалах в том месте, где Гуандра вливается в Кодор, вдыхали туристы медвяные запахи горного ветерка, веющего из ущелья. Так знайте: тот ветерок — из Сакена.

Сакен существует с незапамятных времен, еще с той поры, когда, как говорят, начало подниматься морское дно, обнажая землю, что сейчас называется

землей Кавказа. Неизвестно, каким образом забрел в Сакен человек и что его сюда потянуло. Несомненно одно: люди живут в Сакене испокон веку.

Как-то, лет сорок назад, прибыл сюда больной чухоткой чиновник сухумской городской управы. Он искал свежего воздуха и дешевого козьего молока. И то и другое ему предоставили в Сакене совершенно бесплатно — из гостеприимства. Очень часто чиновник бывал хмур и мрачен — в такие часы к нему не подступись. Ночами порою не спал, все сидел и что-то записывал в толстую тетрадь. В беседах нехорошо отзывался о царе и князьях — хоть уши затыкай. Верно, был он горд и неподатлив и теперь расплачивался за свою непримиримость. Крестьяне полюбили его и поддерживали чем могли. Однажды этот чиновник наткнулся на каменный могильник в горах. Находка навела его на мысль о том, что древние люди (очень древние), видимо, неспроста облюбовали эту местность. Чиновник обо всем подробно рассказал своим хозяевам, а те — соседям. Сакенцы очень рады были узнать, что на их рыжей земле человек живет очень и очень давно.

Почему-то этот чиновник (человек умный) обратил внимание на сероватую скалу вблизи села. Он уговаривал крестьян посыпать пылью от скалы поля и огороды, но никто не воспользовался его советом. Между прочим, среди его вещей (весной у чиновника хлынула кровь горлом, и он скончался) была обнаружена рукопись, озаглавленная так: «Естественные фосфориты в местности Сакен». Она долго странствовала по рукам, пока наконец не пошла на курево, несмотря на каллиграфический почерк, которым была написана. Впрочем, первый лист рукописи долго красовался на стене одного из сакенских домов, прикрывая собою узкую щель в каштановой доске. Парнишка, сын хозяина, даже выучил наизусть все, что было написано на этом листе, и крепко запомнились ему слова хмурого больного чиновника...

Живым воплощением истории Сакена последнего столетия может служить старик Шаангері Кáнба, вступивший в четырнадцатый десяток своего существования. За всю жизнь он дважды выезжал из Сакена — один раз на поиски коня, которого у него укра-

ли, а другой раз — в соседнее село, на сватовство невесты для одного из своих многочисленных отпрысков. Первая вылазка стоила ему перелома руки, ибо он вместе с конем полетел в овраг, вторая — коня, которого задавила снежная лавина. И Шаангери дал себе зарок не казать носа за пределы села. Жители Сакена редко покидали свое горное гнездо, и к ним еще реже прибывали гости из долины.

В списках сельских поселений Сакен числился до конца 90-х годов прошлого века, пока не приехал новый начальник уезда, поручик Стуков. Сей правитель, ознакомившись с положением дел и выслушав мнение налоговых сборщиков, которым неохота было пересекать девять перевалов и восемь горных рек ради жалких грошей сакенских крестьян, решил вычеркнуть Сакен из списка сел, как вовсе не существующее.

К счастью, этот чрезвычайный государственный акт не имел больших последствий. Сакен продолжал существовать во вселенной, оторванный от мира, полудикий, по-прежнему гордый и неприступный.

Такова в двух словах история Сакена. Что же касается современного Сакена, надо прямо сказать — не бог весть какое село.

Приезжайте в наш район — села у нас одно в одно: и большие, и красивые, и богатые. Здесь нынче тракторов развелось больше, чем буйволов. По дорогам грузовики мчатся с такой быстротой и так часто, что иной раз и бока друг другу царапают. Многие колхозы легковыми машинами обзавелись. Одним словом — богачи. И вдруг в таком районе — Сакен! Не один секретарь райкома затылок себе почесывал — и хочется взяться за Сакен, и ума не приложишь, как.

Ну и ладно, скажете вы, оставьте Сакен, бог с ним совсем, пишите о других селах; и такой Сакен, и сякой, и отсталый, и недоступный — зачем он вам? Легко сказать — зачем! Ну, а если я сам оттуда, если он мне родной? Вот видите, теперь и вы согласны, что я правильно сделал, поведя речь именно о Сакене. А в тех, других селах и своих рассказчиков хватает, да к тому же и слава о них без рассказов немалая.

По сакенским обычаям, следовало бы мне представиться вам. Родился я... Проклятый Сакен! С первых слов из-за него перед людьми краснеть приходится.

Жизнь человеческая — кому это не известно? — начинается от рождения. Когда же я родился? По старому сакенскому календарю выходит так: через шесть месяцев после того, как в Сакен пришла весть о русско-японской войне. Определить начало и конец войны — сущий пустяк. А вот когда весть добралась до Сакена, кто теперь скажет? Однако есть и другая примета, которая уточняет важную для меня дату. Оказывается, через четыре года после моего рождения выпал большой снег. Тысяча девятьсот одиннадцатый год — год большого снега. Вот и считайте: три года шла весть о войне в Сакен, чтобы порадовать меня в первые месяцы моего существования.

Как многие крестьянские дети, пас я буйволов и учился, как говорят иные, по книге природы. По настоящим книгам обучился грамоте только в советское время — когда у меня уже пробивались усы над губами.

В тысяча девятьсот тридцать третьем году я как-то приехал в Сакен без пяти минут художником. То-то смеялись в Сакене, узнав, кем я буду. Когда я написал портреты некоторых односельчан, смех прекратился и сменился удивлением. Оказывается, сакенец может поспорить с фотографом — это было поразительным открытием. Зимой и весной тысяча девятьсот сорок седьмого года я провел в Сакене. Тогда земляки узнали о другой моей профессии (старик Канба называл меня писцом и очень гордится этим).

Однако речь сейчас не обо мне, а о весне, о сакенской весне.

2

Итак, в Сакене в тот день, с которого начинается наш рассказ, выдалась яркая, солнечная погода. Март был на исходе, и теплый воздух предвещал раннюю весну. От земли шел пар. Легкая, почти прозрачная дымка вилась над речушками и оврагами. Она взмывала кверху, подгоняемая воздушным током, сгущалась, давая начало плотному слою тумана.

Над хутором с громким названием Серебряный Луг образовалось настоящее пушистое облако. Хутор примыкал к горному склону, почти отвесному, и обла-

ку некуда было деваться. Оно терлось брюхом о высокие сосны, разрывалось в клочья, чтобы снова соединиться в одно целое. Постепенно облако ползло на восток, подчиняясь воздушному течению, стремящемуся проникнуть в долину реки Сакен из соседнего ущелья. Тогда приоткрывалось темно-голубое небо, и солнце еще сильнее грело землю.

А вот на хуторе Ореховая Балка (окраина села Сакена), расположенном в долине реки, весна уже разгулялась по-настоящему. Ведь всего несколько километров между хуторами, а разница большая. Здесь уже возникала мысль о родниках и их прохладе, уже поманивало в тень лесных чащоб. Крестьяне деловито поглядывали на землю — дескать, не пора ли приниматься за нее. По дворам, развалившись, дремали по-весеннему ленивые собаки. Зеленела трава, пели птицы, голоса которых позабылись за зиму. Почки распускались на деревьях. Могуче, неудержимо разливалось по земле тепло, настоящее весеннее тепло.

Но пусть светит солнце, пусть даже жарко греет, и все же родники — не самое подходящее место для отдыха на пороге апреля. В воздухе чувствовалась сырость. Земля хранила остатки зимней стужи, запрятанной где-то в толще, как мрачная дума в сердце. Земле еще не хватало солнца: она только на поверхности исходила паром, а на глубине в четверть локтя — февральский холод.

У родника, которым пользовались жители обоих хуторов, сидел Кесóу Мíрба, молодой человек лет тридцати. Он с рассеянным видом строгал палку, видимо просто желая скоротать время. Широкополая войлочная шляпа, какую носят пастухи в горах, лежала в стороне, рядом с толстым посохом (посох служил подспорьем раненой ноге, особенно на крутых подъемах). Кесóу был одет в гимнастерку защитного цвета, туго перехваченную широким армейским поясом. Грубые солдатские сапоги, смазанные козым салом, блестели.

Невысокие скалы, увитые ползучей зеленью, подковообразно окаймляли ключ, прозрачный и чистый, как воздух в горах. Казалось, ручей отлит из стекла, но стружки, порой падавшие на воду, чертили на поверхности десятки кружочков, один другого больше.

И кружочки эти разбегались в стороны, и тогда за их бегом следил взгляд молодого горца.

Вот сейчас, через несколько мгновений, у родника встретятся двое, меньше всего жаждущие встречи. Нет, это были не враги, но и хорошими друзьями их не назовешь. Взаимная неприязнь разделяла их, и неприязнь эту невольно разжигала та, которая также направлялась сюда, к роднику. Дело в том, что один из сакенцев, по имени Никуáла, имел серьезные виды на девушку, за которой, по его мнению, увивался, к тому же весьма энергично, Кесоу Мирба. Никуала полагал, что давно пора иметь красивую и приветливую хозяйку дома. Когда эти планы готовы были осуществиться (так казалось Никуала), вдруг, как снег на голову, свалился этот Кесоу, свалился — и все пошло прахом! Как видно, не успела остыть та любовь, что зародилась в сердцах молодых людей еще перед уходом Кесоу на фронт. Скрытая ревность — такова причина, определявшая отношение мужчин друг к другу. Но была и другая, которая, пожалуй, коренилась в деловых взаимоотношениях двух мужчин. Скажем прямо, Никуала считал Кесоу претендентом на должность председателя, он боялся, что молодого способного человека могут в конце концов поставить во главе сельского Совета (перспектива не из самых радостных; ясно, что такая операция могла бы несколько принизить Никуала в глазах односельчан). Кесоу, со своей стороны, не одобрял способа ведения дел в сельском Совете. И он как будто не собирался скрывать этого...

Когда Никуала осторожно раздвинул кусты и посмотрел вниз, на ключ, то первое, что ему захотелось сделать, — уйти восвояси. Однако он опоздал — его заметил Кесоу. Делать нечего, пришлось спускаться и здороваться с непринужденным видом, как говорят в Сакене, оскалив зубы. Кесоу, тоже очень далекий от восторга, в свою очередь приветствовал Никуала.

— Жарко, как в аду! — проговорил Никуала, чуть-чуть картавя.

Это был плотный, коренастый человек средних лет. Лицо у него уже начинало оплывать жиром, зрачки — неугомонные, они проворно бегали вдоль узких щелочек глаз. Но два ряда белых и прочных зубов, широ-

кая улыбка во весь рот придавали лицу добродушное выражение.

Никуала смочил в воде огромный носовой платок и вытер им лицо и шею.

— Ты что тут подделываешь? — спросил он, подмигивая, словно уличая Кесоу в чем-то недозволенном. Обведя хитрым взглядом котловину, со дна которой вытекал родник, таинственно добавил: — Я понимаю...

И Никуала разразился деланным смехом. Он выжал платок, снова опустил его в воду и принялся полоскать забавы ради.

— Сижу. Строгаю, — холодно ответил Кесоу, отшвырнув палочку в сторону.

— А ты думаешь, я не вижу? — Никуала улыбался, глядя в воду, и уголки его губ прыгали вверх и вниз.

Кесоу следил за тем, как балуется с водой этот всегда веселый, беспечный человек. Его раздражали здоровые, румяные щеки, почти юношеская живость Никуала, который, по мнению Кесоу, являлся порядочным бездельником. К слову сказать, яркие краски на лице Никуала быстро блекли за председательским столом в сельском Совете. Среди четырех стен кабинета он делался мрачным и важным. Он становился скучным на слова и движения. Может быть, в глубине души он считал, что настоящему охотнику нечего делать за письменным столом (а Никуала был хорошим охотником, в этом ему надо отдать справедливость). Что касается его способностей к руководящей работе, то тут он стремился к одному, чтобы его поменьше беспокоили. «Мир и порядок», — говаривал Никуала, когда к нему обращались с вопросом о сельских делах. Может быть, его одолевала лень, а может, он вообще чувствовал себя не в своей тарелке? Ведь бывает и так. Не каждый способен занимать место за председательским столом.

«Что такое Сакен?» — часто спрашивал он себя. И отвечал: «Кусок рыжеватой земли, затерявшийся в горах. Почти медвежья берлога...» В этих словах, пожалуй, и заключались корни того пессимизма, внешние признаки которого довольно часто наблюдали посетители сельского Совета: бесстрастное лицо

председателя, выбитые стекла в окнах, двери скрипучие и ветхие...

Как говаривал Никуала, пришлось и ему в свое время понюхать пороху. Три года воевал он, не выпуская из рук снайперской винтовки. Приклад оружия, испещренный крестиками, свидетельствовал о воинской доблести того, кто подолгу прижимался к нему щекой... А воевал Никуала на Волховском фронте. Там он, к слову сказать, впервые увидел битых испанских фашистов из «Голубой дивизии». Но были на фронте и другие испанцы. С одним из них, по имени Пабло, или просто Павлуша, Никуала очень подружился. Это был испанец из нашей дивизионной разведки. Никуала много рассказывал о нем своим односельчанам. «Обещал приехать ко мне», — не без гордости заявил сакенец.

Вернувшись домой усталый, Никуала сейчас же, как кур во щи, попал в сельский Совет. «Прельстились моими орденами», — признавался он. Говоря откровенно, только лес и обитатели леса доставляли Никуала настоящее удовлетворение, — он был прирожденным охотником. Но если он все-таки до сих пор сидит на председательском месте и жители села не применяют к нему крутых мер, то это благодаря тому, что рядом трудились другие люди. Они, эти люди, двигали вперед сельскую жизнь и, как на волнах, несли и самого председателя. Равнодушие Никуала бесило многих, в том числе и Кесоу. А если иной раз и звали Никуала к ответу, он всегда умел оправдаться. Одним словом, пока что выкручивался...

Не зная о чем говорить, Кесоу поинтересовался видами на охоту.

— Должно быть, богатая нынче охота, — заметил он.

— Богатая? — Никуала присвистнул. — Видишь, куда орлы летят? Нет, в лесу делать сейчас нечего...

Никуала прилег на траву, положил руку под голову. Разговор не клеился. Кесоу взглянул на большие ручные часы — память о фронте.

— Торопишься? — спросил Никуала. — Или ждешь кого?

— С чего ты взял?

— Ну, а все-таки?.. — Насмешливые глаза-щелочки глядят на Кесоу.

Молодого человека раздражает этот допрос. Он вдруг встает, еще туже затягивает пояс.

— Послушай, — говорит Никуала, — может, ты поджидаешь девушку?.. Так я уйду...

Кесоу вспыхнул. Он попытался изобразить на лице благородное негодование именно потому, что намек соответствовал действительности.

— Ладно, я пошутил... — Никуала хлопает платком по воде. — Что делать, Кесоу? Все мы человеки...

Нет, почему он так многозначительно глядит на Кесоу? Почему не уберется отсюда?..

Розовый свет, с утра согревший душу Кесоу, уступает место черной, как туча, тени, и сердце молодого человека известило об этом событии частыми, гулкими ударами.

— Мало ли кто сюда вздумает явиться, — пробормотал Кесоу. — Никому не запретишь ходить за водой.

— Не запретишь! Не запретишь! — напевает Никуала и хохочет. Выжав насухо платок, он говорит: — Ну, так! Ухожу...

Но в это время снова колыхнулись кусты, и к роднику спустилась девушка.

Ка́ма (так звали девушку) застыла от неожиданности, точно испуганная серна (оригинальное сравнение сакенских рассказчиков). Она смущена тем, что видит не одного, а двух мужчин в военных гимнастерках. Но в Сакене, как и во всех частях подлунного мира, девушки обладают способностью искусно скрывать свои мысли.

И вот Кама медленно спускается к самой воде, чувствуя на себе скрещенные взгляды двух пар глаз. Небрежным жестом поправляет она яркий платок на голове, поудобнее обхватывает глиняный кувшин. Она смотрит себе под ноги, веки ее скромно опущены.

Какой-то внутренний голос говорил Ка́ме: «Стой!» Это, несомненно, инстинкт, предупреждающий об опасности. Опасность как бы таилась в самой местности, оваянной кровавой славой, ибо родник издавна служил местом для тайных встреч влюбленных и нередко превращался в арену поединка (в Сакене никогда не ощущался недостаток в ревнивцах).

Кесоу стоял насупившись, Никуала иронически ухмылялся — все это наводило девушку на мысль о ссоре между мужчинами.

— Вот так здорово! — воскликнул Никуала. — Ну, точно сговорились!

— А почему бы и нет, — лукаво заметила девушка, красиво запрокинув голову и обнажая белоснежные зубы.

Кесоу напустил на себя равнодушный вид.

— Никуала думает, — сказал он, — что мы явились на свидание...

— А почему бы и нет? — Кама ловко перекинула косу за спину. — Неужели кто-нибудь стыдится свидания со мной?

— Кесоу, пожалуй, держится другого мнения, — пробормотал Никуала.

— Я? Почему другого?

— Не знаю. — Никуала спрятал платок в огромный карман брюк. — Ах, молодежь, молодежь! Я-то вижу, как вы смущены. Ну, вот что, Кесоу: шутки — шутками, а дело — делом. Приходи завтра в Совет — есть серьезный разговор. Весна на носу — понимаешь?

Он взбежал на пригорок и, прежде чем скрыться, произнес с особым выражением:

— Вы понимаете, весна!

И бросился в заросли, как пловец, ныряющий с разбегу в воду.

3

Кесоу и Кама словно остались наедине в комнате, дверь которой в сердцах захлопнули. Как часто бывает в таких случаях, не сразу соберешься с мыслями.

Кама поставила кувшин на землю и принялась чистить песком крутые глиняные бока, потемневшие от копоти.

Кесоу чертил палкой на песке какие-то завитушки.

— Как ты смутился, — не глядя на него, сказала Кама.

— Я?

— Ты.

— Отчего же мне смущаться?

— Не знаю. Может быть, тебе стыдно за меня?

— Кама! — Кесоу сделал шаг в сторону девушки.

— Не подходи, — быстро предупредила она, — он способен подглядывать.

Кесоу надул губы. Ей стало жаль его, она подсела к нему и взяла его большую руку в свои.

— О чем задумался?

Она гладит его руку, заглядывает в глаза. Он видит ее зазорные зрачки совсем близко, но не в силах ответить лаской на ее ласку.

— Ты ему нравишься, — выдавил он из себя.

Кама повисла у него на шее. Касаясь губами уха, прошептала:

— А я тебя люблю...

Кесоу упрямо продолжал:

— Ясно, он влюблен...

— Вольно же всякому влюбляться...

— Может быть, у него есть основание надеяться?

— Глупый, — прошептала девушка, нежно прижимаясь к своему возлюбленному. — Забудем о нем! — «Ревнив, как черт», — весело думала она.

А «черт» глядел исподлобья и чувствовал, что он немножко смешон. Но как выйти из неловкого положения без ущерба для мужского достоинства?

Когда-то мужчины Сакена славились в горах как жестокие ревнивцы; женщины между тем считались кроткими и безответными. Но много воды утекло с тех пор, как в Сакене появилась школа, как прислали сюда учителя, врача, ветеринара. Газеты нет-нет да залетали в эти края. И, сами того не подозревая, сакенцы начали меняться в характере. К своему крайнему удивлению, они заметили, например, что мужчины пытаются понравиться любимым, а женщины стали более разборчивы и в вопросах брака проявляют самостоятельное суждение. Сакенцы невольно стали терпимее к своим соперникам. Те из них, кто почитал свой род исконно сакенским, уходящим, как корни дуба, в самую землю, поражались перемене во взглядах и привычках, касающихся житейских дел. Случалось, какой-нибудь сакенец, объявив себя хранителем традиций и приняв воинственную позу, пытался ратовать за дедовские обычаи. Но ничего, кроме неприятностей

для него, из этого не получалось, — он неизменно оставался в дураках, ибо жизнь широко шагала вперед. Но при всем том кое-что в характере иных сакенцев с трудом поддавалось изменению. Зачем ходить далеко? Вот Кесоу, упрямый гордец. Он отлично понимает — он не прав сейчас, но ни за что не хочет открыто признаться в этом... И Кесоу делает вид, что у него заныла рана в ноге...

— Болит? — спрашивает Кама.

Он морщится.

— Не болит, ноет.

Девушка берется за кувшин и снова старательно чистит его. Она моет кувшин, не переставая разговаривать с Кесоу.

— Болит или ноет — все равно. Надо ногу лечить. Провалился с нею всю зиму, еще будет болеть.

— Не пойду к вашему врачу, — говорит Кесоу, — много он понимает?! Он пить горазд. Вот в части у нас был врач! Не врач, а профессор. Правда, тоже любил выпить, был такой грех. Но голова какая! Умница!

— Где теперь умница? Спился небось?

— Нет, его разорвало снарядом. Под Львовом.

Они помолчали.

— Лечи ногу — калекой останешься, — волнуясь, говорит Кама.

— Разлюбишь?

— Я не терплю упрямых. — Она окунула кувшин в воду, и оттуда послышалось громкое бульканье. — Лечи ногу. Ты слышал, что сказал председатель? Весна на носу!

Кесоу потянулся сладко, как кот на солнышке.

— Весну-то первый я заметил, а не твой председатель... У меня на весну такое припасено, что ахнешь!

У девушки екнуло сердце. На что намекает парень?

— Ахну? Это я-то? Не порошок ли решил изобрести? — говорит она, стараясь скрыть свое любопытство.

Молодой человек повертел над головой ветку, которую только что отломил, и забросил ее в кусты.

— Зачем порошок, когда есть взрывчатка посильней, — сказал он серьезно. — Наше дело — земля.

— Не эта ли? — И Кама бросила под ноги Кесоу пригоршню желтого песка.

— А чем не земля? И по такой, бывало, затоскуешь! Недаром песню поют:

Я землю бросил,
Я землю бросил,
Навек расстаюсь.

Но зарею росной,
Ах, зарею росной
Снова к ней вернусь!

Кесоу пропел куплет песни, смешно перевирая мелодию. И вдруг, оборвав на полуслове, спросил в упор:

— Кама, хочешь увидеть чудо?

Девушка пожалала плечами. О чем это он?..

— Ты же сам как-то говорил — чудес не бывает. И в школе нас учили тому же.

Кесоу нетерпеливо махнул рукой.

— Ты отвечай на мой вопрос.

— Что же ты сделаешь?

— Я? — Кесоу подбоченился, широко расставив ноги. — Ты послушай. Председатель много о весне говорит, а я такое готовлю... По пятьсот пудов кукурузы с гектара — не угодно?

— Ах, вот ты о чем, — ответила девушка разочарованно. — Но где взять пятьсот, когда до ста не тянем?

— Выходит — чудо!

— Некогда мне с тобой о чудесах болтать.

Смеется он над ней, что ли?

Но Кесоу говорит очень серьезно, будто припоминая что-то очень старое, давно прошедшее:

— Помнишь... Нет, откуда это тебе помнить... Молода еще... Был тут, говорят, один чиновник в прежние времена. Больной. Он умер. Запомнил я его слова, записанные на листке. Листок около моей постели на стене был приклеен. Там он о скале писал. Скалу Милосердия знаешь? Она за нашим домом. Давно поговаривали о ней в Сакене, еще до войны... В общем, поживем — увидим...

Кама поднимает кувшин, и Кесоу чувствует, как ей тяжело. Но она отводит его руку.

— Я сама,— говорит она и направляется к тропинке.— А ты не ходи за мной — увидят. До свидания.

Кесоу возвращается к роднику. Он слышит, как осыпается песок под ногами Камы; вот мелькнул ее платочек в кустах. И Кесоу снова один. Он в раздумье смотрит на воду, в которой отражается смуглое озабоченное лицо с крупной морщиной между бровей и крепко поджатыми губами. Казалось, он ищет ответа на свои мысли где-то в глубине родника, сверкающего под солнечными лучами.

4

В тот же день по дороге, ведущей к центру села, шел человек, внешность которого не могла не обратить на себя внимания. Он ухитрился солдатскую шинель повязать на голове наподобие башлыка. На нем была ватная безрукавка и армейские брюки. На ногах — внушительные ботинки, явно не соответствовавшие размеру ступни. Грязь комками прилипла к его брюкам, ботинки, казалось, до краев наполнены водой — при каждом шаге они хлюпали, и их владелец время от времени бросал на них презрительные взгляды.

Справа и слева тянулись ветхие плетни. Невдалеке, у самой дороги, виднелось небольшое строение. К нему-то и направил путник свои стопы.

Подходя к строению (то был ларек сельского потребительского общества), незнакомец весело запел:

Чья эта улица,
Чей это дом?..

Пел он довольно громко, и голос его был услышан в ларьке. Не часто раздавалась в Сакене эта старая песня, и она сразу насторожила сакенцев. Из ларька вышли несколько человек с покрасневшими лицами.

— Что за тюрбан у него на голове? — спросил один из них.

— Не иначе как свалился с неба,— заметил другой.

Адамур — толстый-претолстый, еще не успевший окончательно превратиться в шар, заведующий ларь-

ком,— почесывая третий подбородок (считая сверху вниз), медлил высказать вслух свое мнение. Он только громко засопел от удивления. При этом брови у него подпрыгнули до самой лысины, а усы — предмет особой гордости! — встали почти торчком. Путник подходил, не переставая петть, не пытаясь ни убыстрить, ни убавить шаг.

— Первая ласточка с долины,— сказал Адамур.

— Значит, дорога открылась.

— А это мы сейчас узнаем.

Путник шел к ларьку напрямик, не потрудившись обойти большую лужу.

— Да здравствуют сакенцы! — браво приветствовал он. — Рота, смирно! Хенде хох! ¹

Сакенцы были крайне удивлены и никак не могли понять, в чем дело.

— Вольно, говорю,— продолжал путник и, тряхнув головой, сбросил шинель наземь.

Вслед за тем Адамур получил дружеский удар кулаком в живот. По способу приветствия, единственному в своем роде, все окончательно признали в путнике Раши́та До́уа, которого почему-то считали погибшим на войне.

— Рашит! — воскликнули присутствующие разом, и пришелец попал в объятия старых друзей. Затем его бесцеремонно оглядели со всех сторон, и таким образом окончательно была подтверждена подлинность этой незаурядной личности.

Рашит мало изменился за шесть лет, в течение которых он отсутствовал. Лицо его, правда, потемнело, осунулось, отчего нос, отличавшийся своей длиной (орлиный клюв), казался еще длинней и крючковатей. Огромный шрам тянулся через лоб — грубый рубец давно зажившей раны.

Рашита сначала втолкнули в ларек, потом за какую-то перегородку, и он очутился верхом на бочонке. Остальные последовали за ним, и вся компания уютно устроилась среди бочек и пустых ящиков.

— Живы-здоровы? — приличия ради спросил Рашит, шаря глазами по бутылкам, расставленным на полу. — Сакен на месте?

¹ Руки вверх! (нем.)

— Представь себе — не сдвинулся ни на локоть!

— Отлично. А как гарнизон?

— Царапает землю.

Сведения, по-видимому, были вполне исчерпывающими, ибо вопрошавший умолк. Улучив минуту, Адамур налил стакан красного вина.

— Антон, — обратился он к маленькому невзрачному человеку с воспаленными веками, — пожелай нашему гостю...

Стакан обошел всю компанию, а гость приложился к нему трижды.

— Ну, а ты, Рашит, где был? Что делал?

Рашит, жуя чурек, скупо, но достаточно колоритно описал последний отрезок своей жизни.

— После той самой шумихи (здесь имеется в виду драка на одной пирушке, которая окончилась не слишком благоприятно для Рашита: шрам на лбу — ее последствие)... после шумихи подался я, значит, в город. Работал в одной организации, сапожному делу выучился. Потом война... Фронт... Карпаты — знаете? Везде побывал, как говорится, понюхал пороху... Хенде хох!

— Ну, слава богу, приехал! — Адамур наполнил чарку. — А мы тут скучали: пропал, думаем, Рашит. И девушки скучают, ей-ей! То-то они будут рады. Орел прилетел!

Тот, которого звали Антоном, пробормотал две-три бессвязные фразы и залпом осушил чарку.

— Знакомые живы-здоровы?

— Кто нужен — спрашивай. — Адамур перегнулся и достал из глиняного горшка соленый огурец. Он облизал пальцы, причмокивая губами.

— Никуала?

— Жив, на горе всему зверью... Сейчас заправляет сельсоветом.

— Шаангери?

— Не желает и слышать о смерти.

— Ого! Полтора столетия — не много ли для одного?

— Говорит — нет.

— Так. Старик Мирба?

— Налицо.

— Дочь?

— Словно канарейка.

— Этот... Кесоу?

— Вернулся, пролежал зиму — с ногой неладно было... Не просто, а с самомнением вернулся...

Чарка ходит по рукам.

— С самомнением?

— Да с каким еще! Критикует!.. Не подступись... Наша земля, видишь ли, ему не по душе. Урожай, говорит, маленькие... Одним словом — умник!

— И не таких видали!.. Как учителяшки?

— Числом растут.

— Врач?

— Новый... За друга душу отдаст...

— Молодец!.. А Тараш, надеюсь, целехонек?

— Как тебе сказать... — Адамур отломил огромный кусок чурека и запихнул его в рот. Он молчал, пока не разжевал и не проглотил его. — Как тебе сказать... Последние годы он работал председателем колхоза. Отличный работник. Взяла его хворь — чахотка... Еще летом послали его...

— Кто послал?

— Как кто? Колхоз... Постой, куда это? Да, в самый Гульрипш.

— А деньги-то как? Колхоз дал, что ли?..

— Хороший, говорят, человек, а для хорошего всегда найдутся денешки. Такое, брат, правило... До войны, если помнишь, многих посылали и на курорт, и на учебу, на какие-нибудь курсы. И все на колхозный счет. Теперь, говорят, оправимся после войны — снова посылать будем. Как говорится, внимание к людям. — И Адамур, подмигнув Антону, вытер рукавом усы.

— Значит, без головы остались, без председателя... Кто же за него?

Антон сказал:

— Временно Константин.

— Константин, Константин... — силился припомнить Рашит.

— Да бригадир третьей бригады! Член правления, наш секретарь партии.

— Кажется, знаю, — буркнул Рашит, который не любил вспоминать тех, кто чем-нибудь, даже самым малым, досадил ему. — Ну, а этот, Салуман, наш кузнец?

Адамур вытер руки о какую-то тряпку. Антон перестал чавкать.

Остальные тоже умолкли.

— Убит,— сказал Адамур,— убит под Ростовом.

— Да... Жалко... Хороший был человек. Как говорится, мир праху его.

Мужчины молча выпили.

— Кто еще не вернулся? — спросил мрачно Рашит.

— Братья Хашим и Сайд,— ответил Адамур,— учитель Давид Алан... Михаил Ранба, его двоюродный брат Гач...

Рашит перебил его.

— Да, друзья мои,— сказал он, жестом требуя наполнить стакан,— и сакенцам досталось. Где их кости гниют нынче?..— Лоб у Рашита собрался в глубокие складки, он поджал губы и, барабая пальцами по дну бочки, продолжал: — Одним словом, не миновала беда и нас. Пострадали, значит. Однако вы бы поглядели, что там делается,— он оттопырил большой палец и показал им через плечо.— Целые города сметены с лица земли... А сколько народа без крова осталось, нашего народа...

В каморке воцарилась тишина. Все задумались.

Антон отставил стакан, отодвинул подальше бутылку и шумно вздохнул. Рашит уставился в одну точку, а остальные сидели, опустив головы. Адамур, как хозяин, почел за долг свой развеселить гостей.

— Э, черт! — крикнул он.— Одним женихом стало у нас больше. Быть скоро свадьбе!

Компания разом загоготала, к смущению Рашита.

— Рано еще,— сказал он,— вот устроюсь, прилажу себя к делу... тогда...

Адамур не дал ему договорить:

— Но самое главное, Рашит, — ты жив, здоров! Чего еще надо? Село скучало без тебя — ни мужчин настоящих, ни дел, достойных сакенских молодцов.

Рашит вскочил с бочки.

— Ну, а теперь все это будет, Адамур! Я считаю так,— Рашит ударил кулаком по бочке так, что она загудела, — вот так: я горец... Мы все... Значит, кровь у меня с этим, как его... Ну, хмельная, что ли? А?

Законы тоже у нас исконные, свои. Ты, брат, помни: ты — мужчина. Так ведь? Будут дела, Адамур, будут, клянусь прахом наших дедов! Кто против? Все — за! Он покачнулся и чуть не расплескал вино.

5

Утро выдалось необыкновенно прозрачное. Ни одного облачка, словно начисто оттерли огромное, объемлющее мир стекло. Ровная голубизна, и только края неба окрашены в бледно-розовый цвет. На траве крупные капли росинок. Дым идет кверху, как тщательно выточенный винтовой столб. По всему видно — быть погожим дням.

Кесоу стоит среди широкого двора, будто к чему-то прислушивается. Мычат коровы, лают собаки, а в сине-голубом кружится одинокий кобчик, первым вылетевший на хищный промысел.

Екүп, отец Кесоу, кряхтя спускается по лестнице. Он чуть согнулся в пояснице, ростом ниже своего сына, худощав. На остром, типично горском лице, словно чужие, большие голубоватые глаза. У Екупа короткая борода, усы, тяжело нависающие над губами. Жизнь не баловала его в молодости, она была слишком сурова к нему и состарила его прежде времени. Он часто прихварывал — прихварывал и все же прилежно трудился. Но силы заметно покидали его, и это всего на шестом-то десятке!

Лет пятьдесят назад фамилия Мирба объединяла внушительное число лиц обоего пола. С этой семьей считались, а может быть, и побаивались ее. Караман Мирба, брат Екупа, славился своей удалью. Он ходил за Кавказский хребет и пригонял оттуда скот, не приобретая его за деньги и не получая в дар.

Дядья Екупа были решительные и энергичные люди. Но князья Маршаны, главенствовавшие в Сакене, потрудились над тем, чтобы грозные братья Мирба, чье единение могло серьезно подорвать княжеское влияние, постарались уничтожить друг друга в братоубийственной бойне. Верно говорят в народе: «Рукою глупца змею ловят».

Екуп случайно избежал родовой распри. Его увезла бабушка по матери. У нее он вырос и возмужал,

а когда страсти в Сакене поулеглись, вернулся в отчий дом, вернее — к развалинам отчего дома. Ему пришлось строить жизнь заново и вкусить горечи от незавидного крестьянского существования. Кукурузы обычно хватало до апреля, а остальные полгода он жил, как говорится, уповая на бога, — еле-еле душа в теле. За время его отсутствия земельный надел, принадлежавший отцу, сильно уменьшился в пользу Адамура — соседа и дальнего родственника. К тому же земля была такой скупой, что помышлять о более или менее обеспеченной жизни не приходилось.

Но не пришлось Екупу всю жизнь мыкать горе — улыбнулось-таки счастье. Должно быть, в добрый час благословила его, умирая, старая мать. Когда Екупу выделили солидный участок земли и сказали, что это дает ему революция, — он опешил. «Где она, эта Революция?» — спросил он. «Она уже здесь», — ответили ему люди из города. Да, друзья мои, осчастливили тогда Екупа, осчастливили, как и многих других горцев.

Когда заговорили сакенцы, что было б хорошо организовать колхоз (а сказали это лет десять назад) и когда Екуп понял смысл этого слова, такого близкого и родного сердцу крестьянина, он заявил: «Хочу быть колхозником. Всё». И он говорил своим соседям: «Помните вчерашнее небо — в тучах, беспросветное? Это жизнь моя в прошлом... Видите голубые необъятные небеса? Это — моя жизнь нынче». И он очень любил повторять эти слова, идущие из глубины души...

...Екуп брел по двору, опираясь на палку, и старая черкеска висела на нем, как с чужого плеча. Кесоу пристально следил за ним. В образе отца представлялась ему нелегкая крестьянская жизнь в годы войны. Когда Кесоу воевал, отец оставался единственным мужчиной дома. «Нет, больше ему работать нельзя... Грех!» — подумал Кесоу. Поймав сочувственный взгляд сына, старик приободрился.

— Мы сейчас все решим, — сказал он, жестом приглашая сына следовать за собой. — Вот этот плетень... Гниль, труха! Столбы тоже сгнили. Но пока держатся... Я считаю, пять арб хворосту — самое малое! Двор без изгороди — пустое поле. Верно говорю?

Кесоу неторопливо шагал за отцом, приглядываясь ко всему острым, хозяйским взглядом. Кончилась пер-

ная зима, которую он проводил дома, вернувшись с фронта. Наступила весна, увеличились заботы. Снег стаял, хозяйство обнажилось, и глаза увидели то, что не всегда приятно замечать. Многого надо сделать, но за что же браться в первую очередь?

— Ворота... Одно название. Ежели их открыть, то едва ли потом закроешь... Срам! Ну и мосточек — одно божье наказание. Не ровен час, зазевается конь — копыта не вытащит, хоть буйволами тяни... Ну, ты не робей, Кесоу, посмотрим, что дальше...

Обойдя двор, они направились к дому. словно радуясь своим открытиям, старик отмечал малейшие изъяны, беспощадно колотил палкой по доскам, выбивая оттуда труху.

А Кесоу думал: в чем же все-таки главное? Нет, главная беда тут не сгнивший плетень и сломанные ворота, а главная — земля, плохая земля.

— Тоже дом, прости господи, — говорит Екуп, — лестница отслужила свой срок, стены — одна труха. Эту балку надо менять — иначе головой заплатишься. Крышу перекрывать заново надо, драни достать — дело нешуточное. Не менее ста каштановых досок и арбы три драни...

Екуп садится на приступок, закуривает трубку. Он продолжает:

— Хлев держится на честном слове. Хороший хозяин там собаку не станет держать, не то что коров. Одним словом, остается с горя заплакать...

— Тоже скажешь, отец...

— А как же! Думаешь, смеются с горя?.. — Екуп понижает голос. — Сестра-то не маленькая, думать о ней надо. Не сегодня-завтра — замуж. Забот — полон рот.

— А что, есть женихи?

— Какие женихи! Ходят вокруг да около. К нам присматриваются, да и к нашему хозяйству заодно. Ты дома, можно сказать, еще и не был — с тебя спрос небольшой. Нога только-только зажила. Вот поживешь — увидишь сам... Весна, а тут, как назло, участок твоей бригаде самый поганый выделили — на нем бурьян не уродится, а хотят кукурузу. Вон оно как! Я им полный отказ объявил, всему правлению. Ты помани мое слово: я и шагу не сделаю на этом

поле, будь оно неладно! Я тебе как бригадиру говорю...

Екуп разволновался. Он расстегнул ворот архалука, точно ему стало душно.

Кесоу положил руку на плечо старика, попытался успокоить.

Екуп набил свежего табаку в трубку, высек огня из кресала.

— И ты тоже хорош, Кесоу! Война войной, а жить пора начать по-человечески. Хоть бы ты поговорил, что ли, в сельсовете, помощи попросил. Даром, что ли, в медалях явился, живота своего на фронте не щадил?! Всю зиму проболел. Пускай нам ремонт делают, землю получше выделяют... как по закону полагается.

Кесоу, отогнав криком кружившегося над двором кобчика, уселся рядом с отцом.

— Помощи просить я не буду. Не инвалид.

— Ты — гордец, а не инвалид!

— Слава богу, руки-ноги целы. Плетень, дом, хлев — успеется, не горят. А насчет земли и пахоты — особые разговоры будут. С этого начинать и надо, это — главное.

— Жить, значит, под небом, на холоду?

Кесоу говорил спокойно, обдумывая ответ:

— Послушай, отец: первое — это пахота...

— Что же, по-твоему, у себя на голове пахать?

— ...первое — это пахота. Земля во всем Сакене — один черт! Желтозем, краснозем... У реки участков на всех не хватит, надо же кому-нибудь и в нагорьях...

— Почему же нам?

— А почему другим?

— Ты — фронтовик, а мы — твоя семья!

Кесоу недовольно поморщился.

— Не будем бить на жалость, отец. Я теперь здоровый бригадир, а не раненый автоматчик.

Из кухни выглянула девушка в тесном ситцевом платье с засученными рукавами. Ее нельзя было назвать красивой, но парни заглядывались на нее, соседи наперебой хвалили, и она стоила того. Что-то привлекало в ней: одни говорили — хороший характер, другие — голубые, как у отца, глаза.

— Поди сюда, Нина, — сказал старик, — послушай своего братца, чего он тут городит. На дом ему напле-

вать, на все наше добро — тоже. Ему подавай пахоту... Такие разговоры под стать нашему председателю...

Нина, точно присутствуя при споре посторонних людей, с любопытством смотрела на отца и брата. Она не смела перебивать их и не выказывала своего сочувствия ни тому, ни другому.

Кесоу молча прошелся несколько раз взад и вперед и вдруг неожиданно спросил:

— А разбогатеть вы хотите?

Отец и дочь недоуменно переглянулись.

— Да, да, не удивляйтесь — именно разбогатеть! Каким путем? О, это очень просто. — Кесоу резко повернулся вполоборота. — Отец, ты знаешь скалу Милосердия?

Старик было опешил. Но тут же воскликнул:

— Знаю, черт возьми! При чем эта дурацкая скала?

— А что тебе известно о ней?

Старик насупился. Не смеется ли над ним сын?

— Ну? — промычал он. — Есть такая скала. Тут же рядом. Дальше?

Кесоу поманил Нину и медленно и торжественно произнес:

— Из скалы Милосердия мы сделаем скалу Плодородия. Слышишь, отец? Но шутки в сторону, — продолжал он серьезно. — Вспомните, что говорили перед самой войной? Ну? О скале этой самой говорили? Говорили. Вот я о ней думал и там, в окопах. Думал — и придумал... Никто не виноват, что помешала война...

— Помешала война, — повторил старик, насупив брови. — Знаю, наши люди зарились на эту скалу. Вот, вспоминаю, русский чиновник тут когда-то жил. Хворый... Тоже выдумывал всякое... И ты, как он, ей-богу!

— Не тужи, отец, — воскликнул Кесоу, — пусть только придет весна!

И солнце, апрельское солнце, будто желая узнать, кто так страстно жаждет весны, с любопытством посмотрело вниз, на землю. И люди с удовольствием отметили, что солнце стало ярче и теплее — настоящее весеннее солнце.

Нина за завтраком шумно и торопливо рассказывала о том, как ее бригада трудится над табачной рассадой. По словам девушки, дела шли замечательно. Она ела быстро, поминутно откидывая назад спадающие на лоб волосы.

Екуп ел молча, изредка задавая дочери короткие, малозначащие вопросы.

Мысли Кесоу витали где-то далеко. Он не расслышал и половины того, о чем тараторила Нина. Когда сестра горделиво заявила, что рассада будет отличная, брат перебил ее, попросив воды. Нина оборвала речь на полуслове и уткнулась в тарелку. Равнодушные брата к ее делам обидело девушку. Отец покачал головой, сочувственно заулыбался ей. Он любил дочь за доброту, ее заботы о нем трогали его. Старик готов был хоть целый день слушать рассказы о рассаде и парниковом хозяйстве.

Нина встала из-за стола. Кесоу скользнул по ней невидящим взглядом и тоже поднялся. День, каким его себе рисовал Кесоу, предстоял нелегкий. Надо обойти своих друзей, выяснить, что они думают о делах бригады, подбодрить их. Так всегда делает хороший командир перед атакой. Потом — серьезный разговор в правлении колхоза и сельском Совете и, пожалуй, некоторые неприятности в связи с этим.

— Ну, я двинулся, — сказал Кесоу и тут же, нахлобучив по самые брови фуражку, пошел со двора.

Первым бригадир навестил Антона Рашба, того самого Антона, которого мы уже встречали в ларьке Адамура.

Антон колол дрова. Он так неуклюже заносил тяжелый топор, что чуть не падал навзничь, с трудом балансируя на кривых, тощих ногах. Кесоу позвал его. Антон приложил ладонь козырьком ко лбу.

— Милости просим! — проговорил он, отбрасывая топор в сторону.

— Благодарю. Я тороплюсь. (Для пущей важности Кесоу взглянул на часы.) Ты сделался настоящим дровосеком.

Антон закашлялся, заковылял к плетню.

— А я... кха... кха... недавно сказал сам себе: куда, кха, кха... бригадир наш запропастился?.. Кха, кха... Ну как, в мирной жизни не скучно?

— А зачем скучать? Повоевали — довольно.

— И то правда... — Антон кулаком натер себе глаза докрасна. — Зашел бы, выпили бы по стаканчику вина.

Кесоу поблагодарил и отказался.

— Как дела?

— Какие? — с удивлением спросил Антон.

— Известно какие — крестьянские.

— Ах, дела! — нараспев проговорил Антон. — Дела как дела — вроде ничего.

— Пахать не думаете?

Антон осклабился (гримаса, призванная изобразить добродушную улыбку).

— Пахать? Зачем торопиться? Видишь ли, в старину, значит...

Кесоу обвел взором небесную ширь и внушительно предложил, чтобы все с утра выходили на работу. Антон запротестовал — дескать, рано еще, снег по-настоящему не стаял, — но Кесоу и слушать не хотел его возражений.

— Завтра ровно в семь на поле! — сказал он.

— Не могу, — ответил Антон. — Чего-то в ногах ломит. Не веришь? — Он ухмыльнулся. — Ей-ей, правда... Вдруг большой палец занает. Смотришь, мизинец колет, а там и в колене сустав сводит. Боль, как блоха, скачет по всему телу. Понимаешь?

— Нет! — И Кесоу зашагал дальше, предоставив Антону возможность разговаривать сколько угодно с самим собою (занятие, не имеющее особого распространения среди сакенцев).

«С таким человечешком далеко не уедешь, — размышлял Кесоу по дороге. — Однако люди разные. Есть плохие, есть и хорошие. Приходится работать со всеми. Трудно, и тем не менее приходится. Что делать? Тянуть лодырей за собой, заставить их работать как следует...»

Кесоу яростно сжимает кулаки. Он готов наброситься на любого, кто попытается шутить с весной. «Надо проучить этого болвана», — говорит он себе,

ругая Антона на чем свет стоит. Но беседа с другими членами бригады несколько приободрила его, настроение улучшилось. Не последнюю роль сыграла здесь погода и чудесное солнце. Имейте в виду, что хмурый сакенец в ясную погоду — явление из ряда вон выходящее. В такой день мелкие неудачи сакенцу кажутся вовсе не стоящими внимания, а крупные — легко преодолимыми. Кесоу уже весело перебрасывался словечками со случайными встречными. С женщинами раскланивался подчеркнуто любезно, а девушек вгонял в краску щедрыми комплиментами.

Кесоу насвистывал. Он не шел, а прыгал через огромные лужи (в Сакене их немало — верьте на слово) и каждый прыжок сопровождал победным восклицанием.

На проселочной дороге (будто в Сакене имеются и другие!) количество грязи угрожающе возросло. Лужи здесь не выглядели заманчивее оттого, что в них с большей полнотой отражалось весеннее солнце. Сколько луж — столько и солнц! И Кесоу проносился над целой вереницей светил. Невольно припомнились ему весенние, расползающиеся киселем дороги Украины и Польши. В ушах, как живой, звучал голос друга автоматчика, белокурого парня из Ярославля: «Ребята, выше голенища — грязь затечет!» Вспомнился голос — и Кесоу замедлил шаг... Парня того схоронили на польской земле, и человек из Сакена, деливший с ним горе и радости походной жизни, обронил тогда слезу над его могилой. Это было три года назад. Сохранился ли тот холмик, как сохранились воспоминания в душе Кесоу о фронтовых друзьях, бережно донесенные до подножий Кавказского хребта, или сгладилось лицо земли под буйными ветрами и потерялась одинокая могила?..

7

Путь до сельского Совета оказался длинным. Вторая половина дня, предназначенная для разговоров в Совете, давно наступила.

На развилке дороги Кесоу задержался в нерешительности. Как быть: идти ли прямо в Совет или свернуть к Гудалу?

В это время из-за крутого поворота выползла арба. Ее медленно волокли два слоноподобных буйвола. Флегматичность этих животных общеизвестна. Однако сакенская порода буйволов будто нарочно создана для того, чтобы дразнить не в меру горячих горцев.

Едва показалась арба, как целый град проклятий посыпался на головы животных, и тут же бешено заработала ивовая хворостина.

— Ах, волчий корм! Сатанинское отродье! — кричал погонщик, неистово нахлестывая буйволов. Наконец, потеряв всякое терпение, он соскочил наземь и в ярости принялся закатывать рукава, угрожая животным чрезвычайными мерами.

— В чем дело, Гудал?

Погонщик растерялся, увидев перед собою Кесоу, выросшего как из-под земли.

— Ты откуда? — спросил он, злобно косясь на своих недругов и, видимо, собираясь расправиться с буйволами незамедлительно по окончании разговора. — С дерева слетел, что ли?

Он говорит, выразительно жестикулируя, повышая голос почти до крика. Гудал — человек в летах (под пятьдесят), смекалист, скор на дела, в работе не уступает молодым.

Кесоу, заложив руки за спину, посмеивается.

— Не убей их — пожалеешь.

— Я? Пожалую?! — вскричал Гудал, все еще негодую на буйволов. Животные, отдуваясь, тянулись к кустам ежевики. — Ты плохо меня знаешь, друг мой. У меня так: задумано — сделано. А как же?.. Но эти ленивые буйволы меня сведут с ума.

И Гудал снова принялся осыпать их ударами хворостины. Кесоу с трудом оттащил его от животных, угостил Гудала папироской. А через минуту они беседовали как ни в чем не бывало — гнев Гудала улетучился вместе с сизой дымкой от папирос.

— Везу домой одну вещицу, — рассказывал Гудал, — называется... постой... что это бывает у пароходов?

— Пароходов?

— Ну, это самое... — Гудал потирал лоб, силясь припомнить то, что бывает у пароходов.

— Труба? — вопросительно произнес Кесоу.

— Нет, нет, не труба.

— Канаты?

— Ну вот еще!

— Флаг, что ли?

— Сам ты флаг! Фу-ты!.. Взгляни, может, признаешь... Эту штуку мой сын привез из города еще летом. И не одну ее... А сейчас еду от кузнеца...

Они полезли на арбу. В ящике, изнутри выложенном сеном, лежал какой-то вал с намотанными проводами.

— Кажется, динамо-машина,— сказал Кесоу.

— Нет, не так... А называется она...— Гудал запнулся.— Ну, что бывает на пароходе?.. Поедем со мной, сын все расскажет... Ты понимаешь, плачено пятьсот рублей. Да не в деньгах дело! Трудов-то сколько! Попробуй через перевалы и пропасти тащить!

Кесоу почесал голову, подергал себя за ухо (признак раздумья).

— Стало быть, динамо. Понимаю...

— Как ты сказал? — Гудал чуть не подпрыгнул от радости.

— Динамо...

— Нет, не то,— мрачно возразил Гудал. — Сын называет иначе. Заходи к нам, Кесоу. Ты такое увидишь — ого! От мельницы мы провели рукав, устроили плотину по всем правилам, воду с человеческого рост подняли. Позади дома скат: садись задом — стрелой полетишь! Там устроили канаву — вода пулей бежит. Заработает машина — и тогда у нас будет свет, как в городе. Молния — не свет!

— Так. Очень хорошо. Строите, значит, электростанцию?

— Как ты сказал? — воскликнул Гудал и тут же спохватился: — Нет, не то!

Кесоу одобрил затею, хотя она была для него совершенно неожиданной. Гудал строит станцию! Просто удивительно. Кесоу не хочется отпускать от себя этого человека — уж очень приятно поглядеть на сакенца, хлопчущего об электрическом свете.

— Если бы не война, Гудал,— говорит он,— у нас давно бы горел такой свет. В сорок первом и деньги были отпущены, инженеры приезжали,— работала бы тут у нас целая гидростанция.

— Это как пить дать — работала бы!

— Теперь, конечно, не раньше сорок девятого получим. А жаль...

Гудал забрался на арбу.

— Постой. Как там насчет пахоты?

— Пахоты? — подхватил Гудал. — Готов в любое время. Лишь бы погода! Созывай бригаду — плуг в порядке, буйволы хоть и безобразники, а, как ни говори, свое сделают.

— Молодец! Завтра в семь.

— Хоть в шесть! — Гудал издал грозное мычание, и буйволы тронулись. — Заходи к нам, Кесоу, станцию увидишь. А на открытие особое приглашение будет.

Арба повернула налево, визжа на весь Сакен.

Кесоу двинулся дальше. Но вскоре он услышал голос Гудала, изо всей мочи зовущий его. Кесоу остановился.

— Ты слышишь? — кричал Гудал, которого скрывали заросли.

— Слышу, — отвечал Кесоу.

— Я вспомнил... Якорь!.. Яко-о-орь!

«Якорь от динамо», — подумал Кесоу, убыстряя шаг.

8

Здание сельского Совета оставалось почти таким же, каким оно было до войны, разве пообтерлось немножко да стекол начисто лишилось. Двор по-прежнему опрятный, тополя, посаженные в сороковом году, выросли, окрепли.

В маленькой комнатке сидел секретарь Совета — щуплый паренек. Он сопел, чихал и пытался что-то разъяснить окружающим его крестьянам. Кесоу поздоровался, справился у присутствовавших об их здоровье, на что ушло немало времени.

Следующая дверь вела к председателю. В просторной комнате, оклеенной обоями, стоял шаткий стол, покрытый кумачом. Посередине — глиняная тарелка с большим количеством окурков и дохлых мошек.

За столом сидел Никуала в позе человека, прошедшего бессонную ночь в государственных заботах. Правую щеку он подпирал рукой, отчего все лицо у него

перекосилось. Появление Кесоу было отмечено председателем небольшой переменной позы: вместо правой щеки Никуала подпер левую.

На подоконнике примостился Константин Алан, один из бригадиров и в то же время секретарь партийной организации. Константин — молчаливый человек, тяжелодум, а Никуала — большой любитель поболтать. Поэтому беседа их носила своеобразный характер. Никуала говорил, а Константин односложно отвечал, преимущественно междометиями. Но они отлично понимали друг друга, а в беседе это, пожалуй, важнее всего.

— Не садись на тот стул, свернешь себе шею, — предупредил председатель вошедшего.

— Это не так просто! — Кесоу придвинул к себе другой стул.

Константин любезно осведомился о том, как чувствует себя фронтовик. Небось тихо здесь по сравнению с большими городами. В далеких краях Кесоу, должно быть, видел немало шумных городов и даже (чем черт не шутит) жил в пятиэтажных домах? Да, Кесоу жил в пятиэтажных домах, однако он предпочитает сакенский — деревянный. Никуала подмигнул секретарю — дескать, скромника из себя разыгрывает.

— Где же ты побывал?

— Как тебе сказать? От Дона до Германии прошел. И я должен сказать, друзья мои, я еще больше полюбил нашу сакенскую землю и мечтал, как бы поскорее вернуться сюда.

Константин встал, налил себе воды из кувшинчика и залпом выпил полную кружку.

Наступило молчание. Кесоу заметил, что произвел впечатление на своих слушателей.

— Поговорим о деле, что ли? — сказал Никуала, прерывая молчание. Он достал из ящика стола распечатанный конверт. — Это письмо из района... О севе тут и прочих важных вещах. Доставили чудом. Знаете кто? — Никуала испытующе посмотрел на собеседников. — Как вы думаете, кто?

— В Сакен? — удивился Константин. — Значит, дорога открыта?

— Я этого не сказал... Письмо из района доставил Рашит.

— Какой это Рашит? Доуа?

— Он самый.

Эта новость подверглась всестороннему обсуждению. Никуала сообщил, что Рашит был четыре года на фронте и переменялся к лучшему. Кесоу глубоко усомнился в том, что из Рашита могло получиться что-нибудь путное даже на фронте.

Здесь, пожалуй, пора открыть один маленький секрет Рашита. Он сам тщательно хранил этот секрет и ни за какие блага не согласился бы разгласить его. Дело в том, что Рашит и не нюхал порошу. Он всю войну просидел в тыловом интендантском складе, где вел себя скромней букашки. Об этом знал кое-кто в городе, да не скоро вести в Сакен доходят...

Сакенцам было известно, что Рашит уже вторые сутки кутит и никак до дому не доберется...

— В общем, молодец, — заметил председатель. — На работу просится...

— Поздравляю тебя, — холодно заметил Кесоу, — одним шалопаем больше.

Константин улыбнулся в усы, словно желая скрыть от других свою улыбку.

— Возможно, — согласился он с Кесоу, — но не забывайте: прошло немало лет, и каких лет! — Он помолчал немного. — Однако я не о том... Что скажешь, Никуала, о письме?

— Толковая бумага, — не без иронии сказал Никуала. — Я бы хотел, чтобы они (он почему-то указал пальцем в правый угол комнаты) приехали из района, а потом написали бы... Читай. — Никуала протянул бумагу Кесоу.

Это была неясная копия письма, отпечатанного на пишущей машинке, и Кесоу с трудом разбирал слова. В письме указывалось, что крестьяне в нынешнем году борются за невиданно высокие урожаи — за пятьсот и тысячу пудов с гектара. «Нынче весь мир глядит на нас, — говорилось в нем. — Долг советских людей, в том числе и всех членов колхоза «Светлый луч» (название было вписано от руки), идти по пути передовых людей деревни. 1947 год должен стать годом бурного роста сельского хозяйства, развитию которого помешала война!» Далее приводились имена людей, перечислялись факты, назывались лучшие колхозы...

— Отлично! — воскликнул Кесоу. — Я как раз по этому поводу... Как говорится, не в бровь, а в глаз. Тысяча пудов — здорово! Не правда ли?

— Не про нас будь сказано. — Никуала достал огромный платок и старательно высморкался.

— На здоровье, — сказал Константин, которому почему-то показалось, что Никуала чихнул.

Спрятав платок в карман, Никуала принялся сетовать на неумение районных властей подходить не чохом, а с особой меркой к каждому селу и колхозу. Что, например, известно о Сакене в районе? Только то, что Сакен село отдаленное и что сюда трудно добраться.

— Легко написать — пятьсот, тысяча пудов. Я тоже могу катануть бумагу, да еще какую! Сейте, скажу, на морском берегу, собирайте по тысяче пудов... А почва какая, спрашиваю? Мы-то знаем, что наша земля дерьмо!

Никуала сердито нахлобучил на лоб каракулевую папаху.

— Вот охотничий промысел, скажем, другое дело... — продолжал он. — Сколько пушнины пропадает! Доход колхозу был бы... Да что и говорить...

Председатель безнадежно махнул рукой. Он позвал секретаря. В дверь, как мышь, прошмыгнул тот самый щуплый парень, которого мы видели в приемной. Нос у него побагровел, и он почти непрерывно сморкался в платок.

— Что с тобой? — строго спросил его председатель.

Секретарь издал неясный звук, напоминающий шум в дупле, когда туда попадет быстрый ток воздуха.

— Осс... удилсс-аа... аа-мок...

— Что?

Вместо ответа секретарь выразительно чихнул, не оставляя никакого сомнения в том, что именно он хотел сказать.

— Да он простужен, — догадался Константин. — Насморк у него страшный...

— ...тёкла... тёкла... озняк, — выдавил из себя парень, указывая пальцем на окна.

— Стекла — это ясно. Сквозняк — тоже. Ну, а дальше? — Никуала презрительно скользнул взглядом по невзрачной фигуре секретаря. — Что же, я, по-твоему, из другого теста вылеплен? Живу, как видишь, и ничего. — В подтверждение сказанного он шумно выдохнул весь запас воздуха из своих легких.

Константин поежился.

— Ветер здесь шляется, словно в ущелье, — заметил он.

Никуала сделал вид, что не расслышал этих слов. Грозя кому-то невидимому пальцем, он пытался растолковать секретарю ответ, который надлежит написать в район, ответ, как он выразился, громовой. Ошиблись, дескать, адресом, не туда попали! Здесь, в Сакене, не бывает пятисотпудовых урожаев.

Секретарь снова принялся чихать.

— Ну, иди, иди! — недовольно сказал Никуала. — Пиши.

И секретарь удалился.

Наступило молчание. Казалось, тема исчерпана и говорить больше не о чем. Никуала важно восседал на председательском месте, ковыряя в зубах кончиком заостренной спички; Константин стучал пальцами по столу, и дробь эта неприятно действовала на Кесоу.

«Странный человек, — думал он, — видит все, все понимает, а молчит, точно воды в рот набрал. Нет, так не годится. Раз ты коммунист — бери быка за рога. Нечего тут долго размышлять». В душе Кесоу поднималось глухое недовольство. Он резко поднялся из-за стола, плотно застегнул полушубок, поправил фуражку, подтянул голенища.

— Это все, что ты хотел сказать, Никуала?

— А что еще прикажешь? — с деланной покорностью произнес Никуала, разводя руками. — Мало тебе?

Кесоу разом запустил руки в карманы.

— Очень мало, — сухо сказал он, — меньше мало-го... Я думал, о деле речь пойдет... Видно, ошибся.

— Ну, говори: что не нравится? — Никуала обратился к Константину: — Пусть скажет Кесоу, мы слушаем. Не так ли?

Видимо, Константин решил, что пора высказаться.

— Погоди,— заметил он Никуала, подсел к столу, взял в руки карандаш, чистый листок бумаги и, чертя на нем непонятные знаки, продолжал: — У каждого есть свое мнение. У меня тоже. Мой совет — не торопиться с ответом. Пораскинуть мозгами, посоветоваться...

Константин говорил спокойно, не торопясь, обдумывая слова. Кесоу понравилось вступление, и он снова уселся на стул.

— Во-первых, Кесоу, очевидно, желает что-то сказать... — Константин вопрошающе взглянул на молодого человека.

Кесоу встрепенулся.

— Да,— сказал он твердо и уверенно,— и очень важное. Ставлю вас в известность: наша бригада хочет показать, что значит хороший урожай в горах. Я понимаю так: нам надо наверстать то, чему помешала война.— Он говорил горячо, словно сердился.— Есть у нас один план... Мы — за это письмо!

И он взял со стола письмо из района и высоко поднял над головой, точно знамя.

— Ладно, продолжай,— сказал Никуала,— только сначала изложи план. Может быть, он всем понравится, а может, и нет...

— Да, ясно,— поддержал его Константин,— тайн никаких не должно быть. Есть предложение — выкладывай.

Кесоу подумал.

— Нет,— проговорил он,— сейчас не буду. Сначала с тобой хочу поговорить, Константин. (Он покосился на Никуала.) Прошу завтра в поле, в бригаду. Дело слишком серьезное, чтобы его с кондачка решать.

Никуала, точно не слыша этих слов, рылся в ящике стола. Константин спросил:

— Завтра начинаете пахать? Добро, добро. Молодцы, ребята. Поднимем и остальных. А в бригаду я приду,— пообещал Константин.

Кесоу простился и ушел.

9

Двое суток кутил Рашит. События менялись, и каждый из них считал долгом приличия поинтересоваться фронтовым житьем-бытьем Рашита. В соответ-

стении с количеством выпитого росло и количество вариантов фронтовых рассказов. Герой рассказов (разумеется, Рашит) то бил врага из засады, то лез на него грудью, то летал, то без устали плавал. Вино было на редкость крепким, и собутыльники охотно принимали эти рассказы на веру. Только Адамура, недаром называвшего себя «старым воробьем, которого на мякине не проведешь», порой коробил грубый вымысел. Но Адамур не считал нужным смущать своего охмелевшего гостя неуместными замечаниями.

Наконец (и в Сакене полагают, что всякая пирушка должна когда-нибудь кончиться) Рашит, опохмелившись утром, направил свои стопы, так сказать, в родной дом, к тетушке.

Он шел задворками, пребывая в отличном настроении. Лихо заложив руки в карманы брюк, он насвистывал веселую песенку.

Рашит двигался вперед без определенной цели, если не считать самого, казалось бы, естественного чувства, влекущего человека в лоно семьи, которую не видел несколько лет. Впрочем, родственные чувства не слишком одолевали его. Ибо как только он поравнялся с парниками и услышал звонкий женский смех, он мгновенно свернул с пути.

На грядках работали девушки. Несколько парней перемешивали прелый навоз с землей. В стороне подогревали просеянную смесь, и серый пар густо стлался по земле.

Кама разравнивала грядку; руки у нее по локоть были запачканы землей. Напротив на корточках сидела Нина, пробуя палочкой глубину рыхлого слоя земли. Девушки обменялись быстрым взглядом, заметив приближение статного парня. Кама поправила платок на голове. Нина слегка изменила позу. Что до остальных работников, то каждый из них по-своему реагировал на появление незнакомца. Кажется, только Дауд, вводящий парниками, проявил полное безразличие к этому событию, и то благодаря своей близорукости. Он тщательно осматривал рамы, нагибаясь к ним так близко, что касался усами стекол.

Рашит торжественно провозгласил:

- Мир дому сему! Хенде хох!

Девушки недоуменно переглянулись, но по их улыбкам было ясно, что к этому парню они отнюдь не питают враждебных чувств.

— Это Рашит,— шепнула Каме Нина, и обе, слегка привстав, поздоровались с ним.

— Доброе утро! — сказал Дауд, мигая близорукими глазами. Приблизившись к гостю почти вплотную, он воскликнул: — Какими судьбами, Рашит?!

Рашит бегло оглядел девушек. Он улыбнулся Нине — дескать, узнаю. Но вот промелькнуло полуопущенное лицо Камы,— Рашит скрипнул зубами (знак чрезвычайного интереса) и задержал на ней свой взгляд, острый и наблюдательный.

Послав Каме еще один пламенный взгляд, который должен был окончательно сразить ее, Рашит принялся расспрашивать Дауда о делах. Он говорил пренебрежительным тоном человека, выдавшего виды.

— Землю готовишь, старик?

Дауд, обрадованный тем, что может похвастать работой своих друзей, готов был посвятить молодого человека во все тайны своего ремесла.

— Слушай, Рашит, я могу открыть тебе наш секрет.— Дауд хитро подмигнул и облизнул потрескавшиеся на ветру губы.— Разумеется, между нами... Ты заметил,— так рано мы еще ни разу не принимались за рассаду?.. Знаешь, что это значит?..

Старик долго и обстоятельно рассказывал о положении дел в парниковом хозяйстве. Полсотни тысяч корней — таков план. Однако Дауд решил удвоить эту цифру. Хорошая рассада — значит хороший урожай. Разумеется, далеко еще до настоящих урожаев, до тех, что в долинах. А впрочем, и здесь, в Сакене, пора подумать над тем, чтобы побольше добра накапливать. Стало быть, и парниковое хозяйство подтягивать надо. Каково?

Дауд подбоченился и важно запрокинул седую голову.

— А для чего? — спросил Рашит рассеянно. — К чему лишние полсотни тысяч?

— Как к чему? Будет лишний табак... И вообще — при желании можно и продать рассаду...

Рашит невозмутимо сплюнул в сторону и протянул старику руку.

— Излишки забираю я. Идет?

Старик поразился.

— Ты?

— Да...— Рашит наклонился к Дауду и сказал громко, чтобы слышали все: — Я буду носить их в петлице... Вместо цветов!

Девушки дружно прыснули со смеху.

Рашит доволен своей остротой. Но ему неловко перед стариком.

— Шутки в сторону...— говорит он, как бы извиняясь.— Хотите, я помогу вам?

Дауд пожал плечами и снова принялся за свои рамы. Рашит подсел к девушкам.

— Дайте мне работу,— попросил он.

Нина указала ему на ведро.

— Милости просим, тащи сюда навоз.

Рашит смешно скривил лицо и, засучив рукава, бросился выполнять поручение. В один миг он наполнил ведро до краев и, притворно охая и ахая, приволок его к грядке. Девушки от души смеялись, глядя на него.

— Какой он веселый,— шепнула Кама Нина.

— Ну, девушки, рассказывайте про ваши дела.— Рашит руками разравнивал землю, разминая пальцами комочки. — Как живется, работается? Как любитесь?

— Как видишь, трудимся,— отвечала Нина. — Наш хозяин (она кивнула в сторону Дауда) очень строгий. А нынче — просто не подступись! На работу почти что зимой вывел, снег еще лежал... Скоро будем сеять...

— И он не жалеет вас? — Рашит улыбнулся Кама и шепотом заметил: — Какие ручки...

Девушка густо покраснела. Она сделала вид, что углубилась в работу. Рашит не оставлял попытки вызвать ее на разговор. Но тут некстати подошел Дауд.

— На тех грядках я вижу поросль,— сказал он.— А на раме, видите, стеклышко разбито? Как бы ночной морозец не прихватил нежную зелень. А?

Дауд послал девушек к парникам.

— Чтобы ни одной травинки, понятно? — сказал он наставительно.— Не траву сеем, а рассаду. Кама, ты приготовишь раствор, польешь молодые побеги. Живо!

— Что это за раствор? — спросил Рашит Каму.

— Молодой человек, — крикнул Дауд, — перестань болтать, я запрещаю ухаживать за нашими девушками. Не отвлекай их от дела.

— Слышите? — Нина стала между Камой и Рашифом. — Сердится Дауд... Еще больше рассердится мой брат. — Она хитро подмигнула Рашифу.

— Брат? Расстегните мне ворот, — сказал Рашит, — а то я задохнусь от ревности.

И Рашит с гиком побежал к колодцу, громыхая пустыми ведрами.

— Какой он смешной, Нина, — сказала Кама.

— Ты ему понравилась.

— Не думаю.

— Он остался здесь из-за тебя, — настаивала Нина.

Кама махнула рукой и пошла поливать рассаду.

Рашит бегал, как черт вокруг костра, крича:

— Нажимай, ребята! Наша берет! Хенде хох!

Дауд отметил ту живость, которую внес в работу Рашит. «Парень что надо», — сказал он про себя. Но спустя час его утомила кутерьма, поднятая Рашифом, и старик начал коситься на чересчур бойкого парня. Однако девушки были очень довольны им: и работали и веселились. Рашит таскал по четыре ведра, по-военному командуя:

— Оружие вперед! Прицел двадцать! О-гонь!

И пустые ведра с грохотом катились по земле.

10

Приснилось Кесоу, будто он поднимается на большую, крутую гору. Он куда-то торопится, и ему не хватает воздуха. Открыв глаза, он увидел перед собой серый четырехугольник окна — и вскочил. Зажег копилку. Часы показывали около пяти.

Кесоу быстро оделся и спустился в кухню, где у очага, тлевшего всю ночь, лежал отец. Несмотря на ранний час, старик уже держал трубку в зубах.

— Ты чего вскочил ни свет ни заря? — спросил он сына.

— Пора, отец. Неудобно приходить последним...

Старик, ворча, начал одеваться.

— Скажи сестре, пусть сапоги тащит.

Нина спала в соседней комнате. Пухлые губы ее двигались во сне, и Кесоу даже прислушался, не говорит ли она чего. Но Нина дышала ровно, сон был глубокий, и брату стало жаль будить ее.

— Ну ладно уж... — Кесоу дотронулся до руки сестры и осторожно потряс ее.

Девушка повернулась на бок, на мгновение снова зарылась головой в подушку, но тут же открыла глаза.

— Кончились сладкие денечки, — сказал Кесоу. — Вставай, пора и за работу... Весна!

Бесцветное, точно из полотна скроенное небо распростерлось над землей. Только через полчаса осветятся вершины Клыча робким светом, а гора Гуагуа все еще будет стоять суровой тенью на пути солнечных лучей, идущих с востока.

Кесоу любил эту пору в Сакене, когда явственней всего ощущается мощное дыхание нового дня, казалось несущего с собой не только свет, а и новые мысли, порывы, желания...

Первым делом Кесоу с Екупом осмотрели плуг — он оказался в полной исправности. Старик пощупал холодное железо, несколько раз удовлетворенно прошелся вокруг плуга. Но вид буйволов явно пришелся ему не по душе.

— Отощали за зиму, — заметил он. — Разве корма на них напасешься?

Кесоу не согласился с ним, сказал, обращаясь скорее к себе, нежели к отцу:

— Странные мы люди... Избалованы природой... Ждем всего от нее, как нищий подачки... На скотину как на бурьян смотрим... Пусть, дескать, сама ищет себе корма. Нет того, чтобы на зиму травы побольше или сена приберечь. А луга у нас покосные, расчудесные...

— Ишь ты! — Старик удивленно покосился на сына. — Где же это слыхано — завтраки и обеды для скота готовить?!

— В том-то и печаль, что у нас не слыхано.— Кесоу надел ярмо на послушных буйволов.— Пошли, что ли?

Плуг с шумом покатыл по ровному двору.

На поле еще никого не было. Сиротливо стояли прошлогодние ожинки кукурузы, лениво стлался утренний туман.

Кесоу распряг буйволов. Старик присел на корточки, завоzilся с кисетом, а сын пошел добывать хворостину подлиннее.

Скоро собрались все члены бригады. Гудал привез плуг на арбе. Лемех блестел, как зеркало.

— Настоящая бритва,— похвастал Гудал.

Антон курил самокрутку, поеживаясь от утренней свежести. Пожилые крестьяне, окружив старика Мирба, перебрасывались шутками.

На той стороне поля показался человек. Он направлялся к бригаде, часто останавливаясь и пробуя ногой почву. Подойдя поближе, пробасил:

— Земля вполне готова... Здравствуйте, товарищи!

— Доброе утро, Константин!

— Здравствуй!

Константин отозвал в сторону Кесоу.

— Твоя бригада первая вышла. Я обошел все село.

Кесоу пожал ему руку, признательный за похвалу.

— Скажи им пару слов. Напутствие, так сказать,— попросил Кесоу.

Константин отмахнулся.

— Уволь, уволь... Скажи сам, а мы послушаем.

Кесоу хотелось сказать что-нибудь простое и в то же время торжественное, благословить на труд, подобно тому как на фронте командир обращается к бойцам перед наступлением. Испытывая понятное волнение, Кесоу обратился к Константину с неммым вопросом. Константин сказал тихо:

— Урожай, высокий урожай... Клянись прежде сам...

Кесоу кивнул головой: дескать, согласен.

— Товарищи!

Он крикнул, точно перед ним стояла по крайней мере тысячная толпа, а не бригада в два десятка чело-

век. Люди удивились неестественно громкому голосу своего бригадира.

— Товарищи,— спокойнее повторил Кесоу,— мы выходим в поле. Большое событие. А почему большое? Разве до нас не пахали, не сеяли? И сеяли и пахали. Но мы будем бороться за необыкновенный урожай, мы выходим в поле с желанием показать нечто новое... Не сто пудов, а...— он сделал паузу, как бы собираясь с духом,— а пятьсот пудов... скажем... Мы страшного врага в войну одолели, мы всему миру чудеса показали. Неужели мы с землею не сладим, хотя бы с сакенской землей? Мы говорим: сотни пудов — не меньше! Не меньше!

Крестьяне смущенно переглянулись — хватил бригадир через край.

— Скажем тебе спасибо,— насмешливо проговорил Антон.

Раздались смешки.

— Даю слово, Антон, пятьсот, а может, и больше... И никакого фокуса тут не будет,— с горячностью в голосе продолжал Кесоу.— Поле, значит, обрабатываем как следует, а главное — удобрение...

— Навозу не напасешься,— заметил кто-то.

Кесоу возразил:

— И навоз нужен. По всем дорогам и лугам собирать будем, не говоря о дворах. Но этого мало. Надо найти удобрение, чтобы под боком было в большом количестве и недорого стоило. Верно говорю?

— Чего уж вернее! — отозвался Гудал.— Все понимаем.

Однако чувствовалось, что не все понимают Кесоу. Урожай — дело хорошее, что и говорить. Но ни с того ни с сего обещать полтысячи пудов казалось странным и непонятным.

Екуп чувствовал, в каком затруднительном положении находится сын. Воспользовавшись наступившей тишиной, он сказал:

— Удобрение — кто не знает? — первое дело в нашей работе. Откуда взять-то его — вот загвоздка.

Кесоу горячо выпалил:

— Знаю, знаю, где взять. Есть у нас камень — чудо-камень.

И он разразился похвалами по адресу скалы, име-

нуемой скалой Милосердия. Но чем больше он говорил, тем больше возникало сомнений: а вдруг все это преувеличение? Ну, пусть скала фосфоритная, это так. Но фосфора какой процент, кто скажет? Кесоу понимал, что ему не доверяют. На какое-то мгновение он сам испытал недоверие к своему замыслу. В самом деле, что, если скала обманет? Какой тогда выход?

— Садитесь,— говорит он, чтобы выиграть время, забыв, что и присесть-то не на чем.

К нему подходит Константин. Он говорит вполголоса:

— А обработка? А уход за полем? Своевременный сев? Пахота, прополка — со старанием, с душой? Разве этого мало?

Кесоу глядит через плечо на Константина, кивает ему благодарно головой. Разумеется, уход — это очень много! И Кесоу, воспрянув духом, гордо расправляет плечи.

— Дорогие товарищи! Допустим, с удобрением не выйдет у нас (он улыбнулся — дескать, невозможное допускаем), допустим... Мы говорим... агроправила говорят: паши на глубину двадцать — двадцать пять; паши дважды, тщательно борони, прополку делай не скупясь, почаще, сорную траву возненавидь, как своего кровного врага, гони ее с поля прочь!.. Дальше. Опыт лучших колхозов говорит: сей рядами, ровными рядами на определенном расстоянии. Кой-кому, я вижу, смешно. А вы сойдите с этой горы в долину, посмотрите, как там люди работают, и тогда скажете положу руку на сердце: у них куда лучше дело идет, чем у нас.

Крестьяне закивали головами, вздохнули.

— Теперь поняли? — с видом победителя продолжал Кесоу. — Не так мы работаем. Махнули мы рукой на нашу землю: дескать, не было от нее толку прадедам, не будет и нам. А вот давайте по-настоящему, дружно возьмемся и тогда — я клянусь! — с гектара не меньше трехсот пудов добудем. Ей-богу! Если вся страна вперед идет, не пристало нам, сакенцам, в хвосте плестись.

Константин поддержал его.

— Дело, дело говорит,— заметил он.

Антон вышел вперед.

Он стиснул пальцами шею и, притворно задыхаясь, произнес:

— Ежели мы работой себя удавим, надо думать, урожай отменный соберем,— и, смешно подпрыгивая, скрылся в толпе.

Кто-то засмеялся приглушенным смехом.

— С тобой у нас особый разговор будет... Слышишь? — закричал Кесоу вслед Антону.

Константин напоминающе дотронулся до его руки.

— Сейчас,— сказал Кесоу. Он снял фуражку и, указывая рукой на поле, воскликнул: — Теперь начнем!

Екуп был сердит на сына. «Что он, спятил, что ли? — думал он.— Зачем хвастает?!» Но ему не хотелось при всех одергивать бригадира. «Вернемся домой — поговорим», — решил он.

Кесоу обратился к бригаде с предложением:

— Поле надо освободить от ожинок и крупных камней. Камни сбрасывайте в тот овражек, ожинки сжечь, сложив в кучи. Вот наша работа.

— Товарищи члены бригады! — сказал Константин.— Вы первыми вышли на весеннюю пахоту. Завтра вашему примеру последуют и другие. Не отставать! — такова наша задача.

Бригада выразила шумное одобрение. Кто-то затянул песню, и крестьяне с пением рассыпались по полю.

«Сделан только первый шаг,— думал Кесоу.— Но ведь никогда еще в Сакене люди не выходили так рано на пахоту. А это чего-нибудь да стоит».

11

Константин и Кесоу взобрались на холмик и наблюдали, как полководцы за полем битвы. Гудал со своими людьми двинулся на участок, что за ближним лесом. Антону отвели противоположный конец поля, чтобы поближе был, на виду. Все разошлись по своим местам.

— Все это хорошо,— сказал Константин, просматривая какие-то бумажки. — Завтра, я полагаю, выйдут на работу и другие...

— Важно, Константин, очень важно, чтобы именно завтра.

— Так и сделаем. Но я о другом... Как же это, Кесоу, насчет урожая? А? Чтоб не впустую... Понимаешь?

Кесоу, не говоря ни слова, берет под руку Константина и увлекает его за собой.

— Идем, идем, — говорит он, — будем совет держать...

Кесоу сворачивает на тропу. Тропа вьется по косогору, спускается к небольшой лощинке, потом поднимается вверх. Она бежит впереди, точно огромная, желтого цвета змея, скрывающаяся в рощице.

— Ты понимаешь? — взволнованно говорит Кесоу, — все время сверлит меня мысль о скале, покою не дает... побывал я в районе, значит, возвращаясь домой после фронта. Только и слышно: мастера урожая, высокий урожай... Дай, думаю, и мы в нашем Сакене пораскинем мозгами — не сидеть же сложа руки. Когда б не закапризничала моя нога, еще осенью взялся бы за это дело...

Давно подумывал Кесоу о скале, что высится в пяти минутах ходьбы отсюда. Перед самой войной он все подготовил для того, чтобы попробовать силу ее; из головы не шла рукопись чахоточного чиновника. Вообще в Сакене и до войны шли разговоры об этой скале, кто-то писал о ней в районную газету, а колхозный кузнец даже пытался смастерить дробилку. Но тут ударила война, судьба забросила Кесоу в далекие страны, кузнец погиб в боях, а сакенцам было не до скалы — хватало других забот... И вот, когда он возвращался с фронта домой, где-то у западных границ нашей родины мысль о скале с новой силой взволновала молодого горца. Он лежал на самой верхней полке вагона и от нечего делать рассматривал темный, составленный из узеньких досок потолок. А внизу под ним, склонившись головами друг к другу, беседовали бывалые воины. Но не о прошлом шла между ними речь, а о будущем. О будущем думал и Кесоу. Он уже видел себя дома, у самого подножия Кавказского хребта, и явственно видел скалу и дерево на той скале...

Кесоу и Константин шли быстро, плечом к плечу, едва уместаясь на узенькой тропинке.

Как по команде, они разом перемахнули через ручеек, выбрались на полянку, и прямо перед ними оказалась высокая сероватая скала. По краям она была обрамлена зеленью, а на самой верхушке росло деревце, кривое, как вопросительный знак.

Кесоу перевел дух. Он снял фуражку и откинул волосы со лба.

— Слушай,— начал Кесоу, озираясь, точно заговорщик.— Земля у нас плохая, немногим лучше морского песка. Из нее все соки повыжимали наши деды и прадеды. Чтобы жить на ней по-человечески, надо ее удобрять вот как,— он провел рукой по горлу.— Но откуда удобрение взять? Вот задача!.. Ни дорог, ни мостов, хоть самолетами вези. А в голове у меня — сказ про скалу. Недаром назвали ее наши прадеды скалой Милосердия... Что, если посыпать поля кусочками этой скалы?

— Этими камнями? — перебил Константин.

— Зачем камнями? Их надо размолоть, по-моему... Ну, кувалдой раздробить, что ли? Ведь скала-то необычная.

Константин вместо ответа взял два обломка, валявшиеся у ног, и, ударив один о другой, с сомнением взглянул на Кесоу. В самом деле, не так просто раздробить кувалдой в порошок крепчайшую скалу. Константин поиграл обломками, подкинул их кверху, даже не поинтересовавшись, куда они упали. Он обтер ладонь о ладонь, покровительственно похлопал Кесоу по плечу и сказал:

— Ты очень горячий человек.

— Это не ответ.— Кесоу говорил жестко, подчеркивая слова.— Есть суперфосфат — его на заводах делают. А вот то, что ты видишь, бог посылает, так сказать, в готовом виде. И называется оно — естественный фосфорит.

— Не слыхал, ей-ей, не слыхал,— признался Константин.

— Ты у нас секретарь и за председателя колхоза нынче. От тебя, стало быть, многое зависит. Никуала нам не пример — он пальцем шевельнуть ленится... Слушай, я предлагаю организованно начать это дело. Выдели людей, арбы, сообщи народу — всем колхозом

сподручнее.— Кесоу говорит уверенно и тут же развивает план организации работ по размолу полезного камня.

Константин долго и терпеливо слушает его и наконец прерывает.

— Дорогой друг! — говорит он мягко.— Хорошее начинание. Доброе. Но дело-то не легкое, обдумать надо.

— А весна? — нетерпеливо вскрикивает Кесоу.— Весна-то на носу!

— Не эта, так другая будет,— спокойно отвечает Константин.— А совет мой таков: дело изучить, подумать, может, опытный участок наметить... В районе поговорить... с агрономами... Вот ты хорошо говорил насчет обработки поля и ухода за ним. Опыт передовых, значит... Это очень хорошо.— И, помолчав, добавляет: — А в скале ты твердо уверен? Как ее там, фосфориты?..

Кесоу точно холодной водой окатили — он нахмурился и, не произнеся больше ни звука, повернул назад. Константин что-то говорил ему по дороге, успокаивал, точно оправдываясь перед ним. Но Кесоу ничего не слышал — его смертельно огорчили... Человек, можно сказать, душу свою открыл, как бы в любви объяснился, а от него вежливо отвернулись. Это обидней, чем пощечина, нестерпимо большей любой боли. Ему не верят — это ясно...

И вот они снова на поле. Дымка с земли сошла, и первые лучи солнца полоснули ее, словно клинками. Запели в небе птицы, и день занялся яркий и теплый, почти летний день.

— Кесоу,— сказал Константин, как-то виновато улыбаясь (он понимал, что обидел молодого человека),— действуй обдуманно. Со скалой успеем. Главное — обработка, сроки, душа в работе... Понял? Ты же сам говорил: и без скалы урожай добудем.— Он указал широким жестом на поле, простиравшееся перед ними, и торжественно произнес: — Не виданный в горах урожай!

Кесоу бросил на него не очень-то ласковый взгляд. Проворчал сквозь зубы:

— Благодарю за совет, товарищ секретарь... Я, кажется, обойдусь и без него...

Кама пребывала в том особенном настроении, когда человек не скажет, отчего у него так радостно на душе. И не потому, что это тайна какая-нибудь. Нет, вовсе не потому! А просто не знает человек и сам, отчего, по какой причине так хорошо ему. Может быть, причиной прохладный и очень светлый лунный вечер, ровный, голубоватый свет вокруг — на деревьях, на горах, на дороге? Может, оттого так хорошо, что рядом идет немного сумрачный, но очень хороший человек Кесоу Мирба? Или, может быть, двадцать первая весна будоражит и без того беспокойную грудь?

Так или иначе, Кесоу ощущал необычайную живость своей подруги. Краешком уха прислушиваясь к ее речам, он неотступно думал о том, что так заботило его. Снедаемый собственными сомнениями, он мысленно вступал в горячий спор с Никуала и с Константином, со всеми, кто посмел усомниться в его затее. Что же касается, как сказали бы деловые люди из района, конкретных предложений, то тут дело обстояло не очень-то ясно. Кесоу понимал, что вся затея с удобрением кукурузного поля разлетится в прах, если скала Милосердия окажется лишь горделивым произведением природы, лишенным всяких полезных качеств. С другой стороны, можно обойтись и без скалы, надеясь на руки свои, на умение крестьянина брать от земли все возможное. Говоря откровенно, оставались еще огромные неиспользованные возможности и без скалы и без удобрений.

Так или иначе, дело осложнилось, оно, как говорится, упиралось в качество скалы, а качество труднее всего определить в Сакене! Нужна специальная лаборатория, необходим анализ...

Кама от души смеялась, когда ее рассказ дошел до того места, где Рашит (речь шла о Рашите) поднял четыре ведра и покатыл их по земле. Кесоу только сейчас понял смысл ее речей, до того доносившихся к нему отдаленным эхом.

— Постой,— сказал он,— а что он делал у вас, этот Рашит?

— Как что? Разве ты не слышал? Я тебе целый час рассказываю. Он вызвался помогать нам.

Рашит — большой весельчак. Нина и я нахохотались до слез.

— Ты кокетничала с ним?

Кама вздернула носик.

— Ну вот столечко, не больше!

Они сделали несколько шагов молча.

— А этот индюк Никуала? — спросил все еще сумрачный Кесоу.

Кама сообщила, что он явился к ним домой, интересовался их житьем-бытьем, сказал, что проходил мимо дома и забрел случайно.

— Врет он, — заметил Кесоу.

— Он обещал нам снизить налоги, говорит, есть такой закон о престарелых.

— А кто у вас престарелый?

— Отец, мать.

— Разве ты не понимаешь, что он морочит тебе голову? Просто хочет подольститься к тебе! — воскликнул горец. — Нет у него власти налоги уменьшать. И твои родители вовсе не престарелые.

— А если есть закон? — возразила Кама.

Но Кесоу и слышать об этом не хотел. Он осыпал упреками девушку, которая, по его, Кесоу, мнению, так легкомысленно принимает ухаживания. Казалось, его ядовитым речам не будет конца. Кама пыталась было возражать. Исчерпав все средства убеждения, она попросту заплакала. Кесоу стало жаль ее, он привлек ее к себе, она послушно подчинилась.

Он прижался щекой к ее прохладной щеке и шептал на ухо нежные слова, смысл которых, хотя они и были несвязны, не остался бы неясным даже для самой бестолковой девушки. Этого было достаточно — Кама успокоилась. И они пошли дальше, примиренные, довольные друг другом. Он был рад, что она так добра и нежна, а главное — послушна. И влюбленные, казалось забыв обо всем на свете, шагали в обнимку, освещенные лунным светом.

Первой нарушила молчание Кама.

— Почему ты ничего не расскажешь о себе? — ласково спросила она.

— А что рассказывать-то? Дела как дела. Ты ведь знаешь, начали мы пахоту. Иные говорят — рановато... Одним словом, на удивление всему Сакену. А мы

что? Мы по правилам действуем... С Константином поцапались малость...

— Вот это напрасно.— Кама освободилась из его объятий.— Он хороший человек. Если ты с ним не уживешься, пеняй на себя!

— Не в том дело, Кама. Совсем другое. Не верит он мне. Надо быка за рога брать, а он...

Кесоу поведал ей свои замыслы. Скала необычная — это факт. Фосфориты в естественном виде, целый клад сельхозснаба под боком! А Константин не хочет понять, как это важно.

— И все-таки ты не должен с ним ссориться, — говорит Кама.— Он хороший.

Они приблизились к той черте, у которой она обычно освобождала свою руку из его руки, закладывала растрепавшиеся волосы под косынку и пугливо озиравлась вокруг. Кесоу сегодня не выказывал особой торопливости. Он увлек девушку в тень огромной чинары, и они уютно пристроились у черного ствола.

Воздух был необычайно чист и свеж. Из долины реки Сакен доносился мерный рокот — то шумела волна на перекатах.

Луна отражалась на всем пути следования извилистой Сакен, серебря ее волны.

Влюбленные наслаждались торжественностью раскинувшейся перед ними панорамы, и только Кама настороженно прислушивалась к этой тишине, вздрагивая при каждом шорохе на дороге.

— Слушай,— сказала она, оправившись после одной из ложных тревог,— ты не тщеславный?

Кесоу парил в этот момент где-то очень высоко, может быть, у самой вершины горы Гуагуа, и не сразу понял вопрос.

— Как ты сказала? Тщеславный? — удивился Кесоу.— Не знаю... Не думаю... Почему ты спрашиваешь?

— Так просто.

После его настойчивых просьб она объяснила, в чем дело.

— Никуала говорил нашим, что ты большой хвастун. Славу любишь.

— Он сказал, конечно, грубее?

— Возможно.

Кесоу задумался.

Слава! Не слишком ли громко?

— Как тебе сказать?.. Вот я воевал... Думал о вас, о нашем Сакене... А о славе?.. Нет, не приходило такое в голову.

— Почему ты не носишь своих медалей?

Кесоу потрепал ее по щеке.

— Буду, если ты пожелаешь, а по праздникам — обязательно...

— Нет, ты не хвастун... — тихо проговорила Кама.

Он снова привлек ее к себе, и она доверчиво положила голову ему на грудь. Они стояли безмолвные, как этот ночной мир, довольные друг другом и счастливые.

13

Работа в бригаде спорилась. Кесоу никому спуску не давал. Чуть кто зазевается — к ответу. Чаще всего доставалось Антону. Пожалуй, Антон был самым трудным членом бригады.

Антон выходил на поле позже всех: то он будто сам болен, то дети якобы всю ночь кашляли, спать не давали...

— Я такой человек, — говорил он Гудалу, осыпавшему его справедливыми упреками. — Ты уж меня не трогай... Я сам как-нибудь. Жил, слава богу, не помер. И нечего меня без конца попрекать... Я, брат, свободу люблю — вот что!

Кесоу подсел к спорящим.

— А ну-ка, — сказал он, — скажи, друг, какую ты такую свободу любишь?

— А как же! — воскликнул Антон. — Я, брат, люблю, чтобы я — сам, своим умом, а не чужим. Учат меня, точно я никогда кукурузу не сеял и сроду ее не видел. Нет, я, брат, своим умом!

— Ну, а если своего недостает?

— Что ты сказал? — Антон залился краской, вскочил с места с непривычным проворством.

— Послушайте, — сказал Кесоу, обращаясь к крестьянам, окружавшим их кольцом. — Наш друг Антон заявляет, что хочет жить только своим умом. А я говорю — он лодырь и лентяй! Несколько лет

швад, когда Антон жил своим умом, он прозябал в глинобитной хижине. Но вот является он к нам, в колхоз, и все мы помогаем ему строить настоящий дом. Антон становится на ноги и тогда-то задирает нос...

— Ничего подобного! — запищал Антон.

— Товарищи, — продолжал Кесоу, отмахиваясь от режущего ухо голоса, как от мошкары, — я спрашиваю: где же благодарность?

— Правильно, правильно, — подтвердил Гудал.

— Надо из него песочек вытрясти, — подал кто-то голос.

Антон молчал, теребя в руках кисет. Кесоу становился все более решительным, чувствуя, что крестьяне хорошо понимают его и стоят на его стороне.

— Вот что, Антон: ежели тебя тяготит моя бригада — скатертью дорога, никого силой не держим... Чур, потом не жалеть! Коли работа с нами по душе тебе — брось шутки шутить, берись за дело. Понял?

Крестьяне разошлись по своим местам. Антон, нахлобучив шапку, последовал примеру других.

В полдень в бригаду явился Никуала. Он покосился на поле, небрежно шнул ногой ком земли, вывернутый лемехом.

— Работаем? — сказал он.

Кесоу подошел к нему. Поздоровались.

Никуала растерянно прошелся по вспаханной земле, косясь на борозды.

— Сколько?

— Глубины? Двадцать — двадцать пять сантиметров, — ответил Кесоу.

— Удобрять камнями будешь?

Кесоу чуть не просверлил председателя острым взглядом.

— Возражаешь?

— Я? — Никуала пожал плечами. — При чем я? Разрешения ты у меня не брал... Получится хорошо — спасибо... За плохое бить будем.

— Ну, это уж как полагается... — Кесоу взял Никуала под руку. — Не беспокойся. Я все изложу на бумаге, подам вам... в Совет...

— На бумаге? — спросил удивленно Никуала (он побаивался всяких бумаг).

— Ну, да, заявление... объяснение. Назови как хочешь...

Председатель неопределенно хмыкнул: дескать, ну что ж, объяснение так объяснение. Он остался доволен работой бригады.

— Вижу, Антон трудится на славу,— заметил Никуала.

— Разъяснил ему!..

Никуала распрощался, сказав, что уходит к другим бригадам, туда, где дела обстоят похуже.

— Начальство пребывает на должной высоте,— провозгласил Кесоу и с силой приналег на плуг.— Песню! — воскликнул он.

Сакенца не надо долго упрашивать спеть что-нибудь. Сакенцы — любители пения. И крестьяне запели хором, сначала нескладно, а потом все стройнее и стройнее. Они пели — и казалось, силы от этого прибавляются.

И люди, живущие пониже этой местности, с удивлением спрашивали:

— Где это поют?

И пока они думали-гадали, проплывала над ними, словно птица в синеве, знакомая песня:

На лужке зеленом под горой
Стоит олень,
Олень молодой...
Не видал ли ты оленя
Под горой?
Ах, ждет подругу свою олень,
Ждет подругу
Весь день, весь день...
Не видал ли ты оленя
В тот весенний день?..

14

Появление Рашита в Сакене в пору, когда путь сюда считается совершенно непроходимым, послужило темой для бесед у домашнего очага. Как он шел, как преодолел все препятствия? Отважился ли один, или помогали ему отыскивать путь опытные охотники? Все это было очень интересно.

Рашит ничего не объяснял, отшучивался и намекал на какие-то старания районных властей — де-

стать, были приняты особые меры. Тот, кто плохо знал Рашита, почесывал затылок: эге, мол, шишка, должно быть, большая этот парень! Но еще больше толков вызвало намерение Рашита открыть при колхозе сапожную мастерскую. «Я буду модельным сапожником», — не без гордости заявил он. Модельный сапожник в Сакене — неслыханное дело! Сначала никто этому не поверил. Пришлось обратиться за разъяснениями к секретарю сельского Совета. Парнишка (насморк к тому времени у него уже прошел) подтвердил, что Рашит будет заведовать новой сапожной мастерской. Как ни говорите, а весточка поразительная!

Но вот разнесся еще более волнующий слух — о необыкновенной затее Кесоу Мирба; были названы предположительные цифры урожая кукурузы и табака — и толки о Рашите отошли на задний план, потерялись в более мощной волне людских пересудов. К новой вести сакенцы отнеслись с живым интересом. В самом деле, можно не верить Кесоу, можно не соглашаться с ним, но мечта о невиданном урожае уже сама по себе была прекрасной.

На вопросы, обращенные к председателю сельского Совета, насчет хитроумных планов молодого бригадира Никуала отвечал нечленораздельно. Видимо, он не решался одобрить эти планы. Но и порицать ему тоже не хотелось, ибо неизвестно, во что все это могло вылиться в конечном счете. Положение, как говорят в Сакене, хуже перепелиного: и сидеть нельзя, и взлететь опасно...

Планы Кесоу относительно скалы Милосердия, как это ни странно, больше чем кого-либо другого заинтересовали Адамура, заведующего ларьком.

— Рашит, — спросил он как-то своего друга притворно-равнодушным тоном, — в Серебряном Лугу изобретают порох?

— А может быть, динамит? — ответил вопросом на вопрос Рашит, мысли которого пребывали в хаотическом состоянии после очередной выпивки.

— Ценная, говорят, скала... эта самая, — задумчиво протянул Адамур. — Удивительно!

Но Рашит был далек от земных дел. Не обращая внимания на слова своего собутыльника, он провозгла-

сил неожиданный тост, не имевший ни малейшего отношения ко всему вышесказанному:

— За любовь! — и залпом опорожнил стакан.

Адамур понимающе подмигнул ему.

— А ведь земля-то моя... — продолжал он, помолчав, и со вздохом добавил: — была.

— Какая земля, Адамур?

— И земля и скала, что на ней, — мои. Нынче, друг мой, из нее состояние выколачивают будут.

— Ну и что же, что состояние? Кесоу не дурак, он тебе шиш покажет.

— Неужели? Все-таки он мне сродни...

Рашит показал Адамуру донышко стакана (недвусмысленный намек кутилы). Стакан наполнился вином.

— Адамур, поговори с ним, поплачь, похнычь, может, и перепадет малая толика... Сакен — медвежья берлога, вдруг повезет... Учти — это Сакен, Сакен, неповторимый в своем роде, может быть, даже единственный...

— Тертый он, Кесоу-то, — сокрушенно произнес Адамур, — говорят, полмира пешком обошел... Ну, будь что будет!

Они чокнулись.

— За первоклассную мастерскую! За твои любовные успехи! Слышал, ты здорово приударяешь за этой Камой. Если припекло — за чем дело стало? — наклонившись к нему, тихо сказал Адамур. — Бурка, добрый конь, хорошие друзья — и невеста в кармане!

Рашит посмотрел на багровое лицо Адамура туманным взглядом.

— Ежели помощи попрошу?..

Адамур протянул пухлую волосатую руку.

— Вот она! — воскликнул он.

15

Пахота приближалась к концу. Еще бы несколько ясных дней!

Но погода заметно портилась. С юга нагоняло тучи. Они проносились над Сакеном, кропя землю мелкими каплями дождя...

С утра до самого вечера Кесоу пропадал в поле. Забот хватало: каждому укажи, что и как, следи за

глубиной вспашки, все предусмотреть к завтрашнему дню. Участком своим Кесоу был доволен. Какая ни есть земля, а все-таки не очень разбросана. А что она рыхлая, сплошной краснозем с песочком — это Сакену уж так при сотворении мира повезло. От сакенской земли, если положиться на ее милость, можно ждать только подачки, а не настоящего урожая. Другое дело, если не потакать ей, а быть по-настоящему требовательным.

Гудал поторапливал буйволов. Его звонкий, пронзительный голос раздавался во всех концах поля; Кесоу к концу дня обычно присоединялся к Гудалу и вместе с ним возвращался домой.

Поравнявшись с бригадиром, Гудал извлек из кармана записочку и передал Кесоу.

— Что это? — удивился Кесоу.

На четвертушке тетрадной бумаги, окаймленной рамочкой, аккуратно выведено следующее:

Приглашение

Завтра, в воскресенье, просьба прийти.

Будет открываться электросвет.

К сему Г у д а л.

— Ого, прямо по-городскому, с билетами... Спасибо большое, — сказал Кесоу Гудалу. — Соорудили?

— Все это сын затеял. Сам неугомонный и меня подбивает на разные шалости. Приходи, повеселимся. Чего-то сомневаюсь... Неужели мой сынок электрический свет зажжет у нас в Сакене?

— За приглашение еще раз спасибо. — Кесоу спрятал бумажку, аккуратно сложив ее. — Теперь мы измерим глубину.

Кесоу воткнул в борозду палку с метой. Оба, и Кесоу и Гудал, наклонились к земле.

— Нет и двадцати. Плохо, брат, пашешь, — раздраженно выговаривал Кесоу. — Нажми-ка покрепче, не срами меня перед народом.

Гудал пытался поглубже загнать палку.

— Э, черт, — сказал он, сплюнув. — Да неужели два сантиметра тебя беспокоят?

— Да, беспокоят. На всякий случай имей в виду: два сантиметра глубже — хорошо, на два меньше —

это хуже, брат.— И, заметив, что на добродушном лице Гудала промелькнуло выражение обиды, продолжал уже более мягко: — Тебе неприятно? А что, если оскандалимся, не выполним своего слова? Мы должны пахать по всем правилам — об удобрении забудь. Представь себе, нет никакой скалы...

— Как так? — вскричал Гудал.— Как нет скалы? Кесоу встал (он сидел на корточках).

— Ну, всякое бывает, Гудал. А вдруг не получится у нас ничего со скалой. Тогда, значит, конец всему? Нет, мы и без скалы обойдемся. Понял? — Он поправился: — Может, меньше получится, но все же прилично будет. За триста пудов ручаюсь!

Он протянул руку. И Гудал, чуточку подумав, хватил о нее своей жесткой, словно вырезанной из доски, ладонью.

...К вечеру небо побурело. Подул ветер. По-осеннему похолодало. А потом как будто кто-то собрал все тучи на небе и разом выжал их над Сакеном: хлынул дождь — неприятный, колючий, словно падали не капли воды, а булавки.

В дождливые, темные вечера, если не тревожит завтрашний день, невольно клонит ко сну.

В такой вечер, когда ярко горит огонь в очаге, с треском разбрасывая во все стороны веселые искорки, представление о мире, пожалуй, ограничивается кругом семьи, глазающей на огонь. Мир в такие вечера будто за порогом кончается, там, где зияет непроглядная темень. И только где-то в глубине сознания живет мечта об утре, которое распахнет перед человеком двери на простор полей и откроет глазам прекрасный мир — мир без конца и края. И таким тесным покажется тогда дом с очагом на земляном полу и серой золой, колеблющейся на сквозняке!

...Дождь барабанит по кровлям сакенских домиков. Потoki устремляются по проторенным тропам, образуя ручейки. Люди с тревогой спрашивают себя: когда же это кончится? Наружу едва пробивается мигающий свет очага. Река Сакен вздувается. Еще немного, и с гор, что у верховьев реки, потекут потоки мутной воды. И наутро хуторяне из Серебряного Луга и Оре-

овой Балки, отрезанные друг от друга бурным потоком, будут переговариваться друг с другом с помощью многопонятных жестов...

Кесоу сидит у окошка, вперив взгляд в ночную тьму. Свет керосиновой лампы падает на стекло, по которому бегут струйки дождя.

Дома тихо. Спят отец и сестра. Под полом скулит собака, должно быть, мерещится ей неладное.

На столе разложены книги. Пальцы шарят по страницам, листают их. Спать не хочется. Немножко тоскливо. Вспоминается одна такая же ночь, ночь на фронте. Предстояло наступление. В землянке душно. На полевой сумке лежит чистый лист бумаги. Бумага сказочно бела даже при тусклом, неровном свете. Кесоу пишет письмо домой, и в его памяти встают родные, дом, хмурая Гуагуа, снежные зубцы гор, бурная река Сакен. Далеко они от фронта, за тысячи километров!.. Складывая написанное во фронтовой треугольный конверт и аккуратно выводя адрес, он размечтался в тот вечер о тихой жизни в родном селе, о южном солнце, о покое.

Наконец-то Кесоу дома! Вот оно, тепло отчего крова. Но где покой? Нет его! Видно, не так скроен Кесоу, чтобы жить на покое...

Кесоу достает тетрадь, вырывает из середины двойной лист. Он прохаживается по комнате взад и вперед. Два часа пополуночи. Все спят в Сакене, давно людям седьмые снятся сны! Может быть, во всем селе один Кесоу и бодрствует... Но он не может уснуть, им завладели воспоминания...

Года три назад эшелон, в котором ехал Кесоу, остановился под Москвой. Была летняя лунная ночь. Кто-то сказал, что видел Кремль. Кесоу взобрался на крышу вагона, там уже было тесно от народа. Все смотрели в одном направлении, на Кремль. Но как ни напрягал Кесоу зрение, ничего не мог разглядеть, должно быть, и другие не видели. Однако людям во что бы то ни стало хотелось увидеть кремлевские зубчатые стены, и все на крыше поражались хорошей видимостью.

Кесоу дождался, пока бойцы сошли с крыши, и долго потом смотрел туда, куда указывали, — на Кремль...

Он усаживается за стол, макает перо в чернильницу и размашисто пишет: «В партийную организацию села Сакен. На сегодняшний день...» Минута раздумья, и написанное зачеркнуто, а лист смят и выброшен под стол.

— Что, если в районную газету написать, потребовать помощи? — сказал Кесоу, обращаясь к безмолвным стенам.

И тут же готов заголовок: «Использовать местные удобрения». Удобрения? И словно из мрака вынырнуло лицо Константина. «А в скале ты очень уверен?» — точно спрашивает Константин.

После разговора с Константином стало очевидным, что без анализа не обойтись, — ведь речь идет не об огороде каком-нибудь, а о целом селе, об общем поле! Необходимо спросить совета у знающих людей...

— Нет, без района не обойтись!

Кесоу снова прошелся по комнате, поправил фитиль у лампы и, усевшись за стол, решительно склонился над бумагой, склонился надолго, может быть, до утра...

16

Кесоу проснулся позднее обыкновенного. И, как всегда, увидел над собой деревянный, потемневший от времени потолок и, как всегда, с интересом стал разглядывать его. А на стене, у кровати, играл веселый солнечный зайчик — отражение первых солнечных лучей.

Туч на небе как не бывало. Земля, насквозь пропитавшаяся за ночь дождем, быстро высыхала на солнце. Все в природе успокоилось, и только неугомонная Сакен, рыча, катила волны, и казалось, гневу ее не будет конца.

...Теперь уже решено: Кесоу пойдет в район, доберется туда во что бы то ни стало, несмотря на весеннее половодье. Он потягивается и сладко зевает. Потом достает со стола листок и просматривает его. На листке записаны различные соображения насчет повышения урожая.

Кесоу комкает бумагу и бросает ее под стол — она уже больше не нужна. Неприязнь к Константину, вне-

запно вспыхнувшая, поулеглась. В конце концов, что худого сделал Константин? Заставил серьезней к делу отнестись — и всего-то... А перед глазами яркий солнечный зайчик. А за окном светлый весенний день. Потянулся еще раз Кесоу — кровать заскрипела...

Вошла Нина. Она принесла чашку горячего козьего молока.

— Ты меня балуешь, — сказал Кесоу.

Нина придвинула стул к кровати, поставила чашку на стул.

— Пей маленькими глотками. — Она пошарила глазами по столу. — Ты что, писал? О чем?

Кесоу не ответил. Нина, разбирая бумаги, продолжала разговаривать сама с собою:

— Курил ты много... Дым. Хоть топор вешай... «Использовать местные удобрения»... Так... О скале, стало быть... Отец говорит, что это пустые выдумки. Смеется. А на людях — за тебя. Заявление. «В парторганизацию села Сакен»... А мы вчера с Камой тебя вспоминали.

Кесоу сделал вид, что последнее замечание не особенно его интересует.

— А Рашит все вокруг нее увивается.

Екнуло сердце сакенца. Кесоу со злостью хлебнул молока и обжегся.

— Черт с ним! — воскликнул он в сердцах. — Я глотку ошпарил!

— А ты не торопись... Не нравится мне Рашит.

— У, черт, что за молоко!.. Отчего же не нравится? Ревнуешь?

Нина смешно фыркнула.

— При чем тут я? Тебе бы следовало ревновать, а не мне.

— Ну и я ни при чем!

Скрывать по возможности свои нежные чувства к даме сердца — исконная манера сакенцев. Ни один влюбленный сакенец не признается открыто в том, что он влюблен, и никогда не покажет на людях своих чувств, тщательно пряча их под личиной равнодушия. Эта манера принята в горах и считается проявлением особой галантности; она, эта манера, и до сих пор является причиной многих недоразумений, ибо молодым

людям при такой их скрытности недолго остаться и в дураках...

— Папа ждет тебя,— сказала Нина, отложив бумаги в сторону.— А вечером вы пойдете к Гудалу?

Кесоу вспомнил о приглашении.

— Да, мы сходим...

Екуп сидел на ступеньках и массировал себе поясницу, ритмично раскачиваясь. Его лицо выражало блаженное состояние покоя, который обычно обретал старик, когда дождливая погода сменялась солнечными днями. Кесоу сообщил ему о своем намерении идти в город, к районным властям. К удивлению сына, старик не только не возражал, а даже обрадовался.

— Верно,— сказал он, кончая самоврачевание.— Пойди поговори, покажись людям... Будь я на твоём месте, я бы и землицы с той скалы прихватил с собой. Пускай агрономы проверят... Жаль, что мы на краю света живем, а то бы давно все уладилось с этой скалой...

— Там, внизу, по горло всяких удобрений, их привозят за тысячу верст. Там не то, что в Сакене!

— Выходит, не повезло Сакену,— сказал старик.— Эх, и угораздило же кого-то забросить нас, как мяч, на самую высокую крышу.

— Закончим вспашку — пойду в город,— произнес сын.

— Откроется дорога — иди... Обойдемся и без тебя. В бригаде у нас все будет в порядке.

— А дорога открыта,— подала голос из кухни Нина.— Рашит-то ведь пришел!

Старик сплюнул.

— Этот головорез и на метле доскачет.

— Не беспокойся, отец,— сказал Кесоу,— доберусь как-нибудь до города.

Уже наступили сумерки, когда Кесоу с отцом отправились к Гудалу. Старик надел свою лучшую черкеску, кабардинскую бурку, шерстяной домотканый башлык. Он важно шествовал, опираясь на палку. Сын шел почтительно по левую руку отца, прихрамывая скорее по привычке, чем от боли в ноге.

Они явились к Гудалу чуть не первыми. У ворот их встретил Смел, сын Гудала — славный малый. Смел окончил в городе пчеловодческие курсы и с тех пор работал на колхозной пасеке. Но при всем своем покладистом характере никак не мог ужиться с пчелами (вернее, они с ним) и немного стеснялся своей работы.

Он почтительно пропустил гостей вперед и закрыл за ними калитку. Кесоу увидел провода, подвешенные во дворе.

— Значит, надоело тебе с керосином возиться? — спросил Кесоу, указывая на них.

— Еще бы! — смущенно улыбаясь, ответил Смел. — Я думаю так: ежели получится — построить еще кой-кому... по желанию. Я денег за работу не возьму. Пускай шумят эти самые станции.

Кесоу пожал ему руку.

— Сколько тебе лет? — спросил он. — Двадцать один? Немного. А что, отец помогал тебе?

Парень почесал за ухом.

— Видишь ли, — начал он, запинаясь, — новое иногда людям глаза колет. Не сразу верят. Отец тоже... Когда я взялся, видит он, не унять меня... Что было делать? И, говоря по правде, крепко помог мне.

Екуп толкнул его в бок.

— Не грешь, сын мой, — сказал он, — не суди отца. Все, что в доме делается, от отца. А как же? На все свой закон!

И старик ткнул его пальцем в живот. Смел подскочил и захохотал, точно маленький. Глядя на него, засмеялся Кесоу. Наконец не выдержал и старик, он трясся от смеха и глубокого кашля.

— Сыновья-то наши выше нас летают. Каково, а? — обратился Екуп к Гудалу, торопливо сбегавшему по лестнице.

Из кухни показались женщины, и одна из них, высокая и худая, убеленная преждевременной сединой, направилась к гостям. То была жена Гудала.

— Добрый день, Камачич! — воскликнул Екуп, церемонно здороваясь с ней. — Ты совсем не стареешь!

— Полно, Екуп, — остановила его женщина, — к сожалению, на свете существуют зеркала...

Но Екуп не унимался. Он всячески пытался убедить Камачич, что она почти такая же, как и в дни

молодости. Старик изо всех сил старался быть любезным...

Кесоу расспрашивал Смела об электрической машине, интересовался ее действием.

— А вы ее опробовали, прежде чем приглашать гостей? — спросил Кесоу.

— Как миленькая заработает, — самонадеянно сказал Смел. — Вот увидишь!

Черные зрачки его скользнули по Кесоу, и Кесоу показалось, что перед ним горный козел: стройный, живой, как огонь, неподатливый. Смел наклонился к гостю (он был выше на целую голову) и сказал доверительно:

— Тут у нас такие ребята подбираются, что хоть горы ворочай. Вот увидишь, скоро и у других загорится свет. Каждый себе машину заведет.

— А может, построить одну, да большую? — заметил Кесоу.

— Верно! — воскликнул Смел, хлопнув ладонью о ладонь. — Одна, да большая — лучше. А?

— Лучше, Смел, много лучше. Вот через годик соорудим, и ты будешь главным механиком. Что скажешь?

Гудалов сын смутился.

— Конечно, скажу, что согласен. А пока, до поры до времени, пусть эта...

Гости собирались медленно. Позже всех явился Никуала.

— Извините, — сказал он, едва ступив на порог, — очень занят: пахота, планы и прочее...

Он хотел казаться деловитым. С Никуала явился и сакенский врач. Знатоки тотчас же определили, что доктор, торопясь на праздник, заранее хлебнул спиртного (привычка, по утверждению врача, появившаяся у него лишь в Сакене — «в этой дыре»).

— Спиридон, — полушутя сказал Екуп, грозя пальцем врачу, — моя спина ждет тебя.

Спиридон приложил руку к сердцу. «К твоим услугам», — говорил церемонный жест.

— Не мешало бы нам другого врача, — шепнул Константин Кесоу. — Будешь в районе — поставь вопрос.

— Ладно, — ответил Кесоу. — Поговорю.

Сумерки настолько сгустились, что пришлось зажигать лампу, а в сени вынести несколько коптилок. Молодые люди у плотины заканчивали последние приготовления при свете факелов.

Камачич, как могла, занимала гостей.

— Мой сын говорит, что вот здесь загорится свет,— сказала она, указывая на пузатенькую электрическую лампу, подвешенную к потолку.

Кесоу подошел к женщине, взял ее за руку.

— Мамаша, ты не веришь?

— Трудно поверить, сынок.

— Потерпи несколько минут, сама убедишься.

В углу сидели старики. К ним присоединился и Екуп. Когда Камачич произнесла свое «трудно поверить», они обернулись к ней.

— Что же это ты, хозяйка,— упрекнул ее седой благообразный старик с красными, как у Деда Мороза, щеками,— Сакен-то наш позоришь? Не дай бог, подслушает посторонний — что о нас подумает?

Камачич пробовала возразить. Екуп, в свою очередь, пожурил ее:

— Ай, ай, Камачич! Что тут удивительного? Или ты не слыхала о городском свете?.. Он горит вроде луны: свет дает, а не греет.— И, усевшись поудобней, продолжал: — Я никогда никому не завидовал, друзья, но с некоторых пор завидую селам, что лежат под нами, за перевалами. У них свет. Им повезло, черт возьми, успели провести перед самой войной. А вот нам почему-то неудача выпала...

— Война есть война,— вмешался в разговор Константин, и его ровный, спокойный голос сразу привлек внимание присутствующих.— Был бы у нас свет давно — война помешала. Вот и с дорогой тоже беда... Не разразись война, к нам уже наверняка самолеты летали бы. Помните, садился тут один, перед войною?

— Фанерный, что ли? — спросил Екуп.

— А вы не смейтесь, — сказал Константин серьезно,— хоть он из брезента, а очень солидный... Ну, в общем, не беда, будет и свет у нас через годик, и самолеты прилетят, а там, глядишь, и дорогу проложим.— И не без удовольствия, точно перед ним поставили самое любимое кушанье, добавил: — Дорогу с асфальтом. А?

Да, это было бы очень хорошо! Старики, довольные, покашливали, удовлетворенно потирали руки. В комнате на некоторое время воцарилась тишина...

Постепенно двор заполнила толпа любопытных. Никуала заволновался. Он на скорую руку устроил маленькое совещание. Было решено придать торжеству общественный характер. На этом настаивал Константин. Гудал стоял растерянный. Он заявил, что не подготовлен к такому большому пиру — гостей-то сколько! Кто-то вызвался доставить несколько ведер вина. Его примеру последовали другие.

— Пока вы будете с народом говорить, мы живо все оборудуем,— заявили они.

Роль распорядителя взял на себя директор школы Мушаг (записной оратор и франт). Модные коверкоты, брюки, заправленные в сапоги, свидетельствовали о пренебрежительном отношении их хозяина к личному имуществу (черта, положительно оцененная сакенскими девушками).

По совету Константина он произнес речь по поводу торжества в доме Гудала.

— Товарищи! — вдохновенно закончил свою речь Мушаг. — Давно существует электричество, и люди давно пользуются его благами... Я прошу вас как следует подумать над сегодняшним событием... Сакенский мальчик, выросший на наших глазах, самостоятельно строит станцию. Если б не война, у нас давно был бы свет от настоящей станции. Сегодня зажгутся лампы в доме Гудала и у ближайших соседей. Но, товарищи, заявляю вам по поручению сельского Совета: мы будем иметь свою собственную большую... колхозную электростанцию!

Слова эти потонули в рукоплесканиях и радостных криках. Торжество приняло воистину грандиозные размеры. Так же бурно были встречены слова благодарности, обращенные к советской власти — первопривине всех торжеств.

— Ура! — выкрикнули в толпе, и весь двор, полный людей, дружно отозвался громом аплодисментов.

Неожиданно в сени вбежал пожилой человек. Он стащил с головы башлык и, возбужденно размахивал им, закричал:

— Дорогие друзья! Тише!.. Тише!.. Товарищи! Вношу предложение: построить всем селом на собственные денежки, собственными руками это самое электричество...

— Станцию,— подсказал Мушаг.

— Станцию! — повторил говоривший.

— Принимаем! — ответила толпа, повергая в замешательство Никуала. Но Константин успокоил его.

— Решение разумное,— сказал он,— верное, если так хочет народ.

— А район? — вопрошал Никуала.

— Ну что ж, мы сообщим о нашем желании, оформим как полагается, будем просить.

Смел с товарищами продолжал возиться у плотины.

В конце покатого желоба прилажено колесо с лопастями. От колеса идет ременный привод к электрической машине. Около машины доска с рубильником и вольтметром. Вот и вся премудрость.

Любопытные ходили вокруг да около — диву давались.

— Эй, Смел,— кричат нетерпеливые зеваки, в которых никогда не бывает недостатка,— как дела?

— Как сажа бела,— отшучивается Смел и с головой скрывается в канаве. Он копошится в грязи, подчищая лопатой стенки. Минут через пять он вылезает оттуда, грязный, как трубочист.

— Черт! — кричат девушки, указывая на него пальцами.— Настоящий черт.

А старики смотрят на Смела и удивляются: ученый этот Смел, что и говорить!

Но вот приближается кульминационный момент — двое здоровенных парней приоткрывают плотину, и вода с шумом устремляется по желобу. К машине подходят Мушаг и Смел.

— Смотрите вверх! — кричит Кесоу, указывая на лампочки.

Вот заработал привод, тонким голосом завывала машина, в лампочках, словно крошечная молния, сверкнул свет и... погас.

— Порвался ремень! — сообщил Мушаг.

Адамур, как тень, следовавший за Никуала, сказал вполголоса и не без ехидства:

— Очень жаль. Поторопились ребята.— И усмехнулся.

На кухне женщины работали при свете очага: все коптилки унесли на плотину, обещая взамен электрический свет, который, увы, не желал появляться.

Через четверть часа ремень починили. Снова загудела машина, и в торжественном молчании толпы вдруг вспыхнули лампочки: в доме, на кухне, в сенях, во дворе, у ворот, в хлеву, у колодца. Свет горел мину-ту, две, пять минут.

Послышались крики:

— Смела сюда!

— Молодец! Качать его!

И сакенцы радовались тому, что живет среди них смекалистый парень, по имени Смел.

Давно уже разносили вино в кувшинах, раздавали куски чурека с мясом, многие успели даже охмелеть, а свет все горел.

— И будет гореть до тех пор,— провозгласил Кесоу,— пока не высохнет наша река.

Да, друзья мои, это была знаменательная ночь в Сакене, чудесная ночь!

17

Едва ли открытие электричества поразило мир так, как поразило сакенцев «городской свет», добытый рукой сельского парнишки. Разумеется, люди дивились не тому, что такой свет вообще существует, а тому, что он появился именно в Сакене. Казалось, кто-то поднял село и перенес его на много верст ниже и поближе к городу.

Крестьяне поворачивали во все стороны Смела, рассматривали его с таким любопытством, точно видели впервые.

То один, то другой спрашивал:

— Значит, правда? Это ты смастерил?

— Как сказать,— отвечал Смел, добродушно улыбаясь.— Хочешь, помогу и тебе устроить такую штуку? — И Смел, заложив руки в карманы, горделиво взирал на собеседника.

Тот, полюбовавшись осанкой молодого строителя, говорил:

— Ты, пожалуй, и на большее горазд. Ей-богу!

...Однажды утром пришел поглядеть на городской свет и древний Шаангери Канба. Он велел запереть двери и занавесить окна в комнате.

— Теперь покажите эту силу,— сказал он.

Когда комната осветилась слегка мерцающим желтоватым светом, старик, не говоря ни слова, вышел из сени и направился к машине. Он долго стоял около нее. Облаченный в старинную черкеску с серебряными газырями, с ореховой клюкой в руке, седовласый старик напоминал древнего пророка, пытающегося найти разгадку тайны мироздания. Обратившись к Гудалу, он торжественно произнес:

— Ты — настоящий мужчина.

Он уселся на бревно, достал кисет, разложил на колене кремь, кресало. Правнук его, десятилетний мальчонка, распустил трут, оторвал кусочек и подал старику. Гудал присел на корточки.

Шаангери медленно набивал старую глиняную трубку. Он неслышно шевелил губами, сухими, как папоротник.

— Кто тебя надоумил, Гудал? — спросил он, движением глаз указывая на плотину.

Гудал потер руки, как это делают перед выгодной сделкой.

— Сын,— сказал он,— мальчик мой.

— Сколько ему, Гудал?

— Двадцать один.

— Не женил его?

Гудал отрицательно покачал головой.

— Нет, еще рановато.

Старик принялся высекать искру из кремня. Делал он это долго, с увлечением, и когда трут задымился, он словно пожалел об этом.

— Твой мальчик построил...— сказал он, следуя за своими мыслями, казалось убегавшими от него.— А кто его наставил на ум?

— Как тебе сказать, Шаангери? Его учили в школе... Он горазд на разные выдумки. Как-то пошел в город... Нагляделся диковин... Попросил денег, накупил всяких штучек... Не раз хаживал туда, куда не перетасил все железо...

— Чудно, ей-богу, чудно! — задумчиво проговорил

старик, вынимая трубку изо рта.— Времена, стало быть, такие...

Шаангери замолчал и снова взялся за свою трубку. Сизый табачный дым застилал ему глаза. Вспоминалась старому его жизнь. Их было пять братьев — пятеро львов Канба. Шаангери — самый младший. Старший, Дауд, чудо-парень, с доброй душой. Он погиб от руки кровника — сподручного князя Маршана. Дауду пробили затылок... Мир праху его! А ведь сил у него на десятерых достало бы! Нет, не видывали больше зеленые горные веси такого молодца!.. И второй, тоже красавец, в Сибири пропал, из-за коня какого-то дворянина. Говорят, невиновен был, а сгорел, растаял, как воск, в неволе. Двое других братьев — один молодец лучше другого — падки на выпивку были. Их всюду таскали по пирам, за тамаду везде саживали. Этих убило вино — в животах вода завелась. А ведь говорила им старая мать: не пейте! Сгинули тоже, а светлые были души! Ну, а сам Шаангери? Быка ударом кулака валил, не знал, куда девать силу. Подскажи только, огонь с того света добудет. И на что ушел целый век жизни? Ради чего носили ноги-то полтора столетия?..

— Эх, Гудал, Гудал,— шепчет старик,— как жаль, как жаль...

— О чем это ты, Шаангери?

— О жизни своей, Гудал. Жаль себя, жаль... Вот тут у меня кошки скребут. Завидно мне, жадный я до всего хорошего. Не поймешь ты меня... Слушай, что скажу: вот жил я, жил да поживал, все мечтал о счастливой чарке вина, о счастье, махоньком счастье. И вот под конец я вижу его и чарку счастливую... Но не поднять мне уже ее, ослабела рука, не дотянуться ей...

Старик тяжело вздохнул и поднялся, собираясь уходить. Он простился с Гудалом и медленно побрел со двора, опираясь на руку правнука.

По дороге им встретился Кесоу.

— Ну как? — спросил молодой человек.— Понравилось у Гудала?

Шаангери приложил ладони к глазам.

— Это ты? — спросил он хриловато.— Внук Карамана?.. В дедушку весь, в дедушку...— И он хотел продолжать свой путь.

- Одну минутку... Я очень прошу.— Кесоу несмело преградил старику дорогу.— Не зайдешь ли к нам?

— Не могу,— покачал головой старик.— Я тороплюсь домой, чтобы на досуге перебрать в памяти... Понимаешь? Этот Гудалов дед... Чудак был покойник... И внук тоже в деда. Что?

Кесоу торопился спросить:

— Я хочу знать — что тебе известно о серой скале, что за нашим домом?

— О скале?

— Той, что на земле Адамура... бывшей земле...

— Какого Адамура? Чей он?..— Старик прищурил глаза. Было слышно, как тяжело он дышит, словно вместо легких у него дырявые кузнечные мехи.— Я много знаю скал... Хочешь, я научу тебя, как приготовить порох?.. Не раз приходилось... Черная горная скала, куриный помет, уголь... Ей-богу!

Старик замолчал, переводя дух. Воспользовавшись этим, Кесоу поспешил задать ему другой вопрос:

— Каков бывал,— спросил он,— самый что ни есть лучший в Сакене урожай кукурузы?

— Сто! — Старик мотнул головой.— Сто пудов — и все. В лучший урожайный год... Понимаешь?

— Значит, ты ничего не слышал о скале?

Старик, казалось, силился что-то вспомнить, непрерывно шевеля губами.

— Помню,— сказал он наконец, погладив бороду дрожащими пальцами, — Гудалов дед, дай бог не ошибиться, всякое мастерил... С одним чиновником запа nibрата был... Как же! Говаривали, будто со скалой возились... Ну, да сказки, должно быть... А ты вот приходи ко мне, порох делать научу... Как же, делал самолично... Ух, бывало...

И старик, порывшись в памяти и не найдя там ничего достопримечательного, что соответствовало бы моменту, подал молодому человеку руку.

— Приходи ко мне, сын мой,— сказал он.

Кесоу не спускал глаз со старика, пока тот не скрылся. Словно мимо прошла вся вековая история Сакена, давшая миру немало крепких, наделенных необычайно долгой жизнью людей. Было жаль, что эти люди исчезли, как тени на земле, сгинули во мраке.

По единодушному мнению сакенцев, весна нынешнего года началась необычайно. Судите сами: удивительно ранняя теплынь, толки о чудесной скале, электрический свет у Гудала — события, из ряда вон выходящие. И надо ли удивляться, что село настроилось на какой-то особый лад? Казалось, каждый новый день должен принести с собою нечто сногшибательное.

Но существовал скептик, который не разделял, как выразился он сам за стойкой у Адамура, ни восторгов сакенцев, ни их ахов и охов по поводу различных происшествий. Воистину, он обладал не сакенским сердцем! По поводу Гудалова света, например, он заметил, что видел достаточно новшеств похлеще этих штук. И, подняв бокал, запел какие-то залихватские частушки. Как видите, скептик не считал нужным щадить самолюбие сакенцев, не опасался навлечь на себя их неудовольствие. То был, как вы, вероятно, уже догадались, Рашит.

Разумеется, за такое открытое пренебрежение к своим односельчанам недолго было получить оплеуху от какого-нибудь вспылчивого молодца. Однако Рашит, несомненно, обладал известной притягательной силой, и ему многое прощалось. А руки его, руки чудесного сапожника, очаровали сакенских женщин. Он работал с большим умением, ревностно. Шил и дамскую обувь, и сапоги, особенно мягкие (они облевали ноги, как шелковые чулки).

Но черт бы побрал его заносчивый нрав и все его молодечество!

На коне влететь по шатким ступенькам в чужие сени, стрелять в яблоко через плечо, перепить всех за столом — на это он был мастер. Недаром говаривали те, что постарше да поопытней: дайте срок — свернет себе шею молодец. Но Рашит только посмеивался, облизывал губы да ястребом поглядывал на девушек.

В настоящую минуту он осторожно подходил к плетню в том самом месте, где скрипучий журавль горбился над стынувшей гладью колодезной воды. Перегнувшись через плетень, он вперил взгляд в светлый четырехугольник дверного проема, шагах в пятидесяти от него, и замурлыкал песню.

Не прождал он и пяти минут, как из сеней вышла женщина с ведрами. Прикрикнув на скуливших собак, она направилась к колодцу. Едва лишь зазвенела цепь на бадье, раздался вкрадчивый голос:

— Кама!

Звон прекратился.

— Кто это?

— Это я, Рашит,— слышалось из-за плетня. И в доказательство своих слов наш удалец собирался уже перемахнуть через изгородь.

— Не надо,— остановила его Кама, подбегая к плетню.

Это «не надо» придавало как бы интимный характер неожиданному визиту. Во всяком случае, Рашиту померещилось, что особых возражений его появление не вызвало. Однако он воздержался от дальнейших наступательных действий и водворил свое туловище на прежнее место, изящно спрыгнув с плетня.

— Кама,— сказал Рашит, извлекая из глотки наиболее нежные звуки.— Как ты поживаешь?

Овладев собою, Кама обрела непринужденность речи, свойственную сакенским женщинам (которой, насколько нам известно, не пренебрегают их сестры и в остальных частях света).

— Такая забота? — Кама усмехнулась.— Ты не испугался темноты?

— Разве ты не знаешь, что я каждый вечер стою у твоего дома?

— Нет, не знаю.

— Я часами торчу на этом месте! — Это была такая вдохновенная ложь, что в нее поверил и сам Рашит.

— Напрасно,— заметила Кама.— К чему? Увидит кто-нибудь, что подумает?

— А какое мне дело до других?! — вырвалось у Рашита, и он тотчас же пожалел о сказанном.

— В таком случае прощай! — Кама загромыкала бадьей, зазвенела цепями, вода шумно наполняла ведро.

— Кама, одну минуту! — взмолился Рашит.— Иначе я прыгну к тебе. Слышишь?

Угроза возымела свое действие. Кама вернулась к плетню.

— Я не то хотел сказать...— Рашит перешел на быстрый шепот: — Не брани меня, не сердись. Я люблю тебя...

— Рашит!

— Да,— продолжал молодой человек,— представь себе, люблю.

Кама считала себя обязанной ответить ему прямо и без обиняков.

— Бедный,— сказала она, растроганная, однако, его пылким признанием.— Я понимаю тебя. Но все понапрасну.

— Кама, в чем дело? Почему?

Любит ли Рашит Каму так пламенно, как это может показаться? Или тут действуют какие-нибудь другие соображения? Или ее неприступность раззадорила сакенского сердцеда? Мы отвечаем на этот вопрос уклончиво: может быть — так, а может быть — и этак, ибо мы придерживаемся правдивого рассказа о событиях в Сакене, и у нас нет охоты приукрашивать их...

— Во-первых...— однако Кама решила не расшифровывать этот пункт, а сразу перешла к следующему,— а во-вторых,— произнесла она после маленькой паузы,— рано думать о таких вещах... Я должна учиться...

— Учиться?! — удивленно воскликнул молодой человек.— Да разве же ты неученая?

— Семь классов, Рашит, всего семь. А вот о сельскохозяйственном техникуме ты когда-нибудь думал?

— Нет, никогда,— признался Рашит.

— А я очень много,— важно проговорила Кама.— Учение — свет, а неученье — тьма.

Рашит расхохотался, слишком несостоятельными показались ему ее доводы. «Хитрит,— подумал он,— цену себе набивает».

— Тут что-то не так! Учеба ни при чем! Я уверен, тут причиной Кесоу, новоявленный агроном. Не этот ли сумасброд вскружил тебе голову?

И он осыпал Кесоу насмешками, всячески пытаюсь унижить его в глазах девушки.

— Все? — спросила Кама, спокойно выслушав его.

— Да.

— Прощай! — И она повернула к дому.

Утро следующего дня выдалось хмурым, холодным. Тонкие нити соединяли небо и землю в одно целое. Продираясь сквозь густую сеть дождя, к дому Екупа спешил ранний гость. Хозяин встретил Адамур-а на пороге и пригласил его погреться и обсушиться у очага.

— А где Кесоу? — поинтересовался Адамур.

— Я здесь! — ответил молодой человек, входя в кухню.

— Возвращается зима, — сказал Адамур. — Это ужасно для здоровья: после жары — холод.

— Поддай-ка нам стаканчики, дочка, — обратился Екуп к Нине. — В такую сырость водка, Адамур, первое средство против простуды. Я предпочитаю бузиновую. А?

— Обязательно, Екуп, бузиновую, только крепкую. Она ревматизм исцеляет и кровь, само собою, греет.

Адамуру была предоставлена возможность испытать крепость бузиновой водки и ее целебные качества. Закусывали холодной мамалыгой и жареным сыром, который становится на огне мягким и жирным, словно коровье масло.

Говоря откровенно, Кесоу было не до выпивки. Но закон гостеприимства в Сакене не допускает никаких поблажек. Сидеть и пить с гостем, храня самый беззаботный вид даже тогда, когда, как говорится, забот полон рот, — первейшая обязанность хозяина. Сидеть и угощать гостей — такая же работа, как и всякая другая (так думаем мы, сакенцы).

— Между прочим, Кесоу, — словно невзначай проронил Адамур, отдуваясь после очередной порции зелья, — как твоя затея?

— Какая?

— Я слышал, ты скалу будешь рвать, лекарство готовить для полей.

Кесоу как-то неопределенно хмыкнул в ответ. Он подбросил дров в очаг, и тысячи искр стремительно понеслись к закопченному потолку.

— А что же, хорошее дело. Добрая скала, богатая. Мы ее пуще глаз берегли, — соврал Адамур. — Как же! Помню, отец говаривал: «Присматривай за ней, это,

говорит, клад, а не скала!» Скала-то на нашем участке стоит. А как же?

Замечание, касающееся местоположения скалы, заставило насторожиться хозяев.

— Представляю,— продолжал Адамур,— какие доходы ждут вас, дорогие мои...

Кесоу раздраженно спросил:

— Доходы? Какие? И почему нас?

— А как же? Ты затеял, твоя мысль, стало быть, и доход твой. Ежели, скажем, на килограммы продавать или на пуды — тысячами рублей пахнет. А трудно какой? Пустяковый. Отбивай киркой куски и отвешивай. А если не удастся продавать самому, то все равно премию большую в районе дадут. А как же — открытие!

Екуп слушал, ничего толком не понимая. Какой доход? Какие куски? Тем временем Адамур, закрыв глаза, подсчитывал рубли, копейки, подводил умопомрачительные итоги. Окончив подсчеты, Адамур вознес до небес всем известную добропорядочность рода Мирба, заранее восхищаясь бескорыстием Екупа и Кесоу.

— Спасибо, спасибо,— благодарил польщенный хозяин.

Но Кесоу, видимо, не слишком нравились эти словословия; он подошел к делу практически.

— Что тебе нужно от меня? — напрямик спросил он.

Адамур обрадовался такому обороту разговора. Как человек торговый, он любил подходить ко всему по-деловому.

— Вы же знаете, дорогие мои,— начал он вкрадчиво,— я вам не чужой. Нас связывают почти родственные узы. А как же? Я вам не чужой, стало быть, и вы тоже мне не чужие. Я знаю, вы никогда не позаритесь на мое добро, куска изо рта не вырвете.

Старик утвердительно кивал головой.

— Клянусь вот этим чуреком, от меня вы можете ждать того же. А как же? Дерево держится корнями, а человек друзьями... Как вам известно, весь участок (Адамур описал дугу правой рукой) принадлежит... вернее, принадлежал мне... Давно, правда, это было. Многого лишился я. Но суть не в том, дорогие мои.

Люди-то прежние остались. Помнят, стало быть, что кому принадлежало. По справедливости, доходы от скоты не должны миновать и меня. Так мне думается. Правда, невелик мой ум, однако люди и поопытнее говорят то же самое... Одним словом, на вас надеюсь. Поделемся, друг друга не обидим.

Наступило гнетущее молчание. Старик усердно ворошил головешки в очаге, пытаюсь сильнее раздуть пламя. Кесоу бешено вертел в руках стопку. От возмущения он не мог произнести ни слова.

— Да ты с ума сошел! — разразился он наконец. — Подобные предложения в наше время! Не понимаю! Отказываюсь понимать! Ежели выйдет что-нибудь путное из моей затеи, будет хорошо для всего села. При чем тут наша семья, при чем тут родственные узы? Не выпался ты, что ли? Так может рассуждать тот, кто спал лет тридцать, не меньше! Не то время, Адамур, и люди не те! И даже Сакен не тот!

Кесоу выбежал из кухни, хлопнув дверью.

— Вы поссорились? — спросила брата Нина.

— Адамур требует своей доли, дескать, это его скала...

— Он с ума сошел! Какой доли?

— Спроси сама. Прослышал насчет удобрений и решил подоить нас, как глупых коров. Вспомнил старые порядки, идиот!

Кесоу оделся и, бросив на ходу сестре: «Иду в сельсовет», — быстро пересек широкий двор. Он всю дорогу не мог успокоиться, размышляя над глупым предложением Адамура.

В сельском Совете никого не оказалось. Кесоу открыл дверь в читальню, расположенную рядом. Там сидели Константин и директор школы Мушаг.

— Иди сюда, — позвал Константин Мирба, — ты мне нужен. Садись. Я сейчас. — И он продолжал свой разговор с директором. — Я считаю, Мушаг, что толковый доклад и самодеятельный вечер школьников сослужили бы неплохую службу.

— Согласен, — подтвердил Мушаг, делая пометки в блокноте.

— О чем это вы? — Кесоу придвинулся ближе.

Константин был явно озабочен, тер себе то лоб, то виски.

— Народ тревожится, понимаешь ты. Дожди, говорят, никогда не кончатся, сеять не будем, урожай не соберем. Иные старики тут про «божье наказание» толкуют. Надо поговорить с людьми. Доклад на такую тему, ну, скажем, «Дождь как явление природы».

Мушаг обещал устроить отличный вечер в ближайшее же воскресенье. Доклад сделает он сам, а в заключение выступит школьный кружок.

— Чтобы не забыть, Мушаг, — где ваше радио?

— Не работает. Аккумуляторы давно израсходовались.

В разговор вмешался Кесоу.

— А нельзя ли Гудалову станцию использовать для зарядки?

— В самом деле! — Мушаг хлопнул себя по лбу. — Я и забыл совсем. Конечно, можно. Ток ведь постоянный. Что и требуется!

— Вот тебе задание, Мушаг: починить радио и каждое утро вывешивать на дверях школы сводку погоды. Понял? Пусть люди знают, что и как. Радио должно работать в сельсовете.

Мушаг обещал исправить радиоприемник.

— Ну, а у тебя как делишки, Кесоу?

— Завидовать нечему, Константин. Пока, к сожалению, только по дождю перевыполнен план. Но вспахали мы порядком... Думаю в район податься. Что скажешь?

— Молодец. Сам хотел предложить, опередил ты меня. Видишь ли, сидим тут и многого, честно признаться, не знаем. Возьми ты пробу с той скалы, посоветуйся — это будет тебе партийное поручение. Идет? Ну вот и хорошо. Вернешься, доложишь результаты собранию. Коли нужно будет, поможем. В обиду не дадим...

Басистый голос Константина звучал несколько покровительственно.

Но он говорил твердо, уверенно, и Кесоу готов был простить ему любой тон.

Кесоу подтянул голенища сапог.

— Значит, собираюсь в район... — сказал он.

— Вот и хорошо. Кстати, принесишь с собой свежие газеты.

Они вышли на крыльцо. По-прежнему лил дождь, мелкий, надоедливый. Из поймы реки доносился глухой шум: Сакен беспокойно ворочалась на своем каменном ложе. Но вдруг где-то близко блеснула молния и ударил гром. Низкий, басистый звук торжественно прошелся по ущельям, по склонам гор, по вершинам, затуманенным мелкой сеткой дождя, и исчез где-то за перевалами, сгинул в многочисленных глубоких оврагах.

— Слышите, гром? — сказал Константин. — Такая погода, значит, ненадолго. — И первый стал спускаться по ступенькам.

20

Воскресный день выдался погожий. А ведь накануне небо выглядело безнадежно мрачным, застывшим, полным отчаянной злобы. Но, по-видимому, порция воды, отмеренная природой, иссякла, и солнцу ничего не оставалось больше, как снова засверкать посреди зеленоватых небес.

Ранним утром на стене сельского Совета и на дверях школы были вывешены листки со сводкой погоды. Они извещали сакенцев, что подлунный мир купается в солнечных лучах. Солнце начинало греть даже в Архангельске и Красноярске. И лишь в одном Ташкенте почему-то лил дождь. Люди читали сводку и радовались. Короче говоря, солнечная погода на большей части территории Советского Союза умилила сакенцев.

Радуюсь хорошей погоде, Кесоу тем временем собирался в дальний путь. Он тепло оделся, закинул за плечи тяжелый вещевой мешок, взял в руку альпийский посох, торжественно простился с родными и... вместо того чтобы подниматься вверх, в горы, спустился вниз, к роднику, где его ждала Кама.

Мы не будем описывать свидание молодых людей перед разлукой и нежные слова, которые они говорили друг другу. Достаточно сказать, что прощание грозило затянуться надолго...

— Дай бог удачи. До свидания, — проговорила наконец Кама.

— Прощай,— сорвалось у молодого человека, и девушка чуть не расплакалась.

— Почему «прощай»?

— До свидания,— поправился он.

— Нет, почему ты сказал «прощай»?

— Милая, просто не подумал, нечаянно... Разумеется, незачем нам прощаться.

Девушка горестно опустила руки. И еще раз еле слышно спросила:

— Нет, почему ты сказал «прощай»?

— Ну ладно. Извини... Я буду думать о тебе, мечтать всю дорогу...

— А в городе?

— И в городе...

Они простились. Он уходил широким, твердым шагом, чуть прихрамывая. Она стояла, едва сдерживая рыдания.

21

В пристройке, что примыкает к ларьку (любимый уголок сакенских кутил), Адамур принимал своих гостей: Рашита, Антона и еще одного верзилу, по фамилии Еник. Последний появлялся в Сакене лишь перед чрезвычайными происшествиями, что было легко установить наблюдательному человеку. Жил он на хуторе Мрámба, жил скромно, как говорится, тише воды ниже травы. И лишь временами он чувствовал зуд, который толкал его на «геройские», по его понятиям, поступки. Тогда он весь преображался и покидал хутор.

Во всяком случае, по тому, как он держит вместительную чашу с вином, можно заключить, что он, как говорится, рубаха-парень.

Рашит задумчив. Он пьет молча, мелкими, но частыми глотками, точно не в силах утолить жажду.

Антон ерзает на ящике, дожидаясь своей очереди осушить чашу. Напротив восседает Адамур. Он запер ларек изнутри, и ничто не мешает ему насладиться дружеской беседой часок-другой.

Только что провозглашенный тост прославлял дружбу между «настоящими мужчинами». Адамур

...наполнил чашу и прищелкнул языком, давая понять, что на очереди новый тост.

— Дорогие друзья,— сказал он,— есть среди нас хороший человек, я бы сказал — золотой. Он не пощадит и жизни своей для товарища... э-э-э... любит он друзей, ну и друзья его уважают... Задумал парень мужское дело. Добро! — говорим мы, его друзья.— И он расцеловался с Рашитом.

— Сразу видать настоящего мужчину,— деловито заметил Антон.— Сакен запомнит тебя, Рашит!

— А в особенности некий сакенец,— не без удовольствия заметил Адамур.

Антон вдруг вспыхнул. Он стукнул кулаком по импровизированному столу, чуть не опрокинув закуску.

— Я незлобивый человек,— прошамкал он,— но у меня есть одно правило: ненавижу выскочек. Пусть Кесоу шагает в город; вернувшись, он получит хорошую весточку!

Пьяная компания дружно рассмеялась. Антон продолжал:

— Кесоу получит по заслугам. Кама не для таких пахалов, как он!

— Говорят...— понизил голос Адамур, жестами приглашая остальных наклонить головы для секретного сообщения,— Кесоу, говорят, несет с собой мешок... в город.

— Какой мешок? — Еник насторожился.

— Мешок... набитый добром.

— А что там, в мешке? — спросил Еник.

— Земля-а-а...— И Адамур затрясся от смеха.

— Какая земля?

Рашит и Антон растолковали верзиле, о какой земле идет речь — о куске дурацкой скалы!

— И он понес ее за сто верст?

— Да.

— Он в своем уме?

— Даже других учить пытается.

— Продавать будет землю в городе, что ли?

— Он хочет запродать всю скалу на корню, как говорится.

— Губа не дура,— заметил верзила.

Вслед за этим началось деловое обсуждение задуманного предприятия.

Еник изложил свой план. Кама по дороге домой обычно проходит мимо Куницына Закута. А там ее будет поджидать человек с конями. Завернуть девушку в бурку — дело одной секунды. Потом на коня! И в тот же вечер — нравится ей это или нет — она станет женой Рашита.

— Не будет ли она сопротивляться? — на всякий случай спросил Адамур. И, к его удивлению, он услышал довольно неуверенное бормотание «жениха». Это несколько смутило хозяина ларька.

— Как?! — воскликнул он. — Она откажется от такого золотого человека?

Антон перебил его.

— Ты с ума сошел, — сказал он. — Даже если она не желает, что за важность... Пораскиньте мозгами: раз ее утащат, кто потом на нее посмотрит? Люди не станут разбираться, что и как. Украли — и дело с концом... Нет, уважаемые, податься ей будет некуда. Хлоп! — и мышеловка закрылась. Так бывало всегда, испокон веку!

— И то правда, — согласился Адамур. — Податься ей будет некуда... Ну, я полагаю, дело не зайдет так далеко. Что скажешь, Рашит?

Рашит промолчал, и заговорщики снова принялись обсуждать свою затею и ее возможные последствия.

Когда друзья покинули свое логово и вдохнули порцию сакенского вечернего воздуха, они повеселели. И так как им было совершенно безразлично, куда идти, сами ноги понесли их к школе, в окна которой горели огни (благо, была она недалеко — наискосок через дорогу).

— Да тут сегодня народ просвещают, пойти, что ли, на доклад, — насмешливо предложил Антон.

— Хоть в ад! — отозвался Адамур и с силой толкнул калитку, ведущую в школьный двор. Калитка хрустнула под его рукой, как куриное крылышко, докрасна изжаренное на вертеле.

Во дворе никого не было. Народ сидел в зале, в глубине которого были устроены подмости. Помещение освещалось несколькими керосиновыми лампами. Одна стояла на трибуне, с которой делал доклад Мушаг. Он рассказывал собравшимся о тайнах мироздания, о силах природы, действующих во всей Вселен-

ной как единый закон, об атмосферных явлениях и прочем.

Верзила вполголоса промолвил:

— Ловко говорит... ежели не врет.

В первом ряду сидели старики. Все они, словно сговорившись, опирались подбородками о ручки посошков.

Из-за кулис выглядывали ученики-актеры, нетерпеливо жаждавшие показать публике свое сценическое искусство. Собравшихся предупредили, что вслед за официальной частью последует художественная — будет разыграна пьеса местного автора.

Закончив свою речь под аплодисменты всего зала, Мушаг обратился с вопросом: все ли ясно? Не будет ли каких замечаний?

Все молчали.

— Прошу вопросы, — повторил просьбу Мушаг.

Какой-то ученик из средних рядов поднял руку.

— Можно? — спросил он робко. — Сколько километров от Земли до Луны?

— Около четырехсот тысяч, — последовал ответ.

Ученик, довольный, сел на место, и тотчас же вокруг него началось шушуканье. Товарищи о чем-то горячо спорили между собою.

Первые ряды восприняли категорический ответ директора с нескрываемым скептицизмом.

— Сын мой, — прохрипел чей-то старческий голос, — если я передам твои слова моей хозяйке (смех всего зала), она непременно спросит: кто измерил?

Разъяснение докладчика заняло минут пятнадцать, но, кажется, не слишком убедило маловеров.

— В прошлом году, — возразил тот же голос, — трижды измеряли мой приусадебный участок и каждый раз различные числа называли.

Неожиданно потребовал слова Еник.

— Отчего бывает роса, когда небо чистое? — спросил он.

Рашит дернул его за полу, пытаясь усадить на место. Еник стоя выслушал докладчика и солидно откашлялся, удовлетворенный ответом.

После того как все метеорологические недоумения так или иначе были разрешены, занавес опустился,

и зал точно встряхнули — зашумело, загрохотало, заговорило, закашляло, расчихалось.

Мушаг сошел со сцены, разыскал Константина.

— Как получился доклад? — спросил его Мушаг, вытирая платком вспотевший лоб.

— Отлично, — ответил Константин. — Полезное дело.

Мушаг, очень довольный похвалой, побежал за сцену распорядиться, чтобы вновь поднимали занавес. И представление началось.

22

Долго описывать, какие трудности пришлось преодолеть Кесоу Мирба в пути. Это могло бы послужить материалом для целой повести. Какому-нибудь любителю природы, одновременно интересующемуся физическими явлениями, относящимися к области падения тел, путешествие Кесоу показалось бы замечательным. Возможно, он захотел бы даже проделать подобное путешествие для собственного удовольствия. Но тут необходима одна оговорка. Тот, кто пожелает идти в Сакен в июле, лишается и половины тех развлечений, которые обычно ждут его в иные времена года. Заметьте, Кесоу шел в город в начале апреля, а месяц этот в горах еще не считался летним. Для полноты впечатлений в Сакен необходимо двинуться весной или осенью. Тогда все девять перевалов и восемь горных рек, преграждающих путь к нему с юга, покажут любопытному путешественнику, на что они способны. Короче говоря, если вы уверены в благополучном исходе путешествия, вам рекомендуется пригласить с собою на эту прогулку друзей, которых вы желали бы потешить, может быть, не очень изысканным способом, но зато наверняка. Можно поручиться, что веселая компания наживет столько синяков и вывихов, притом таким смешным способом, что спутники, случайно избегнувшие увечий, надорвут себе животики от смеха...

Смело можно сказать, не повезло Сакену при сотворении мира. Если верить геологам, утверждающим, что в этих местах некогда бурлило море, то можно предположить, что именно над Сакеном образовалась

могучая водоверть, вконец исковеркавшая тот кусочек дна, который был предназначен сакенцам для их местожительства.

В изложении сакенских путешественников путь в Сакен (или из Сакена) описывается примерно так:

— Друзья мои! (Засим следует долгая пауза — надо же человеку закурить.) Дорога, как в сказке, поверьте мне. Сначала ты ступаешь по узенькой половице-тропочке, слева — пропасть, справа — скала. Затем переходишь на острие бритвы, а бритва длиною с версту — это Волчья Пасть. Потом делаешься канатоходцем — это Медвежий Клык. Пересчитав зубы доброму десятку зверей, попадешь в Чертову Яму — котел глубиною с полверсты, которому недостает огня и грешников, чтобы называться сущим адом. Миновав Заячью Нору и Беличью Губу, ежели на то будет божья воля, вываливаешься в Турий Луг. Не попадаешь, а вываливаешься, ибо еще никто не сходил по доброй воле со спуска, обильно смазанного глиной, как маслом. Чертов Мост заставляет тебя на время преобразиться в обезьяну, а потом...

Рассказы этих смельчаков огорошивают, леденят душу; вы слушаете их и чувствуете, как трясутся у вас поджилки.

Итак, призовите на помощь воображение и попытайтесь нарисовать себе картину путешествия из Сакена в город в соответствии с вашим представлением о необыкновенном, и тогда к концу вашего воображаемого путешествия вы обнаружите Кесоу Мирба у одной непросыхающей лужи, которую уже много лет проклинали жители предместья. Но Кесоу обрадовался, увидев ее на обычном месте. Где бы иначе обмыл он свои сапоги? Где бы выстирал свой резиновый плащ, вымазанный рыжеватой грязью? А мешок? Он тоже побывал в изрядной переделке и нуждался в прихорашивании не меньше своего хозяина.

Теплое весеннее солнце, изумительно яркий день, запах новой, нарождающейся зелени, девушки в светлых платьицах, парни с воротом нараспашку, самые радужные надежды — разве мало всего этого, чтобы вселить в молодого человека рой мечтаний и неизвестно откуда берущуюся страсть к вокальному искусству?

Кесоу идет, сапоги стучат по асфальту, губы шепчут рифмованные строчки, и в голове складывается песня:

По зеленым горам я хожу —
Я ищу следы твоих ног.
По глубоким ущельям брожу —
Может, тут ты прошла невзначай...
Через горы иду напрямик,
Я к тесным ущельям привык,
Но следов не нашел,
Тебя не нашел.
А чую, ты здесь где-то близко...

Навстречу идут люди. Все они как будто смеются. Может быть, они догадываются, какую новость несет молодой горец? И Кесоу мысленно произносит страстную защитительную речь в пользу нужного, подсказанного жизнью дела. Он убыстряет шаг, и сапоги его стучат еще громче, словно в город явилось все село Сакен.

Кесоу идет старыми, знакомыми улицами и точно не узнает их. Он сравнивает их с тем, что было прежде. Пять лет назад оставил Мирба этот город и вместе с другими мобилизованными ушел отсюда на фронт.

Годы войны словно перевернули весь мир. Не верилось, что израненная земля вновь когда-нибудь оживет. Расцветет ли вновь высохший одуванчик? Воскреснет ли груша в тихом украинском садочке, надвое расколота снарядом? А трубы, одиноко торчащие в степях? Когда они вновь задымят? И задымят ли?..

Но каково было удивление воинов — друзей Кесоу, когда они возвращались домой проторенными дорогами: оказывается, и одуванчики способны жить, и груши — расцвести, и трубы — задымить. Родились новые деревни, с новыми домами...

За время войны, казалось, и город — пусть в тылу — должен бы постареть, закоптиться, обветшать. До него ли было? Но Кесоу шагает по асфальтированным улицам, в тени пальм и лавровых деревьев, а их прежде не было. Цветы на клумбах. То здесь, то там новые дома. На боковых улицах, словно буйволы, греются на солнце катки, укатывающие улицы. Город встретил горца помолодевшим, залитым весенним светом и теплом.

На ближайшем углу стоял чистильщик, и Кесоу решил почистить сапоги. Тут же недалеко парикмахерская — недолго и побриться!

Парикмахер старательно мылил обветренное лицо горца и искоса поглядывал на странный мешок, оставленный при входе.

— Должно быть, сыр? — полюбопытствовал цирюльник.

— Нет, земля, — ответил Кесоу, глотнув при этом немалую толику мыльной пены.

— Земля? — бритва ловко заходила по ремню, а парикмахер подмигнул, глядя в зеркало: дескать, понимаем шутки.

— Да, да, земля, — подтвердил энергично Кесоу. — Не верите?

Парикмахер изобразил полное удовлетворение на лице, украшенном изумительными усами (вот-вот вспорхнут, как птичка, и улетят).

— Наверное, ценная земля, — предположил он.

— Очень. Она дает хороший урожай.

Парикмахер не удержался от соблазна, развязал мешок, заглянул в него и скорчил кислую мину: там и впрямь оказалась земля!

23

В дверях отдела сельского хозяйства Мирба чуть с ног не сшибли: на него налетел какой-то работник в роговых очках, с папками под мышкой и, не извинившись, помчался дальше.

По длинному коридору взад и вперед сновали люди. Двери стремительно открывались и закрывались; слышался стук машинок и шум арифмометров, ручки которых, должно быть, вертели весьма энергично. Кесоу разыскал канцелярию.

— Где тут главный агроном?

Кесоу старается говорить как можно вежливей. Глаза у него добрые, почти заискивающие. Он не смеет поставить мешок на пол. Есть отчего и оробеть! Перед ним — чем-то очень озабоченная секретарша. Руки ее тянутся то к телефонной трубке, то к пресс-папье, рыщут в ящике стола в поисках вдруг затерявшейся круглой печати. Чувствуется, что ее сейчас

ничем не проймешь: ни просьбами, ни мольбами, ни угрозами. Иногда она вскакивает и бежит в другую комнату, на ходу кому-то что-то говорит, недовольно поводя плечами. Разговор ее отрывист, как телефонные звонки, и она не обращает ни малейшего внимания на Кесоу. Наконец, сделав вид, что только что заметила молодого горца, маячившего перед ее глазами уже добрых полчаса, она небрежно бросает ему:

— Садитесь.

— Спасибо, но я очень тороплюсь. Я хочу видеть главного агронома.

Секретарша говорит тоном, не допускающим возражения:

— Он занят и не принимает сегодня.

Их взгляды скрещиваются, словно шпаги, две шпаги — стальная и оловянная. И та, что из олова (она, разумеется, принадлежала Кесоу), не выдерживает натиска, гнется, сдается без сопротивления...

— Прошу прощения, — говорит он все тем же робким голосом. — Мне все-таки необходимо его видеть.

Секретарша резко сводит развилки бровей. Звонит телефон, и внимание ее целиком поглощено разговором.

— Пойми, — кричит она кому-то, — сводка идет сегодня, я не хочу из-за тебя получить выговор. Понятно? — и с размаху кидает трубку.

Кесоу решительно отбросил любезность, как негодное оружие, и грубо проворчал:

— Я спрашиваю: где тут главный агроном?

Секретарша тяжело отдышалась, точно только-только вынырнула из-под воды.

— Ох, и не вовремя вы, не вовремя, — протянула она. — Поймите, товарищ, сегодня день сводок.

— И что же?

— Как что же? — поразились секретарша. — Сегодня все мы заняты по горло.

Она снова схватилась за телефонную трубку. Кесоу хотел было осадить ее по-фронтовому, но махнул рукой и пошел искать агронома по длинному коридору. Вторая дверь направо вела в его кабинет. Кесоу перешагнул порог.

Агроном сидел за большим дубовым столом. Перед ним — огромный лист бумаги, склеенный из несколь-

ких кусков. Концы листа свисали со стола наподобие скатерти. Агроном вертел ручку арифмометра и заносил цифры в соответствующие графы.

— Сегодня день сводок,— промычал он тихо.— Я никого не принимаю.

Кесоу показалось, что агроном говорит это кому-то другому, во всяком случае не ему.

— Во-первых, доброе утро,— весело сказал Кесоу.

Агроном испустил тяжелый вздох и пробормотал что-то невнятное. Кесоу без разрешения присел на стул и сбросил на пол тяжелый мешок.

— Я из Сакена...— начал Кесоу, чтобы огорошить агронома неожиданным появлением столь редкого гостя.

— Мне некогда сегодня с вами разговаривать.

— А я только затем и пришел. Дело очень интересное, волнующее...

— Я и без того волнуюсь,— сказал агроном, стирая резинкой какую-то неудачную цифру.

Кесоу мельком взглянул на лист, над которым, наверно, уже много дней корпел агроном, отравляя кровь себе и другим. От цифр у Кесоу закружилась голова. Он выкинул недокуренную папиросу в окно.

Зазвонил телефон.

Агроном был явно не в духе, а телефонный звонок вовсе вывел его из равновесия.

— Да, да, приходите завтра, а еще лучше — в понедельник! — кричал он кому-то.— Не могу я сегодня разговаривать, понимаете, не могу!

Кесоу взвалил мешок на плечи и вышел, хлопнув дверью с такой силой, что чуть не вылетели стекла.

Он медленно брел по тротуару с чувством горькой досады в душе. Мешок словно стал вдвое тяжелее. И солнце уже не грело, а припекало. Словом, испортили человеку настроение.

24

Здание райкома партии находилось у самого моря. На фоне голубого неба и моря дом, начисто выбеленный известкой, казался парусом корабля.

Кесоу поднялся на второй этаж и осторожно приоткрыл дверь, обитую черной клеенкой. На двери надпись: «Приемная первого секретаря».

В приемной несколько человек вполголоса разговаривали между собою. Справа, у самой двери, сидела сероглазая девушка с бледным лицом. Она просматривала почту, сортируя бумаги по папкам.

Кесоу осторожно положил мешок в угол и, стараясь не греметь сапогами, подошел к девушке.

— Могу я видеть секретаря?

— Садитесь, товарищ. Вам Александра Ивановича?

— Да, первого секретаря.

— Садитесь.

Кесоу придвинул стул к столу. Девушка посмотрела на него испытующе. Горец невольно улыбнулся: ее молоденькому личику так не шло это деловитое и строгое выражение глаз.

— Я вас слушаю,— сказала девушка.

Голос ее поразительно напоминал голос другой, той, что осталась в Сакене, и Кесоу вдруг стало так спокойно и хорошо, словно он пришел в гости к добрым знакомым. Он еще раз улыбнулся. Девушка смущенно спросила его:

— Чему вы смеетесь?

— Прошу прощения,— проговорил Кесоу,— вспомнил кое-что...

Секретарша сделала на письме пометку красным карандашом.

— Хорошее или плохое?

— Как можно плохое? — горячо возразил Кесоу.— Разве при виде вас...

— Тише,— мягко остановила его девушка, стараясь, однако, сохранить официальный тон. — Я вас слушаю. Вы из какой организации?

— Я приезжий.

— Откуда вы?

— Из Сакена.

— Ах, из Сакена? Что вы говорите?! — Девушка отложила в сторону все бумаги.— Такой редкий гость!

— Да вот, пришлось...

— Для Сакена кипы бумаг лежат. Я сбегая в общий отдел, сообщу им приятную весть.

Секретарша выскочила из-за стола и скрылась за дверью. Где-то под потолком загудел сигнал. Сигнал повторился снова — настойчивый и продолжительный.

Кесоу направился к двери, чтобы разыскать секретаршу, но столкнулся с нею на пороге.

— Вас вызывают,— сказал он.

Девушка засуетилась, разыскала на столе блокнот,

— Я доложу о вас. Как ваша фамилия? — проговорила она скорсговоркой.

— Кесоу Мирба.

— Из Сакена,— добавила девушка и скрылась за дверью кабинета.

Через минуту она появилась в приемной.

— Товарищ Мирба!

— Я,— по-восшному отозвался Кесоу.

— Александр Иванович (она кивнула на дверь) сейчас примет вас.

— Спасибо,— ответил Кесоу, готовый расцеловать девушку, как родную сестру.

Ему стало совсем легко и весело. Он отошел к окну, заложив руки за спину.

Через открытую форточку доносился аромат эвкалипта и лавра. На широкой асфальтированной площади, что перед зданием, разворачивались автомашины, шурша покрышками. А дальше, на набережной, гуляли женщины с детьми, рыбаки чинили сети и какой-то мальчишка катался на велосипеде.

Кесоу запел песенку, очень тихо — самому едва слышно.

— Скучаете? — спросила девушка.

— Нет,— честно признался он.

Это была сушная правда. Он простоял бы в этой комнате еще много часов и не соскучился бы. Ему очень приятно следить за работой такой замечательной девушки,— галантно заявил он. Однако секретарша оказалась более проницательной, чем он думал: ведь Кесоу интересуется главным образом тем, что ждет его за этой дверью, ведущей в кабинет, не правда ли? И девушка шутя погрозила ему пальцем:

— В Сакене все такие коварные?

— Нет, не все.

Они оба засмеялись: он — громко, как говорится, от души, она — осторожно, стараясь приглушить смех, кивая на кабинет: дескать, неудобно, услышат...

— Должно быть, у вас важное дело,— сказала девушка, меняя тему разговора.

— Да как сказать... Какие могут быть важные дела у простого хлебороба?

— Скромничаете?

В этот момент дверь кабинета отворилась и оттуда выскочили двое. Ни на кого не глядя и не попрощавшись, они быстро прошли через приемную.

— Влетело, должно быть, — тихонько проговорила секретарша. — Пожалуйста, товарищ...

— Мирба, — напомнил Кесоу.

Просторная чистая комната. Вдоль стен стулья. В левом углу письменный стол. К нему приставлен другой, длинный, покрытый зеленым сукном. На столе кипа газет, книги; по правую руку — несколько телефонов.

Навстречу горцу поднимается человек. Он среднего роста, одет в черный костюм. Белая сорочка и синий-пресиний галстук. Широкое, скуластое лицо, высокий лоб и волнистые волосы.

Все это охватил быстрым взглядом Кесоу, переступив порог комнаты.

— Милости просим! — приветствовал его хозяин кабинета. — Гость необычный... Отлично, отлично!

Они пожали друг другу руки.

— Ваша фамилия — Мирба?

— Так точно! — отчеканил Кесоу.

— Почему по-военному? Мы люди штатские, — пошутил секретарь. — Вы фронтовик?

— Да.

— Расскажите — где бывали? Когда? Что делали?

Кесоу смутился. Он вовсе не предполагал, что ему придется делиться воспоминаниями о прошлом. Он успел вытащить из кармана гимнастерки листок, на котором были записаны планы колхоза, процент их выполнения, виды на будущее. Он незаметно сунул листок в карман. Ему почему-то стало стыдно своей бумажки — можно подумать, пришел с готовой речью, как заправский оратор.

— Первое крещение получил под Ростовом. Был ранен. Киев отбивали. Там тоже царапнуло. Был в Польше.

— В Берлине не пришлось побывать?

— Не успел. Девятое мая подошло.

— Зато другие побывали... Член партии?

— С тысяча девятьсот сорок третьего года.

Затрещал телефон. Александр Иванович ответил односложно и обратился к Кесоу с вопросом:

— Стало быть, давно не видели нашего города?

— Лет пять, ежели не считать одного дня прошлой осенью, когда возвращался с фронта.

— Очень хотелось бы знать, товарищ Мирба: какое впечатление производит на вас город?

— Очень красивый, лучше, чем до войны...

Александр Иванович взял под руку гостя и подвел его к чертежу, висевшему на стене.

— Я вам сейчас расскажу, как обстоит дело,— сказал секретарь, указывая то на одно, то на другое место, обозначенное на плане города.— Десять улиц привели в порядок. В нынешнем году благоустроим вот эти улицы, вот здесь построим новую баню и, если успеем, кинотеатр. Общая сумма всех затрат составит...

Александр Иванович задумался, наморщив лоб. Видимо, он вспоминал что-то важное или же в чем-то усомнился. Называя цифру, он одновременно поднял телефонную трубку. Вызвав городской Совет, он с кем-то говорил об ассигновании текущего года и постановлениях по этому поводу.

— Товарищ Мирба,— продолжал секретарь,— прибавьте к сумме, которую я назвал, еще сто тысяч — вот бюджет нашего капитального строительства и работ по благоустройству города.

Александр Иванович объяснял ему все это так подробно, будто собирался просить у Кесоу необходимые на строительство деньги. Горец никак не мог взять в толк, отчего это секретарь райкома перед ним отчитывается. С одной стороны, было лестно, что его, Кесоу, посвящают в такие важные дела, но с другой — что крылось за этой неожиданной беседой? В Сакене такие предисловия делают неспроста, и Кесоу насторожился...

Александр Иванович говорил, указывая на план:

— Здесь болота. Надо бы их осушить... Школу вот новую на днях откроем. С этим нас поздравить можно... А как там у вас со школой? Помещение хорошее? — спросил он вдруг.

И начал подробно расспрашивать обо всем: о колхозе, о школе, о работе партийной организации, о сельском Совете, о людях Сакена. Кесоу отвечал, чувствуя, что не всегда его ответы удовлетворяют секретаря. И тогда секретарь недовольно морщит лоб, словно на него села надоедливая муха.

— Люди обыкновенные, — заявил Кесоу, — есть хорошие, есть и плохие.

Александр Иванович ткнул его пальцем в грудь и с улыбкой спросил:

— А как вы полагаете, сами-то вы какой: плохой или хороший?

— Я?.. — Кесоу покраснел. — Я?.. Как сказать...

Александр Иванович улыбнулся, усаживаясь за стол.

— Видите, вы себя еще плохо знаете... Расскажите-ка подробнее о ваших людях.

Кесоу назвал несколько имен, стараясь осторожно высказывать свое суждение об односельчанах.

— А я полагаю... — Александр Иванович постучал кончиком карандаша по столу. — Я полагаю, их больше у вас, хороших-то людей. Куда больше!.. Ну, об этом после. А теперь скажите: какое дело привело вас ко мне?

Секретарь посмотрел на него так, словно заранее знал ответ. В его черных глазах появилась хитринка, какая бывает у многих и в Сакене.

— Я по важному делу, — начал Кесоу. — Пришла одна мысль. (Он чуть не сказал — шальная.) Как бы это урожайность увеличить в нашем селе?

— Мысль, прямо скажу, товарищ Мирба, замечательная. Отличная. Вы читали Указ?

— Указ? Какой Указ?

Александр Иванович подал ему листовку, отпечатанную в типографии.

— Ознакомьтесь. За урожаи, добрые урожаи, наше правительство ордена выдавать будет, звание Героя присваивать. Вот как!

Кесоу пробежал глазами Указ. Он прочел строки, где говорилось о кукурузе, и просиял.

— Здорово! — воскликнул он, стукнув кулаком по столу. И тут же, спохватившись, извинился.

Александр Иванович внимательно рассматривал горца. Ему нравился живой, открытый взгляд молодого

го человека, его сильные руки, которые он то и дело сжимал в кулаки, словно собирая в них всю свою волю.

— Я, Александр Иванович, не знал об Указе... В Сакене сотню пудов с гектара за чудо почитают. Куда это годится?!

— Скверно, товарищ Мирба, слов нет, скверно!

— Вот и порешили мы, товарищ секретарь, по-иному работать...

— Как именно? — Александр Иванович, усевшись поудобней, приготовился слушать Кесоу.

— Пахать, во-первых, как полагается, а не ковырять землю. Вспахать раз и другой, бороновать с толком, сорняки пуще волков травить...

— Так, так. — Александр Иванович что-то чертил карандашом на бумаге и утвердительно кивал головой. — Правильно. Хорошо обработал — втрое увеличил урожай.

Кесоу приободрился, набрался духу, выложил кулаки на стол.

— Значит, обработка, настоящая обработка. Но это не все. Главное впереди. Есть у нас скала. Скала, доложу, товарищ секретарь, неплохая. Одним словом — удобрение, фосфориты.

— Как, фосфориты? — Александр Иванович с удивлением вскинул глаза на горца.

— Так точно. Ежели удобрять этими фосфоритами, польза получится немалая. Урожай еще вдвое множьте. — И, точно извиняясь за свою самоуверенность, продолжал: — Я немножко разбираюсь в агротехнике, на курсах учился. Я сейчас...

Кесоу выбежал из кабинета и возвратился с заветным мешком. Он развязал его и, подняв на стул, набрал полную горсть сероватой земли.

— Вот она, — торжествующе проговорил Кесоу. — Я размолот кувалдой и притащил, чтобы здесь посмотрели.

Кесоу рассказывал о своих намерениях, чутко следя за тем, как относится к его словам секретарь. Александр Иванович слушал его, не перебивая. Он взял щепотку порошка, почему-то понюхал его и молча отошел к телефону. Постоял около и обратился к Кесоу, не снимая трубки:

— Скала-то большая?

— Огромная. Набирай арбами!

— А знаете ли, что фосфориты мы, как говорится, днем с огнем ищем? Суперфосфат за тысячи километров завозим. А если под боком имеется дешевый — чего большего хотеть? — Он снова подошел к мешку. — Фосфорит — это видно. А качество? — И Александр Иванович вопросительно глянул на Кесоу.

— Не знаю, Александр Иванович, за качество не ручаюсь...

— Это плохо (у Кесоу упало сердце)... Но если настоящий фосфорит — ваше счастье... Правда, размалывать его — не семечки лущить. Нужны будут мельницы шаровые, двигатели... Ну, не беда, не в том загвоздка.

Александр Иванович резко поднял трубку.

— Алло! — сказал он. — Соедините меня с председателем райисполкома, с отделом сельского хозяйства и еще... Пока все... Так... Привет! Слушай, не заедешь ли к нам сейчас? Интересный вопрос... Ладно. Есть... Алло! Откуда? Привет. Слушай, сакенцы хотят тебя видеть. Честное слово... Приедешь? Ждем через пять минут. Есть.

Он нажал кнопку и сказал вошедшей девушке:

— Пригласите секретарей.

Александр Иванович прошелся в раздумье по кабинету.

— Затем вы и пришли сюда, товарищ Мирба? — Он указал на мешок.

— Да.

— А что говорят ваши?

— Сомневаются, Александр Иванович.

— Но в общем поддерживают?

— А как же, все, как один, — солгал Кесоу.

— Видно, не все горячо поддерживают, — заметил секретарь, пытливо поглядывая на Кесоу. — Возьмите с собой в Сакен вот этот Указ... Пусть почитают...

Вскоре начали собираться секретари. Они шумно здоровались с Александром Ивановичем, друг с другом.

— Бюро, что ли? — справился кто-то недоуменно.

Александр Иванович раскатисто рассмеялся.

— Почти,— сказал он.— Прошу всех к этому мешку. Но прежде познакомьтесь: товарищ Мирба из Сакена.

При слове «Сакен» все удивились.

— Ого! Рановато появились в нынешнем году.

— Из Сакена? Как дошли?

Кесоу пожимал протянутые руки.

— Открылась дорога, что ли?

— Ехал на своих боках,— пошутил Кесоу.

— Удовольствия мало,— заметил кто-то.

— Еще бы!

...Через час Кесоу прощался с Александром Ивановичем.

— Товарищ Мирба,— сказал ему секретарь,— мы одобряем ваше начинание. Кажется, повезло Сакену. Завтра-послезавтра нам сообщат результаты анализа. Но, как видно, вы не уповаете целиком на ваше открытие? И правильно делаете. Скала — своим чередом и в свое время... Допустим, что результаты анализа будут благоприятные. Вы слышали, что здесь говорилось? Вам надо мельницу подвезти, двигатель, горючее. Это не просто. А пока ваша задача — пахота. Свяжитесь тесней с партийной организацией, и дело пойдет на лад.— Александр Иванович сделал паузу.— Мы, коммунисты, хвалить друг друга не любим. Но вы молодец! Понимаете?.. Иным кажется, что вы живете оторванно от всех. Неверно! Вместе с вами вся страна. Вы не один. Советский дух всюду проникает, через все горы, перевалы и реки. Взгляните сюда,— Александр Иванович подводит горца к карте.— Вот Советский Союз. Огромная, сильная мировая держава. А вы ее частица. Стало быть, от вас зависит многое. Ясно?

Александр Иванович говорил тихо, отдельно. Он был нетороплив в движениях и оттого казался чуточку суховатым. Но если внешне секретарь не проявлял особой горячности, зато каждое его слово было проникнуто такой сердечностью, такой искренней заинтересованностью, что Кесоу чувствовал, как за спиной вырастают крылья.

— Учтите, товарищ Мирба, урожай — это все. Боритесь за него всеми силами. Имейте в виду, в Москве учитывают и ваши зерна... Да, да! Вас никто не забывает. Понимаете? Вот нынешним летом открываем

авиалинию в Сакен... Кстати, до войны, кажется, летали к вам?

— Да, прилетали раз.

— А впрочем, громко сказано: авиалиния! К вам будут летать «По-2», на первых порах разок в неделю.— И, хитро улыбнувшись, Александр Иванович добавил: — Но со временем, может быть, и авиалиния. Как вы полагаете?

— Не иначе как авиалиния, Александр Иванович.

— Итак, товарищ Мирба, завтра-послезавтра вы узнаете результаты анализа. Потом прошу ко мне... Кстати, хотелось бы отправить вас домой на самолете. Дней через пять-шесть это можно было бы устроить.

— Но я очень тороплюсь. Близится сев...

— Одним словом, заходите, а там видно будет. Будьте здоровы.

Самочувствие Кесоу было прекрасным, словно после пира, когда кружится голова, но человек не пьян, когда все вокруг ходуном ходит, а ноги держат тебя устойчиво, когда мир отсвечивает всеми цветами радуги,— но это не сон, а самая настоящая явь!

25

Жизнь в Сакене текла своим чередом.

Бригада Кесоу под неусыпным наблюдением Екупа закончила пахоту. Екуп с нетерпением ожидал возвращения сына. В общем, дела в колхозе «Светлый луч» шли много успешнее прошлогоднего.

Не обходилось и без неприятностей.

Паводком смыло плотину на станции Гудала, и свет погас надолго, может быть, на месяц, а то и больше.

Серьезно прихворнул древний Шаангери. Врач опасался за его жизнь, каждый вечер навещал старика.

Никуала успешно охотился, целыми днями пропадал в лесу. Он убедил Константина организовать специальную бригаду охотников.

— Ведь доход-то пойдет колхозу,— уговаривал он его.— А дальше, может быть, и расширим это дело...

Близилось Первое мая. Константин и Мушаг составляли план проведения праздника. На рассадном хозяйстве готовились отметить этот день подарком

колхозу — полсотни тысяч корней рассады сверх плана.

Кама и Нина — лучшие работницы; их обещали премировать к Маю.

Адамур процветал. В ненастные дни оборот ларька (имеется в виду его пристройка) составлял солидную сумму. А Рашит... О, Рашиту было не до праздника, у него были свои заботы.

Неписанный закон, мужской кодекс чести, которому было нанесено оскорбление отказом Камы, требовал решительных действий со стороны рыцаря старинных обычаев. Рашит чувствовал, что пора от слов переходить к делу, не то станешь посмешищем для друзей...

Итак, был назначен день и час.

Встреча заговорщиков произошла в Куницыном Закуте. По преданию, именно здесь водились когда-то сакенские лешие. Поджидая дружков, Антон сидел на пне и курил. В наступивших сумерках он казался одним из тех нечистых, что некогда обитали в этом углу.

— Пришли? — пропищал он. — Я уж боялся — раздумали.

Верзила и Антон углубились в чащу, а место Антона на пне, у самой тропы, занял влюбленный Рашит. Он был одет в новую шерстяную блузу, кавалерийские брюки с леями и теплый полушубок. Сапоги, как и полагается молодцу, со скрипом, а на голове каракулевая папаха, которую одолжил у Адамура. Он сидел на пне, а мысли его устремились вперед по извилистой тропочке, ведущей к парникам.

А по тропе навстречу этим черным мыслям шла Кама. У поворота дороги она простилась с Ниной и одна направилась домой.

Чтобы не напугать девушку, Рашит зашагал к ней навстречу, напевая песенку.

Кама не очень удивилась, увидев Рашита. Она поздоровалась с ним и хотела продолжать свой путь. Но он преградил ей дорогу.

— А я тебя поджидал, чтобы проводить домой, — сказал он.

— Благодарю.

Он сжал ей руку повыше локтя и продолжал, стиснув зубы:

— Как полагаешь? Не довольно ли мучить... Да, да... Мне кажется, Кама, сюда уж подступила... любовь,— он указал рукой на кадык.— Не смейся. Всему есть предел.

Она отвечала ему шутливым тоном, но Рашит, как видно, не был расположен к шуткам.

Разговор принимал все более резкий характер. В словах Рашита сквозила явная угроза. Девушка была испугана, но старалась не показывать этого и все еще пыталась разговаривать в шутливом тоне.

Рашит потерял терпение.

— Ты выйдешь за меня — и дело с концом! — гневно вскричал он.

— Нет, этого не будет!

Он коротко свистнул и, не говоря ни слова, схватил ее в охапку. Тут же, как из-под земли, выросли Антон и Еник; девушку в мгновение ока завернули в бурку и взвалили на лошадь. Итак, Каму похитили!

Надобно заметить, что такой метод умыкания лишен подлинной романтики. Судите сами: Кама не теряла сознания, а рыцари не проявили той нежной осторожности, при которой девушка, как полагают, даже не чувствует, что ее кладут на коня. Кони, со своей стороны, не мчали, подобно ветру,— нет, они просто плелись шагом, едва нащупывая тропинку. А трястись на шее животного, подобно мешку, мучительно тяжело.

Не меньше неудобств испытывал и похититель. Руки у него затекли, ноги онемели, шея чуть набок не свернулась. Нет, Рашит не переживал и сотой доли того блаженства, которое, если верить рассказам, сопутствует удачному похищению!

...Спустя часа два Кама сидела на скамье в каком-то чужом доме. В комнате было тихо, а рядом, сквозь тонкую деревянную перегородку, слышались мужские голоса. Девушка с трудом могла повернуть шею. Все тело ныло, точно ее избили палками. Но тем не менее она готова была выцарапать глаза любому, кто бы к ней приблизился.

Скрипнула дверь, и на пороге появилась старуха с тарелкой в руке.

— Дочь моя,— сказала она ласково, обращаясь к девушке,— ты не волнуйся. Не беспокойся. Смирись... Такова наша женская доля. Всех нас рано или поздно крадут. Сначала они,— она указала рукой на перегородку,— потом — смерть неминуемая. — Старуха вздрогнула, и ее скрюченный нос задрожал. Она с трудом шевелила сухими губами. Глаза у нее сидели глубоко в орбитах — очень живые для ее почтенного возраста глаза.

Кама поднялась со скамьи. Она едва держалась на ногах. Старуха все же благоразумно отошла в сторону.

— Ты что же это, бабушка, такими делами занимаешься? Дуракам потворствуешь? — гневно напустилась на нее Кама.— Ты меня спросила, хочу ли я выходить замуж за этого головореза?

Старуха замахала руками.

— Что ты, что ты, доченька! Говорят, с женою приедем. Да разве мы не люди? Милости просим...

Кама уселась около камина, в котором тлели дрова.

— Прохладно,— сказала она,— не мешало бы раздуть огонь как следует.

— Дочь моя,— прошамкала старуха,— позволь мне...

— Справляюсь сама. А ты, бабушка, ежели не в большое беспокойство, накормила бы меня, мне есть хочется... А где эти сумасброды?

— На кухне,— смущенно ответила старуха.

— Пстой! — Кама сняла со стены старинную кремневку.— Стреляет?

— Что ты, милая, полвека молчит.

— Неважно, пригодится вместо дубины. А ты не выдавай, скажи им: заряжена.

Старуха покорно кивнула головой и поплелась к двери.

— А этого... похитителя пришли ко мне! — крикнула ей вдогонку Кама.

Она была взбешена. Не приведи бог столкнуться с разгневанной сакенской женщиной!..

Кама размяла ноги, примерила к себе кремневку. Ружье, отделанное серебром, очень ей понравилось. Она попыталась прицелиться в дверную ручку.

В это время дверь отворилась и на пороге показался Рашит — бледный, взволнованный. Увидев в руках девушки ружье, он отступил на шаг.

— Что ты, что ты? — пробормотал он смущенно.

— Ничего, — беззаботно ответила Кама, — вот ружье рассматриваю. Хорошее ружье! Но, однако, куда девалась хозяйка? Я голодна.

«Что за чертовщина! — подумал Рашит. — Или она рехнулась, или смирилась...» И он побежал, чтобы поторопить с едой. Вскоре он возвратился и скромно уселся в углу.

— А где твой товарищ?

— Он здесь, на кухне.

— Чего же он не идет? Поглядеть бы на него!

— Оставь его, Кама... — Он хотел приблизиться к ней.

— Ни шага в мою сторону. Ясно?

Рашит подчинился.

— Слушай, — начал он, помолчав, — я думаю, ты все понимаешь. И оценишь по достоинству. Мое отношение. Любовь. Безумство. Я потерял покой.

Кама взглянула на него с отвращением.

— Я хотела бы знать, — сказала она, топнув ногой, — в какое время мы живем? Сорок седьмой год? Да? Даже в таком углу, в медвежьем углу, как Сакец, все это напоминает глупое цирковое представление!

— Я ничем не осквернил дедовских обычаев.

— О, ты — нет! — воскликнула Кама. — Они тебя осквернили, обычай-то.

Рашит прошелся по комнате с намерением подойти поближе к девушке.

— Не приближайся. — Ружье мгновенно нацелилось на молодца.

— Оно не стреляет, — заметил он с усмешкой.

— Зато у него крепкий приклад! — И Кама замахнулась ружьем.

— Сумасшедшая! — сказал в сердцах Рашит, усаживаясь на свое место. — Ну что же, будем играть в кошки-мышки до утра. Только не пойму, какой толк.

— А такой, что ты на рассвете приготовишь коня и я уеду.

Рашит чуть не подскочил от злости. В дверях стояла старуха с тарелками в руках.

— Как? — удивилась она. — Ты уедешь? Одна? Кама встала из почтения к старшей.

— Одна, ежели не догадаются проводить.

— Ты вернешься в свой дом?

— А куда же еще?

— Ты прежде подумай, Кама. Ведь мы теперь уже вроде муж и жена.

— Это почему? — возмутилась девушка.

— Я говорю: вроде, — сказал он. — Раз ты ночь побыла под одной крышей со мной, думаю, что этого для Сакена достаточно.

— А я не думаю, — возразила Кама. — По какой же ты, оказывается... негодяй!

— Клянусь тебе... — начал было Рашит.

Но она гневно отвернулась от него.

— Первым от тебя откажется Кесоу, — со злостью заявил он.

— Кесоу?

— Ох, доченька, — подала свой голос старуха, расставляя блюда на столике. — Ты не знаешь мужчин. Ну, кому пужна чужая женщина?

Кама горделиво выпрямилась и вызывающе закинула голову. Старуха невольно залюбовалась ею — и без того узенькие прорезы ее глаз вовсе сузились в ровную красноватую линию.

— Ну, если Кесоу хоть на столечко окажется похожим на тебя, я сама от него откажусь. Бог с ним. Обойдусь и без него.

Старуха подошла к девушке, обняла за талию, поцеловала ее. (Каме показалось, что к щеке приложили камень.)

Рашит надвинул папаху на самые брови и направился к двери, небрежно кинув:

— Ладно. Посмотрим, что ты запоешь утром.

Эти наглые слова возмутили старуху.

— Как тебе не совестно, Рашит! — пристыдила она его. — Мне не нравится, когда в моем доме гости ведут себя дерзко. Ну, иди на кухню, поспи, а мы побудем здесь. Уж лучше бы ты не брался за мужское дело...

Рашит, дымя папиросой и развалившись на нарах (он очень устал), все еще уповал на то, что Кама изменит свое отношение к нему.

Когда же наконец рассвело и Рашит чуть-чуть приоткрыл дверь в комнату, где находились женщины, он увидел их — Каму и старуху — за мирной беседой...

Так закончилось бесславное похищение невесты.

26

В апрельский ясный день, когда мир нежился в лучах ласкового весеннего солнца, в Сакене произошло важное событие.

Вначале появилась точка на небе, росла она, росла и превратилась наконец в самолет. Он покругил над селом и снизился на Барсучьем Лугу.

Быстро сбежался народ на Барсучий Луг, люди окружили самолет, словно гостя, который стесняется ступить на порог.

Вышел на крыло стройный парень — весь в кожаном: и сапоги, и брюки, и шапка. Спустили его на землю, начали с ним обниматься — вовсе затискали. Снял он с глаз очки, осмотрелся.

— Так, значит, это и есть Сакен? — спросил он.

— Так точно, — ответили ему, — настоящий, неподдельный Сакен.

— Надеюсь, я первый воздушный гость? — сказал, возомнив о себе, летчик.

— Нет, — ответили ему, — ошибаешься. Чуть-чуть опоздал. До войны побывали у нас такие же.

Братья Дауд и Дамей Аланы были чем-то недовольны.

— Лет семь назад, — сказал Дауд, — прилетал к нам точно такой же. Ну да, те же матерчатые крылья, та же фанера... Черт возьми, после войны, я полагал бы, лучше должны быть птицы. А?

Летчик был сконфужен.

— Что правда, то правда, — оправдывался он, — машина не бог весть какая, зато надежная. Не подведет никогда, особенно в горах. Но скоро, очень скоро к вам другие прилетят. Быстроходные, очень красивые и удобные, я их на аэродроме нашем видел...

Летчик поделился своими впечатлениями о полете. Оказывается, там, наверху, все белым-бело, облака под

тобою что взбитая вата, горы — мал мала меньше, что борозды на вспаханном поле...

— А воздушная дорога к вам под стать земляной,— сказал он,— летишь, словно по ухабам едешь, подбрасывает и так и этак.

Летчик порылся у себя в кармане и достал оттуда письмо. Прочитал адрес, спрашивает:

— Где тут Кесоу Мирба?

— В городе,— говорят ему.

— Нет,— отвечает,— он уже дней пять как ушел к вам.

— Ну, тогда жди его с часу на час!

А народ продолжал толпиться у самолета. Шаангери похаживал вокруг, словно около пороховой бочки. Гудал вздумал просветить старика. Он подвел Шаангери к самому носу самолета и пояснил:

— Это мотор. Он крутит винт... А самолет знатный — «По-2».

— Так, сын мой, та-ак,— дивится Шаангери.— Хороший, стало быть?

— Ничего себе. На крылья погляди: две пары. У орла и то одна пара!

Он так расхваливал самолет, будто продает его на ярмарке. Подводил старика то к хвосту, то к мотору, то снова к хвосту... За ним по пятам следовал добрый десяток крестьян. Каждый норовил поближе к Гудалу протиснуться, послушать его объяснения. А Гудал так и режет, что ни слово, то удивление всем, точно строил эту птицу сам, своими собственными руками. Выслушав Гудала до конца, старик спросил:

— Так, значит, она летает?

Короче говоря, все пошло насмарку — начинай, стало быть, сначала. Гудал пожаловался, что у него пересохло в глотке.

— Давайте позовем Симона,— предложил кто-то.

— Верно! — поддержали его.— Симон фронтовик, все начистоту выложит.

— Эй, Симон!

Толпа расступилась. Вперед выступил Симон — колхозный бригадир, шустрый малый, три пальца левой руки на фронте оставил. Не будь он так ловок и изворотлив, голова бы с плеч полетела — в таких

побывал переделках! Он осведомился, чего от него требуется.

— Да вот,— говорят,— объясни как и что.

— А что объяснять-то?.. Эка невидаль — кукурузник! — И он презрительно скривил физиономию.

— Помнишь, Симон, — раздался из толпы чей-то голос, — мы в них пилотками кидали — до того они низко летали? Одно слово — кукурузник!

Симон оперся плечом о борт самолета. Он постучал в стенку пальцем и многозначительно промолвил:

— Фанера. А там, ближе к хвосту, холст... Другой табак — истребители, пикировщики! Там, брат, держи голову покрепче, иначе оторвет...

Симон отзывался о крылатом госте уж слишком нелестно.

Шаангери взяла досада. Как бы там ни судачили, пусть плохонький, а все-таки гость.

— Сын мой,— сказал он, не глядя на Симона,— не кажется ли тебе, что твои слова могут кое-кого оскорбить? — Шаангери посмотрел косо на заносчивого молодого человека, как посмотрел бы пророк на богохульника.— Это не годится, сын мой. Молод ты еще...

Старик никак не мог взять в толк, отчего эти люди (он их называл — дети) в Сакене стали так дерзки и самоуверенны. Свет городской для них — трын-трава, самолет, летающий над облаками,— обыкновенное дело. Старик был оскорблен в своих лучших чувствах, ибо он считал этот день незаурядным днем в своей жизни (то же самое он сказал и у Гудала, осмотрев электрическую станцию).

— Да,— мрачно прошамкал он,— изменился народ... Нельзя так о госте отзываться, нельзя, не по обычаю.— И, уязвленный, вышел из толпы и сел в отдалении, так, чтобы ему получше был виден серебристый самолет.

Молодежь исподтишка подсмеивалась над стариком. Но Мушаг, директор школы, стал на сторону Шаангери.

— Напрасно старика обидели,— сказал он.— Правда, сам я не был на фронте, но газеты читал внимательно, ни одной не пропускал. Самолет, стало быть, неказистый — «По-2», а польза от него была великая.

Скажем, бомбить ночью передний край противника, к партизанам слетать — первый помощник!

Сакенцы обрадовались: все-таки к ним удалой самолет прислали, славную машину, раз она и по ночам летала, и бомбила, и партизанам подсобляла чем могла. Обошли самолет еще раз, от хвоста до пропеллера, и все ощупали самолично.

Пока шли толки о самолете, никто не заметил, как на лугу появился Кесоу. Усталый, обросший, поздоровался он с односельчанами, ничуть не удивляясь присутствию крылатого посланца.

— Машины привезли? — спросил он.

Ему показали какие-то железные части, которые тем временем успели выгрузить из нутра самолета.

— Очень хорошо, — сказал Кесоу, — скоро привезут еще... Я шагал пять дней, а сколько минут летел этот?..

27

Вечера в горах, даже когда апрель выдается очень теплый, прохладные. Если дом, в котором вы живете, расположен на высоком месте, — выйдя на крыльцо, можно увидеть гряды снеговых вершин, освещенных голубоватым лунным светом. Ветерок дует с гор и остывает на лету — вот оттого-то и прохлада.

Вы начинаете поеживаться от одного вида заснеженного горного хребта, уходящего в зеленоватую темь ночи. Они безмолвны, горные вершины, застывшие на веки вечные под снеговым покровом. А ниже их — только зияющая пустота, черная, как бурка. И вас невольно тянет к жаркому пламени очага, разожженного в глубине кухни.

В доме Екупа у очага собрались хозяева и гости. Сам Екуп примостился на нарах. Кесоу сидит несколько поодаль. Нина возится в углу, просеивая муку. Константин слушает рассказ Кесоу, молча ковыряя потухшей головешкой в золе. Антон прячется в тени за спиной Гудала. Кесоу нет-нет, а пытается выхватить его взглядом из мрака.

Кесоу повествует о своем путешествии подробно (в Сакене обожают подробности). Речь его пестрит междометиями, восклицаниями и самыми лестными

эпитетами, когда он рассказывает о том, как встретил его секретарь, и о том, какую он обещал поддержку...

— Значит, приняли как полагается, — говорит Константин.

Кесоу на минутку умолкает, точно припоминая что-то.

— Приняли, что и говорить, прекрасно! — продолжает он, понизив голос. — Александр Иванович созвал совещание. Обсудили. Сделали проверку. Очень скала понравилась... Дали мне совет, что и как. А вот и постановления... Из Москвы они, из Кремля.

Он разглаживает на коленях листовку, достает из бокового кармана брошюрку.

— Тут и о февральском Пленуме Центрального Комитета, и Указ есть...

— Прочтем! — обращается Константин к присутствующим.

Гудал подсаживается к Кесоу, через его плечо заглядывает в бумагу.

— У-к-а-з, — шепчет он.

Становится очень тихо. Слышно лишь потрескивание дров да шипение в них влаги, изгоняемой всесильным огнем.

Екуп опирается на клюку. Пламя освещает его лицо, потемневшее от солнца и ветра. Башлык съехал на затылок.

Гудал напряженно следит за чтением. Он тянется к печатному слову, как дитя к лакомству, лежащему где-то высоко на полке.

Антон осторожно трет свои воспаленные глаза. Его душит кашель, но он старается приглушить его, «загнать в желудок», как говорят в Сакене.

Константин широко расставил ноги, голову опустил на руки, глубоко-глубоко задумался.

Нина перестала просеивать муку, присела на скамеечку.

Братья Дамей и Дауд сидят плечом к плечу, грея руки и сладко поеживаясь.

На всю кухню раздается размеренный голос бригадира. Люди слушают жадно, боясь проронить слово. Можно лишь пожалеть о том, что в этот час не оказалось поблизости фотографа, который заснял бы сакенских землепашцев, читающих кремлевский Указ...

Пусть живет в веках этот замечательный час, полный сосредоточенности и величия! Пусть никогда не померкнут слова, подвигнувшие миллионы крестьян на горячий труд во имя благоденствия страны и народа! Читают Указ мои земляки, и сердца их открываются навстречу заботе Советской власти о народе, о крестьянстве, о счастье страны, испытавшей ужасы вражеского нашествия, разнесшей в пух и прах недруга и ныне снова твердой поступью идущей вперед. Так поняла Указ вся необъятная, могучая наша родина. Так поняли его и в Сакене...

Екуп воскликнул:

— Это большое, очень большое дело, друзья!..

Кесоу перебил его:

— Мы в Сакене только о себе подумали, а Москва на весь мир сказала.

— И то правда,— согласился старик.

Кесоу, закончив чтение, отложил бумаги в сторону.

— Такие дела,— проговорил он.— Удивительные, я бы сказал. Там, в долинах, по тысяче пудов с гектара снимают. Хотя бы половина нам перепала, что ли!

Гудал рассмеялся:

— Ишь ты, жадный какой.

— Кесоу,— сказал Константин,— за кукурузу беремся, стало быть?

— Обязательно.

— Что ж, говори, как и что. Всем интересно знать.

— Добро,— Кесоу закурил городскую папиросу.— План нашей бригады будет таков: на своем участке соберем по пятисот... Слово даю!

Братья Аланы шумно вздохнули. Антон крякнул, Гудал — на радостях, что ли — начал разгребать золу. Из очага посыпался сноп золотых искр.

— Первое дело, товарищи,— продолжал Кесоу, жмурясь от яркого света,— о том мне Александр Иванович крепко наказывал, первое дело — пахота, боронование, прополка. Все в срок, по правилам... А скала у нас — первый сорт. Называется — фосфориты! За них люди деньги платят, за тридевять земель к себе везут, а у нас готовые — под носом. Шаровую мельницу доставят, двигатель и горючее тоже... Станем размалывать, посыплем землю — увидите, что будет!.. У меня словно тяжесть с плеч свалилась, когда я

анализ увидел. «Александр Иванович, говорю, а что, если скала подвела бы, — пропал бы я», — говорю. А он смеется... «Вы там, в Сакене, и без скалы бы не пропали, говорит, ведь перед войной у вас дело уже неплохо шло!»

— И то правда, — заметил Гудал.

— Но все счастливо обернулось. Фосфориты добывать будем — копейки это нам обойдется. Вот дорогу сюда проложат — мы и другим колхозам поможем. А как же?.. Но пока... пока нам нужна помощь, дорогой Константин.

— Вопрос на собрании поставим, — сказал Константин. — Это раз. На правлении колхоза обсудим — два. Дело-то общее. Верно?

— В Никуала нету веры, — сказал Дамей, — известно, какой он...

— Кстати, Константин... — начал было Кесоу. — Ну, об этом потом... Хотел насчет Никуала сказать... В районе о нем определенного мнения. — Он повторил: — Определенного...

— Понятно, Кесоу, — Константин кашлянул в знак того, что понял, на что намекал Кесоу. А намекал Кесоу на то, что надо бы на место Никуала поставить другого человека, толкового и энергичного.

Кесоу озабоченно продолжал:

— Надо в порошок скалу измолоть. Тем порошком будем землю удобрять. За урожай вся наука ручается.

Дамей потянул себя за усы.

— Знатная затея, — сказал он, — ей-богу, сил не жалко. Словно порох изобретаем. А? Спасибо району, не оставили без помощи.

Екуп кряхтит, охает, подставляет огню то правый бок, то левый.

— Поглядим, старики, чего тут молодые сотворят, — произносит он, — а нам, как видно, пора на покой...

— Нельзя, — стыдливо говорит Антон, — кха, не то время, кха... Правду говорю?

Кесоу скользит по нему острым взглядом — словно косой по траве. Антон поеживается. «Знает все, рассказали ему», — думает про себя Антон, проклиная в душе Рашита.

— Мы твой доклад, Кесоу, завтра на партийном собрании обсудим, — говорит Константин. — Прочита-

он вслух постановление и Указ. Скала, брат, надежды, это ясно.

Константин поднимается.

— Ты куда? — спрашивает его удивленно Екуп. — А ну-ка, дочка, готовь на стол!

Когда хозяин произносит эти слова, обращенные к женской половине семьи, и когда гости снова усаживаются на свои места, происходит обычно небольшая заминка в беседе. Тогда обязанность хозяина — развлечь гостей. И Екуп, придумывая новую тему для разговора, несколько раз подряд повторяет слово «да».

На помощь неожиданно приходит Дамей.

— Ну, Кесоу, — говорит он, — что нового слышно в мире? О чем теперь речи? Надеюсь, успокоились?

— Смотря кто, — неопределенно замечает Кесоу. — А вообще не совсем...

Его перебивает Екуп:

— Слушай, когда поссорились Гадара и Гана, наши соседи, и когда их помирили, они еще полгода не кланялись друг другу. «Отвыкли мы», — говорили они. Так это все-таки свои люди были. А вы хотите, чтобы мир так разом и успокоился после такой войны!

— У них, рассказывают, новые бомбы, — говорит Дауд, — и никак нахвалиться не могут ими.

Кесоу улыбается.

— Наша страна неприступна, как Сакен!.. А вот в Индонезии скверно, — неожиданно сообщает он. — Предают республику.

Эта весть была воспринята слушателями с сожалением.

— Индонезия, говоришь? — спрашивает Дамей. — Это что же такое, город или страна?

— Страна.

— Индонезия? А? — продолжает Дамей. — Какие же это люди предают?

— Все те же, — говорит Кесоу, — Америка и прочие.

— Ну, а мы как, мы? — интересуется Екуп.

— Советский Союз, что ли? Мы — за Индонезию.

— Ах так! — Екуп вскакивает с места. — Ну, тогда слушайте: ничего у этой самой Америки в Индонезии не выйдет. Вот увидите!

И Екуп торжествующе оглядывает своих гостей. Он доволен, что может высказать свое мнение по поводу таких важных вопросов.

Кесоу старается поймать взгляд Антона, но тот упорно прячет свой взор. «Подлюга ты!» — думает Кесоу и с отвращением отворачивается от Антона.

— А все-таки я не понимаю, — говорит Дауд, — почему снова о войне заговорили?

— Как почему? — Константин повертывается к нему всем корпусом. — Это они заговорили, империалисты. Советская власть им поперек горла встала.

Молчание. Становится тихо. И в наступившей тишине Дауд — огромный, коренастый мужчина — говорит медленно и внушительно:

— Не любят они нашей Советской власти? Тем хуже для них!

Тут появляются бокалы с вином, и получается это так кстати, что все одновременно восклицают:

— За Советскую власть!

Ты поймешь, читатель, простых сакенских людей, поднимающих бокалы за свою власть, прежде чем выпить за родных — за отца и мать. Подумай и рассуди сам: все, что есть у этих крестьян — свобода, обеспеченная жизнь, общий труд, чувство гордости за свою родину, великое ощущение счастья, уверенность в будущем, — все это дала им Советская власть. Как же не дорожить ею, как не любить ее? Этой власти самый большой, самый главный почет, ибо нет без нее настоящей жизни!..

Далеко за полночь засиделись гости. А когда они вышли во двор, вверху стояла большая, больше чем колесо арбы, луна, и она пришлась по вкусу всей компании. Вдруг где-то в кустах запела тоненьким голоском неведомая птичка. Было очень странно: такой огромный мир — и такой маленький, но хорошо слышимый в этом мире голосок.

— Тише, — сказал Кесоу. — Поет.

И гости и хозяйева слушали пение птички, а луна без конца поливала землю потоком ярких лучей...

...Кесоу собирался на отдых, усталый от путешествия, от разговоров и собственных мыслей.

На пороге своей комнаты он увидел сестру. Она была чем-то обеспокоена. Он потрепал ее по плечу.

— Что с тобою? — спросил он.

— Она не виновата, — проговорила скороговоркой Нина. — Я все знаю.

Он сел на кровать и, равнодушно потягиваясь, заметил:

— Знаешь что? Тех, кто этого не хочет, не крадут. Что это значит?! — воскликнул он раздраженно. — Дать себя увезти? Да кому еще?

Нина не уходила. Она стояла, скрестив руки на груди, полная решимости не уступать.

— Она много плакала, — сказала Нина, строго глядя на брата. — И все еще плачет. Она хорошая девушка. Во всем виноват Рашит — не даром же он скрылся...

— Итак, чего ты от меня хочешь?

— Чтобы ты поговорил с ней.

— С удовольствием.

— Ты не шути. Я говорю серьезно.

— А я будто — нет?

— Тоже мужчина! — продолжала она. — Сам других ругаешь за отсталость. Ты-то какой, а?

Он не ожидал такого напора от своей сестры, на которую привык смотреть как на девчонку.

— Ну, говори еще, — сказал он со смехом.

— Ничего я не скажу. — Нина надула губы. — Или, думаешь, Кама дороги своей не найдет? Или без тебя пропадет? Нет, милый мой! Я знаю... Упустишь — не вернешь! Не те времена!

— Так, так!

— Ежели один негодяй оскорбил девушку, то как, по-твоему, должен поступить другой?

— Негодяй?

— Нет, другой мужчина, ежели в нем есть хоть капля совести.

— Не знаю. — Кесоу с удовольствием слушал ее гневные речи. «Ай да сестренка!» — говорил он себе, невольно любясь ею.

Нина ушла в другую комнату, потом вернулась и, не переступая порога, сказала:

— Не прежние нынче — не курицы мы, которым можно голову свернуть просто так, за здорово живешь! — И ушла, хлопнув дверью.

Кесоу засыпал с ощущением, что самое трудное, ради чего он ходил в город, преодолено. Но какая-то неприятная мысль тревожила его, отравляя радость.

— Проклятый Рашит! — процедил он сквозь зубы, обращаясь к темной каштановой стене, и с головой залез под одеяло.

28

Еще месяц назад у родника было не так приятно, как сейчас. Стало гораздо теплее, и зеркальная поверхность воды манит к себе. Скоро родник сделается излюбленным местом для тех, кто ищет прохлады, в ком бьется слишком горячее сердце. А в лунные июньские вечера эти скалы, поросшие зеленым мохом, будут свидетелями то скромного шепота, то открытых признаний.

Сегодня воскресный день.

Кесоу и Кама сидят на камнях друг против друга. Она одета в белое шелковое платье. На голове голубой платок. Обута в лучшие туфли и дорогие чулки со стрелками (их почитают и в Сакене). Есть чем полюбоваться! Косы у нее сложены на груди — две тугие черные косы.

Кама рассказывает во всех подробностях историю своего «похищения». О, она показала в ту ночь, что значит сакенская девушка!

Кесоу задумчиво рисует на песке страшные знаки.

— Все? — спрашивает он.

— Да, все.

Наступает тягостное молчание. Тогда она говорит сдавленным голосом:

— Уезжаю я. Недолго уже...

Он резко оборачивается к ней. Он видит ее печальные глаза, которые глядят на него словно из-за отуманенного стекла. И первое побуждение — приласкать, подбодрить девушку.

«Черт возьми, — мелькает у него мысль, — должна же она понять, что я не Рашит!»

Нет, Кама хорошая девушка, очень хорошая. Но ему интересно, что она еще скажет.

— Куда ты собираешься ехать, Кама?

— В город.

Он вопросительно глядит на нее.

— Разве я не могу поехать? Разве только ты можешь? Учиться еду.

Она неожиданно вдохновляется своей идеей, устремляет взор к голубой долине реки Сакен и произносит, точно клятву:

— Уеду. Стану учиться. Слава богу, школ везде хватает. Помогут. Я ничего не боюсь... Я только желала б вернуться сюда года через три и посмотреть на вас всех.— И, разрыдавшись, убегает прочь.

Она взлетает по крутой тропе, спотыкается и снова мчится вверх. Вот уже она на самом гребне: миг — и скрывается в кустах.

Кесоу срывается с места.

Но ее уже не догнать. Во-он как высоко мелькает ее белое платье!

Кесоу остается один, наедине со своими мыслями и целым миром. Молодой горец сидит на том же камне, у того же родника, что и месяц назад. А над головой плывет задорный весенний день. Гуагуа и Клыч в тумане, горы курятся, словно на их вершинах разложили костры из сырых поленьев. Снизу доносится рокот Сакена. Направо — Серебряный Луг, налево — Ореховая Балка и Мрамба. Почти над каждым домиком вьется дымок. И если белые горы, что ослепительно сверкают на голубом фоне неба, смогли бы сдвинуться с места, они образовали бы очень веселый хоровод.

Апрель на исходе. Наступили погожие дни. На дорогах появилась пыль. И, точно в разгар лета, метет ее и гонит куда-то ветер.

Зелень налилась, полна соков. Царапни ногтем любой ствол — влага брызжет оттуда, точно родник изпод земли.

В воздухе бесконечное веселое пение птиц. На пастбищах мычат коровы, а по утрам задорно кукарекают петухи.

С утра все село уходит на работу. Неторопливо едут арбы, и их скрип разносится по всей окрестности...

Да, друзья мои, я люблю Сакен весною, люблю особенной любовью, может быть потому, что именно весною кажется он мне таким молодым и полным сил.

Хорошо теплым весенним днем бродить по селу, а еще лучше пойти на берег реки. Там каждый найдет для себя подходящее занятие.

Я сижу на берегу Сакена. В этом месте река делает крутой поворот, изгибаясь лебяжьей шеей.

Берег крут и высок. У подножия его — камни, мелкие и крупные. Я шевелю ногой. — и земля осыпается.

Подо мной в бешенстве бурлит вода, подтачивая берег. А противоположная сторона спокойная, берег низкий, песчаный. За желтоватой отмелью растут сосны. Поближе к воде — плакучие ивы. За зеленой лесной чащей вырастают снежные горы.

В двадцати шагах — тихая заводь.

Маленький мальчик в красной рубашке удит рыбу. Он терпеливо держит в руках удилище, время от времени резким взмахом выдергивает лесу из воды. Но крючок почему-то пуст, и наживки как не бывало. Снова, насадив червяка, мальчик забрасывает удочку.

Рядом с ним Шаангери Канба. Он, кажется, уснул (это нетрудно на апрельском благотворном солнышке). Однако я ошибся. Вот его привлек мой этюдник.

Он медленно подходит ко мне и становится за моей спиной.

Я накладываю последние мазки. На этюде река Сакен с ее лебединым изгибом, поодаль здание сельского Совета и школа. Еще дальше — горная гряда, а над нею очень красивые облака (признаться, этюд затеян главным образом из-за них). Я слышу, как посапывает Шаангери, чувствую, как он пристально глядит на меня.

Я оборачиваюсь и вижу его глаза, полные любопытства.

— Сын мой, — говорит Шаангери, — у тебя очень хорошая фуражка. (Я знаю, что шляпа ему кажется несколько странным головным убором.) Говорят, у тебя есть и башлык.

— Да, есть у меня башлык.

— Неужто и бурка есть, Александр?

— Да, я купил себе настоящую кабардинскую бурку.

— Дай-ка сюда... — И старик тянется рукой к моей шляпе.

Он поворачивает ее со всех сторон, заглядывает внутрь.

— Шелк? — спрашивает он, щупая подкладку.

— Да, это шелк.

Сделав глубокую затяжку из трубки, старик говорит:

— Молодец, молодец!.. Мне нравится твоя шапка, такие, сказывают, носят ученые... Значит, и наш сакенец надел ее... Молодец!

Теперь пора похвалить и мою картину. Она, по видимому, не удовлетворяет его, иначе он бы прямо с нее и начал.

Он замечает:

— Очень красиво, я бы сказал... А вот почему нет людей на твоей картине? Человек обязательно должен быть. Растут ивы. Их посадил человек. Вот школа. Ее построил человек. Разве ты не любишь человека?

— Как так не люблю, Шаангерн?

— Тогда пририсуй его вот здесь. — Он указывает пальцем на отмель, и палец у него в желтой краске.

Я обещаю ему это, и он удаляется к своему правнуку, который наконец-то подцепил какую-то рыбешку. Старик идет размеренной поступью, и посох его бьет острым наконечником по звонким, как колокольчики, камешкам...

Последний день апреля.

Солнце в зените, над самой головой. Небеса синие-синие (хоть счищай с них настоящий ультрамарин). На зеленой сакенской земле желтые и коричневые прогалины — то паши (бери землю и делай себе охру). Река бежит бесконечной серебряной лентой...

Я оставляю этюдник и гляжу на реку — уж очень мне нравится ее прозрачность...

Я думаю о моих сакенских друзьях...

Прошло немногим больше месяца с того дня, когда мы впервые повстречали у родника двух молодых людей — Каму и Кесоу. Месяц — не долгий, но и не очень короткий срок (многое случается за месяц). Для

Сакена нынешний апрель не был обычным, и я предвижу необычайную осень.

Я придвигаю к себе этюдник, и вот я вижу на фоне сакенского пейзажа Кесоу. Он стоит перед скалой, словно желая померяться с ней силой. Этот своего добьется! Ну, может быть, парень преувеличил малость, погорячился насчет пятисот пудов. Но пусть меньше, а урожай все-таки будет невиданный... Я вижу Константина, медлительного Константина, делающего, однако, все прочно и наверняка... А Гудал? Нет, он никогда не отстанет от других. А Смел? Его я вижу улетающим в город — есть там, знаете ли, один дом, а на дверях его табличка: «Электротехнический институт». Кама... Что Кама? Могли бы вы поверить, если бы я сказал, что судьба надолго разлучила ее с Кесоу? Ну, конечно, нет — и вы будете совершенно правы... Сдается мне также, что Нина далеко пойдет, — уж больно она прилежна в работе... А Рашит? Да что горевать о нем — отыщется где-нибудь...

Вероятно, апрель произвел на меня впечатление еще и потому, что я сакенец. Не знаю. Но проклятый сакенский зуд, тот, что не дает рассказчикам покоя в длинные зимние вечера, толкает меня к чернилам и бумаге... И вот сейчас, глядя на реку, мне кажется, я уже вижу те строки, что поведают о необыкновенном начале нынешней сакенской весны, о событиях, невольным свидетелем которых явился я...

Итак, идет весна, и Сакен живет и здравствует!

Над горами Кавказа бушуют мощные потоки воздуха. От берегов двух морей, омывающих эту славную, воспетую поэтами землю, с востока и запада нескончаемо льются воздушные потоки, неся запахи недалекой осени. Покоряясь неукротимому движению вперед, они встречаются где-то у исполинских снежных кряжей, как любящие братья.

У самых вершин, упирающихся плечами в синий небесный свод, подобно гигантским мраморным столпам, потоки воздуха смешиваются, образуя нечто вроде вихря — животворного и благоуханного. О чем напоминают эти запахи? О благах древней земли, о труде ее людей, о богатстве садов и полей ее, о сырости ущелий, о пыли узких тропочек, о солончаках бесплодных пустынь и о горячей крови нефтеносных пластов.

Встаньте на некую воображаемую точку. Вы увидите нескончаемую гряду вершин, похожую на яркую цепь весеннего девичьего хоровода. Перед вами двугорбый Эльбрус, и через впадину его приветно сверкает Казбек. За Казбеком острые, зубчатые горы, соперничающие друг с другом в высоте и мощи своей.

Над древней землей выситесь вы и с гордостью убеждаетесь, что орлу, парящему в воздухе, не достичь высот, на которые вы поднялись. Ибо он слаб, а вы сильны.

По пряным запахам, что буйно несутся вокруг, можно судить о неистощимой доброте земли. И пока вы с наслаждением разбираетесь в этих запахах, врываются новые воздушные течения, полные новых ароматов. С севера и юга набегают запахи хлеба, кукурузы

и виноградников. Вы поражены этим приливом щедрот. Вы стоите горделиво, как утес, омываемый океаном...

День близится к концу. Ущелья становятся мрачными и холодными. Горы отбрасывают длинные тени, и земля кажется вдруг постаревшей на многие тысячелетия.

В воздухе немолчный гомон птиц, которых не видно в наступающих сумерках. Они куда-то торопятся. Скоро начнется перепелиный лет. Потяжелевшие за лето перепелки пересекут горы, а их движения будут чередоваться с мельканиями ласточек, быстрых, как молнии. Вот-вот наступит настоящая осенняя пора, до осени один шаг. Но там, внизу, лето в разгаре, и никому не приходит в голову, что осень не за горами...

В небе неожиданные перемены: сначала вырастают небольшие облака, а из облаков образуются бурые тучи, наводящие печаль на природу. Тучи быстро чернеют, становятся грузными, словно буйволы, нехотя выползающие из воды. Из почерневших туч начинают падать капли холодного дождя. И вы сожалеете о таком обороте дела, ибо дождь в горах — не самое лучшее, о чем мечтается человеку. Вас невольно влечет под кров густого леса, но и там настигают вас холодные струйки, сползающие по веткам, словно ужи...

Дождь — точно во всем мире дождь! И предосенние запахи теряются в потоках разверзшейся небесной хляби.

Непроглядная горная ночь окутывает землю, одна из тех ночей, о которых говорится: темно — хоть глаз выколи... Вы колеблетесь, не зная, что предпринять. При вспышках молний (на молнии природа здесь не скупится) двугорбый исполин выступает во всей своей красе, а чуть правее от него, во тьме, где и сам черт заплутается, разгорается яркое пламя. Оно светит из открытой двери, это пламя, и, как бы оно ни было слабо, начинает соперничать с пламенем небесным; порою кажется, что зажженный человеком очаг ярче молний, которые с треском и грохотом вспыхивают над горами и сжигают столетние дубы.

И вас неудержимо тянет к этому очагу, пылающему в неизвестном доме неизвестного села.

Вы смело идете на его свет...

Где он пылает, этот очаг? Чей он? И почему так поздно в ночи трепещут веселые языки огня?

Все, несомненно, согласны в одном: огонь в сырой, дождливой ночи благотворно влияет на человека. Дело не только в предвкушении близкого тепла и уюта. Где очаг — там, разумеется, и человек. И этот человек, еще неизвестный, незнаемый, уже влечет к себе.

Очаг, который замелькал перед вашими взорами в промежутки между вспышками молний, нынче имеет значительное преимущество перед всеми прочими огнями. Во-первых, он горит в неурочный час (уже около полуночи). Во-вторых, он разожжен на краю света. И, в-третьих, вокруг него расположилась большая семья и даже гости. Наконец, событие, которое предстоит пережить этой семье, незаурядно и, я бы сказал, во многом необычно. Есть, мне кажется, смысл зайти на огонек. Впрочем, вы это сделаете и без моего приглашения, ибо идет дождь, а впереди почти десяти-часовая почь.

Однако надо поторопиться с некоторыми пояснениями, пока вы стоите на воображаемой точке и витаете над безднами, словно горный дух. Ибо стоит только вам отступить — и огонек, сейчас явственно видимый, окажется для вас недостижимым, как Полярная звезда.

Проще всего, казалось бы, назвать местность, которая, благодаря манящему огню и непогоде, имела честь быть замеченной вами. Но очень немного скажет вам название села Сакен, если вас не успели посвятить заранее в то, что происходит в этом селении и чем оно примечательно.

По свидетельству Джаангирея (это знаменитый охотник, и о нем стоит потолковать на досуге), горные козлы, услышав слово «Сакен», пятятся, трепеща от страха. Коль скоро и у козлов дрожат хвосты, то, как говорится, пиши пропало — такое уж распроклятое и дикое место этот Сакен. (Я не устану повторять это, ибо, да будет известно, я сам оттуда!) Полагаю, что ссылка знаменитого охотника на авторитет козлов вполне убедительна для людей, обладающих фантазией в сакенском смысле (придирчивая точность чужда сакенской речи, особенно речи вдохновенного рассказчика)...

Итак, вы глядите на Эльбрус, за которым по прямой линии находится Казбек. Как раз на юг от этой линии, посреди горных кряжей, составляющих отроги Главного Кавказского хребта и разбросанных в ошеломляющем беспорядке, и лежит село Сакен. Правда, оставить человека одного среди этого беспорядка и сказать ему: «Ищи Сакен», — все равно что бросить на морской берег меченую песчинку и тоже сказать: «Ищи». Неспроста, стало быть, дрожали хвосты у Джаангиреевых козлов...

Дождь усиливается, а молнии угомонились. Становится еще темнее. Человек, застрявший в пути, говорит: «Проклятая погода». Люди, греющиеся у очага под аккомпанемент капель, барабанящих по кровле, удовлетворенно говорят: «Здесь очень недурно». А вы, до сих пор все еще пребывающий на воображаемой точке, с удовольствием разделите и тепло огня, и даже копоть, которая ест глаза, от души сочувствуя тому, кто еще в пути.

Угодно вам это или не угодно, но вы уже в Сакене, в доме Гудала Кула́мбы...

2

Небольшое, приземистое строение с папоротниковой кровлей; черный, блестящий от копоти потолок; стены, потускневшие от времени; углы, откуда веет сыростью; земляной пол и низкие скамьи вокруг очага, над которым висит тяжелая дедовская цепь, — вот кухня Гудала Кула́мбы. Здесь собрались соседи, и хозяева потчуют их кисленьким вином и жареным сыром (жареный маслянистый сыр и холодная мамалыга — любимое блюдо сакенцев).

Ничего нет примечательного в кухне — обычная кухня горца, привлекающая зимой и в непогоду своим дымным чадом, запахами толченого перца и различных душистых трав. И только скромная электрическая лампочка в двадцать пять свечей, висящая на шнуре, усиливает впечатление странного контраста: исконно горский быт и чудесное нововведение в горах — электрический свет! Лампочка горит ровно и лишь временами испытывает потребность слегка по-

мигать. Тогда хозяин или кто-нибудь из гостей поднимает к ней глаза и говорит ласково, словно коню:

— Но, но...

И лампочка перестает мигать.

На одной скамье с гостями сидит молодой человек, по имени Смел, сын хозяина. Он молча прислушивается к разговорам старших, иногда односложно отвечает на вопросы, опустив голову и смущенно помешивая палочкой в золе. Чувствуется, что ему неловко, ибо он в центре внимания. Пожалуй, он бы еще больше краснел, если б не был занят своими собственными мыслями. А мысли эти одновременно и радовали и пугали его.

Судите сами: молодой человек, потомок сакенцев, которые если покидали насиженные места, то главным образом лишь по той причине, что были вынуждены переселяться в иной и, по замечанию того же Джаангирея, едва ли лучший мир,— этот молодой человек готовился в далекое путешествие. Он собирался надолго разлучиться с родным кровом. И какие блага ни сулила бы подобная разлука, минутная горечь расставания была в нем сильнее предстоящих радостей...

История этого вопроса, как выражаются юристы и литературные критики, такова. Мальчик Смел (ему двадцать два года, но в Сакене мужчина до тридцати считается мальчиком) позапрошлой весной — стало быть, весной сорок седьмого года — построил голыми руками маленькую электростанцию (мигающая лампочка в кухне — живое тому свидетельство). Лихой наездник, взявший саженный барьер, не произвел бы такого ошеломляющего впечатления на сакенцев, какое произвел на них Смел своей незатейливой постройкой. И сакенцы пришли к единодушному заключению: Смелу надо учиться. Этому способствовало еще одно обстоятельство: в Сакене летом прошлого года началась машинная разработка естественных фосфоритов. Смел, этот, по мнению горцев, ученый парень, был приставлен к машинам (бензиновый двигатель и шаровая мельница) сначала в качестве ученика, а позже — механика. С тех пор одежда молодого горца покрылась несмываемыми масляными пятнами, каких не видели в Сакене с самого сотворения мира. И сакенцы окончательно уверовали в блестящие

способности своего молодого земляка. Больше других усердствовал Кесоу Мирба. Одержимый, как он говорил, идеей исправления рыжей сакенской земли при помощи этих фосфоритов, Кесоу строил головокружительные планы на будущее. Он рассуждал так: урожаи в Сакене резко подымутся, — прошлой осенью, назло всем скептикам, хорошо обработанная и удобренная сакенская земля родила на круг по триста с хвостиком пудов кукурузы с гектара и чуть не по восьми центнеров табака при плане в шесть центнеров; стало быть, прикидывал в уме Кесоу, урожаи будут расти с каждым годом, вырастет и село, вырастут люди, умножится добро на селе, расширится хозяйство колхоза. И тогда, говорил он, дело неизбежно упрется в кадры. За примерами ходить недалеко. В нынешнем году заложен фундамент гидроэлектрической станции на две тысячи киловатт (это уже вам не самодеятельная станция!). Значит, нужны будут люди разных специальностей.

Вот при каких обстоятельствах зародилась мысль о высшем образовании для Смела Куламба. Как же быть? Смел получил неполное среднее образование (другой школы в Сакене не было). Потом он полгода учился в городе на пчеловодческих курсах. Но для института этого мало. Однако Кесоу и тут нашел выход: экстернат! Всю зиму Смела натаскивали по разным предметам сакенские учителя. Летом в районном центре взялись за него городские учителя (сакенцы призвали на помощь райком партии). Вскоре выяснилось, что требуется знание иностранного языка. Выбор пал на английский, и с того дня Смел не разлучался с учебником, заучивая наизусть заморские слова...

Итак, Смел выдержал экстернат. Говоря откровенно, дело не обошлось без шероховатостей. Вам все будет ясно, если я приведу замечания двух педагогов — по химии и английскому языку. Химик заметил, что хотя Смел далеко не Менделеев, но тем не менее тройку поставить ему не грех. А старичок, экзаменовавший по английскому языку, ознакомившись с отметками по другим предметам, сказал: «Сакенец взялся за английский. Только за одно это ему можно поставить четыре». И начертил в экзаменационном листе четверку!

Эти откровенные поблажки как ножом полоснули сакенца по сердцу. Он насупился. Его красивое смуглое лицо исказилось от гнева, побелело, черты заострились (о, если бы не почтенные годы химика!). Но Смел героически переборол себя. Пальцы, сжатые в кулак, хрустнули, как сухой камыш, и вскипевшее возмущение мгновенно улеглось.

Он мрачно проговорил:

— Это, выходит, двойка.

Химик поправил съехавшие на кончик носа очки в старомодной золоченой оправе и жестом попытался опровергнуть столь необоснованное утверждение.

— Нет, молодой человек, я полагаю, что тройка всегда есть тройка...

Смел продолжал развивать свою мрачную мысль, косясь на преподавателя, словно бодливый козел:

— Когда полагается пять, а ставят три — это хоть и несправедливо, но по-мужски несправедливо. Я так думаю... А когда полагается два, но ставят три...

И он умолк.

Химик оказался человеком более догадливым, чем это казалось на первый взгляд. Он подошел к горцу и, взяв его за плечи, произнес очень тихо:

— ...то это несправедливо уже по-бабьи. Так изволишь рассуждать, молодой человек?

Эти слова, сказанные с явно недоброй интонацией, повергли молодого человека в смущение. Что греха таить: он был в том возрасте, когда мужское тщеславие не так-то легко подчиняется рассудку. Все же ему показалось (и не без основания), что он оскорбил старшего по возрасту человека.

— Очень извиняюсь, — пробормотал он, окончательно остыв, — я буду заниматься день и ночь... — и не очень уверенно добавил: — заниматься химией.

Не меньше возмутил его экзаменатор по английскому языку. Этот так прямо и сказал:

— Сакенца надо пропустить.

Было очень обидно, что слово «Сакен» вызвало в преподавателе чувство снисходительного умиления, заставившее его аккуратно вывести на экзаменационном листе цифру четыре. Смел промолчал. Но Кесоу Мирба, поджидавшему его на дворе, заявил решительно:

— Я никуда не поеду.

Кесоу оторопел.

— В чем дело? Ты срезался?

— Нет, хуже.

— Они оскорбили тебя?

— Да, — отрезал молодой человек.

— Что же они сказали?

Вот-вот Кесоу сорвется с места и взбежит по ступенькам, чтобы одернуть тех, кто забыл приличие...

— Еще один вопрос: чем они оскорбили?

— Жалостью, — выдавливают из себя Смел.

Кесоу уводит его в дальний угол двора, чтобы там, под сенью шелковицы (самая подходящая обстановка для разгоряченных умов), чтобы там, в тени ветвей, сдобрить эту глупую историю с химией и английским языком изрядной порцией сакенского юмора. Как известно, сакенский юмор волей-неволей заставляет глядеть на мир улыбочивым взглядом.

— Что же приключилось страшного? — рассуждает Кесоу. — Ну, имеются грешки по двум предметам. Но по остальным, особенно по математике (а это для инженера — главное), все обстоит настолько хорошо, что и комар носа не подточит...

Таким образом, среднее образование было признано освоенным по существу и по форме.

Это образование далось в муках, ибо упорство, с которым Смел в течение зимы одолевал науку, было поистине героическим. Кесоу порылся в своей памяти и нашел дальнего родственника, проживающего в Москве. Этот родственник, если верить Кесоу, все может (учтите, в Сакене все однофамильцы — родственники). Правда, московский родственник не из Саке-на родом, а просто однофамилец. Да в этом нет беды — все равно поможет.

Словом, подошло время ехать в институт, в Москву. И, как назло, перед самым отъездом случилась авария на шаровой мельнице. Смел взялся за ремонт.

— Обойдемся без тебя, — заявили ему.

— Нет, — упорствовал Смел, — я исправлю ее сам. Но уговор такой: когда вернусь, мельница должна быть в полном порядке.

В дело вмешался Кесоу.

— Тебе надо ехать, — сказал он, — а не заниматься всякой там починкой.

— Починкой? — Смел, уязвленный словом «починка» (точно латки на сапогах ставить), живо принес сарая два куска железа и, с силой ударяя их друг о друга, сказал: — Вот это шкворень, черт возьми, шкворень! Его надо ковать и закалять. Перекалил — проработает час, а мягкий шкворень — и того меньше... Один кузнец не справится, нужна подмога... И с подшипником возня предстоит...

Кесоу взял в руки холодные куски железа и, обращаясь скорее к окружающим, нежели к Смелу, спросил:

— А дело наверняка выйдет?

Это он спрашивал для порядка; с той поры, как в Сакене засветились электрические лампочки, никто не сомневался в Смеле.

Смел ответил, подумав:

— Ручаться не могу. Надо попробовать. А наверняка только в городе сделают.

— В городе? — воскликнул Кесоу. — Слишком долгая песня... Мастери сам, но только торопись... Слышишь?

— Я буду делать немного иначе, — поразмыслив, сказал Смел. — Видишь, Кесоу, это утолщение? Оно здесь лишнее, из-за него только поломки.

Сакенцы переглянулись.

— Лишнее, — сказал Смел.

Ну, раз сказал Смел, то, видно, утолщение и в самом деле лишнее.

— То есть как это лишнее? — спросил Кесоу.

— Очень просто. Я давно обратил на это внимание. Словом, не беспокойся: мой шкворень будет прочнее прежнего.

— Ну что же, — согласился Кесоу. Теперь, когда порядок был соблюден, можно было согласиться. — Ты механик, тебе виднее. Получится прочнее — скажем спасибо.

На ремонт ушла неделя неусыпного труда. А Мунат, директор школы, все пугал: там, в институте, экзамены давно начались. Наконец, когда работа благополучно пришла к концу и шкворень получился на славу, полил скверный дождь. Горы закрылись сплошной пеленой густых облаков. И сакенские метеорологи

(хитроумные знатоки примет) авторитетно заявили: дождь надолго.

С этой самой поры ежедневно заново назначались сроки вылета, ибо идти пешком в город — предприятие чересчур долгое, дольше дождя. Пришлось волей-неволей сидеть и ждать погоды — занятие убийственное для горячих горцев...

Нынче почему-то появилась уверенность, что завтра распогодится. Поэтому пожелать Смелу доброго пути явились братья Дамей и Дауд Аланы, старик Екуп Мирба. Кесоу и Мушаг, хотя и обещали прийти, заставляли себя ждать.

Разговоры у очага велись самые разнообразные. И, как это обычно бывает, воспоминания переплелись с вопросами текущего дня. Но о чем бы ни говорили, все сводилось к одному: к предстоящему отъезду Смела в большой город Москву...

— Одним словом, — сказал Дамей Алан, отхлебывая глоток вина, — улетает птенец.

Он произносит эти слова таким тоном, словно перед ним покойник. Брат Дамея, Дауд, поправляет его:

— Улетит — прилетит... Таков закон жизни, — и, желая показать, насколько хорош этот закон, заливается веселым смехом; но смех явно деланный, и он только подчеркивает грустный смысл фразы, брошенной Дамеем.

Но, согласитесь, грешно омрачать настроение хозяев в минуту, когда их покидает единственный сын. Хозяев надо занять чем-нибудь интересным. Старик Екуп Мирба начинает рассказывать заправдашнюю быль. Он откашлялся и важно обмахнул усы рукавом черкески.

— Послушайте, — начал старик, — едва ли вы помните Зосхана Доуа. Он жил в долине, на пути в город. Славный был человек, чистый, как ключевая вода, сладкий характером, как горный мед, и, я бы сказал, не трусливого десятка (мир его праху!). Вот и втемяшилось ему в голову отвезти мальчишку в город и сдать в учение. А мальчик хрупкий, что твой стакан, застенчив, как девица, отличного ума и воспитания. Соседи и родственники отговаривали Зосхана от глупой затеи: дескать, жили без учения, проживем и дальше, если бог даст. А Зосхан даром что хорошей

души человек, а упрям, как мул. Ни тпру ни ну, как говорится. И что же? Не послушался добрых людей, поплелся в город.— Старик передохнул, затанулся из трубки и продолжал: — Всю дорогу шли пешком, измучились, облик человеческий потеряли... И вот являются они в этот самый город, а он большущий, здания каменные, крыши железные, фаэтоны по улицам ездят, а в фаэтонах важные особы, большие господа. Пока несчастный Зосхан рот разевал да диву давался, его и обокрали, последние денежки вытащили. Бывал он в харчевне у некоего Дамба-Рамба, обедал и ночевал там. А как случилась беда, харчевник выставил его. «Мы, говорит, голь не держим». Сунулся Зосхан к одному, другому знакомому, а ему везде спину показали. Прощение он все-таки успел подать — ученый человек его составил. Замечательное было прощение. Помню, как сейчас, начальные слова (их весь уезд повторял): «Царю — служба, богу — молитва, а мне — ни черта».

Это, говорил ученый человек, для того так писано, чтобы начальника заинтересовать. Только на беду начальник, из князей Маршанов, не заинтересовался. Говорят, болезнь имел в печени и редко читал бумаги... И пошел Зосхан горе мыкать с сыном своим, золотым мальчиком. Упрямец не понимал, с кем имеет дело — с большим городом! А в городе два десятка тысяч человек и нет к тебе никакого внимания. Вот что значит большой город!

И он залпом осушил стакан вина.

— Да;— отозвался Гудал, косясь на жену, на которой лица не стало,— не повезло Зосхану...

— Мало сказать — не повезло!..— воскликнул старик.— Или вы не знаете, что с ним приключилось?.. Стало быть, выгнал его харчевник, а ведь Зосхан привез с собой и питье и еду. Чудак взял да и преподнес все харчевнику: дескать, неудобно, как-никак гостеприимный хозяин. А что значило ихнее гостеприимство? Вот что! — Екуп в сердцах сплюнул, растер ногой плевков и продолжал, энергично жестикулируя: — Сунулся тогда Зосхан к самому князю. На ту пору случилось быть празднику. Должно быть, вдоволь повеселились и хозяева и гости. А когда им все приелось, попался Зосхан на счастье. Начал его князь допрашивать,

словно всерьез. Вокруг все знатные господа, а среди них, как осиновый лист, трясется крестьянин и на все диковинное пучит глаза его малыш. «Какого ты роду и племени?» — спрашивает его князь, а сам на пышногрудых женщин поглядывает с этакой усмешечкой. Зосхан в ответ лепечет что-то едва внятно... «Не слышал, не слышал», — говорит Маршан и преподносит Зосхану бокал вина, незаметно подперченного. И крестьянин, изрядно хлебнув, не знает, что делать: то ли пить, то ли выплюнуть изо рта на сверкающий, как стеклышко, пол? А его все больше засыпают вопросами. Зосхан вынужден проглотить. Вся компания покатывается со смеху... Поиздевались над ним, поглумились и вытолкали внаше. И в ту же ночь, благословив сына, Зосхан прыгнул с пристани прямо в море...

Нельзя сказать, чтобы рассказ Екупа пришелся по вкусу добрым хозяевам накануне отъезда их сына.

Ступка в углу перестала стучать, и в свете костра показалась бледная, словно каменное изваяние, мать.

— Как же это так? — сказала она, не обращая внимания на яркий свет, выдавший ее душевное состояние. — Я ничего не понимаю... Разве так уж плохо у нас? Зачем ехать в город?

Так говорила сакенская женщина.

Конечно, она права, когда заявляет во всеуслышание, что в Сакене не так уж плохо. Я даже держусь того мнения, что это сказано слишком скромно. Я бы выразил ее мысль так: в Сакене с каждым днем становится не только лучше, но определенно интересней. На хуторе Ореховая Балка уже грохочет заводик, где перемалываются фосфориты. На Мрамбе, на берегу речки, которая вытекает из Голубого озера, уже заложен фундамент гидроэлектростанции. С долины пробивают в Сакен дорогу для автомашин, и сакенцы с удовольствием прислушиваются к далеким взрывам. С будущего года школа-семилетка преобразуется в полную среднюю школу (на этот счет уже имеется решение правительства). Рядом со школой виднеется высокий фундамент будущего сельского клуба (скажу не хвастая: клуб выйдет на славу). Одним словом, Сакен цветет, растет... Что же касается мнения хозяйки о поездке ее сына в город, то надо заметить, что Гудал наградил хозяйку не очень-то любезным взглядом

и тем самым ясно выразил отношение сакенцев к ее исключительной фразе...

Как истый сакенский муж, любящий жену, но не желающий, чтобы об этом ведали другие, Гудал небрежно заметил:

— Женщины иногда большая помеха в жизни. Слезы — их оружие, и эта вода действует на нас хуже всякого зелья: от них слабеет сердце...

Дамей и Дауд дружно засмеялись.

— Молодому человеку от поездки только выгрыш!

Так сказали они вслух, а про себя подумали: «Ребенку, который не вмещается в люльке, недолго в ней жить». Так подумали они про себя. Выходит, ребенок — Смел, а люлька — Сакен. Ясно, кажется...

Эти простые и добродушные люди, мало выдавшие свет, до недавнего времени жили полубылями, полulegenдами о внешнем мире. И только то, что удавалось испытать лично им или их близким, давало реальную основу мысли. Известно, что дурная погода, особенно в горах, и свет одинокого костра, затерявшегося чуть ли не в преисподней, обостряют чувства. Смел решил, что наступила пора успокоить мать.

— Мама,— обратился он к ней мягко,— ты ведешь себя словно маленькая...

— Мальчик мой,— ответила мать, к неудовольствию отца чересчур нежно (все-таки мужчина есть мужчина, и незачем его баловать нежностью!),— родной мой, ты же слышал, о чем говорил Екуп? Я тоже кое-что прежде слышала.

Гудала всего передернуло. Он, однако, сумел взять себя в руки, чтобы не прикрикнуть на жену.

Раздался треск, точно надвое лопнуло огромное полено,— это сверкнула молния чуть ли не у самого порога. И на мгновение во всем великолении предстали горные вершины, зеленые холмы и будто отлитые из чугуна деревья. Взору людей открылась гордая, самолюбивая сакенская земля. Крестьяне нередко жаловались на ее краснозем, а прежде в шутку называли «старой скупердяйкой», честили «рыжей негодницей».

Теперь вся компания выразила своей кормилице шумные одобрения...

— Нет, не подвела нас нынче! — восклицает Екуп.

— Рыженькая стала добренькой!

— Ее любить, о ней заботиться надо, — изрекает Дамей, — и она волей-неволей будет доброй. — И он подмигнул Смелу: дескать, мы свое возьмем.

— Послушай, Екуп, — говорит Гудал, — ежели холить нашу землю так, как это делает твой Кесоу, я думаю, из нее бо-ольшой толк получится.

— Верно, — поддерживает Дауд. — Иначе нельзя. Кесоу свое взял. Ему и почет от нас.

— Нет, — шутливо возражает Екуп, — не будет ему почета.

— Как так не будет?

— Очень просто... — И, покачивая головой, добавляет: — А где он до сих пор? Ведь обещал прийти.

— Пустяки. Нынче у них собрание. За уезжающего!

— За отлетающего! — поправили Дауда хором.

Смел поднялся, чтобы выслушать напутствия.

Речи произносились в шутливой форме (такой уж характер сакенцев), однако слова были преисполнены участия и теплоты и поэтому доходили до самого сердца. Только мать молчала в углу, с укоризной поглядывая на сына. Никак не могла она взять в толк: чего ищет ее сын, куда он стремится? Прежде о таких причудах и слыхом не слыхивали... Поражалась она и самой себе: как позволяет она, Камачич, увести сына на стальной птице? Веками жили сакенцы, и никуда их не тянуло, — что приключилось теперь?

— Слава богу, — говорит Гудал, — завелись самолеты на свете, иначе застрял бы мальчик до лета.

— У этих птиц, — замечает Екуп, — довольно капризный характер: они страсть как боятся ветров и непогоды.

Дамей возражает ему:

— Пустяки. К утру все будет в порядке. Самолет прилетит и унесет нашего мальчика.

«Эх ты, бесстыжий, — думает мать, — ежели бы твой сын улетал, а то чужой...» Но в разговор вмешаться не рискует, боится — не выдержит, заплачет, а проливать слезы по сыну — просто позор...

— Ну, будь здоров, Смел!

— Скорей возвращайся ученым человеком.

— Позвольте,— перебивает Дамей,— он и сейчас достаточно учен. Вы, вероятно, хотите сказать: возвращайся инженером?

— Ого! Инженером так инженером!

Гудал краснеет, и на лбу у него выступает пот от такого дерзкого пожелания. Если бы и сам он в душе не мечтал о том же, то, пожалуй, запустил бы стаканом в голову этому Дамею, потерявшему всякую скромность. Он смущенно говорит:

— Не будем загадывать. Он едет в город, едет набираться ума... А там увидим... Не будем загадывать!

— Отчего же не будем? — доносится с порога.— Загадывать надо!

Не сразу признают гости Кесоу Мирба, улыбающегося из полутьмы, не сразу примечают они и Мушага, стоящего за спиной Кесоу.

— Вот черти! — Екуи поднимает над головой пылающую головешку. — Как они ловко подкрались!

— А вы-то как думали?.. — И Кесоу переступает порог так уверенно, будто полмира принадлежит ему. Он весь мокрый, волосы слиплись на лбу, одежда плотно облепила тело.

Мушаг спускает закатанные выше колен коверкотовые брюки. Увы, у них вид более чем плачевный. А кепка его из очень нарядного и дорогого материала превратилась просто в тряпку. Он с сожалением снимает ее и вешает на первый попавшийся гвоздик.

— А ну-ка, повернитесь,— командует Екуп.— Поглядим, какие вы есть.

— Нашли забаву,— заступается Камачич за гостей, бросаясь к ним навстречу со стремительностью радушной сакенской хозяйки.— Снимите с себя все мокрое... Давайте сушить...

Кесоу не согласен:

— Никак не могу. Пришлось бы и кости сушить...

Довольный своим ответом, он беглым взглядом окидывает низенький столик с едой и напитками и останавливает глаза на добротном штофе.

— Прежде всего надо предупредить простуду,— выразительно говорит он и протягивает руку.— И тебе советую, Мушаг.

Они подсаживаются к очагу. От них идет пар, такой густой, что все дивятся силе дождя, обрушившегося на Сакен. Но не меньше поражаются они и мощи огня, изгоняющего влагу из одежд сакенцев-полуночников.

— А мы ждали-ждали и, не дождавшись, сели ужинать,— поясняет Гудал.

— Хорошо поступили.

— Ну, что решили на правлении? — интересуется Екуп.

Кесоу и Мушаг с удовольствием уплетают сыр и мамалыгу. У Кесоу полон рот, отец с трудом понимает его.

— Ругались... Перессорились...

— Слышите? — провозглашает старик, засучивая рукава, как перед кулачным боем.— Разумеется, он должен был поругаться. Без этого нельзя, боже упаси! А по-моему, когда люди оказывают тебе почет — ходи ниже травы, тише воды.

Кесоу что-то мычит в ответ, мотая мокрой головой и обдавая соседей холодными каплями.

— Ух, словно конь,— говорит Дамей.— Гриву то выжми...

— Кесоу прав,— вставляет Мушаг.— Подготовка к уборке — самое главное. Понимать надо!

Хозяйка вступает за молодых:

— Не донимайте их болтовней. Дайте им обогреться, покушать... Я сейчас поджарю сыру...

Тщетно и не особенно настойчиво пытаются гости удержать хозяйку: на сковороде трещит масло, и брызги его, взлетая высоко-высоко, падают в пламя, еще ярче разжигая очаг.

Здесь, у очага, светло и тепло, а там, за порогом, дождь, грязь, неприятная прохлада и темень, темень, темень. В такую пору чем и заниматься как не беседами. И я готов биться об заклад с любым ученым, что именно в такую пору безвестными сказителями в Сакене сочинялись сказки. А Сакен, должен заметить, славится сказками, легендами и песнями. Были времена (и не столь отдаленные), когда сакенский простой люд отводил душу, истерзанную дневными тяжелыми заботами, в сказках, в мечтах о лучшей доле, о жизни светлой и сытой. Но прошли те времена, слава богу,

занули в вечность! И нынче Сакен полон жизни, и у очагов его сидят люди энергичные, смелые, деловые, наперед распределяющие работу, и силы свои, и самое жизнь. И мне хорошо от сознания, что, может быть, эти люди, неизвестные миру, решают сейчас большую судьбу своего земляка. Приятно сознавать, что в этот же час где-нибудь в Сибири, за русским столом, или на далеком Севере, в тесном чуме, или в Закаспии, среди туркменских ковров, такие же скромные люди тоже, быть может, решают судьбу своего земляка. Очень приятно сознавать все это. А еще приятней знать, что ты не ошибся в своих предположениях...

Кесоу обращается к Смелу:

— Ну, едешь?

— Отчего бы нет? Вот только погода...

— Будет погода. Как не быть? А?.. Мы тебе письмо принесли, — продолжает он, доставая из кармана кисет из воловьего пузыря. — Оно лежит здесь, возьми. Там все указано. Только номер не помню точно: то ли дом двадцать пять, то ли двадцать шесть. Ну, не важно, найдешь: Степан Мирба — человек не из простых...

Смел читает незнакомый адрес с двумя номерами, и ему становится не по себе. Где-то далеко, в самом большом городе страны, надо найти незнакомого человека, и тот окажет помощь, даст, так сказать, костыль на первое время (выражение Кесоу Мирба). И он слышит, словно из-за глухой перегородки, отрывистый говор Кесоу:

— Очень известный человек. Везде бывал. Большими делами ведаст Степан Мирба... В один миг все устроит...

Екуп горячо расхваливает однофамильца, которого видел только раз, но краем уха много слышал о нем от своих родственников. Старик поучает Смела, дает ему советы.

— Скажешь, сын мой, так и так. Объяснишь, кто ты, откуда, привет передашь. Он все может. Он таких найдет людей, что из тебя в один год инженера сделает. А как же! Глядишь, потом и шапку перед нами не снимешь.

— Что ты, Екуп! — возражает Смел. — Отчего же не сниму?

— А очень просто. Сейчас ты хоть и голова, а до всего своей догадкой доходишь. А там наука у тебя будет подпорой. Большой будешь человек. Городской свет станешь делать. А мы что? Как были крестьяне простые, сакенские, так и останемся ими.

— Нет,— решительно заявляет молодой человек.

— И на том спасибо! — Екуп раздражается мелким старческим смешком, хватаясь за поясницу, которая сегодня побаливает сильнее, чем всегда.

Кесоу встает. Поднимаются и все остальные.

— Товарищи! — говорит он торжественным тоном, что совсем не идет к его мокрой одежде.— Мы провожаем нашего юного друга в Москву. Вы понимаете? В Москву. Скажем прямо: не часто сакенцам приходилось бывать в Москве. Но это не страшно. Разумеется, надо здорово постараться, чтобы не ударить лицом в грязь. Помни, Смел, Москва — великая столица, а это обязывает всех нас и тебя в первую очередь, как сакенца-москвича. Помощь для начала, я полагаю, тебе окажут. Конечно, Степан Мирба не станет за тебя учиться. Он протянет тебе руку дружбы. А дальше — как сам знаешь. Умный человек в Москве пробьется и без помощи, а дурак и в Сакене себе шею сломит.

Эта мысль очень нравится сакенцам, и даже мать Смела, удрученная предстоящим расставанием, улыбается из своего угла.

4

Дождь лил не переставая и на следующий день.

— Конечно,— говорили сакенцы с обидой,— в кои-то веки собрался наш односельчанин в Москву,— надо же именно теперь случиться напасти!

Говоря откровенно, ничего особенного не случилось; просто стояла плаксивая погода и небо покрылось неимоверно располневшими тучами.

— И с чего они так раздулись? — удивлялись горцы, глядя на низко ползущие чудовища.

Да, нехорошо в Сакене, когда идет сплошной дождь.

Это вам не город, где час спустя после дождя просыхают улицы и дворы... А впрочем, как подумаешь, не так-то уж плох наш Сакен! Правда, здесь, в Сакене,

и грязи вдоволь, и музыки мало (патефоны и радио не в счет), и дороги ухабистые... Но электричеством никого уже не удивишь — свое, собственное есть. А как проведут дорогу — Сакен и вовсе преобразится. Нет, как ни говорите, а Сакен не последняя спица в колеснице. Город городом, а воздух у нас первый сорт. Земля была плоховата, да и ту сакенцы начали на свой лад переделывать. Того и гляди, через годик, много через два, народ повалит сюда из этих самых городов. Одним словом, планы сакенцев дерзки и беспредельны. Но кто посмеет назвать их пустыми мечтателями?..

Сначала в доме Гудала обрадовались непогоде: дольше пробудет сын дома.

— Уедешь завтра, — сказал отец.

— Слава богу, — вздохнула мать.

— Будем провожать еще раз, — обрадовались соседи.

Смел казался печальным. Однако где-то там, в душе, под сердцем (душа определенно находится под сердцем), было не очень-то грустно: как-никак, а лишний денек дома. Надобно заметить, что для сакенцев характерна некоторая двойственность в мелочах, главным образом в мелочах быта. Если, скажем, сакенец покидает свой дом на неделю, он готовится к этому долго, будто уезжает на год. Уезжая, он с грустью поглядывает на свои ворота, словно он их больше никогда не увидит. Потом он привыкает к тряской лошадиной спине и к концу дня расстается с конем с неохотой. Еще позже он входит в чужой дом с чувством одиночества. Потом быстро привыкает к обстановке, и когда наступает время прощаться — снова испытывает острую боль разлуки, история повторяется в обратном порядке...

Еще один дождливый день...

Соседки, переговаривающиеся друг с дружкой через плетни, покачивают головами. Едва ли уедет Смел! Камачич показалось, что в сочувствии соседок сквозит насмешка, и она огорчилась за сына. Теперь она желала, очень желала, чтобы он уехал без промедления.

— Боже мой, — отвечала она соседкам, улыбаясь через силу, — разве вы первый год в Сакене? Сакен упрямей всех наших мужчин. Но не всегда же лить

дождю! Придет самолет — и Смел улетит. Пора! Ведь его ждут в городе.

Женщины поразились тому, с каким легким сердцем говорила теперь Камачич о разлуке с сыном.

— Какое имеют значение два-три дня? — продолжала Камачич, все больше веря в свои слова. — Он успеет к сроку.

И вспомнили пожилые матери, как они каких-нибудь два десятка лет назад с опаской посылали в школу своих чад, в школу, которая находилась тут же, под боком, в Сакене (не удивляйтесь, тогда и школа сакенцам была в диковину).

Одна из соседок, женщина рассудительная, сказала Камачич по секрету:

— Знаешь, милая, скажу тебе, как близкому человеку. Ты накажи своему сыну, чтобы в Москве поумней вел себя... Понимаешь?

У Камачич екнуло сердце. Она старалась казаться спокойной, а это не получалось.

— Сама понимаешь, — нашептывала соседка на ухо бедной женщине, словно Демон Тамаре, — сама догадываешься...

— О чем ты? Говори яснее, дорогая...

— О чем? Понятно, о тамошних женщинах. Они такие коварные... Полонят его — забудет и тропиночку, что ведет домой... Мне рассказывали...

Шепот становится нервным и, по сакенским понятиям, настолько убедительным, что Камачич уже не могла скрыть своего волнения...

Еще день — и заволновалось все село: дождь лил, самолет не прилетал. Сакенцы вдруг почувствовали себя отрезанными от всего мира. Прекратились шуточки-прибауточки. Горцы стали нервничать: дескать, парень-то все-таки наш, и его неудача — неудача всего Сакена.

Тем временем ветер нагонял и нагонял тучи, и они все ползли и ползли без конца...

5

Любопытно послушать сакенские толки в часы досуга у костров, колодцев, родников, плетней, в ларьке, в сенях сельского Совета, перед зданием колхозного

правления. Каждый по многу раз произносит имя Смелла, каждый строит догадки по поводу предстоящей поездки (может быть, она вовсе не состоится?). Каждый считает своим долгом выразить негодование разгулявшейся стихии. Разговоры временами переходят в горячие споры, иной раз можно подумать, что сакенцы перессорились между собою.

Все это слишком забавно, чтобы рассказчик мог отделаться двумя-тремя фразами. У меня уже, признаться, язык почесывается (не правда ли, видать сакенца?). Но — увы! — зеленоватое небо и беловерхие горы, облитые светом восходящего солнца, торжественно предвещают наступление безоблачного дня. В таких условиях разговоры о погоде, разумеется, совершенно беспредметны.

И снова медвяные запахи стекаются к Кавказским горам. Они могущественны, эти запахи, они пьянят. В такой погожий день сакенец, едва продрав глаза, торопится в сени. Он жадно вдыхает воздух, раздувая ноздри широко, как олень. И, ощутив легкое головокружение (настолько крепок там воздух!), сакенец невольно хватается за голову, закрывает глаза, чтобы уберечь их от первых ярких лучей солнца, и говорит, точно похлопывая землю по плечу:

— Ох, дьявол тебя возьми, как ты хорош, наш Сакен!

И я хотел бы знать, какой сакенец не запоет любимую песню о дятле. Нет, не найдете такого человека в Сакене! Ее пост и стар и млад. То здесь, то там звучит веселая песня:

Катится солнце по склону —
Такой большой колобок...
Дятел с утра стучится,
Как в двери, в орех суковатый,
Стучится, как в двери,
Дятел проворный с утра:
— Солнце восходит — пора!

Одним словом, отличный выдался день — яркий, солнечный, теплый. Ну, а по хорошей погодке не замедлил прилететь и самолет. Давно поджидали его и Смел и провожающие. А провожали молодого сакенца простые, сердечные люди, и напутствия их, разумеется, тоже были простые. Добрые и глубокие чувства

меньше всего нуждаются в яркой расцветке. Каждый как мог выражал свои мысли. Начнем хотя бы с Шаангери Канба. Полтора столетия носит его земля Сакена, и слова старца очень дороги для молодого человека. Они звучат пророчески...

Старик хмурит брови. Его со всех сторон обступают земляки. Напутствие Шаангери — благословение всего села, и Смел стоит с непокрытой головой тут же, рядом с самолетом, такой же гордый, как и эта двукрылая машина. И тем землякам, которые любят дерзко мечтать, кажется, что это Смел сделал самолет. Почему бы и нет? Осветил же он Сакен электрическими лампочками, вертится же шаровая мельница? Если и не этот самолет сделал Смел, то вернется он уже на своем, своей собственной работы...

Вот как умеют мечтать сакенцы!..

А старик начинает издалека — так он привык. Слишком долгую он прожил жизнь, чтобы вот так прямо, без обиняков, приступить к делу...

— Бывало, сын мой, прежде многое... — Шаангери говорит медленно, тяжело раздумывая. — Разное, я бы сказал, бывало... У земли нашей, бывало, урожая не вымолишь, скупа была... И причины тому очень понятные... Сунься, скажем, за село: или в пропастях разобьешься, или в сумасшедших горных реках потонешь. Ни дороги тебе, ни тропочки, идешь, бывало, как зверь, — нюхом себе путь прокладываешь.

— Верно, бывало такое, — дружно подтвердили окружающие.

— Я, скажем, тоже имел глупость выехать однажды из села, да еле живой воротился. Костоправы костей не досчитались...

— Правильно, правильно, — снова подтвердил хор земляков.

Молодой летчик в кожаной куртке, опершись о крыло, с интересом наблюдал эту картину (сцена из древнегреческой трагедии, воспроизведенная стараниями мощного хора сакенцев).

— А ныне?.. Что вам сказать, дорогие? — продолжал старик. — Дети вы еще. Мальчика нашего провожаем... Разве худо ему здесь, у отца, у матери? Или он лишний в селе? Однако едет... для общей же выгоды. Учен мальчик, что и говорить, а хочется больше-

... Что же? Выходит, на том и держится наш Сакен. Нам нужны люди... как это теперь говорится, Кон-
ституции?.. Нам нужны люди высокой квалифи-
кации.

Константин, секретарь партийной организации, шло-голоса заметил:

— Старик имеет правильное понятие... — и не мог не добавить очень приглянувшееся ему выражение: — понятие, почерпнутое из опыта.

Тот, кто слышал замечание Константина, одобри-
тельно закивал головой. Старик продолжал свою речь,
грозая затянуть ее соответственно числу своих лет.

— Куда он едет, спрашиваю? — Шаангери возвы-
сил голос. — В Москву, столицу. Очень хорошо. Я не
видал этого города, но скажу: там очень хорошо. — И
старик улыбнулся, проговорив: — Ну, а теперь скажи-
те вы, дети.

Что могли сказать дети, еще не достигшие, ска-
жем, ста лет? Каждый спешил пожать руку молодому
человеку. Константин, скупой на слова, сказал:

— Все обойдется. Первое дело — не унывать, — и
он запросто обнял Смела. — Имей в виду, Москва слез
не любит.

Кесю Мирба еще раз напомнил о письмах к Сте-
пану Мирба, в дирекцию института и в министерство.

— Я боюсь, — перебил его директор школы, — не
приедешь ли поздно? Надо торопиться. Экзамены, мо-
жет, уже начались...

— Что же с того, что начались? — вмешался
Екуп. — Человек приехал не откуда-нибудь — из Саке-
на, и чтобы на него не обратили внимания? Не может
этого быть!

— Отчего не может быть? — спросил директор.

Екуп изумился вопросу и, не найдя достаточно
веского аргумента, воскликнул:

— Ведь он из Сакена! Разве я непонятно го-
ворю?

Екуп, довольный своим собственным ответом, тере-
бил себе усы.

Смелу напоследок пожали руки; он неловко покло-
нулся девушкам, теснившимся в сторонке.

— До будущего лета, Смел! — крикнул кто-то
из них.

Смел пожал плечами: дескать, кто его знает, как дело сложится? Взволнованная, бледная мать едва успела обнять его и шепнуть на ухо:

— Мальчик мой, ты умный. Поберегись... городских женщин. Полонят они тебя — забудешь и тропинку к нам в Сакен.

Сын покраснел до ушей и бережно отстранил ее. Отец сказал:

— До свидания, Смел! — И они протянули друг другу руки.

— От винта! — послышалось из кабины летчика. Дамей, наловчившийся запускать винт, отпрянул в сторону и молодежато крикнул:

— Есть от винта!

...Когда самолет скрылся за той горою, за которой ежедневно садится солнце, Камачич показалось, что день приблизился к концу. А на самом деле он только начинался, еще только-только согревалась земля после непогод и горной ночной прохлады, только-только собирались люди на поле. Длинные, холодные тени лежали на земле, уже обреченные уступить место свету и теплу.

Не успели сакенцы по-настоящему прочувствовать разлуку с молодым человеком, а уж сердца их неудержимо открылись навстречу новому дню. Снова солнце — значит быстрее будут наливаться золотые початки кукурузы, быстрее будет сохнуть табак и скорее долетит Смел.

Снизу, из поймы, слышалось урчание взбаламученной дождем реки Сакен. В сочетании со светлыми красками, щедро положенными на мир, как на палитру, урчание воды казалось песенным напевом, чем-то вроде мудрого говора природы. Казалось, и река подпевает сакенцам и песне этой нет и не будет конца:

Дятел с утра стучится,
Как в двери, в орех суковатый.
Стучится, как в двери,
Дятел проворный с утра:
— Солнце восходит — пора!

...Что станется теперь с молодым сакенцем? Далеко он, далеко, далеко...

Миновали горные кряжи. Они проплыли под крыльями, чуть подернутые дымкой. Уходили назад знакомые места — Смел угадывал их по разным приметам. Вот вьется узенькая тропочка (сверху она кажется белой ниточкой), а справа и слева от нее все черным-черно. Это Волчья Пасть. Сколько жизней она поглотила, какой грозной преградой стоит на пути в Сакен! А нынче — перемахиваешь через нее, словно птица... Вот лежат исполинские горы, по которым мудро пройти. Это Медвежий Клык (словно огромные зубья, торчат желтые скалы). Впереди — огромная пропасть. Она так глубока, что дна не видно. Она до краев, как гигантская чаша, полна густого, тягучего тумана. Это Чертова Яма. Овраги, пропасти, скалы, зеленые лужки чередуются друг с другом, разделенные восемью реками — восемью бешеными порождениями ледников и горного снега.

Горы с их склонами кажутся сверху огромными стволами деревьев, выброшенных на берег стремительной рекой. Они лежат сваленные в беспорядке как бы для того, чтобы вернее досадить сакенцам, покрепче запереть их в недоступной глуши...

Наконец впереди показалась зеленовато-синяя полоска, а потом — нескончаемый морской простор. А вверху, на небесном поле, паслись, словно барашки, белые пушистые облака. И как ни старался Смел уловить рубеж, отделяющий воду от небесной шири, ему это не удалось. И, грешным делом, почудилось сакенцу, что нет в мире ничего краше и величественней этого моря, неба и яркого солнца, подвешенного в голубизне. И взволнованный, как может быть взволнован остро ощущающий природу горец, Смел ступил на твердую почву районного центра. Здесь было очень душно. Смел подумал: «Прошло всего полчаса, а какая перемена!»

На следующий день Смел уже сидел в жестком вагоне. При желании он мог спокойно улечься на узенькой полке на правый или на левый бок (спина была слишком широкой для узкой полки, и недаром место считалось боковым).

В Ростове Смел решил выйти на перрон проветриться. В тамбуре вагона толпились люди. Пассажиры, ехавшие до Ростова, выходили с чемоданами, а навстречу, загораживая лесенку, поднимались новые. Смел переждал толкотню и спустился на платформу. Он прошел ее из конца в конец (от надписи «В город» до надписи «Кипяток»), везде наблюдая оживленную вокзальную суету. У двери почтового отделения сгрудился народ. Забавного вида толстяк размахивал телеграфным бланком, рассказывая кому-то через плечо, что сообщает в Москву номер поезда и своего вагона. Многие торопились обрадовать москвичей сообщением о своем прибытии. Какой-то солидный мужчина в сером пальто (должно быть, профессор, как решил Смел) просил, чтобы его встречала машина (об этом он сказал своему спутнику). Все почему-то разговаривали громко.

Потолкавшись и наслушавшись всякой всячины, Смел отошел на край платформы. Он был удручен. Люди волновались, кого-то предупреждали о приезде, передавали приветы, посылали поцелуи. Некоторые беспокоились, есть ли номера в гостиницах, стоят ли на вокзальной площади такси, и только одному Смелу некуда писать и некого извещать. Смел впервые за всю дорогу вдруг ощутил одиночество. Что его ждет? Его начала трясти лихорадка. Казалось, кто-то ухватил Смела за ноги, закрутил, как в праче, и бросил в пропасть...

Я понимаю Смела, друзья мои. Если ты привык сиднем сидеть на одном месте, то невольно тебе начинает казаться, что за порогом лежит особый и огромный мир, незнакомый тебе и пугающий своими неисследованными глубинами. Это чувство когда-то испытал и я, такой же сакенец, как и Смел. Может, и вы пережили когда-нибудь то же самое. Я догадываюсь, что примерно сказали бы Смелу мы с вами, попадись он нам в поезде. «Вперед без страха, молодой человек!» — сказали бы мы.

И правильно сделали бы, сказав так.

Смел проснулся рано от слабых толчков. Должно быть, не на шутку затекли у него бока, если незначи-

толстые толчки разбудили его. Он поднялся, протер глаза и вышел в тамбур.

Здесь он чувствовал себя свободней: за широким окном открывался его взору необъятный простор.

Признаться, Смел был озадачен: перед ним простерлось безбрежное море цвета туманной дымки, то же море, что он наблюдал с самолета. Это было удивительное зрелище. Море начиналось тут же, у самого откоса высокой насыпи, по которой шел поезд. Оно едва колыхалось. Легкий ветер чуть шевелил его спокойную, как молоко в стакане, поверхность. А там, вдалеке, как и на родимой стороне, море сливалось с небосводом так неприметно, что и глазом не ухватить.

Смел стоял очарованный. Ему не терпелось поделиться с кем-нибудь своим восторгом. Бледные лучи солнца едва пробивались сквозь туманную дымку — время суток, о котором говорят: ни свет ни заря.

Смел попытался открыть окно, но оно прочно засело в пазах и не поддавалось его усилиям.

— Позвольте, — услышал за собой молодой человек, и две загорелые руки ухватились за ремни. В неясной полутьме Смел узнал проводника. Окно опустилось, свежий воздух ворвался в тамбур.

— Любуетесь? — спросил проводник, еще красный от натуги.

Смел утвердительно кивнул головой. Проводник закурил и, пуская дым в окно, произнес после недолгого молчания:

— Колокольчики мои, цветики степные...

Постояв немного, он удалился, повторяя эти свои «цветики степные». Смел высунулся в окно почти по пояс, зорко всматриваясь в даль. И когда невдалеке мелькнули рубленые избы, казавшиеся кораблями в тумане, он понял, что ошибся. То была степь, а не море, такая же гордая и безбрежная, такая же красивая и величественная, как море.

Долго не отходил молодой человек от окна, и образ степи — синего моря — неотвязно витал перед его взором. А поезд, стуча колесами и пыхтя, все мчался по берегу призрачного моря, постепенно исчезающего перед лицом нарождающегося дня.

Да, то была степь, нескончаемая русская степь.

И не знаю, догадывался ли Смел о том, что эта

широкая земля, по виду такая добродушная под розовыми лучами восходящего солнца, — та земля, которую, злобствуя, совсем еще недавно топтал враг, та самая земля, которая жгла пятки врагам свирепей, чем самая раскаленная жаровня. Но это была именно та земля, уже залечившая свои раны!

Ясной и простой уверенностью веяло от этой степи. Солнечные лучи скользили по неглубоким балкам и совсем невысоким холмам, сгоняя с земли дремлющие поутру туманы. И везде, куда падали лучи, открывалась картина деятельного труда, пестующего землю, на всем была печать рук человеческих. И на той рощице, что жалась к пруду, на полях, изборожденных тракторами, и на селлах, восставших из пепла, и на ровной проселочной дороге с аккуратно выведенными обочинами, и в низинах...

По обеим сторонам дороги тянулись столбы. «Эти — телеграфные, — говорил себе Смел, — а эти — электрические. Куда они идут? Ну, разумеется, к селам, которых отсюда не видно». В отдалении показались железные массивные мачты, пересекавшие степь. К ним были подвешены провода. «Высокое напряжение», — говорил себе Смел. Он говорил это гордо и чуть-чуть пренебрежительно, как о вещах, давно ему известных. Но Смел не только техник душой, он немножечко и поэт. «Вот бы сюда гору, — размышлял он, — хоть бы самую плохонькую... Без горы совсем не то...»

А поезд все мчался вперед и вперед. И земля, поднятая человеком к жизни, все шире раскрывала свои горизонты, а русское степное солнце все выше поднималось по небосклону...

7

— Москва!

Это слово донеслось из дальнего конца вагона. Оно было произнесено негромко; из-за стука колес не все расслышали его. Но возбуждение тех, до слуха которых оно дошло, немедленно передалось всему вагону. Люди засуетились, стали доставать чемоданы.

Смел поспешил в коридор, прижался лбом к холодному оконному стеклу. Очень далеко маячила цепочка огней, и Смел решил, что это огни на шоссе,

В течение получаса цепочка была перед глазами, а город все еще не показывался.

В вагоне всю дорогу было весело и шумно. Толстяк, расположившийся напротив Смела, вез с собою шахматы, шашки, домино и колоду карт. Должно быть, ему приходилось часто и подолгу ездить: он чувствовал себя в вагонной тесноте как рыба в воде и был зачинщиком всех игр и разговоров.

Нижнюю полку занимала высокая сухопарая женщина. Сначала она показалась Смелу скучноватой, но потом развеселилась, что делало честь общительности толстяка. Хорошим попутчиком оказался старший лейтенант. Все станции он знал наизусть и точно называл время стоянки. Он разделял компанию во всех играх. На полке — той, что под Смелом, — ехал молчаливый человек в украинской, расшитой черным и красным косоворотке...

Когда в вагоне заволновались, толстяк достал часы и сказал удовлетворенно:

— Расписание выдерживаем... — Взглянув в окно, он возвестил: — Она самая, Москва-матушка! Ну-с, молодой человек, — обратился он к горцу, — приехали... Надо укладываться...

Толстяк бросил взгляд на сундучок Смела, разрисованный масляными красками, глаза его округлились, потом сощурились. Сакенец понял, какой уничтожающей критике подверглось районное искусство со стороны этого шумного, но, должно быть, простодушного человека...

Давайте и мы задержимся на хитроумных завитушках и фигурках, которыми анонимный живописец разукрасил скромный сундучок Смела.

Грани обведены узором, в линиях и пятнах которого можно угадать очертания виноградной лозы (листочки, веточки, гроздья). В каждом углу — чирикающие птички фиолетового цвета с раскрытыми клювиками, а вокруг всего сундучка затейливой цепочкой тянутся фигурки оленей с ветвистыми рогами и вздыбленные кони (олени желтого цвета, а кони — красного). И, наконец, в самом центре крышки — царственно-пышный петух, ослепительно яркий.

Как хорошо! Какой полет вдохновения, какие краски, дерзкие и в то же время простодушные!

Однако Смел, поглядев на изумленного толстяка, а потом на свой чудо-сундучок, с внутренним раздражением попытался встать между ними. И все-таки надо думать, что в эту минуту его художественные принципы слегка поколебались.

Но толстяк и слова не сказал о сундучке. Переворачивая на бок огромный чемодан, чтобы перевязать его ремнем, он проговорил только:

— Стало быть, вы впервые в Москву?

— Никогда не бывал...

Смел, все еще не оправившись от смущения, стал рядом с человеком в украинской косоворотке, который курил, глядя на огни, мелькавшие вдалеке.

Человек сказал:

— Да, скоро Москва... Ну что ж, пожелаю вам удачи. Не боги горшки обжигают.

На прощание они разговорились. Смел пытался шутить. Разумеется, его дело верное. Ну, придется попотеть на экзаменах. Не впервые, не страшно: экстернат тоже чего-нибудь да стоил. А жилье?.. На первое время есть где остановиться...

Собеседник поднял на него внимательные глаза.

— Я, знаете, вот о чем вспоминаю, глядя на вас. Двести лет назад прибрел в Москву один архангельский парнишка пробивать себе дорогу к учению. За вами, Смел, народ стоит. Вас, я бы сказал, сакенцы передают москвичам, как родным. Учите, мол, парня, это общее наше дело. А у того архангельского парнишки ничего не было за спиной. Только сугробы. Я об этом парнишке потому вспомнил, что он впоследствии и по вашей специальности мастаком стал. Не слыхали о таком?

Смел слышал о Ломоносове, и теперь ему стало боязно от мысли, что линии их жизни чем-то отдаленно схожи: и Ломоносов шел в Москву учиться, и он, Смел, едет в Москву учиться. Нужно сказать, что, при всей их горячности, сакенцы скромны по натуре. Но Смел не понял, что этот человек в косоворотке говорит о сугробах: представить себе такое положение, что за твоей спиной нет никого, кто бы о тебе болел душой, он не мог по недостатку подобного опыта.

Тем временем сборы в вагоне закончились. Все ждали только остановки поезда. Далекие огни, мер-

цавшие на горизонте, приблизились настолько, что стали видны дома, и миллионоглазый город глянул в самые глаза сакенцу. Как встретит он нежданного гостя (нежданный гость, разумеется, Смел)?

...Пассажиры выражали нетерпение, окликали кого-то, требовали вернуть билеты, спрашивали, с какой стороны выход, сдавали постельное белье, наступали друг другу на ноги и тут же просили извинения. А Смел смотрел в окно, прислушиваясь к биению собственного сердца. Постепенно небосвод начал светлеть от яркого света, разлитого по московским площадям и улицам. Замелькали станционные фонари, и поезд покатил между длинных рядов зеленых и красных вагонов.

Вот стоит Смел... Как вы полагаете, чего он хочет? Он хочет, чтобы поезд, не останавливаясь, шел вперед. Он хочет подальше отодвинуть неизвестность, которая ждет его в Москве. Если неизбежны огорчения при поступлении в институт, он хочет, чтобы они случились позднее, но не сейчас, не так скоро...

Я не ручаюсь за то, что Смел предчувствовал какие-нибудь напасти,— это не отвечало бы ни его характеру, ни его настроению. Но сказать, что Смел был полон радужных мыслей и безмятежных планов,— значит просто солгать. Он знал, что послан своими земляками на учебу, что он тем самым уже облечен их полным доверием и что не оправдать это доверие невозможно. Нечто в этом роде испытывал и я лет восемнадцать тому назад, подъезжая к Москве и тоже готовясь к поступлению в высшее учебное заведение. Разница состояла лишь в том, что тогда меня напутствовало не все село, а только мои родители, и краснеть, в случае неудачи, пришлось бы перед самым узким кругом близких мне людей...

Пассажир в украинской рубахе положил руку на плечо Смела. Горец увидел его глаза, сидящие глубоко в орбитах, и две спокойные ямочки на щеках.

— Я хочу оставить вам свой адрес. Так, на всякий случай...

— Что вы! Что вы! Спасибо,— выдавил из себя Смел, отшатываясь от протянутой записки.

— Берите. Если тугο придется, заходите.

И, сунув бумажку в руку горцу, он исчез в толпе пассажиров.

Поезд резко остановился, Смел невольно опустился на полку. Зашумели голоса на платформе, на них отзывались из вагонов. Прозвучали первые поцелуи. Весело смеялись женщины.

Смел, держа свой чудо-сундучок, уступал дорогу. Он уступал старшим и, разумеется, женщинам. Он пропускал вперед и детей, ибо дети есть дети. В результате этот добрый сакенский обычай завел его в какую-то каморку, где стоял огромный медный самовар, и Смел оказался замурованным в ней живой человеческой стеной.

Когда вагон опустел, горец вышел и остановился на верхней ступеньке. Не без удивления разглядывал он kloкочущую толпу, хлынувшую к какой-то постройке. Смел размышлял: не ринуться ли ему вниз головой в эту толпу, точно в волны морские? В левой руке он держал сундучок, пытаясь прикрыть его полкой своего пальто... Будто последние лучи родного солнца скрылись за суровым горизонтом, будто кто-то выбил почву из-под ног...

Смел еще раз заглянул внутрь вагона и с тревогой в душе сошел на асфальт перрона.

Помните наши размышления о том, как быстро сакенцы привыкают к новой обстановке? Так и этот молодой сакенец с тяжелым сердцем оставлял вагон, точно покидал отчий дом. Он снова...

Но тут произошел случай, заставивший его выбросить из головы мысль о вагоне. Дело в том, что вот уже третий раз пробежала по платформе девушка, одетая в клетчатое платье и синий вязаный жакет. Она явно была чем-то обеспокоена; щеки горели румянцем, слишком ярким, чтобы не обратить на него внимания. Девушка замучила расспросами всех проводников в длинном-предлинном составе. Потом она взялась за пассажиров. И все было безуспешно. Теперь она шла понурая, словно утомленная лошадка. Поравнявшись с горцем, она неожиданно обратилась с вопросом:

— Скажите, будьте добры, уже все вышли из вагона?

Смел оказался настолько добр, что мгновенно за-

был о собственном положении и бойко отвечал в таком духе: не только люди, сказал он, но и последняя муха вылетела из вагона (видать, черт возьми, сакенца, и тут он шутит!). И здесь между девушкой и горцем произошел следующий весьма короткий, но выразительный диалог:

— Очень жаль, но мухи меня не интересуют.

— Не поймите меня плохо. Иногда человек чувствует себя хуже мухи.

Ясно, это он говорит о себе. Девушка недоуменно пожала плечами, и ее взгляд косым лучом заходящего солнца скользнул по молодому человеку. Она рассеянно осмотрела платформу и не без огорчения спросила:

— Ведь это девятый вагон, не правда ли?

— Я сам ехал в нем. Девятый.

— Ничего не понимаю.

И глаза у нее стали грустные-грустные, а руки беспомощно повисли, словно пустые рукава. Смел утешил ее:

— Не приехал сегодня — приедет завтра. На днях приедет.

— Благодарю вас, — сказала девушка и собралась покинуть платформу.

Смел встрепенулся, точно, разбудив, его вернули к неласковой действительности.

— Я очень извиняюсь... — Смел решительно двинулся к девушке.

Она невольно остановилась.

Смел признался, что ему не помешало бы найти самый короткий выход в город (будто он знал тот, что подлиннее!). Девушка посмотрела на него не без доброго лукавства, которое всегда и во всем отличает человека жизнерадостного от пустого и недоброго насмешника, и великодушно сказала:

— Идемте. Я покажу вам выход.

8

Они шли широким туннелем Курского вокзала — она впереди, а он за ней, боясь потерять ее в людском подвороте.

— Вы странно можете обо мне подумать, — говорил он виновато.

— Разве вы делаете что-нибудь плохое?

— Плохое? — Смел даже обиделся. — В Москве у меня нет знакомых — ни души! И я за вас ухватился. Конечно, можно подумать...

«Он такой беспомощный», — сказала себе девушка. И она решила доказать, что она вовсе не плохого мнения о людях, если, разумеется, они серьезно смотрят на жизнь, если они хорошие люди.

Когда они огибали массивную четырехугольную колонну, Смел, улучив минуту, попытался узнать, как зовут девушку.

— Я даже не смогу вас окликнуть, если встречу, — намекнул он.

— Меня зовут Галя, — бросила она через плечо, но тут же сдвинула брови. — Галина. Так будет более точно.

«Москвичи, кажется, называют друг друга и по отчеству», — подумал Смел, следуя за нею. Он нагнал ее у лестницы; казалось, она убегала от него.

— Я очень извиняюсь, — проговорил он, заходя слева, — а ваше отчество?

Она рассмеялась, обнажив два ряда чудесных зубов.

— Вот какие важности! Я еще студентка. Просто Галина.

— У нас тоже зовут только по имени.

— Где это у вас?

— В горах...

— Так вы кавказец? — Галя опустила руки в карманы жакета. — Тот самый? Печальный демон, дух изгнания... и так далее...

— Да, но только не печальный... — ответил Смел, но голос его потонул в шуме, который доносился в подземный вестибюль с огромной площади.

Когда Смел (не совсем по своей воле) очутился на тротуаре, Галя куда-то исчезла. Он осмотрелся вокруг, уверенный, что вот сейчас где-нибудь промелькнет она. Смел прошел вдоль тротуара и снова осмотрелся. Гали нет... Он вернулся на прежнее место. Нет ее, нет!.. Сундучок покоился на земле, а хозяин его, казалось, вовсе забыл о нем.

Должен признаться, очень огорчился горец. Я полагаю, каждый посочувствует ему. Как-никак Галя

первый человек на московской земле, с которым Смел перекинулся двумя-тремя словами. Потеря даже такого малознакомого человека — не простая потеря. Добавим в скобках, что, кроме всех прочих соображений насчет одиночества, незнакомого города и так далее, образ девушки пробудил в душе молодого горца какие-то светлые чувства. И, знаете, трудно расставаться с человеком, с которым у вас связано нечто хорошее, пусть оно и было мимолетно...

Отчаявшись отыскать Галю, Смел глядит на площадь. Сотни автомобилей, разворачивающихся по плавной дуге, обдают его светом своих фар и, словно не узнав, бегут дальше.

Мимо Смела проходят тысячи людей. А в Сакене, должно быть, земляки греются у очагов и вспоминают его, Смела. А он стоит на московской привокзальной площади и не знает, куда идти...

Вот и я когда-то, приехав из Сакена, стоял почти на том же месте, что и Смел (ведь бывает же такое совпадение!). Но тогда иною была эта площадь: булыжник и грязь, визжавшие трамваи, низкие, приземистые здания вокруг... А нынче — асфальт, многоэтажные дома, бесшумные троллейбусы, светлые, уютные, как гостиная у хорошей хозяйки, и машины, машины, машины, свои, отечественные машины. Их очень много: автобусов, совсем маленьких машин, юрких как мыши, машин чуть побольше, вроде огромных жуков, и блестящих окраской, многоместных, бесшумных, горделивых, мощных. А там, справа, красным выведенная буква «М», указующая вход в подземное царство метрополитена... Нет, иною стала эта площадь, иною стала Москва!..

Смел роется в кармане, нащупывая бумажку со спасительным письмом, которое передал ему Кесоу Мирба. Разумеется, Смелу незачем тревожиться. В горах, если уж на то пошло, страшнее остаться одному, а ведь и в горах он не трусил...

Надо что-то предпринимать. Смел почесывает затылок. И тут его кто-то хватает за руку, выше локтя.

— А я вас ищу, — слышит он.

Ну да, вот она, Галя! Он резко поворачивается

и сталкивается взглядом с ее смеющимися глазами.

— Какой вы неловкий, — продолжает она скороговоркой, — я повернула к камере хранения, а вы... Смотрю, исчез. Вот, думаю, ругает меня: обещала проводить и обманула... Где ваш багаж?

Смел почти счастлив. Ему не хочется выставлять напоказ живописный сундучок, и он старается скрыть его от девушки.

— Вот вы и в Москве. Вам куда ехать?

— Я очень извиняюсь, конечно... Я только сдам вещи на хранение — и к центру. — Он наклоняется к Гале и, набравшись духу, говорит: — Нет, я пропаду без вас...

Галя вскидывает большие карие глаза, готовая уличить молодого человека в явном преувеличении. Горец бледнеет от своей безрассудной храбрости, уголки его губ дрожат, и он проявляет полнейшую растерянность неопытного конокрада, пойманного с поличным. Свежее лицо, способное и бледнеть и краснеть, виноватый взгляд и юношеская угловатость горца возымели свое действие — и град острых словечек, готовых сорваться с ее губ, вдруг растаял и пролился на Смела благодатным летним дождиком.

Галя извинила ему эту маленькую ложь: «Я пропаду без вас». Она великодушно довела его до камеры хранения и согласилась указать дорогу к центру...

Вот так бывает всегда, друзья мои: сначала мы оказываем пустяковую услугу, потом делаем два-три шага со случайным спутником, дальше разрешаем ему коснуться краешка нашей души — и вдруг замечаем... Впрочем, не будем забегать вперед... Рассказывать правду и только правду — такова наша задача. А познать правду — это значит набраться терпения (обычное самооправдание неутомимых сакенских рассказчиков).

Смел наконец освободился от своего сундучка и почувствовал себя значительно лучше. Свободно и с увлечением он рассказал, зачем и откуда приехал в Москву. При слове «Сакен» Галя подняла на него глаза. Нет, о Сакене она никогда не слышала. Это на Кавказе? Серьезно? Ей все хочется знать: и о перева-

лах, и о бездорожье, и о самолете, на котором летел молодой человек, и о народе, который там живет. Смел и Галя идут по московской улице нога в ногу, и Смел приятно возбужден, как от хорошего вина. Ему кажется, что он красноречив.

Галя говорит:

— Я кое-что знаю о ваших краях. Вы о нартах слышали?

— Очень извиняюсь, но это были герои,— озадаченно отвечает Смел.— О них в сказках рассказываетя... Откуда вы знаете о них?

— Это входит в учебный план нашего факультета,— серьезно говорит Галя.— Я на филологическом. И увлекаюсь фольклором. Расскажите мне об устном творчестве вашего народа.

Она произнесла это требовательно, округляя фразу, как докладчик. Они шли по московским улицам: он рассказывал, она слушала, время от времени перебивая его вопросами. Он говорил в общем неплохо, злоупотребляя очень твердыми «к» и «т». Но ей нравился этот выговор, а главное — его живая речь, порой лишенная внешней связи, но внутренне очень логичная. Надо быть только внимательной и разгадывать смысл его междометий и восклицаний.

Галю интересуют сказки? Их в Сакене столько, что не хватит дней на то, чтобы слушать. Песни? Их больше, чем капель в сакенских родниках. Легенды? Их больше, чем камней на морском берегу. Галю интересуют пословицы? Да будет ей известно, что без пословицы сакенцы и шагу не делают. Ну, а чтобы посмотреть парные танцы, хороводы, то нужно самой приехать в Сакен...

От сказок незаметно для себя Смел перешел на собственную персону. И, признаться, прихвастнул электростанцией и шаровой мельницей, размалывающей фосфориты. Он сообщил, что работает главным механиком на этой самой мельнице (титул, узурпированный молодым человеком при благосклонном попустительстве Кесоу Мирба). Однако Смел обошел молчанием свою связь с пасекой, мысль о которой заставила его покраснеть. Ну, а в Москву Смел приехал за высшим образованием...

— Куда же вы собираетесь поступить? — поинтересовалась Галя, удерживая его за руку, чтобы он не попал под машину.

— В электротехнический институт.

— Разве не поздно?

— Почему поздно? — с тревогой спросил Смел.

— У нас, например, прием заявлений давно прекращен.

Смел вздохнул свободно.

— То — у вас. А я по технической части.

Он поведал ей о письмах, которые везет, и об одном человеке, чье слово... Короче говоря, молодой горец не испытывал недостатка в надеждах. Галя почувствовала, что пришел ее черед рассказать что-нибудь о себе. Они медленно шли по улице, не замечая ни шума, ни тесноты на переходах, ни даже августовского неба, не менее красивого, чем небо в Сакене в самый разгар звездопада.

9

Все, что касалось Гали (ее фамилия Сомова), могло уместиться на листке бумаги размером в ладонь, если даже писать размашисто, не считаясь с местом. Биография младенца? Решайте сами. По определению Смела, этот младенец обладал острым, любознательным умом и требовательным сердцем. Так что если описывать жизнь Гали не по одним внешним фактам, то, может быть, не хватило бы и целого тома. Поэтому мы сообщим о Гале только самое необходимое.

Отец ее, Петр Сергеевич, погиб в Отечественную войну. Он ушел добровольцем на фронт, под Москву, и не вернулся. Брат Дмитрий служил во флоте на Черном море, а теперь работает токарем на большом заводе. Мама — старенькая. В тяжелые для столицы дни Галя подбирала на московских крышах зажигательные бомбы, а позже была в эвакуации.

Она учится в университете имени Ломоносова и решила посвятить себя изучению народного творчества. Она уедет из Москвы, как только получит диплом. Куда? На Север. Северный фольклор увлекает ее давно.

— Творчество коми, чукчей, манси,— говорит она,— это малоизведанные области. Должна сказать...

— Очень извиняюсь,— перебивает ее Смел,— Кавказ не хуже, чем Север. Одни горы чего стоят!

— Моя подруга Надя Смирнова, с которой мы занимаемся английским,— говорит Галя,— едет на Камчатку. В общем, мы, студентки, поделили весь Союз: кто — на север, кто — на юг, кто — на восток. Нельзя разбрасываться.

Смел наклоняется к ней.

— Счастливого им пути,— весело говорит он,— но вы должны поехать к нам, в Сакен.

Она смеется (что остается делать девушке, когда ей ни с того ни с сего делают такое несуразное предложение?). Успокоившись, она поправляет волосы и старательно собирает их на затылке в небольшой, но твердый узел. Глаза у нее влажные, задорные искорки поблескивают в них.

Дойдя до площади, с которой троллейбусы расходились в разные стороны, Галя остановилась. Время прошло незаметно — уже одиннадцатый час.

Согласитесь, что настал момент, от которого зависит, быть или не быть новой встрече. Конечно, все дело в Смеле. Галя не заикнется об этом не столько из-за женской врожденной стыдливости, сколько потому, что желание новой встречи в ней явно не созрело... Несмотря на то что порою она кажется ребенком, это очень решительная девушка. Иногда она говорит всякие несообразности, но она их никогда не делает. Сейчас она размышляет со всей прямоотой: что прибавится в ее жизни, если эти встречи продолжатся?..

— Понимаете, — говорит Смел, — приезжаешь в город, где тебя ждут отец, мать, родные. Ну и идешь к ним, прежде всего к ним. Не правда ли? Ноги сами понесут к ним, сама душа будет рваться к ним. Вот я и думаю: сначала — Красная площадь, а потом — все остальное.

— Согласна. Но к хорошему человеку, о котором вы говорили, потом не поздно будет?

— Нет,— отвечает Смел уверенно.— Он примет в любое время. Обычай у нас такой. У нас гость дорогой человек. Гость — это все! Ради гостя хозяин забудет все на свете. Приходите к сакенцу хоть днем, хоть ночью, хоть на заре, хоть на закате солнца. Все

равно.— И вдруг с разбегу Смел спросил: — Неужели я вас больше не увижу?

Галя с рассудительным видом попросила карандашик и бумагу. Она быстро начертала несколько слов и цифр.

— Это адрес. А это телефон. Заходите к нам, когда будете свободны.

— Извините,— обратился к ней сакенец,— а как мне доехать до Красной площади?

— Сядем в троллейбус. Я сойду раньше, а вы — позже.

— Большое спасибо.

Они проворно вошли в троллейбус.

И снова Смел один...

Сойдя с троллейбуса, он читает бумажку с адресом Гали. Адрес тут же переписан на трех разных бумажках, и бумажки рассованы по разным карманам (так вернее уберечь их от пропажи). Троллейбус бесшумно исчез в конце длинной улицы, и Смел остается с глазу на глаз с огромным незнакомым городом.

Горец осматривается. Много света, много домов, очень много этажей в домах, много машин на улицах и много людей, несмотря на поздний час. А в Сакене давно спят, за Мрамбой надрывно воют шакалы, и слышно, как урчит река на перекатах... Здесь — твердый асфальт, и подошва стучит, что молот по наковальне. А в Сакене ноги месят грязь или утопают в пыли... Но небо, дорогие мои, какое небо! Почти сакенское небо. Те же звезды, та же Медведица, тот же Млечный Путь, узкий, как тропа в горах!

Где-то недалеко, за двумя-тремя домами, Красная площадь. Скорее сердцем, нежели пятью чувствами, ощущает горец ее близкое соседство.

Подхваченный, как ветром, людским потоком, он движется по тротуару, огибающему обширную площадь. Направо — здание с колоннами и железными конями над крышей. Где он видел это здание? Почему так знакомо оно?

Завтра он разберется в этом, а сейчас его неудержимо влекут к себе звезды кремлевских башен, сияющие над домами, точно спустившиеся на землю светила.

Еще несколько шагов...

Из-за высокой кирпичной стены, как из-за горы Гугуа, выглянула спокойная, светящаяся изнутри звезда.

Тут сакенец ускорил шаг, почти побежал, а на самом углу остановился как вкопанный.

Сбылось. Он, Смел Куламба, стоял на пороге Красной площади...

Он подтянулся. И походка его стала совсем иной. Он уже не переваливался с ноги на ногу.

Сбылось, свершилось: вот она, Красная площадь.

Медленно, очень медленно идет сакенец, словно восходит на Эльбрус. Не оттого ли захватывает дух? Не потому ли кружится голова? Кремлевская стена стоит перед ним, будто вырубленная из красной скалы в горах: твердая и неприступная, как дух народа. Смел благоговейно снимает фуражку.

Смел стоит, держа фуражку в опущенной руке. Там, в Сакене, мастеря свою электростанцию, он думал об этих кремлевских звездах, поднявшихся над Мавзолеем. И ему кажется сейчас, что в тех слабых лампочках, которые он, Смел, засветил в сакенских домах, горит отблеск этих звезд, что эти звезды дали его лампочкам свою силу.

Он поднял глаза к Мавзолею, к старым бойницам и к флагу, плещущемуся на ветру, вдыхая запах елочек, растущих вдоль стены, напоминающий ему запах сакенского бора...

Смел неторопливо шагает по заветной площади. Время позднее, а Смел все шагает, все шагает...

За полночь.

На середину неба выходит луна. Машины все так же мчатся сломя голову.

Сакенец пересекает Красную площадь и, увидев реку, медленно спускается к набережной. Разыскивать ли Мирба, несмотря на поздний час, или на улице как-нибудь скоротать ночь?

Луна заливает Москву-реку прохладным голубоватым светом. Вода с великим усердием отражает тусклый лик луны, воспетый поэтами и сакенскими пастухами.

Горец признается самому себе, что устал. Приличная, пусть даже не очень мягкая подушка и жесткие

нары сейчас пригодились бы. Смел достает из кармана заветное письмо и, немного поколебавшись, подходит к дворнику в белом фартуке. Низкорослый сутулый старик с большими, свисающими, как виноградные гроздья, усами готовится подметать улицу. Он держит в одной руке метлу, а в другой жестяной совок.

— Добрый вечер,— говорит Смел.— Очень извиняюсь, хочу вас побеспокоить...

Старик удивленно смотрит на него.

— Володя? Ты ли? — обрадованно спрашивает он.

— Очень извиняюсь...

Смелу неудобно, что он не Володя... Но теперь и старик понял, что обознался.

— Как две капли воды...— произносит он разочарованно.— Ишь ты... Вечер добрый... Ишь ты... — повторяет старик, все еще досадуя, что обознался

— У меня есть адрес, да не знаю, как разыскать.

— Ну что же, разыщем... Давай-ка... Мы всё тут, как свои пять пальцев, знаем, родились тут и, бог даст, помрем. Ишь ты, дело-то какое...

Старик был, видимо, одним из тех людей, которые по-своему красят свет,— общительный, любитель побалагурить. Не знаю, как вы, но я люблю такие души, открытые навстречу людям, их мыслям и желаниям. В самом деле ужасно, если бы большинство людей были замкнутыми. С кем, спрашивается, вы отвели бы душу? И тут приятно отметить, что молчаливых и замкнутых людей не так уж много на нашем советском свете, на радость нам, сакенцам...

Старик вертит в руках конверт.

— Черт знает,— говорит он, шепелявя,— и светит месяц, и не светит. Глаза дома оставил...— Он вытягивает руку с письмом, откидывает голову назад, смешно ворочает шеей.

Он отходит к лампочке над воротами, маня горца к себе. Но и здесь его постигает неудача.

— Сколько раз говорено,— ворчит старик,— чтобы лампочки над воротами сменили. Жалко управляющему лишний десяток свечей! Я ему прямо так и отрезал: надо бы, говорю, понятие иметь и о жильцах подумать. А он отвечает, что я для себя стараюсь, чтобы на посту газеты читать. Знает, что и «Правда» мне идет, и «Крокодил», и «Огонек» тоже... Внук Ванюша

читает, и я читаю... И не надо мне ихнего уличного света! Я на посту свое дело знаю. Скажем, подошел человек... — Он еще раз внимательно смотрит на Смелю. — Ну вылитый Володя! Ишь ты... Да, подошел человек, приезжий...

— Приезжий, приезжий, — энергично подтверждает Смелю.

— Так. Издалека?

— О Сакене слышали?

Старик почесывает лоб.

— Из азиатских будет городов или поближе?

— Из кавказских сел...

— Не слышал. Внук мой Ванюша далеко хватает: он, должно быть, слышал, а я — нет... А на Кавказе я бывал. Как же! С турками воевали, в Карсе и в Ардагане стояли. Слышали? Города-то наши были. А Сакена не слышал... Адрес ваш... Так: Ленинградское шоссе. А номерок? Э, брат, да тут их целых два... Четный, нечетный. Ну ничего, молодой, разыщешь.

— Да, да, — неуверенно соглашается Смелю, — как-нибудь разыщу.

Но старик понимает, что Смелю растерян, да парень, видно, характер показывает.

— Я бы вас к себе зазвал, — говорит старик, — да гостей понаехало, родня, а комнатка — пятнадцать метров.

— Что вы! — Смелю с благодарностью трясет ему руку.

— Э, нет, молодой человек, мы ваши обычаи знаем. Кунаком моим был бы...

Смелю от души смеется, смеется и старик.

— Как ваше имя? — спрашивается Смелю.

— Зовите Кузьмичом.

— Не пойду к вам, Кузьмич. Никуда не пойду. Скоро рассвет. Похожу по улицам, город погляжу.

— Одно слово, молодость, — соглашается с ним старик. — В молодые-то годочки и мне нипочем было две, а то и три ночи скоротать. А вы, мил друг, вот что: в подворотне у меня табурет стоит, если устанете бродить — милости просим...

И Смелю уходит в ночь, зная, что на крайний случай у него есть хоть это прибежище.

Он идет и думает о Гале. Что за девушка! Таких в Сакене называют рожденными молнией. Она напоминает ему девушку из Сакена, Каму; Кама — гордость сакенских женщин.

Короче говоря, если только на свете существует любовь, которая способна разгореться с первого взгляда, то Смел — я это утверждаю — влюбился... Что касается подобной любви, то мы, сакенцы, говорим так: разве молния рождается годами? И кто посмеет сказать, что мало света и огня в этой молнии лишь оттого, что она появилась мгновенно?..

11

Раннее-раннее утро... В Сакене о нем оповещают скрип арбы и громкое пение аробщика, недовольного молчанием огромного мира в этот неурочный час. Здесь, в Москве, утро началось с того, что машина старательно полила улицы водой. Смел с интересом посмотрел на работу этой разумной машины. Боясь запутаться в автобусных маршрутах, он отправился, как говорят в Сакене, на своих на двоих. Расспросив Кузьмича о приметах предстоящего пути (памятник Пушкину, Белорусский вокзал), Смел двинулся на поиски Мирба.

Все шло отлично. Безошибочно вышел он к Охотному ряду и у станции метрополитена остановился, по-хозяйски осматриваясь. Он запрокинул голову, придерживая фуражку, чтобы охватить взором ушедшие под небеса многоэтажные здания. Кудрявые липы, посаженные на тротуарах, растрогали сакенца. Дворники старательно поливали их из шлангов. Смела удивила проволока, которой деревья были привязаны к тротуарам. Он храбро остановил прохожего и от него узнал, что деревья посажены совсем недавно, весной, что проволочные оттяжки придают устойчивость, пока деревья не окрепли, не набрались сил.

Улица Горького, берущая начало у Красной площади, показалась ему красавицей в это раннее августовское утро. Да она и была такой. И обещала стать еще красивей, когда длинный ряд новых многоэтажных домов будет достроен (каждый дом, словно гигантские няньки, охраняли высоченные краны).

Деревянный забор, ограждавший один такой строящийся дом, был сплошь заклеен афишами, словно сапожеский дом обоями. Проходя, Смел читал названия пьес и фильмов. Афиши были маленькие и большие, цветные и белые, академически строгие и с броскими, как на плакатах, рисунками... Придет время, и Смел отправится по их зову: в Малый, в Художественный, Большой... Но что это?

Сакенец остановился. «Телевидение» (лекция в малом зале Политехнического музея), «Реактивные двигатели» (там же, но числом позже), «Проблемы беспроводной передачи электроэнергии» (лекционно-демонстрационный зал Политехнического музея)... Смел достал карандаш и блокнот и старательно записал темы лекций и числа. Что ни говорите, это было по его части и не допускало отлагательства. Смел прислонился к стене; мир, открывшийся ему, был так широк, что горец подумал: нельзя терять ни минуты, чтобы схватить хоть краешек его!..

Вот и я когда-то шел точно так же, как Смел, с виду беспечный, но внутренне весь собранный и напряженный. Мне не удалось поступить сразу в художественный институт, привлекавший меня (придрался к какому-то пустяку противный доцент с бородкой и желтовато-зеленым лицом). И все-таки я своего добился... Но об этом когда-нибудь потом. Это история серьезная и не случайная. Здесь же мне приходит на ум простая параллель: улица Горького тех лет — и улица Горького нынче. Справа, если смотреть вверх по улице, стояли приземистые дома, и мимо них пробежали тесные, маломестные автобусы, о которых теперь москвичи и забыли. И пыль вилась по булыжникам на горке возле телеграфа, обыкновенная серая пыль...

Долго ли шел Смел, коротко ли, но в конце концов он очутился перед пятиэтажным домом с тремя парадными. Найти нужный подъезд ему подсобили рабочие, что-то измерявшие у края глубокой траншеи, на дне которой были уложены чугунные трубы. На четвертом этаже Смел обнаружил квартиру номер шестьдесят четыре. Осторожно постучав в дверь, горец сделал шаг назад, почтительно ожидая встречи с Мирба. Прождав некоторое время, Смел нажал кнопку звонка, которую вначале не заметил. Никто не отзывался.

Смел позвонил еще раз, беспокойно, продолжительно. Никакого результата...

— Вы к кому, молодой человек? — услышал Смел за собой басовитый голос.

Смел резко обернулся и увидел перед собой сухощавого человека с загорелым лицом. У него выделялся острый кадык и нос, такой же острый, как кадык. Он был без фуражки, в легком костюме. Несмотря на лысину, у него был моложавый вид. (Смел сообразил, что это тот самый человек, который только что поднимался за ним по лестнице.)

— Я в шестьдесят четвертую квартиру, — сказал Смел.

— Вот она, моя квартира.

«Он», — сказал про себя Смел и, чуточку оробев, отрекомендовался:

— Я Смел Куламба. Из Сакена.

Человек посмотрел на стройного горца внимательным взглядом.

— Ну что ж, будем знакомы. Высоцкий.

Смел опешил.

— Очень и очень извиняюсь... — И он сделал шаг назад. — Я искал шестьдесят четвертую...

— Вы ее и нашли.

— Черт возьми! — Смел чуть было не хватил шапкой об пол, поддаваясь привычному рефлексу сакенца, который попал в неприятное положение. — Так я и знал. Иду, а сам думаю: нет, не туда! Бывает с вами, когда говорите: «Нет, не туда», — и все-таки идете туда?

— Бывает, — добродушно согласились с ним. — Значит, с Кавказа вы, да? Ну что ж, проходите, проходите.

Высоцкий отпер дверь.

— Очень извиняюсь... Я искал Мирба...

— А мы сейчас разберемся. Проходите. Или вы думаете, мы ваших обычаев не знаем?

— Что вы?! Большое спасибо... — Смел попытался уйти.

Но хозяин оказался человеком неожиданных действий — не пожелал так быстро расстаться со случайным гостем: он взял Смела под руку.

Несмотря на свою молодость, Высоцкий, как выяснилось позже, многое перевидал на своем веку, но лучшего существа, чем человек, настоящий человек, ничего не нашел в жизни (так он заявлял всем). Может быть, поэтому он был рад поговорить с незнакомцем даже в этот ранний час?

— Чертил всю ночь, — объяснил Высоцкий, — вышел прогуляться... А вы давно в Москве?

— Первая ночь.

— Учиться приехали?

— Откуда вы знаете?

— Ну а зачем еще молодежь едет в Москву? Прощу ко мне, смелее!

И Смел повиновался...

Вот удивились бы в Сакене, узнав, что их земляк с первого же приглашения переступил порог чужого дома (в Сакене гости любят, чтобы их долго уговаривали зайти). Так или иначе, Смел последовал за Высоцким.

Он очутился в комнате, сплошь уставленной полками с техническими книгами, рулонами чертежной бумаги, подрамниками, картонами. В комнате, несмотря на ее величину, трудно было повернуться. Посреди — стол. На столе — масляные краски в тюбиках и палитра, пестрая, как сакенская тропа в весеннюю распутицу. На краю стола недопитый стакан чаю и тарелка с бутербродами.

Высоцкий почти силой усадил Смела на стул.

— Эти мне церемонные кавказцы! — заметил он, придвигая тарелку к сакенцу. — А вы по-нашему, по-московски.

К своему удивлению, Смел взял бутерброд и начал его жевать (чтобы не обидеть хозяина). Они разговорились.

Высоцкий был специалистом по съемке местностей и всю жизнь свою проводил в разъездах с геологическими партиями.

— В поездках я вижу землю, — сказал он, — у которой человек берет то, что она скрывает в своих недрах. Главное — я вижу людей, очень много хороших людей. Вот я и рисую. Впрочем, эти мои опыты не так уж дурны, чтобы их прятать от гостей. Говоря

торжественно, голос их скромен, но все-таки его можно услышать. Не угодно ли взглянуть?

Высоцкий вынул из папки картоны и поставил их перед Смелом.

— Этюд «Сибирские кедры» — кусочек сибирской тайги. Колхозные бригады, вышедшие на сбор ореха. Сибирь — золотая страна. Не угодно ли, зарисовка старика зверобоя. Медвежатник, имеющий почетный счет: босемнадцать зверей, и троих взял в одиночку, глаза в глаза. Рыбный завод на Оби. Корчевание пней под пашни...

— Вы жили в Сибири? — поинтересовался Смел.

— Работал, мой друг.

Смена картонов... Сакенец видит людей, собирающих хлопок на бескрайной земле, изборужденной арыками. Краски слепят глаза: раскаленное небо, вода в арыках, живая, как ртуть, пушкí хлопка, как снег на солнце. Но не этим околдован Смел. Этот труд, под жгучим солнцем, не легок, но он, кажется, не в обузу людям, а в радость, — так нарисовал художник!..

Смел спрашивает удивленно:

— Вы жили в Узбекистане?

— Работал, мой друг, работал.

Где только не работал Высоцкий! Один картон сменяется другим. Чайхана в Самарканде. Зеленая долина Ферганы. Берега Волги, то отлогие, то крутые; рыбные астраханские промыслы; Сталинград, встающий из развалин; Саратов, Куйбышев... И всюду люди...

Я не боюсь сказать, что соколиные взоры людей, изображенных Высоцким, заставили трепетать Смела. Смел словно глянул с некоей воображаемой точки на необозримые просторы Советского Союза. Впрочем, точка эта была вполне реальна: Ленинградское шоссе, дом двадцать шесть, комната инженера Высоцкого и его рисунки, о которых он говорит, что у них скромный голос.

И в то время, как Смела кидало то в жар, то в холод, Высоцкий проговорил уверенно:

— Как я вижу, вы техник.

— Почему вы так думаете?

— Хотя бы потому, что вы с таким энтузиазмом

рассматриваете «Электростанцию в тундре». Мне кажется, что этим бочкам с горючим вы отдаете предпочтение перед всеми красотами природы.

— К сожалению, я еще не техник, — вздохнул Смел, потихоньку приходя в себя. — Пока я всего лишь главный механик там, в Сакене.

— Это любопытно, мой друг, — сказал Высоцкий, укладывая карты в папки, — и вы, без сомнения, расскажете мне об этом в следующий раз, когда ко мне придете и когда я набросаю ваш портрет. У меня есть узбеки и сибиряки, москвичи и казахи — и еще нет ни одного сакенца. Будьте добреньки, заходите. Ладно?

Смел поднялся — пора, как говорится, и честь знать. Высоцкий проводил его до лестницы. Он казался Смелу кудесником. Кудесник на прощанье сказал весело:

— А ваш знакомый, наверное, в том, другом доме...

12

Степан Камугович Мирба работал в Министерстве угольной промышленности. Лет двадцать назад он приехал в Москву молодым человеком. Вначале он часто навещал свое село, что в долине, недалеко от Сакена, но с годами наезды становились все реже и реже. Мирба ссылался на занятость. Однако его родня (как и всякая родня, мыслящая несколько эгоистично) приписывала это возросшему самомнению «большого человека». В конце концов на селе свыклись с мыслью, что Мирба прочно прирос к Москве, но в случае надобности всегда протянет руку помощи и поддержки. Разумеется, первыми отпустили ему грехи старики родители.

Жена Степана Камуговича, Варвара Алексеевна — коренная москвичка. Ей лет тридцать пять, она полна сил, подвижна и жизнерадостна. Все знакомые считали ее красивой, а Степан Камугович, казалось, не разделял такого мнения. Варвара Алексеевна находила этому своеобразное объяснение: он просто не замечает этих ее качеств. Но если бы, говоря откровенно, она серьезно поразмыслила над его поступками, то,

пожалуй, сказала бы: «Я для него не просто красива, а красивей красивого».

Варвара Алексеевна — душа семьи. И в темные и в светлые дни она не теряла бодрости, обладая ровным, веселым характером. Такою же она оставалась и в годы войны, работая в тыловом госпитале медицинской сестрой и не беспокоя мужа, оставшегося в Москве, ни жалобами, ни просьбами (а ведь на руках у нее было двое детей: Вова и Светлана)...

Смел явился к Мирба, когда все в доме спали. Дверь открыла Варвара Алексеевна, в халатике и шлепанцах. Угадав в Смеле мужниного земляка, она почти насильно ввела его в комнату. Он пробормотал что-то насчет того, что приехал ночью, но и утром явился слишком рано...

— Как? — удивилась хозяйка. — Вы приехали ночью? Где же вы спали?

— Я не спал. Я знакомился с Москвой.

— Боже мой, надо было ехать прямо к нам! Ведь Степа только под утро приезжает с работы...

Смел был подавлен. Ворваться и разбудить всех... Очень это неприятно!.. Как сакенец сакенца, я его понимаю отлично: то, что в Сакене «поздно», в Москве, оказывается, «рано».

Смел сидит на кончике стула перед лицом всей семьи. Варвара Алексеевна говорит, что Смелу повезло — Степана Камуговича надо ловить, когда он еще в постели.

— Как уйдет из дому — до ночи пропадает на работе. А здоровье далеко не бычье. Вот и сердце пошаливает, и нервная система...

— Варя, — укоризненно замечает Степан Камугович, — ты бы постеснялась земляка. Если тебя послушать, то я стою у гроба.

— Приезжайте в Сакен, — советует Смел Степану Камуговичу, — приезжайте поправляться. Хорошая вода, хороший воздух...

— Попробуйте, сдвиньте его с места, — говорит Варвара Алексеевна.

Степан Камугович откладывает в сторону письмо из Сакена и забрасывает молодого горца вопросами.

Если вы долго не бывали на родной стороне, може-

те свое представить, о чем пойдет разговор при встрече с земляком. Степана Камуговича интересует все: и горы, и леса, и люди, и тропы, и звери, и поля. Смел едва успевает отвечать. Чуть ли не все сакенцы — герои, так утверждает Смел. Взять хотя бы Кесоу Мирона, лучшего борца за урожай...

— Он приедет годика через два-три в Москву. За Золотой Звездой. Вот увидите.

Вова (ему лет девять) глядит то на одного, то на другого, а Светлана делает вид, что читает книжку. Она рассматривает незнакомца исподтишка. Мальчик осторожно встает, выходит в другую комнату и тотчас возвращается с карманным атласом. Он долго перелистывает его. Лицо у него расстроенное.

— Что с тобой? — спрашивает отец.

— Ничего.

Вова краснеет.

— А все-таки?

Сын признается: он не нашел на карте Сакена.

— Да разве его на карте отмечают? — успокаивает его Смел. — Сакен очень маленький. Кусочек земли среди больших гор.

— Вы сказали — там хорошо. И вода хорошая, и воздух, и все люди герои.

— Вовка прав. — Степан Камугович берет в руки атлас. — Маленькое упущение составителей (он подмигивает Смелу), мы сейчас отыщем Сакен.

Он водит пальцем по черноморскому побережью.

— Вот он.

Но палец слишком толст. Он закрывает огромное пространство. Тогда в ход пускается острое карандаша. Но даже острое не уместается на том месте, где расположен Сакен.

— Должно быть, где-то здесь...

И три мужские головы дружно склоняются над незримой точкой.

— Поставь точку, папа, — просит Вова.

И точка поставлена.

Первые часы в новой семье мучительны для сакенца. Он чувствует себя как на орехах. Только повернись, и орехи начнут с шумом лопаться под тобою. За обедом Смел ведет себя несколько свободнее.

Он произносит тост в честь хозяев. Варвара Алексеевна искренне рада гостю.

Сегодня воскресенье. Никто никуда не торопится. После обеда Степан Камугович приступает к делу (в Сакене тоже так: сначала — угощение, а дело — позже). Но подступы и оговорки, с которых начал хозяин, не предвещают ничего доброго. Может быть, слава московского Мирба в Сакене преувеличена? Во-первых, экзамены, дескать, везде начались (послушаем, послушаем, что дальше!). Во-вторых, если даже предположить, что к экзаменам все-таки допустят, объем знаний поступающего... (Смел не счел нужным выслушать этот пункт с достаточным вниманием.) Трудности, одним словом, реальные. Однако попытка не пытка...

Смел дал возможность высказаться Степану Камуговичу. Только после этого он протянул ему две бумажки. Одна из них адресована в институт, другая — в Министерство электростанций. Под обеими жесткий росчерк председателя сельского Совета.

Дух, которым пропитаны эти обращения, а главное, канцелярские глубины, на дне которых возникли эти пеннорожденные бумаги, казалось, не оставляли сомнений в успехе предприятия. Вот почему Смел ликовал, подавая бумаги Степану Камуговичу. По тем же самым причинам хозяин постарался скрыть улыбку, попросив гостя сохранить эти «важные документы» при себе. О, разумеется, Смел спрячет их надежно!

— Я поговорю с товарищами, от которых это зависит,— обещает Степан Камугович, нещадно потирая лоб, словно от усталости у него заболела голова.

— Я не прошу снисхождения,— гордо заявляет горец.— У нас в селе работы по горло. Нужны люди всяких специальностей, с каждым днем хозяйство растет. Раз послали — надо учиться. Я так понимаю. Советский закон тоже говорит: учись.

Хозяйка убирает со стола. Она не может удержаться, чтобы не сказать:

— Ну конечно, боже мой! Вас должны принять в первую очередь.

— Это почему же, Варя?

— Он же из Сакена, из отсталого уголка.

И хозяйка удаляется на кухню. Смел долго взвешивает ее слова. Они ему не по душе.

— Нет,— говорит он твердо,— по такой причине поблажки я не прошу.

Степан Камугович восклицает:

— Сразу видно сакенца! Никогда не прибедняйся. Слышишь?

...Не успела хозяйка убрать тарелки со стола, как появился еще один гость — пожилой человек, очень шумный и горячий.

Хозяйка успела шепнуть Смелу, что Федор Федорович — дядя ее, профессор, большой ученый, работает консультантом в Министерстве сельского хозяйства.

— Сельского хозяйства? — с уважением переспросил Смел, считавший, что после электротехники самое важное — сельское хозяйство.

— А, Федор Федорович! — Степан Камугович встал навстречу гостю. — Мы с Варей не могли понять, куда это вы девались.

Федор Федорович, не успев снять пальто и волоча его на одном рукаве, стремительно вошел в комнату. Смел бросился помогать гостю: так бросаются в Сакене к всаднику, чтобы поддержать стремя.

Федор Федорович посмотрел на Смела и смешно потянул носом.

— Нюхом чую, приезжий. Кавказец?

Степан Камугович знакомит профессора со Смелом.

— Приехал учиться... Экзамены держать.

— Одобряю,— буркнул профессор, усаживаясь на стул. — А чаек будет?

— Варя, чаю! — крикнул Степан Камугович.

— Ну что же, молодой человек, ни пуха ни пера,— Федор Федорович улыбнулся Смелу, как старый знакомый.

— Однако, Федор Федорович,— продолжал хозяин, — он опоздал на экзамены. Они уже начались.

— Начались, начались,— подтвердил профессор. — Пустяки. Поможем. Позвольте, а в какой институт? В сельскохозяйственный?

— В электротехнический.

Федор Федорович задумался. Это было не по его части. Но вскоре снова улыбнулся Смелу:

— Обойдется. Допустят.

— Ну вот, поздравляю тебя, Смел, — сказал Степан Камугович, и Федор Федорович только сейчас почувствовал, что сжег за собой мосты.

13

В передней раздался звонок, и Вова громко возвестил:

— Миша приехал!

Миша — шофер Степана Камуговича. Смела знаком с ним. Молодые люди двинулись навстречу друг другу. Смел свалил стул. Все бросились поднимать его: Степан Камугович за спинку, а Смел и Миша за ножки. Рукопожатие все же состоялось.

Степан Камугович вышел в другую комнату, чтобы о чем-то посоветоваться с хозяйкой. Миша поднял Светлану на плечи и пустился вскачь вокруг стола. Девочка захлебывалась от удовольствия, прищипывая своего двуногого коня и понукая его. А Миша, шурша кожанкой, галопируя, кричал Смелу:

— Видите, как мы любим верховую езду! Включайте радио! — Он властно указал на громкоговоритель.

Смел воткнул штепсель в гнездышко, и звуки марша залили комнату. Миша тотчас же остановился, посадил девочку на пол, с досадой взглянул на часы.

— Кончился футбол, — сказал он разочарованно. — Но я и без того знаю: армейцы надавали «Спартак».

Это был крепкий парень с веснушчатым задорным лицом. На шее, под самым ухом, красноватый шрам от рваной раны. Сероватые глаза как бы с сочувствием глядели на мир, который, несомненно, нравится этому парню...

Вошел Степан Камугович.

— Михаил, — сказал он, потирая руки, — программа меняется. Я никуда не еду. Ты свободен. Если хочешь, можешь покатать по городу нашего гостя.

Проехаться по московским улицам — заманчивое предложение. А вот мне в свое время никто не предла-

такого. И я завидую Смелу. Дело, разумеется, не в том удовольствии, которое получаешь от поездки по незнакомому городу. Главное — в той нови, которая не свалилась с неба, а далась в борьбе. Старое не уходит без боя. В мое время оно было и сильнее и наглей, это старое. Порой оно принимало отвратительные формы. Я это поясню примером. Первые дни моего пребывания в Москве, в тысяча девятьсот тридцатом году, были омрачены беседой с доцентом — субъектом средних лет, с рыжей бородкой. Когда я сказал ему, что прибыл из Сакена, словно иголкой его уколол. Он справился о моих родителях. Я ответил: «Простые настухи». Он спросил меня, проходил ли я логику. Едва проглатывая слюну (горло у меня совершенно пересохло), я ответил, что нет. «Институт — это храм науки, в который входят лишь достойные», — сказал он сухо, и я почувствовал ту минутную слабость в коленных суставах, воспоминание о которой заставляет краснеть настоящих сакенских мужчин. (К счастью, не все зависело от доцента-олимпийца.) И вот, когда невольно сравниваешь свой первый приезд с приездом Смела, не позавидуешь ли ему доброй, братской завистью?..

К чему тянуть историю? — как говорят нетерпеливые сакенцы. Через минуту Смел и Миша вышли на лестничную площадку.

Как только захлопнулась дверь, Миша перешел на «ты», к полному удовольствию гостя.

— Тоже с Кавказа? — спросил он.

— Да. Из Сакена.

— Постой! Из Сакена? — Миша надвинул шапку на самые брови. — Сакен не у Клухорского перевала?

— Верно!

— Салумана Ранба знал?

— Нашего кузнеца?

— Старшину нашего... Вместе воевали. С самого перевала шли до Дона.

— Он наш сосед. Под боком жил. Рукой подать! — воскликнул Смел. — Он погиб в эту войну.

Миша, расстроенный, достал папиросы, закурил сам и предложил Смелу.

— Погиб! — сказал он сокрушенно. — Мало сказать — погиб. Ему грудь осколком пробило. Он сутки

умирал на моих руках. Настоящий был человек. Понял?

Они продолжали спускаться по лестнице. Внизу сели в автомобиль.

— Поедем к ребятам,— предложил Миша, трогая машину.

Смел утвердительно кивнул головой. А по дороге осторожно признался, что есть у него в Москве одна знакомая.

— Ну что же? — невозмутимо заметил шофер.— После заедем к ней. Выпьем по кружке,— пересохло в горле.

Миша въехал в большой двор, где оказалось много машин. Он подкатил к углу двора, окликнул друзей.

— А ну, знакомьтесь,— сказал он.— Знаете, кто это такой? Сосед по Казказу. Можно сказать, у самого ихнего дома воевал, хлеб-соль ел, водку пил...

Парни в черных рабочих костюмах пожали Смелу руку. Каждый из них назвал свое имя. Миша исчез и вскоре вернулся с двумя графинами пива и бутербродами. Все вошли в дежурку.

— По нашему кавказскому обычаю,— начал Миша,— скажем слово. Слово наше будет такое: за дружбу!

Друзья поддержали Мишу. Выпили за каждого в отдельности.

— Наверное, по делам приехал? — спросили Смела.

— Разумеется. Хотелось бы в электротехнический институт.

Выпили и за успех сакенца...

— Пора ехать,— сказал Миша.

Он потребовал адрес знакомой.

— Если девушка хороша — женим, — пошутил шофер, вгоняя сакенца в краску.

Машина вышла на улицу и вскоре попала в поток автомобилей. Смелу кажется, что он несется среди табуна разгоряченных коней. Вот они, кони: фыркают то сзади, то впереди, гудят и громыхают моторами. Воистину, как на сакенских скачках, когда всадники выходят на второй круг: не поймешь, кто кого обгоняет...

У Смела было такое ощущение, будто он попал в гущу большого народного гулянья, где трудно протиснуться сквозь толпу. Торопились не только машины, но и люди, оттого улицы казались бурными горными потоками. Ехал Смел и думал: «Вот этот город и эти люди, за которых дралась вся страна осенью тысяча девятьсот сорок первого года... А Сакен? Разве сакенцы не заботились о своей столице вместе со всеми?» Да, конечно, и сакенцы, как говорится, внесли свою лепту. Весь народ грудью стоял и стоит за Москву. Не потому ли так нарядна и так хороша эта послевоенная Москва?..

Вышагивая по московским улицам, я часто проверяю свою память: что здесь было раньше, что появилось после войны? Конечно, прежде всего бросаются в глаза огромные корпуса домов, уже выстроенных и строящихся. Загибаю на руке один палец: новые дома. Дальше. Передо мной глубокая выемка — укладывают газовые трубы. Москва получила газ. Загибаю второй палец. Эти липы, эти скверы, эти выпрямленные и расширенные улицы и площади. Еще один палец. Машины новых марок... У витрин — толпа. Радиоприемники разных систем, каких мы не видели до войны. Книжки... Имена новых писателей и новых ученых. Подтянутые суворовцы на улицах... Я забываю счет.

Да, Москва растет на глазах. Но глаза мои видят не только городской пейзаж, меняющийся с каждым годом, с каждым месяцем, с каждой неделей. За стенами и окнами зданий я вижу людей, осуществляющих гигантские замыслы. Я вижу миллионы москвичей, идущих во главе всего народа, строящего здание, имя которому коммунизм.

Миша подкатывает к трехэтажному дому, запирает машину и уверенно входит в подъезд. Немножко помешкав, он нажимает кнопку. Вслед за звонком из-за дверей доносится знакомый голос:

— Кто там?

Миша толкает вперед Смела, а сам становится в сторонку. Еще мгновение — перед Смелом Галя, та самая Галя, и даже лучше прежней.

— Это вы, Смел? Входите, пожалуйста.

Галя ничуть не изумлена, точно давно ждала гостей, как бывалая сакенская хозяйка.

— Да входите же! А вы? — Вопрос относится к Мише. — Так и будете стоять за дверью?

Гости входят в тесную прихожую; скорее, это маленькая мастерская. Всюду приборы, тиски, напильники. На стене висит велосипед.

— Мой брат Дмитрий. Знакомьтесь, — говорит Галя.

Из-за стола, заваленного инструментами, поднимается Дмитрий. У него на голове копна волос соломенного цвета. Глаза карие, как у сестры, а нос большой.

— Сомов, — твердо выговаривает он.

— Смел.

Галя проводит гостей в комнату, и Дмитрий идет за ними.

— Мама, знакомься...

Чистая, уютная комната. На всем печать старательной женской руки: на столе с белой скатертью, на тумбочке, покрытой узорчатой дорожкой, на комоде, на аппликациях тонкой работы. По стенам развешаны фотографии. Два окна выходят во двор, видны кудрявые деревца.

Из-за стола встает высокая женщина в очках. На лице сеть морщин, правда неглубоких. Ей можно дать лет пятьдесят. Она протягивает руку, и Смел осторожно пожимает своей ручищей.

Разговор налаживается не сразу. Он беспомощно повисает в воздухе, как птица, которая не знает, на какую веточку опуститься. Смел смущен. По чести, его интересует Галя, ради нее он сюда пришел. Но он не умеет говорить с ней на людях. Кроме того, его интересует мастерская в передней.

Смел поворачивается к Дмитрию. Один вопрос. Другой. Дмитрий с охотой отвечает. Смел увлекается чисто по-сакенски. Что это за инструменты и зачем их так много? Кем работает Дмитрий и где работает? Не забыта ни электростанция в горах, ни шаровая мельница (надо же отрекомендоваться!).

У Дмитрия голос ровный, речь неторопливая.

— Ничего не поделаешь, пришлось завести мастерскую дома, — говорит он. — Хочется работать лучше, а раз лучше — надо пробовать... Вот кое-что и придумываю... Резцы новые прилаживаю.

Мысль, оказывается, простая: надо резать металл быстрее, чем вчера и позавчера. На смену стальным резцам приходят вольфрамовые. В Ленинграде семьсот метров в минуту режут, в Москве подошли к тысяче метров. А нельзя ли больше? Когда Дмитрий говорит: «А нельзя ли больше?» — нужно понимать: «Конечно, можно!»

Дмитрий выходит в переднюю и возвращается оттуда с резцами. Он показывает синевато-серые инструменты и говорит, говорит своим ровным голосом. «Он изобретатель», — думает Смел. Дмитрий впускает ему почтение не меньше, чем Высоцкий. А Миша рассматривает резцы с видом знатока, почему-то взвешивая их в руке.

— Целый день у нас в доме карусель, — жалуется мать. — Стук, гром. Куда ни сунешься, везде железо.

Как и всякая мать, знающая цену своему сыну, она притворно поругивает его...

Итак, первый визит нанесен. Но Смел не смеет заговорить с Галей. А ей хочется знать, как он устроился.

Она спрашивает, что он будет делать завтра. Завтра? Право, Смел еще не знает. Он будет действовать — ведь он приехал на экзамены!

Как во сне, он прощается с хозяевами, сильно жмет им руки.

— Вы еще заедете к нам? — спрашивает Галя в дверях.

Смел что-то бормочет в ответ. Кажется, вопрос Гали не говорит ни о чем ином, кроме как о простой вежливости. Но он повергает молодого горца в состояние такого возбуждения, что Смел стремительно опережает Мишу на лестнице и, не заметив машины у подъезда, мчится мимо нее.

Смел следит за выражением лица Степана Камуговича. Вся семья сидит за чаем. Яркий свет падает на лоб, на щеки, на острый, как у сакенца, нос Степана Камуговича, и от этого черты его лица кажутся чересчур резкими. Он со вкусом попивает чай. Варвара Алексеевна едва заметно дотрагивается губами до ча-

шечки, а Вовка, словно насос, с шумом втягивает чай с блюдца, возмущая мать.

Смел только что закончил свой рассказ. Мирба искренне рад, что его соседи-сакенцы (село Степана Камуговича расположено в долине, а Сакен в горах) выходят на широкую дорогу. Его радуют сельские дела; не зря потрудились ладные крестьянские руки. Приятно также услышать, что родственник (пусть дальний) Кесоу Мирба, должно быть, получит Героя. Все это чертовски приятно. Он внимательно выслушал Смела. Теперь Смел хочет, чтобы говорил хозяин. Он задает вопрос — словно выдвигает робкую пешку начинающий шахматист.

— Ну что ж рассказывать? Работа есть работа. Страна огромная, уход за ней требуется большой. Ее можно сравнить с гигантским механизмом, все части которого движутся в тесном взаимодействии. Механизм-то новой конструкции, его осваивать надо. (Сравнение с механизмом пришлось по нраву Смелу.) Понятно, — сказал Степан Камугович, — сравнение это условно. Страна не столько механизм, сколько организм, гигантски растущий. Возьмем угольную промышленность. Донбасс, Кузбасс, подмосковный уголь, среднеазиатский уголь. В сорок шестом, первом мирном году, мы дали угля на десять процентов больше, чем в сорок пятом году. Сейчас у нас сорок восьмой. Уж в первом квартале мы дали сто двадцать процентов к сорок пятому. Механизируем. Готовим кадры. Расставляем силы.

Смел ерошит волосы.

— Неужели, — говорит он, — весь уголь на ваших плечах лежит?

Степан Камугович не без иронии почесывает себе подбородок.

— Ну, весь не весь, а некоторое количество его тянем.

И Смел перестает верить, что такой человек, как Степан Камугович Мирба, родился и жил под самым боком Сакена.

Часы на стене громко тикают, в комнате звучит басок Степана Камуговича, а за стенами бьет ключом московская жизнь, и августовский серовато-зеленый вечер глядит в окна.

Молочно-белый туман стелется по косогору. Он густой, словно мамалыга, и ползет, как живой, поглощая кусты, хрупкие деревья, проглатывая скалы, заполняя собою долины. Туман упорно надвигается... Но странно: чем ближе, тем реже становится он. Он тает, как снег, исчезает, как пар... Воздух снова прозрачен и чист. Чья-то влажная, теплая рука ложится на лоб сакенца... Галя! Смел выкрикивает ее имя. Его голос отдается эхом. И со всех сторон несется: «Галя! Галя! Галя!» Почему-то она в наряде сакенской девушки: длинное ситцевое платье, туго перехваченное в поясе, длинные светлые косы и яркая, как луг, усеянный цветами, косынка. И глиняный кувшин в руках. Она не глядит на Смела. Глаза у нее опущены. «Сыро,— говорит она, подавая руку горцу,— не простудись». Она ведет его по краю скалистого уступа. Она почти бежит, и Смел боится, как бы она не поскользнулась, не упала... Она еще раз говорит: «Не простудись».

...Сквозь тяжелые шторы проникает свет московского утра. С улицы доносятся голоса большого города. Должно быть, крепко, богатырски спал сакенец в эту московскую ночь! Разумеется, все было сном, но сном хорошим (мать Смела именно так бы его определила). Туман развеялся — прекрасно! Смел остался на косогоре, он не дрогнул, не отступил — тоже прекрасно! Прекрасней же всего то, что Галя сказала: «Не простудись».

А что это за песня звенела у него в ушах во сне?

Ты шла босая по росной траве,
Ты шла — и не мяла травы.
Краше солнца в то утро была,
Гордою ланью была.
Ты шла — и не мяла травы...

Эту веселую сакенскую песню Куламба пел для Гали... во сне.

Проснувшись, Смел предается мечтам.

Какие могут быть мечты у молодого человека, который еще не прожил и четверти века? Мечты примерно были такие: ну вот он в Москве; учится в институте; часто видится с Галей; потом вместе с нею едет в Сакен... Разумеется, на первых порах он скрывает, что она его невеста; она всем нравится: она умна,

почтительна к старшим, знает толк в хозяйстве... А потом...

Здесь мечты из будущего возвращаются в реальность сегодняшнего дня. Часто видаться с Галей можно — не правда ли? Например, можно вместе с ней ходить на лекцию по технике... телевидению, скажем, разве это ей не интересно? А ракетные двигатели? Радиолокация?

Зная немного сакенца, я полагаю, что досужая мечта молодого человека — не пустая мечта. Я не хочу ничего предсказывать, но мне кажется, что тут возможны очень резкие повороты жизни (смягченная степень понятия «большие неожиданности»). Я понимаю, что это значит, когда в молодую душу вдруг врывается яркий и горячий гость — любовь...

Смел быстро одевается, осторожно приоткрывает дверь в смежную комнату. Там Варвара Алексеевна расставляет на столе посуду.

— Доброе утро, — говорит она. — Выспались? Уже одиннадцать.

— Одиннадцать часов? — переспрашивает удивленный Смел. Черт возьми, к этому времени в Сакене кончается первая половина рабочего дня. Ему совестно, что он так долго провалялся в постели.

— Вы устали с дороги, и вам это простительно. Степан Камугович успел позвонить кое-кому. Знаете что, Смел? — Варвара Алексеевна выходит в кухню и возвращается оттуда с кастрюлей. — Знаете что? Он, кажется, остался недоволен разговором. Нет, нет, я ничего не знаю. Я привыкла судить по выражению его лица... Он очень расстроится, если будет неудача...

Значит, Степан Камугович уже чем-то недоволен. Это, разумеется, плохой признак. По сакенским понятиям, после такого начала следует повернуть оглобли.

— Они еще не видели моих документов... — осторожно замечает Смел.

— Боже мой, вы подумали что-нибудь дурное, да?

— Он говорил с директором?

— По-моему, нет. Он звонил Федору Федоровичу. Впрочем, я болтаю лишнее. Он сам вам все расскажет.

В течение дня Степан Камугович звонил несколько раз (видно, делу дан полный ход). Он спрашивал, инте-

рассудится ли Смел только электротехникой, или готов изобрести другую какую-нибудь специальность.

— Какую?

Маленькая заминка в трубке.

— Например, библиотечную...

Смел чувствует, что под ним колеблется почва. Он уже видит земляка Антона Рашба (человека так себе, недорного); Антон щурит свои воспаленные глаза, и с губ его срывается этаким кривой смешок — дескать, вот тебе и механика!

Смел боится обидеть своим ответом Степана Камуровича.

— Библиотечную? Я не смогу, — говорит он осторожно. — Для этого надо голову иметь другую.

Степан Мирба смеется в трубку, покашливает.

— Ладно, ладно, не падай духом, — и обещает еще раз позвонить.

Что означают эти странные вопросы? При чем здесь библиотека? Электрик есть электрик. Кажется, ясно...

Через час снова зазвонил телефон: это профессор вызывал к себе Смела, чтобы вместе с ним отправиться в электротехнический институт.

Знаете, я люблю людей вроде Федора Федоровича. Эти люди беспокойные, страстные и горячие. Они не пройдут равнодушно ни мимо больших событий, ни мимо мелких происшествий, даже уличных, — вмешаются, наведут порядок, помогут найти истину и справедливость. Таких в Сакене называют «человек-кремень», ибо они словно брызжут искрами, как кремень. Если бы профессор посетил Сакен, у него нашлось бы там немало преданных друзей. Небезызвестный охотник Джаангирей или тот же Шаангери Канба любят говаривать: «Если ты настоящий человек — интересуйся всем на свете» (вторая половина фразы в буквальном переводе звучит так: «Всюду суй свой нос»). Это сакенское изречение я понимаю так: «Живи, а не существуй». И подлинно: у профессора немало дела, научной работы, собственных забот, а посмотрите, как юношески живо шагает он рядом со Смелом. Он весь ушел в его дела, погрузился в них с головой.

Надеюсь, вы не заподозрите, что здесь играют особенную роль дальние родственные отношения с Мирба. Дело в другом. Дело в характере Федора Федоровича, в его правилах жизни.

...Павел Иванович, заместитель директора по учебной части — человек с изможденным лицом, в позолоченных очках, — сидел за огромным письменным столом, разбираясь в расписании лекций. Ему давала объяснения женщина с проседью в черных как смоль волосах. Когда дверь с шумом распахнулась (Федор Федорович не признавал тишины), Павел Иванович протянул к нему навстречу свои худые опрятные руки.

Федор Федорович упал в кресло, указав Смелу на другое, стоящее напротив.

— Прежде всего познакомьтесь. Товарищ с Кавказа. Имеет желание поступить в ваш институт. Смел Куламба. Джигит и механик... Познакомьтесь и вы, Мария Сергеевна. Знакомьтесь, прошу вас, знакомьтесь...

Павел Иванович сразу же впал в замешательство. Он переставлял с места на место пресс-папье, вертел ручку, без нужды поправлял очки на своем бледном, с горбинкой носу.

— Федор Федорович, милый мой, — начал Павел Иванович. — Экзамены-то начались. Вторую неделю уже идут.

— Ну так что же?

— Прием заявлений давно прекращен...

— Ну так что же?

— Приказ по институту издан...

— Ну так что же?

— Сроки-то прошли...

— Ну так что же?.. Если бы не прошли, я к вам не прибыл бы. Челом бью... Знаете, откуда этот молодой человек? С таких высоченных гор спустился, Павел Иванович, что ого-го!.. У них письменность-то только вчера завелась. Они попросту вымирали прежде. Такого юношу руками и ногами хватать надо, ей-богу!

Павел Иванович, казалось, еще больше застеснялся.

— Был бы Иван Григорьевич — другой разговор.

А он болен... Семен Савельевич не пойдет на нарушение. Не пойдет,— повторил Павел Иванович с ударением.

— Дорогой Павел Иванович,— Федор Федорович взял Павла Ивановича за руку,— очень прошу... Сделайте все возможное. Это моя последняя просьба в нынешнем году,— добавил он со смехом.

— Я переговорю... Я понимаю — надо помочь. Я позвоню вам завтра.

— Позвоните? Вот и чудесно. Мария Сергеевна, под вашу ответственность... Вы только подумайте, кто к вам приехал и откуда приехал! Ну, а теперь — в министерство! Третье заседание за день. Будьте здоровы.

15

Смел медленно брел по московским улицам. На сердце — камень. Некий Семен Савельевич, от которого все теперь зависело, омрачал настроение, подобно туче в ясный день. Вот ежели бы повидаться с ним, рассказать бы всю историю Сакена, раскрыть свою душу! Едва ли кто-нибудь устоит перед соблазном нарушить какой-то институтский приказ, выслушав сакенские были. Правду сказал профессор: сакенцы из тьмы крошечной ступили на светлый порог — грешно им отказывать в небольшой просьбе... Смел нащупывает в боковом кармане бумажку — ходатайство сельского Совета. Его охватывает неодолимое желание перечитать ее. Он отходит в сторону, подальше от человеческого потока. Слова, писанные в Сакене, как-то особенно звучат здесь, в Москве. Бумажку составляли и несколько раз переделывали Кесоу, директор школы Мушаг и Константин. Вспомнил Смел, как настойчиво требовал Константин вымарать все, что походило бы на «покорнейшую просьбу» прежних времен. О жизни Сакена до революции предложил совсем не упоминать. «Простому люду везде плохо жилось,— заметил он,— значит, и сакенцам тоже. При чем эта жалоба сейчас?» — «Как при чем? — возражали ему. — Надо объяснить». Но Константин твердо стоял на своем. «Москва,— говорил он,— терпеть не может плаксивых. Я так понимаю». И до сих пор звучит в ушах напутствие Константина, обычно молчаливого,

скупого на слова: «Бить на жалость — последнее дело. Есть советский закон — на нем и настаивай»...

Сакенцу приятно вспоминать каждую мелочь, связанную с этой бумажкой. Радостно, что в Москве нашлись горячие друзья. Федор Федорович, например. Этот, пожалуй, глаза выцарапает Павлу Ивановичу. Нет, видно, Павлу Ивановичу придется туго, ежели...

Смел идет дальше.

Витрина с наклеенным свежим номером «Правды» (нынче ее в Сакене читают на пятый день, а годика два назад получали в лучшем случае на пятнадцатый, да и то только летом). Глаза Смела оживают. Вот заметка, озаглавленная: «Мастер скоростного резания». Неожиданно в голове мелькнуло имя Дмитрия Сомова. Смел скользнул глазами вниз — и глаза его нашли имя Дмитрия в заметке. Горец ощутил такую теплоту, словно родного человека встретил, которого не видел давным-давно!

Он дважды прочел заметку. Стало быть, новый рекорд... Что же за молодец Дмитрий!

Тут к Смелу обращается незнакомый человек.

— Гражданин,— говорит он,— не скажете ли, как покороче пройти к телеграфу?

Смел польщен тем, что его приняли за своего человека в Москве.

— К телеграфу? — Он смотрит налево, потом направо и чистосердечно признается: — Не знаю. Очень извиняюсь, но мне тоже хотелось бы пойти на телеграф.

— А вы тоже приезжий?

— Да, приезжий.

— Ну что ж, пойдем вместе.

У этого человека были живые глаза, блестящие, как стеклянные бусы. Усы — чернее сакенской ночи...

— Кого только не встретишь в Москве! — непридуманно сказал незнакомец. — Я тоже вроде горца. наших Тарасов помните? Бульбу и Шевченко. Я не Бульба и не Шевченко, но тоже Тарас. Тарас Филиппенко. Тарас Филиппенко из Черновиц.

Смел улыбнулся, а Тарас спросил:

— Что, в Сакене сильно гористо?

— Гористо? — Смел уже смеется по-настоящему. — Мне кажется, что сакенские горы — прародители всех гор на свете.

— Добре. И у нас горы видные, сам бес шею своротит. Вы в гости или по делам?

Со слов Смела Тарас понял, что у горца не все гладко идет в Москве.

— А вы напористее берите, по пословице: капля и камень долбит. Вот я, скажем, три дня назад приехал, а дело успел сделать. Правда, были заминки — не без этого. Но я к самому министру постучался — все на быструю ногу поставили. Иду телеграмму в Черновицы посылать: «Все в порядке, завтра выезжаю». Вот я и говорю себе: это тебе, Тарас, не Бухарест.

— Почему Бухарест?

— Почему? До сорокового года мы под королем жили. Гуцул в Бухаресте был все равно что белая ворона. Ноги себе отобьешь, разыскивая правду, а там, смотришь, взащей тебя гонят. Король! — И Тарас смешно скривил усы при слове «король»...

По дороге на телеграф выяснилось, что Тарас живет в гостинице. У него отдельная койка. Смел справился о цене. Цена? Не слишком дорого — десять рублей. Смел подсчитал в уме свои деньги. «Ого, целых десять рублей!» Верно, не легко для будущего студента, зато сам себе хозяин!..

— В Москве обязательно должно быть студенческое общежитие, — советует Тарас. — Узнайте.

Смел отказывается наотрез. Кто он, Смел? Даже к экзаменам пока не допущен! Язык не повернется просить места в общежитии. Но, разумеется, жить на хлебником тоже не дело...

— Вот что, — говорит Тарас, — с телеграфа — в гостиницу! Прямо к директору. Чем черт не шутит!

Смел раздумывает. Тарас считает дело решенным. Он говорит:

— Добре, добре.

...На телеграфе все устроилось быстро. Смел тоже послал телеграмму, чтобы не уронить достоинства Сакена перед Тарасом из Черновиц.

Говорят, приезжему человеку удобней жить в знакомой семье — меньше забот. Неизвестно, как вы, но Смел не разделял этого утверждения.

Во-первых, у сакенца создалось впечатление, и не без основания, что в семье Степана Камуговича все страшно занято. Сам хозяин весь день и часть ночи проводит в министерстве. Хозяйка, на которой держится дом, несет и общественную работу (она секретарь общества Красного Креста и народный заседатель в суде; добрая половина телефонных звонков приходится на ее долю). А дети? Может, сакенцам это и покажется смешным, но детям тоже хватает дела. Сейчас они свободны от занятий в школе, и тем не менее Вова занимается в кружке авиамоделлистов, без конца что-то мастерит. Ну что говорить о девочке, она еще совсем ребенок. Однако будь бдителен — не раздави случайно ее игрушек.

Сравнение семейной жизни московского Мирба с кипящим котлом, может, кое-кому и покажется преувеличенным. Тем не менее мне трудно подобрать более подходящий образ.

Каждый раз после телефонного разговора или очередной беготни по всем этажам огромного дома Варвара Алексеевна говорила Смелу: «Вот такая она, наша Москва, трудная». Эти слова она произносила тоном, каким любящие матери отзываются о своем беспокойном ребенке. Дескать, и такой он и сякой, но едва дело доходит до серьезного, то оказывается, лучше ребенка в целом свете не найти. И Смел пришел к выводу, что он основательно стесняет семью Мирба (факт, в свое время дружно опровергнутый всеми московскими Мирба, от мала до велика).

Во-вторых, молодой сакенец и себя чувствовал стесненно вследствие тех неудобств, которые, как ему казалось, он причинял всей семье. Это положение нахлебника! Не гостя, а нахлебника... Нет, одно дело гостить в горах, где можно в свою очередь пригласить добрых хозяев и заставить их вкусить сакенской хлеб-соли. И другое дело в Москве, где сам являешься гостем...

Итак, Смел надумал переселиться в гостиницу. Он дал увлечь себя Тарасу, полагая, что в многоэтажном здании гостиницы всегда найдется лишний угол (обычная ошибка людей малоопытных). Тарас подвел Смела к окошечку дежурного администратора, у которого

толпились люди, и почел за долг свой сделать небольшое наставление.

— Вы, молодой человек, может, в лаптях родились, да не в лаптях ходите! Москва — свой город, но вы не плошайте, действуйте... Я бы тут замолвил за вас словечко, да еще не имею веса. Не обжился за три дня. Ну, бывайте здоровеньки.

И он исчез.

Огромный вестибюль гостиницы, способный вместить всех жителей Сакена, полон людей; в одном конце его — почта, в другом — книжный киоск; в третьем углу идет торговля товарами, как в добром сельском магазине. Словом, каждый из многочисленных посетителей может найти занятие по душе.

Люди, стоявшие впереди Смела, продвигались к окошку. Когда до них доходила очередь, они по самые плечи всовывались в окошко, и горец не мог расслышать, о чем они там вели разговоры. Когда же и ему посчастливилось просунуть свою голову, он увидел женщину, с виду бледную, по-видимому сильно уставшую. Телефон непрерывно звонил. Дежурная поспевала и отвечать посетителям и говорить в трубку.

— Я вас слушаю, — сказала она Смелу.

— Я хочу койку.

— Коек нет и не будет.

— Долго не будет?

— Не могу сказать.

— Большое спасибо, — сказал вежливый горец и выбрался из толпы, жаждущей номеров. Он отошел к огромной колонне, чтобы там собраться с мыслями.

Очередь подвигалась очень быстро. Должно быть, дежурная отвечала очень веско и авторитетно (говорить авторитетно — по сакенским понятиям, значит говорить тоном, не допускающим возражений). Кто-то в толпе вдруг поднял шум.

— Дайте вашего директора! — потребовал он, возмущенный отказом.

Ему что-то ответили. После этого взволнованный гражданин вынырнул из толпы и бросился к широкой лестнице, ведущей наверх. Он был маленького роста, очень подвижной и тащил с собой туго набитый портфель. Смел сообразил, что гражданин мчится к

директору, и поспешил за ним вдогонку. На втором этаже они свернули направо, промчались мимо парикмахерской и очутились в длинном коридоре. Обладатель портфеля шаровой молнией ворвался в дверь с надписью: «Дирекция». Смел дождался в коридоре человека с портфелем и, немного подумав, решительно открыл дверь.

Небольшая комната. Прямо у окна — столик. За столиком — молодая круглолицая женщина. Рука ее лежит на телефонной трубке, как рука кавалериста на эфесе сабли. Налево дверь. Смел увидел дощечку со словом «Директор» и, ничего не говоря секретарше, проскользнул в кабинет.

Директор, чем-то озабоченный, стоял у окна. Он сделал шаг вперед, точно желая поздороваться, и снова вернулся на прежнее место, точно раздумав здороваться. Он стоял спиной к свету, и Смел не мог разглядеть выражение его лица (что, по сакенским понятиям, очень неудобно при беседе). Разговор продолжался ровно столько времени, сколько нужно для того, чтобы или уважить просьбу, или отвергнуть ее.

— Тема нашего разговора? — спросил директор, хотя отлично знал тему.

Смел не понял.

— Что вы сказали? — промолвил он несмело.

— Тема разговора.

— Ах, тема! — Смел растерялся было, но его вдруг взяла такая злость на все преграды, что захотелось сказать что-нибудь резкое. Смел погасил свой пыл, гнев испарился через улыбку, неожиданно озарившую все лицо горца. Обиженный сакенец или улыбнется и забудет свой гнев, или... И Смел продолжал: — Товарищ директор, если бы вы, я очень, конечно, извиняюсь, попали к нам в Сакен... очень извиняюсь, то вас таскали бы по всем домам и угощали бы везде, как брата...

Столь неожиданное введение, так не похожее на обычное начало бесчисленных бесед с посетителями, поставило директора в тупик.

— Садитесь, — предложил он.

— Спасибо, я на минутку... — Смел окрылился, сжал кулаки для храбрости и продолжал: — Я учиться приехал. Живу у дальних родственников. Но я не

бодный родственник. У меня завтра экзамен. Я хочу койку. Внизу сказали — нет!

— Они сказали правду, — заметил директор. — Просто беда — не хватает мест.

Он закурил папиросу, видимо приняв какое-то решение. Потом отошел к столу и склонился над бумагами. Смел обратил внимание на то, что голова директора сильно тронута сединой, что на лице у него много глубоких морщин.

Директор поднял телефонную трубку, повертел диск и сказал, разделяя слова:

— Зоя Семеновна? Да. Устройте койку товарищу...

— Куламба, — подсказал Смел.

— ...товарищу Куламба. Хорошо, с утра, — и положил трубку. — Вы зайдете утром. Ладно?

Смел почти не верил в свою удачу. Попрощавшись, он вылетел в двери, довольный маленькой, но вполне заслуженной победой.

На радостях он не мог не позвонить Гале. Но вместо голоса девушки услышал голос Дмитрия.

— Это я, Смел. О вас в газетах пишут. Поздравляю.

— Спасибо, — отвечает Дмитрий, — но главное впереди. Главное, чтобы вся бригада... Кстати, Смел, есть предложение собраться с друзьями... Я приглашаю... — но его голос чудесным образом превращается в голос Гали, и этот голос говорит:

— Здравствуйте!

«Такой голос, — думает Смел, — был бы у звезды, если бы звезда говорить умела...»

Представьте себе ученого, открывшего новую, доселе никому не ведомую звезду. С каким трепетом он наблюдает за нею, не правда ли? Куда она движется, эта звезда? Каковы ее помыслы? А Смел? Разве не открыл он новый мир? Разве не обращены к ней, к новой звезде, все мысли сакенского открывателя?..

Наконец он обрел способность понять, что Галя интересуется его положением. Положение? Оно не блестящее... Она находит слова утешения, не очень обидные для мужчин и в то же время идущие от сердца.

— Все равно, — заключает она, — должны принять! Должны же люди разобраться в существе дела.

Мало ли что минул срок! В конце концов любой советский профессор согласится посидеть час-другой ради такого события.

— События!

— Если Сакен находится в преисподней, как вы сами говорите, — энергично возражает Галя, — это событие!

Друзья мои! Обратите внимание, какие нотки зазвучали в голосе этой милой девушки. Она не только Смела успокаивает, она и себя успокаивает (даю вам честное слово!). Вы думаете, что только Смел мечтатель? Ого, знали бы вы, в какую высь залетает порой наша Галя! Откроем небольшой секрет: Галя равнодушна к горцу (равнодушна — не больше!). Он кажется ей хорошим. Правда, он немножечко горяч... И в то же время такой скромный...

— Смел, — неестественно громко говорит Галя, — а знаете что? В Ленинской библиотеке я подобрала всю литературу по вашему краю... Я не читаю эти книги, я их грызу... Ага... Ну почему вы молчите, Смел?

— Я? Книжки? Я не молчу. У меня есть новости: я буду жить в гостинице. Кто устроил? Друзья устроили. Вы знаете, сколько у меня друзей? Вы не смейтесь. Почти пол-Москвы!

Слышно, как Галя хохочет в трубку. Потом она вздыхает и наконец говорит упавшим голосом:

— У меня на завтра есть два билета в Большой, на концерт. Один мне, другой вам. И представьте такую случайность: оба места рядом.

Смел не может понять, почему она говорит об этом так печально. Он ищет слов, чтобы сказать Гале, что недостойно мужчины принимать от девушки билет в подарок.

И вдруг решительно говорит:

— Галя, а я приглашаю вас завтра в Политехнический музей.

— Что такое?

— В демонстрационный зал. О радиолокации слышали? Это как в сказке: все видишь... Очень извиняюсь! — торопливо добавляет Смел. — Ко мне в будку стучатся, я говорю из автомата.

Веселый голос Гали кричит в трубку:

— До свидания, Смел! Завтра у колонн Большого театра ровно в восемь!

И Смел выбирается из будки. Что до меня, я говорю: поздравляю тебя, Смел, кажется, ты не очень противен этой девушке!

17

Приходилось ли вам ожидать кого-нибудь у колонн Большого театра перед началом спектакля? Наверное, приходилось. А вот Смелу — нет. Он стоит у колонны серовато-желтого цвета, как у огромной скалы. Толпы движутся стремительными потоками и скрываются в огромных, добротно сделанных дверях. Все торопятся, поглядывая на часы. Вот прошел пожилой мужчина. Едва поспевая за ним, семенит маленькая женщина. А вот еще чета: он — в очках, мягкой шляпе, она — в легком пальто с большими, как у кабардинской бурки, плечами. И он и она не могут уgomониться, снуют взад и вперед, что-то выспрашивают в толпе. «Чудаки, еще много времени до начала», — говорит про себя Смел. Он удивленно следит за супругами (в том, что они супруги, Смел не сомневается). Они замечают Смела и налетают на него, как орлы на цыпленка. В чем дело? Им пужны билеты. Нет ли лишних? Смел извиняется — билетов нет. Они, не выслушав до конца, так же стремительно отскакивают от него: она — направо, а он — налево. И снова то здесь, то там мелькают их беспокойные фигуры...

В толпе много девушек и юношей. Бегут, словно вперегонки, смеются, ищут потерявшихся (а затеряться не мудрено).

Смел идет на площадь, чтобы проверить время по большим часам. Десять минут осталось до начала. Он возвращается почти бегом. К театру спешат последние зрители, задержавшиеся в пути. Толпа редет...

Как известно, последние минуты ожидания самые невыносимые. Сакенец уже не в состоянии стоять у колонны; он шагает от угла до угла здания, беспокойный, как те чугунные кони в полете, что вознеслись над колоннами театра.

Наконец-то!.. Она бежит, она очень торопится. И Смел шагает ей навстречу.

— Галя,— говорит он.— Мне кажется, сейчас между нами произойдет большая драка.

— Драки не будет, Смел. Мы идем на концерт.

— Мы идем на лекцию, Галя. Так мне кажется,— Смел берет ее руку в свою (слова будут усилены рукопожатием).— Мне кажется так потому, что...— И Смел, как заправский адвокат, обосновывает свое соображение по пунктам. Пункт первый, и пункт второй, и так далее. Одним словом, получается так, что судьба Смела словно зависит от сегодняшней лекции в Политехническом музее. Нет, сакенец мало похож на того молодого человека, которого Галя встретила на Курском вокзале.

— Ого! — говорит Галя. Она смотрит на него широко раскрытыми глазами.— Где же вы научились так говорить?

— Кажется, в Москве,— смущенно бормочет Смел. Он явно сбит с тона.

— И третье соображение? — с любопытством спрашивает Галя, заранее решив уступить.

— И третье соображение,— неуверенно говорит Смел,— третье соображение? На лекции мы тоже будем вместе! Конечно, я очень извиняюсь...

Не говоря больше ни слова, Галя раскрывает сумочку и достает два билета. Молча она помахивает ими, и похоже на то, что билеты раздумывают сами, словно живые, как им теперь быть.

И вдруг Галя говорит веселым и довольным голосом:

— Мы их продадим — и всё!

— Верно! — радуется Смел.

У колонны одиноко стоят она и он. Она — юная, как Галя, он — тоже юный, как Смел. У нее потухшие после бесплодных надежд глаза... Но есть же внезапные удачи на свете,— билеты сами идут в руки!..

Все получилось очень хорошо!

...В демонстрационном зале Политехнического музея очень серьезная аудитория. Смел и Галя занимают места. Галя смотрит на диковинный аппарат, возле которого возятся несколько человек, что-то налаживая. Искоса, не поворачивая головы, она поглядывает на

резкий профиль Смела. Ей хорошо и уютно. Лектор поднимается на кафедру, в зале тишина. Рука Смела сжимает запястье Гали. Лекция начинается. Рука Смела спускается к пальцам и берет мизинец Гали в ладонь...

В то самое время, когда лектор поднимался на кафедру, в просторном кабинете Семена Савельевича сидел Федор Федорович. Не сидел, а подскакивал на стуле, обитом кожей. Он бросал слова, точно игральные кости на стол: отрывисто, резко. Федор Федорович шел напролом, чтобы выполнить свое обещание, сгоряча данное в присутствии Степана Камуговича. (Кстати, эта черта характера: пообещал — надо исполнить — всегда доставляла профессору множество хлопот.)

У Семена Савельевича узкий прорез глаз, бесцветные зрачки, и потому кажется, что он все время смотрит куда-то вверх. Лицо толстое и румяное. На столе, среди письменных принадлежностей, — барометр (Семен Савельевич время от времени ударяет пальцем по стеклу прибора, заставляя стрелку подрагивать). Как будто он внимательно слушает своего собеседника. Но это не так, ибо он заранее знает, что отвечать, и поэтому ему безразлично, что говорит собеседник. Но Федор Федорович — трудный орешек. К тому же авторитет крупного ученого обязывает Семена Савельевича к внимательности.

— Да, Семен Савельевич, — не говорит, а режет Федор Федорович, — это наш общий долг. Мне незачем убеждать вас. Поймите меня правильно. Именно так: правильно. Человек не ехал, а буквально полз по горам. Вы на его месте, Семен Савельевич, непременно свалились бы в пропасть, а он не свалился, добрался до Москвы. Они до революции и школу-то в глаза не видели, а теперь стучатся к нам в двери. В чем моя просьба в конце концов? Допустить к экзаменам. Выдержит — милости просим, нет — до свидания.

— Сегодня четвертый день экзаменов, — бубнит Семен Савельевич.

— Будет и пятый, и шестой, и девятый день, — горячо прерывает его Федор Федорович. — Я разговаривал с Павлом Ивановичем. Простите меня, но он какой-то блаженный. Ни да ни нет, ни рыба ни мясо.

— Он не может решить этот вопрос. Если бы ответственность взял на себя директор...

— Позвольте, но вы же сами сказали, что он болен?

— Да, болен. Тяжело болен.

— Что же вам от него надо?

— Нам — ничего.

— И отлично! — Федор Федорович наклоняется над столом, словно хочет боднуть головой Семена Савельевича. — Напишите записочку в учебную часть — и делу конец.

Делу-то конец, да, видимо, заместителю директора вовсе не улыбается такой конец. Он сидит с видом Пифагора, решающего сложную задачу. Семен Савельевич точно взвешивает качество и количество несчастий, которые обрушатся на него, ежели он послушается не заведенного распорядка, а своей совести.

— Если, скажем, разрешить, — начинает Семен Савельевич. — Допустим... Но опоздавших много. Крик поднимут.

— Прошу прощения, — перебивает его Федор Федорович, — сколько у вас юношей из Сакена?

— Откуда?

— Я спрашиваю: сколько у вас юношей вроде этого Смела Куламба?

Семен Савельевич гасит папиросу, с размаху кидает ее в пепельницу. Он отвечает вполне серьезно:

— Я не могу сказать точно. Для этого придется вызвать... — И он тянется рукой к электрическому звонку.

— Не трудитесь, — решительно останавливает его Федор Федорович, — я спросил просто так, к слову.

Теперь он понимает, с кем имеет дело. Он встает, весь кипя от злости, как хороший самовар.

— Я поражаюсь тому, как в ваших глазах сущий пустяк перерос в серьезную проблему... Куда прикажете идти?

Семену Савельевичу ясно, что ему не отвязаться от энергичного профессора. Он звонит Павлу Ивановичу, советуется с ним. А тот, в свою очередь, тщательно взвешивая ответы, лавирует словами, как иной сакенец, который не хочет одолжить соседу котел, а прямо сказать об этом стесняется (духу не хватает).

Семен Савельевич вешает трубку. Его бесцветные глаза на секунду обретают слабый, очень слабый голубоватый цвет.

— Видите ли... — Он закуривает папиросу, и на это уходит некоторое время.

Заметив, что профессор вцепился в край стола волосатыми пальцами, и опасаясь нового взрыва, Семен Савельевич с живостью заканчивает:

— Я поговорю с директором. Лично я согласен. Последняя фраза буквально вырвана у него.

— Тогда Смел Куламба представит документы, заявление. Согласны?

— Лично я — да.

Профессор слишком взволнован, чтобы обращать внимание на чиновничьи тонкости ответа. Результат ему обещали сообщить завтра же. Опять злополучное «завтра». Однако Федор Федорович покидает кабинет, как он выразился, на крыльях надежды.

...В перерыве перед демонстрацией аппарата Галя и Смел остались на своих местах. Разговаривая, они следили за тем, как на помосте служащие передвигали аппарат ближе к краю, чтобы он лучше был виден. Вперед была выдвинута рамочная антенна, формой похожая на огромный бубновый туз. Черный полированный ящик со множеством ручек стоял на небольшом столике, рядом с таким же полированным ящиком. Помощник лектора в синем комбинезоне устанавливал электрическую машину у стены. Когда он включал ток, машина начинала жужжать, как пчела.

— Видите экран? — сказал Смел, показывая Гале на четырехугольник молочного цвета, ясно различимый на полированном ящике. — Здесь-то мы и увидим чудеса. Вы читали воспоминания наших летчиков? Я вчера прочитал. Уже во второй половине войны они благодаря этой штуке ловили немецкие самолеты.

У них хорошее настроение. Они болтают сразу о многих вещах, и это не мешает им: все темы, которых они касаются, не сбиваются беспорядочною толпою, а словно шагают одна за другой в полном порядке. Их ведет и ими командует настроение веселой близости, которым они охвачены.

И вдруг...

Что это взбрело Смелу в голову? Каким-то вкрадчивым, искусственным голосом он говорит:

— Очень извиняюсь, Галя. Кого это вы тогда встречали на вокзале?

— Ах, на вокзале! — небрежно отвечает девушка. — Ну, у каждого кто-нибудь да есть, кого он может встречать на вокзале.

Смел щурится.

— Я спрашиваю серьезно.

Брови Гали ползут вверх, и уголок ее губ дрожит.

— Это хорошо, что вы такой серьезный. Я люблю серьезных молодых людей... — Похоже на то, что она увиливает от ответа.

Но Смел с бешеным упорством ломится к цели:

— Все-таки интересно — кто он?

— Так просто. Один молодой человек.

— Должно быть, не плохой человек...

— Очень хороший. Он недавно окончил Горный институт. Остаться в Москве, в аспирантуре, не захотел.

— Почему?

— Характер такой. И я его понимаю. Он считает, что сначала нужно поработать в шахтах, а потом опять садиться за книги. Он работает в Донбассе. Ничего. Доволен. Я покажу вам отдельные строчки в его письмах, — добавляет Галя коварно, скашивая на Смела глаза. — О своей шахте он пишет, как о любимой девушке!

Сакенец пытается взять себя в руки. Конечно, этот донбассовец уже инженер. Но так ли все плохо? Имеются существенные признаки, свидетельствующие в пользу сакенца. Их нетрудно заметить даже малоопытному в подобных делах человеку. Допустим, тот человек не безразличен Гале. Однако кому нынче следует тревожиться — Смелу или тому человеку? Кому-кому, но не Смелу жаловаться на плохое отношение к себе. Так-то оно так, но разум плохой советчик, когда, как говорят в Сакене, сердце словно на вертел надето.

Однако Смел берется прояснить положение. Он делает это так неловко, что любой сакенский ухажер покраснел бы за своего земляка. Ни с того ни с сего Смел раздражается лестными замечаниями по адресу

неизвестного донбассовца. Конечно, этот инженер умен, и разговорчив, и статен, как кипарис, и смел, как барс...

— Откуда вы все это взяли? — восклицает Галя, едва сдерживая себя, чтобы не расхохотаться.

— Я чувствую это сердцем, — с достоинством произносит горец.

— Он совсем не барс, Смел. И совсем не кипарис.

— Конечно, я очень извиняюсь, — продолжает Смел, — но хотелось бы знать — приехал он или не приехал?

— Его командировку отменили.

— Он написал вам об этом?

— Да, написал.

И тогда, уверившись в своем предположении, мужественно глядя правде в глаза, Смел произносит тоном обреченного:

— Он вам нравится.

— Что значит — нравится? — спрашивает Галя.

— Любите, — в отчаянии выговаривает Смел это сильное, даже страшное в эту минуту слово.

Галя ничего не отрицает. Она затевает горячий спор: что значит «нравиться», что значит «любить»? Нравиться могут многие, но любить можно только одного. Смел с упрямством сакенца утверждает, что «нравится кто-нибудь» или «любишь кого-нибудь» — это почти одно и то же. Это как два мальчика-брата. «Нравится» — это младший брат. «Люблю» — старший. С тонким искусством Галя увела беседу в такие дебри, откуда нелегко выбраться. Смел чувствует, что взбирается на высоченную скалу и у него кружится голова...

— Вот что! — говорит он, прыгая с этой скалы. — Скажите мне: вы мне «нравитесь» или я «люблю» вас?

Галя смеется от души. Так смеются чистосердечные, несмотря на все их лукавство, честные и прямые девушки, которых сумели по-настоящему рассмешить. А Смел чернее тучи. Набравшись духу, он говорит, глядя ей прямо в глаза:

— Вы нравитесь мне! А это значит...

Случилось нечто необыкновенное — представляете

себе? — Смел признался Гале... Вот вы улыбаетесь, а каково Смелу? Что думает Галя? Что она скажет? Мне кажется, что она страшно испугана. У нее беспомощно дрожат ресницы. Смел отвернулся, молчит. Хорошо, что они помолчат оба... Гале страшно и хорошо. Ей очень хорошо молчать вот так, рядом со Смелом. Ее мысли плывут легко, как в добром, очень добром сне. О чем она думает? Она не думает. Просто перед ее глазами встает картина: горы Кавказа, горы-великаны, горы-красавицы, а у их подножия ветер треплет туманы и гонит их из балок, ущелий и пропастей. Вся земля курится сизым дымком, теплая и пряная. Галя видит себя в окружении седовласых стариков, поющих песни, слагающих чудесные были о Сакене. А Галя сидит и, торопясь, записывает их в тетрадь... Вот они идут вместе со Смелом. И горы, кажется, кланяются им, ждут их к себе как хозяев... Они идут, идут, и нет конца этому пути. И Смел едва касается ее руки...

Пусть пока это мечты, друзья мои. Но мечты тем и чудесны, что много обещают и обычно имеют привычку сбываться...

Галя встряхивает головой. Она очень серьезна сейчас. Она говорит Смелу:

— Вам очень нужно знать, кого я встречала?

— Да, — отвечает Смел, — правду. Даже если я умру после этого.

— Смел, я встречала родного брата. Это мой старший брат. Его зовут Евгений.

Как хорошо после душного помещения выйти на улицу, в ее полуночную прохладу! Светло, зелено, как в тенистом саду. Огни вверху, на чугунных столбах, огни — в перспективах улиц, за Москвой-рекой. Люди торопятся домой после деятельного дня. Как хорошо идти рядом с Галей и чувствовать, что тяжесть свалилась с плеч, и слушать, как Галя, забавляясь, припоминает только что слышанные слова, растягивая их по слогам: «Ум-формер, ге-не-ра-тор, вы-со-ка-я частота».

Быть может, это были лучшие минуты, которые Смел пережил рядом с Галей. Идя с ней рука в руку,

думая о ней, раскрываясь перед ней, он рассказывал «эти минуты, на московских улицах, легенду о бесстрашном витязе Абрискиле. Он рассказывал ей, припоминая слова и жесты старого Шаангери.

18

Смел подшивает бумаги к папке из серого тонкого картона: заявление с просьбой о приеме в институт, аттестат об окончании школы, метрическую выписку, справку о здоровье... Он колеблется, не находя места для бумаги от сельского Совета. Наконец пристраивает ее в самом конце — может, пригодится и она! Потом складывает свои книги в сундучок...

— Куда вы собираетесь, Смел?

Варвара Алексеевна с недоумением посмотрела на сакенца.

— Буду жить в гостинице.

Она была неприятно поражена.

— Вам не понравилось у нас?

— Как можно так говорить! — Смел взял ее за руку. — Очень извиняюсь, я не хочу вас больше беспокоить.

— Вы уже устроились?

Смел не без гордости усмехнулся:

— У меня койка в гостинице.

— Одну минутку! — крикнула хозяйка, подбегая к телефону.

Звонил Степан Камугович. Варвара Алексеевна отвечала то «да», то «нет». Он просил передать Смелу, что Федор Федорович сказал, чтобы документы немедленно были в институте.

— Хорошо, передам. Но ты понимаешь, Степа, Смел уезжает от нас. Куда? В гостиницу. Поговори с ним.

Смел подошел к телефону.

Степан Камугович искренне встревожился. «Куда ты пойдешь?» — несколько раз повторил он. Не обижен ли Смел чем-нибудь? (Но попробуй распознай у сакенца обиду!)

— Я очень извиняюсь, Степан Камугович, я всю жизнь буду вам обязан.

Степан Камугович что-то угадал. Он попросил к телефону жену и сказал ей, чтобы не чинила Смелу препятствий. Сейчас главное — сдать документы в институт.

Я не хочу, чтобы вы неправильно поняли Смела. Поймите так, как с полуслова понял его Степан Камугович. Смелу неплохо жилось у земляка. Напротив, жилось ему отлично, и деньги, аккуратно рассчитанные еще в Сакене, сохранились бы дольше. Но сознание, что он будет владеть койкой и двумя метрами пола, что он сможет чувствовать себя независимо или почти независимо, наполняло все его существо уверенностью в себе самом...

Итак, Смел обосновался на двенадцатом этаже гостиницы. Его койка была тридцатой по счету и стояла у самого окна. Как с вершины Гуагуа, он мог наблюдать уличную жизнь огромного города, жизнь, которая не прекращалась даже глубокой ночью, а только утихала на время, словно набираясь новых сил.

Сдав документы в канцелярию института, Смел почувствовал себя почти студентом. На следующий день утром его попросили к телефону. Варвара Алексеевна сообщила интересную новость — Смела вызывает к себе на квартиру больной директор института.

— Хорошо ли это? — деловито осведомился Смел.

— А вы как думаете? Немедленно идите к нему. Сначала в институт, там вам объяснят. Слышите?

Смел позавтракал куском хлеба с колбасой и бросился вон из гостиницы.

...Вот наконец дом. Серый, трехэтажный, скромно пристроившийся в тихом московском переулке, за спинами двух огромных зданий. Смел несколько раз прошелся взад и вперед. Скажем прямо: ему было неловко беспокоить незнакомого человека, просить его о чем-то, может быть, даже краснеть перед ним... Времени для размышления не оставалось, а он все-таки бродил вокруг да около, у порога своей цели...

Я сочувствую Смелу. Согласитесь, есть вещи куда более приятные, нежели личная просьба. Вот стоишь (или сидишь) и не знаешь, с чего начать. А на тебя

глядят с этакой снисходительной усмешечкой, как на просителя, который отнимает время. Все нужные, ладно придуманные слова вдруг куда-то исчезли, спорхнули, словно птички с веточки, и сам ты качаешься беспомощно, как веточка. Потом из тебя постепенно начинают вытягивать слова, отдельные фразы (с сакенцем возни куда больше, чем с другим простым смертным). И вдруг ты замечаешь, что не так сел, не так расставил ноги и шапку не туда положил. Ты похож на комок воловьей шерсти, из которой мальчишки скатали мяч и пинают его ногами как хотят. Ты проклинаешь в душе и себя и то дело, которое привело тебя сюда. А на тебя все с той же снисходительной насмешливостью глядят прищуренные глаза...

Ясный августовский день. По небу плывут облака, похожие друг на друга, как отбившиеся от стада белосерстые бараны. Едва возникает на земле бледная тень, как уже мчится она по переулку, словно мальчишка, за которым гонятся его товарищи. И снова весь переулочек, все дома от фундамента до крыши озаляются солнечным светом, и серый дом кажется отлитым из бронзы.

Этот день, теплый и лучистый, и далекий шум города, доносящийся в тихий переулочек гулом многоводной горной реки, будят в сакенце все то светлое и радостное, что до времени дремлет в человеческой душе и что надо только уметь разбудить. Все, что ждет горца за стенами серого дома, не такое уж в конце концов сокрушительное событие, чтобы трусить из-за него и подтачивать свое сердце сомнениями! И Смел, неожиданно набравшись храбрости, поднимается по лестнице.

...Отперла ему толстая женщина. Она указала на вешалку и на внутреннюю дверь, которую чуть-чуть приоткрыла, предоставляя Смелу возможность действовать.

Он вошел в просторную светлую комнату. И первое, что увидел, — огромное, почти во всю стену, окно. Книжки, стол, ковер, картины на стене — все было залито неудержимыми потоками света.

За столом полулежал в кресле человек в темно-синем костюме. По наружности он не производил

впечатления больного (в Сакене больным считается тот, кто бел, как известка). Бритая голова, собою плотный, усы короткие, стриженные. Глаза казались спокойными, но едва присмотришься к ним — так и блестят в них живые искорки. Сакенцу показалось, что в них затаилась грусть. Впрочем, человеку больному положено взгрустнуть, — так решил Смел.

Иван Григорьевич (это был он) сделал движение вперед. И только тогда заметил Смел ногу, неестественно вытянутую, покоившуюся на низеньком табурете.

— Ни в коем случае! — воскликнул Смел, полагая, что хозяин хочет встать навстречу гостю.

— Да нет же, нет, — сказал Иван Григорьевич шутливым, но твердым голосом. — Я и при всем желании не могу привстать... Старость не радость, одним словом.

Смел сел на предложенный стул.

— Очень извиняюсь, — пробормотал он. — Такое беспокойство... Вы болеете...

При слове «болеете» Иван Григорьевич сделал гримасу.

— Неправильно человеческий организм устроен, — сказал он, улыбаясь и глядя прямо в глаза Смелу. — Была война. Человека ранило в ногу. Этаким пустяк, казалось бы. Кости целы, мякоть зажила. Но где-то там, в глубине, какой-то сосуд пошаливает: дуется, расширяется, уплотняется... И сиди из-за него, не смей двигаться. Ну, скажите, справедливо ли это?

Вежливый сакенец готов обрушиться на природу, которая устроила человеческий организм таким несовершенным образом.

«Больного надо подбодрить», — решает он. Но Иван Григорьевич без умолку говорит, и сакенцу остается только превратиться в слух.

— Однако все-таки правильно устроено, — меняет фронт Иван Григорьевич. — Природа как бы говорит: думай обо всем, о маленьком, глубоко запрятанном сосуда тоже думай. Это твой сосуд. Забыл о нем — он сам подаст о себе весточку...

Иван Григорьевич поправил больную ногу, уселся поудобней. Говорил он, слегка окая, растягивая окончания фраз,

— Вот я и решил, товарищ... — он заглянул в блокнот, — товарищ Куламба, пригласить вас, поговорить с вами. Вы издалека. Вы — вроде того маленького, далекого сосуда... Нет, нет, только не больного! — воскликнул Иван Григорьевич со смехом. — Вы — сосуд здоровый, но очень далеко расположенный.

— Да, — согласился сакенец, — очень далеко.

— И я решил, что будет неверно, если мы забудем о вас.

Эти слова очень понравились Смелу. Как говорится, он ожил и подался вперед, словно подставляя грудь идущей навстречу надежде.

Должен заметить, что любой из нас почувствовал бы то же самое при задушевности, с которою Иван Григорьевич произнес последнюю фразу. Такие слова под стать орлу, — сказали бы в Сакене, — ибо только орел может по-орлиному смотреть на жизнь.

— Как вам живется-можетсЯ в Москве? — продолжал Иван Григорьевич, листая папку с бумагами. (Смел заметил, что это были его бумаги — аттестат, справки, заявление в институт.) — Не скучаете по своим горам?

— Живу очень хорошо, — с воодушевлением начал Смел, как гость, желающий порадовать хозяина. — Большое спасибо, очень хорошо живу. А горы? Они не уйдут.

— Что верно, то верно, — машинально произнес Иван Григорьевич, занятый чтением бумаг, — они не уйдут, горы-то ваши... А кто написал вот это? — неожиданно спросил он, подавая письмо сельского Совета, адресованное дирекции института.

Смел слегка опешил.

— Это? — переспросил он.

Иван Григорьевич улыбался ровной, широкой улыбкой, почесывая мизинцем кончик носа, точно удерживаясь, чтобы не расхохотаться. Смел покраснел. Он словно в воду смотрел, предчувствуя беду с этой бумагой! Уж этот Кесоу Мирба, настоявший на командирской редакции письма! Слово для того чтобы окончательно смутить молодого человека, Иван Григорьевич прочитал письмо вслух от начала до

конца, медленно, выразительно, после каждой фразы поглядывая на сакенца.

— «Директору Московского института,— читал Иван Григорьевич.— Исполком Сакенского сельского Совета сообщает, что к Вам направляется товарищ Смел Куламба, один из лучших строителей электростанции в высокогорном селе Сакен, для зачисления в число студентов». Очень хорошо,— прибавил от себя Иван Григорьевич, но тут зазвонил телефон. Иван Григорьевич поговорил с кем-то о делах института, дал указания, пообещал выздороветь как можно скорее.

Пока Иван Григорьевич разговаривал по телефону, Смел успел оглядеть комнату. Обстановка простая, не столь торжественная, какой она показалась сначала. Дубовый стол, мягкие стулья, кожаный диван, ковер. На высоких полках были расставлены книги в самых разнообразных переплетах. Эти книги и придавали комнате величественный вид.

— Почитаем дальше,— сказал Иван Григорьевич.— «В селе Сакен, прежде глухом и диком, достигнуты огромные успехи. Если раньше урожай кукурузы составлял не больше ста пудов с гектара, то в прошлом году благодаря технике добились более трехсот пудов. Плановая цифра по табаку превышала на сто тридцать и три десятых процента».— Директор с немым вопросом повернул к Смелу лицо: — Так ли это?

— Честное слово,— воскликнул Смел,— все это чистая правда!

— Тогда пойдем дальше. «Селу Сакен, где идет машинная разработка фосфоритов и строится большая гидроэлектростанция, необходимы высококвалифицированные кадры. В связи с этим просим не отказать в приеме и результаты сообщить нам в письменном виде не позже первого сентября сего года».

Последнюю фразу директор прочел с особым ударением на каждом слове, и она прозвучала в его устах угрожающе. Смел смутился. «Черт возьми, он еще и грозит»,— подумал Смел, имея в виду Кесоу.

Иван Григорьевич не сказал сакенцу, что это письмо, трогательное своей непосредственностью, заставило его призадуматься не только над судьбой неведомого сакенца, но, что важнее, над судьбой села, народа,

который живет в этом селе в сознании своей трудовой доблести. Среди груды бумаг, доставленных из института, это человечески простое письмо не ускользнуло от острых глаз Ивана Григорьевича. Он несколько раз перечитывал его, и каждый раз ему становилось хорошо от сознания, что где-то на дальнем клочке земли, забытой всеми картами, нужны не просто грамотные люди, а высококвалифицированные кадры, как говорилось в письме. Он вспомнил свою юность, когда двадцатилетним парнем сражался в рядах Красной гвардии. Ведь он дрался тогда не только за свою долю, но и за долю миллионов... Вспомнил он, как спустя много времени так же вот, как Смел сейчас, переминался с ноги на ногу перед директором института. И ему радостно оттого, что это письмо по существу требует, а не просит, что этот молодой человек, очень скромный, пришел не со слезной просьбой, а как бы с деловым предложением к нему, ученому человеку теперь и директору...

— Так вот, дорогой товарищ Куламба...— Иван Григорьевич резким движением отложил в сторону папку, словно отмахиваясь от нее. (У Смела упало сердце. «Отказ», — промелькнуло в голове.) А директор продолжал: — Так вот, я написал ответ вашим... туда, в Сакен.

— Ответ?

— Ну да, ответ... Тут же сказано в письме: ответ в письменном виде...

Иван Григорьевич снова почесал кончик носа, не сводя глаз с молодого человека.

— Я написал, что вы допущены к экзаменам, допущены, несмотря на опоздание.

Иван Григорьевич протянул через стол руку. Она была влажной и прохладной, как галька, смоченная водой. «Он очень болен», — подумал Смел и, как в тумане, с горячей благодарностью пожал протянутую руку.

— Вы завтра же наведайтесь в институт. Вам укажут, куда и когда явиться на экзамены. Желаю удачи.

Когда Смел рассказал мне обо всем этом, я невольно развел руками. «Как тесен мир!» — подумал я. И очень хорошо, что тесен, иначе как могли бы мы

еще раз встретиться с теми, кто, однажды попавшись нам на пути, оставил в душе нашей яркий след? Вот к чему я говорю это: ведь Иван-то Григорьевич мой знакомый. Иван Черноусов — тот самый молодой ассистент, который некогда помог мне поступить в институт.

Я с ним познакомился после беседы с ворчливым доцентом, — помните, он насчет логики спрашивал? Должно быть, до Ивана Григорьевича дошла эта беседа. Он встретил меня у выхода из аудитории. Я показал ему свои работы. И он сказал, улыбнувшись: «По-моему, у вас отличная логика». Он обещал помочь горю... Говоря откровенно, я был допущен к экзаменам благодаря ассистенту Черноусову, молодому, очень молодому тогда коммунисту...

Когда Смел рассказывал, я прикрыл глаза — и как живой встал передо мной образ Ивана Григорьевича. Да, таким должен был стать этот человек. Именно таким он и оказался!

19

— Тысяча сто метров в минуту — это очень много?

— Судите сами: три года назад сорок пять резали. А теперь тысяча сто и больше. Разумеется, теперь резцы другие, более умные.

Разговор серьезный, а было условлено не говорить о серьезном. Было условлено повеселиться и подурачиться.

Светлое небо, зеленый вечер, тихая вода. Пруд Парка культуры и отдыха невелик, весь в заливчиках. Слышны медные звуки духового оркестра. В летнем театре высокий голос певицы поет о соловье. Негромко плещет вода...

В лодке Смел и Дмитрий, Надя Смирнова и Галя. И еще один молодой человек, по имени Антонио Гомес, друг Дмитрия.

Надя Смирнова — худенькая бледная девушка с большими глазами. Антонио — чернявый испанец (он прибыл к нам в 1937 году, спасаясь от Франко). Он молчит, поглядывая то на одного, то на другого из своих друзей.

Дмитрий сидит на веслах, гладко выбритый, и, на-

рушая условие, говорит о своих резцах. Праздничная программа предусматривает после катанья ужин на московской природе, но Смела, ввиду предстоящих экзаменов, постановлено отпустить с миром: он обязан быть готовым к экзаменационной страде.

— Когда-нибудь в другой раз,— говорит Смел Дмитрию,— может быть, и мне тоже придется вынимать из кармана мои достижения. Сейчас карман мой пуст.

— Какие вы честолюбцы,— говорит Галя,— все о себе и о себе и о своих победах! Какое же это веселье? Дмитрий, ты же хозяин вечера, о чем ты думаешь?

— Верно, надо думать,— прерывает свое молчание Антоно.

Дмитрий бросает весла и, трагически воздев руки, восклицает:

— Меня подводит луна! Друзья мои, где луна?

Все согласны с тем, что недостает луны. Надя немедленно льстит Смелу.

— У вас на юге,— говорит она,— луна, конечно, никогда не уходит с неба. Вы ей этого не разрешаете.

Смел вспоминает лунные вечера, когда сакенская земля, словно новогодний елочный орешек, обернута в серебряную бумажку голубоватого цвета.

— Луна у нас послушная и красивая,— говорит он.— Знаете, какая? Она похожа на красавицу, у которой блестит лицо.

— Нет, лицо не блестит,— возражает Галя.— Лицо не должно блестеть.

— Галя,— вмешивается Надя,— ну, представь себе, что блестит. Как в сказках.

— Верно! — соглашается Смел. — Верно! Как в сказках. Вот такая у нас луна!

Он проникается к Наде братскими чувствами. Не совсем хорошо, что у нее немножко грустные глаза. Отчего бы это? Смел шепотом делится с Галей своими мыслями о Наде. Нет, говорит Галя, Надя совсем не грустная. Надя не может не нравиться — она чудесная! Она очень прилежна, а после окончания института непременно поедет на Камчатку. Сакенец начинает испытывать глубокое уважение к Наде: «Камчатка! А я Мрамбу концом света считаю».

Надя хорошей души человек. Ее посвящали в свои личные дела юноши, ей доверяли свое сокровенное подруги. Она быстро гасила порой вспыхивавшие между друзьями раздоры. На всех хватало у нее терпения (попробуй-ка выслушай всех и повздыхай со всеми!). Она любила друзей любовью почти материнской, снисходительной к человеческим слабостям. В тревожные дни войны она — хрупкая здоровьем — три года проработала на военном заводе.

После войны Надя с рвением отдалась учению. Она по-настоящему подружилась с книгами. Ее уважали за это. Полушутя, полусерьезно говорили ей: «Надя, твое счастье не за горами». Она привыкла относиться ко всему серьезно, вдумчиво, по-человечески искренне...

— Очень хорошая девушка, — прошептал Антонио на ухо Смелу. — Только мне нравятся веселые...

Невдалеке показалась другая лодка. Она плыла, виляя, как пьяная. Было слышно, как на ней спорили люди. Кто-то читал стихи. Веселая компания! Вот зазвучала и гитара, под ее аккомпанемент доморощенный баритон завел песню.

— Держи поближе к ним, — попросила Галя брата.

— Это называется кильватерной колонной, — сказал весело Дмитрий, заходя лодке под корму.

— А гитарист играет неплохо, — заметил Антонио.

Дмитрий подгребает ближе. Можно ясно разобрать слова песни:

Вечер по степной дороге
Не спеша бредет к Москве.
Катит лик луны нестрогой
В полусонной синеве.

Он для милых москвичей
Раздобыл луну
В миллион свечей,
Добрую луну...

— Молодец, Саша! — крикнули на той лодке. — Отличная песня!

До лодки рукой подать. С кормы кто-то машет платком. Смел вглядывается. Да это же инженер Высоцкий, художник-любитель!

Обрадованный неожиданной встречей с ним, Смел закричал во весь голос:

--- Николай Александрович!

— Я! — отозвались живо. — Кто это там меня признал?

Лодки после долгих усилий гребцов пристали друг к другу бортами.

— А ну, пираты, называйте ваши имена!

Быстро перезнакомились.

— Мы сегодня на разведке, — сказал Высоцкий. — Не геологической на этот раз, а музыкально-поэтической. Проверяем на природе и людях новую песню, сочиненную этим пиратом-композитором. Я певец, ценитель и судья, а также раб-галерник. Как вы находите песню?

— Мотив мне нравится, — серьезно сказала Галля. — Но слова не очень хорошие. Как это вечер может катить луну и почему она нестрогая? Луна всегда строгая.

— Когда поэт сочинял свои стихи, — примирительно сказал Высоцкий, — луна была добрая. Но если вы уж такой педант, то позвольте вам заметить: строгая — это не значит недобрая. Бывает добрая строгость, и это самая лучшая строгость на свете.

— А почему поет не автор? — спросила Надя.

— Автор? — отозвался Высоцкий. — Какой же он певец. Он — композитор, и голос у него такой... И Высоцкий запищал так противно-препротивно: — Пи-и-и!

— Это правда, — подтвердил композитор, беря аккорд на гитаре.

— Вперед! — скомандовал инженер, налегая на весла.

Лодка рванулась, скрываясь в заливчике. И снова над водой зазвучала гитара, и голос запел:

Ходим-бродим с синеской
По-над самую водой.
За Москвой-рекой широкой
Свет разлился голубой.

— На берег, что ли? — сказал Дмитрий, резко поворачивая лодку в обратную сторону. И они поплыли плавно, как по киселю, густому-густому, а сверху, с небес, и в самом деле лился голубой, почти синий свет...

У нашей истории о том, как молодой сакенец прибыл в столицу, чтобы испытать счастья на поприще науки, есть одно неоспоримое качество: ее правдивость. Однако должен вас предупредить...

— Что есть правда? — спрашиваем мы, сакенцы, рассказчика, вдруг о чем-то предупреждающего своих слушателей. — Ты собрал нас у дымного, но уютного очага и пообещал рассказать правду, а теперь ты, кажется, хочешь прибегнуть к вымыслу. Очевидно, тебе не хочется огорчать нас и вымыслом стараешься смягчить удар.

— Нет, — отвечает рассказчик, — я не хочу вас обманывать. Я хочу поведать о том, как все произошло, по порядку и в строгой последовательности. И лично мне меньше всего хотелось бы огорчить вас.

— Тогда за чем же дело стало?

— Я хочу рассказать всю историю по порядку. Даже если конец ее горький.

На него набрасываются со всех сторон. Если конец горький, к чему было тянуть волынку? Если, скажем, ты пришел с дурной вестью о болезни какого-нибудь знакомого, который, к несчастью, впоследствии умер, зачем тебе нужно подробно рассказывать, как он болел и как неудачно лечился? Ты прямо так и сказал бы: «Заболел — и умер». Но если ты испытываешь наше терпение, до полуночи рассказывая о том, как больной, обреченный на смерть, борется с болезнью, то мы вправе ждать, что он выздоровеет. Вот тогда все мы скажем спасибо...

Не знаю, как вы, но я понимаю сакенцев. С приходом советской власти эти люди, затерянные в труднодоступных горах, почувствовали себя хозяевами земли. И силы природы, могучие и необозримые, на деле оказались не столь уж грозными. Человек увидел мир таким, каким он должен быть: в сиянии свободы, испепелившей истоки зла. Человек испытал свои мускулы: они оказались упругими и сильными. Он взвесил свой ум. Мысль его оказалась ясной, несмотря на то что ее пытались затуманить вековыми насилиями и несправедливостью. Человек полной грудью вдохнул свежий воздух освобожденной земли. И ему захоте-

лось петь полным голосом, его потянуло к труду, переделывающему жизнь и самую землю. И мне понятен оптимизм сакенцев, некогда здорово хлебнувших горя, а нынче создающих жизнь, радостную для всех пяти чувств человеческих, жизнь, цветущую в любом уголке нашей родины.

И я понимаю земляков, когда они бесцеремонно обрывают тех рассказчиков, которые ради поддержания внешнего интереса к своим басням говорят среди бела дня: «Допустим, сейчас стоит ночь...» Не хотим этого допускать: день есть день, и нечего клеветать на него.

Но дело с этой самой историей Смела, грозящей стать печальной, зашло слишком далеко, чтобы вдруг так и оборвать ее на полуслове. И даже самый жизнерадостный сакенец скажет: «Ну да ладно уж, дослушаем».

Итак, продолжим наше правдивое повествование о московских днях Смела Куламба.

К полудню в огромном общежитии гостиницы наконец стало тихо. Люди расходились по делам на целый день. Сосед Смела с правой стороны обычно собирался дольше всех. Он много курил, что-то записывал в объемистые тетради и перед уходом обращался к сакенцу с неизменной просьбой: «Если спросят меня — я на заводе».

Этот сосед был из Якутии — бледнолицый, с раскосыми глазами человек. Якут занятно рассказывал о своем длинном путешествии в Москву, и Смел с уважением относился к нему. Якут триста километров ехал на сани в собачьей упряжке, потом пересел на самолет и, наконец, поездом добрался до Москвы. «Это похлебе нашего Сакена», — сказал себе Смел.

В общежитии люди собрались самые разные, из разных мест. В другом конце комнаты расположился учитель из Белоруссии. В Москве он проводил свой отпуск и со дня на день ждал отдельного номера. Смел не раз обращался к нему с вопросами по литературе, и тот охотно приходил на помощь. Но люди здесь, как правило, жили короткое время — дня три-четыре, много — неделю. Комнату убирала горничная, которую

все звали тетей Марфой,— славная женщина лет пятидесяти. Она называла Смела студентом, и сакенец при этом краснел, как мак с альпийских лугов.

После уборки Смел пристраивался у окна и погружался, как говорила Марфа, в науки. А свой небольшой досуг сакенец уделял знакомству с городом и теми его достопримечательностями, знание которых полагал совершенно необходимым.

Первые экзамены прошли благополучно. Русский язык, математика, физика уже значились как сданные. Горец быстро наверстал упущенное время. Похоже, директор сакенской школы был прав, утверждая, что Смелу по плечу вступительные экзамены. «Если десять человек будут соревноваться за одно место — и то за тебя ручаюсь,— говорил он Смелу.— Математика — твой конек». Однако область химии вовсе не была той областью, где бы молодой сакенец чувствовал себя как рыба в воде. Перед доской, испещренной формулами, ему почудилось, что он и впрямь рыба, но рыба, выброшенная на пустынный берег своенравной волной химической науки. Смел потел до седьмого пота и, что называется, еле-еле вылез. Однако экзаменатор, наморщив лоб, черкнул на бумаге цифру, по движению пера не похожую ни на пять, ни на четыре, ни на...

Но сакенец быстро отогнал от себя мрачные предположения. Постаравшись забыть трудные минуты у доски с химическими формулами и помянув недобрым словом преподавателя химии, экзаменовавшего его в районе, Смел погрузился в дебри английской грамматики.

Накануне последнего экзамена он испытал неодолимую потребность проверить свои познания в английском языке, проверить у Гали, и только у Гали.

Поздним вечером Смел постучался к ней. У него был очень виноватый вид.

— Настроение паршивое. Попадает же цыпленок в когти ястреба? И я точно так же... Дай, думаю, послушаю твое мнение. Дай, думаю, выслушаю твою критику...

— Ты проходил английский в школе? — спросила Галя, не замечая того, что он говорит ей «ты» и она ему тоже (не будем анализировать этого факта, только

отметим его).— Дмитрия нет. Только мама дома. Да ты входи, не стесняйся.

Мать была на кухне. Оттуда она крикнула Смелу: «Добрый вечер!»

Галя усадила сакенца за стол, сама примостилась на диванчике.

— Как идут экзамены, Смел?

— Пока хорошо. А дальше — не знаю. Все-таки нелегко провинциалу.

— В наше время провинция — условное понятие, — с серьезным видом возразила Галя. — Будь у меня власть, я издала бы приказ: запрещается называть провинцией наши края и области. Провинция! Это слово напоминает пошехонскую старину без ка-вычек.

— Какую старину? Ах, вообще старину?

— Или вот сейчас в ходу слово «периферия». Тоже плохо. Такое слово скорее относится к геометрии, а не к жизни. Ты как об этом думаешь?

Здесь она заметила, что говорит Смелу «ты». Для себя самой она сделала вид, что удивлена этим. «Ты», — подумала она, — вот новости!» Впрочем, эти новости не очень расстроили ее. Она подала Смелу учебник, и он начал читать английский рассказ. Читал он скверно и под конец едва ворочал языком. Галя сказала, что это не важно, а важнее всего диктант. И она принялась диктовать ему тот же самый рассказ. Смел осторожно выводил буквы, обдумывая каждое слово и по несколько раз прося повторить. Галя выказала почти жертвенное терпение. Проверив диктант, она удивленно подняла брови (по определению Смела, признак хороший).

— Ты учился в Сакене?

— Да.

— И английскому тоже в Сакене?

— Нет, сдавал экстерном... Что, слишком сильный сакенский акцент? — пошутил Смел.

— Очень, очень недурно.

Быстрой рукою Галя делала исправления, а Смел считал их и скоро сбился со счета. Не осталось ни одного слова, написанного правильно. В одном не хватало буквы, в другом двух-трех, в третьем их было излишне много. Смел пал духом...

— Недурно, честное слово, недурно, — успокаивала его Галя. — Уверяю тебя. Очень трудно писать совсем без ошибок. А что тебе сказали там, где ты сдавал экстерном?

— Мне? — Смел почесал за ухом. — Поставили четверку.

— Четверку? Почему же ты унываешь?

— Я унываю?! — вскричал Смел и вытянул свою сильную руку, словно говоря: разве люди, имеющие такую руку, могут унывать? — Смотри, Галя!

Он сжал в кулак пальцы, огрубевшие в работе, и повертел вытянутой рукой, как вертелом над огнем.

Прилив воодушевления разрядился настроением нежности, чуть-чуть задумчивой. Теперь они оба сидели на диване, касаясь друг друга плечами, и Смел говорил о том, что он хочет научиться работать по-настоящему. Потому что все, что он до сих пор делал, — разве это работа? Работает Дмитрий, работают Федор Федорович, Степан Камугович, инженер Высоцкий, директор института... Как бы это сказать? От их работы жизнь быстрее дает человеку то, к чему он стремится (а стремится человек к общему счастью). Кто ж научил их такой работе?

— Я был в Ленинском музее, — говорил Смел, — я прошел из зала в зал, и я все видел, и я многое понял. Скажем, как мне работать, Галя? Там есть картина: комнатка Ленина в Симбирске. Тогда он был гимназистом. Это его комнатка, — помнишь? Там начинал работать Ленин. Ты меня понимаешь, Галя? Если брать пример с него, то можно научиться работать так, чтобы люди сказали: «Ты очень нужный народу человек».

Как хорошо я понимаю Смела, друзья мои, и чувства, которые он испытал, знакомясь с жизнью Ильича!.. Вот и сейчас: закрою глаза — и предо мною встанет этот дом, что зовется Музеем Ленина, и площадь, на которую выходит музей своим могучим фасадом. Я вижу строгие, торжественные залы, а в залах книги — его книги, журналы, газеты; фотографии — его фотографии, вещи, связанные с именем Ленина, вещи, к которым он прикасался. И на каждой занятой, выведенной его рукою, лежит печать страстности, кипучей борьбы, острого волнения, любви к народу, непримири-

ности к врагам... Я люблю эти залы, ставшие священными для миллионов людей. Ты проходишь по ним и становишься выше, духовно чище, горячей ощущаешь биение своего сердца, которое выверяешь здесь, в его любви к народу. И тебе хочется хоть немного, хоть в самой малой степени быть похожим на него...

Смел говорил горячо. И, может быть, именно в эти минуты созрело в Гале решение, которое вылилось в простые слова (проще простого).

— Знаешь что? — сказала она. — Я непременно хочу увидеть твои горы...

21

Смел — мечтатель. Это несомненно. Все, о чем он мечтал до сих пор, сбывалось. Это тоже несомненно. А вот сейчас...

Близость беды он почувствовал, едва Степан Камугович раскрыл рот. Не без тайного умысла пригласила Смела на обед Варвара Алексеевна! (За столом легче выслушать неприятные известия.)

Степан Камугович словно невзначай произносит две-три малозначительные фразы (необходимое, по сакенскому обычаю, присловье).

— В нынешнем году, — говорит он, хлебая горячие щи, — большой наплыв в высшие учебные заведения. Фронтовики снова берутся за учебу. Да-а...

Смел откладывает ложку в сторону. Что же дальше? Сугубая сосредоточенность Степана Камуговича над тарелкой щей ничего хорошего не предвещает. Если есть хорошие вести, то сакенцы обычно предпосылают им шутливые замечания о том о сем, порхают, словно мотыльки, с предмета на предмет. А философская сосредоточенность — не к добру...

— Тебя желает видеть Федор Федорович, — не говорит, а выжимает из себя Степан Камугович.

Теперь даже дети понимают всю тяжесть положения. Беда близка! Она у порога!

Вова следит за Смелом, сочувствуя ему, Светлана, боясь разлить щи, одним глазком поглядывает на ложку, а другим — на Смела. Варвара Алексеевна вслух выражает общее мнение:

— Очень жаль, конечно. Но вы же, Смел, не красная девица — не падайте духом.

Степан Камугович усмехается.

— Падать духом? Джигиту? Ты что-то заговариваешься, Варя.

Итак, все понятно: Смелу в приеме отказано, и об этом первым узнал Федор Федорович.

Джигит обязан беззаботно посвистывать, когда у него из ноги ржавым гвоздем выковыривают пулю. Джигит обязан смеяться, когда он смотрит в глаза неминуемой смерти. Джигит обязан... Чего только не обязан делать джигит! В данную минуту, например, он обязан улыбнуться, обязательно улыбнуться, с беспечным видом пожать плечами: дескать, велика ль беда! Не приняли? Придет время — примут! Но самое главное в данных условиях (за обедом) — джигит обязан проглотить кусок хлеба не поперхнувшись. Смел так и поступает. Он глотает с мужеством отчаяния. За первым куском в горло легко проходят и последующие. Таким образом, с внешней стороны все как будто в порядке...

Единственно, о чем сейчас не думается и не хочется думать, — о Сакене. Что скажут там? Лучше не задавать себе этого вопроса. И все помыслы молодого человека, как к спасительному маяку, обращены к московским друзьям. О них думается легко и просто, они поймут его... Так или иначе, положение определилось. А это уж легче (удивительная сакенская поведка — во всем находить что-нибудь утешительное).

А вечером Смел и Федор Федорович сидели рядышком. Горцу кажутся ужасно обидными неуклюжие попытки профессора успокоить его, будто Смел — мальчик.

— Мне жаль, — говорит Федор Федорович, — огорчать вас. Но, я полагаю, вы трезво смотрите на жизнь. Вас подвела химия.

— И английский? — с любопытством спрашивает Смел.

— И английский.

— Я так и знал! — Смел хлопает себя ладонью по

колесням.— Федор Федорович, я очень и очень беспокоюсь за вас...

— Кстати о беспокойстве,— перебивает его профессор.— Знаете что? Жизнь — сплошное беспокойство. Коли уж родился на свет, так будь добр, считайся с беспокойством, прими его как должное. А полный покой — там, на кладбище.

Федор Федорович посвящает молодого горца в свою жизнь.

— Вы говорите, вам двадцать два? У вас есть среднее образование, вы работаете, вы самостоятельный человек. А я в ваши годы только азбуке выучился. Под Нижним Новгородом подпаском бегал в лаптях да онучах. Горбом добывал каждую крупицу знаний. Три года подряд мне отказывали в поступлении в университет. Почему? Неблагонадежный — вот и весь разговор! У вас жизнь впереди. Готовьтесь и в будущем году приезжайте к сроку...

Сакенец и не думает падать духом. Нет, он, наперекор всему, постарается поступить именно в электротехнический институт. То-то им стыдно будет, когда увидят, кого они не распознали!

— Верно! — восклицает профессор.— Ваша месть — ваши успехи. Это хорошо. Прежде сакенцы мстили так: пиф-паф! А нынче — успехами, успехами! Хорошая месть! Мне нравится. Не забывайте только одного: это вы самому себе отомстите за провал.

Прозрачные московские сумерки заполняют комнату; время за беседой бежит так же приятно, как за пастушьим костром в горах.

Но безмятежность этих сумерек обманчива. Часто звонит телефон. Федор Федорович поднимает трубку. Три минуты разговора. Пять, десять минут. Иногда всего лишь одна обрывистая фраза, вроде: «Завтра в четыре», «Скажите им, что они бюрократы!» или: «Прекрасно, прекрасно, иначе и не могло быть!»

Федор Федорович разводит руками и говорит, обращаясь к Смелу:

— Не хватает времени по нашей жадности к работе. Что бы такое сделать, а? Удлинить сутки? Или переделать природу человека, чтобы отменить сон? Подумайте, что бы мы наворочали, имея в сутках сорок восемь часов! — И, меняя тон с шутливого на

озабоченный: — А я для вас порученьище приготовил. — Федор Федорович берет с письменного стола лист бумаги. — Я прошу вас собрать сведения по вашему селу. По годам. Мне это нужно для своей работы... Урожай табака и кукурузы. В эту графу — план, а сюда — выполнение. С тысяча девятьсот тридцать седьмого года по сорок седьмой год. За десять лет. Здесь мой адрес. Сделайте обязательно. Слышите?

Смел польщен. Он весь Сакен на ноги поставит, чтобы только услужить Федору Федоровичу.

— Дальше, дальше, — продолжает профессор, — чтобы у меня на столе в самом ближайшем времени лежал кусочек вашего фосфорита. Можете прислать размол. Даете слово? Клянитесь.

В самом ли деле поклясться? Да, да, в самом деле!

— Ну клянитесь сакенским вином!

Шутка приходится горцу по праву. Короткое, мужское прощание, чуть грубоватое, но дружеское, и через минуту Смел на улице.

Ясный звездный вечер. Далекие отсветы на небосклоне — это сверкает вечерняя Москва. Смел шагает, вдыхая полной грудью свежий воздух, и ему не верится в то, что он потерпел неудачу. Не верится, хоть убейте!

22

Галя устраивается на каменном парапете и, похлопав ладонью по плите, указывает место Смелу.

Москва-река течет величаво. Огни Кремля плавно колышутся в воде.

По реке снуют лодки. Как ножом разрезая воду, проносятся моторные катера. Спортивные яхты с распущенными треугольными парусами, белые, как гуси, движутся вблизи берегов.

Смел чувствует, что весь он пылает стыдом. У него горят щеки, лоб, кончики ушей. Он смотрит на воду, на то, как рождаются и исчезают маленькие волны.

На той стороне по набережной мчатся автомобили. Они убегают далеко-далеко, теряясь в туманной дымке; так закутывается в дымку поселок Мрамба, когда на него глядишь с горы Клыч. А ветерок, что порою обдаст тебя легким дуновением, будто рядом пролете-

на синица? Разве не похож он на ветерок, что шаловливо выбегает из ущелья, где протекает Сакен?..

Все это прекрасно, а стыд остается стыдом. Смел начистоту выкладывает перед Галей свои дела. Неважные дела, что и говорить: дверь захлопнулась перед самым носом...

— Во всем виноват я сам, — признается горец, — и те, что экзаменовали в экстернате. Будь они жестче, я не пережил бы этого стыда. Пожалели тогда — стало хуже сейчас.

Галя молчит. Она не знает, что сказать и как сказать, чтобы не сделать ему еще больнее.

— Галя! — Смел приближает к ней лицо. — Знаешь, что обидно?

— Что?

— Когда друзья тебя жалеют, как... Одним словом, бережно гладят по головке. — Он снимает шапку, подставляя копну черных волос свежему ветру. — Один вопрос, Галя. Отвечай честно.

— Я отвечу.

— Ты меня презираешь?

— Я?

— Ты, Галя.

Галя подавлена этим чудовищным предположением.

— Я? Презираю? Откуда ты взял?

Смел вздыхает, не совсем веря ей. Он пристально всматривается в медленный разгон волн и щурит глаза, словно на их гребнях плывут к нему слова, которых он не находит.

— Жалеть мужчину, — говорит Смел зловеще, — это значит — презирать его.

— Не понимаю.

— Мужчина, которого жалеют, — дурак! — Смел комкает шапку в руке. — Эх, Галя, Галя, зачем ты меня пожалела с этим английским языком?.. — Он старается не смотреть ей в глаза. — Выходит, пожалела. Подбодрила, как мальчишку. А я просил сказать правду.

— Ты должен понять меня, Смел, понять и простить, — говорит Галя дрогнувшим голосом. — Это не была жалость. Ты должен понять... В тот вечер мне показалось, что мы горы можем свернуть. И все-таки мы их свернем, Смел!

Конечно, Смел не сомневается в этом. Но когда это будет? Нужно признаться со всей честностью в поражении и понять его причины.

Но Галя и сейчас не хочет сдаваться. Ее осеняет счастливая мысль. Она хватает Смела за руку, трясет его за плечи, по-мальчишески толкает в грудь. Галя чуть не задыхается от охватившего ее пыла.

— Смел,— кричит она,— какие же мы дураки!

Смел привык к Гале, но к причудам ее характера — еще нет.

Недоумевая, он спускается с парапета и растерянно стоит перед Галей.

— Надо написать туда! — Галя машет рукой в сторону правого берега. — Нужно написать, чтобы тебе разрешили теперь же пересдать химию и английский!

— В Кремль?

— Да, в Кремль.

Глядя на кремлевскую стену, Смел отрицательно качает головой.

— Нет,— произносит он твердо.

— Почему это нет?

— Решительно нет.

— Ну почему же, Смел, почему? Попытка не пытка...

— Нет,— упрямо повторил Смел, не сводя глаз с Кремля.

— Но почему, почему?

Он объясняет, как может. Первое соображение: чтобы писать туда, надо на все сто процентов чувствовать свою правоту. Это факт. А разве Смел прав? Кто опоздал? Смел. Кто не выдержал химии и английского? Смел. И второе соображение: там есть дела поважнее. Скромность — это черта комсомольца.

— А я бы написала,— по-женски упрямо заявляет Галя.— Ты же из Сакена, с гор, куда и с фонарем не доберешься.

Они медленно прохаживаются вдоль набережной. Наконец Галя сдается. И правда, это не случайность, что Смел срезался. По правде сказать, английский диктант он написал отвратительно.

— Я скоро уеду,— заявляет Смел.

— Это что за поспешное бегство?

— Что мне здесь делать? А там меня ждет работа, и сразу же надо садиться за учебники.

По лицу девушки пробегает тень огорчения, тень белого облачка в летний сакенский день. Он хочет, чтобы Галя поняла его верно.

— Если опоздать, там меня тоже не примут... Как в институте...

— Как — не примут? Кто?

— Перевал не примет. Горы не примут. Сакен не примет. Там скоро будет настоящая зима.

— Понимаю...

Они идут дальше. Навстречу — машина. Галя щурит глаза, — слишком яркий свет от фар. Смелу чудится, что они подходят к какой-то черте, невидимо прочерченной поперек набережной. У этой черты их ждет необычайное событие.

Все ближе эта черта, все ближе. Смел чувствует сердцем — она в двух-трех шагах. И вот сейчас...

Надо внести полную ясность. Смел уезжает. Это неоспоримый факт. А Галя? Она останется здесь, в Москве. У Смела в Сакене работа и подготовка к экзаменам в будущем году. У Гали в Москве — университет. Быть может, им пора сказать вслух то, что они уже давно знают? А почему бы и нет?.. Но они шагнули на черту и... переступили ее.

Переступили, ничего не сказав друг другу.

Они сворачивают на мост и так же не спеша переходят его. Только один раз задерживаются они, чтобы посмотреть вниз, в лоно реки.

— Теперь она впадает в Волгу, — замечает Галя, бросая в воду обрывок бумажки.

А река течет спокойно, и трудно угадать, в какую сторону она течет — так медленно, почти незаметно уходит вода под широкий пролет моста.

— Ты на канале бывала? — спрашивает Смел.

Галя честно признается:

— Нет, не была. В Химках была, а на канале нет. Целый день крутишься-вертишься и все думаешь: от меня это не уйдет, я же москвичка.

Смел покашливает.

— Галя, — нетвердо говорит он, — я очень извиняюсь. На твоём бы месте я думал иначе. Напрасно откладываешь. Вот ты не техник, Галя, но не мешает

почаще слушать лекции о строении Вселенной, о ракетах, о новых реактивных двигателях. Современный человек должен иметь представление о всех достижениях науки, а комсомолка — тем более...

Смел осторожно дотрагивается до Галиной руки. Галя чувствует, что пальцы у него дрожат. Смел говорит:

— Не сердись. Мы должны говорить друг другу, что думаем. Вот тогда мы оба заберемся выше гор. Правда, Галя?

Помолчав, Галя отвечает раздумчиво:

— Ты хороший.

Что до канала, то Смел побывал на нем. Правда, не смог попасть на Московское море (денег не достало), но воочию увидел и этот знаменитый канал, и шлюзы, о которых прежде знал только понаслышке, и речные теплоходы, и Химкинский вокзал.

Воодушевляясь, Смел широко шагает рядом с Галей. Твердые «к» и «т» придают его речи сакенский колорит, бурный и неудержимый, как весенний поток... И в Третьяковской галерее был Смел, и на лекциях, и в Планетарии тоже...

— Без меня? — спрашивает Галя.

— Я робел, Галя. Ну... боялся тебя.

— А теперь?

— Теперь меньше.

Они останавливаются друг против друга. Они молчат. И снова Смелу кажется, что они приблизились к заветной черте, когда...

Галя берет руку молодого человека в свои руки, угадывая намерение сакенца...

— Смел, мы ведь еще увидимся... Правда?

— Увидимся...

Снижая голос до шепота, Галя говорит:

— Ты же хороший... Надо много подумать. И тебе и мне...

Мимо них непрерывно проходят люди, и даю на отсечение голову, что они замечают, как девушка гладит ладонью шершавую руку сакенца. И Смел никого не видит, не хочет видеть никого, кроме той, что рядом. И вдруг догадывается, что это еще не «да». Это «может быть», «наверное», но еще не «да» — то коротенькое слово, единственное, какое он хочет услышать от нее.

Есть нечто притягательное в работе мельницы. Нет, не всякой мельницы, а только водяной.

Ты всыпал зерно, подвесил мешок, и из гладенького деревянного желоба бежит мука. Над тобой шумит поток, сквозь дырявый пол порой прорываются брызги, и мельница — хрупкая, деревянная постройка — дрожит, как осиновый лист. Жернова глухо кряхтят, мешок, такой несчастный с виду (ведь он беспомощно висит, этот пустой мешок), постепенно начинает полнеть, раздаваться, нет, — пухнуть. В тесном помещении суетится мельник, белый с ног до головы.

И ты, сотрясаемый вращением мельничного колеса, невольно поешь. Песня сама слетает к тебе, словно птичка с ветки, — так говорят в Сакене.

Ходит жернов-ходун...
 Дум, дум, дум да дум, дум, дум...
 Дай ему хоть целый пуд —
 Понасытен старый плут...
 Дум, дум, дум да дум, дум, дум...

Веселая песня слетает с уст, веселая и бесконечная, как мельничный поток, как вращение жернова, как струйка муки, спадающая в мешок...

Да, мальчиком любил Смел просиживать на мельнице. Все там было ему мило: и запах перегоревшей муки, и трескотня сверчка, приютившегося где-то в позеленевшем от времени углу.

Вот мешок разбухает донельзя, мучная струйка иссякает, пора уходить... И ты встаешь и уходишь. Уходишь, оставляя на мельнице частицу своей души, уходишь с душевной болью, ноги с великой неохотой уносят тебя. Ты идешь, а голова невольно поворачивается назад. Простенькая водяная мельница становится для тебя чем-то бóльшим, чем случайный приют. Это уже символ горячей, доброй жизни!

Смел, глядя на московскую улицу с высоты двенадцатого этажа, вспоминает ту чудесную сакенскую мельницу. Там впервые задумался он над тайными силами механики. На мельнице сильнее полюбилась ему жизнь. В трудолюбивом мельнике увидел он образ всего огромного человечества.

И теперь, когда с каждым часом все ближе отъезд, рассудок не хочет верить в предстоящую разлуку с Москвой. Чувства, что властно владели Смелом в горах, на мельнице, здесь разрастаются до огромных размеров и захватывают его, точно волны морские. Если там, в горах, он понял, как приятно жить и работать, подобно маленькой веселой мельнице, то здесь, в этом большом, необозримом городе, он, словно с высоченной вышки, увидел всю страну; с этой вышки он увидел и Сакен, который показался ему еще лучше, краше; нет, он никогда не забудет блеска в глазах Дмитрия, когда тот говорил о резцах, не забудет Ивана Григорьевича и еще многих повстречавшихся ему людей. Он познал цену себе и своим друзьям. Он понял, что жизнь сложна, как само существо человека, и, как человек, требовательна и добра. Она может быть доброй, если этого захочет человек...

В толпе, снующей по обеим сторонам широкой улицы, Смел не различает лиц, но чувствует сердцем, что под его окном могут пройти и Галя, и Надя, и Высоцкий, и Федор Федорович, и Иван Григорьевич, и Антонио, и еще многие, с которыми случай просто не успел его свести. Смел перегибается с балкона, стараясь охватить взором бесконечную улицу...

Такой ли будет она через год? Нет, она изменится. Достроят те дома, что нынче стоят в строительных лесах, еще дальше протянутся ряды зеленых лип. И не одна эта улица, вся Москва будет другой, хоть ненамного, а краше. А через два года? Через пять? Через десять? Нет, не узнать тогда Москвы. Что говорить о Москве! Даже Сакен, затерянный в горах Сакен, и тот будет по-новому свеж и красив. Совсем по-новому!

А сейчас пора ехать... Пока не поздно, пока осенние непогоды не закрыли пути в Сакен — пути земного и пути воздушного...

Смел пересчитал оставшиеся деньги, и его чуждый житейского практицизма ум занялся арифметическими выкладками. Результаты оказались малоутешительными — нужно поторопиться...

Он зашел проститься к Мирба. Варвара Алексеевна уговаривала:

— Погостите еще несколько дней...

— Нет, — упорно твердил он, — иначе я застряну на всю зиму. Надо ехать — ждут.

— И никто вас не ждет... — Варвара Алексеевна ищет поддержки у мужа.

Степан Камугович отлично понимает Смела. Очень досадно, что тот уезжает ни с чем... Ужасно неприятно! Он говорит:

— Варя, его действительно ждут!.. Но в будущем году он обязательно вернется.

Вова, успевший подружиться со Смелом (Вове пришлось по нраву сакенские сказки), искренне огорчен.

— Он уезжает? — тихо спрашивает мальчик у матери.

— Он скоро вернется, — успокаивает его мать.

— А ты как думал? — говорит Степан Камугович Смелу. — Надо бороться, брат, и бороться — знаниями, отличной подготовкой. Я уверен, что ты победишь. А? В будущем году своего добьешься... Добьешься... Добьешься, добьешься... — Степан Камугович произносит слово «добьешься» в такт песне, что несется из репродуктора. Она и в самом деле хороша, эта песня. Хозяин слегка поворачивает ручку репродуктора, усиливая звук. Где слышал ее Смел?

Пост низкий, бархатного оттенка голос:

Ходим-бродим с синеокой
По-над самою водой...

— Я знаю эту песню, — сообщает Смел.

Он рассказывает о неожиданной встрече на лодках с Высоцким и его друзьями.

— Варя, автор этой песни, — говорит Степан Камугович, указывая на репродуктор, — знакомый нашего Смела. Послушай.

Певец завершает песню веселым припевом.

Заключительный аккорд — и репродуктор умолкает. Смел глядит с видом соавтора. «Каково?» — спрашивает его взгляд. И Варвара Алексеевна отвечает ему:

— Неплохая песня...

И где-то в глубине души сакенца, сегодня омраченной, как гора Гуагуа в дождливую погоду, начинает бить родник — светлый, журчащий поток воды. Зачем скрывать истину: этот родник — ощущение радости,

рожденной мыслями о Гале. Ему кажется, что он теперь понял многое. Отныне неудачам придется иметь дело с грозной силой — со светлым родником звонкого голоса, которого ничем не заглушить. И чем больше Смел думает о девушке, тем уверенней становится он. Очень многого недостает ему. Смелу надо набирать высоту, как альпинисту в горах. Кто поможет в этом? Москва. Здесь, в Москве, обнажились все его недостатки, словно у того диво-сундучка — произведения районной артели. Знать, знать побольше — таково отныне его решение. Итак, да здравствует надежда!

24

Последние минуты расставания всегда тягостны. Но есть в них и нечто такое, что радостным откликом остается в памяти на всю жизнь. В эти минуты предстают перед тобой все события в таком уплотненном сгустке и в таком ярком освещении, что диву даешься! В эти минуты не только небольшой отрезок времени, а и вся жизнь вдруг приобретает особое для тебя значение. На какие-то мгновения ты словно поднимаешься на вышку, откуда все виднее и понятнее. Ты возвышаешься над самим собой, и ты — лучший себе судья. Ты начинаешь понимать: того-то не следовало делать, а в таком-то месте ты поступил неправильно, или обошелся с кем-нибудь круто, или надо было обойтись круто. Вдруг видишь себя в недостойном свете и в сердцах поносишь себя. Или ты вполне доволен собою — и тогда сознаешь, сколько в тебе хорошего, расцветаешь от этой блаженной мысли, как маков цвет...

Смел разгуливает перед вагоном... Две недели прошли как сон. Словно час назад он подъезжал к этой самой платформе, ступал на этот асфальт. Он с трепетом душевным глядел тогда на незнакомый город. С трепетом душевным покидает его нынче. Все так и должно быть. Ничего удивительного нет в том, что он, Смел, ни с чем возвращается домой, или, как наверняка скажет кое-кто из сакенцев, на чем поехал, на том и приехал. Его постигла неудача. Этого в кармане не спрячешь. Но душу, богатырски выросшую, но глаза, открывшиеся шире, но силу возмужавшего серд-

ца — кто измерит? Кто назовет действительную цену всех этих приобретений?

Отправлена открытка с короткой благодарностью тому человеку в украинской косоворотке, который приглашал Смела домой, к инженеру... Ну, разумеется, и директору института. Как будто все расчеты с Москвой в нынешнем году закончены. И снова — вокзал... Вещи (разрисованный сундучок и пальто) уложены на верхней полке.

Смел мысленно представляет картину своего возвращения. Мать будет обрадована, но втайне пожалеет о неудаче, отец, ни о чем не спросив, обругает сумасшедшую сакенскую природу и скажет привычное: «Нет, нельзя нам без дороги». А еще добавит: «Ты тоже хорош, затеял ремонт перед самой поездкой!» Константин усадит его, тщательно расспросит, всю поездку по ниточкам разберет, а потом проговорит: «Ну что ж, год в Сакене — тоже дело. Наперед умнее будешь, на месяц раньше срока уедешь, подготовишься по-настоящему». Смел предвидит, какое негодование охватит Кесоу Мирба. «Как?! — вскричит он. — Степан Мирба, который живет в Москве, ничем не помог? Не верю!» Придется собрать много сил, убеждать его часами, а может, и днями, прежде чем он буркнет что-нибудь вроде: «Ладно, в будущем году посмотрим...» Нет, сакенцы определенно зазнались. Им кажется, что им все можно. «Ну хорошо, — скажет ему Кесоу, узнав о московских днях все, — допустим, с учебой не вышло, допустим, не выдержал... А как же девушка? Ты влюбился? Влюбился. И ты оставил ее в Москве? Тоже неудача? Неудача. Тоже на опоздание пенять?»

...Пассажиры торопятся. В вагон вносят тяжелые чемоданы. Наскоро прощаются с провожающими. Бот высокий мужчина целует маленького мальчишку и говорит: «Папе будешь писать?» Взад и вперед снует живой, разговорчивый старичок с чайником в руках. Он сосед Смела по купе. «Всю дорогу чай будем пить», — думает Смел, догадываясь, что не раз придется ему, Смелу, бегать за кипятком на коротких остановках... Из открытых окон вагона кричат и машут руками. Шумно, людно, суетно...

Подбегают две девушки. Наконец-то!

— Галя! Надя!

— Чуть-чуть не опоздали,— говорит Надя.— Мы ужасно торопились, а автобус еле полз.

Галя поднимается на цыпочки, пытаясь заглянуть в вагон.

— Ты уже занял место? Как я тебе завидую! Тебе кланяется мама, а Дмитрий и Антонио не смогли приехать, у них совещание на заводе. Напиши, как доехал, что у вас там нового. Хорошо?

— Ответ пришлешь?

Шофер Миша тоже поспевает вовремя и отзывает в сторону Смела. Он спрашивает, есть ли родные у кузнеца Салумана Ранба, однокашника, которого убили.

— Как же, есть,— говорит Смел.— Жена, дети, отец и мать — старики.

— Так передай им... Скажи, что единственная! — И он вручает Смелу серенькую фотокарточку. Два солдата лихо глядят с нее на Смела: у одного из них типичная сакенская усмешка. Да, это Салуман. — За два дня до боя снялись,— говорит Миша. — Похож?

Смел всматривается.

— Очень похож. Спасибо, друг.

Горец по очереди пожимает руки своим друзьям. Галиных ладоней он едва касается...

— Я приеду,— говорит Смел так тихо, что слышно только ей одной. Всю силу своей любви (на прощание не побоимся этого яркого слова) вкладывает он в свой голос, и Галя коротким кивком головы словно хочет сказать: «Верю».

Вот он в вагоне. Окна заняты отъезжающими. Смел пристраивается к наглухо закрытому и поэтому свободному окну. Галя и Надя кивают головами, не слышно, что они говорят.

Смеркается. Зажигаются огни на вокзале. С неба льется синий-синий свет. До отхода поезда остаются считанные минуты...

Вот Надя подает какие-то знаки. «Приезжайте скорее»,— так понимает ее Смел. Он тоже отвечает знаками: «Приеду, приеду, ждите!»

Миша указывает на девушек и на себя, а потом делает этаким жест рукой на юг: «Ждите нас в Сакене». Смел описывает большой круг по стеклу, в кото-

ром уместается вся платформа, и тоже указывает на юг: «Приезжайте все!»

Поезд трогается. Смел глядит на Галю, — она очень бледна. Еще несколько оборотов колеса — и Смел вынужден прильнуть к стеклу (иначе не видно Гали). Девушки все еще машут руками, а Миша размахивает фуражкой.

— Хорошие у вас друзья, молодой человек.

За спиною Смела — старик, сосед по купе. Смел хочет посторониться, чтобы уступить ему место. Но старик удерживает его.

Прижавшись к стеклу, Смел представляет себе, как Галя торопливо идет по узкой тропочке Сакена. Он верит в это. Да, это будет так! А теперь... Он думает, что ответит сакенцам, когда те спросят: «Какой же город Москва?» У него есть точный, очень точный ответ. Он скажет им:

— Большой и добрый.

И только так.

Такова эта маленькая история, рассказанная мне Смелом Куламба в Абхазии сентябрьским погожим днем. Очень сожалею, что не был в то время в Москве, где я воочию мог бы наблюдать за течением событий. Я вспоминаю старика Шаангери, который мне советовал однажды вписать в сакенский пейзаж человека. Я не теряю надежды сделать это: Смел на фоне сакенских гор — не правда ли, хорошо? Но нынче я вижу Смела-студента на ином фоне, на фоне московского пейзажа в предстоящем учебном году...

О своих московских друзьях, о днях, проведенных в столице, Смел рассказывал с обычной живостью сакенца. Так же живо и просто рассказывал он и о неудачах, постигших его. Должно быть, он ясно представлял себе причину этих неудач и радовался своей грядущей победе. Он осведомился у меня, здоров ли Сакен и как дела с мельницей (разговор происходил в районном центре)...

Нет, не похож наш Смел на неудачника, ни с какой стороны не похож! И я подумал, что в Сакен возвращается не тот Смел, который две с лишним недели назад покинул наши места. Смел решительно

переменился. В чем? — спросите вы. Не знаю. Присмотритесь к нему получше — и сами скажите мне об этом. Новый блеск в зрачках? Может быть. Некоторая подтянутость? Может быть. Или эта едва заметная морщинка на лбу? Может быть...

Когда он прилетел в Сакен, его обступили односельчане. Был среди них и Шаангери Канба.

— Ты был в Москве? — спросил он строго.

— Был.

— Та-ак.

Старик обвел односельчан торжествующим взглядом. Отныне Смел стал иным Смелом, более уважаемым, более любимым, почти настоящим мужчиной. С этой поры старики будут разговаривать с ним как со взрослым и подниматься навстречу ему, едва он переступит их порог. А вслед ему станут говорить не без зависти:

— Он был в Москве.

Но недолго придется слышать ему эти слова. Ибо идет новый год: еще несколько месяцев — и молодой сакенец уедет в Москву. Еще несколько месяцев, полных труда, — всего одна-единственная зима...

Итак, Смел снова в Сакене... Снова бегут дни, а над горами Кавказа по-прежнему бушуют мощные потоки воздуха, несущие с собою запахи близкой осени.

Снова передо мной сакенская земля...

Лето, что называется, в разгаре. Горные вершины непрерывно курятся, как трубки столетних старцев. Овраги по ночам наполняются теплыми туманами. Лесные тропы теряются в высокой траве, мрачные, серые скалы покрыты зеленым мхом...

Но лето в Абхазии выдалось со странностями — уж больно дождливое, с частыми грозами. Дожди докучали людям словно для того, чтобы подольше запомнили они этот срединный год столетия и чтобы могли говорить сакенцы: «В тот год, когда лето было особенно дождливым, когда молнии сбивали башлыки с голов, а реки угрожали всемирным потопом...» Одним словом, любители преувеличений уже заранее предвкушали эти и подобные им, по-сакенски сочные, выражения.

Сакенские метеорологи — прямые наследники старинных звездочетов — без устали толковали о чудачествах природы. А те из них, которые возрастом своим соперничали с вековыми дубами, выискивали в памяти годы, когда лето бывало столь же странным, как и в этот 1950 год.

И все же, друзья мои, стояло лето! Пусть выпадали дожди, но по всему было видно, что влага небесная проливается не на холодную землю, а на землю горячую, полную внутреннего жара. Словно кто-то снизу подогревал огромную зеленую жаровню, название которой Сакен, — жаровню, на которую обрушивались ливни и тотчас испарялись, чтобы снова покрыть облаками огромные небесные пространства...

Лето шло своим чередом и протекало оно не так уж плохо. После любого, даже самого надоедливого дождя рано или поздно наступает прояснение (твердое правило в поведении сакенской природы). Вдруг после очередной непогоды раздвигались тяжелые тучи и солнце начинало нещадно припекать землю. Мгновенно забывались дожди, стар и млад выходили на кукурузные поля и табачные плантации, а веселые песни взлетали до самых высоких вершин. Только падение иного сакенца, поскользнувшегося на влажной глинистой тропке, напоминало о недавнем дожде...

В один из субботних дней, когда солнце клонилось к закату и очень мало или вовсе не думалось о дождях, горной нехоженой дорогой шли два путника. По виду это были туристы — рюкзаки за спинами, в руках — ледорубы, обувь на шипах и легкая, но теплая одежда.

Должен отметить, что туристы в горах явление обычное, я бы даже сказал — будничное, особенно летом. И появление двух молодых людей едва ли могло удивить кого-нибудь. Однако шагали они слишком торопливо, как не полагается шагать даже опытным горцам, — и это обстоятельство было не совсем понятно. Путники одолели долгий и тяжелый путь, который пролегает через Клухорский перевал. Теперь овраги и косогоры, скалы и тропы уже не казались им трудными. Верно, горы здесь уступали в величии и мощи хребтам, через которые недавно они прошли. Ноги отлично чувствовали эту разницу. Нам остается предположить, что туристы торопятся прибыть засветло к определенному месту...

Солнце наполовину скрылось за ближайшим хребтом. Из ущелий потянуло прохладой. Горная река пенилась на перекатах, обдавая холодными брызгами серые глыбы, загромаждавшие скалистое ложе. А в заводях чуть слышно булькала ледниковая вода, словно молодое вино в просторном и глубоком чане. Леса настораживались в преддверии сумерек, становились спокойней, торжественней...

И вдруг раздался выстрел.

Он прогрехотал, этот выстрел, словно орудийный гром, и долго отзывался в горах, удаляясь все дальше и дальше — к перевалу.

Выстрелили из ружья — это было ясно. И тот из двоих, кто шел впереди, упал и беспомощно скатился к самой реке. Ноги, обутые в грубые ботинки, по колени погрузились в воду.

— Антонио! — вскричал другой, бросаясь на помощь к товарищу. — Что с тобой?

Антонио, сухощавый малый с острым носом и черными вьющимися волосами, корчился от боли.

— Нога... — проговорил он. — Помоги мне, Дмитрий.

— Кто стрелял?

— Не знаю.

Тот, кого звали Дмитрием, бережно оттащил своего друга от реки. «Кто же стрелял?» — спрашивал он себя, беспокойно озираясь вокруг.

— Я стрелял! — неожиданно раздался голос с противоположного берега, поросшего густым сосновым бором.

Из лесу вышел высокий, плотный мужчина с ружьем в руках. Он был одет в кожанку, а голову его венчала пушистая черная папаха солидных размеров. Молодым туристам он показался великаном.

— Клянусь своим здоровьем, — продолжал великан, спускаясь по крутому берегу и уверенно шагая по мелководью, — я попал в самое сердце. Он взревел и упал мордой вперед... Что с вами? — обратился великан к путникам, притопывая на каменистом берегу, чтобы стряхнуть с сапог речную воду.

Он не то что был великан, но и простым смертным его, пожалуй, не назовешь. Первое, что сразу бросилось в глаза, — это недюжинное, крепкое здоровье, при котором любой насморк — сущий пустяк (по сакенским понятиям, самой неизлечимой и самой прилипчивой болезнью является насморк).

— Так это вы стреляли?

— Я, черт возьми, и ежели есть у него душа — она уже там. — И стрелок указал на небо. — А что с твоим товарищем?

— Я ничего не пойму... Я думал, это вы...

Человек в папaxe расхохотался.

— Вчера был дождь, дорогой мой, — сказал он, слегка картавя, — а это — желтая скала... Сакенская скала... Ясно?

Антонио улыбнулся, превозмогая боль.

— Я сломал ногу, — проговорил он.

— А это мы сейчас посмотрим, — сказал человек в папахе, беря Антонио на руки. — Идем туда, под ту скалу, там сухо, клянусь здоровьем.

В желтой с красноватым оттенком скале было выбито углубление.

— Это дом для пастухов и охотников, — сказал человек в папахе.

Он уложил Антонио на землю. Затем взял его правую ногу в свои грубые ручки. Антонио вскрикнул.

— Чепуха! — сказал человек в папахе тоном ученого-хирурга, вскрывшего больному живот и ничего не обнаружившего, кроме здоровых кишок и желудка. — Чепуха! Когда перелом — кричат не так. Совсем не так! Когда перелом — визжат, как шакалы. А у тебя голос раненого оленя. Ясно?.. А теперь познакомимся. Я — Никуала, председатель союза охотников. — Из скромности Никуала счел нужным присовокупить скороговоркой: — Сакенского союза.

— Я — Дмитрий Сомов, а это мой друг, Антонио Гомес.

— Как?! — воскликнул Никуала. — Антонио? Это очень приятно! У нас тоже есть Антон... Антонио и Антон — это все равно... Только наш Антон большой чудак.

Никуала живо собрал сухие веточки, и вскоре запалил небольшой, но буйный костер.

— В горах отдых нужен, — говорил Никуала Дмитрию и Антонио. — Отдохнул, согрелся — и пошел себе дальше... Извиняюсь, вы куда держите путь? — обратился он к Дмитрию.

— В Сакен, — ответил Дмитрий.

— К нам? — изумился Никуала, но тотчас же спохватился, ибо неприлично хозяину изумляться, когда перед ним гости. И он заметил: — Да, конечно, Сакен хорошее место... Теперь можно и так: сел в машину — и приехал в Сакен. Положим, не совсем в Сакен. До Сакена еще три километра останется... Но машины дорожные работают, смолу варят, скалы взрывают... Одним словом, в хорошее время вы явились.

— Ну как, Антонио? — спросил Дмитрий.

Антонио привстал, но не смог ступить и шагу. Он тяжело опустился на большой камень, закопченный дымом пастушьих костров, и снял ботинок.

— Режьте мне голову,— говорил между тем Никуала,— ничего страшного.— Однако при виде сильного кровоподтека на лодыжке и распухшего колена он попытался пояснить свои слова «ничего страшного»: — Это ушиб, Антон, простой ушиб. Мы позовем врача, уложим на две недели в постель, а потом сделаем тебе костыли — и готово!

Однако эта перспектива не доставила Гомесу особенной радости. Он улыбнулся перекошенным от боли ртом и снова лег на каменное ложе.

— Верно,— сказал Дмитрий,— полежи немного, успокойся... А до Сакена далеко, Никуала?

— Далеко? — Никуала усмехнулся.— Ты знаешь гору Клыч? Она за спиной у нас. Перейди ее — и Сакен в кармане!

— Это, как видно, не близко? — усомнился Дмитрий.

— Но не слишком далеко,— простодушно возразил Никуала.— Мы сделаем так: доберемся до станции... до нашей гидростанции, оттуда позвоним в Сакен, вызовем машину — и все! Мы — это значит я. А в больницу не поедем,— предупредил он,— прямо ко мне домой!

— Видите ли...— начал было Дмитрий.

Но Никуала остановил его решительным жестом.

— Я позвоню,— сказал он. И, чтобы рассеять всякие сомнения, продолжал: — Между прочим, я был председателем... председателем сельского Совета. Конечно, ответственный пост, но, дорогие мои, а как же быть с охотой? Охота в Сакене — первое дело. Ясно? Вот меня и перевели в охотничий союз... Слышали, как сейчас я одного медведя подстрелил? Бац! — и нет его. Медведи здорово портят кукурузу: на пять копеек поедят, а на тысячу рублей вытопчут. Медведей убивать надо! — заключил Никуала жестко, слишком жестко даже для охотника.

— А много у вас охотников-то? — справился из вежливости Дмитрий.

— Да, ружья многие носят,— уклончиво ответил Никуала.— А больше все с землей возятся, скалу

дробят, дороги проводят, табак сажают... Нет, настоящих охотников мало, раз, два — и обчелся.

Никуала загнул большой палец, немного подумав, загнул и указательный, а до среднего так и не добрался.

— Нет, очень мало настоящих охотников, — повторил он.

— Что так? — удивился Дмитрий. — Гор много, а охотников мало?

Никуала почувствовал, что представился удобный случай, и оседлал своего любимого конька.

— Объясню почему, — начал он горячо. — Есть у нас такой человек — Кесоу Мирба. Ему подавай табак да кукурузу — за большими урожаями гонится. Другой вот, Тараш Лоу, от чахотки умирал, — ничего, вылечили. Он под стать Кесоу, в общем — пара! Есть еще, знаете, Кама, по фамилии Нанба, агротехник. А этой подавай чай и лимоны в Сакене. И Тараш заодно с ней. Да вот еще Константин Алан, бригадир, наш секретарь партии, тоже с ними... А настоящий охотник головы своей не жалеет, днем и ночью не спит, лесными делами занят. Ясно?

Ясно было одно: Никуала чем-то ущемлен. Однако его отрывистая и не слишком логичная речь больше давала пищи для чувств, нежели для ума. И в ответ на «ясно?» Дмитрий кивнул не совсем уверенно.

Антонио попробовал изменить положение ноги, но ему это оказалось не под силу.

— Очень извиняюсь, мне хочется знать, откуда у тебя такое знакомое имя? — спросил Никуала Антонио.

— Вы слыжали про Испанию? — сказал Дмитрий.

— Про Испанию?

— Антонио Гомес — испанец.

— Антонио Гомес! — повторил Никуала.

— Он приехал к нам в тридцать седьмом. Он дрался с Франко, — пояснил Дмитрий.

Никуала с восхищением взглянул на Гомеса.

— Я много воевал, Антонио, — сказал охотник, — я видел Дон, видел Волхов. Ты знаешь Волхов? Там стояли мы против «голубой дивизии». Я брал испанских фашистов в плен. Наверно, ты стрелял в них в тридцать шестом, а в сорок втором стрелял я. — И

Никуала с удовольствием продолжал: — Знал я одного испанца из нашей дивизионной разведки. Звали его Пабло, что значит по-русски Павлуша. Хороший был парень. О Мадриде рассказывал. Я приглашал его в Сакен, да кто знает, где он теперь?.. Ну ничего, Антон, теперь ты будешь моим гостем.

Антонио улыбнулся в знак согласия.

Никуала отвел в сторону Дмитрия и сказал:

— Дмитрий, все в Сакене знают, как я воевал против испанских фашистов. Ясно? Я слышал о Мадриде. Знаю, что за птица Франко. Я рассказывал сакенцам о Павлуше, или, если хочешь, о Пабло. Дома я тебе его карточку покажу. — Он взял Дмитрия за пуговицу. — Ежели пойдете не в мой, а в чужой дом, мы с тобой враги! Ясно?

Дмитрий твердо обещал Никуала быть его гостем.

— А теперь, — сказал охотник, вполне довольный, — мы вытащим убитого медведя и посмотрим, что он за зверь. Ты, Антон, не бойся. Мы споем песню, которую поют для раненых. Хорошая песня. — Он присел на корточки перед Гомесом, первым испанцем, ступившим на древнюю сакенскую землю. — Мы будем петь, и тебе станет легче, тебе будет очень хорошо. Помни: ежели в ноге засела пуля — пой эту песню! Ежели нож торчит в груди — пой эту песню! Ежели черная туча в душе — пой эту песню, и тебе будет очень хорошо!

Антонио с сокрушением наблюдал, как угрожающе пухла его нога.

2

Гостя в Сакене нюхом чуют. Гость, говорят, излучает нечто такое, что немедленно согревает всех сакенцев. Если это гость знатный — слух о нем распространяется быстрее электричества, даже быстрее сакенского электричества (сакенцы почему-то убеждены, что электричество у них особенное, как, впрочем, и земля, и вода, и воздух)...

День был воскресный.

Первым побеспокоил Никуала Антон Рашба. Это было ранним утром. Он покашливал и переминался

с ноги на ногу у лаза в плетне, не решаясь перешагнуть во двор.

— Чего тебе? — буркнул недовольный Никуала. — Заходи, что ли.

— Послушай, — сказал Антон вкрадчивым, а по-сему скрипучим голосом (тембр, специально приспособленный для елейных речей), — правду ли говорят, что тебя посетил очень интересный гость? Разумеется, такому хозяину, как ты, только знаменитость и под стать.

Никуала смягчился. Этого сакенского охотника можно было победить только лестью.

— Твой тезка, — сказал он грубовато, но без злости. — Однако тебе до него далеко, как до неба. Это смелый человек, и горы и леса ему нипочем. Он прыгает по скалам, словно козуля. Даже ногу себе сломал.

Человек, сломавший ногу в горах, без сомнения, храброго десятка — это отлично понимал Антон Рашба.

— А откуда он родом, Никуала?

Антон осторожно переступил через лаз и засеменил рядом с хозяином.

— Испанию знаешь?

— Испанию?! — воскликнул Антон.

— А Франко знаешь, этого подлеца?

— А причем тут подлец, Никуала?

Охотник едва удостоил Антона взглядом, исполненным глубочайшего сострадания, и не сказал ни слова. Но чуть позже заметил:

— Ты посиди здесь, они еще спят... У меня с этим парнем общие враги. Я их «голубую дивизию» бил вот этой рукой. — Никуала вытянул правую руку и сжал пальцы в кулак так сильно, что они хрустнули. — А насчет Франко поговорим с тобой как-нибудь на досуге, а то неудобно: В Сакене — и вдруг такое непонимание. Ясно?

Антон направился в кухню, на которую указал ему Никуала.

Это была маленькая избушка; из нее валил дым, и сладкие запахи жареного мяса, перца и прочей снеди, а главное, крепкие пары вина и водки разносились по двору, пленяя каждого, кто приближался к этому великому алтарю сакенского гостеприимства.

Никуала был не таким уж эгоистичным хозяином, как это могло показаться. Он успел известить сельского врача о происшествии и ждал его с минуты на минуту. Было оповещено также и все сельское начальство: и председатель сельского Совета Тараш Лоу, и секретарь партийной организации Константин Алан, и председатель колхоза Кесоу Мирба...

Никуала встретил Дмитрия, поднявшегося с постели, в сенях.

— Вот что, дорогой хозяин, — сказал Дмитрий, — а ведь в Сакене у меня есть родня.

Никуала удивленно повел бровями.

— Ну, родня — это сильно сказано, — пояснил Дмитрий, — но сестра моя здесь, у вас.

— Сестра? — Никуала треснул себя ладонью по лбу. — Что же ты молчал? Скажи, не та ли это девушка... жена этого самого... — Он осекся и густо покраснел. — Я хотел сказать: та девушка, которая приехала со Смелом Куламба?

— Она самая.

— Дмитрий, — проговорил Никуала крайне фамильярным тоном, выказывая тем самым свои лучшие чувства; он взял молодого человека под руку, — значит, мы с тобой немного родственнички. Видишь ли, этот Куламба...

— Они только товарищи, — сухо заметил Дмитрий.

— Я и говорю, — спохватился Никуала, — они товарищи, а мы с вами...

Никуала никак не мог отвязаться от мысли, которая очень прочно, а бы даже сказал, естественно прочно укладывалась в голове сакенца: приехала с парнем — значит, невеста; если еще не невеста, так будет невестой, а если будет невестой, то значит...

И Никуала попытался развить эту мысль. Однако речь его получилась столь многословной и витиеватой, что Дмитрий так ничего и не понял.

В это время к дому подошел сакенский врач.

— А вот и доктор! — вскричал Никуала. И, желая вызвать в госте почтение к молодому врачу, сказал: — Наш доктор выглядит молодо, но таких, как мы с вами, Дмитрий, он за пояс заткнет.

Отозвавшись столь лестным образом о представителе сакенской медицины, Никуала, в свою очередь, счел необходимым шепнуть несколько слов и доктору.

— Гриша, — сказал он на ходу, — ежели осрамишь меня — ножом полоснешь по сердцу. В общем, сам знаешь: люди из Москвы!

Сакенский Гиппократ, известный всем под уменьшительным именем Гриша, осмотрел опухоль, в которой свободно утопил указательный палец, и вскользь заметил:

— Настоящий кулич. А? Через две недели лезгинку будете танцевать. — Он категорически отклонил всякое предположение о переломе. Однако, справедливо полагая, что лезгинка не может быть вершиной человеческого желания, доктор добавил: — Этой ногой вы еще дадите пинка палачу Франко.

— Очень хорошо! — воскликнул испанец.

Никуала выглянул в окно и засуетился. Дело в том, что на всякий случай он подготовил еще одну проверку состояния больного и поэтому чувствовал себя перед доктором не совсем ловко.

— Кости, — сказал убежденно Никуала, — не совсем по медицинской части. Наши костоправы — чудо. Я пригласил одного старика, которому сто пятьдесят один год.

Гости переглянулись.

— Вот он! — торжественно возгласил Никуала, представляя старика Шаангери, опиравшегося на огромный посох.

Старик неуверенно подвигался к постели больного.

— Добро вам! — проговорил старик.

— Шаангери, — обратился к нему Никуала, — это тот самый юноша, который сломал себе ногу. Он родился в Испании, а живет в Москве. Понимаешь, Шаангери?

— Это далеко? — спросил Шаангери, любознательный, как и все сакенцы.

— Москва, что ли?

— Нет, эта самая...

— Испания?

— Да.

— Там, где заходит солнце, — сказал Никуала, — а дальше — вода, конец всему. — И он подмигнул

гостям: дескать, старику надо объяснять по-стариковски.

— Конца ничему не бывает,— бросил невзначай Шаангери и, помолчав, добавил: — Да, это очень далеко. И он хочет вернуться туда, в эту самую...

— Испанию?

— Да.

— Нет, сейчас он не возвратится.

— А почему? — заинтересовался старик.

— Франко не пустит.

— Не пустит домой? На родину?

— Да, не пустит.

— Что же это за бес такой?

Старик покачал головой и задумался. Казалось, он уснул, погрузившись в глубину своих полутора столетий, как в пуховую постель. Наконец он глянул в глаза испанцу и сказал:

— Чистый белок. Прозрачные зрачки. Ясный лоб. Здоровые щеки... Нет, нога не сломана. Костный мозг не успел испортить кровь. И не испортит.

— Доктор был прав,— заключил Никуала.

К полудню явились Тараш, Константин и Кесоу. Они справились о здоровье испанца и сообщили, что место в больнице подготовлено.

— В больнице?! — вскричал Никуала. — Из-за пустого вывиха в больницу? Нет, друзья мои, вы шутите. Антон останется у меня! — Он зычно расхохотался, сотрясая дом, выстроенный из каштановых досок и тонких дубовых балок. — Нет, дорогие, мой гость будет лечиться у меня.

Никуала пригласил всех к низенькой, но длинной скамье, заменившей стол. Таким образом, и Антонио оказался за общим столом, на котором и питье и еда были расставлены в должном порядке.

Слово взял Тараш — высокий, худой мужчина в черной блузе, в брюках навывпуск. Он говорил низким, грудным, слегка хрипловатым голосом, изредка поглядывая на бокал, который держал в руке.

— У каждого, кто сидит за этим столом, есть родина. Мы можем гордиться своей родиной — значит, мы люди счастливые. — Тараш обратился к Антонио: — Пожелаем тебе, чтобы тот уголок земли, где родился

ты, товарищ Гомес, снова стал для тебя настоящей родиной, родиной без Франко!

Слова попросил Никуала. Он говорил серьезно и проникновенно. Начал Никуала с описания своей встречи с Дмитрием и Антонио: счел нужным сообщить, что молодые люди решили провести свой отпуск в походе через горы, что идут они к морю, а конечная цель их путешествия — Москва.

— Но,— продолжал Никуала,— они завернули к нам в Сакен. Спасибо им за это, я очень рад. А нога что? Пустяки!

Никуала вспомнил военные годы. Здесь в речи его прорвались хвастливые нотки. Но все, что он говорил, было истинной правдой, и односельчане прощали ему эту слабость: выпятить себя в рассказе на передний план.

— Испанцы! — воскликнул Никуала. — В болотах Волховского фронта я узнал испанских фашистов, но узнал и наших испанских друзей. Между ними пролегли огонь и железо! Ясно?

Никуала, разумеется, не мог не вспомнить Пабло, офицера из нашей дивизионной разведки. Несколько затянувшийся тост охотник заключил возгласом:

— За родину!

И Никуала высоко поднял турий рог с сакенским вином.

Все осушили свои стаканы до последней капли, ибо это был тост за самое главное, что не может не волновать каждого честного человека, — тост за родину.

А Кессоу уже шептал Константину:

— Хорошо бы собрать сельский актив, Константин. Вот бы доклад о трудящихся Испании! А? Выступление товарища Гомеса... Хорошо бы все это связать с Кореей. Ведь мир есть мир, будь это Испания или Корея! Что скажешь, Константин?

— И поручить доклад Никуала,— ответил, подумав, Константин. И обратился к Никуала: — Послушай, сделай нам доклад об Испании.

— Я? Доклад? — удивленно спросил охотник.

— А что за трудность? Ты этот вопрос знаешь хорошо. После тебя выступит Гомес. Что скажешь?

Никуала грузно сел на табуретку.

— Друзья мои,— возразил он,— пусть доклад делает кто-нибудь другой, а я буду верховодить за столом. Я произнесу хороший тост после доклада.

Константин махнул рукой.

— Ладно,— сказал он,— доклад поручим нашей Капе. Что скажешь, Кесоу?

Кесоу промолчал, но почему-то подчеркнуто сильно чокнулся с Дмитрием, сидевшим справа от него.

— Я чуть не разлил вино,— сказал смущенно Дмитрий.

— Где пьется, там и льется! — воскликнул Кесоу.

3

Можно ли испортить человеку настроение пустяком? Если иметь в виду сакенских мужчин, я, не задумываясь, отвечу: да, можно, если этот «пустяк» задевает любимую женщину. Зачем далеко ходить за примером?

Вот Кесоу. Он только что распрощался с Тарашем и Константином. Тараш сказал ему:

— Завтра прошу ко мне. Придет Кама. Поговорим о деле. И тебя прошу, Константин.

...Кесоу в отличном расположении духа. Он думает о разговоре, который состоится завтра. Этот агротехник (имеется в виду Кама) приехал из города с неплохими мыслями. Чай в Сакене — очень интересно! Лимоны в Сакене — очень заманчиво!.. Разумеется, это еще мечта. Пусть реально осуществимая, но все-таки мечта.

«Во всяком деле есть главное и второстепенное,— думает Кесоу.— Главное все-таки табак и кукуруза. Браться за чай, пожалуй, рановато... Нет, определенно рановато. А ежели браться, то уж с другого конца. О сакенском климате надо подумать... Придется Капе разъяснить эту точку зрения...»

Кесоу сбивает палкой желтые цветы придорожных азалий. Он идет, напевая песенку. Нынче воскресенье, и он может позволить себе небольшой отдых. Надо заметить, что впереди самая жаркая пора: ломка, сушка и низка табаков. Только успевай работать, ни днем ни ночью не будет покоя.

«Нам не привыкать», — говорит себе Кесоу, вспоминая прошлый год, когда табак высыхал чуть не на корню и приходилось собирать его лунными росными ночами. И этот день, полный яркого солнечного света, расцвечивал душу молодого горца. Именно расцвечивал.

Если не изменяет мне память, я когда-то говорил, что сакенец в погожий день готов забыть все невзгоды или, во всяком случае, готов преуменьшить их значение. Но остерегайтесь: настроение сакенца так же легко испортить, как залить чернилами белую скатерть, — а попробуйте вывести это пятно!

Итак, Кесоу шагает в отличном расположении духа. А навстречу ему — Адамур. Тот самый Адамур, бывший заведующий ларьком, который три года назад вместе с Антоном оказал содействие небезызвестному в Сакене молодцу, по имени Рашит. Вы, должно быть, помните историю с похищением Камы? Так вот благодаря бегству Рашита Адамуру и Антону кое-как удалось выйти сухими из воды. Адамур, разумеется, потерял теплое местечко в ларьке и был вынужден пристроиться сторожем на фосфоритном заводишке (слово из Адамурова лексикона).

Шел Адамур вперевалку, нахлобучив папаху на самые глаза.

Встреча с толстяком всегда напоминала Мирба злополучное похищение, бредила старую рану, и неприязненное чувство против Камы поднималось с новой силой. Отношения между Камой и Кесоу многим казались странными. Сакенцы, горячие на руку, особенно если дело связано с девушкой, не могли понять, что это за любовь: время идет, а дело, то есть дело о свадьбе, — ни с места. И люди помаленьку пришли к выводу, что прежние чувства молодых людей основательно поостыли. Иными словами — конец любви! Так решил и Адамур...

— Добрый день, Кесоу! — приветствовал он председателя колхоза.

— Здравствуй!

— День-то какой, а?

— Хорош.

Адамур покрутил усы, сощурил глаза, заплывшие жиром.

— Настроение плохое, что ли? — спросил он.

— Откуда ты взял?

Адамур хихикнул.

— Откуда? Идешь задумчивый, цветы палочкой тревожишь. А я думаю так: кому-кому, но тебе-то не о чем думать.

— Это почему же?

Кесоу поднял глаза на круглое, багровое лицо Адамура.

— Ты еще спрашиваешь? — сказал Адамур. — Своего ты добился. Кукуруза отличная. И табаки, слава богу, не в пример прежним. Фосфориты добываем. Скоро шоссе к самому Сакену пробыют. Чего еще хочет твоя душа?

— Разве это все?

Адамур развел руками — дескать, что же еще? Но вот он прищелкнул языком.

— Не все! — воскликнул он. — Ей-богу, не все!

— То-то же, — проговорил Кесоу.

Адамур приблизился к нему и, напуская на себя сугубую таинственность, сказал:

— Не все, Кесоу. Тебе нужна жена — вот что!

И он залился смехом, трясая всеми своими тремя подбородками. Кесоу ничего не ответил — ему был противен этот толстяк.

— Вот что, Кесоу, — продолжал Адамур, хитро щуря глаза, — имей в виду: Кама — девушка неплохая. Ей-богу. Ежели тебя беспокоит тот случай, то могу заверить: Рашит даже не поцеловал ее. — Толстяк помолчал, почесал подбородки. — А что было потом в городе, — того не знаю. Уехала в город, прожила там три года. Говорят...

Адамур умолк. Кесоу изо всех сил старался не выдать своего бешенства, ибо намеки толстяка, словно пули, попадали в самое сердце.

— Говорят, целовалась она с кем-то. Влюблена, говорят, была в кого-то. Кто-то видел. Кто-то сказал. Но я полагаю, все это сплетни.

Кесоу уже не слушал его. Адамур говорил еще что-то о чае, лимонах, эвкалиптах, которыми, дескать, хочет поразить нас, людей, выдавших виды, эта прыткая Кама.

Кесоу повернулся спиной к Адамуру, не сказав ему ни слова. Все было кончено: настроение испортилось непоправимо. Но мало этого. Все тягостное, что понемногу забывалось, сейчас воскресло вновь: и это похищение, и ночь, проведенная Камой под одной кровлей с Рашитом. И вот вам еще в придачу: поцелуй в городе!

Молодой человек что было силы размахнулся палкой, точно саблей, и переломил ее о ствол молодого тополя.

4

Кама, как заявила она секретарю сельского Совета, дожидалась высшего начальства.

— Начальство прибудет с минуты на минуту, — сказал секретарь и углубился в чтение бумаги, должно быть очень важной.

День, как и вчера, выдался погожий. Гора Гуагуа курилась; морщинистая, изрезанная глубокими ложбинами, под лучами яркого солнца, она казалась особенно горделивой. В долине мерно рокотала река. Кама прислушивалась к ее далекому шуму, заплетая длинную, толстую косу. Она словно понимала красноречивый язык струй, говорливых на перекатах. Кама слушала и улыбалась собственным мыслям.

Прошло более трех лет с той поры, как мы расстались с нею у заветного родника. Помнится, она была обижена, весь белый свет казался ей постылым, а против Кесоу Мирба поднималась в ее душе буря негодования. Она пообещала уехать в город — бросить Сакен и не возвращаться, пока не закончит образование. Эта сакенская девушка сдержала слово: месяц назад агротехником она вернулась из города в свое родное село. Три года изучала Кама природу и повадки субтропических растений. Казалось, она в совершенстве овладела тайной, с помощью которой можно видоизменять и вкус и форму лимонов и апельсинов, совершенствовать сорта чая, выращивать эвкалипты — эти стройные и нежные, как дети, гиганты. Многому научилась она, но самой глубокой наукой из всех, которые она изучила, была, пожалуй, наука распознавать человеческую душу и сердце.

Кама стала старше не только годами, но и опытом. Она, как говорится, повидала и свет и людей. Между бровями легла небольшая бороздка, взгляд сделался глубоким и сосредоточенным — у нее теперь был тот пленительный женский взгляд, в котором светятся и честный ум, и горячая сердечность. Формы ее плеч и рук стали мягкими, походка легкой и непринужденной, и многие сакенцы испытывали головокружение при встрече с нею. «Совсем городская», — говорили ей вслед. Но она по-прежнему ходила босая росными сакенскими утрами, по-прежнему любила родник, навевавший на нее чуточку горькие, но в общем приятные воспоминания...

Она стояла у окна и любовалась цепью гор, огибающих Сакен гигантской подковой. Горы эти не казались теперь беспорядочными нагромождениями камня, источниками всяческих бед. Она глядела на них иными глазами, глазами человека, задумавшего нечто большое; она не чувствовала себя подавленной этими громадами, как порою бывало прежде, и, казалось, готовилась померяться с ними своими силами. И то, что задумала Кама, представлялось ей не легкой девичьей мечтой, а делом тяжким, но осуществимым, почти зримым. Временами она всеми мыслями уходила в будущее, и оно, это будущее, было столь осязаемо, что по ее рукам пробежал приятный холодок...

— Вот мы и явились, — услышала Кама за собой голос Тараша, и трое мужчин с шумом расселись вокруг письменного стола. — Садись, Кама, поближе.

Кама кивнула Константину и Кесоу, пожала протянутую руку Тараша.

— История-то какая! — говорил Тараш. — Приехал, стало быть, к нам испанец. Самый настоящий.

Но Кама не удивилась, она не откинулась на спинку стула, не ахнула, не всплеснула руками. Она просто заметила:

— Ничего удивительного в этом не вижу. В нашей стране находят убежище многие честные люди.

Мужчины обменялись недоуменными взглядами. Кесоу пожал плечами.

— Хороший испанец, — настаивал Тараш, — он подростком воевал в этом... как его... да, Мадриде.

Потом бежал от Франко. Нынче живет и работает в Москве на каком-то заводе.

— Как он оказался в Сакене?

— Шел со своим другом через горы... Одним словом, туристы... Стало быть, нужен доклад на активе, твой доклад, Кама. Мы все обсудили и, можно сказать, решили.

— А нужно ли это? — усомнилась Кама.

— И даже очень, — сказал Тараш.

Кама невольно повернулась к Константину с неммым вопросом. И Константин сказал:

— Да, Кама, сельский актив и твой доклад. Хороший, сердечный доклад об испанских тружениках. Пусть знают наши люди, сколько горя в мире. Разумеется, и о Корее скажешь, она нынче словно рана на человеческом сердце. Гомес расскажет о себе, вспомнит родные края.

— Хорошая мысль, — значительно подтвердил Кесоу, развязывая кисет и не глядя на Каму.

— Ты должна сделать доклад, — продолжал Тараш, — боевой доклад.

— Это очень трудно, — попыталась возразить Кама.

— Наша библиотека к твоим услугам, дай ей поручение — все выполнит, — решительно сказал Константин. — Собрание будет не скоро, может, через неделю, а может, дней через десять. Вот поправится у него нога...

— Ну что ж, попробую, — сказала Кама, почему-то краснея.

Константин подметил это ее неожиданное смущение, но, скупясь на слова, лишь дружески подмигнул.

— Ну, а как дела, агротехник? — спросил Тараш.

— Как раз с делами-то я и пришла. — Кама вынула из полевой сумки бумаги; бороздка меж бровей стала глубже. — Я исходила все наши горы, осмотрела леса, лиственные, и сосновые, и пихтовые, и еловые. Хороши у нас лавровишневые подлески! Как я уже говорила не раз, речь идет о посеве семян чая, может быть и лимонов. О севе...

— В снега и морозы? — мрачно перебил Кесоу, вращая в руках фарфоровую пепельницу в виде морской раковины.

— Ежели угодно, в снега и морозы, — жестко проговорила Кама.

«Никак не помирятся», — подумал Тараш и, глянув на потолок, прикинул в уме, сколько же лет этой странной ссоре. «Три года», — сказал он себе.

Кама продолжала горячо:

— Это новый путь, и наряду с обычным, вегетативным разведением он имеет большое будущее.

Кама прочитала несколько абзацев своего конспекта. Учебные термины слегка поцарапали сакенский слух.

— Что ни день, то не слаще, — со смехом проговорил Константин, почесывая кончик носа. — То задает нам работу Кесоу, а то Кама не дает нам покоя. Ну и молодежь!

Он поднялся с места, подошел к окну и, вобрав в легкие свежий воздух, медленно зашагал по комнате.

— М-да, — проговорил Тараш, вращая зрачками и покачивая головой из стороны в сторону. — Задала нам Кама задачу. Что скажешь, Кесоу?

Кесоу отставил в сторону морскую раковину и глубоко затянулся папиросой. Кама, скажем прямо, не без волнения (чтобы не сказать — с трепетом) ждала его слов. Что скажет он, председатель колхоза «Светлый луч»? Окажет ли поддержку новому для Сакена начинанию? Или побоится риска?

Кесоу заговорил. Первые же его слова прозвучали очень странно. И каждый из присутствующих спросил себя: «Что с ним? Откуда это раздражение?» Похоже, Кесоу всю жизнь ненавидел чай и лимоны и только ждал удобного случая, чтобы восстать против них.

Перед его глазами стояло круглое смеющееся лицо проклятого Адамура...

Нет, Кесоу понимал, что говорит не то, не в те двери ломится, но слова вырывались сами собой, не подчинялись ему. И чем больше говорил Кесоу, тем непонятнее становилась речь и тем страннее казалась его запальчивость. Точно говорил не Кесоу, председатель колхоза, человек деловой, а тот, прежний Кесоу, которого когда-то уязвила ревность и который до сих пор не может прийти в себя. Все мелкое, что досталось ему в наследство от дедов и осело на дне души —

высокомерное, собственническое отношение к женщине, убежденность в превосходстве мужской половины человечества над женской, — вдруг полным голосом заговорило в Кесоу и тут же обнаружило весьма посредственные дипломатические качества молодого человека.

В эту минуту он почти ненавидел Каму, которую — чего греха таить! — любил. По-видимому, Мирба и сам понял, в какое неловкое положение поставил он себя необдуманной речью, и сделал небольшую передышку. Он уже подбирал слова более или менее осторожно, но его сжатые зубы, сквозь которые он с трудом проталкивал фразы, и взгляд, остановившийся на кончике папиросы, ничего доброго не предвещали...

— Затея, как видно, не простая, — продолжал Кесоу. — Лимоны, разумеется, это не плохо, даже очень хорошо; я говорю, очень хорошо, когда они привьются (он выразительно подчеркнул слово «привьются»). И чай, конечно, нужен, и эвкалипты пойдут на пользу. Надо решать: будем ли хвататься за все сразу, или сначала окончательно разделаемся с главным — с кукурузой и табаком? Мы можем и должны повышать урожай! Я — за все новое, но и за определенный порядок в колхозных делах. — Мирба перевел разговор. — Кстати, мы уже начали пробную пахоту.

— А как работает мотоплуг? — поинтересовался Тараш.

Вместо Кесоу ответил Константин:

— Мотоплуг, я бы сказал, придуман прямо для Сакена. Он лазает по косогорам, словно козел.

— И трактор и мотоплуг работают отлично, — продолжал Кесоу. — Придется снять мотоплуг и передать Каме... А с пахотой подождем.

— Нет, зачем же, — проговорила Кама, еле справляясь с предательским комком, подступавшим ей к горлу.

— А затем, что придется, — упорствовал Кесоу. — Надо решать, за что браться в первую очередь.

Кесоу уже чувствовал, что не совсем прав, что если он и не препятствует смелому начинанию Камы, то и не очень его поощряет. Будь Кесоу на месте Камы,

— уверяю вас, он обязательно швырнул бы чернильницу в любого, кто помешал бы дельному предложению. Но не мог же Кесоу — поймите же нас, сакенцев! — не мог же он после того, как Адамур перетряхнул ему всю душу, говорить иначе. Дайте срок — он остынет, во всем разберется и тогда...

— Мне пока ничего не надо, — сказала Кама. — Дайте на подмогу пять-шесть девушек, мы разведем горы, наметим места для посевов. Но предупреждаю, — Кама поднялась во весь рост и трянула головой, — предупреждаю: нам придется много и поработать и подумать. А вам...

Кама не могла говорить: предательский комок, с которым она кое-как справлялась, теперь душил ее. Единственным спасением были слезы, обыкновенные женские слезы. Как известно, слезы подчас приносят успокоение, и правильно, может быть, поступили мужчины, не став удерживать Каму от стремительного бегства...

— Горячая девушка, — произнес Тараш, укоризненно поглядывая на Кесоу.

Наступило молчание. Константин ходил из угла в угол, заложив руки за спину. Наконец он подошел к столу, взял в руку морскую раковину и, словно читая по ней, заговорил:

— Насколько я понимаю, речь идет о некотором преобразовании сакенской природы. — Он хитро взглянул на Кесоу, подмигнул Тарашу. — В свое время это дело начал Кесоу. Видимо, он его и продолжит... продолжит вместе с другими... Разумеется, немало у нас забот самых обычных... очень тяжелых, я бы сказал... Ну что ж, не грех подумать и о чае... Попробуем, черт возьми!

Кесоу встал и, не говоря ни слова, вышел в сени. А Константин лег животом на стол и, продолжая разглядывать раковину, сказал вполголоса:

— Все мы человеки, Тараш, а молодость наряду с огромными достоинствами имеет и недостатки. Это так. Но ведь на то и существуем мы, старики, чтобы вносить кое-какое равновесие...

Тараш откинулся на спинку стула и расхохотался.

Дмитрий приметил сестру еще издали: она стояла посреди Гудалова двора и кормила индюков. Смел сидел на ступеньках лестницы и посвистывал; индюки от свиста пыжились, распустив хвосты и свесив до самой земли красные махры.

Галя бросилась брату на шею и повисла на ней.

— Митя, как хорошо, что ты сдержал свое слово,— говорила она, целуя его в обе щеки.

Дмитрий приподнял сестру на руках, подержал ее в воздухе и медленно опустил на землю.

Смел стоял в сторонке, ожидая своей очереди, чтобы приветствовать гостя. Мужчины крепко пожали друг другу руки.

— Наконец и ты на сакенской земле,— сказал Смел.

— Именно наконец,— весело отозвался Дмитрий.— Нас чуть не примяло лавиной там, на перевале. (Галя всплеснула руками.) А Гомес ушиб себе ногу,— сказал он, обращаясь к сестре.

— Как? И Антонио здесь?! — воскликнула Галя.

— Потащил за собой. Отпуск у него — зачем, думаю, сидеть ему в Москве, пусть пошатается по белу свету.

— Где же он?

— Мы гостим у Никуала.

— Когда же вы появились в Сакене?

— Видишь ли, Галя, добрались мы поздно вечером и заночевали у Никуала. Это, говорят, знаменитый охотник. Ты знаешь его, Смел?

Дмитрий окинул Смела быстрым взглядом, и ему показалось, что в молодом человеке произошли какие-то перемены. Но какие? Горный загар? Или эта войлочная шляпа с полями и чесучовая рубашка с крохотными петельками вместо пуговиц? Нет, видно, дело не во внешнем облике. Где же его глаза, почему он их прячет? И какая-то неловкость в обращении с Дмитрием. Дмитрий глядит на сестру, ища у нее ответа на свои вопросы...

— Кто не знает Никуала! — говорит Смел.— Он хороший охотник и большой хвастун.

— Ну, без хвастовства настоящий охотник не обходится. Малость приврет, малость схитрит — на том и держится охотничья слава... Ну, а ты, Галя, соскучилась по Москве?

— Знаешь, Митя, некогда скучать. Я тут целую тетрадь разных сказаний собрала, полтетрадки пословиц да разные песни записала. Смел у меня переводчиком. А завтра уйду с Камой.

Дмитрий еще раз взглянул на Смела. Нет, парень не прячет глаз, ему просто неловко рядом с Галей, как и тогда, в Москве.

— Кама чудесная девушка, — замечает Галя, быстрыми пальцами поправляя волосы (прическа та же — простая, гладкая, которая так понравилась Смелу на московском вокзале). — Ты в нее влюбишься, Митя.

— У нее есть жених, — предупреждает Смел.

Галя возражает:

— Был, но все разладилось. Я знаю подробности.

И она высказала смелые предположения, смелые, резкие и в то же время простые, из которых следовал только один вывод: во всем виноват Кесоу! Этот девичий вердикт не допускал никаких кривотолков и возражений. Но он вызвал улыбку у мужчин, всегда снисходительных к суждениям женщин.

— А куда же вы собираетесь с Камой? — спросил Дмитрий сестру.

— В горы, чай и лимоны сеять, — ответила Галя так просто, словно это случалось ей делать каждый день.

— Не понимаю — о каких лимонах речь?

— Об этих самых... — И Галя скорчила смешную гримасу, точно ей на язык и в самом деле попал сок кислого-прекислого лимона.

— Ничего не понимаю, — признался Дмитрий. — Всегда было известно, что лимоны любят тепло. Не так ли? В Сакене зима, наверно, холодная?

Смел вместо ответа дробно застучал зубами. Это значило: собачий холод зимой.

— Не в этом дело, Митя, — сказала Галя. — Ты ничего не понимаешь. Прежде всего...

— Прежде всего, — перебил ее брат, — надо, очевидно, менять климат. Надо напустить на Сакен жару из Сахары. Понятно?

Смел поддержал Дмитрия. Ревностному электротехнику, к сожалению, была чужда поэзия агрономии, и он произнес пренебрежительно:

— Бабы сказки.

Галя вспыхнула. Но брат предупредил ее:

— Не будем, Галя, ссориться. Еще успеем.

Девушка была в кофточке без рукавов и в легкой ситцевой юбке. Она загорела под сакенским солнцем, и оттого белые зубы ее сверкали еще ярче. Ей очень шла милая улыбка, чуточку обнажавшая зубы, и, зная это, Галя щедро, как и полагается в ее годы, расточала улыбки.

— Настоящая крестьянка,— проговорил Дмитрий, рассматривая ее домашние туфли, просторные на голых, без чулок, ногах.

Туфли слегка были запачканы грязью.

— Это я хожу к роднику,— сказала Галя.— Там всегда сыро.

Если вы помните, Галя обещала Смелу приехать в Сакен и заняться собиранием народного творчества. Как видите, она осталась верной уговору.

Молодая москвичка заслужила доброе отношение к себе даже со стороны самых строгих горянок, полагающих, что городские девушки, все, как одна, донельзя избалованы. Правда, многие из них никак не могли взять в толк, зачем эта миловидная девушка без усталости что-то записывает в тетрадь. «Собираю фольклор»,— пыталась объяснить Галя, подробно растолковывая диковинное слово. Женщины улыбались, говорили: «Очень хорошо»,— а про себя думали: «Вот недурной предлог, чтобы оправдать свое пребывание в доме молодого Куламба». Одним словом, фольклор ничего не объяснил, но только повысил интерес к приезжей девушке.

Смел познакомил Дмитрия со своей матерью. Камачич вышла навстречу гостю, на ходу вытирая руки о фартук.

— Смел очень похож на вас,— польстил ей Дмитрий.

— Нет,— ответила женщина со скорбной ноткой в голосе,— совсем не похож. Я всю жизнь прожила в Сакене и никуда не выезжала. А он бросил свою

мать, уехал далеко-далеко. Разве так поступает любящий сын?

Камачич перевела на Смела взгляд, исполненный той теплоты, равной которой нет в целом свете; это тепло не только греет сыновнее сердце, но и вдохновляет его, придает новые силы и вырачивает в душе добро, одно лишь добро!

Как и всякая хорошая хозяйка, Камачич незаметно удалилась на кухню с тем, чтобы через полчаса разложить перед гостем произведения сакенской кулинарии. Обычай, как известно, требует не только отличных вкусовых качеств пищи, но, что не менее важно, и быстроты ее приготовления. И пока кухня наполнялась приятным чадом, включающим в себя запахи дыма, жареного мяса, перца и разных душистых горных трав, молодые люди беседовали в гостиной под ветвистыми рогами оленя — обычное украшение сакенских жилищ.

...Повторяю, появление Гали в доме Гудала Куламба (в настоящее время хозяин отсутствовал — он работал на строительстве шоссе), ее появление в этом доме вызвало оживленные толки среди сакенских женщин, не придававших особого значения сбору фольклора. У родника разгорались жаркие споры.

— Привез невесту, чтобы показать своим родным, — решили одни.

— Говорят, они поженились, — твердили другие.

Но это предположение было категорически отвергнуто по весьма основательной причине.

— Как?! — возражали им. — Чтобы Гудал Куламба не закатил хорошей пирушки?! Этого не может быть. Нет, она приехала только в гости. Правда, в дальнейшем...

И тут насчет «дальнейшего» развивались любопытнейшие планы. Мы не приводим их здесь, как не соответствующие действительности.

Камачич не раз была вынуждена отвечать на вопросы чересчур любознательных женщин. Как-то неудобно было осаживать. Но женщины день ото дня становились все назойливей.

— Она товарищ моего сына, — говорила Камачич, повторяя слова Смела и, должно быть, не слишком-то веря в эти слова. — Она собирает сказки и песни.

— Ах, сказки! Что и говорить, сказки бывают разные.

— А зачем ей сказки? — спрашивали другие, едва сдерживая смешки.

— Это ее работа.

— Очень хорошая девушка, дай ей бог здоровья, и внимательная ко всем, и веселая, и молодая, и умная.

Одним словом, Галю старались расхвалить, имея в виду, что она в самом деле может породниться с Камачич.

Но больше всего доставалось Смелу: он попал в то ужасное для сакенца положение, которое легче всего обозначить одним словом — жених!

Сакенскому жениху положено стесняться. Он не показывается на людях вместе со своей невестой; он не должен быть слишком внимательным к ней при посторонних; он не должен... Короче говоря, все еще бытующий в Сакене неписанный кодекс жениховства довольно-таки строг. Правда, мало кто придерживается его полностью. Но врожденная мужская стыдливость все-таки обязывала Смела к некоторой скованности. Смел, разумеется, и не помышлял о том, чтобы соблюдать стародавние правила, и подчеркивал исключительно товарищеские отношения с Галей. Но как сакенец я должен отметить, что самый факт приезда Гали в Сакен, ее пребывание в доме Гудала Куламба, и, наконец, ее брат... Словом, вы должны понять, что сакенские женщины имели некоторое право обсуждать это событие во всех подробностях (женитьба считается в Сакене делом значительным)...

— Ты, я надеюсь, перейдешь к нам? — спросил Смел Дмитрия.

— Видишь ли, мне не хотелось бы обижать Никуала — он человек неплохой. Это раз. Во-вторых, не хочу оставлять Антонио — он лежит у Никуала.

— Ладно, мы об этом еще потолкуем с моим отцом.

— Нет, Смел, — вмешалась Галя, — довольно и того, что я стеснила вас.

— Мы можем принять еще добрый десяток друзей, — гордо изрек Смел. Губы у него слегка надулись и чуть дрогнули (верный признак обиды).

— Каковы же наши планы? — спросил Дмитрий.

— Я с утра ухожу с Камой, — заявила Галя.

— А я предлагаю вот что, — сказал Смел. — Пройдемся по Сакену: осмотрим плантации, заглянем на гидростанцию, на фосфоритный завод. А потом можно подумать и о медвежьей охоте. Что скажешь?

Дмитрий расчесал волосы пятерней, сморщил нос и задумался.

— У меня нет ружья, — проговорил он.

Смел вскочил с места, выбежал в соседнюю комнату и притащил свое довольно старенькое ружье.

— Видишь? — сказал он торжествующе.

Дмитрий взял ружье и прицелился в небольшое оконце, выходившее на задворки.

Яркий свет солнечного дня врывался в комнату. В его блеске Сакен стоял зеленый и пышный. И горы тоже были зеленые. Казалось, весь мир утопал в сиянии солнечного дня. Река Сакен шумела где-то в ущелье. Но это был уже не прежний могучий шум: его заглушало более мощное гудение трактора и маленького мотоплуга. Зато для песни, звучащей в поле, не существовало преград. Она неслась среди гор быстрее птицы, она была слышна везде, ибо в каждом горячем сердце находила отзвук. А Сакен никогда не был беден горячими сердцами!

6

— Слишком горяч! — воскликнула Нина, все больше раздражаясь против брата. — Но ты не знаешь или не хочешь знать, что и у нас имеется сердце!

Кесоу прищурился, занятый своими мыслями. Сестру он слушал рассеянно, ибо она говорила вещи не очень приятные. В комнате Екупа приемник пел песню, изредка прерываемую раскатами далеких летних гроз.

— Ты скоро всех женщин натравишь на меня, — проговорил Кесоу с усмешкой.

— И ты добьешься этого!

Яркий свет луны падал на Нину. Она скрестила руки на груди и метала огненные взгляды, как, наверно, это делала сказочная Гунда. Кесоу, слушая ее, думал о том — нравится ли ей какой-нибудь парень, есть

ли у нее дружок? Он упрекнул себя за то, что мало интересовался жизнью сестры. «Ей уже двадцать, и она на выданье,— говорил себе Кесоу.— А слова не скажет, хоть убей ее». Впрочем, не такое это неотложное дело, чтобы особо беспокоиться, все образуется само собой. Может быть, ей нужно учиться дальше? Десять лет в школе — не бог весть что! Вот Кама, например...

— Обидел ты ее,— продолжала Нина, отвернувшись от брата.— А что дурного предложила она? Вы же сами послали ее в училище. Вы сами помогали ей. Она честно вернулась в Сакен, а могла бы и не возвращаться. Или ты думаешь, что на Сакене свет клином сошелся? Она могла бы поехать в любое село получше и побогаче нашего Сакена. Нет, она вернулась к нам, сдержала свое слово! Что же, вы думаете, будет она вам мамалыгу варить или кур оципывать?

— К слову сказать, мамалыга вещь не вредная.

— Ты все шутишь. А до того ли ей? До слез довели. Почему, спрашивается?

Разговор происходил в сенях. Кесоу сидел на перилах и медленно раскачивался из стороны в сторону. Сени высокие — почти второй этаж. Дом был новый, и Кесоу гордился им: построен, можно сказать, его собственными руками, по его плану. Старый Екуп важно шагает по комнатам, не нахвалится печами, сложенными на городской манер. Правда, и у них есть недостаток: тепло дают, а пламени не видно. А где же радость для глаз? Впрочем, есть опора и для радости: в просторной гостиной, против городской печи, сложен самый обыкновенный сакенский камин высотой в человеческий рост. Вечерами в нем бушует неугомонное пламя, и старый Екуп, на словах придирчивый к сыну, в душе благодарен ему. Застарелая боль в пояснице становится будто слабее и не так уже часто донимает старика. Нет, что и говорить, хорош новый дом! Вот ежели городской мебели побольше бы! Но, ей-богу, грешно сетовать. Сияет электричество, радио стоит в большой комнате, и — представьте себе — другое, совсем малюсенькое, — у постели старика. Чего только Кесоу не придумает! «Лежи себе на спине и слушай весь мир!» — советует Кесоу. Старик здорово налов-

чился, как говорят в Сакене, играть на приемнике: знай лежит себе, попыхивает трубкой и слухом обегает всю землю. Слышит он бой московских курантов, спокойный, как удары могучего сердца; слышит старик и голоса сибирских городов, и украинские песни... Чего только он не слышит! Может, незнакомая речь, едва доносящаяся до Сакена, — корейская?.. знай шагает себе старик по земному шару; что ни поворот ручкой — то новые страны и новые города, и снова — Москва! К ней ведут нынче все пути, имя ее называют на всех языках и наречиях мира!

Нет, старик доволен своей жизнью, взошло наконец солнце и для Екупа. Вот если бы старуха была жива... Но самое главное — не у одного Екупа и свет, и радио, и новый дом. Недаром говорит старая пословица: «Хочешь добра себе, пожелай добра соседу своему». Видно, много мечтал старый Екуп о добре для всех соседей, если теперь так хорошо и ему самому и соседям...

Кесоу мерно покачивается на перилах, а Нина все еще пилит его.

— Сойди, не то сломаешь себе шею.

— Шея у меня крепкая. Двужильный я.

— Оно и видно! В последний раз говорю: найди общий язык с Камой.

— У нас один язык.

Нина в отчаянии. Обидь ее брат — все бы легче. А эта неопределенность просто бесит. Вдруг Нина вытаскивает из длинного рукава кофточки белый шелковый платок, прикладывает его к своему чуть вздернутому носу. Брат подозревает, что сестра плачет, — самое неприятное в разговоре с девушками.

— Нина!

— Слушаю.

— Какие вы странные.

— Кто это — мы?

— Девушки.

— А вы, мужчины? — Нина круто поворачивается к брату, словно готова броситься на него. — Все вы на один лад! Правду Кама говорит: только себя и любите. Перейди вам женщина дорогу — и вы уж места себе не находите от зависти! Кама дура, вот что! Надо бы тебе нос утереть. Я всегда ей говорю: выходила бы

замуж в городе. Да, видишь ли, сердце у нее не такое. А вам что? Вам все трын-трава...

Кесоу расхохотался, да так, что чуть не свалился с перил, едва удержался, вцепившись в них обеими руками.

— А ну-ка, повтори, что ты сказала. Трын-трава?

— ...а она сохнет,— продолжала Нина и заключила истово: — Дуры мы, дуры!

Кесоу смеялся от души. Он любил, когда сестра сердилась. Ему нравилось слушать ее подчас наивные, но правдивые речи. На этом юном, еще мало знающем жизнь существе уже успели отразиться великие перемены, происшедшие в Сакене. Душа у женщин стала иною. Взять для примера Каму. Не она ли мужественно настояла на своем решении? Не она ли вернулась агротехником, как обещала? Кто знает, может быть, осуществится и ее затея с лимонами и чаем?

Кесоу, разумеется, не против таких заманчивых затей. Сам он, как известно, мечтатель не из последних. Но что же ему мешает прямо и честно сказать в глаза Каме, что он думает о ее планах? Нет, ему не пристало завидовать ей! Как знать, может, он в этом году в Москву за Золотой Звездой поедет? Может, в этом году ждут его тысячепудовый урожай кукурузы и невиданный урожай табака? Нет, не ему завидовать Каме...

— Не в том дело, Нина,— говорит Кесоу с грустью,— я сам не почитаю людей завистливых. Можно ли говорить о зависти?

— Что же произошло в таком случае? Объясни мне.

— Нина! — Кесоу спрыгивает с перил.— Мне кажется, что нам рано ввязываться в научные изыскания. Наше дело небольшое, но прочное: нужен устойчивый урожай табака и кукурузы. Вот говорят: хлеб насущный. Первое и главное — побольше насущного хлеба.

Кесоу вслушивался в собственные слова. Все верно. Нужно хлеба побольше. Вот что! С этого и надо бы начинать в сельском Совете. Получен трактор. Прислали мотоплуг. Рассуждали так: освободятся рабочие руки. А что получается? Трактору на карликовых земельных участках, разбросанных по всему Сакену, де-

лать нечего. Не то что трактору, но и мотоплугу здесь трудно. Встал вопрос о корчевке леса. Нужны рабочие руки! Там, глядишь, большая скала разделяет участки. Ломай скалу — тоже нужны руки! В страдную пору каждая рука на строжайшем учете. Нельзя, стало быть, в такое время людей на какие-то лимоны отвлекать. Дело не в том, что Кама предлагает испытать один участочек. Нет, она собирается излазить все горы и найти не один, а десяток участков и засеять их. И на все это нужны рабочие руки. В крайнем случае можно так: нынче найти один участок для чая, в будущем году — участочек для лимонов...

Понятно как будто, но почему именно с этого не начал свой разговор Кесоу там, в сельском Совете?

— А Кама мы поможем, — говорит Кесоу.

— Послушай, — перебивает его Нина с мрачной решимостью, — ты чего-то не договариваешь. Скажи прямо: женишься на ней или нет?

Кесоу, признаться, не ждал подобного вопроса от младшей сестры. Он покраснел: «Он никогда не женится, — решила Нина. — У него на уме совсем другое».

— При чем здесь женитьба? Но раз пошла об этом речь, то и я задам вопрос, — с задором проговорил Кесоу.

— Задавай!

— Когда ты сама выйдешь замуж?

Нина присела на стул и залилась чистосердечным смехом.

Кесоу погрозил ей пальцем.

— А ты не смейся.

Он взялся руками за перила, подобно оратору, собирающемуся произнести горячую речь перед тысячной толпой. Перед ним, как на ладони, лежал Сакен. Черные, будто намалеванные углем, горы, а в горах — яркие окна домов, и все они глядели на Кесоу добрым взглядом. За каждым таким окном горела лампочка в пятьдесят свечей, за каждым таким окном сидели уважаемые сакенцы. А высоко в небе — изумрудном, августовском — сияла луна. Свет ее казался теперь мягче. Он, пожалуй, чуточку поблек с той поры, когда дороги в Сакене впервые осветились городским светом.

Река, как и всегда, урчала на перекатах, да кое-где гнусаво выли шакалы. Но, прежде незнаемые, новые звуки властно врывались в сакенскую ночную тишь: то были сигналы грузовых автомашин, подвозящих щебень и асфальт.

7

Скажите мне по-дружески: любили вы когда-нибудь? Молчите? Тогда я сам отвечу за вас: да, любили. На этом и согласимся. Стало быть, вы поймете состояние Кесоу. Это не то что страдание. Подобное слово едва ли применимо, а может быть, и вовсе неприменимо. Любить — не значит страдать, любить — это значит жить краше. Я не в философию ударился, а просто опираюсь на небольшой жизненный опыт отдельных сакенцев.

Как и любой сакенец, обитающий на земле, а не в небесных сферах, Кесоу считался с реальной обстановкой и теми обычаями, которые и сейчас никто не охаивал. А поскольку это так, то и во взаимоотношениях между мужчинами и женщинами должны сохраниться определенные, по сакенским правилам, довольно-таки суровые нормы поведения. Похищение девушки (скажем, Камы), пусть даже неудачное, всегда оставляет в сердце любимого (это у Кесоу), мягко выражаясь, неприятный осадок. На одной чаше весов, стало быть, лежит неприятный осадок. Так и запишем.

С другой стороны, говорить о притуплении чувств Кесоу решительно невозможно. И этого никто не собирается утверждать, ибо никому не хочется осквернить себя ложью. Трехлетняя разлука, скажем прямо, не принесла облегчения Кесоу. Надо полагать, Каме тоже (о ней речь пойдет дальше). Значит, на другой чаше весов — неостывшие чувства. Так и запишем.

Не знаю, как вы, но по-человечески я понимаю Кесоу: невозможно кривить душой и делать вид, что все обстоит хорошо, в то время как не рассеялось что-то наносное, неприятное и ненужное. Рассудок в таких случаях — и советчик и не советчик. Я хочу сказать, что нельзя подобное деликатное дело решать только голосом рассудка. Это противно человеческой природе.

Но, с другой стороны, нехорошо, если разумное начало отходит в сторону в делах сердечных. Тут необходима ясная гармония; только она приведет в равновесие обе чаши весов, о которых шла речь выше...

Вот и лежит наш Кесоу в постели и думает об этих самых весах. Нина спит в соседней комнате. Екуп крутит ручку радиоприемника, а сын его лежит в постели и думает трудную думу. Мысли переносятся от Камы, незримо присутствующей в этой комнате, к черным горам, стоящим вокруг Сакена, как гордые стражи. Кесоу перевертывается на живот и глядит в открытое окно.

Весь мир сейчас зеленовато-голубой (это от луны, что забралась высоко в поднебесье). В такие ночи гулять бы с милой и думать о грядущем, строить дерзкие планы, высоко залетать мечтою за облака. Разве дело — лежать сейчас и терзаться пустопорожними мыслями?

«Надо Каму поддержать, — решает Кесоу. — А то как получается? Нечестно. Дело не просто в лимонах и чае, дело гораздо сложнее, чем это кажется на первый взгляд».

В это время начинают бить кремлевские куранты: значит, в Сакене час ночи...

Так вот, стало быть, о главном. Сакену не помешают ни лимоны, ни чай. Но Сакену мешают холодные северные ветры. У ветров есть союзники. Во-первых, ущелье реки Сакен, из которого, как из трубы, текут морозные потоки воздуха. Далее. Оленья седловина, голая, как плешь у Адамура. Кому нужна эта седловина? Никому не нужна!.. Стало быть, речь идет о планах — смелых и дерзновенных...

«Поговорить с Константином? — думает Кесоу. — Он человек с головой...»

И снова о Каме... Славная девушка — что верно, то верно.

«Проклятый Рашит!» — в тысячный раз повторяет Мирба.

Чаши весов колеблются... Прежде чем он успевает проследить за ними, могучий сон овладевает им.

А во дворе происходят чудесные превращения. Луна достигает зенита и висит над Сакеном, словно лампа перед сельским Советом. Ее свет падает на все го-

ры разом, и они уже не кажутся мрачными. Они похожи на живые существа, уснувшие на короткий срок. Не о них ли сказал поэт:

Горные вершины
Спят во тьме ночной...

А долины Сакена полны именно свежей мглою, мглою августовской лунной ночи...

8

Утро выдалось пасмурное. Из-за гор потянулись облака. Было рано. Солнце только-только обещало выглянуть из-за горы Гуагуа. От реки веяло холодом. В лесу пели птицы, и пение их разливалось по всему Сакену. А высоко в небе сновали ласточки...

— Не будет дождя, — сказала Кама, следя за птицами. Она погрузила босые ноги в прохладные струи Сакена. — Это очень закаляет, — добавила она со смехом.

Ее примеру последовали Нина, Галя и другие девушки. Они весело затараторили. Дмитрий искоса поглядел на них.

— Мы больше никого не будем ждать, — заявила Кама. — Сколько нас? Десять, если не считать Дмитрия.

— А почему меня не считать? — спросил Дмитрий.

— Наше дело трудное, — сказала Кама. — Придется полазить по горам.

— А как же Галя и другие?

— О, девушки выносливее вас, мужчин.

— Вот как?

Галя вмешалась в разговор, поправляя волосы мокрыми руками.

— Кама немножко жалеет нас, — сказала она, подмигивая Каме. — И это очень обидно. Она думает, что мы, городские, неженки.

— Ладно, берем вас с собой! Только, чур, не уставать! — воскликнула Кама и протянула Дмитрию руку.

Москвич осторожно пожал девичью ладонь и вооружился лопатой. Девушки надели туфли на босу ногу, и вся компания двинулась вдоль берега.

Сакен еще спал. Но это не совсем точно: уже шумел мотоплуг, взрыхляя целину, скрипели арбы, и били в колотушки сторожа, отгоняя медведей — больших охотников до свежей кукурузы.

— А вы знаете, — говорил Дмитрий Кама, — ваше имя напоминает мне нашу Каму, реку Каму.

— Об этом мне уже говорила ваша сестра.

— А песню она вам пела?

— Песню? Какую песню?

— Слушайте.

Дмитрий, подняв лопату и делая вид, что играет на гитаре, пропел:

Как за Камой за рекой
Потерял я свой покой...
На какую ни взгляну,
Вижу все ее одну...

Девушки расхохотались. Дмитрий казался им малоразговорчивым и неуклюжим. Но эта песня заставила их переменить мнение.

Нина сказала:

— Что же вы умолкли, продолжайте.

— А вы думаете, он сумеет? — бросила Галя.

Дмитрий, со своими русыми волосами и чуть веснушчатым лицом, мало похож на сестру. Правда, глаза у обоих карие. Но это сходство не сразу заметишь.

— Я похожа на маму, а Дмитрий вылитый папа, — говорит Галя.

Она идет в обнимку с Ниной. Они однолетки и почти одного роста.

— У тебя хороший брат, — шепчет Нина подруге.

— Тюлень, — нарочно небрежно говорит Галя (именно так говорят о близком любимом человеке).

— Что ты! — И Нина щиплет ее за руку.

Кама остановилась посреди зеленой лужайки. Здесь была эвкалиптовая роща... Она вымерзла прошлой зимой. Сейчас из низко спиленных пней тянется нежная зелень веток.

— Кто их вырубил? — спросил Дмитрий.

— Их сгубил мороз в эту зиму, — ответила Кама, — только потом срубили.

— Мороз?

Кама сказала:

— А вы поезжайте к морю: там вымерзли все плантации лимонов, все эвкалипты и даже пальмы. Мороз доходил до пятнадцати градусов. И держался целые сутки.

Они прошли дальше.

— Вот тут мы посеем чай,— сказала Кама, указывая рукой на небольшие площадки между пнями.— Надо взрыхлять так: размер площади — метр на метр, еще метр на метр — вон там. Посеем прямо в грунт, в маленькие ямки.

Девушки взялись за работу.

Кама предупредила:

— Работать будем до седьмого пота. С трудом выпросила девчат. И когда еще расщедрятся? — и она вздохнула.

— Какое у вас жадное начальство,— сказал Дмитрий.

Кама покачала головой.

— Они и вас заставят работать. Первые три дня вы еще гость, а там, как начнет на корню гореть табак, сами на плантацию попроситесь.

— А вы бросайте свои эвкалипты и чай и принимайтесь за табак.

Кама исподлобья взглянула на Дмитрия: что он, шутит, что ли?

Она молча достала тетрадь и самопишущую ручку (память об учебе в городе), сделала пометку: «Участок № 1, чай. Посев: октябрь 1950 года» (посев предполагался в октябре).

Через час группа двинулась дальше, вверх по берегу реки.

— Мы будем искать климат,— говорила Кама, ловко взбираясь по крутому склону.— Вот сосны. Это южный склон — значит, здесь тепло. А на другой стороне холма — северный склон. Там должны быть ели, и там холоднее. Мы будем искать разные почвы и разные климаты.

— Климаты — дело другое,— сказал Дмитрий.— Надо менять климат во всем Сакене, прежде чем сеять чай и цитрусы.

— Почему вы так думаете? — Кама уставилась на Дмитрия долгим взглядом.— Это от Кесоу?

— Нет, это мое мнение.

Галя крикнула Кама:

— Не теряй с ним времени. Он не верит в наше начинание.

— Это правда, Дмитрий?

Дмитрий ответил серьезно:

— Я думаю, вы взялись не с того конца. Вы что-то машупываете, а до настоящей работы далеко.

Кама словно разгадала его мысли.

— Какая у вас специальность? — спросила она.

— Я — токарь.

— Вы когда-нибудь делали опыты? Скажем, с вашими инструментами... клещами или молотком.

— С молотком — нет, с резцами — да, — не без иронии заметил Дмитрий.

— Вот видите: вы — с резцами, а мы с семенами и почвами. Какой будет климат лучше — увидим. — Кама любопытствовала: — А что вы режете своими резцами?

— Как что? Металл.

В сосновом бору было тихо и торжественно. Пахло смолою. Между огромными стволами были развешаны гирлянды паутины. Стволы — высокие и ровные...

Галя вспомнила шишкинские леса и захлопала в ладоши: так это было похоже. И грибов оказалось немало. Девушка набросилась на них.

— Галя, — остановила ее Нина, — что ты делаешь?

— Собираю грибы.

— Зачем?

— Мы приготовим грибной суп. А разве вы их не едите?

— Нет, — ответила удивленная Нина.

Здесь грибы ничем не отличались от тех, какие собирала Галя в подмосковных лесах. И трава была пахучая, и цветы здесь то алели, то голубели — разнообразные лесные цветы, тоже очень похожие на подмосковные. И на какое-то мгновение Гале показалось, что вот сейчас она услышит басистый голос электропоезда, который увезет ее и через полчаса доставит на московский вокзал. Она подняла голову и сквозь верхушки сосен, плотно прижавшихся друг к другу, увидела кусок высокого серого неба, точно такого же, каким бывает оно под Москвой в пасмурную погоду. Она

улыбнулась своим мыслям и продолжала собирать грибы в подол, не обращая внимания на изумленную Нину.

Вдруг раздался конский топот, и на лесной тропе показался Кесоу Мирба. Подъехав к молодым людям, спешился и за руку поздоровался с Дмитрием. Остальных приветствовал по-сакенски, согнув правую руку в локте. Он казался бледным и утомленным, словно провел бессонную ночь. Кесоу нервно похлестывал свои голенища коротким, обтянутым кожей кнутовищем.

— Нынче вы первые на работе,— сказал он хриплым голосом,— хороший пример другим подаете. Но зачем беспокоить гостей?

Вопрос обращен к Каме.

— Сами вызвались,— ответила она тихо.

— А как ваш друг, Дмитрий?

— Лежит, охает.

— Ничего, до свадьбы заживет,— сказал Кесоу, напуская на себя озабоченный вид.— Кама,— продолжал Мирба сугубо деловым тоном,— вы уже наметили подходящие места?

Было ясно, что теперь говорит председатель колхоза, а не кто-нибудь другой, и Кама старалась отвечать ему в тон, то есть тоже сухо.

— Это место,— сказала она,— должно быть, теплое. Здесь, между рядами сосен, мы посеем чай и лимоны. Будем сеять в почву возделанную и неводеланную. Дальше. Мы выберем участки с дикой лавровишней; мы и там посеем и чай и лимоны. Но не остановимся на этом. Мы будем сеять и на северных склонах, и в ложбинах, и там, где теплее, и там, где холоднее.— И, словно осердясь на кого-то, заключила:— Мы должны вырастить необходимые нам виды растений из семян, причем в условиях, выгодных для нас самих.

Кесоу почесал за ухом (его немного корбила эта безапелляционность Камы), осмотрел всю компанию, но ничего не сказал. Повернулся на каблуках и лихо сел на коня.

— Кама,— проговорил он, уткнувшись взглядом в луку седла,— помощь мы вам окажем. Но вы берегитесь за все сразу. Завтра мы не дадим людей. Надо

корчевать лес.— Он слегка нагнулся к ней, почесывая мизинцем верхнюю губу, словно желая скрыть улыбку.— Между прочим, вы не подумали о главном. Действуете вы хорошо, но надо иметь в виду и самое главное...

Он не досказал, хлестнул коня и понесся под гору так стремительно, что, казалось, не жаль ему ни коня своего, ни собственной шеи.

9

Галя сидела рядом с Шаангери и держала карандаш наготове. Роль переводчика выполнял Смел. Он старательно подчеркивал свое уважение к ней как к госте, именно госте, ибо этого требовали его неопределенные отношения с Галей.

Шаангери грелся у очага. Буйное пламя касалось его сухих и холодных пальцев. На нем была бурка, а голову прикрывал теплый шерстяной башлык.

— Дочь моя,— говорил старик, с трудом преодолевая одышку,— много бывало разных случаев... Дай бог памяти, может, о витязе нашем рассказать?

Он закашлялся, и Гале почудилось, что не старческий кашель, а какая-то неистовая сила разрывает его легкие.

— Верно, Шаангери, о витязе,— сказал Смел.— Это ты придумал неплохо.

Шаангери улыбнулся бескровными, деревянными губами и скосил глаза на молодого человека, не поворачивая головы.

— Ну что ж, будь по-твоему.

Старик прикрыл тяжелые веки и, мерно покачиваясь, начал рассказ. Он импровизировал, чуть-чуть напевая. Карандаш в Галиных пальцах бойко запрыгал, занося в тетрадь каждое слово Шаангери.

— Давным-давно,— начал свой сказ старик,— жил на сакенской земле человек, по имени Абрискыл. Был он не просто человек, но витязь. А витязь, да будет вам известно, никого и ничего не боится. Витязь справедлив, друзья мои, и честен. Витязь горой стоит за правду. Он добр и широк сердцем. Витязь не пьет вина без друзей, хлебом делится с ближним. Витязь, дочь моя, тоже человек, но человек особой закалки,

вроде стали, из которой куют сабли, вроде железа, из которого высекают огонь, вроде машины, которая дает свет. Вот что такое витязь! Сердце у витязя и простое и необыкновенное в одно и то же время. Простое, ибо оно, как и всякое сердце, состоит из мяса, крови и огня, дающего тепло. Необыкновенное, ибо печется о справедливости, ибо оно не терпит зла, ибо оно презирает сильных мира сего! И душа у витязя, я бы сказал, и простая и необыкновенная в одно и то же время. Простая, ибо она смертна, как и ее оболочка, как и всякая человеческая душа. Необыкновенная, ибо, пока она жива, принадлежит народу. Она принадлежит мне, принадлежит и тебе, дочь моя, и тебе, Смел. Она принадлежит всем! Что я хочу сказать? Витязь — человек, но прибавьте к этому еще одно слово: настоящий — и вы поймете меня.

Старик начал выбивать свою трубку, а затем не спеша снова набил ее табаком. Это заняло немало времени. Наконец, затянувшись дымом, он продолжал:

— Стало быть, жил витязь, по имени Абрискил. Всего было вдоволь у него и, как у каждого настоящего человека, были, разумеется, и недруги. Носил он в душе три ненависти. Первая ненависть — к папоротнику, вторая — к злему духу, по имени Нуг, а третья — к лианам в лесу. А почему, спрашивается? Абрискил говорил, ибо он был добр от природы: «Уничтожайте папоротник — источник всяких болезней, сжигайте его и сейте на пепле его!» И каждый, кто следовал этому совету, оставался в выигрыше, а выигрыш для крестьянина — все, друзья мои! Абрискил говорил, ибо он был настоящим человеком: «Не кланяйтесь в пояс злему Нугу, ибо ненавистно ему все сущее на земле». Так поучал Абрискил, ибо он боролся за величие человека и высоту его духа. Как я уже говорил, дочь моя, Абрискил презирал и лианы в лесу: он рассекал их шашкой. Он твердил людям: «Я презираю злого Нуга, а лианы заставляют нас нагибаться, и Нуг, чего доброго, может принять это на свой счет — за наши ему земные поклоны». Так говорил Абрискил, ибо был он настоящий мужчина. А что такое настоящий мужчина, дочь моя? Это — кремень, это твердый, непреклонной воли человек. Это — вата порою, ибо он добр сердцем и великодушен. Это — со-

ловей в любви, ибо нет для настоящего витязя ничего выше женщины, от которой получил он и плоть и необоримый дух!..

Старик задумался и долго безмолвствовал. Молодые люди обменялись взглядами. Не утомился ли Шаангери и не задремал ли он? Но старик рассеял эти сомнения, продолжая свой сказ:

— Я спросил вас: знаете ли вы, что такое настоящий мужчина? Да, вы должны знать: это тот, кто храбро смотрит вперед и не боится смерти, ее холодных и темных, как пещеры, глаз. У настоящего мужчины сто два глаза: два, как и у всех, вот тут, под бровями, а сто — в голове. Настоящий мужчина все видит и все понимает. Но с кем не бывает греха? Был грех и у Абрискила: непобедимым себя считал. В этом была доля истины. Он презирал осторожность, ибо не считал себя трусом, — и в этом было его несчастье. Но скажите, положа руку на сердце: разве осторожность и трусость одно и то же? Нет, это вещи разные. Осторожен — лев, труслив — заяц... Любил, стало быть, тот самый витязь джигитовку. Был у него конь, по имени Арраш. Дышал тот конь не воздухом, как все кони, но огнем. И недаром прозвали его люди — Огнедышащий. И вот однажды на морском берегу, который так любил Абрискил, разостлали его враги свежие бычьи шкуры, и положили они те шкуры шерстью на песок. Попробуй-ка пройдишь по таким шкурам: они скользкие, как лед! И когда Абрискил вихрем понесся по берегу, споткнулся конь его и упал! Упал конь, подмял седока, и потерял седок свет в глазах своих. А когда наш витязь пришел в себя — он сидел в глубокой пещере, что выше Голубого озера. Он сидел, прикованный цепями к каменной скале, а рядом с ним глодал железо славный Арраш. И дал себе слово Абрискил — он дал его себе и народу — в том, что вырвется на волю, непременно вырвется, и тогда все люди будут довольны жизнью и счастливы вполне... — Старик помолчал и добавил с серьезным видом: — Не пытайтесь искать его в пещере, дети мои, Абрискил уже на воле!

Шаангери погладил себе бороду, расправил усы.

— А что вы знаете о Гунде и семи богатырях? — проговорил он.

— Меня интересует все,— сказала Галя.

— Ну что ж, это можно... Только в следующий раз...— протянул старик. Он подал девушке руку, и ей показалось, что она прикоснулась к сухому грибу, который нашла нынче утром у столетнего дуба...

Смел и Галя возвращались домой в сумерки. Она быстро освоилась с горными тропами и шла впереди. Он останавливал ее, предупреждал об опасных местах, словом, оберегал, как мог. В том месте, где река Сакен делала крутой изгиб и рокотала меж плакучих ив, молодые люди присели на старый, выброшенный рекою ствол. Сквозь листву деревьев пробивался слабый свет луны, витающей где-то в облаках. Было прохладно и тихо.

— Ты запомнила, что говорил Шаангери? — спросил Смел.— Для настоящего мужчины женщина выше всего. Это значит, что мужчина любит ее больше всего на свете.

Галя не согласилась с ним:

— Старик очень точно выразил свою мысль. А ты все переворачиваешь по-своему.

— Галя, но не будешь ты отрицать, что мужчина, то есть настоящий мужчина, должен сильно любить женщину?

— Я возненавижу мужчину, который будет нянчиться со мной, словно с ребенком. Терпеть не могу сюсюканья!

— И я тоже! — воскликнул Смел.— Настоящий мужчина, о котором говорил Шаангери, уважает женщину...— как бы это сказать? — всей душой уважает. Он не ласкает ее при посторонних, он даже несколько грубоват с ней на людях.

— Грубоват? Это совсем ни к чему,— заметила Галя.

Смел расхохотался и прижал ее прохладную ладонь к своему лбу, пылающему, точно сковорода на огне.

— Горячий,— сказала Галя.

— Все из-за тебя.

И Смел осторожно взял в свои грубые, мозолистые руки ее нежные, хрупкие пальцы и начал перебирать их. Это был своеобразный язык — до предела скупой, но понятный любящим во все времена...

Друзья мои, вот перед вами молодые люди, которые не всегда могут найти нужные слова, но зато у них много чувств, чистых, понятных и без слов, без красивых жестов и клятв. Они в том возрасте, когда тихий вечер и бурная горная река говорят больше, чем пылкие речи. Согласитесь же со мной: нельзя понять с чужих слов, пусть даже самых искренних и горячих, те чувства, которые испытывает в настоящую минуту Смерд от прикосновения Галиных рук. Все это надо пережить самому, а если пережито — постараться воскресить в своей памяти.

19

— Послушай, Адамур,— сказал Антон, ежась от утренней свежести,— слыхал новости?

— Где же они? Не слышу их,— промычал бывший заведующий ларьком, кашляя в кулак. С некоторых пор им владел философический скептицизм; основной девиз Адамура выражался в простых словах: вынь да положь.

— Где они? В Сакене, разумеется,— ответил Антон.

Разговор происходил в проходной будке фосфоритного завода (первенец индустриального Сакена, как называл его Кесоу Мирба). Я уже говорил вам, что теперь Адамур работает на фосфоритном заводе. Он все еще мечтал о восстановлении исконных сакенских порядков. Не без горечи наблюдал он за тем, как сносили знаменитый деревянный ларек. Порой казалось ему, что бьют ломами в самое Адамурово сердце. Прошел месяц, и на месте старого ларька вырос новый — каменный, просторный. «Все хорошо,— говорил Адамур, почесывая свои подбородки (их, если помните, было три), и присовокуплял со вздохом: — Но прежнего уюта нет как нет!» Что верно, то верно — прежней грязи и запущенных четырех стен (прославленного Адамурова уюта) как не бывало. Разбитные юноши бойко шныряли вдоль прилавка, предлагая покупателям то один, то другой товар. А что до еды, то рядом с ларьком появилось новое здание — ресторан (громкое название!) сельского потребительского общества. Правда, салфетки, вырезанные из газет, и

бумажные скатерти (тоже газеты) оставляли желать лучшего, но во всем прочем ресторан мог поспорить с любым городским. Однако заядлые сакенские кутилы все же утверждали, что пить вино приятнее в каком-нибудь закутке без всяких столов и стульев, без бумажных салфеток и скатертей.

Адамур числил себя в списках обиженных судьбой и людьми. Не так-то просто работать сторожем на заводе, где перемалывается, можно сказать, твое личное добро (фосфоритная скала возвышалась на участке, некогда принадлежавшем Адамуру). С тяжелым сердцем примирился Адамур со своим положением. Вот почему все больше и больше развивалась в нем склонность к философствованию.

Антон мало изменился за три года. Глаза остались, как и были, воспаленными; редкая рыжеватая борода имела прежний вид. Правда, повадки свои он немножко изменил — стал добросовестнее работать, реже опаздывал на поле (дескать, не хочется связываться с этим Кесоу).

— А я видел сон, — пробасил Адамур, потирая ладонью лоб, словно у него болела голова. — Сон как сон, и все-таки удивительный. Иду, значит, я по горе, а какой — не помню. Может быть, по Гуагуа, а может быть, и по Клычу. Сам понимаешь — сон. Иду и размышляю: хорошо бы на дорогу выйти, на ту, которую сейчас строят. Будто я в город тороплюсь. Вдруг кусты передо мною шевелятся, словно зверь в них какой-то засел. Я — за кинжал. Да, как на грех, дома его оставил. Я — за нож, а его тоже нет при мне. Что делать? Кричать? Неудобно как будто. И вижу я, словно наяву, вылезает из куста Рашит. Голова, значит, Раши-та, а туловище олень, только нет рогов. Я от страха ни жив ни мертв. Подходит ко мне Рашит, или олень, что ли, — не знаю, как и назвать! — и давай ноги мне обнюхивать. Понюхал он сапоги, понюхал и, ничего не сказав, снова в кусты...

— А зубы он скалил при этом? — живо заинтересовался Антон.

— Зубы? Нет как будто. Впрочем, не помню.

— Он лизал сапоги, говоришь?

— Черт бы его побрал, кажется, нет!

Антон потер кулаками глаза и зевнул.

— Аж зевота одолела,— сказал он серьезно,— значит, сон хороший. Хорошо, что зубы не скалил. Правда, было бы неплохо, ежели бы разок сапоги лизнул.

— Лизнул, лизнул! — вспомнил Адамур, и усики его от удовольствия подпрыгнули вверх.

— Поздравляю тебя, Адамур! — торжественно провозгласил Антон. — Враги твои будут у ног твоих!

Адамур достал из кармана бутылку бузиновой водки и, убедившись, что никого нет поблизости, приложился к горлышку, потом передал водку Антону.

— Ну, а новости какие же у нас? — спросил небрежно Адамур.

— Люди понемногу сходят с ума,— убежденно заявил Антон.— Сумасбродства Кесоу тебе отлично известны. Допустим, Кесоу оказался прав. Скажем, прав на самом деле. Урожай хорош, ждут нынче полтыщи с гектара, а Кесоу со своего участка — тысячу. Ну, бог с ним, с кукурузой все будто ясно. С табаком — тоже... Но чего надо этой бабенке?

Адамур мотнул головой, словно отгоняя от себя тяжелые мысли, кружившие вокруг него надоедливо, как мошара.

Он выпучил глаза и тупо уставился на Антона.

— Какой бабенке, Антон? Каме, что ли?

— Каме, разумеется! Ей звезд небесных недостает, вот и тянется к ним на цыпочках.

— Какие же такие новости, я спрашиваю, Антон? — Адамур, пожалуй, выказывал лишнее для философа нетерпение.

— В Сакене будем чай сажать,— Антон загнул палец на левой руке,— будем растить лимоны — два, эвкалипты — три и всякую чертовщину — четыре.

— Врешь,— спокойно заметил Адамур.— Врешь так же, как и она.

— Вру?! — воскликнул оскорбленный Антон, пытаясь встать со своего места.

— Сиди, сиди, Антон,— успокоил его Адамур.— Ничего этого не будет, и вот почему: с кукурузой и табаком кое-что вышло, потому что землю подкормили, подсыпали порошка, подбавили навоза и прочее. А чай и лимон, умная твоя головушка, требуют

хорошего тепла. Или, может, решено стеклянную крышу над Сакеном строить?

— Не знаю, — пробурчал озадаченный собеседник.

— Ты не знаешь, а я вот знаю: это все равно что от коровы ждать буйволенька. Сакен, запомни, не простая корова, а с норовом. Ежели бы ты сказал, что крышу строить собираются, а по всем сакенским углам и закоулкам железные печи ставить, чтобы воздух согревать — я бы еще поверил.

— В том-то и дело, что ничего этого нет, — с живостью отвечал Антон. — Одна соседская девушка ходила с Камой в лес. Там они чуть-чуть разрыхлили землю и обещали посеять лимоны.

— Посеять? Какая-то чепуха!

— В том-то и дело! Я и говорю: с ума люди посходили. Скажем, Каму сбили с толку разные там мечтатели — профессора да агрономы. Но куда наши-то глядят? От работы, можно сказать, вздохнуть некогда, день, можно сказать, короткий, проходит, как одна минута, а тут еще и лимоны и чай.

— Это ни к чему, — мрачно заметил Адамур. — Что у нас, вина не хватает, что ли?

Антон пожал плечами и промолчал.

— Ты лучше скажи об этой, как ее?.. — продолжал Адамур. Он вытащил зубами пробку, глубоко засевшую в бутылке, и сложил губы трубочкой, собираясь еще раз отведать бузиновой.

— О ком это ты?

— О пташке залетной.

— Их нынче много, — сказал Антон, впиваясь взглядом в бутылку и глотая слюну в предвкушении своей очереди. — К Гудалу приехала невестка, к Никуала...

Адамур зафыркал, скорчил страшную гримасу и передал бутылку Антону, который спустя мгновение тоже зафыркал и тоже скорчил гримасу.

— Что за невестка у Гудала?

— Какая-то девушка, ходит с тетрадями, сказки, говорят, записывает... И ко мне пристала... Хорошая девушка — ничего не скажешь...

— Женился, что ли, Смел?

— Нет, не женился. — Антон улучил минутку и еще раз хлебнул водки, энергично при этом замотав

головой.— А впрочем, не поймешь — то ли женился, то ли нет... Приехал ее брат вместе с каким-то испанцем... Да вот он, этот самый... Погляди...

Адамур глянул в смотровое окошечко. И действительно, у заводских ворот стоял Дмитрий, а рядом с ним — Смел. Они пытались открыть калиточку. Адамур по долгу службы вышел из своего закута и медленно, переваливаясь с ноги на ногу, направился к ним.

— Доброе утро, Адамур,— приветствовал его Смел.

Адамур буркнул в ответ что-то невнятное и отпер калитку.

— Вот мы с моим другом,— Смел кивнул на Дмитрия,— с приезжим товарищем, хотим осмотреть завод.

Адамур закрутил усы в тоненькие струнки и степенно поклонился Дмитрию.

— Ты наш гость,— сказал он церемонно,— и мы обязаны тебе служить. Приказывай.

Дмитрий смутился. Он не ожидал подобной галантности от заводского сторожа.

— Если это можно,— сказал Дмитрий,— мы хотели бы взглянуть на ваше предприятие.

Адамур вытаращил глаза и потряс всеми тремя подбородками.

— Что значит — можно! — воскликнул он.— Ты к нам приехал за тысячу верст — и нельзя? Конечно, можно, черт возьми! Смел, прошу тебя, будь хозяином, покажи гостю все, что его интересует.

И Адамур удалился в свою конуру, где Антон сидел, прижавшись к стене и затаив дыхание (в этот урочный час ему полагалось быть на поле).

— Что это за дядя? — спросил Дмитрий своего друга, когда они отошли от будки на некоторое расстояние.

— Знаменитый Адамур,— последовал ответ,— тот самый, о котором я тебе когда-то рассказывал.

— Я так и подумал.

— Сторож, а приглашал, словно директор.— И Куламба заметил со смехом: — На низовой работе Адамур впервые.

Адамур возвратился в будку более оживленный. Он потирал руки и чему-то ухмылялся.

— Парень собой ничего,— сказал он Антону.— Сестра, говоришь, хорошая?

— Как говорится, канарейка,— определил Антон. Адамур призадумался. Антон тотчас же сообразил, что у этого прирожденного торгаша в голове возникают какие-то новые, удивительные мысли, и дал себе слово пореже бывать здесь. «Он до добра не доведет»,— решил Антон, повязывая башлык на голове.

Сторож между тем сильно морщил лоб. Наконец он проговорил, точно был один-одинешенек:

— Появился бы пригожий парень — отбили бы ее назло... Назло всему Сакену.

Антон почел за высшее благоразумие заткнуть пальцами уши и незаметно выбраться наружу. «Этот разбойник, пожалуй, выкинет еще какое-нибудь коленце»,— думал Антон, удаляясь прочь от злополучного Адамура.

11

Нынче летом, находясь в Сакене и набрасывая этюды, я пытался поглубже вникнуть в дела сакенцев. Я помню горячие пересуды, возникшие в связи с планом Кесоу Мирба насчет скалы Милосердия (кстати, она решением сельского Совета переименована в гору Плодородия) и насчет высоких урожаев кукурузы. Я думал: как же все-таки относятся сакенцы к затее молодого агротехника Камы? Как ни странно, но ее предложения были встречены деловито, хоть и сдержанно. Казалось, летняя страда настолько утомила крестьян, что лимоны и чай не слишком-то интересовали их. Но это только казалось. Уж очень заманчивы были картины, нарисованные Камой. Разговор с первым же натурщиком многое мне объяснил.

Это был Гудал, позировавший мне на фоне дощатого щита с рубильником и черепом с костями, нарисованными белилами (семейная реликвия, напоминавшая о первой сакенской гидростанции).

— Александр,— обратился он ко мне, пока я устраивался с этюдником,— и у нас будут расти лимоны. Слышал?

Похоже было на хвастовство, и я пожал плечами.

— Лимоны, говоришь? — спросил я.

— Да, и лимоны и чай. Замышляем кой-какие мероприятия. Дело серьезное.

Этот сакенец еще три года назад с детской радостью строил самодельную электростанцию, а нынче спокойно говорил о дерзких планах Камы.

— Морозы, надеюсь, не так уж страшны? — заметил я осторожно, намечая углем контур головы, глаза, нос, усы, короткую бороду.

— Как не страшны, Александр! Вся штука в том-то и заключается, чтобы преодолеть морозы.

— А это возможно?

Гудал подумал и ответил вопросом на вопрос:

— А пятьсот пудов кукурузы получить было возможно? Все спасение в науке, — продолжал он, солидно покашливая, — не захочет к нам идти наука — мы ее силком затащим, благо дорога в Сакен теперь гладкая, что твой пол. Правда, дело это не двух и не трех лет, но дело хорошее. Мне оно нравится, — заключил Гудал.

Беседовал я также и с Никуала (написал его во весь рост, а рядом с ним — убитый медведь). Как бывший руководитель села и чуточку обиженный на односельчан, он, казалось мне, более прочих склонен к скептицизму. Я учитывал также, что образ Камы до сих пор не дает покоя его любвеобильному сердцу.

— Видишь ли, — заметил он, выпячивая грудь и глядя на острые маковки тополей (излюбленная поза сакенцев, обожающих моментальную фотографию и скороспелые этюды), — видишь ли, вообще-то говоря, это вполне возможно. Чай любит тепло. Лимон любит тепло. Эвкалипт обожает тепло. А где взять тепло в Сакене? Ни за какие деньги его здесь не купишь. Остается одно: приучить растения к холоду. О Мичурине слышал?

Я утвердительно кивнул ему.

— Ну, тогда и говорить не о чем. Все ясно! Но ты, Александр, как видно, думаешь несколько иначе.

— А именно? — спросил я, накладывая первый, легкий слой краски.

— Ты думаешь так: эти сакенцы хвастаются чаем и лимонами, словно, кроме чая и лимонов, у них всего вдоволь.

Я пытался было возражать. Однако Никуала не дал мне и слова выговорить.

— Все понимаю, Александр... Конечно, кой-кому кажется смешным, что мы в Сакене за чай беремся. Вот видишь? — Никуала показал свои грубые, мозолистые руки. — Видишь? Я — охотник, а и корчевкой занимаюсь. А почему? Потому что работы хватает и без чая.

— В таком случае оставьте в покое чай.

Никуала улыбнулся широкой улыбкой.

— Женщины затеяли это дело, пусть они продолжают, — заявил он решительно.

Признаться, я так и не понял, что он в конце концов думает о сакенском чае и лимонах.

Если мужская половина Сакена снисходительно-равнодушно отнеслась к удивительному начинанию Камы, то женская половина горою встала на защиту Камы.

Вздумалось мне как-то набросать на холсте сакенский родник. Это оказалось не просто, ибо с трудом удалось навести порядок среди многочисленных посетительниц родника, возбужденных пересудами о Каме.

— Им завидно, что девушка оказалась не глупее любого мужчины, — зло заметила старуха с лицом морщинистым, как печеное яблоко. — Помните мои слова: она еще покажет, что значит сакенская девушка!

Ее поддержала другая:

— Ежели б это затеял мужчина, то о нем трубили бы на весь Сакен.

— Не совсем так, — попытался вставить я словечко.

— Не совсем?! — воскликнули женщины в один голос. — А ну, покажи свои рисунки.

— Зачем они вам?

Девушка, по имени Катя, — дородная, загорелая, с русыми волосами, — не без злорадства заявила:

— Вы только мужчин рисуете.

— Неправда, Катя.

— А ежели и рисуете женщин, — продолжала она, подбоченясь, — то обязательно за варкой мамалыги или у родника. А разве нет женщин на поле, или в табачных сараях, или на электростанции?

Должен признаться, друзья мои, что Катя была права. Я объяснил это досадное упущение своей деликатностью, нежеланием тревожить их, слишком занятых и на работе и дома.

— Ничего подобного! — воскликнула Катя к полному удовольствию всех присутствующих женщин (а их было не менее дюжины). — Вы тоже недалеко ушли от наших мужчин.

Вогнав меня в краску, женщины дружно обрушили свое раздражение на головы сакенских мужчин и ушли восвояси с кувшинами, полными ключевой воды. Если бы их жестокие слова не сопровождались добродушным и звонким смехом, я бы сказал, что гнев их мог показаться ужасающим. Если бы, например, записать их проклятия стенографически, клянусь, содрогнулось бы не одно сердце.

Я отложил палитру и задумался, глядя на струю, словно отлитую из хрусталя. «Сколько лет струится она? — спрашивал я себя. — Сто, двести лет, а может быть, и тысячу. Кого только не бывало у этого родника! Но такие люди, как нынешние, бывали здесь когда-нибудь? Но споры, которые ведутся нынче, раздавались здесь когда-нибудь? Я, не колеблясь, отвечу на эти вопросы: нет, ни людей таких, ни споров таких не бывало здесь, ибо и времена нынче иные и люди не похожи на прежних!»

Я заметил Шаангери, идущего по тропе. Он шагал тяжело, опираясь на посох, плечи его отягощала огромная кабардинская бурка, и он дымил крепчайшим табаком.

— А, Александр, здравствуй, — сказал Шаангери хрипло, поравнявшись со мной. — Все рисуешь?.. Торопись, друг мой, рисуй, скоро твоим рисункам цены не будет.

— Моим, Шаангери?

— А то чьим же? Ты рисуешь дикую скалу, а она скоро исчезнет, вместо нее, говорят, появится сад. Ты рисуешь родник, но скоро потечет вода по трубам. Вот и покажешь всем старый Сакен на своих рисунках. И люди будут удивляться тому, как могли они жить в такой глуши. И мой портрет заканчивай поскорее, Александр. Человек — не камень, а полтора века — не тридцать лет...

Старик закашлялся, схватился за горло, и я с трудом разобрал слово: «Душит». Он был бледен, едва дышал, но зрачки — верный барометр здоровья — блестели, словно черные сливы, только что перемытые дождем.

Шаангери махнул рукой и, качнувшись, медленно двинулся дальше...

12

Солнце осветило вершины сакенских гор теми розоватыми лучами, какие бывают у него только в самые ранние часы. Река из серой становится бледно-розовой, ворчание ее усиливается: кажется, и она просыпается вместе со всей природой.

Тараш и Кесоу сидят на огромном прибрежном камне и наблюдают за работой мотоплуга. Председатель сельского Совета морщит свое и без того морщинистое лицо. Кажется, его угнетает боль, которую он тщательно скрывает от посторонних. Ему не нравится Дамей, слишком независимо восседающий на миниатюрном тракторе. Почему он так медленно пашет? И почему мотор время от времени уподобляется огнестрельному оружию? Разве мотору полагается стрелять? И к тому же этот участок — он так мал даже для мотоплуга.

Дамей исчезает в предутреннем тумане и вскоре появляется снова.

Как видно, и сам он изрядно смущен поведением своей машины.

Кесоу останавливает его жестом руки.

— Зачем стреляешь? — говорит он.

— Это надо спросить у нее.

Дамей соскакивает со своего сиденья и, выругавшись, начинает копать в частях мотоплуга. Тараш становится поодаль. Он замеряет глубину вспашки и остается доволен. «Нет, пашет неплохо», — говорит он себе. Но его не устраивают ни эти оглушительные выстрелы, ни размеры участка.

— Проверь зажигание, — замечает Кесоу.

Вдруг машина переходит на сплошные залпы. Ее с трудом удастся утихомирить.

— Дело не в зажигании,— возражает Дамей.— Бензин никудышный — вот что! Я буду жаловаться в район. На нефтебазе мы вроде пасынков.

В доказательство своих слов Дамей выливает себе на ладонь немного бензина.

— Разве на таком поработаешь?

Он вытирает руки о комбинезон (Кесоу настоял на том, чтобы водитель мотоплуга был одет в синий комбинезон) и едет дальше, подымая целинные пласты.

— А участок тебе нравится, Кесоу? — спрашивает Тараш.

— Да разве это участок?! — восклицает Мирба.— Он мал даже для мотоплуга. Такой участок надо пахать швейной машиной.

И он высказывает некоторые соображения по этому поводу. Вот вспахивается участочек. А машина, как известно, любит большие просторы. Однако не так уж богат Сакен земельными массивами. Пока что придется довольствоваться небольшими участками и перегонять мотоплуг с места на место. Огромный гусеничный трактор, доставленный в Сакен месяц назад, занимается только корчевкой леса — больше делать ему нечего.

— Бригады укрупняем,— заключает Кесоу,— участки увеличиваем. Машинам тесно на малых площадях — это факт.

— Что правда, то правда, Кесоу. Я считаю, что можно объединить третью и четвертую бригады — они слишком малы. И земли их надо соединить в один массив. Нельзя допускать, чтобы машины топтались на малюсеньких клочках.

— Верно,— соглашается Кесоу,— но на все нужно время и рабочие руки, Тараш.

— Черт возьми! — говорит Тараш. — Я думал так: получим машины — освободятся рабочие руки. А выходит что? Машинам тесно — значит, корчуй лес. Когда есть машины — хочется большего. Захотел большего — давай людей. Жизнь, брат ты мой, свои законы пишет.

Тараш говорит горячо, словно Кесоу спорит с ним.

Дамей между тем развернул машину и полез на косогор. Плуг работал отлично, если не думать о неприятных выстрелах.

Группа крестьян, проходившая по полю, остановилась, чтобы полюбоваться крошечным трактором.

— Точно ишак! — воскликнул старик, по имени Кан. — Славный у тебя ишак, Кесоу.

Дамей круто повернул машину и угрожающе двинулся к крестьянам.

— Эй, черт! — крикнул Кан, отпрянув в сторону. — Плохие у тебя повадки, Дамей!

Кесоу спросил Кана, куда идет он вместе со своими товарищами.

— Разве тебе неизвестно это? — сказал Кан. — Мы должны были продолжать прополку на кукурузном поле. Да, видишь ли, вздумалось нашему бригадиру скалу рушить у самой реки. Неужели нельзя было послать туда других?

— Кого? — спросил Кесоу.

Кан подумал, почесал затылок, но так и не придумал кого.

— Во всяком случае, не нас же, черт возьми! — воскликнул он.

— Это не вашего бригадира выдумка, — успокоил Кесоу готового разбушеваться Кана. — И скалу надо рушить. Маловато людей — каждому приходится всюду поспевать.

Кан огрызнулся:

— Не людей маловато, а берем на себя многовато.

Кесоу не стал с ним спорить. Кан, как это и следовало ожидать, быстро остыл.

— Пошли! — крикнул он своим.

И широко зашагал впереди своей группы, затянув песню. Его дружно поддержали, и звонкая песня поплыла над полями:

К роднику, роднику подошла,
Засмотрелась на струю...
Не заметила орла —
Жажда мучила ее...
И когда орел заговорил,
Испугалась белолицая...
Не заметила орла —
Жажда мучила ее...

Крестьяне скрылись за пригорком, но песня еще долго доносилась сюда. Дамей, приглушив мотор, с удовольствием прислушивался к ней.

— Итак,— сказал Тараш, снова присаживаясь на камень,— к нам приезжает секретарь райкома. Чем же мы можем похвастать?

Кесоу нравится этот высокий, изнуренный болезнью, но твердый и настойчивый человек. Было что-то притягательное в спокойной речи Тараша, в его покашливании и даже в болезненной неторопливости. Он успевал и заседание в сельском Совете провести, и на поле побывать, с людьми поговорить. Вот и сейчас ровным, басовитым голосом перечислял Тараш некоторые, как он выразился, достижения. Фосфоритный завод выполнил месячный план, на складе немало запасов ценного удобрения; уборка табака идет нормально; кукуруза... вот тут, пожалуй...

— Все будет в порядке,— уверенно заявляет Кесоу.— Я вчера обошел все поля. Первая бригада не оплошает. Вторая даст по полтысячи пудов — голову на отсечение!

— А твой участок?

— Я докажу, что и тысяча пудов не предел для Сакена! В прошлом году шестьсот кой-кого удивили — не правда ли? В нынешнем — тысяча! — Кесоу поднялся во весь рост и еще раз повторил: — Тысяча!

Он положил руку на плечо Тарашу, словно хотел опереться на него.

— Послушай, Тараш. Хорошо, что сакенцы сдержали свое слово. Но нельзя ли еще больше размахнуться? Я думаю об этом и днем и ночью. И разные приходят в голову мысли, но порой от них становится страшно.

— Да, дело серьезное,— проговорил Тараш.— А ты посоветуйся с нашим агротехником.

— С Камой? — Кесоу посмотрел на Тараша так, словно тот оскорбил его.

— Отчего бы и нет? — продолжал невозмутимо председатель сельского Совета.— Она девушка ученая, толк в своей специальности понимает.

— Знаю,— пробормотал Кесоу,— она тоже не нахвалится тобой, за поддержку тебя благодарит.

Тараш закашлялся и, отдышавшись, сказал, что поддержка его — посильная, незначительная; он

должен оказывать ее по долгу службы. Научные предложения, как известно, всегда требуют поддержки, а жить без науки немыслимо даже в Сакене. Затею Камы вернее было бы назвать опытом, именно опытом. Неужели Кесоу возражает? В чем же существо вопроса? Обычный лимон не переносит морозов более восьми-девяти градусов. Чай тоже боится холода. Эвкалипт — тоже. Как же быть? — спрашивается. Ежели удастся вывести морозоустойчивые сорта, дело будет сделано огромное... Вот оно что!

Кесоу от нетерпения потирает руки — все это ему ясно давным-давно. И его чуточку возмущает этот нравоучительный тон: точно Кесоу мешает кому-нибудь. Но Кесоу научился брать себя в руки (насколько позволяет его характер).

— Все это прекрасно, — говорит Кесоу, — агротехник не остается без помощи, места для посевов намечены, вчера передана телефонограмма в район с просьбой о семенах. Но я о другом подумываю, о главном...

Кесоу поднялся, сердито нахлобучил папаху на самые брови, прищурил глаза.

Солнце выглянуло из-за горы Гуагуа и точно зашагало по маковкам сосен. Летнее солнце злое: оно начинает припекать с самого раннего утра. И особенно кажется злым, когда ты сам злишься.

Кесоу не договорил, а Тараш и не попытался выяснить, в чем же заключается главное, что не дает покоя председателю колхоза. Тараш сказал, меняя тему разговора:

— Не нравится мне загрузка электростанции: всего семьдесят процентов мощности. Энергия нужна, а проводов не дают. Придется жаловаться райкому, Александру Ивановичу...

Он простился с Кесоу и зашагал по целине к гусеничному трактору, который корчевал пни за пригорком.

Кесоу повернулся лицом к реке и вздохнул полной грудью: воздух и свеж и чист. На дне реки Сакен плавали косяки рыб — они хорошо были видны с высокого берега. Кесоу вздохнул еще раз и туже затянул пояс...

На следующее утро Кесоу разбудили раньше обычного. У изголовья стояла Нина, глаза ее были полны слез.

— В чем дело? — спросил Кесоу.

Нина молча вытерла рукавом мокрые глаза.

— Шаангери... — сказала она, запинаясь.

— Что Шаангери?

— Умирает... — промолвила девушка и выбежала в сени.

В комнате стоял тусклый, казалось, загустевший свет. Ива, растущая у самого дома, шелестела на ветру. День выдался пасмурный, серый-пресерый... Умирает Шаангери. Нет, это казалось невозможным, таким же невероятным, как если бы сказали, что высыхает или потекла вспять река Сакен. Умирает Шаангери... Уходило из жизни что-то большое и хорошее, и молодому человеку стало очень грустно. Нет, смерть не пугала его. Слишком часто смотрел он в ее пустые глаза на фронте. И ни разу не отвернулся трусливо. Но смерть в эту летнюю, мирную пору казалась полной несуразностью. При чем тут смерть, когда мечты сбываются одна за другою, когда все меняется к лучшему, когда только бы жить да жить! Правда, полтора столетия за плечами не шутка, природа в конце концов свое берет... И все-таки трудно примириться со смертью.

Входит Екуп. Обе руки он держит на пояснице и горбится пуще обычного.

— Такие-то дела, — говорит он, — ничего не поделаешь. Старые умирают, молодые остаются жить. Видишь ли, простыл где-то Шаангери. А много ли ему надо? Доктора к себе не подпустил...

— Как так не подпустил?

— «Не надо», говорит, и все. Тараш в город позвонил, врачи выехали, скоро придут с лекарствами.

Кесоу быстро оделся, умылся и, не завтракая, ушел со двора. Он слышал, как приговаривал Екуп:

— Старые уходят, молодые остаются.

«Все это верно, — говорил себе Кесоу, — но старые должны оставаться жить как можно дольше, хотя бы на час, но дольше!»

У самого дома Шаангери молодого человека настиг дождь — летний ливень в горах. Кесоу едва не вымок насквозь. Отряхнул в сенях мокрую папаху, осторожно почистил сапоги. Люди уже собрались и тихо перешептывались меж собою.

Шаангери лежал на высокой кровати. Его окружали родные: дети, внуки, правнуки, праправнуки, родственники. Кесоу еще с порога увидел бледное лицо старца и его едва шевелящиеся одеревенелые губы.

Председатель сельского Совета разговаривал с врачами — городскими и местным.

— Мы привезли все необходимое, — сказал молодой врач, открывая небольшой обитый кожей ящик. — Коллега сообщил, что у больного воспаление легких. Мы немедленно оборвем болезнь.

Тут подошел один из внуков Шаангери и шепнул несколько слов на ухо Кесоу.

— Товарищи, — обратился Кесоу к прибывшим врачам (их было двое), — вас просит больной.

Старик, казалось, почувствовал себя лучше. Он произнес, четко выговаривая слова:

— Пусть подойдут.

Трое врачей — один из них сакенский — безмолвно подошли к постели. Все четыре угла комнаты были заняты родственниками, сбившимися в тесные кружки. Старик возлежал на смертном одре с таким видом, будто прилег отдохнуть. Он сделал над собой невероятное усилие и улыбнулся. «Ничего не понимают врачи, — подумал Кесоу, — старик здоров». Но глаза, друзья мои, Шаангерины глаза были уже не те: они слегка помутнели, свидетельствуя о холоде, который сковывал душу и сердце.

— Сколько тебе лет? — спросил Шаангери.

Врачи смутились.

— Двадцать семь, — ответил один из них.

— А тебе?

— Тридцать.

— А тебе?.. Впрочем, знаю, ребенок ты еще.

Это относилось к врачу-сакенцу, и односельчане, не выдержав, заулыбались.

— Кесоу, — промолвил старик после небольшого раздумья, — ежели и твои годы прибавить к годам

трех врачей — до моих все же будет очень далеко. Вот видите? — продолжал Шаангери. — А вы беспокоитесь, будто молодой человек уходит. Правда, не мешало бы пожить еще годик.

— За чем же дело стало? — сказали городские врачи. — Можно и два и три...

— Нет, — прохрипел Шаангери, — только годик.

Наступило тягостное молчание. Старик захрипел, но снова приоткрыл тяжелые веки и продолжал:

— Не надо, пожалуй, и года... Живите вы... Об одном прошу: ежели есть у вас ко мне хоть капля уважения — оставьте меня в покое... Мне хорошо... Мне хочется только спать...

Вдруг грянул гром, и где-то с треском обрушилась молния.

Врачи удалились, чтобы посоветоваться на свободе и исполнить свой долг.

— Дамей, — проговорил Шаангери, — ты когда-то прекрасно пел. Знаешь песню ранения? Это хорошая, целебная песня. А ежели усну... станцуйте медвежью. Славная пляска, ей-богу. Бывало...

И старик сладко зевнул.

Дамей склонился над умирающим. Он отошел на шаг и проговорил громким шепотом, который был слышен всем, ибо в комнате, в сенях и во дворе стояла, что называется, гробовая тишина:

— Тише... Спит...

Но то был сон, от которого не пробуждаются, крепкий сон на сто пятьдесят первом году от роду...

Дамей собрал вокруг себя молодежь.

— Он просил песню ранения, — сказал он. — Спойте, дорогие мои.

И они запели:

Пуля страшна ли герою?
Пулю вытащит нож!
Раны ль боится герой?
Травами лечится рана!
Слава мужчине-герою,
От земли и до звезд ему — слава!..

Это была старинная песня, она звучала и торжественно и скорбно.

Дождь зарядил по-настоящему. Небесные краны открыть-то открыли, а вот закрыть их — позабыли. Вздулись речушки, помутнели родники, река Сакен ошетибилась острыми волнами; она ревела, рычала, грозя кинуться на близстоящие деревья. Однако ложе у реки было достаточно просторно, чтобы вместить все ливневые воды и доставить их в полной сохранности к самому Кодору. Гуагуа и Клыч подернулись сплошной пеленой тумана, их словно и не бывало на свете. Электростанцию чуть не затопило водой, кое-где свалились электрические столбы, но их быстро подняли.

Жизнь шла своим чередом.

Нога у Гомеса поправлялась. Никуала хвастал новыми победами над медведями. Кама внимательно изучала местность, каждый клочок земли, выбирала почвы, прикидывала — что, когда и как сеять; Галя по-прежнему вела свои записи.

С братом у нее что-то не ладилось. Говорят, они поссорились из-за Камы. А почему, спрашивается? Причина простая: Галя — за Каму, а Дмитрий — за Кесоу. Дмитрий полагал, что надо сначала менять климат, а уж потом браться за лимоны. Шутка сказать — менять климат! Это дело многих лет, и задача эта едва ли под силу одному Сакену и даже всему району. А Галя всецело на стороне Камы. Вот и ссора.

Кесоу ходил мрачный. Донимали его, с одной стороны, дела, а с другой — так называемые сердечные глупости (читайте: любовь).

Колхозом Кесоу был доволен — здесь все обстояло более или менее благополучно. Но личная жизнь складывалась как-то несуразно. Отношения с Камой не налаживались (так, по крайней мере, казалось всем). Только придет мысль о Каме, а тут уж, хочешь или не хочешь, лезут в голову и Рашит, и проклятый Адамур, и все эти городские поцелуи. К тому же упорно поговаривают, что Никуала не дремлет: охота, дескать, охотой, но и девушку он держит на прицеле. И кто знает, вдруг Кама решится... возьмет и назло Кесоу... Нет, до этого доводить никак нельзя...

Кесоу сидит в лесу на горе Клыч. А под ним внизу — село Сакен, оно лежит за туманной сеткой дождя.

Хорошо в сосновом бору! На земле — сухие иглы, пахнет смолой, и от дождя удобно укрыться. Сосны — высокие, стройные, шишки падают непрерывно, наполняя лес чудесным шумом.

Кесоу примостился у огромной сосны. Перед ним прямо на земле разложена карта Сакена (обыкновенная двухверстка). Ветер шевелит жесткими вершинами деревьев, и они шуршат своими иглами, словно папоротниковая кровля над уютной избушкой.

По правую руку от Кесоу — седловина, именуемая Турьей. Если горы, окружающие Сакен, представить в виде огромного плетня, то Турья седловина — лаз в этом плетне. Холодные северные ветры проникают через него так же свободно, как солнечные лучи сквозь чистое стекло. Седловина когда-то, несомненно, была покрыта лесом, но теперь это голая местность, вроде головы, с которой начисто сняли густую шевелюру. Между горой Клыч и горой Гуагуа тоже имеется впадина — долина реки Сакен. И в этой долине люди постарались уничтожить леса. Во-первых, к этим лесам удобно было подойти, а во-вторых, тут рос бук — отличное топливо. Долина, таким образом, превратилась в своего рода ристалище для бешеных ветров. Два лаза — Турья седловина и долина Сакен — расположены почти друг против друга. Это прекрасный путь для сквозных ветров. «Стало быть, — размышлял Кесоу, почесывая затылок (действие, отражающее некоторую неуверенность), — климат в Сакене суровее, чем он должен быть на самом-то деле. Надо вернуть Сакену прежний климат, то есть вопрос надо решать «кардинально» (словечко, очень понравившееся Кесоу).

Мирба погрузился в глубокое раздумье. Теперь перед ним стояла уже не проблема скалы Милосердия, но задача во сто крат сложнее. То была задача более полного использования сил природы, природы беспощадной, если отдаться на волю ее прихотей, и природы — верной помощницы, если заставить ее подчиниться себе!

А дождь все лил, и тучи все ползли. Их черные громады лепились к самой горе, пониже того места, где уютно пристроился Кесоу. И тогда уж председатель колхоза «Светлый луч» казался не просто председателем, но самым богом, восседавшим на небе.

15

— Дальше так продолжаться не может!

Это решительное и по смыслу и по тону заявление принадлежит Кама. Оно сделано в просторном сарае, где женщины нижут свежие, слегка клейкие и душистые табачные листья. Та, к которой относились эти слова, виновато опустила голову и тяжело вздохнула, слишком тяжело, чтобы поверить в искренность этого вздоха.

— Я лучше и не умею,— проговорила она конфузливо.

Кама присела на низенький табурет и взяла в руки огромную низальную иглу, похожую на вертел, на котором жарят шашлыки.

— Надя,— повернулась Кама к худощавой женщине, скромно низавшей листья в углу,— сколько тебе лет?

— Скоро исполнится сорок,— ответила Надя.

— Ты в школе училась?

— Не довелось.

— А ты, Есма?

Есма — та самая молодуха, у которой пунцовые щеки и которая только что проговорила сконфуженно: «Я лучше и не умею».

— Окончила семь классов,— произнесла она.

— Ты всех моложе,— сказала Кама жестко. Она обратилась к женщинам: — Почему Есма нижет хуже Нади? Что у нее, здоровья меньше, чем у Нади, или знаний недостает? Никак не пойму: в чем тут дело? У Нади уже две нормы, а у Есмы и половины нет. А день идет к концу.

Женщины прекратили низку и вразнобой старались ответить Кама на ее вопросы.

— Она слишком молода,— заметила Надя, поправляя косынку.

— Не в этом дело,— вмешалась другая,— а ты, Кама, иглу проверь. Наверно, вовсе затупилась.

— Да, игла никудышная. Я понимаю,— продолжала Кама,— понимаю, что рвение в работе — это очень много. Но есть и другое: сноровка. Вот я слежу за Надей. Пусть она покажет свою работу.

Надя, чтобы скрыть смущение, закрыла лицо своими жесткими, огрубевшими ладонями.

— Ничего особенного. Что же тут мудреного?

Ее все-таки упросили показать, как она берет листья, в каких пальцах и как держит иглу, с какой стороны должны лежать листья, чтобы было сподручнее их брать. И Надя сказала:

— Ну, что вам показывать-то? Вы и без меня знаете. Беру листья и складываю вот тут, рядышком, поближе, складываю их побольше, чтобы меньше терять времени. Иглу, значит, проверяю с вечера, натачиваю ее получше. Сажусь поудобней, не как-нибудь, а чтобы спина не уставала. Вот и весь сказ.

Она выхватила несколько листьев и мгновенно наизала их на иглу. Ее движения были размеренны, тщательно продуманы, и, можно сказать, она не делала ни одного лишнего.

— Верно,— сказала Кама,— вот вам и сноровка, умение и прилежание. Видела, Есма?

— Видела.

— Может, и ты попробуешь?

— Отчего же, могу и я. Как все, так и я.

— Между прочим,— продолжала Кама,— хорошо бы тебе, Надя, пройти по бригадам и показать свою работу.

— Что ты! Подумаешь, невидаль!

— Именно невидаль. Должна сказать, дорогие мои, что всякой работе надо учиться, даже самой простой. Это неправда, будто только грамоте учатся!

Кама покраснелась. Она говорила горячо, но дружески. Кажется, ясно всем: низка отнимает очень много времени, это кропотливый труд, но без него не обойтись.

— Существуют низальные машины,— говорила Кама,— я их видела собственными глазами, вот как вижу вас. Подкладывает листья, а машина нижеет.— Она помолчала немного и добавила: — Правда, нижеет

она пока что слабовато. Но, говорят, скоро ее усовершенствуют и тогда начнут выпускать в большом количестве.

— Вот бы нам такую машину!

— А что вы думаете? Я уже замолвила словечко. Не можем мы без машин!

«Хорошая девушка,— подумала между тем Надя, следя за Камой,— и образованная, и собой красивая, а счастья, видно, не написано ей на роду».

Нет, не те у Камы глаза, каким надлежит быть у беззаботной молодой горянки. Виною этому, по мнению многих, неудачная любовь. Любит она Кесоу, а он к ней как будто поостыл, вот, стало быть, и подтачивает эта беда девичье сердце. Замуж бы ей пора, не девочка, слава богу. И вспомнилось Наде, как ее самое пятнадцатилетней выдавали замуж, не спросясь желания ее, не считаясь с ее чувствами,— так и передали в руки забулдыге и пьянице. И никто не хотел прислушаться к ее душе. А ведь была у нее душа и в пятнадцать лет, и нравился ей, говоря по совести... Однако стоит ли вспоминать?.. Надя хмурит брови, бешено нализывает листья и говорит себе со злобой: «Пусть выходит, когда ей самой захочется! И нечего ее подгонять! Сердце само подскажет!»

...Недалеко от табачного сарая Кама повстречала Кесоу.

— Кесоу,— сказала она, глядя мимо него,— некоторые женщины работают из рук вон плохо.

Да, это для него не новость. Работают скверно не только в третьей бригаде, но и в пятой. А что предлагает агротехник? Обсуждение опыта лучших низальщиц? А что же, это, пожалуй, идея.

— Вот выглянет солнце,— сказала Кама,— табак так и потечет с плантаций в сарай. А низать как же будем? Непременно отстанем.

— Нет, это невозможно,— говорит Кесоу и трет себе лоб.— Отставать нельзя. Ты, Кама, права: необходимо обучать настоящей низке. Может, возьмемся мы с тобой за это дело? А?

«Мы с тобой» прозвучало как-то особенно значительно. Возможно, Кесоу и хотел вложить в эти слова определенный смысл, но скорее всего Кама поняла их по-своему.

— Отчего же, возьмемся, — согласилась она кротко.

«Она похорошела, — решил Кесоу. — И эти тонкие чулки красиво сидят на ее ногах». Кесоу почему-то вдруг нахмурился.

«Сердится, что ли? — думает Кама. — Не пойму, что с ним такое...» А Кесоу слушает ее, а думает о своем. «Неужели эти губы?..»

— Я считаю, — звучал голос Камы, — перед районом надо поставить вопрос о низальных машинах. Они или уже в городе, или скоро придут туда.

Кесоу следил за ее руками, мелькавшими перед ним, словно бабочки (белые бабочки в весенний день). Быть может, высказать ей все, что накопилось в душе?

— Пятидесятый год! — продолжала Кама. — Нельзя нам без машин.

«Или подождать, пока все дела уладятся?» — размышлял Кесоу.

— И дорога строится медленно. У самого села вдруг застопорилось. В чем дело?

— Что ты говоришь? Ах, да, дорога... — Кесоу извинился за свою рассеянность. Он объяснил: — Не спали всю ночь — медведей выслеживали. Звери не дают покоя — кукурузу портят!

Кама простилась с ним. Молодому человеку очень хотелось посмотреть ей вслед. Шея, подчиняясь неведомой силе, казалось, сама тянулась за девушкой. Но Кесоу пересилил себя и громко проговорил:

— Да, надо выделить лучших низальщиц...

— Что ты сказал, Кесоу?

Мирба оглянулся и увидел узкие, смеющиеся глаза начальника гидростанции. Он держал под руку Дауда, ведающего табачной рассадой. Старик щурил близорукие глаза, задумчиво почесывая бороду.

— Да вот, — протянул неохотно Кесоу, — низальщиц отругали.

— За что?

— Работа плохо спорится... А вы что ходите парой, словно Антон и Адамур?

Григорий (начальник гидростанции) проглотил слюну, и острый кадык у него так и заходил ходуном.

Он снял фуражку и старательно почистил козырек рукавом ворсистого полушубка.

— Кесоу,— сказал Григорий,— у нас к тебе важное дело.

И он жестом пригласил Мирба присесть на огромное, в два обхвата, бревно.

— Вот что, Кесоу: мы с Даудом о сушке табака подумываем.

— Прекрасно! Дауду положено думать о сушке, я это понимаю. А ты при чем?

— Можешь ответить на один мой вопрос? — спросил Григорий с таинственным видом.

— Спрашивай, Григорий, в чем дело?

— Скажи, пожалуйста, для чего нижут табачные листья? Для чего ежегодно тысячи людей тратят драгоценное время на эту нудную работу?

— Как для чего? — удивился Кесоу.— Сушить-то надо? Что за нелепый вопрос!

— Все в свое время узнаешь, — невозмутимо продолжал Григорий.— Стало быть, листья нижут, чтобы их сушить. А сушат где? На солнце. Солнце высушивает, а потом табак посылают на ферментацию. Табак сушат не день и не два. Ежели солнце не соизволило показаться, то его приходится ждать. Не так ли?

— Это азбучные истины, Григорий.

— Отлично, Кесоу, отлично. Идем дальше. Я хочу сказать: надо ли сушить табак на солнце? То есть обязательно только на солнце? Что такое солнечный луч? Что требуется от солнца? Отвечай прямо, Кесоу.

Кесоу сказал:

— Я знаю одно: нужно жаркое солнце.

— Это не ответ. Солнце — это вот что: видимые лучи — раз, тепловые — два, ультрафиолетовые — три. И затем еще чуточку бета-, чуточку гамма-, чуточку альфа-лучей и еще кое-что. А что нам нужно из всего этого богатства?

Кесоу подумал.

— Нам нужен ясный день и чтобы было жарко.

— Верно,— подхватил Григорий,— нужна жара. А это значит, что позарез необходимы инфракрасные, тепловые, лучи. Ясно?

— Это ясно,— подтвердил Кесоу.

Григорий вскочил с места и, подбоченившись, спросил:

— Так зачем ждать солнца, когда все необходимое для сушки есть у нас в Сакене? Инфракрасные лучи — это спираль, через которую пропускается ток. Этими лучами и надо сушить табаки. Мы с Даудом предлагаем вот что: сушить табак по нашему способу, а затем отправить его на ферментацию. Результат покажет, правы мы или нет.

Кесоу с восхищением смотрел то на Григория, то на Дауда.

— Все это хорошо, дорогие друзья! — воскликнул он. — Чудесная мысль! Вот ежели б сравнить листья... листья природной сушки и сушки по вашему способу...

— Листья? — Григорий торжественно извлек из карманов пачку табачных листьев. — Вот они: эти — обычной сушки, а эти — нашей.

Кесоу пригляделся к листьям попристальней, понюхал их.

— Не знаю, что из всего этого получится, но, кажется, придумано здорово! Да вы просто молодцы! — воскликнул Кесоу. — Слышите — молодцы!

И он обнял Дауда и Григория.

16

Гомес поправлялся. Он уже ходил по комнате, опираясь на палку. Сакенцы оказались правы: никакого перелома ноги! Опухоль заметно спала. Никуала мог похвастаться проницательностью своих односельчан.

— Я медицину уважаю, — говорил он Антонио и Дмитрию, — но я плюну в глаза тому, кто посмеет ругать нашу народную медицину. Вы говорите: пенициллин! Согласен, хорошая штука, наш врач молится на него. А я спрашиваю его: «Из чего делают твоё лекарство? Из золота, что ли?» — «Нет, говорит, не из золота, а из плесени». Вот оно что! «Слушай, говорю ему, а что ты скажешь, ежели узнаешь, что ещё моя бабушка лечила раны плесенью?» Да, да, не смейтесь, она выискивала под домом зеленую плесень и мазала ею раны. Она научила меня готовить разные зелья от укуса змей. Я знаю даже наговоры против коршунов.

Словом, Никуала очень был доволен тем, что Гомес выздоравливает. Он обещал непременно сводить своих друзей на охоту.

— Это не просто охота,— говорил он горячо.— Это — охрана урожая. Что делает медведь? Он сожрет один свеженький кочан кукурузы, из которого течет молоко, а наломает при этом тысячу стеблей. Нет, медведь очень опасен. Я это заявляю как председатель комиссии по охране урожая.

Дмитрий подивился повадкам сакенских медведей. Никуала показалось, что молодой человек будто не очень-то доверяет его словам.

— Нет, я вас должен сводить на охоту,— решил Никуала, — обязательно на охоту. А сегодня могу вам показать какое-нибудь поле, где побывали косолапые.— Он спохватился: — Нет, сегодня не могу. Сегодня у нас корчевка. Это тоже интересно. Хотите пойти на корчевку?

...Как-то вечером явилась Кама. Никуала растерялся. Ему почудилось, что девушка, движимая раскаянием (а этого Никуала очень хотелось), ищет повода, чтобы насолить этому высокомерному Кесоу. Охотнику и в голову не приходило, что могут найтись и другие причины для столь неожиданного визита (обычная самоуверенность сакенских ухажеров). Никуала вдруг приободрился, на мгновение вспыхнула в нем надежда, казалось угасшая навеки. Однако бодрое настроение исчезло, как только Кама попросила свидания с Гомесом. Дело в том, оказывается, что она выделена докладчиком и ей необходимо побеседовать с ним. Это был самый настоящий удар (чтобы не сказать — пощечина). Но Никуала, привыкший к переменчивому нраву своей судьбы, героически снес и эту невольную обиду. Он предоставил гостье полную возможность побеседовать с молодыми людьми, а сам потихоньку позвал кое-кого из соседей отужинать. Ужин обещал быть исключительным благодаря присутствию Камы. «Надо действовать различными методами,— пытался утешить себя главарь сакенских охотников.— В данном случае некоторая торжественность приема не будет худо истолкована Камой. А быть может, даже совсем напротив».

Он отдавал распоряжения, какие куски свежей

и копченой медвежатины и прочей снеди поднести гостям, из какого кувшина брать вино.

Традиционные куры на сей раз отсутствовали по той простой причине, что незадолго перед тем дважды приезжали друзья. Широкий по натуре, Никуала ничего не жалеет для друзей, не жалеет, разумеется, и кур. Но Никуала глядел далеко вперед и припас для будущих гостей немало дичи.

Занимаясь делами хозяйственными, Никуала оставался в курсе беседы: он улавливал отдельные фразы и по ним догадывался, о чем идет речь; по интонациям Антонио он безошибочно мог определить, когда дело касается республиканской Испании, а когда Испании Франко.

Дмитрий молчал, лишь изредка вставляя в разговор несколько слов: он восполнял рассказ испанца там, где Антонио, по соображениям скромности, опускал интересные подробности.

Лет тринадцать назад молодой каталонский парнишка Антонио Гомес потерял все: родных, которые погибли от бомбы, брата, павшего в бою под Мадридом. Потерял, наконец, родину. Но вскоре он обрел и родной край и теплый очаг: его приютили в одном из московских детских домов, где добрые люди заменили ему прежнюю семью. На новой родине началась новая жизнь. Теперь Антонио работает на заводе вместе с Дмитрием Сомовым. Антонио, как и Дмитрий, токарь по металлу.

Кама слушала Гомеса, широко раскрыв глаза. Она не представляла себе, как это можно выгнать человека из родных пределов. Проникнутая беспредельной любовью ко всему, что связано с родиной, Кама с трудом постигала положение человека, не видящего неба своей отчизны.

— Я тоже горец,— говорил Антонио с сильным акцентом,— мы тоже жили в горах.

Стоявший в сенях Никуала видел, как испанец пожимал руку Каме и благодарил в ее лице сакенцев за радушие. Представьте себе, Кама не отнимала смущенно руки, не краснела и не заикалась, как это случилось с нею прежде. Нет, она отвечала испанцу просто, дружески, умно. Никуала не утерпел, чтобы не вмешаться в разговор.

— Кама,— сказал он, гордо подбоченясь,— я знаю испанцев (у него чуть не сорвалось: «как свои пять пальцев»)... я знаю испанцев неплохо. На фронте встречал разных: одни стреляли в меня, а другие помогали мне. Был у меня...

— ...хороший друг Пабло,— продолжала Кама за него.

Этот выпад не смутил охотника.

— Неужели я рассказывал о нем? — спросил он с невинным видом.— Одним словом, хорошие были ребята в нашей разведке. И Пабло и другие...

Гомес выразил сомнение: нужно ли устраивать вечер? Ему, право, неловко.

— Мы устраиваем для себя, а не для вас,— возразила Кама.

— А теперь,— провозгласил нетерпеливый Никуала,— давайте отведаем хлеба-соли.

Кроме тех, кого пригласил Никуала, неожиданно явились Нина, Галя и Смел. Вскоре гости уже сидели за скромным, но, по сакенским понятиям, обильным столом.

Ныне, находясь далеко от Сакена, я не могу отказать себе в удовольствии кратко перечислить блюда, которые украшали стол охотника. Я уже не буду говорить о чудесной мамалыге из белой кукурузной муки, ибо ее было столько, что сидящие друг против друга гости с трудом могли обменяться взглядами (обычная сакенская щедрость по части еды). Не буду также касаться и румяного чурека, разбросанного на столе, словно галька на морском берегу; не коснусь я и водки различных сортов (бузиновой, грушевой, яблочной, виноградной). Едва ли удивлю кого-нибудь и мясными блюдами, а именно: медвежатиной — копченой и свежей, и говядиной — тоже копченой и свежей. Молочные блюда (свежий сыр, сыр копченый, сыр козий и бараний) едва ли кого-нибудь заинтересуют. Но что действительно потрясло гостей, так это подливы: различные соки, способные сразить любого своей пронзительной остротой. Подливы эти, составляющие гордость сакенского стола, способны буквально воспламенять внутренности. Только попробуешь их — пламя так и начинает бить из горла, как из горячей нефтяной скважины, и, если вовремя не потушить

огонь (единственное спасение — вино), человек обращается в пепел. Так, по крайней мере, утверждают сакенцы.

Подливы состояли из соков: ореховых, барбарисовых, помидорных, алычовых, чесночных. Каждая из этих подлив была такой силы, что с чем бы ее ни ели — все теряло вкус. Во рту оставалось только ощущение ожога. В качестве неотъемлемой составной части к каждой из подлив был в изобилии примешан перец — своего рода гремучая ртуть, присутствие которой необходимо для вышеуказанного воспламенения внутренностей. Но каждая подлива содержала и ароматические составы, как-то: мяту, желтый цветочный перец, травы, именуемые в Сакене заячьим глазом, медвежьим ухом, кунитыным цветом, куриной мятой, стеблем цесарки и так далее.

Все обратили внимание на то, как Гомес пил водку и вино. Две обязательные за столом рюмки он, что называется, опрокинул и не поморщился, а вино пил глотками, причмокивая от удовольствия губами.

— Так нельзя, — заметил Никуала, — водку выпил хорошо, а вино — нет.

— На улице Горького в Москве, — сказал испанец, — мы с тобой точно так же будем пить водку.

— Спасибо, Антон. Но вино пьешь неправильно. Пей разом — так лучше. — И он торжественно произнес: — Этот тост я пью за нашего дорогого Антона.

Он опорожнил турий рог и вручил его оторопевшему Дмитрию. Дмитрий почесал затылок, посмотрел на сестру, встретился взглядом с Ниной. Нина молча подбодрила его. Дмитрий выпил рог и передал его Смелу.

— Долой Франко! — вскричал молодой человек. — Да здравствует Антонио Гомес!

— Кто этот Франко? — спросил Дамей своего соседа по столу.

Тот был настолько занят медвежатиной, что только бросил сквозь зубы:

— Палач.

Услышав это слово, оскорбляющее всякое благородное ухо с тех пор, как существует белый свет, Дамей потребовал рог.

— Имени этого подлеца я не хочу поминать за этим добрым столом,— сказал он.— Но ежели встречу его где-нибудь, поговорю с ним по-своему!

Дамей торжественно осушил рог, почистил рукавом усы и обратился к Гомесу:

— Послушай, Антон, твое дело верное, не горюй — будешь дома! И ежели...— Дамей сделал паузу и еще раз повторил: — И ежели там, у себя, ты не угостишь меня своим вином — не считай меня другом.

Антонио встал и протянул руку Дамею. Сакенец пожал ее, обнял испанца и крепко поцеловал его в самые губы.

Дмитрий сидел рядом с Ниной. Он положил ей на тарелку огромный кусок мяса. Девушка даже покраснела от такого усердия соседа.

— Что вы делаете? — удивилась она.

— Как что? Угощаю вас.— Он посмотрел ей в глаза и тихо сказал: — Не сердитесь.

Она пожала плечами:

— За что?

Дмитрий подумал немного, поднял чайный стакан вина.

— За ваше здоровье, Нина.

Нина опустила голову и начала яростно мять крохотный носовой платок, кокетливо обшитый кружевом.

Кама предложила тост за испанских и сакенских девушек.

— Вы женаты, Антонио? — поинтересовалась она.

— Да,— ответил испанец.

— Как зовут вашу жену?

— Маша! — вскрикнул Антонио, точно неожиданно увидел ее в дверях.

Никуала принес гитару, взял несколько аккордов.

— Гитара! — обрадовался испанец, невольно протягивая руки к инструменту.

Его попросили сыграть и спеть что-нибудь испанское.

— Они хорошо поют,— подтвердил Никуала.

— Что вы! — отказывался Гомес. — Теперь я почти совсем русский человек. А впрочем...— И он объявил: — «Хороший охотник».

И, откашлявшись, Антонио запел. Он пел об удачливом охотнике. Вот она, эта песня:

Утром туманным
Я на охоту пошел,
Ни куропаток, ни уток
Я, увы, не нашел...

Антонио повесил нос, изображая крайнее уныние.

В рощу забрел я,
Где бойкая речка текла, —

продолжал он, —

Там на траве зеленой
Девушка мирно спала...

Песня всеми была выслушана с чисто сакенским вниманием, которое радушно прощает не только голосовые недостатки, но и неверные ноты, режущие ухо.

Охмелевший Никуала (как хозяин, он пил все бокалы до дна) попросил Каму порадовать гостей какой-нибудь горской песней.

— Душещипательной! Любовной! — просил он.

Кама перебрала в голове несколько песен и запела ту, в которой рассказывалось о девушке, изошедшей слезами от безутешной любви. Впоследствии, как утверждала песня, на том самом месте, куда падали слезы девушки, забил родник.

Средь скал он струится,
Кристалльный,
И кто бы к нему ни прильнул
Горячими,
Как солнце, губами,
Тот узнает любовь,
Тот узнает любовь
И милое сердце поймет...

...А что такое там, друзья мои, в небе, над славным домом Никуала? Что это за светящийся хоровод, живой и веселый? То Млечный Путь, то мириады звезд, прорезавшихся на высоком небе. Они усеяли все пространство его, огорченные тем, что вынуждены лишь наблюдать это пиршество в небольшом, но уютном деревянном доме сакенского охотника.

За столом зашел разговор о лимонах Камы. Галя и Нина восхищались проектами агротехника. Все обошлось бы хорошо, если б Галя не вздумала чокнуться с Камой и сказать несколько, казалось бы, безобидных слов.

— За полное поражение ваших врагов, — пожелала она.

При этом, очевидно, имелось в виду, что главный враг (разумеется, Кесоу) отсутствует. Да не тут-то было!

— Позвольте, — вмешался Дмитрий, — о каких врагах вы говорите?

— А это не твое дело, — ответила ему сестра.

— Как не мое? — Дмитрий насупился. — Это нечестно. Вы должны говорить прямо в лицо, а не прятаться за спиной.

Галя пожала плечами.

— А мы никого не боимся.

— Вот что, товарищи. — Дмитрий встал. — Я считаю, что Кама не права. Да, да, не права. Я говорил с Кесоу и считаю, что он правильно подходит к делу. Надо что-то делать с климатом, а потом уж браться за лимоны и прочее.

Слово «прочее» оскорбило Каму.

— Дмитрий, — заметила она, — вы не агроном и не можете так с маху об этом судить.

Дмитрий возразил:

— Агрономия тут ни при чем. Здравый смысл подсказывает мне вывод!

— А ты подумал, — говорила разгоряченная Галя, — что значит — менять климат? Это задача не одного и не двух или трех лет. И не одного Сакена дело.

Стол, что называется, раскололся: одни горой стали за Каму, другие вступились за Кесоу. Ну, это в Сакене не внове, здесь это частенько бывает по многим поводам, а часто даже без повода. Самое смешное, мне кажется, в том, что поссорились Дмитрий и Галя, и поссорились основательно. Галя была возмущена, как она выразилась, безответственными заявлениями проезжего туриста.

— Как? — вскричал он. — Я — проезжий турист? Кесоу прав, и я буду бороться за его предложения, а если потребуется, то специально в район поеду.

— Мы тоже кое-что понимаем, — пригрозила сестра, — и не позволим мешать людям работать.

Одним словом, получился небольшой скандал. Никуала, как хозяин, пытался примирить противоречия, хотя у него, разумеется, было и свое собственное мнение.

— Дорогие мои, — говорил он, — есть доля правды у каждой стороны. Климат? Очень хорошо! Лимоны? Тоже хорошо! Мы будем стремиться и к тому и к другому. Одна цель — побольше, вроде горы, другая — поменьше, вроде большой скалы. Но сейчас самое лучшее — это рог с красным вином. Я хочу выпить за горячих людей. Деритесь, дорогие мои, это лучше, чем жить спокойно, безо всякой мечты. — И тут же добавил, хитро подмигнув: — Деритесь, но не забывайте: надо выпить тост. Не каждый день бывает воскресный вечер. Ясно?

...В понедельник рано утром Дмитрий разыскал Кесоу.

— Вот что, — сказал москвич, — до сегодняшнего дня я оставался наблюдателем, но дальше не могу. Считаю, что план ваш замечательный. Если пригожусь вам — располагайте мной, где бы я ни был, здесь или там, в Москве.

18

Кесоу повстречал Константина на лесной опушке. Огромный гусеничный трактор легко выдергивал глубоко вросшие в землю пни, точно гнилые старческие зубы. Порою машина гудела. Ей будто не доставало воздуха для горячего дыхания. А затем, рванувшись с места, она разом успокаивалась: это значило, что дело свое она сделала.

Константин следил за корчевкой с явным удовольствием. Машина нравилась ему. Он думал о слоноподобных сакенских буйволах, которые нынче казались карликами в сравнении с этой неукротимой железной машиной.

Было жарко. Солнце нещадно припекало землю. Оно точно торопилось отдать ей весь свой жар, пока не подспели облака, которые уже сгущались далеко над морем и медленно двигались к Сакену.

— Ну, как дела? — спросил Константин, предлагая Кесоу папиросу.

Кесоу был в хорошем настроении. Сакенец, у которого спорится дело и которого пригревает солнышко, не может не пребывать в хорошем, я бы даже сказал, в прекрасном настроении. Все неурядицы кажутся ему малозначительными (об этом я уже говорил при случае). Вот почему Кесоу ответил не без бахвальства:

— Дела идут отлично. Табак поступает по плану. Листья ниже все быстрее. Обменялись опытом наших лучших низальщиц. Ну, что еще? С кукурузой тоже неплохо.

Константин, этот тяжелодум, покуривал папиросу с явным наслаждением. Прищурив глаза, следил он за сизым дымом, ровной струйкой поднимавшимся кверху.

— Неплохо, говоришь, с кукурузой? — Константин пожевал кончик папиросы и сплюнул. — Ты имеешь в виду все участки?

— Нет, не все, — не без горечи признался Кесоу. — Участки, что повыше, на косогорах, не очень удались. Но за триста пудов все-таки ручаюсь!

— А твой участок? Тысячу пудов обещаешь?

— С каждого гектара? — Кесоу ответил не сразу. Он сделал, я бы сказал, героическое усилие, чтобы без обычной горячности обдумать ответ. Константин не прощает скороспелых выводов.

Но за него ответил сам Константин:

— Думаю, что все будет в порядке. Учти: можно вырастить хороший урожай, но ежели не уберечь его — пропадет все.

Константин с похвалой отзывался о Никуала и его друзьях — бьют они медведей просто замечательно! Один косолапый может доставить уйму хлопот — нужен глаз да глаз.

— Тебя в Герои метим, — продолжал Константин, жестом останавливая протест Кесоу. — Нет, это не личное твоё дело. Ведь кто-нибудь должен открыть список

сакенских Героев? Вот мой совет тебе, Кесоу,— Константин положил ему руку на плечо,— никогда не довольствуйся успехом, как бы велик он ни был. Эти слова, что тебе, должно быть, известно, не мои. Сдается мне, мы в чем-то очень важном отстаем от общего развития страны. Может быть, Кесоу, пора подумать о каком-то новом начинании?

Кесоу взял под руку Константина и медленно прошелся с ним по лужайке, изуродованной ямами после корчевки.

— Ты словно в воду глядишь,— сказал Кесоу.— Я много думал о затее нашего агротехника (он не прибавил — Камы). Ежели посмотреть серьезно — затея большая. Сказать по правде, кукуруза и табак меня уже не очень волнуют.

Константин погрозил ему пальцем.

— Я хочу сказать, что с кукурузой и табаком мы справились,— поправился Кесоу.— А вот наш агротехник привез из города свежие мысли. И о них-то и следует поговорить.

Константин сказал себе: «Признает ошибку. Каму надо поддержать». И проговорил вслух:

— Ты прав. Не кажется ли тебе, что мы можем взяться за новую, большую...— ему не терпелось сказать «проблему», но он удержался,— за большую задачу?

— Именно, Константин! — воскликнул Кесоу.

Константин присел на вывороченный дубовый пенек. Кесоу вооружился длинной хворостиной, ею он начертил на земле план Сакена. Его интересовали горы, и он обозначил их комьями земли. Каблуком сапога он прорыл канавку, долженствующую изображать реку Сакен.

Константин терпеливо выслушал план похода Кесоу на сакенский климат, который, судя по всему, не устраивал молодого человека. Этот план был изложен достаточно горячо, чтобы можно было ждать немедленного отклика со стороны Константина. Но секретарь партийной организации, человек деловой и практический, молчал. Кесоу, давно привыкший к его немногословию, подивился на этот раз: таких длинных, красноречивых пауз даже за Константином не замечалось.

— Я говорил с Тарашем,— раскрыл он наконец уста,— и мы с ним твердо сошлись в одном: нам надо собраться и поговорить. Поговорить, поставить вопрос на правлении, посоветоваться с Александром Ивановичем. Кстати, он скоро прибудет сюда.

— Кому это «нам» собраться? — процедил Кесоу сквозь зубы.

— Тебе, Каме и мне с Тарашем. То, что ты сказал,— дело далекого будущего, и мы должны идти навстречу будущему. Но никогда не следует торопиться в серьезном предприятии. Этим я не хочу сказать, конечно, что надо топтаться на одном месте.— Константин начертил в воздухе прямую линию, что означало: придерживайся прямой и верной линии.

Кесоу давно оценил прямоту и доброжелательность Константина и даже некоторую его осторожность (что никак не припишешь лени). Более того, Кесоу кое в чем искренне желал бы походить на Константина. Жизнь, как известно, штука интересная, но сложная. Можно и должно работать горячо, но горячность нельзя подменять поспешностью. В горячности есть свои положительные стороны, но трезвая мужская зрелость куда лучше! Прав Константин: примерить лишний раз никогда не худо.

Кесоу не сердился на Константина. Он потуже затянул пояс, по-военному выпятил грудь.

— Согласен,— произнес Кесоу как можно мягче,— один ум хорошо, а четыре — лучше. Только вот о чем прошу: возьмемся за дело с душой, не будем зря терять время.

Константин улыбнулся и потрепал молодого человека по плечу. Выразить свои чувства ярче этот сдержанный человек, пожалуй, и не умел.

Смел только что проснулся. «Поздно или рано?» — гадал он. Вокруг необычайно тихо: так бывает только в полдень, когда припекает августовское солнце и все живое прячется в прохладной тени. Он смотрел на внушительную аппликацию, которая висела на стене. В рамке из неприхотливого орнамента был изображен, по-видимому, олень. Морда была похожа на челове-

ческое лицо. Странно, как прежде не замечал этого Смел. Олень казался безобразным, рога очертаниями своими напоминали странный корень, вроде тех, что корчуют на берегу Сакена. А вот в морде действительно есть что-то человеческое. На кого похож этот олень? На Адамура, вот на кого!

Смел приподнялся, опершись на локоть. «Ну да, вылитый Адамур», — подумал он.

Приоткрылась дверь, и в комнату неслышно вошла Камачич. Лицо у нее исполнено благоговения. Это и понятно: через две недели снова укатит в Москву Смел. Как быстро проходят каникулы!

— Мама, — говорит Смел, — чья это работа?

Камачич поправляет аппликацию тощими, потемневшими у очага руками и гордо признается:

— Моя.

— Тебе не кажется, что этот олень напоминает...

— Конечно, — перебивает мать, — и даже очень. Точно такого же оленя убил твой отец лет двадцать тому назад.

Молодой Куламба с трудом сдерживает смех. Мать присаживается к нему на кровать, гладит сына по голове. Смел принимает ласки нехотя (настоящий сакенец внешне равнодушен к материнской нежности). Камачич вздыхает и не без тайного умысла заводит разговор.

— Устаешь, сынок, не правда ли? Отдохнул бы, посидел бы в тени. Вчера с утра до вечера пропадал на поле.

— Нет, я совсем не устал.

— Эта девушка тоже много работает, — говорит Камачич. — Все время пишет. Большая охотница до сказок и песен. У нее много бумаги, и она всю ее хочет исписать. Она сама призналась мне в этом.

— Да, мама, это ее специальность.

— Она и по хозяйству помогает. Очень непоседливая. Я ей говорю: «Ты много работаешь, целый день пишешь, да еще и к роднику бегаешь, и у очага своих глаз не жалеешь. Нельзя, говорю, ты — девушка городская». Она смеется, просит показать, как готовят барбарисовую подливку да как толкут перец с травами.

— Женщина всегда остается женщиной,— с деланным равнодушием замечает сын.

— Неправда! Возьмем соседскую Любочку. Она не маленькая — ей семнадцать лет. А поручи мамалыгу сварить — подаст несъедобную кашу. Я и говорю ее матери: «Так нельзя, неправильно дочь растишь». А она в ответ: «В школе учится, лень ей стряпать». — «А кушать, говорю, не лень? Вот, говорю, есть у нас гостья, за один месяц всему выучилась».

— Положим, не всему. Да это и не нужно.

— Я и говорю: «Галя, не надо». Она смеется, босая по траве бегают. Городская, простудится.

— Привыкла, должно быть, к холоду,— говорит Смел.

— Послушай, ты чего-то грустишь.

Камачич обнимает сына.

— Ежели задумал что-нибудь — скажи,— шепчет она.— Мы с твоим отцом переговорили — все будет по-твоему. Девушка она хорошая, нам нравится, людям — тоже. Я не сказала бы, что ты стар. Но ты же знаешь, как мы тебя любим, и, ей-богу, не меньше бы полюбили и ее.

Смел высвободился из материнских объятий. Он посмотрел на мать долгим, недоуменным взглядом. Камачич как-то съежилась вся, и ему стало жаль ее.

— Мама,— говорит он,— ну как тебе не стыдно? Что за намеки? Какие предложения? Разве мы маленькие? Может быть, ты думаешь, что она только балуется с этими записями?

— Что ты! — мягко возражает Камачич.— Я все понимаю.

Смел видит, что мать понимает, но по-своему. Нет, он не станет с ней спорить. Это бесполезно.

Камачич решительно прижимается к нему щекой и шепчет:

— Ты же не маленький. Надо нам подготовиться как следует. Ты только правду скажи — пир закатим горой.

Смел молчит.

Казалось, только вчера он бегал мальчишкой, гонял буйволов и коров; только вчера играл в мяч, сва-

лянный из шерсти; только вчера мечтал об инженерной науке... А нынче с ним заводят разговор о женитьбе, нынче он — будущий инженер, нынче он — мужчина, о невесте которого говорит все село. Кажется, сбываются его мечты, а их очень много. Настанет день — и необозримые горизонты откроются перед Смелом, и новые, более дерзкие, чем прежде, мечты заполнят его душу. Вернется ли он снова в Сакен? Может быть. Или уедет в далекую Сибирь, где, говорят, укрощают реки? Может быть. Или поманят его волжские просторы, и он там будет творить и строить? Может быть, все может быть...

А я не сомневаюсь, что его мечты сбудутся. Я говорю так, ибо это случилось и случается с миллионами молодых советских людей. Поверьте мне: пройдет три-четыре года — и, не сомневаюсь, мы снова увидимся с вами, и вы скажете, непременно скажете мне: «Да, вы были правы, мечты Смела Куламба сбылись!»

А Камачич все нашептывает сыну теплые, сердечные слова, и сын вовсе разомлел, незаметно поддался материнской ласке.

— Я уж ей говорила, — шепчет Камачич.

— Кому? — вскрикивает Смел и краснеет, словно перец.

— Гале.

— Что ты ей говорила, мама?

— То же, что и тебе.

Смел не знает, что делать: сердиться ему или все обратить в шутку? Он выбирает второе.

— Ну и что же она?

— Ничего, долго смеялась, хохотала.

Смел молча глядит на мать с видом бодливого телка.

Входит Гудал. Он потирает от удовольствия руки. Отец словно помолодел за последние три года. Лицо глаже, будто и седины меньше. Рядом с Камачич он выглядит просто молодцом.

— Мы с Галей все порешили, — говорит он весело, не замечая, что сын изменился в лице. — От ворот пойдет дорожка, а то неприятно шлепать по лужам.

— Ты о чем? — спрашивает Смел.

— Все о том же, об асфальте. Я говорил с начальником нашей дороги. Это хороший парень, только немного на Рашита похож. Такой же живой, шустрый, все мигом готов уладить, словом — парень-огонь! Но по уму совсем не Рашит. Тот — забулдыга, этот — умница.

— Где нынче Рашит, кто его знает? — говорит со вздохом Камачич. Как матери, ей жаль эту пропащую душу.

— Шляется, наверно, где-нибудь по белу свету, — отвечает Гудал. — Хорошо, что сбежал, а то бы несдобровать ни Адамуру, ни Антону. Они все на него одного взвалили. Ну, черт с ним. Так вот, асфальт во дворе положим.

— Будет тебе, — останавливает его Камачич, всю жизнь страдавшая от мужниных причуд. — Зачем тебе это? Слава богу, дороги сельские — что ковры в иных домах, а по двору как-нибудь уж сумеем пройти.

— Нет, — возражает Гудал, — как-нибудь нынче не годится. Дорожку проложим от дома до кухни — раз. От дома до коровника — два. От ворот до дома — три. И до птичника — четыре. Что скажете?

— Выдумщик ты, вот что.

— Но это еще не все, — продолжает хозяин, потирая руки. — Один столб с лампочкой поставим у ворот, другой... другой — посреди двора, третий — на задворке, четвертый...

— Не нужен четвертый, — замечает Камачич, — горит же лампочка в сенях.

— Верно, — соглашается Гудал, — четвертый не нужен. Галя одобрила мой план. «Вы, — говорит она, — скоро нас, городских, обгоните». А я говорю ей: «Что же тут удивительного!»

— Ох и хвастун же ты! Лучше б крышу починил, протекает она.

— И крышу починим, — весело отзывается Гудал.

Смел зарывается головой в подушку. Он не слышит спора родителей. Ему ни о чем не думается, просто хочется прийти в себя, унять биение сердца. А в это время со двора доносится звонкий голос Гали:

— Смел! Тебя ждет Николай!

Смел прислушивается: разве не так поют соловьи весною? Да нет же, куда им! Этот голос можно отличить среди миллиона других. Не найдешь в целом свете голоса, похожего на этот!

20

По ту сторону плетня стоит Николай Айба, молодой студент-историк. Он очень гордится своей специальностью. Скромный, бледнолицый (верный признак учености), худощавый и малоразговорчивый — таков облик будущего исследователя глубин человеческой истории и, несомненно, истории Сакена.

Должен заметить, что своей историей сакенцы интересуются давно. Вы, может быть, помните, как один чахоточный чиновник отыскал в горах усыпальницу древних людей? Как известно, факт этот в свое время порадовал сакенцев. Я не сомневаюсь, что рассказы о находке в горах некоторым образом повлияли на решение Айба сделаться историком. Николай Айба уехал учиться в один год со Смелом Куламба. Он был принят сразу и, стало быть, на курс опередил Смела.

Айба серьезен. Галя, напротив, говорит громко и весело. Она в платье без рукавов, в огромных, на босу ногу, галошах. Кожа ее рук и ног блестит на утреннем солнце, точно зеркало (любимый образ сакенцев, когда речь заходит о телесной красоте женщины).

Смел, неумытый, с всклокоченными волосами, здоровается с товарищем, учтиво осведомляется у Гали, как она спала этой ночью. Подчеркнутая галантность наводит Айба на мысль, что неспроста оказалась Галя в доме Гудала Куламба. Историк мысленно соглашается с теми, кто прочит эту девушку за нескладного Смела. Он невольно думает о своих однокурсниках и приходит к убеждению, что филология нежит интересных девушек, в то время как история губит их красоту. Правда, Николай ничем не может подкрепить эту странную теорию, что, впрочем, для историка не является чем-то сверхъестественным.

— Николай ждет тебя целых полчаса, — говорит Галя Смелу.

Николай Айба рос сиротой. Отец Николая, Гудим Айба, отличался живостью характера и настойчивостью. Он ухитрялся, не имея ни волов, ни буйволов, ни даже собственной приличной сохи, раньше других вспахивать землю и вовремя убирать урожай. У него, по словам сакенцев, был острый язык, хуже бритвы. Не дай бог попасться на такой язык! У очага Гудим бывал весел и разговорчив, даже если у него за день не было во рту ни маковой росинки. У костра, щуря глаза от едкого дыма, он расплачивался со своими обидчиками. Главным оружием его, как я уже говорил, был острый язык. А своими врагами он считал князей и дворян и вовсе этого не скрывал. Не раз пыталась остерегать его жена, но куда там! Раз Гудим сел на любимого конька — пиши пропало. Князья не раз угрожали ему через подосланных. А когда в Сакене объявилась советская власть, Гудим стал ее первым и ревностным поборником.

Николаю шел второй год, когда привезли тело отца, закутанное в бурку. Это было подлое убийство из-за угла, политическая месть врагов новой власти. На руках у вдовы осталось трое ребят. Положение казалось безвыходным. Однако только казалось. Все трое благополучно окончили школу, а самый младший, Николай, как видите, даже учится в городе. Как и Смел, он проводил свои каникулы в родном селе.

— Он уже хотел уйти, — сказала Галя укоризненно, — и ты много потерял бы, Смел. Николай пришел показать свою находку.

Историк держал в одной руке небольшой чемоданчик, а в другой — кирку.

— Находку? — спросил Смел. — Да ты же историк, черт возьми!

— Я занимаюсь археологией, — заметил Николай, краснея и слегка заикаясь, как мальчик, который говорит заведомую ложь.

— Это одно и то же, — заявил Смел, чье слегка презрительное отношение к гуманитарным наукам было известно Гале.

Девушка сочла нужным вступить за Николая.

— Смел влюблен только в свое электричество. Он ничего не смыслит в археологии. Спросите его о раскопках в Египте или Трое — и он ничего не ответит.

— Неправда, — возразил электротехник с истинно сакенской живостью. — Неправда. Культуру надо создавать вокруг себя, а не искать ее в земле.

— А я буду спорить, — сказала Галя твердо, — и докажу, что на одной электротехнике далеко не уедешь.

Николай счел нужным выразить свое отношение. Историк сказал:

— Я понимаю, вы оба шутите.

Так просто разрешил этот сакенец спор о первоначимости наук.

Николай отбросил кирку в сторону. Он щелкнул замочками на чемодане, но, прежде чем приоткрыть крышку, достал из кармана черный конверт с фотографиями.

— Вот это наш двор, — пояснил он, подавая Гале серый снимок. — Вот — плетень, там — всполье. Справа — наш дом.

— Вижу, — сказал Смел, — вон там, подальше, стоит опора линии высокого напряжения.

— Верно, стоит столб. — Николай достал из кармана небольшой бронзовый топорик. — Этот топорик найден недалеко от столба.

— А кто делал эти снимки? — спросил Смел.

— Наш фотограф Салуман.

— Сплошной туман, а не снимок! — возмутился Смел.

— Ты правду говоришь, — согласился с ним археолог. — Так вот... Я осмотрел местность и решил немножко расковырять землю. Вот и наткнулся на кости. Тут я решил, что дело серьезное, и позвал фотографа...

— Надо его хорошенько проучить за такие снимки!

— Верно, Смел. Раскопал я площадь в несколько квадратных метров, очистил свою находку от земли, не трогая ничего, и сфотографировал.

— Лошадь это, что ли? — догадывался Смел.

— Именно. Кости павшей лошади. Вот тут видна

сбруя, украшения... Я начал копать дальше и откопал вот что.

— Человеческий скелет,— определила Галя.

— Да, кости и кольчуга. Тут наконечники стрел, тут и кинжалы. Могила воина. В этой могиле я нашел до полусотни бронзовых вещей.

При всей своей скромности Николай не мог не похвастать:

— Большая ценность.— И он открыл чемодан.

Чемодан был набит наконечниками стрел, различными украшениями из бронзы и железа, оружием, к слову сказать, отличнойковки. Наконец Николай достал из кармана тщательно обернутые в платочек сердоликовые бусы.

— Неужели сердолик? — воскликнула Галя.

— Да,— ответил археолог.

— А ты знаешь их свойство, Смел? — Галя благоговейно перебирала в руках бусы.— Древние верили в их целебную силу. Какая прелесть! Какой изумительный цвет!

Археолог, пересиливая себя, предложил в подарок несколько бусинок. Галя, к его огорчению, не преминула принять их.

Смел наблюдал за тем, как осторожно прятал свою находку молодой историк. С каждой ржавой вещичкой он обращался, как с новорожденным ребенком, который, глядишь, вот-вот выскользнет из неумелых рук. И Смел подумал про себя, подумал без зависти: «Из него выйдет настоящий ученый».

— Я подозреваю,— сказал Айба,— что можно много кое-чего найти. Только надо копать. Вот прополка одолела. Находки находками, а урожай не ждет. Приходится помогать.

— Я уверена,— заявила Галя,— что вам запретят выходить в поле, как только узнают о ваших находках.

Айба улыбнулся и пожал плечами.

— Ничего, ничего,— сказал Смел,— наш Николай везде успеет. У нас с ним особый уговор: на каникулах работать не хуже крестьянина.

А вечером весь Сакен — весь, от родников до крутых нагорий,— говорил о чудесном открытии молодого человека, по имени Николай Айба. А был он рань-

ше, недоумевали сакенцы, таким незаметным! Говорят, древней могиле не меньше двух тысяч лет. Не лыком, стало быть, шиты сакенцы!

О чудесных находках молодого ученого рассказывал Никуала своим друзьям.

Раннее-раннее утро — ни свет ни заря. Среди густой и высокой кукурузы лежат на земле Никуала, Дмитрий и Гомес. Они вооружены охотничьими ружьями. Шагах в двадцати от них — всполье, граничащее с лесной чащей. Чаща, темная, молчаливая, спит еще в эту раннюю пору.

Всю ночь дежурили охотники, не смыкая глаз, однако косолапые гости не появились. Всю ночь занимал Никуала своих друзей разной былью-небылицей. Он, казалось, иссяк, как и любой сосуд, обладающий ограниченным объемом. Новую пищу для разговоров дали ему открытия Николая Айба.

— Хороший парень, — говорил Никуала, жуя травинку. — Молчит, не треплет языком, а потом все и покажет — разные там чудеса. Две тысячи лет — это не шутка! Что скажешь, Дмитрий?

— Важное открытие, — пробормотал Дмитрий, которому наскучило бесцельное лежание.

— Одну минуту, — прошептал Гомес. — Что это? Охотники насторожились.

— Пустяки, — сказал Никуала, — листья шумят. Когда идет медведь по лесу — будто ученические карандаши ломают, много карандашей. Ясно?

Он посмотрел на утомленных бессонницей молодых людей.

— Вы думаете, он не придет? — продолжал он. — Обязательно придет. Вы же хотите кушать каждый день, даже несколько раз в день? Так и он. Медведь очень похож на человека. Знаменитый Гудыса говорил, что человек от медведя происходит. Когда медведь умирает, он говорит: «Мама, мама... мама... мама». Человек — тоже.

— Кто это говорил? — спросил Гомес.

— Гудыса говорил. Эх, великий был человек, большой охотник. Есть хорошая песня про него, очень хорошая!

И Никуала запел песню, запел едва слышно, срывающимся голосом:

На каждой скале отвесной —
Огонь его ружья.
Много в горах тропинок —
Это его тропинки.
По ним доставляет дичь
Герой несравненный Гудыса.

Жаждет его кремневка
Мяса, словно сокол.
Бьет она птицу в глаз,
Серне хребет ломает —
Метко, метко стреляет
Герой несравненный Гудыса.

— Плохо спел, — признался охотник, — нельзя
петь без вина. Когда на столе дичь и вино — хорошо
петь о Гудыса.

— Ну, а теперь? — спросил тревожно Дмитрий.
Никуала прислушался.

— Теперь он самый, — сказал охотник. — Ви-
дишь кусты, что пореже? Это его калитка. Первым
будет стрелять Антон. Антон, ты бей его в сердце.
Ежели пуля тебя обманет — выстрелит Дмитрий. —
Желая заранее снять всякую ответственность со своих
гостей, Никуала заметил шепотом: — Бывает так: хо-
рошо взял прицел, рука крепкая, как камень, сердце
совсем не бьется, а глаз очень меткий — пуля, считай,
лежит в его сердце. Все будто хорошо, но пуля обма-
нывает, с дороги сбивается, промах получается.

Гомес припал лицом к прикладу, прицелился
в темное пятно, обозначавшее прогалину в лесной ча-
ще. Его примеру последовал и Дмитрий. Никуала при-
встал на руках и вдруг припал к земле.

— Целых два! — прошептал Никуала. — Стрелять
не надо, Антон. Они пойдут в разные стороны кукуру-
зу кушать — у каждого свой участок. Тогда и надо
стрелять. Вы, Дмитрий и Антон, бейте того, что налево
пойдет. Ясно? Бейте в середину сердца или чуть-чуть
пониже середины, на полпальца пониже.

Тот, кто когда-нибудь сидел в засаде, охотясь на
медведей, поймет состояние, в котором пребывали
Дмитрий и Антонио. Они знали, что недобитый зверь
опасен. Они знали, что нельзя терять присутствие ду-
ха. Молодые люди больше всего волновались, пожа-
луй, потому, что отлично знали все правила и боялись
ошибиться.

Никуала подмигнул им: дескать, все будет в порядке.

Гомес и Дмитрий воочию увидели живых лохматых медведей. Звери шли, осторожно ступая. Как и предвидел Никуала, они разошлись: один зашагал направо, а тот, что был покрупнее, — налево. Теперь уже и молодые люди понимали, что все будет в порядке, и они обменялись улыбками с главарем сакенских охотников.

Вскоре раздались выстрелы, и каждый сакенец, слышав хорошо знакомые звуки, говорил про себя: «Удачи твоей пуле».

21

В субботний вечер в клубе свет зажегся раньше обычного. Кесоу тщательно осмотрел все комнаты, зал и сцену и пришел к выводу, что все в надлежащем порядке. Здание клуба построено совсем недавно. Зал рассчитан на четыреста мест, но если чуточку потесниться — вместятся и все пятьсот. Сакенцы гордятся своей сценой — она на полтора метра больше городской. Имеются огромные фонари, способные дать любое освещение: обыкновенное, красное, желтое, синее и зеленое. Бывает и так: расположится на сцене президиум собрания, а директор клуба (молодой человек, по имени Георгий) прикажет включить полный свет — весь президиум жмурится, как от летнего солнца. Особенно приятно проделывать это, когда кто-нибудь из города приезжает, — знай, мол, наших! Между прочим, есть и декорации. На одном огромном полотнище изображен лес, на другом — горы (в Сакене, да без гор!), а на третьем — внутренность дома. Имеются парики и много грима. Занавес, должен заметить, шелковый, вполне приличный (пожалели в районе бархат, к себе в театр забрали).

При клубе работают хоровой и драматический кружки, отлично ладят между собой, помогают друг другу. Есть тут и читальня и библиотека.

Здание празднично украшено. Над порталом сцены кумач с надписью: «Привет трудящимся Испании и всего земного шара!» Мушаг, директор школы, дней десять натаскивает своих кружковцев, что-то разучи-

вает с ними, а что именно — о том приказано молчать.

Кама пришла на собрание озабоченная и сразу направилась в библиотеку просмотреть еще раз свои записи. Ей предстояло первое большое выступление перед односельчанами, и она, разумеется, волновалась. Но стоило подняться на трибуну и оглядеть полный зал и президиум, ослепленный светом, — она разом успокоилась и даже расхрабрилась...

В президиуме сидели Антонио и Дмитрий — почетные гости сакенцев. Рядом с ними — Тараш и Константин. Никуала с достоинством представлял сакенских охотников.

Когда водворилась тишина, Кама заговорила. Не успела и рта раскрыть, а уж односельчане решили: «Говорит, как пишет». Во-первых, она удивила своих слушателей умением держаться на трибуне. Во-вторых, казалась красивее обычного: ей, если можно так сказать, очень шла эта трибуна из чистого ореха, темная, под цвет ее волос. Кама словно повзрослела, стала еще стройнее — вот беспристрастное заключение аудитории. Говорила Кама мягким, грудным голосом, который порою звучал даже грозно.

Кесоу наблюдал за нею исподлобья. Он сидел на дальнем конце стола. Константин выразительно подмигнул Мирба и кивнул ему головой: дескать, неплохой оратор наша Кама.

Дмитрий Сомов, по замыслу организаторов вечера, представлял трудящихся столицы.

Сакенцы с удовольствием слушали Каму, тем более что говорила она громко, четко и обещала не испытывать долготерпения присутствующих.

Гневно клеймила она позором Франко и его американских покровителей. Кама заявила, что народ, давший миру знаменитых художников и писателей, нельзя закабалить навечно. При этом она произнесла незнакомые собранию имена Сервантеса и Гойи. Она сообщила, что сакенцы, как и вся страна, высказались за мир, против войны.

Значительная часть доклада была посвящена событиям в Корее. И это понятно — сакенцы от души сочувствовали тем, на чьи головы в эти минуты падали американские бомбы.

В нарушение всяких правил, поднялся с места Екуп и попросил слова. Он сказал, обращаясь к Гомесу, следующее:

— Сын мой, я стар, и мои слова не очень-то много значат, но все же запомни их: недолго тебе ходить вдалеке от родного края. Наступит день — и ты скажешь: да, прав был Екуп!

Выступление старика Мирба понравилось сакенцам. Кто-то выкрикнул:

— Твоими бы устами да мед пить!

А в дальнем углу кто-то несмело произнес:

— Аминь!

Получилось это не очень складно, и люди разразились дружеским смехом.

Я сидел в заднем ряду, ближе к выходу. С удовольствием наблюдал я это собрание, осененное великими словами: свобода, труд и мир! Я всматривался в своих односельчан и диву давался: каждый из них в эту минуту мысленно витал где-нибудь в Корее или Малайе, в Испании или Индии, и каждый из них, несомненно, чувствовал ответственность за судьбы всей планеты. И я спрашивал себя: те ли это сакенцы, которых я знал когда-то, или не те? И я отвечал себе: и те и не те!..

Выступление Гомеса было коротким. Он сказал, что может быстро выточить любую деталь, но язык у него не такой шустрый, как руки.

— Возможно, — кричали ему из зала, — зато ты настоящий охотник.

Антонио сказал:

— В Испании хорошие люди говорят: «Если у тебя сердце доброе — и слова твои будут добрыми». Это так. Что я хочу сказать? Может быть, я нескладно говорю, но слова мои от чистого сердца, и я хочу сказать вам всем: спасибо за доброе отношение к испанскому народу. Когда я пошел на охоту вместе с Никуала, не думал, что медведя смогу убить. Но Никуала помог, подбодрил — и я смог. Что я хочу сказать? Есть в Испании зверь хуже медведя, Франко называется. Если народ встанет дружно — пошлет Франко к черту очень скоро. (Аплодисменты.) И еще хочу сказать: очень вы мне нравитесь, и я вас люблю! (Аплодисменты.)

Гомес выразил надежду встретить всех, как братьев, в Каталонии, едва только Франко изгонят вслед за Гитлером...

Когда Тараш закрыл собрание и возвестил о предстоящей художественной части, поднялся Дамей и напомнил, что не принята резолюция. Организаторы собрания переглянулись. Откровенно говоря, принимать резолюцию и не предполагали — все как будто ясно само собой. Кесоу попросил слова. Он предложил направить телеграмму протеста против поддержки режима Франко американскими монополистами (слово «монополистами» Кесоу пришлось разъяснить), а также против войны в Корее, телеграмму с требованием мира во всем мире. Это предложение всем пришлось по душе.

Кесоу и Константин набросали текст короткой телеграммы.

— Ладно, — проговорил Тараш, — но куда мы пошлем ее?

— Как куда? — сказал Кесоу. — В Организацию Объединенных Наций.

Но Тарашу необходим точный адрес: город, улица, номер дома. Кесоу не смог удовлетворить законного требования председателя.

— Я думаю, в Нью-Йорк, — произнес Константин.

Решили посоветоваться с начальником почты. Он сидел где-то в задних рядах — высокий, малоподвижный детина, видимо хлебнувший браги после утомительного рабочего дня (одних писем и журналов пришло нынче до полусотни да телеграмм из района штук пять). Начальник собрался с мыслями и весьма авторитетно заявил, что телеграмму без точного адреса не примет.

— А что скажет товарищ докладчик? — поинтересовался Тараш.

Кама сказала:

— Предложение правильное: надо послать телеграмму. Я думаю так: пошлем ее в Москву, а оттуда направят куда следует.

— Правильно! Правильно! — раздались возгласы.

Тараш исправил адрес и прочитал телеграмму собранию:

— «Мы, жители села Сакен, обсудив на общем собрании борьбу трудящихся Испании за свою свободу и независимость, требуем от Организации Объединенных Наций обуздания империалистов, требуем решительных мер против Франко и империалистов в Корее, требуем мира на всем земном шаре».

К этому единогласно было постановлено добавить следующие строки:

«Мы, сакенцы, выполнили все сельскохозяйственные работы на высоком уровне. Обещаем полностью убрать урожай табака и кукурузы, поднять зяби на 120 процентов против плана. Сообщаем также, что благоустройство села осуществляется весьма успешно».

— Много распространяться не следует,— заметил Константин.— Нам надо быть поскромнее.

Редактирование телеграммы собрание поручило президиуму, после чего официальная часть была закончена.

Мушаг сказал Гомесу:

— Вы садитесь в первом ряду и о своих впечатлениях расскажете после. Ладно?

Он, очевидно, чем-то думал поразить Гомеса. Не знаю, как испанец, но сакенцы были удивлены, когда на сцену вышли красиво одетые молодые люди и стали петь и танцевать. Это были сценки из пьесы «Фуэнте Овехуна», переведенной на абхазский язык писателем Михаилом Гочуа (погиб смертью храбрых на крымской земле весной 1942 года).

Большое впечатление произвела сцена в темнице. Испанские крестьяне проявили непоколебимую твердость, и это понравилось горцам.

Судья (ученик седьмого класса), в пурпурной шелковой шали, перекинутой через плечо, грозно допрашивал крестьян:

...Так назовите нам
Убийцу Гомеса Гусмана.

Э с т е в а н

(сын Дамея, облаченный в пастушью
безрукавку из козьей шкуры)

Фуэнте Овехуна.

С у дья
(грозно поводя усищами)

Мальчишку взять!
Он правду скажет на дыбе.
Скажи! Молчишь, подобно рыбе?
Я научу тебя скрывать!
Палач, зажми его в тиски.

Р е б е н о к
Фуэнте Овехуна, сударь.

Ответ всем знакомого сорванца из третьего класса вызвал неистовый восторг.

— Молодец! — неслось из зала.

— Этот судья — настоящий Франко! — раздался чей-то басистый голос.

Лауренсия, роль которой исполняла девушка, по имени Люба, низальщица из третьей бригады, просто изумила сакенцев. Ее словно впервые увидели. Иные из молодых людей обратили на нее серьезное внимание. К слову сказать, Люба вскоре стала женою одного из них.

С этого знаменательного вечера упрочилось в Сакене крылатое выражение «Фуэнте Овехуна». Под хорошее настроение оно само просилось на язык.

22

— Мы ничего пока не решаем, — сказал Тараш, отодвигая от себя тяжелое мраморное пресс-папье. Он повернул длинными влажными пальцами борзую собаку, украшавшую письменный прибор, и собака уставилась своей умной мордой на Кесоу. Тараш подчеркнул: — Мы собрались, чтобы обменяться мнениями.

— Разумеется, — подтвердил Константин, — решать будет Совет, а может быть, даже район.

Кама сидела против председателя сельского Совета. Перед нею на зеленом сукне лежала груда бумаг. Кесоу чертил какие-то завитушки на обложке тетради и улыбался. Казалось, он уверен в своих силах. Константин глядел на него с любопытством, находя в нем какие-то новые черты. «Он похудел, — сказал себе Константин, — и поседел вдобавок». Константин прези-

рал людей, которые никогда не меняются — не седеют и не стареют (а такие были в Сакене). Например, Адамур на всю жизнь сохранит свой неопределенный возраст, толщину и беззаботность, это бесспорно. Ранняя седина, по мнению Константина, свидетельствовала о недюжинном мужском уме.

Худой, нескладный Тараш, с болезненным румянцем на щеках, вызывал в суровом Константине большое уважение. Константин знает, как много работает Тараш, как мало бережет он себя и совсем не заботится о личном благе. Но, сказать по правде, сакенцы не остаются перед ним в долгу: они его лечили в Гульрипше и вылечили — не отдали во власть страшной болезни. Одним словом, добрые дела не пропадают. Вот и вернулся Тараш в родное село пополневшим, а бывало, кровью харкал. С интересом слушали односельчане его рассказ о больничных порядках. «Все было хорошо,— говорил Тараш,— но...— и он шепотом сообщал мужчинам ужасную подробность, смутившую исконную стыдливость сакенцев,— за больными ухаживают одни девушки». Тараш потребовал мужчин-санитаров. Ему отказали. На этой почве произошел бурный разговор с главным врачом, и Тараш был вынужден подчиниться больничной дисциплине. «А в остальном — это прекрасная больница»,— утверждал он.

— Может быть, ты хочешь слова? — спросил Тараш, обращаясь к Кама.

— Пожалуйста.

Кама развернула бумаги, пробежала глазами ряды цифр, подчеркнув некоторые из них карандашом.

— Я считаю,— начала она,— что теперь мы в состоянии поставить перед собой новые задачи. Я хочу сказать, мы должны поставить новые задачи! Мы стоим на верном пути, когда боремся за высокие урожаи...

— ...и добываем их,— заметил Тараш.

— Да, и добываем их. Хороша кукуруза. Табак тоже не плох. Пятнадцать центнеров с гектара — это означает двести процентов плана. Все это отлично. Но желаем мы или не желаем, а должны подумать о машинах. У нас есть мотоплуг, есть гусеничный трактор.

Я думаю, будут еще машины. А это значит, что надо пересмотреть бригады, укрупнить их, правильно распределить участки, чтобы было где разгуляться машинам.

— Верно,— подтвердил Кесоу.

Кама все больше воодушевлялась. Она словно кого-то обвиняла и кого-то защищала. Мужчины слушали молча, не прекословя ей. Ни один из них не мог бы сказать, не покривив душой, что девушка эта знает меньше их и что ей подобает, по старому обычаю, стоять в углу и слушать чужие умные речи. Мне, как сакенцу, может, не так уж просто это выговорить, но должен сказать прямо: Кама в чем-то даже превосходила мужчин. Я не боюсь утверждать, что Кама действительно знает если не больше, то никак не меньше присутствующих мужчин. Она не в пример иным женщинам, могла быть и серьезным соперником и надежным другом — в зависимости от обстоятельств.

— Таким образом,— продолжала Кама,— я считаю, что мы справились со своим делом. Но кто нам запрещает идти вперед, все дальше и выше? Я спрашиваю вас: кто запрещает?

Она ударила ладонью по столу, и трое мужчин невольно переглянулись, словно спрашивая, кто же из них запрещает?

— Никто не запрещает,— хрипло проговорил Тараш.

— Я предлагаю необычное для Сакена дело, а не опыты, как многие думают, ибо опыты делаются и без нас. Слава богу, страна не маленькая, и умных голов хватает!

Кесоу вспомнил, как однажды Кама разрыдалась и убежала от него, пообещав уехать в город и вернуться через три года, чтобы по-настоящему поговорить с сакенцами. «Сдержала слово»,— сказал себе Кесоу.

Кама предлагала взяться за разведение чая, за лимоны и апельсины, способные украсить своими плодами любой стол. Но это не значит — добыть черенки и посадить их. Сакен не на берегу моря. В Сакене морозы и снег. Здесь нужны особые сорта. А где их взять, эти сорта? Взять их негде, хоть обойди весь

свет. Надо самим вырастить нужные сорта. Но как? Подобно ученым, смело браться за дело! Нельзя быть половинчатым, надо верить, надо всей душой верить и следовать науке!

Кама представила подробный план участков, намеченных под посевы семян чая и лимонов.

— Здесь учтены все микроклиматические условия,— сказала Кама,— мы использовали любую возможность, чтобы сеять семена в самых различных условиях. Вот северные склоны, здесь — южные. Вот тут мы думаем сеять в овражках, здесь — на опушках. И леса мы выбирали разные: сосновые, еловые, дубовые, липовые, лавровишневые подлески. Мы поднимались от реки все выше и выше, доходили до альпийских лугов.

Кама быстро сложила свои бумаги и спрятала их в сумочку из желтой кожи (в Сакене утверждали, что кожа эта крокодиля).

— Всё? — спросил Тараш.

Он повернул борзую собаку мордой к себе и долго ее рассматривал.

— Вот что,— сказал он,— я бы хотел, чтобы у Камы не создалось впечатления, будто ей в чем-то мешают. Никто у нее поперек дороги не стоит. У нас тоже много своих дел и забот, и каждый человек в Сакене настолько загружен работой, что не хочет браться за новое, пока его не убедят в полезности этого. Есть предложение у Камы, есть свои соображения у Кесоу, есть и у нас свое мнение. Вопрос заключается в том, чтобы как следует раскинуть мозгами, семь раз отмерить. — Тараш замолчал; откашлявшись, он обратился к Мирба: — Ты добавишь что-нибудь?

— Да,— сказал Кесоу и встал. Ему хотелось, чтобы Кама поняла, что перед нею люди с головой, а не дети. Кесоу продолжал: — Я хочу договориться об одном: будем мы вести разговоры ради разговоров и благих пожеланий или же намерены взять быка за рога?

Хотя мысль Кесоу была и не совсем ясна, но все согласились с тем, что вообще быка следует брать за рога.

— Конечно, за рога! — воскликнул Тараш.

— За рога,— промолвил Константин.

— Говорят, не надо бояться большого дела. В таком случае я ставлю вопрос иначе. — Кесоу покопился на Константина. — Давайте ставить вопрос так: надо постараться и немного изменить климат в Сакене.

Кесоу оглядел присутствующих, но никто не выказал особенного удивления. А Тараш проговорил:

— И то правда, это хорошая мысль.

Кесоу изложил свои соображения:

— Первое: надо уменьшить влияние северных холодных ветров. Каким образом? Высадить леса на Турьей седловине и в ущелье реки Сакен, начиная от Голубого озера. Но этого мало. Сакен необходимо окружить лесами со всех сторон, то есть восстановить то, что вырубалось сотнями лет. Но и этого мало. Есть предложение спустить часть воды из Голубого озера в Волчий ров и устроить вблизи Сакена водохранилище. Для этого нужно время, нужен труд. Надо возвести плотину, подумать и о других сооружениях. После всего этого вопрос с лимонами и прочими растениями разрешится проще, почти сам собою.

— Неправда! — решительно возразила Кама. — Одно другому не мешает. Леса нужны, обводнение Волчьего рва — тоже. Но разве посев семян мешает всему этому?

— Не мешает, но отвлекает,— упрямо возразил Кесоу.

Тараш объявил, что он, как председатель Совета, поддерживает оба предложения. Нельзя ли их объединить? А что, ежели продумать все как следует, наметить сроки — года два или три, скажем? Очевидно, нужны будут немалые деньги и в первую очередь помощь района.

— Нынче дадим полтора миллиона дохода,— прихвастнул Кесоу.

— Ну, это не так много,— заметил Тараш.

Кама пожелала внести полную ясность.

— Я понимаю так,— сказала она,— мы продолжаем работу с семенами.

Кесоу промолчал.

— Разве вам не помогают? — спросил Константин

и начал не спеша выкладывать каждое свое слово: — Сейте чай — спасибо скажем. Задержки тут не должно быть. Никакой задержки. В будущем году пробуйте лимоны. Что касается предложения Кесоу — я советую так: обсудить этот вопрос в партийной организации. Дальше. Поговорить с районом. Это дело большее. А?

Константин вытер платком вспотевший лоб.

Тайная обида шевелилась в самом сердце Мирба и не давала покоя. Может быть, уязвленное тщеславие? Нет, будто не то. Зависть, что ли, зашевелилась в груди? Тоже будто бы нет.

Я понимаю Кесоу, друзья мои, и, если я смыслю что-нибудь в человеческой душе, заявляю вам определенно: во всем все-таки повинна любовь!

23

Кама возвратилась домой поздно вечером. Нынче она обошла все свои участки, наметила новые. Скоро придут семена, лягут они в землю, и тогда начнется беспокойная пора наблюдений: придется измерять и температуру воздуха, и температуру почвы, вести подробный дневник. Словом, дела идут... Но почему на душе так тяжело и беспокойно? Физическая усталость? О нет! Кама не впервые ходить по горам, ее не пугает и долгий рабочий день в лесных чащобах.

Она прошла в маленький домик с земляным полом — здесь жила ее бабушка Мина. Старая Мина наотрез отказалась перейти в новый дом: дескать, высок он, трудно взбираться по лестнице, и пол деревянный — костра не разложить на таком полу.

Нет уж, пусть доживает она остаток дней в привычном, прокопченном и ветхом, но очень уютном домике. Здесь так хорошо! Дождь не стучит по железу, он бесшумно, как на вату, падает на папоротниковую кровлю; от сухого земляного пола идет тепло (говорят, полезно оно для старческих костей), костер дымит день-деньской, а ночью горячие уголья и зола не дают остыть комнате. Пусть в том большом доме, который выстроил сын, одержимый гордыней, играет музыка, пусть топят там высокие печи, сложенные из кирпи-

ча,— Мина не согласна менять старое, насиженное место на новое. Непонятные стали люди нынче! Каждый из них стремится куда-то, каждый старается разрушить старый и воздвигнуть новый очаг. Гордость обуяла сакенцев — не иначе!

Мина сутула, годы сгорбили ее, лицо сморщилось, пожелтело, словно перезревший персик. Но она работает, она никому не в тягость, сама разжигает огонь, поддерживает его весь день, а по ночам молится за молодых. Обо всех она печется. Ее волнует все: и дожди, когда они льют непрерывно, и новая война, которая может вспыхнуть. Беспокоит, наконец, и внучка. Еще бы: вернулась девочка из города ученая и пригожая, а какой в этом толк?

Кама подсаживается к очагу поближе. Пламя, как на поверхности воды, играет на ее белых руках, и бабушка вздыхает пуще прежнего: нет, не везет внучке.

Мина жарит сыр на маленькой сковородке.

— Ох, деточка моя...— охает старушка.

— Что с тобой?

— Со мной? — шамкает бабушка беззубым ртом.— Со мной ничего. Я что же? Вон умер Шаангери. А какой был цветущий! Умру и я. И ничего!

Старушка горазда поговорить, повздыхать, да поохать, да старое помянуть.

— Молодость, что ли, вспомнила, бабушка?

Кама спрашивает, а мысли ее витают далско. И сама не знает, о чем ее мысли.

— Зачем она, моя молодость, кому она нужна? О тебе, Кама, день и ночь думаю.

Кама удивлена:

— Обо мне?

— Ну чем ты хуже других? Или собою непригожа? Кровь с молоком, ноги, что у серны, и шея белая, как известь. Разве мало этого?

— Мало, бабушка, мало.

Старушка начинает сердиться.

— Мало? Нет, милая, очень много, ежели у мужчин глаза на месте. Да тебя в мое время давно бы умыкнули! — И, подумав немного, Мина говорит с сожалением: — И зачем отказала ты этому Рашиту? Неплохой был парень. Его сгубила, и сама...

Старуха запнулась.

— Что — сама? — строго спрашивает Кама. Ее начинает раздражать этот разговор — кажется, в бабушкиных словах есть крупица правды.

— Не дай бог в старых девах засидеться. — И Мина истово крестится. — Не дай бог!

— Не большая беда, — улыбаясь, возражает Кама. — Вот и останусь в старых девах.

— А почему? — говорит Мина, отставляя сыр и разрезая холодную мамалыгу на равные куски. — Или мало в тебе учености, ежели об учености говорить? Ты, деточка, не сохни по Кесоу. Никуала ничуть его не хуже. Герой-мужчина. Погляди сюда! — И старуха показывает крючковатым пальцем на кусок свежей медвежатины. — Знает, что люблю дичь, — и носит. Воспитан хорошо, уважение к старшим имеет.

— И ничего ты, бабушка, не понимаешь!

Мина ставит на низенькую скамейку сыр и мамалыгу и сама садится против внучки, по ту сторону очага.

— И понимать тут нечего. Сколько тебе лет? Двадцать три? И куда только глядят отец и мать? Я бы на их месте давно хорошего жениха подыскала. А на Кесоу надежда плоха. — Старуха вытирает руку о черный фартук. — Он, говорят, женится скоро.

У Камы застревает кусок в горле. Разумеется, это неправда. Однако кто же болтает такой вздор?

— На ком же, бабушка? — спрашивает Кама, вымучивая из себя слабенький смешок.

— Девушка, говорят, из города приехала. У Гудала живет.

Старуха проводит пальцем по влажным, воспаленным векам: да, она плакала, обидно ей за свою красавицу внучку. Конечно, разговоры эти пустые, да не в них дело.

В Каме просыпается женщина, она почти оскорблена, ей надоела эта томительная неопределенность.

— Проклятый Рашит! — срывается с ее губ, и она заливается самыми настоящими слезами, горячими, обильными женскими слезами. Ничего не поделаешь с ними, сами текут из глаз, не спрашиваясь... Неужели всегда с таким трудом дается простое человеческое

счастье? — Бабушка, — говорит Кама, глотая слезы, — когда приходил этот Никуала?

— Никуала, деточка? А он каждый день заходит.

— И что же он?

— Подарки приносит. Посидит, покурит, о лесных происшествиях расскажет... Наверно, из-за тебя ходит.

— А что он говорит обо мне?

— О тебе, внучка? О тебе — ничего. Может, и хочется ему высказать, да молчит.

— Язык онемел, что ли? — зло произносит Кама и плачет пуще прежнего. Кажется, она готова пойти хоть за Никуала.

«Это от дурного глаза, — решает старушка, ковыляя к внучке, чтобы приласкать ее и утешить. — Надо принять меры». И она перебирает в уме лучших знахарок. Но — увы! — давно они отдали богу душу, не оставив после себя смены. Это ни на что не похоже! И старушка дивится прожорливости той, что ходит с косою по миру и собирает кровавую жатву среди людей. Даже знахарок не щадит, свирепая...

Сидит Кама у огня, вытирает глаза и щеки платком. И вдруг слышит свое имя. Она настораживается. Да, кличут ее. Чей это голос?

Кама выбегает из кухоньки. После яркого огня весь мир кажется погруженным в глубокую темень. Она осторожно нащупывает ногой дорожку к воротам.

— Кто там? — спрашивает Кама.

— Это я, Галя.

И в самом деле, у ворот стоит Галя. Она не дает Каме и словечка вымолвить.

— Вот что, милая Кама. Вы не удивляйтесь, что так поздно беспокою вас. Завтра мой брат со своим товарищем уходят в город. Вы понимаете?

Кама ничего не понимает.

— Как? — Галя с трудом переводит дыхание — должно быть, бежала всю дорогу. — Вы не знаете, что они заодно?

— Кто — они?

— Кесоу и мой брат. Дмитрий считает, что вы не правы с вашими посевами, а Кесоу прав — надо, говорит, климат менять, а до того потерпеть с чаем, с лимонами.

— Ну так что же, милая моя,— говорит Кама,— пусть они так думают.

— Что вы? — возмущается Галя.— Кесоу, наверно, дал поручение Дмитрию. Они целый час разговаривали. Я боюсь, как бы они не заручились поддержкой в райкоме.

— А я не боюсь,— твердо, сквозь зубы, произносит Кама.— Я ничего и никого не боюсь. Пусть делают что угодно!

Галя стискивает ей руку, выражая свое сочувствие. Ей жалко агротехника, которому не очень-то везет в работе, а еще меньше в любви.

— Спасибо, Галя,— говорит Кама,— спасибо за ваше хорошее отношение. Передайте своему брату, что я добьюсь своего. Скажете ему?

— Обязательно скажу.

— А еще передайте привет. Пусть приезжает будущим летом.

— На всякий случай позвоните в райком,— советует Галя.— Ну, я пошла...

— Нет, я провожу вас.

Но Галя протестует так горячо, что Кама быстро уступает ей.

— Я мигом доберусь,— настаивает Галя.

Она пропадает в темноте. И кажется Каме, что не одна, а две тени торопливо шагают по дороге.

«Должно быть, Смел»,— думает Кама, возвращаясь к себе, совершенно уверенная в том, что угадала.

24

Гомеса и Дмитрия до окраины села провожали Никуала, Смел, Галя и Нина.

— Понимаешь, — объяснял Никуала, — многие пришли рано утром, чтобы проститься. Но вы спали, и они ушли на работу. Просили привет передать. Вот ежели б воскресенье было, к тому же дождливое,— обязательно провожали бы...

— Нельзя так много пить,— сказал Гомес, хватаясь руками за виски, которые тупо болели после вчерашнего ужина.— Нельзя пить из рога. Надо пить маленькими рюмками.

Никуала подумал и серьезно заметил:

— Нет, рюмками ничего не получится.

— Нельзя пить так много вина! — твердил Антонио. — Уж лучше водку.

— Это же ради тебя, — сказал добродушно Никуала. — Когда гость — надо выпить и хозяину. Послушай, Антон, ежели придется мне побывать в Испании, ты уж рюмками меня не угощай. Принимай по-нашему, и я скажу тебе спасибо.

Антонио обещал исполнить эту просьбу.

Галя снова повздорила с братом.

— Дмитрий, — сказала она, — если ты попытаешься мешать Каме, наша дружба пойдет врозь.

— Не мешайся в чужие дела, — возразил Дмитрий.

— Как — в чужие? Ты считаешь, что чай — это твое дело? Кесоу поступает неправильно, а ты...

— Что я?

— Ты помогаешь ему.

Дмитрий побагровел.

— Не мешайся в чужие дела, — снова повторил он.

И Дмитрий заговорил с Гомесом. У обоих молодых людей тяжелые рюкзаки за спиной. Гомес даже не прихрамывал, хотя опухоль на ноге все еще не исчезла. Дмитрий шагал размашисто, глубоко вдыхая свежий воздух. Они торопились. Предполагалось, что в Сакене они задержатся дня три-четыре, но подвел Антонио с этим своим неожиданным падением. Отпуск на исходе, остаются считанные дни; надо еще поспеть к морю, а оттуда — в Москву. А у Гали и Смела в запасе еще дней десять...

Впереди всех шел Куламба. Галя нагнала его и попыталась приноровиться к его шагу.

— А ты-то куда торопишься? — спросила она.

— Чтобы уйти от наших и побыть с тобой, — признался Смел с похвальной откровенностью.

Она сказала:

— Ну что ж, не протестую.

И они скрылись за поворотом.

Дмитрий обратился к Нине с просьбой писать ему о всех сельских новостях, писать обо всем.

— Как это — обо всем? — любопытствовала Нина.

— Ну, вот так... обо всем интересном. Даже о свадьбах.

Нина колебалась: дать слово — значит выполнить его. Дмитрий продолжал настаивать.

— Ладно,— сказал он,— буду писать я. Дайте слово, что ответите на мое письмо... Черт возьми,— продолжал Дмитрий, улыбаясь,— неужели вы думаете, что сакенские дела совсем меня не касаются?

— А вы обещайте мне, — поставила она условие, — не мешать Каме там, в районе, и не слушаться Кесоу. Хоть он мне и брат, а не прав, а перед Камой очень виноват.

Дмитрий кивнул ей и затянул песню, разученную в туристском лагере на Северном Кавказе. Его пение оставляло желать много лучшего, но пел он, что называется, от души, а потому заслуживал поощрения.

Уж вы, горы мои,
Горы вы Кавказские... —

пел Дмитрий.

И далеко разносилась песня:

Как под этой под горой
Течет речка быстрая...
Как над этой над рекой
Вырос куст раkitовый...

Никуала сощурил глаза и сказал Гомесу, указывая рукой на парочку, идущую впереди:

— Послушай, Антонио,— и, понизив голос до шепота, добавил: — Смел и Галя идут под руку. Что это значит?

Гомес прищелкнул языком.

— Видишь? — повернулся Никуала к Нине.— Руки у них вместе, видишь?

Нина, казалось, не придавала этому особого значения. Однако Никуала, как истому сакенцу, все было ясно.

— Быть свадьбе,— заключил он.

А Дмитрий продолжал свою песню:

Как на этом на кусту
Сидел сизокрыл орел,
Сидел сизокрыл орел...

Сумерки сгущались. Небо покрылось облаками. Там и сям на пыльной придорожной траве обозначились капли дождя, но были они редки и падали с большой неохотой. Вот почему Адамур сказал уверенно:

— Не быть нынче дождю.

Изрекши сей недвусмысленный прогноз, он лихо сдвинул папаху набок и вошел в ресторан.

Это новое сельское заведение появилось год тому назад. Рядом вырос магазин с шикарными пилястрами и отличным деревянным карнизом причудливого стиля. Здесь можно было приобрести все, что угодно, начиная от радиоприемников до чугунных плит для печей. Однако простые вещи, вроде швейных иголок, почему-то не всегда находили дорогу в этот магазин, и сакенцы в таких случаях разрешали себе поиронизировать над монументальным стилем постройки.

Ресторан не блистал фасадом. У сельского потребительского общества не достало денег на внешние украшения, и часть строительных работ была перенесена на будущий год. Но, так сказать, интерьер ресторана говорил о богатом воображении строителей. На орнаменты не пожалели золота и ультрамарина. Потолок расписали клеевой краской. Огромный плафон изображал четыре времени года и людей, занятых трудом. Скрещенные винные рога, словно невзначай разбросанные по всему потолку и стенам, напоминали о людских утехах, как бы символизируя дух и устремления самого заведения. В зале расставлены квадратные столы, покрытые бумажными скатертями. Посудой своей ресторан определенно гордился, и не зря гордился: хоть убавляй ее, эту изобильную фарфоровую посуду. Столько навалят на столы тарелок, и ножей, и вилок из нержавеющей стали — локти опереть негде, для пепельниц места не хватает. Вот он каков, ресторан в Сакене!..

Адамур перешагнул через порог и тут же наткнулся на столик Никуала. Охотник явно скучал в ожидании официанта.

— Здоровья желаю тебе, Никуала! — И Адамур сделал вид, что направляется к соседнему столику.

Никуала тут же пригласил его за свой. Адамур не заставил просить себя дважды.

В ресторане было пусто и тихо. Лишь иногда из-за тонкой стены доносились звон тарелок и шипение воды, попавшей на горячую плиту.

— Нехорошо, когда пусто в ресторане, — сказал Адамур.

— А с какой бы стати ему ломиться? Люди спину гнут на поле.

— И то правда, — согласился Адамур. — Только не пойму я, чего им надо? Птичьего молока, что ли? От добра добра не ищут. Человеку и отдых нужен и веселье...

Никуала промычал что-то невнятное.

— Как твои гости, Никуала? Говорят, очень довольны тобой.

— Спасибо, — сказал Никуала, у которого слегка побаливала голова после вчерашнего возлияния, — утром проводил их. Хорошие ребята. Послушай, — обратился Никуала к официанту, — дай поесть чего-нибудь.

— Мясного? — спросил молодой парнишка несуразно высокого роста и с буйными черными вихрами волос на голове.

— Скажем, мясного...

— Есть антрекот, бифштекс, котлеты...

Никуала пожал плечами.

— Вы начинаете тягаться с городом, — заметил он, — но мы посмотрим, что означают твои трескучие названия.

— Первый сорт, — чмокнув губами, сказал молодой официант — молодой, но, по твердому убеждению Адамура, уже достаточно развращенный рестораном.

— Постой, не торопись, — остановил его Никуала. — Принесешь дюжину соленых огурцов. Понял?

— Огурцов сегодня не будет.

— Ну, так помидоров соленых.

— Тоже не будет.

— Тогда репу, что ли! — воскликнул Никуала, начинавший терять терпение.

Выяснилось, что солений вообще нет. Всю вину за такое ужасное положение официант возложил на правление потребительского общества, которое, дескать, позабыло спустить наряды на август месяц.

— Слышишь? — не без злорадства сказал Адамур. — Даже соленья привозить не научились, зато названия-то какие: антрекот, бифштекс!

Однако Адамур успокоил готового разбушеваться Никуала. Он вышел на порог и гаркнул во все горло:

— Эй, Христина, эй!

Из дома, скрытого за небольшой рощицей, отозвался женский голос:

— Кто там?

— Это я, Адамур! — кричал толстяк. — Бога ради, Христина, человек умирает... Пришли-ка соленых огурцов и немного капусты. Слышишь?

— Сейчас! — бойко ответила Христина.

Вскоре, на посрамление ресторанной администрации и всего правления сельского потребительского общества, на столе появились соленые огурцы и капуста.

— Придется поговорить о ресторане, — сказал мрачно Никуала, — он портится не по дням, а по часам.

— Ресторан души требует, — глубокомысленно подчеркнул Адамур, — а эти работают с ленцой.

— Мы им всыплем, — пригрозил Никуала.

Вскоре подали еду. Антрекот понравился охотнику. Он расправился с мясом, как лев с козулей, и, чокнувшись с Адамуром, опрокинул в горло стакан вина.

— Правда ли, — спросил Адамур не без тайного умысла, — правда ли, что Кама затевает удивительную историю, а сельское начальство с ней согласно?

— Историю с лимонами, что ли?

— И с лимонами и с чаем.

— А что в этом удивительного? — Никуала проглотил кусок мяса с добрый кулак и запил его вином. — Наверно, согласно. А что?

Глаза у Адамура стали совсем крошечными, усики подпрыгнули кверху.

— Нет, ничего, ничего,— поспешил он заверить,— могу лишь сказать, что сакенцам не доставало до сей поры женского ума. Слава богу, теперь и он появился, женский-то ум.

И он в шутку осенил крестным знаменем стакан вина и опорожнил его единым духом.

Никуала перестал жевать и, глядя куда-то поверх головы толстяка, сказал:

— А что, Адамур, неплохая получилась бы жена из Камы?

— Из Камы? — Адамур вдруг почувствовал, какого он дал маху. Однако не растерялся и, потрясая всеми своими подбородками, почти пропел: — Лучшей жены и не желай!

26

Кама выговаривала девушке, по имени Катя Гунба — толстой, некрасивой, с ногами, словно низкие букковые пни. Та слушала молча, иногда улыбалась, открывая ряд ослепительно белых зубов.

Они стояли в углу огромного табачного сарая, полного шуршания зеленых листьев. Было невыносимо душно. Женщины работали в глубине сарая и не могли слышать, о чем говорила Кама. Но по жестам Камы они догадывались о многом.

— Ты будто впервые нижешь,— говорила Кама.— Ни сноровки не видно, ни охоты. В чем дело? Разве ты не знаешь, как работают наши лучшие низальщицы?

— Знаю,— пробормотала девица.

— Из-за тебя страдает вся бригада. Может быть, ты нездорова?

Катя словно проглотила язык.

— Вчера тебя не было. Три дня назад ты ушла после полудня... Сколько тебе лет?

— Восемнадцать.

— И только? Катя, прошу тебя,— продолжала Кама,— не срами наших женщин. Прошли времена, когда нас, девушек, за глупых гусынь считали. Слышишь? Может, тебе трудно здесь?

— И не легко,— ответила девушка.— Вчера работали с утра до ночи. Позавчера тоже.

— Одна ты сидела, что ли?

— Зачем одна? Все сидели... У меня поясница болит.

— А другие, думаешь, каменные?

— Может, и каменные.

— А со мной поработать не хочешь? — предложила Кама.

— Это по горам лазить, что ли? — спросила Катя, грызя ноготь указательного пальца.

— Работа живая, сидеть на одном месте не придется. Может, табак на лимоны поменяешь?

Катя ничего не ответила, она с независимым видом направилась на свое место. «Что с ней? — подумала Кама. — Какая-то странная». И спросила одну из женщин, всегда ли Катя такая ленивая.

— Катя? — повторила женщина, вытирая платком потное лицо и шею. — Да разве ты не знаешь? Ее скоро сватать будут. Зачем же ей убиваться на работе?

Так вот оно что! Катю сватают, и ей неохота работать. Она, эта Катя, целиком поглощена предстоящим замужеством. Должно быть, девушка рада. Ну разумеется, рада. Наверно, хороший парень, если она вовсе потеряла голову. Но Кама не понимает ее. Может быть, оттого, что состарилась? Да нет, черт возьми, не стареют же в двадцать три года!

Кама бледна, глаза у нее потухли, а в развилке бровей — глубокая бороздка. Вышла из сарая, постояла у входа, вдыхая свежий воздух, — грудь почему-то сдавило.

Заговорила Катя своим высоким, неприятным голосом, и женщины в сарае вдруг расхохотались. Кама невольно прислушалась.

— Я могу работать сколько угодно, — хвастала она. — Хотите, всех вас обгоню? Но в голове у меня засел этот проклятый.

— Ты так бы и сказала, — посоветовал кто-то.

— А много ли она поймет? — продолжала Катя. — Правду говорят, что все старые девы сварливы.

Кама до боли закусил губу и, боясь выдать себя, осторожно, на цыпочках удалилась. Она шла, шатаясь, точно ее качало ветром, шла, уронив голову на грудь.

— Галя,— сказала Камачич,— клянусь, они что-то замышляют.

Галя оторвалась от тетради.

В дальнем углу двора, под амбаром, сидели Гудал и Смел. Сын точил какую-то палочку, а отец, должно быть, о чем-то вслух рассуждал, глядя на носки своих сапог. Смел время от времени прекращал работу и начинал жестикулировать: было неясно — то ли он не соглашается с отцом, то ли его фантазия парит еще выше отцовской.

— Не может быть,— возразила Галя.— У Смела нет времени.

— А зачем им время? — сказала Камачич.— Они сегодня же могут выкопать какую-нибудь канаву и неизвестно зачем напустить в нее воду.

Камачич направилась в кухню.

Галя аккуратно вывела заголовок: «Сказка о блохе и черепахе» (записано в селе Сакене со слов старика Шаангери Канба).

День нынче выдался отличный. Солнце пекло землю изо всей мочи. Гуагуа курилась как никогда: ее широкая спина едва выдерживала поток горячих лучей. Высоко в небе летали ласточки — это к хорошей погоде. Совсем как в Москве летним, погожим днем, во дворе ссорятся из-за крох воробьи, взлетают и снова возвращаются, сердитые и нахохленные.

Камачич была права: отец и сын и в самом деле придумывали что-то новое. Гудал не сомневался в успехе затеи. Его только беспокоили некоторые мелочи. С тех пор как в Сакене заработала большая гидростанция, Гудал остыл к этому виду энергии. Он пристрастился к радио — оно давало духовную пищу (новый для Сакена термин, отмеченный Галей в рубрике «Влияние нового быта на разговорный словарь»). Но в эту минуту Гудала занимало нечто иное.

— Послушай,— говорил он сыну,— ты погляди на свою мать — она таскает воду за полверсты.

— Я пытался ей помогать,— оправдывается сын.— Не мужское это дело, говорит. Решил вставать пораньше. Куда там! Разве ее опередишь?

— А я считаю так: мы должны ей доставить воду.

Гудал огляделся вокруг, как заговорщик. Сын аккуратно строгал кизилковую палочку.

— Смел,— продолжал отец,— любой город, как тебе известно, побольше нашего Сакена.

Смел кивнул в знак согласия.

— Разве в городах есть родники! Я спрашиваю: ежели в городе тысяча людей может получать воду, что называется, возле самой своей постели, то почему нам не иметь ее хотя бы у плетня?

— Ты хочешь выкопать колодец? — предположил Смел, стряхивая с колен стружки.

— Зачем колодец? В колодце вода хуже родниковой. Я бы хотел воду прямо из родника.

— Вот оно что!

Гудал поделился *хорошим планом* — так он называл свою затею. Он таков, этот план: как известно, родник Кривой Каштан чертовски хорош: зимой он теплый, а летом попробуй сунуть палец — отморозишь. Лучшей воды нигде не сыскать. Гудалов дом — на холме, а Кривой Каштан — под холмом... Трубы железные раздобыть нетрудно — надо только в город съездить. Дальше. Трубы уложить тоже нетрудно: два дня — и вся работа! Но как устроить, чтобы вода потекла вверх? Это противно законам природы.

Смел улыбается.

— А центробежный насос зачем существует? — спрашивает он. — А моторы зачем?

И он объясняет отцу нехитрое приспособление для водокачки.

— Смел, — обрадованный Гудал вскакивает с места. — Я так и думал, что мы совладаем и с водопроводом. Ты маме — ни слова. Слышишь? А то загрызет меня.

— Отец, — говорит сын, — хорошая мысль у тебя. А что, ежели ты поговоришь с Кесоу о большом насосе и большом моторе?

— Ты хочешь сказать: о большом водопроводе?

— Да.

— Для всего Сакена?

— Да.

Гудала тревожит опасение, и он его высказывает:

— А что, ежели они не захотят?

— Тогда возьми сам.

Гудал хлопает сына по плечу:

— Умно придумано.

И оба, довольные, возвращаются в дом.

28

Кама встретила Галя у родника — она по щиколотку стояла в студеной воде.

Кама присела на пенек, и они разговорились, а крутобокие, закопченные в дыму глиняные кувшины, привычные к женским нескончаемым разговорам, приготовились к долгому лежанию на песке. Кама любовалась стройной фигурой Гали, даже пришла к выводу, что девушка эта довольно красива (решение, которое, как мы знаем, не легко принимают женщины всего света).

Каму интересует, когда уезжает Галя. Дней через десять? Так скоро? Разве плохо в Сакене? Нет, здесь совсем неплохо, тем более не скучно, но надо ехать, — учебный год на носу. Уедет ли Смел? Обязательно. Его тоже ждет институт. Галя говорит вполголоса, правой ногой слегка взмучивая ил... А Кама приехала сюда навсегда, не правда ли?

Галя в курсе сердечных дел бедной Камы (и очень сочувствует ей). Поэтому ей хорошо понятна вся самоотверженность Камы, когда она говорит, что пока остается в Сакене (слово «пока» усиленно подчеркнуто интонацией). А куда, собственно говоря, ей бежать? Работа здесь интересная, большие перспективы...

Кама неожиданно воодушевляется:

— Должна сказать вам, Галя, что ежели для специалиста по субтропикам нынче здесь не очень много дел, то через три-четыре года хлопот не оберешься. Я думаю, это будет настоящая исследовательская, научная работа. Вот вы, скажем, записываете народные словечки, выражения, пословицы. Через два года вы здесь найдете такие речения, каких нынче нет и быть не может. А почему? Да потому, что жизнь идет вперед.

Далее они высказали друг другу несколько мыслей, которые, как мне кажется, не нуждаются в осо-

бых пояснениях. Чтобы не утруждать вашего внимания, я решил передать этот разговор почти в стенографической записи.

Г а л я. Если бы вы знали, Кама, с какой открытой душой я желаю вам удачи! И уверена, что все будет так, как вы задумали.

К а м а. Спасибо, Галя. Мне обещали отборные семена и разных сортов. За чай я почему-то спокойна.

Г а л я. Что же вас волнует?

К а м а. Лимоны. Во всяком случае, мы покончим с односторонними опытами. Представляете, Галя, вот уже лет двадцать специалисты по субтропикам пытаются вывести морозоустойчивые формы. А как они это делают? Только путем вегетативного размножения.

Г а л я. Этот путь неверен?

К а м а. Это все равно, что стругать палочку и думать, что она станет железной. Железо добывается из железной руды, значит, морозоустойчивые формы надо искать в закаленных сеянцах, а не в нежных взрослых формах.

Г а л я. У нас есть родственница, живёт она под Москвой. Большая любительница всяких растений. Она собирается... — как бы это сказать? — посеять зерна черешен и еще каких-то растений. Там, знаете, такой небольшой лесок.

К а м а. И правильно поступает ваша родственница. Она ровным счетом ничего не проиграет, разве что пропадет несколько косточек.

Г а л я. Мне нравится ваша специальность, Кама. Вы первая в Сакене начинаете разводить лимоны. Это должны оценить ваши друзья. Я поссорилась с братом из-за вас.

К а м а. Из-за меня?

Г а л я. Ну да. Мне кажется, что он заодно с Кесоу... Скажите, Кама, вам могут помешать? Это было бы ужасно! Вот я скоро уеду в Москву, и если бы вы пожелали, я бы могла куда угодно обратиться за помощью.

К а м а. Спасибо, Галя. Кто мне может помешать? Ежели я уверена в правильности своего дела, кто мне станет поперек дороги? Не добьюсь здесь — пойду выше.

Г а л я. Вы мне очень нравитесь. Вас называют девушка-молния. Я записала это выражение.

К а м а. Мало ли как называют! Главное, надо проявить себя по-настоящему. Вот наши собираются горы своротить. Вы слышали про леса, про озера и пруды?

Г а л я. Все это очень трудно и почти невероятно.

К а м а. Говоря откровенно, не совсем так... И ваши хозяева (она чуть не сказала «ваш тесть») тоже новую идею предложили. Да вы, наверно, сами знаете.

Г а л я. Нет, не знаю. А что?

К а м а. Как? Они вам ничего не говорили о водопроводе?

Галя смутилась. Почему она, собственно, должна быть обо всем осведомлена?

— Гудал предложил водопровод построить,— сказала Кама.— Думаю, в этом и вы со Смелом повинны. Не отнекивайтесь — по глазам вижу. Ну что ж, это хорошо — пора подумать и о настоящем водопроводе.

Галя принялась мыть кувшин.

— Вы испортите себе руки,— предостерегла Кама.— Напрасно вы трете кувшин песком.

— А вы?

— Я привыкла, Галя.

— И я привыкну.

— Скажите мне...— Кама подсела к Гале.— Скажите мне... Вот все говорят... Может быть, это секрет?

Галя потрянула головой:

— У меня нет секретов, Кама.

— Правда ли, что вы выходите замуж?

— За Смела?

— Да.

Галя сказала твердо:

— Наверно. Но не сейчас... после...

Кама задумчиво провела пальцем по песку — получилась прямая линия. Затем она пририсовала к линии какие-то кружочки.

— Он парень хороший,— сказала Кама,— даже очень хороший. Вы с ним замечательная пара.— Она скосила глаза на Галю.— А между вами ничего серьезного?

— Как — ничего серьезного? Мы любим друг друга.

Кама нахмурила брови.

— Не то, Галя. Как бы это сказать?..

— Понимаю, — тихо ответила Галя, зардевшись, словно маков цвет. Помолчав немного, она воскликнула: — Как это можно!

Кама обняла ее, горячо поцеловала в щеку.

— Галя, вы хорошая.

— И вы тоже, — простодушно проговорила Галя, возвращая Кама поцелуй.

Кама сказала жестко:

— Я ненавижу девушек, которые бросаются на шею встречным-поперечным и, как дурочки, верят в золотые горы, которые им сулят болтуны. Что мы, куры, что ли? Или силы в нас мало? Или головы нет на плечах?

Глаза у нее загорелись, губы задрожали. О, в эту минуту она была настоящей женщиной-молнией, женщиной, которая ни в чем не уступит мужчине, которая равна мужчине и в силе и в храбрости...

Вдруг зашумели кусты, хрустнула под ногами веточка — и в нескольких шагах от девушек вырос Кесоу, появился как из-под земли. Вид у него был усталый. Волосы на лбу слиплись, ворот — нараспашку, сапоги — в грязи, пот струился по лицу и жилистой, крепкой шее.

Кесоу поздоровался с девушками и припал к воде. Пил не отрываясь: много и долго. Наконец вздохнул.

— Это очень приятно, девушки, — сказал он хрипло, — пить воду, когда пройдешь тридцать горных километров. Должен сказать, что Голубое озеро — отличное место. Вода в нем голубая, словно небо. Плавают форели... Вода из озера стекает в какую-то пропасть, проваливается, словно в бездну. А зачем, спрашивается? Сакенцам не повредили бы такая вода и такие чудесные форели!

Кесоу показал бутылку с водой из Голубого озера. Вода сверкала, словно хрусталь. Пронизанная солнечными лучами, она казалась такой же легкой, как лучи.

15 августа 1950 года через Сакен промчалась первая легковая машина. Она оставила на сакенской дороге первую от сотворения мира автомобильную колею. В воображении пылких горцев машина именно промчалась. А на самом деле она переваливалась с боку на бок, словно утка, и едва тащилась по ухабам. Дорога была разворочена, перекопана, но через год она должна предстать во всем блеске — замощенной, укатанной, заасфальтированной.

Машина перемазалась в грязи, точно буйвол, только что вылезший из болота. Будто на посрамление сакенцев, она появилась перед ними именно в таком виде. С крыльца сельского Совета сбежали люди. Кесоу, улыбаясь, подошел к машине.

— Добро пожаловать, Александр Иванович! — сказал он.

— Привет, товарищ Мирба! Здравствуйте, товарищи!

Александр Иванович снял фуражку и вытер платком вспотевший лоб. Тараш поглядел на машину, покачал головой. Ему стало досадно за свою подопечную территорию.

— Как живете-можете? — говорил Александр Иванович. — Что нового?

— Особенно нечем похвастать, — сказал Тараш. — Видите, как мы вас принимаем? — И он кивнул на машину.

— Пустяки, скоро будем ездить, как по бильярдному столу... Что, надоели вам дожди?

— Радости от них мало. Сейчас самая пора для кукурузы — ей солнышко нужно. А оно то выглянет, то скроется. А табак скучает по настоящему солнцу. Влажность в воздухе большая.

Александр Иванович почесал подбородок. За три года он как будто постарел, седина от висков пошла выше, глаза — озабоченные, вокруг них пролегли глубокие складки. Он заметил пытливый взгляд Кесоу.

— Что, товарищ Мирба? — сказал он. — Много находите во мне перемен? — И сам поспешил с ответом: — Стареем, дорогой, стареем.

— Что вы! Рано думать об этом.

— Ничего не попишешь,— сказал Александр Иванович,— приходится сесть, стареть.— Он вздохнул, и на лице проступила усталость, которую Александр Иванович пытался скрыть от посторонних взглядов. И голос словно стал глуше, когда он снова заговорил после короткого молчания: — Трудно приходится порой, друзья мои. Одни живут лучше, другие — похуже. Почему? А ведь, кажется, всем даны равные права. Одни работают лучше, другие — похуже. Почему? Много, много сделано, а поглядишь вокруг — море работы, горы забот.

— Верно,— проговорил Кесоу,— работы по горло. Александр Иванович вдруг повеселел.

— Ну что ж! — воскликнул он.— Потрудимся! Нас работой не испугаешь!

Он закинул голову и глубоко запустил руки в карманы, расправляя грудь резкими движениями плеч. Казалось, он отгонял от себя тревожные мысли.

Тараш пригласил Александра Ивановича к себе в кабинет, но секретарь райкома отказался.

— Не сейчас, товарищ председатель. У меня такое предложение: давайте обойдем поля, а после поговорим. Товарищ Мирба, мы в вашем распоряжении, ведите нас.

Осмотр хозяйства продолжался до позднего вечера. Александр Иванович ощупал чуть ли не каждый табачный лист, каждый кочан кукурузы. Хвалил мало. Кесоу совсем было упал духом. Казалось, секретарь слишком требователен, ни в чем не даст поблажки.

Участок Кесоу секретарю понравился. Не то чтобы Александр Иванович пришел в восторг, но и не слишком ругал. Он углубился в поле, осматривая кочаны и стебли, и приговаривал, точно про себя:

— Стебелек хорош! А сколько кочанов? Три. А там? Два.

Он садился на корточки и глядел, нет ли на земле травы. С трудом найдя травинку, приговаривал:

— Прополка вроде неплохая.

— Четвертая,— подсказывал Константин.

— Да, должно быть, четвертая. Фосфориты тоже свое сделали. Стебли стоят, как солдаты в строю.— И не без удовольствия повторял: — Как в строю... Равнение направо, равнение налево, и по рядам, и по диагонали... А каково расстояние между рядами?

— Пятьдесят сантиметров, Александр Иванович.

— А между стеблями в рядах?

— Сорок.

Александр Иванович подсчитал в уме, сколько пудов кукурузы предстоит снять.

— Что же получается, товарищ Мирба? Как минимум, тысяча двести пудов на гектаре. А вы помните? — Александр Иванович подергал пуговицу на кителе Кесоу. — Вы помните, товарищ Мирба, сколько обещали взять тогда, в первую нашу встречу?

— Помню, Александр Иванович: триста — пятьсот.

— Прошло три года,— задумчиво произнес секретарь. — Ну, об этом как-нибудь потом... А как выполняете свои обязательства перед государством?

Вопрос обращен к председателю сельского Совета.

— Как будто неплохо,— последовал ответ.

Александр Иванович вопросительно глянул на Константина. Тот не торопился с ответом, понимая, что означает этот взгляд секретаря райкома.

— Я полагаю так,— сказал Константин, — урожай кукурузы будет неплохой, табака — тоже. И все другие обязательства выполним.— Он помолчал и твердо произнес: — Сакенцы выполнят, Александр Иванович.

Александр Иванович зашагал по нескончаемым зеленым кукурузным рядам. Константин пожал руку Кесоу.

— Он доволен,— шепнул он.

— Ты думаешь?

Один из табачных участков заставил насторожиться Александра Ивановича. Он прощупал листья, присмотрелся к ним и спросил:

— Перестаивает?

Кесоу выступил вперед. Получается так, что маловато рабочих рук. Народу много, но дела еще больше.

Погода никак не способствует полевым работам. То шпарит дождь, то солнце печет.

— А вы постарайтесь, товарищ Мирба, использовать и лунные ночи, особенно на табачных плантациях.— Александр Иванович медленно произнес: — Хороший урожай — дело трудное. Он добывается горбom. Упустил срок — потерял качество, а то и весь урожай. Нам нужны высшие сорта. Вам они тоже нужны — за них больше дают денег. Много у вас участков с перезрелыми листьями?

— Не очень, но все-таки есть,— признался Кесоу.

Александра Ивановича тянуло все дальше, точно он надеялся увидеть нечто такое, чего никогда не видел. Он присматривался к каждому клочку земли, что-то прикидывая в уме, и снова устремлялся дальше.

Темнело, но, как видно, это мало беспокоило секретаря райкома. Александр Иванович попросил показать ему табачные сараи.

Александр Иванович познакомился с низальщицами. Ему указали на лучших из них, и он долго следил за их работой. Женщины сидели усталые, потные, но не выпускали из рук низальных игл. А с плантаций зеленым потоком шел и шел табак. Мужчины разгружали арбы, и все новые корзины со свежими табачными листьями заполняли сарай. Глядя на все это, можно было подумать, что рабочий день только начался.

В одном из сараев Александр Иванович обратил внимание на плохую электрическую проводку.

— Хотите сжечь сарай? — спросил он.

— Никак нет,— ответил Кесоу.

— В таком случае исправьте проводку. Есть у вас противопожарная инструкция?

— Есть.

— Ну, товарищи сакенцы,— сказал со смешком Александр Иванович,— теперь можно и в сельский Совет — поговорим немного.

Всю дорогу им светила луна, такая яркая, что электрический свет, к большой досаде Кесоу, потускнел в ее блеске. Но это только казалось так. Могло ли какое-нибудь небесное явление, пусть даже такое нестрашимое, как луна, затмить сияние сакенских ламп?

В сельском Совете Каму познакомили с Александром Ивановичем. Он прищурился, точно хотел лучше ее разглядеть, и крепко пожал девушке руку.

— Слышал о вас, — сказал он. — Если не ошибаюсь, первый сакенский агротехник?

— Но не последний.

— Вам рассказывали, Александр Иванович, — вмешался Кесоу, — о нашем историке?

— О ком?

— Об одном студенте-историке?

Тараш откашлялся и тоже вмешался в разговор:

— Замечательное дело, Александр Иванович. Нашли древние могилы, а в них — топоры, бусы и еще кой-какие железки. Боюсь, как бы ученые не нахлынули со всех сторон.

Явились члены правления, бригадиры. Робко вошел и сел в уголке заведующий парниками старик Дадуд. Все они пришли прямо с полей и плантаций, принеся с собой и запах свежей кукурузной зелени, и едва слышный аромат клейких табачных листьев. Люди были в рабочей одежде, изодранной во многих местах цепкими лесными колючками. Рукавами блуз они вытирали свои красные, влажные от пота шеи. Графин воды, стоявший на столе, сразу был опорожнен. Пришлось срочно посылать к колодцу за водой. Но и второй графин не утолил людской жажды. Комната наполнилась дымом самокруток.

Александр Иванович думал: «Вот он, труд, упорный, тяжелый, но любезный сердцу человека. Чем был бы Сакен без этого труда?»

Сакенцы, в свою очередь, разглядывали секретаря. «Он кажется старше своих лет», — единодушно решили они. Александр Иванович был бледен, желваки на щеках нервно прыгали, он часто тер себе виски.

Началась беседа.

Александр Иванович слушал внимательно, что-то записывал себе в книжку. Заговорит кто-нибудь в углу — он тотчас поворачивается к нему.

О чем только не заходила речь! О табаке и кукурузе, о мотоплуге и корчевке леса, о низке табачных

листьев, об электростанции, энергия которой используется не полностью, о школьной библиотеке, о погоде и строительстве дороги, о клубной сцене и фосфоритах...

— Кстати, о фосфоритах! — подхватил Александр Иванович. — Что, если мы попросим у вас тонн до пяти сот ежемесячно?

Кесоу вопросительно взглянул на Тараша, и оба они, словно по уговору, посмотрели на Константина.

— Я думаю... — начал Кесоу.

А Тараш продолжил его мысль:

— Кесоу прав. Мы дадим пятьсот и больше, ежели поможете транспортом.

— Значит, договорились?

— Так точно, Александр Иванович.

Тараш придвинулся ближе к столу, положил на зеленое сукно свои длинные, худые руки. Подождал, когда секретарь райкома кончит записывать.

— Александр Иванович, — сказал он, — дайте нам, пожалуйста, один совет.

— Я слушаю.

— Задумали мы кое-что... Впрочем, пусть об этом скажет... — И он кивнул в сторону Камы.

Наступила тишина. Каме не оставалось ничего другого, как встать и сказать несколько слов. Начала она, волнуясь, тербя платочек, обшитый кружевом... Речь, стало быть, идет о субтропических растениях, приученных к холодному климату. Кое-что уже сделано. Колхозники откликнулись, помощь оказывают. В случае успеха можно подумать о расширении зоны субтропиков вообще.

Александр Иванович живо заинтересовался делом, входя в подробности, и Кама, как утверждают сакенцы, отвечала точно по-писаному.

— Что вы скажете? — обратился Александр Иванович к Тарашу.

— Вот товарищ Мирба, по-моему, желает...

Кесоу не заставил себя ждать. Он знал, что спросят его мнение, и потому заранее обдумывал ответ, по возможности отбрасывая все личное, не относящееся к делу. Мирба квалифицировал свое выступление как дополнение к словам предыдущего товарища, то есть агротехника. Необходимо продумать и в ближайшие

же годы восстановить вырубленные близ Сакена леса (кедры, лавровишня, эвкалипты). Следует также устроить водохранилище в селе — скажем, наполнить Волчий ров водой из Голубого озера. Необходимо предусмотреть широкое разведение водоплавающей птицы. Дальше. После указанных мероприятий, видимо, встанет вопрос и о промышленном разведении цитрусовых и чая в Сакене.

— Таково наше общее мнение, — заключил Кесоу.

Надо отдать Мирба должное: говорил он складно. На следующий день весь Сакен твердил о том, что из уст Кесоу вылетали не слова, но искры, как от кремня и кресала.

— Позвольте, — сказал Александр Иванович, обводя присутствующих лукавым взглядом, — насколько я понял, товарищи ставят вопрос широко.

— Так точно, — по-военному ответил Кесоу.

Александр Иванович припомнил эти же самые слова, произнесенные в его кабинете почти три года тому назад.

— Ясно, товарищ Мирба.

— Мы, Александр Иванович, — продолжал Кесоу, — хотим прийти к коммунизму вместе со всей страной. Как вся страна — так и мы. А за порогом оставаться негоже.

Сакенцы поддержали заявление своего односельчанина одобрительными возгласами, иные зааплодировали.

— Ну вот, — произнес Александр Иванович, — у нас почти торжественное собрание. — Он взглянул на часы, помолчал, выжидая, пока люди успокоятся, и продолжал: — Что же сказать вам, дорогие товарищи? Уже двенадцатый час, а мы с вами ведем речь, казалось бы, о несбыточных делах. Это неплохо. Я хочу сказать, вы правильно поступаете, когда ставите перед собой большие задачи. Уметь мечтать — это значит замахиваться на большие дела. А наши мечты, как известно, имеют обыкновение сбываться. В этом можно убедиться хотя бы на примере вашего села. Морозостойкие лимоны — очень хорошо. — Александр Иванович остановил взгляд на Мирба. — Вы знаете, сколько беды принесли морозы прошлой зимой? От них пострадали почти все плантации. Вспомните:

сколько времени держался мороз? Всего несколько часов. А сколько погибло труда!

Александр Ивановичу тяжело вспоминать об этом. В те морозные дни он ездил из одного села в другое, он был готов своим телом прикрыть любой куст, чтобы согреть его. Но разве согреешь миллионы кустов?..

— О многом приходится думать,— говорит Александр Иванович.— Поля у вас не плохие. А вот о скотине вы заботитесь? Надо, чтобы было вдоволь и молока и мяса. Есть у нас еще села, где и поля неважные, и скотины маловато, и дисциплина никудышная... Впрочем, и у вас не все блещут дисциплиной, не все по-хозяйски относятся к общему добру. Скажем, машины, которые вы получили,— где они находятся? Под открытым небом?

— Нет, Александр Иванович,— поспешил с ответом Тараш,— у нас навесы, мы холим машины. Не беспокойтесь.

— Ну, спасибо... А вот вчера мне пришлось побывать в двух селах там внизу... Машины ржавеют посреди поля, брошены, словно никому не нужны. Безобразие!

И опять на лице Александра Ивановича то же выражение усталости и озабоченности, которое подметил Кесоу еще днем.

Александр Иванович обвел тусклым взглядом все собрание.

— Ну, обо всем этом мы еще потолкуем, и не раз,— сказал он, улыбаясь.— Я думаю, что мы понимаем друг друга: мечтая о будущем, мы не должны забывать о сегодняшнем дне... Что же касается предложения товарища Мирба — оно, на мой взгляд, дельное.

Александр Иванович добавил, что Кесоу стоит на верном пути.

— Однако,— заметил он,— усилия сакенцев необходимо сочетать с усилиями всего района.

Александр Иванович помолчал, поглядел на Каму.

— Очень хорошее дело затеяли,— проговорил он и выразительно подчеркнул: — Очень хорошее, товарищ агротехник.

Кама сидела сосредоточенная и, казалось, чуть-

чуть грустная (может быть, оттого, что намаялась за день).

«Хорошая девушка,— сказал про себя Кесоу.— Другая на ее месте не сидела бы скромно, а порхала от радости».

Приглядевшись к ее усталым глазам, заметив вдруг проступившие морщинки в уголках губ, он быстро принял решение: «Надо поговорить с ней нынче же. Не надо обижать ее». Теперь ему было ясно, как поступить дальше. И он не желал откладывать беседы с нею далее сегодняшнего вечера.

— Итак,— сказал Александр Иванович,— работайте, мечтайте, думайте о большом, беритесь за любое дело по-хозяйски, по-государственному. Что же касается ваших начинаний... — он снова обратился к Каме,— у меня на этот счет такое предложение: мы поручим научно-исследовательскому институту организовать опорный пункт в Сакене. Я думаю,— продолжал Александр Иванович, улыбаясь,— что нам не придется подыскивать кандидатуру на должность заведующего пунктом. Она уже имеется, эта кандидатура... — И он широким, торжественным жестом указал на Каму.

В это время кто-то тихонько приоткрыл дверь. Сначала просунулась голова в башлыке, а потом показалась рука, державшая огромную деревянную шкатулку.

— Салуман! — крикнул Кесоу.— Ты словно угадал наше желание.— И он обратился к Александру Ивановичу: — Это наш фотограф. Мы просим вас сфотографироваться вместе с нами.

И, не дожидаясь согласия, Кесоу начал рассаживать людей. Все произошло быстро, как и полагается в таких случаях. Салуман расставил треногу, водрузил на нее свою коробку с черным рукавом и зажег лампу в тысячу свечей. Вся комната наполнилась ярчайшим светом, словно внесли перо сказочной жар-птицы.

— Выдержка большая будет,— зловеще предупредил Салуман.

И когда после томительной «выдержки» наконец раздался щелчок в затворе объектива, Александр Иванович спросил:

— Что это за аппарат?

Вот когда хозяевам пришлось покраснеть! Сакенцы (те, кто не присутствовал при этом) говаривали впоследствии, что сельская власть не сразу пришла в себя. Будто только Кесоу не растерялся и накинулся на оторопевшего Салумана.

— Ну, что я тебе говорил?! — кричал Кесоу. — Когда ты выбросишь свою допотопную игрушку?

Одним словом, сакенцы проклинали и фотографа, и его дурацкий сундучок.

31

Мир словно молоком полит...

Я не знаю, достаточно ли точен этот сугубо сакенский образ. Но тот, кто бывал в горах в лунную ночь, едва ли упрекнет меня в вычурности стиля. Голубоватый свет, что льется с небес, вдруг превращается в лучи молочного цвета, и тогда вокруг становится белым-бело. Лишь далекие горные вершины, покрытые вечными снегами, голубеют среди земной белизны. А на сакенских дорогах то здесь, то там ложатся на землю желтоватые отсветы электрических фонарей.

Медленно бредут Кесоу и Кама по земле, политой молоком. Кесоу сбивает хворостиной веточки придорожных кустов, глубоко вдыхает ночную свежесть.

Кама наматывает на пальцы тонкий конец косы и снова разматывает его — это ее любимое занятие в часы раздумья. Кесоу время от времени посматривает на девичью шею, отсвечивающую голубизной, как и те далекие снежные вершины...

— Кама, это очень плохо, когда человек слишком горячится и вдруг ошибается?

Девушка молчит.

— Но разве плохо, когда человек сознается в этом?

Кама по-прежнему молчит, и они идут дальше.

— Александр Иванович, по-моему, уехал в хорошем настроении, — говорит Кесоу.

— Возможно, — отвечает Кама.

Он не может удержаться, чтобы чуточку не прихвастнуть.

— А почему бы и нет! Разве мы сидим сложа руки?.. И тобой он остался доволен...

— Неправда.

— Подумай сама,— убеждает ее Кесоу,— ты, можно сказать, заведующая опорным пунктом в Сакене. А знаешь, что это значит?

— Не знаю,— едва слышно выговаривает она, все сама отлично понимая.

— Это значит, что ты возглавляешь большое дело. Раз. Это значит, что Сакен уже не тот. Два. Не тот! — возбужденно повторяет Кесоу, довольный переменами в Сакене.

Его страстному воображению уже рисуется Сакен, каким он будет в ближайшие десять, а может быть, и пять лет. На месте глубокого и мрачного Волчьего рва появится красивое озеро. Взамен черного провала — голубизна воды, вместо тлетворных испарений — чистая водная прохлада. А в садах, что раскинутся на сакенских крутых косогорах, зацветут прекрасные деревья. Кама соберет первые плоды лимона, сорвет первые чайные листья. И кто знает — может, Каме доведется ехать на Украину или на Северный Кавказ, везти туда свои собственные, сакенские сорта растений. Все может быть!..

Вот и заветный родник. «Ежели Кесоу пройдет мимо,— размышляет Кама,— с ним будет все кончено». Она отбрасывает косу за плечи и убыстряет шаг.

Но тут Кесоу берет ее за руку.

— Кажется, родник? — спрашивает он.

Кама говорит, вырывая руку:

— Нет... — и пытается объяснить свое движение: дескать, ей надо торопиться домой, дескать, она...

Но Кесоу, преграждая ей путь, не слушает ее и слегка посмеивается. Кесоу сильный, настойчивый, даже властный немного.

И Кама вынуждена подчиниться. Да, друзья мои, видит бог,— не могла не уступить Кама.

И вот сидят уже оба рядышком на мшистом камне и прислушиваются к немолчному пению родника. Оба они собираются с мыслями, чтобы до конца понять

и оценить это не совсем обычное и неожиданное положение.

А вокруг тихо. Слышно, как травинки переговариваются между собой, как величественно шелестят стоящие поодаль дубы, утихомиривая передравшихся птиц. И все тот же голубоватый свет разлит вокруг, те же звезды на небе и предательски яркая электрическая лампочка на столбе.

Вот сейчас, в эту минуту, все будет решено, все будет досказано и наконец кончится эта томительная неопределенность...

32

Я делаю последние наброски.

Передо мной огромный вывороченный пенъ — работа гусеничного трактора. Корни, словно руки, готовые схватить, вытянуты кверху; они поражают своей мощью.

Антон возится с кисетом. Это он обвязывал могучей цепью вековой ствол, это он скомандовал трактору — и тот одним рывком выдернул пенъ, словно гигантский зуб, крепко сидевший в сухой земляной десне.

Раннее утро. По долинам стелется туман. Из-за горы Гуагуа поднялось солнце; небо — сплошной ультрамарин. Где-то раздается пение. Шальной ветерок доносит слова:

Уж вы, горы мои,
Горы вы Кавказские...

— Слышишь? — говорит Антон.

Как под этой под горой
Течет речка быстрая...

— А я знаю, кто это поет, — продолжает Антон. — Это Галя и Смел. Но чей же еще голос? — Антон озабоченно прислушивается и вдруг восклицает: — Узнал! Да это же Николай Айба, гробокопатель!

Антон не прочь беззлобно посмеяться над сакенской интеллигенцией. В душе, по его словам, он глубоко-

ко уважает людей ученых, но при этом отдает должное и крестьянскому труду. С неохотой преодолевая свою лень, он приписывает ее тяжелой физической работе, к которой, дескать, не приспособлена его тщедушная натура. Однако эта самоуничижающая философия вовсе не угнетает духа Антона Рашба...

— Фальшивит Николай,— говорит Антон,— плохой у него голос.

Постепенно Сакен наполняется шумом моторов: гудят дорожные машины за хутором Ореховая балка, дробно шумит мотоплуг на косогорах, ухаает высокой трубой фосфоритный завод, посылая в небо кольца черного дыма. И, как прежде, рокошет бурная река Сакен...

Этюд закончен. Я бреду сельской дорогой и думаю: прав Гудал, ратующий за асфальтовые дорожки на своем дворе. Едва ли сакенцы долго будут мириться с грязью и пылью, как не примирились они с низкими урожаями...

В полдень я повстречал Николая Айба. Он шагал со своей неизменной киркой и заветным чемоданчиком.

— Что нового? — спросил я.

— Нашел поразительные черепки,— сказал он.

— А что ваши древние всадники?

— Их оказалось пять. Они захоронены вместе с конями. Возможно, это колхи.— И он продолжал, убежденный в неоспоримом величии своего открытия: — Взволнован весь Сакен; а через месяц поразятся и многие археологи. Вы знаете Галю? Она в восторге от моих экспонатов. А Смел не понимает... Впрочем, что требовать от электрика?

И он удалился легкой, прыгающей походкой, странно противоречащей его ученым рассуждениям.

Через час из Ореховой балки уйдет машина. Она увезет и меня. Но путешествие, которое мне предстоит, не будет опасным — через перевалы и пропасти, через реки и ущелья, — каким оно было недавно.

Я расстаюсь с Сакеном. Я подумываю о новых планах, и мне уже мерещатся новые папки, набитые волжскими, днепровскими, подмосковными зарисовка-

ми. С высоты сакенских гор я будто вижу Волгу и Днепр, просторы Сибири и Закаспия; вижу необозримые пространства — и везде и повсюду царят Труд и Мир. Во имя Труда и Мира живут наши Север и Юг, Запад и Восток. И среди их прекрасного, созидającego бытия маленький Сакен — пусть капля в океане, но капля чудесная...

Гора Клыч озарена солнцем, что называется, с головы до ног. Гуагуа нежится в его тепле, словно огромная, добродушная дворняжка. Вокруг — горы, горы, горы... Солнце поднимается все выше и выше, а река Сакен устремляется по долине все дальше и дальше...

1950

Каштановый дом

Записки молодой учительницы

— Приехали! — крикнул шофер, резко затормозив машину. — Девушка, сойдешь? — Он вылез из кабины и протянул мне руки. — Давай чемодан.

Я подала ему свой багаж, а сама спрыгнула на землю.

— Ты хотела в Дубовую Рощу? Вот это село.

Прямо передо мною горы. Слева горы. Справа горы. Я оглянулась в ту сторону, откуда мы приехали, — и там тоже горы. А где же село?..

Он, очевидно, рассчитывал на этот эффект.

— Что, ничего не видно? — сказал он, улыбаясь. — Такое уж село. Все дома в лесу. А возле каждого дома тополь и виноград. И дубы... Вон, видишь красное пятно? Черепицу видишь? Там сельсовет.

Это был высокий мужчина средних лет. Нос клювом. Волосы спутаны, как у иного цыгана. А зубы белые, точно вырезаны из молодого редиса.

— Зачем приехала, девушка? — спросил шофер, видя, что я несколько смущена необычностью сельского пейзажа.

— Работать приехала, — ответила я. — Буду здесь учительницей.

— Ты?! — воскликнул шофер. Он, казалось, был удивлен моим ответом. И так, чуточку недоверчиво скосив глаза, продолжал: — Такая красивая и молодая — и вдруг учительница. И вдруг Дубовая Роща!

— А что? — сказала я, думая о том, куда все-таки меня занесло и действительно ли это та самая Дубовая Роща, куда Министерство просвещения Абхазии направило меня преподавать русский язык. Кому, собственно, преподавать, где здесь люди и где их жилища? Сплошная зелень, сплошные горы, и только это красное черепичное пятно...

— Как ваше имя? — полюбопытствовал шофер, переходя на «вы».

— Наталья Андреевна, — сказала я.

Мне было неловко называть себя по отчеству. Но я понимала, что привыкать к этому надо и незачем откладывать.

— А фамилия?

— Боровикова.

— А я Омеркédж-ипá, — отрекомендовался шофер. — Я Сааткерí, а мой брат — Сит. Сит Омеркеджипа знаете кто? Летчик. Он летает здесь. Его все знают. Но меня знают лучше. Потому что я старший брат. Я работал у председателя райисполкома. Я работал у секретаря райкома. Я работал в райздраве. А сейчас работаю в сельпо... Если увидите вертолет, так и знайте: это летит Сит... А сколько вам лет?

— Двадцать три, — ответила я.

— А муж есть?

— Нет. Мне рано замуж.

Он покачал головой.

— И вы будете здесь одна?

Я сказала, что у меня очень скоро появятся ученики. Разве это называется быть одной?

— Да, — решительно сказал шофер. — Посмотрите на цветок. Видите? Желтый. Красивый. Он не может расти, когда один. Подойдите к нему поближе. Да, да, это пчела. Женщина тоже как этот цветок.

— У вас старые понятия.

— Пускай старые. Зато правильные... А вы знаете, что такое Дубовая Роща? Смотрите!

Шофер подошел к обочине и нагнулся к пыльной земле. Он поковырял ее ножом, который достал из-за голенища, и подал мне какой-то серый комок.

— Берите. Не бойтесь.

— Снег! — вскрикнула я.

— Да, снег, — спокойно сказал шофер. — На дороге пыль. Как пудра. Земля трескается от жары. А совсем рядом снег! Он оттуда.

Шофер указал на серый склон высокой горы, покрытой снежной шапкой.

— Все здесь такое. Люди тоже. Сердца у них как огонь. А на полсантиметра правее или левее — снег. Холод... Зачем вы приехали сюда? Разве в Гудаутском

районе нет хороших сел? Возьмите Ачандáру, Дурипш, Ацы... Кто вас послал в Дубовую Рощу?

Мое смущение росло. Я думала о том, что вот уедет сейчас этот шофер, фыркнет за поворотом машина, и я останусь одна-одинешенька среди гор, у края гигантского ледникового языка, под палящим солнцем. И даже дороги к сельсовету не найду...

Шофер попрощался со мной за руку, сказав, что живет в соседнем селе, ближе к морю. Моя попытка всучить ему десятку не увенчалась успехом.

— Может быть, моих детей учить будете, — сказал он. — Не возьму... А дорога там, за орехом.

Оказывается, за кустом ореха начиналась тропинка, которая прямехонько вела к порогу сельского Совета.

Шофер подал машину назад, въехал на слежавшийся снег и рванул налево.

Машина укатила.

Я осталась одна среди клубов желтой пыли. Посто-яла немного, затем подняла с земли свой чемодан.

Итак, я вступаю в жизнь. Так непохожа она на шумную университетскую жизнь в Ростове-на-Дону! Было тихо, очень тихо. С солидным жужжанием проносились пчелы. Очень высоко парил кречет. Из травы неслись свистящие звуки. Пахло зеленью, еловой смолой.

Тропинка была узенькая, желтенькая и пыльная. Словно земля убегала в чащу молодых дубов.

Делать нечего, надо идти.

Здание сельского Совета двухэтажное, каменное. Нижний этаж напоминал скорее подвал: малюсенькие окна, тяжелая, окованная железом дверь. Наверх вела широкая каменная лестница без перил. Я недолго колебалась, куда идти: на втором этаже кто-то громко заговорил, очевидно по телефону. Я и пошла на голос.

У меня было такое ощущение, будто я поднималась в средневековый замок. Ступени весьма солидные. Половицы на открытой веранде не менее солидные, — по крайней мере, по возрасту они походили на днище скифской лодки, которую я видела в музее. Они были массивные, сплошь в трещинах. Шла на верный

ориентир — дубовую дверь с резными наличниками и неказистой надписью. Многочисленные плакаты приглашали вносить деньги в сберегательную кассу, страховаться от пожара, вступать в члены Общества Красного Креста и Красного Полумесяца. Были тут объявления и о подписке на газеты и журналы.

Я открыла дверь и вошла.

В углу за столом сидел мужчина в шапке и кричал в телефонную трубку. Двое других, тоже в шапках, сидели справа и слева от него и внимательно прислушивались к его словам. Судя по всему, разговор был важный, ибо меня не скоро заметили.

Первым обратил на меня внимание тот, кто держал в руках трубку (несомненно, председатель). Он знаком пригласил меня присесть на скамью. А после ко мне повернулись и остальные двое. Один из них — толстый, розовощекий — предложил мне свой стул. А другой — блондин, точнее, альбинос, с белыми, как вата, волосами — тоже встал и сказал:

— Пожалуйста, пожалуйста...

Все трое, как по команде, сняли шапки.

Мне ничего не оставалось, как только сесть на один из предложенных стульев. Я почувствовала, что становлюсь объектом внимательного исследования трех пар мужских глаз, и, кажется, вся съежилась, кажется, сделалась такой маленькой и запуганной...

Телефонный разговор продолжался.

— Слушаю, слушаю... — раздавалось в комнате.

Эти слова бесконечным рефреном чередовались с не менее выразительным «алло». Говоривший по телефону уже хрипел от напряжения. Его высокий бледный лоб покрылся крупными, словно кукурузины, каплями пота.

— Слушаю! Слушаю!.. Я повторяю! — кричал он в трубку. — Низка табака идет вполне удовлетворительно. Количество шнурометров записали? Хорошо... Алло! Алло! Чаю собрали... Уже записано?.. Слушаю! Слушаю!

Невольно мне представилась возможность кое-что узнать о сельских делах, краткая сводка которых, насколько я поняла, передавалась в районный центр.

Наконец разговор был окончен.

— Ну и двадцатый век! — обратился ко мне председатель. — Скоро я попрошу дополнительного отдыха из-за этого проклятого аппарата.

Он кашлял и глотками отпивал воду из стакана. А потом вопросительно уставился на меня большими, воловьими глазами. Взгляд был добрый, и я почувствовала некоторую уверенность в себе.

— Меня направили в ваше село, — сказала я, доставая бумагу из сумочки. — Но, может быть, я попала вовсе не туда. Я не видела здесь ни одного дома. Мужчины оживились.

— Нет, попали прямо по назначению, — сказал альбинос. — Вот этот товарищ — председатель местного Совета. Он вам все объяснит, как надо. Это очень умный человек.

Председатель шмыгнул носом. Он сказал, что когда надо расхлебывать что-нибудь каверзное, то все тычут пальцами в него, выставляют напоказ и дружно колотят только его одного. Но если случится в селе что-нибудь хорошее — героев находится очень много.

— А что касается моего ума, — продолжал председатель, — то его хватит для того, чтобы руководить вами.

Альбинос и толстяк, не спуская с меня глаз, дружно подтвердили: да, председатель в Дубовой Роще вовсе не дуб.

Они смеялись. Смеялась и я. Шутки были беззлобными и свидетельствовали о том, что здесь, по крайней мере эти трое, любят и умеют посмеяться.

— Товарищ учительница, — сказал председатель, — мы извиняемся за такой прием. Но мы люди лесные, горные, и нам простительно. Вот этот белобрысый — председатель колхоза. Его фамилия Базба, имя Махти. А этот толстяк — Бутба Еснат, бригадир колхоза. Я — Саатбей Бутба. Мы вас видим первый раз и поэтому не смеем ругать друг друга. Скоро вы сами поймете, кто и что из нас здесь представляет.

Теперь по всем правилам хорошего тона оставалось представиться самой, что я и сделала.

— Жалко вас, — сочувственно сказал председатель. — Жалко, что вам придется месить грязь. Лично я предпочел бы Ростов. Да, я знаю Ростов. Это большой город, и там много девушек, похожих на вас.

Видимо, я покраснела, чем еще больше развеселила мужчин.

— Такой, как вы, я не видал! — воскликнул альбинос.

— Это ни о чем еще не говорит, — поправил его толстяк. — Мало ли кого ты не видал!

— Мне кажется, что я попала в общество тонко воспитанных людей из старинных французских романов, — заметила я. — Там тоже не скупятся на комплименты дамам.

Председатель вдруг посерьезнел, более того — помрачнел.

— Не знаю таких сложных слов, — проворчал он. — Что такое «комплимент»? Может быть, мы обидели вас?

И он начал убирать со стола бумаги. Судя по тому, как он это делал, я пришла к заключению, что обидела его, во всяком случае, задела в нем какую-то чувствительную струнку. Двое других последовали примеру председателя, то есть приумолкли, перестали смеяться, шутить. Сразу же воцарилась атмосфера ужасающей канцелярщины, в которой гибнет все живое.

— Товарищ Боровикова, — сказал председатель ледяным голосом, стараясь не смотреть в мою сторону, — нам приятно, что министерство прислало такую образованную и энергичную учительницу. Хотя я не директор школы, но знаю, что вас ждут. Сельский Совет окажет вам помощь в подыскании комнаты. Это наша обязанность.

Я была, говоря откровенно, огорошена. В одно мгновение совершился поворот на сто восемьдесят градусов. Боже мой, как строго надо следить за своим языком! Неужели эта ссылка на старинные романы?..

— Вот этот товарищ, — председатель нацелил палец на толстяка, — проводит вас до школы. Со своей стороны, мы дадим указание руководству школы, чтобы вас не обижали.

— Спасибо, — произнесла я. — Обид не боюсь. Могу постоять за себя.

Зазвонил телефон, и председатель ухватился за трубку, как утопающий за спасательный круг.

На этом закончилась аудиенция в сельском Совете.

Мы идем по лесу. Над нами сплошной шатер из зелени. Здесь прохладно, точно в пещере. Это почти что дремучий лес. По-прежнему не видно домов. Где же они?

Я шагаю впереди, а за мною с чемоданом — Еснат Бутба. Мы направляемся в школу или же к директору школы. Так представляется мне цель нашего путешествия. Однако Бутба внес существенную поправку.

— Председатель сказал: идите к директору, — сообщил Еснат. — Но это разве закон? Разве председатель не может ошибаться? И очень даже может! Разве можно посылать вас в школу? Сначала нужен дом, нужна крыша! Я прав или не прав? Может быть, прав этот Саатбей? Правда, он большой человек. А вот взял да и ошибся. Пальцем попал в небо. Для живой души нужен очаг. Нет очага — нет души. Нет души — нет работы! Верно говорю?

Я промолчала, занятая собственными мыслями. А он все говорил и говорил. Он говорил, что человек живет единожды и его надо уважать, тем более если он красивый и к тому же если он женщина...

Я спросила Бутбу:

— Вот я уже целый час в вашем селе и не видела ни одного жилища. Единственный дом, который мне знаком, — сельсовет. Что это за дом и кто его построил?

— А что? — произнес Бутба весело.

— Он вроде древнего замка.

— Замок — это крепость?

— Вроде крепости, — объяснила я.

— Этот дом построил князь Чачба.

— Вот оно что!

— Он жил в нем. Вино пил. Крестьян ругал. Людей грабил. Что еще? Все! Чачбы нет, а дом его стоит.

Я легко перемахнула через небольшой ручей — благо еще не потеряла спортивной формы.

— Хорошо прыгаете, — похвалил Бутба. — Только женщина не должна прыгать. Разве она коза? Есть разные занятия, которые подходят женщине.

— Какие, например? — полюбопытствовала я.

— Какие? Хорошо, когда женщина красиво сидит и красиво стоит. Хорошо, когда красиво поет. И красиво танцевать может. Когда женщина берет гитару.

и кладет ногу на ногу, а руки приближает к струнам — это очень хорошо! Только надо иметь стройную шею. Как у вас.

Я резко обернулась и почти крикнула:

— Нет, вы просто неисправимы!

Мы чуть было не столкнулись носами.

Он остолбенел и пробормотал едва внятно:

— Очень извиняюсь.

И пошел за мной на почтительном расстоянии.

Я сняла комнату у одной вдовы по фамилии Бутба (опять Бутба!). Это старая женщина. Одинокая. Сын ее, инженер, работает в Сухуми. Звать вдову Атия Кутатовна.

Дом деревянный. Стоит на высоких бетонных столбах, как цапля на тонких ножках. Летом его со всех сторон продувают ветры. Но зимой... Могу вообразить, как в нем неуютно зимой. На три комнаты единственный камин. Вспоминаются слова Бутбы. Он выразился следующим образом: «Зимой зубы стучат так, что потом их приходится на полу собирать». И он же привел меня сюда!

— В этом доме,— сказал Бутба,— живет хорошая вдовушка. Отсюда до школы два шага. Приглашаю жить в моем доме, но тогда вам придется спускаться с горы. А потом подниматься на нее. После работы.

Хозяйка моя по-русски говорит с трудом. Она поняла меня и согласилась, что в комнате размером в шестнадцать квадратных метров зимою и впрямь будет холодно. Но это, говорит, полезно для здоровья, и, чтобы успокоить меня, она показала мне гору одеял и матрасов, сложенных в гостиной. Да, в постели наверняка будет тепло...

Итак, первая ночь в горах.

Со странным ощущением улеглась я в постель. Начну с того, что это произошло в девять часов вечера, чего не случилось со мною очень давно. Объяснение простое — стемнело, и поэтому ничего не оставалось, как спать. Хозяйка легла еще раньше в маленькой, смежной с моею комнатке. Она долго охала и причитала. Ей под восемьдесят. Но выглядит она для своих лет неплохо. Годы, должно быть, как это ни странно,

больше всего дают о себе знать в постели. Моя хозяйка, перед тем как уснуть, долго охала...

Вокруг нас, совсем недалеко, были шакалы. Хрипло лаяли собаки.

Я изрядно утомилась за день: поездка на электричке, а затем тряска на грузовой машине, ожидание в районном отделе народного образования, и — снова машина. Но спать не очень хотелось. Вообще-то говоря, на новом месте всегда спится плохо. Непривычная обстановка действует на нервные центры возбуждающе. Здесь, вдобавок ко всему, отсутствовал электрический выключатель. Сознание того, что в случае бессонницы не смогу раскрыть книгу и прочитать десяток страниц, особенно удручало. Ну, и этот странный дом — единственный дом, который я увидела за день, не считая здания сельского Совета. Казалось, что меня просто бросили в гуще дикого леса. Я различала негромкие пiski и шорохи, слышала какую-то возню на деревьях.

Я лежала с открытыми глазами в крошечной тьме. А в ушах звенели, словно живые, голоса университетских друзей. Казалось, еще вчера я переступила порог университета, а уже сегодня — где-то в горах, далеко-далеко от родных и родного города. Передо мной стояло заплаканное мамино лицо. Ясно видела папу, который успокаивал меня: дескать, он знаком с городом Сухуми и совсем не беспокоится за мою судьбу. Если бы он знал, как далеко я от Сухуми и от золотистого пляжа и пальм, которые так восхищали папу!

Я думала и о том, что буду делать завтра, что скажет директор и каков он. Не раз приходили на память слова шофера: в сердце огонь, а рядом холод. Что это значит?

За дощатой стеной, оклеенной старыми обоями, слышалось кряхтенье старухи. Она громко что-то проговорила по-абхазски, словно о чем-то умоляла. Потом все стихло...

Подумала о старости, и мне стало не по себе. Неужели и я когда-нибудь начну бормотать невнятное в ночи? Наверное. Старость есть старость, она никого не минует, если только, разумеется, суждено дожить до нее. По всему телу пробежали мурашки, когда вообразила себя морщинистой и дряблой.

Мы очень мало размышляем над грядущей старостью, говорила я себе, кутаясь в одеяло (было прохладно, что объяснялось полуторакилометровой высотой над уровнем моря). Если иногда переноситься мысленно лет на сорок вперед и воображать себя старым, не содрогаясь при этом и не падая духом, а по-хорошему, по-человечески задумываясь над тем, что неизбежно ждет нас, молодых и красивых, впереди, наверное, мы не станем хуже, а напротив — человеколюбивее, проще, чище. Но для того чтобы думать о таких вещах...

И тут я уснула.

Утром моя старушка пригласила меня к себе завтракать. Передо мной стояла тарелка с фасолью. В ней было столько перца, что я плакала. Вместо хлеба — мамалыга. В отличие от фасоли, в ней полностью отсутствовала соль. Я смешала ломтики мамалыги с фасолью. Получилось недурно.

Атия Кутатовна сказала, что ко мне приходили из сельского Совета. Председатель интересовался, как я устроилась и не требуется ли какая-либо помощь.

— Ты балшой чалавэк, — убежденно проговорила старушка.

Я — и вдруг большой! Это было смешно.

Потом мы пили чай. Мне было сообщено, что чай и сахар аккуратно присылает сын, который тоже «балшой чалавэк» в городе.

Потом старушка проводила меня до ворот. Как могла, объяснила, где находится школа. Самое простое — идти вдоль речушки, а потом переправиться на другой бережок, и тут же на холме стоит неопишуемой красоты дом... Так говорила старушка. И с восхищением повторяла:

— Каштан! Совсем каштан!

— Каштановый? Весь каштановый?

— Да, да, каштановый! Совсем!

Во дворе школы встретила хмурого, небритого мужчину. Ему было лет тридцать — тридцать пять. С презрением он смотрел на развалившиеся ворота. Увидев меня, сказал:

— Здравствуйте. Вы новая учительница?

— Да, это я.

— Поздравляю вас с прибытием в эту дыру,— проворчал мужчина, подавая словно нехотя руку. Выражение лица его было злое, неприветливое.— Вы окончили Ростовский университет? Знаю. Когда-нибудь слышали такое — Дубовая Роща? Нет? Пожалуйста, работайте. Только хочется предупредить: школа немногим лучше ненецкого чума. Вы бывали на Крайнем Севере?

Я ответила, что нет.

— Зимой лучше всего вести занятия в шубе, чтобы не замерзнуть.

— Разве здесь нет печей?

— Печи? Как же, имеются.— Директор наконец улыбнулся.— И дрова есть. Однако количества вырабатываемой всеми школьными печами тепловой энергии хватает только на то, чтобы согреть небольшую часть воздуха, который тут же улетучивается через щели.

— Проще всего заделать их,— посоветовала я.

— Спасибо! — ядовито воскликнул директор.— Это первое, что приходит каждому из нас в голову. Нет, заделать щели невозможно!

Я присмотрелась к зданию. Издали оно производило неплохое впечатление. Каштановые доски были того замечательного цвета, который характерен для этого благородного дерева. Я высказала свои мысли вслух.

— Да,— проворчал директор, пробуя, прочно ли держится столб, на который навешиваются ворота,— это старый каштановый шифоньер. Его не успели выбросить на барахолку.

Неопределенного цвета кепка покрывала его лохматую голову. Сорочка на нем была не первой свежести, туфли давно не чищены...

— Однако вы пессимист,— заметила я.

— Нет,— безразлично ответил он.— Я стою ближе к жизни. Только и всего. Скоро и вы станете ближе. Уверяю вас. Впрочем, не буду разочаровывать... Вы уже обрели кров?

— Да, я сняла комнату. Это недалеко отсюда. У старухи Бутбы.

— Так. С вами обещали прислать учебные программы. Вы привезли их?

— Конечно.

— Вы просто молодец! Спасибо.— Он снова улыбнулся, посмотрел мне в глаза.— Что говорит ваша мама? Ваш папа?

— Ничего не говорят.

— Вас заставили приехать сюда или?..

— Сама напросилась.

Он смотрел на меня недоверчиво.

— Вот как! Может быть, вы думали, что здесь имеются все городские блага?

— Нет,— жестко ответила я,— ничего этого я не думала. Я много читала об Абхазии. Мне казалось, что здесь интересно...

— Здесь — это в горах?

— Хотя бы. Разве я ошиблась?

Он отвернулся.

— Да нет, пожалуй, не ошиблись. Только предупреждаю: здесь нет центрального отопления, нет ателье мод...

Я обиделась.

— Позвольте, почему вы так упираете на это самое ателье? Я дала вам повод?

— Извините,— сказал он примирительно,— я это просто так... Значит, вы сами? Добровольно?

— Разумеется!

— Ну что ж, ваш энтузиазм можно приветствовать,— сказал он безо всякого энтузиазма. И, помолчав, добавил: — Раньше, до революции, в этом селе жили отпетые абреки. Они ходили за перевал и грабили там...

— ...честных людей?

— Пожалуй, таких же головорезов, как они сами. После революции торжественно отстроили эту школу. Каштан привезли с большим трудом откуда-то оттуда... — Он указал рукой на восток. — Вот там, за оврагом, тоже дом. Его мы арендуем под старшие классы — восьмой, девятый и десятый. Село считается окраинным. Внимание к нему — постольку, поскольку здесь все-таки живут люди... Вот и все... Через неделю начало учебного года, а мы педагогами обеспечены не полностью... У вас ко мне будут вопросы? А то я все говорю один.

Я сказала, что пока вопросов нет. Мы условились, что я осмотрю школьное здание, а он тем временем поговорит с крестьянами о починке ворот. А после этого мы продолжим нашу беседу.

— Может быть, я вас напугал? — спросил директор. — Не обращайтесь внимания. Я рад, что вы приехали. Как-никак еще один свежий человек.

Я сказала, что не пугливого десятка.

— Послушайте. — Он скрестил руки. — Из вас могла бы получиться великолепная героиня современной повести. Только у вас опыта маловато.

— Какого опыта?

— А я скажу. Вы отвечаете слишком лаконично. А должны бы говорить так: я приехала в это отдаленное село, чтобы принести родине как можно больше пользы, я не боюсь трудностей, а иду им навстречу, я хочу выявить имеющиеся здесь недостатки и поскорее ликвидировать их. Понимаете? И вы были бы сущей находкой для иного литератора. Вам не нравятся мои советы?

— Нет, — сказала я.

— И мне тоже. — Он улыбался, с него на минуту сошла серая хмурь. — Извините, что не могу проводить вас до порога школы. Вы там встретите одну нашу преподавательницу. Познакомьтесь, пожалуйста, с нею...

Школа приземистая, с широкой открытой верандой. По фасаду я насчитала десять каштановых столбов, подпиравших крышу большой веранды. Во двор смотрели узкие окна. Боковые стены здания — тоже из каштана. На них четко обозначались горизонтальные швы — должно быть, те самые щели, о которых говорил директор. Драночная кровля изрядно потемнела от времени, однако не выглядела ветхой. На одном из столбов торчал деревянный кронштейн, и на нем висел колокол солидных размеров. Как я потом выяснила, его приволокли с какой-то железнодорожной станций, чуть ли не из Туапсе.

На веранду вела шаткая лесенка, уже много послужившая человеку. Половицы приветствовали меня дружным скрипом. Заглянула в окно: парты,

учительские столы на возвышениях. В общем, классы выглядели опрятными, даже стекла в окнах были целы.

Я прошла в правую дверь. Из небольшой прихожей попала в просторную, пахнущую затхлостью комнату. Длинный стол, покрытый вылинявшей зеленой скатертью, шкаф на замке и полдюжины гнутых стульев говорили, что здесь учительская.

За столом сидела худенькая женщина с огромным пучком волос на затылке. Она быстро поднялась навстречу мне. У нее были большие, почти циркульного очертания брови и черные глаза с добрый орех. Белая капроновая кофточка ярко оттеняла черноту ее глаз и матовый цвет лица.

— Я видела в окно, что вы разговаривали с нашим директором,— сказала она низким, слегка вибрирующим голосом.— Наверное, вы и есть наша новенькая учительница.

— Здравствуйте. Вы не ошиблись.

Она подала мне холодную руку и с откровенным любопытством осмотрела меня с головы до ног.

— Я преподаю химию и физику,— сказала она.— А вы, кажется, по русскому языку... Это очень приятно. Мы лишились хорошей учительницы по русскому. Хорошей и хорошенькой.— Она с опаской взглянула в окно и продолжала: — Она была его женой. Директора нашего. Сбежала она.

И тут же, не сходя с места, я была посвящена в семейную драму директора. Его жена была интересная, молодая женщина из Очамчирского района. Ею увлекся учитель-историк, и они в один прекрасный день скрылись. Это случилось полгода тому назад. Все были убеждены в том, что директор настигнет их где-нибудь в горах и убьет. Но этого не произошло. Потом начали строить догадки, что директор разыщет их летом и на досуге расплатится за свой позор. Наконец, когда все эти предположения не оправдались, нашлись люди, которые обрушили на голову директора град насмешек.

— Он почти потерял свой авторитет,— заключила моя новая знакомая Вера Коблуховна Смыр.

— Сбежала, значит?

— Да. От него. И от нас. Она никак не могла понять, как будет жить в наших горах.

— Как все! — сказала я.

— Да, милая, но у нас нет ателье мод, нет центрального отопления... Теперь они живут в городе... Отец ее богатый человек. В торговле работает.

Я узнала также, что муж Веры Коблуховны — колхозный бригадир. Детей у них нет, но оба они очень любят друг друга.

Очевидно, и мне следовало ответить той же откровенностью. Я это попыталась сделать. И Вера Коблуховна удивилась, что я не замужем.

— И такая красивая, и такая молодая! — воскликнула она.

В эту минуту я уже окончательно простила местным мужчинам подобные откровенные заявления. Как видно, это природная черта жителей этой страны...

— Скажите, Наталья Андреевна, а там у вас кто-нибудь остался?

— Кто именно? — спросила я, хотя и понимала, о чем шла речь.

— Жених. Поклонник. Наверное, были влюблены...

— К сожалению, нет, если не считать студенческих увлечений...

Она, как видно, не очень-то поверила мне.

— Удивительно! — проговорила она. — Впрочем, часто встречается такое. Знаете пословицу? Не родись красивой, а родись счастливой.

— Верно, — согласилась я.

— Но вы все же молодец, — сказала Смыр, — что рискнули поехать в неизвестное горное село. Вам, наверно, будет трудно после городской жизни.

— Ничего, не страшно, — мужественно произнесла я, чем окончательно восхитила Веру Коблуховну. Она даже зааплодировала мне. А потом прищурилась и, глядя словно сквозь меня, произнесла:

— За вами, наверно, будет ухаживать директор. Но вы не поддавайтесь. Зачем вам женатый человек?

Я покраснела от смущения. Да что же это в самом деле? Не нужно мне ни холостых, ни женатых! Я сама по себе и выйду замуж, когда придет время...

— Имейте в виду его годы, — предупредила Смыр.

Я перевела разговор на более серьезную тему. Выяснилось, что наша школа останется по-прежнему десятилетней — реорганизация ее не коснется. Разумеется, много часов выделяется на труд и практические занятия по сельскому хозяйству. Здесь уже третий год ведется собственное школьное хозяйство силами учащихся. Имеется правление хозяйства, председатель — все, как в жизни. Ученики сеют кукурузу, выращивают табак, яблоки и груши.

Мы прошлись по пустым классам.

В этом доме занимаются ученики с первого по седьмой класс. Старшеклассники в том, другом здании. Смыр сообщила, что дисциплина среди учеников неплохая, и это объясняется в какой-то мере традициями: младшие обязаны почитать старших и слушаться их. Я мысленно представила себя за учительским столом. Увидела перед собою сорок пар любопытных глаз. И невольно вздрогнула... Хотя нам, студентам, и приходилось давать пробные уроки, однако настоящий урок — совсем другое дело. Признаюсь: мне захотелось, чтобы поскорее наступило первое сентября, захотелось с головой окунуться в дело.

Я придерживаюсь взгляда, что нигде не требуется так много самоотверженности и любви к работе, как в преподавательской деятельности. Надо или страстно любить школу, или уходить от нее подальше. Половинчатость абсолютно противопоказана. Только в этом случае ты одинаково хорошо будешь себя чувствовать в Ростове, в Сибири или в Дубовой Роще. Трудно было загадывать, как сложится моя жизнь в этом селе. Но, говоря откровенно, очень хотелось бы пройти через все испытания, какие положены в таких случаях, и получить то, о чем я мечтала еще в университете: удовлетворение от работы, от полной отдачи себя любимому делу...

Школьное здание, классы и школьный двор, обсаженный яблонями, производили в общем неплохое впечатление. И по-настоящему я обрадовалась, когда заметила проводку в классах, хотя еще не было ни выключателей, ни ламп — одни шнуры.

— Ой! — вскрикнула я и захлопала в ладоши.

Смыр удивилась.

— Что случилось? — спросила она.

— Здесь есть электричество? — спросила я.

— А как же! Правда, не везде. В пяти километрах отсюда, на реке Гва́диква́ра, построена электростанция.

— Чудесно, — сказала я. — Люблю читать по ночам. А вы?

Смыр пожала плечами. Сказала, усмехнувшись:

— Муж мешает.

И подмигнула.

Я снова покраснела. А Смыр захохотала и, указывая на меня пальцем, проговорила:

— Милая моя, вы совсем еще девочка! Хотите, я буду вашей наставницей?

— Ну что же, — сказала я совершенно машинально.

Где-то негромко хлопнула дверь.

— Пришел, — сказала Смыр. — Пойдем в учительскую. Поговорим с ним.

Директор угрюмо сидел за столом.

— Не явились, черти, — проворчал он. — Придется жаловаться в район. Стыдно школе без ворот.

Предложить нам стулья он не догадался. Или был очень расстроен, или плохо воспитан.

— Пес с ними! — сказал директор, шумно отодвигаясь вместе со стулом. — Давайте поговорим. Надеюсь, товарищ Смыр кое-что успела вам рассказать.

Он метнул на учительницу хитроватый взгляд. Та поняла его намек и горячо возразила:

— Мы говорили о последних модах и не успели перемолвиться о деле. И потом, мы ждали вас...

— Ну что ж, это неплохо. Давайте присаживайтесь. — Он помолчал. — Я, кажется, становлюсь груб. В этой дыре легко огрубеть...

Смыр подмигнула мне и тотчас же приняла серьезный вид. Нет, она была занятой женщиной, и я подумала, что подружусь с ней.

Директор был настроен весьма скептически. До начала учебного года оставалось несколько дней. Как вести перестройку занятий? Если всерьез говорить о тесной связи школы с жизнью, — нужны преподаватели. Инструкций по этому вопросу много. В министерстве только и заняты тем, что бумажки пишут да по телефону командуют... А кто у нас будет

преподавать основы сельскохозяйственного производства? Утром звонили из района — обещали прислать специалиста, а пока, говорят, привлечите к работе колхозного агронома. Это, стало быть, человека, который по горло занят. А кто будет вести трудовое обучение? Позарез нужен преподаватель по этому предмету.

— Вам мы дадим пятый, шестой и седьмой классы,— сказал мне директор, ударив себя ладонью по макушке.— В одном из них вы будете руководительницей.

Он настороженно взглянул на Смыр и, справедливо предположив, что я уже знаю кое-что о происшествии в его личной жизни или, во всяком случае, скоро узнаю об этом, не без ехидства сказал, что была, дескать, тут одна преподавательница, да сбежала. И высказал надежду, что это не случится со мной.

Я заверила, что совершенно гарантирована от подобных вещей.

Он уставился на меня карими усталыми глазами и сказал:

— Не зарекайтесь. Разве вы не живой и не молодой человек?

— Так что же из того, что молодой? Голову на плечах надо иметь,— возразила я.— А то ведь можно опуститься до того, что...

— До чего, например?

Я замялась.

— Что же вы молчите? Вы хотите сказать, что человек может так опуститься, что и бриться перестанет... Что, угадал?

— Почти...

Он провел рукой по щетинистой щеке и бросил на Смыр укоризненный взгляд, словно говоря: «Эх, милая, можно бы повременить с твоей болтовней хоть денек!..»

— Знаете что? — задумчиво продолжал директор.— В одном отношении есть что-то общее между большим городом и этой деревней. И там и здесь сердце человека беззащитно от случайного удара. Ей-богу!

Мы поговорили еще о том о сем. Директор просил ежедневно являться в школу к девяти часам утра, расписываться в журнале и ждать указаний.

Дубовая Роща — это в переводе. А по-абхазски название звучит так: Аджра. Село старинное и, по здешним понятиям, довольно большое: в нем свыше ста дворов. К селу примыкает несколько поселений, затерявшихся в горах. Наша школа обслуживает и их. Некоторые ученики приходят сюда со страшных горных круч. Иные — из-за облаков, и часто по пути в школу им приходится шагать сквозь плотные туманы. А живут здесь хуторами: один дом от другого на расстоянии человеческого голоса.

Моя хозяйка рассказала, что недалеко от Дубовой Рощи находится священная гора. Называется она Бабрипш. Старушка говорила о ней с глубоким благоговением. Любого лжеца или свидетельствующего ложно гора поражает громом...

— Бабушка, все это неправда, — не выдержала я.

— Что?! — возмутилась старушка. — Мой сын тоже так говорит. И ты говоришь. Вы оба ничего не знай. Ничего не понимай. Бабрипш — святой гора. Бабрипш — много сила есть. Бабрипш хороший чалавэк любит. Бабрипш плахой не любит. Ты еще молодой. Так не говори. Хорошо?

Я пообещала ничего дурного об этой священной горе не думать и не говорить вслух. После этого хозяйка рассказала мне о том, как один человек украл лошадь. Было это давно — тогда хозяйка еще девчонкой бежала. Вор перед лицом горы Бабрипш стал отрицать свою вину. И тут его поразил гром. И вор сделался каменным столбом. И сейчас он стоит в виде столба на том же месте, этот вор. Но его можно увидеть, ежели пойти с добрыми намерениями и никоим образом не хулить священную гору.

Старушка вывела меня на крыльцо и показала Бабрипш — невысокую, конусообразную гору, похожую на Фудзияму, как ее рисуют на картинках: ровные, пологие склоны, вершина со снежной шапкой. До Бабрипш было, вероятно, не более десяти километров по прямой. Она голубела на фоне зелено-синих, более могучих гор.

В воскресенье Вера Коблуховна Смыр пригласила меня к себе обедать. Она сказала, что зайдет за мной и что до ее дома совсем недалеко.

Была жаркая солнечная погода. Сначала шли мы под гору. Идти было легко, и я не замечала, много ли мы прошли. Вера Коблуховна сообщала мне названия речушек и холмов, которые попадались нам на пути. Названия показались мне очень древними, за каждым из них стояло имя какого-нибудь человека, очевидно старейшего в роду. Даже родники имели названия. Например: речка Сымсы́ма, родник Даша́ныквы, холм Гада́ры...

Нас обогнала грузовая машина. Шофер и не подумал притормозить, подвезти нас. Правда, мы и не пытались останавливать его. Смыр сказала, что все-таки порядочный шофер должен был бы затормозить. Потом нас нагнал трактор. Страшно шумя и дымя, он быстро катил на высоких задних колесах, рядом с которыми передние казались крошечными. Тракторист помахал нам шутливо рукой и указал на место рядом с собой.

— Провались ты! — сказала Смыр.

— На вас не угодишь, — заметила я.

— Сдался он мне со своим грязным трактором!

Потом начался подъем на гору по невероятно крутой тропе. Вот где я намаялась со своими высокими каблуками! Смыр взяла меня под руку, и мы вдвоем поползли вверх.

— Скоро привыкнете, — утешила она меня.

Но чем выше мы поднимались мимо невообразимо желтых и серых скал, тем живописнее становился пейзаж. Я не выдержала и заговорила стихами из пушкинского «Кавказа».

— Ничего красивого не вижу, — сказала Смыр, тяжело дыша. — Куда лучше асфальт. Ходишь себе, даже ног не замочишь.

— Вы не чувствуете поэзии, — пошутила я.

— Посмотрим, как заговорите, когда польют дожди и тучи сядут вам на плечи, словно огромные орлы.

Вдруг из-за отвесного склона с шумом выпорхнул орел. Я так и обомлела. Огромный орел с пропеллером над головой!

— Это Омеркедж-ипа, — равнодушно сказала Смыр. — Он летает на Ханáу-яшта.

Вертолет прошел на уровне наших ног и скрылся в глубокой пропасти.

— Я знаю его брата,— сказала я.

— Его брата?

— Он подвез меня на своем грузовике.

Смыр прищелкнула языком:

— Этот Омеркедж-ипа — красавец. Увидите — влюбитесь.

— Тоже скажете!

Мы все шли и шли, а конца пути не предвиделось. Смыр все твердила: «Скоро, скоро, за поворотом». Мы идем, а поворотов не счесть. Но я была предовольна: не повидать всех этих красот просто грешно. Люди покупают себе путевки, тратят сбережения, чтобы полюбоваться горами, а я вижу их и люблюсь по месту службы, мне за это еще и денежки платят.

Дубовая Роща лежала внизу, размыканная на хутора и одинокие дворики. На зеленом ковре — серые четырехугольники крыш. И только одна из них выделялась своим цветом — крыша сельского Совета.

К великому своему удовольствию, меж гор я разглядела кусочек бирюзы. Сначала не верилось, что это море. Но Смыр убедила меня, что это именно море. Казалось, я взошла на крышу мира: подо мною море, подо мною горы и пропасти, отсюда вижу рождение рек и ледников. Незабываемая картина!.. А как легко дышалось! Воздух сам струился в легкие, и от него кружилась голова,— так он был свеж и чист!

Дом колхозного бригадира Смыра стоял в конце небольшого зеленого двора. Трава казалась специально подстриженной, необычной, декоративной. Это был зеленый ковер. По периметру, вдоль плетня, красовались молодые яблони и груши.

У ворот нас встретил важный курлыкающий индюк. Хозяин и еще какие-то мужчины и женщины спешили нам навстречу.

Мужчины здоровались за руку, женщины целовали меня. Надо знать, что здесь считается неприличным чмокать в губы, а следует осторожно прикладывать щекой к правому плечу или к шее. Кое с кем я уже была знакома. Здесь оказались председатель

сельского Совета и бригадир Бутба, тот самый толстяк, который провожал меня на квартиру.

— Скоро придет и ваш директор, — сообщили мне. — И председатель колхоза тоже придет.

Пока собирались приглашенные, мужчины играли в нарды — восточную игру, которую я наблюдала впервые. Чтобы играть было интереснее, делались небольшие денежные ставки. Женщины сновали возле постройки, стоящей поодаль от дома. Судя по дыму и запахам, доносившимся оттуда, это была кухонька.

Я оказалась в центре внимания. Меня всячески пытались развлекать, а это вовсе не нужно было, потому что все для меня казалось новым и любопытным.

— У вас нынче много гостей, — сказала я Вере Коблуховне.

— Этот обед в вашу честь, — объяснила она. — Вы же гостья наша. И вы должны покориться своей участи.

Ничего другого не оставалось, как примириться с этим. Признаться, очень утомительно, когда тебя изо всех сил развлекают.

Чтобы выйти из неловкого положения, в которое невольно попала, я решила пойти на кухню и посмотреть, что там делается. А там взяла полотенце и стала вытирать мокрые тарелки. Как мне потом рассказали, я вызвала целую сенсацию: вот, дескать, горожанка, а черной работы не чурается, сама в гостях, а ведет себя словно родственница. А еще я узнала, что своим поведением снискала славу первой невесты на селе. Слава довольно сомнительная, если принять во внимание, что я всегда презирала наивных девушек, которые выставляют себя в качестве готовеньких невест. Но, видит бог, все произошло помимо моей воли.

Несколько дней спустя после этого обеда моя старушка сказала мне, чтобы я не выходила замуж за такого-то или такого-то (всех имен я и не упомянула), если они попросят моей руки. Это бездельники, сказала она. Мне было смешно, но женское тщеславие нет-нет и просыпалось во мне.

Я почему-то вспомнила Женю Пархоменко, моего однокурсника. Он ухаживал за мной, а женился на другой. Та, говорят, была дурнее меня и внешностью и характером. Вот этого бы Женю сюда, чтобы соб-

ственными глазами убедился, какое «сокровище» он упустил! Впрочем, я и не жалею, что все так случилось. Все в этом мире к лучшему...

Однако стоит вернуться к обеду.

В общем, он прошел очень празднично: с пением и плясками, с длинными застольными речами. Пили очень много — разумеется, мужчины. Но пьяных не было. С каждым тостом все становились вежливее и внимательнее, чтобы — упаси бог! — не выдать своего опьянения. На все это обращала мое внимание Смыр. Она подсаживалась ко мне и нашептывала на ухо.

Кушанья были в какой-то степени для меня привычные: перец, помидорные подливы и прочие пряности. Мамалыгу мы и на Дону любили. К ней мы пристрастились, когда проводили летний отдых всей семьей в Адыгее. Я обратила внимание на то, как вкусно отварено мясо. Это, наверное, здешнее искусство. Мясо было мягкое, ароматное, и куски мне подавали отборные — сами во рту таяли.

Явился председатель колхоза. Он извинился за опоздание: отвлекли неотложные табачные дела. Председателя оштрафовали емким рогом, который он опорожнил с величайшим удовольствием.

А вот директор нашей школы все не показывался. Это несколько беспокоило Смыр.

— Он, наверное, не придет, — говорила она.

Я поддерживала ее в этом мнении.

— Может быть, он обиделся на что-нибудь? — недоумевала Смыр.

Когда гости заметно притомились, к столу подвели старую женщину. Ее поддерживали под руки с обеих сторон. Опиралась она на клюку. Лицо старухи — почти пергамент, веки — бледно-розовые, зрачки — выцветшие. Ей, оказывается, ни много ни мало — сто десять лет. Она была в этом доме прапрабабушкой.

Старухе поднесли чайный стакан вина. Она заулыбалась, обвела нас всех глазами, в которых вдруг вспыхнули огоньки.

Она сказала несколько слов по-абхазски, осушила стакан и передала его тулумбашу. С этого момента вернулось оживление: еще бы, такая древняя старуха

выпила целый стакан! Всем надлежало опрокинуть, по крайней мере, по пяти.

Первым долгом приступили ко мне. Хотя вино и было отличное, легкое и умеренно терпкое, меня бросило в холод при виде батареи стаканов. Я попыталась отказаться. Меня принялись увещевать. Но нашлись и заступники. Поднялся страшный шум: одни настаивали на том, чтобы я подчинилась требованию тулум-баша, а другие, главным образом женщины, заступались за меня.

Я отпила несколько глотков и передала стакан моему соседу справа — огромному детине. Так научила меня Смыр. И все сразу успокоились.

Мы просидели до сумерек и разошлись, несмотря на уговоры радушных хозяев.

С удовольствием вспоминаю этот обед у Смыр. Он помог мне лучше понять обычаи и нравы людей, среди которых мне предстояло жить и работать. Я как-то сразу продвинулась вперед в изучении психологии жителей Дубовой Рощи. Вот теперь я уж не обиделась бы на комплименты, обращенные ко мне при моем первом появлении в Дубовой Роще. Страстная впечатлительность, горячность, вспыльчивость — основные черты здешних горцев. С большим терпением слушала я цветистые тосты, в которых я сравнивалась то с луной, то с солнцем, то со сказочными героинями и почему-то даже с Жанной д'Арк.

— Но я не хочу умереть здесь, как Жанна, — сказала я.

— Тогда мы умрем за вас! — воскликнул оратор. — Теперь вы довольны?!

Это походило на боевое крещение абхазским застольем, и, кажется, я с честью его выдержала.

Я собиралась лечь. Было что-то около девяти. Как ни весел пир, он все же очень утомляет. Я расчесывала волосы перед старинным зеркальцем. Керосиновая лампа заливала комнату матовым золотистым светом. Глаза мои поблескивали. На щеках горел румянец, которым я отличалась с детства. Пожалуй, тосты за обедом не очень-то были преувеличены в той их части, где говорилось о моей внешности. Еще недавно я жа-

лела, что не подрезала волос по моде, чтобы походить на «колдунью» из кинофильма того же названия. Наши ростовские девушки сделали это сразу после просмотра фильма. Но теперь я понимала, что пучок мне идет больше. Об этом твердили сегодня на обеде, называя меня то гречанкой, то римлянкой, то абхазкой.

Я полюбовалась своими ногами, обутыми в модные туфли. Эти остроносые туфли с тонкими каблуками купила мама по случаю моего окончания университета. Должна признаться, что туфли для женщин значат очень много. Я это вынуждена признать, несмотря на то что ненавижу финтифлюшек. Но так же ненавижу и их антиподов — «синих чулок». Лучше всего золотая середина...

В это время вдруг послышался мужской голос и тяжелые шаги на крыльце. Моя хозяйка, кряхтя, поднялась с постели и открыла дверь. В ее комнату кто-то вошел и с громким стуком поставил на стол тяжелый предмет.

Голос мужчины показался знакомым. Гость говорил негромко. Хозяйка отвечала ему хрипловато. Она, судя по тону, была довольна, двигала стулом, звенела тарелками.

Немного спустя ко мне постучали.

— Наташа, Наташа, — звала меня хозяйка.

Я открыла дверь. Старуха объяснила, что пришел директор. И очень просила выйти. Нельзя, чтобы гость скучал... Так говорила старуха.

Я колебалась. Я устала, находилась по горным тропам... Попыталась отговориться.

— Пожалуйста, на полчаса! — крикнул директор из-за перегородки.

— Я, Кирилл Тамшугович...

— Очень вас прошу...

— Мы ждали вас у Смыров.

— Надеюсь, вы не скучали?

— Думаю, что нет.

— Отлично. Жду вас.

Старуха усиленно манила меня знаками, и я сдалась. Привела себя в порядок, переоделась в черное платье. И туфли надела новые. (Были у меня в запасе такие чудесные замшевые туфли.)

Директор на этот раз был хорошо выбрит, одет в серый костюм и белоснежную сорочку. Ярко-красный галстук подчеркивал бледность его лица, на котором сияла добрая улыбка. И ни следа не осталось от злости, неприветливости или раздражительности. В больших зрачках отражалась яркая лампа, и казалось, это они источали свет. Меня подмывало спросить его: не вернулась ли к нему жена? К счастью, я удержалась.

— Вы чем-то смущены? — спросил он.

— Я?

— Впрочем, скорее удивлены. Что, неправда?

Хозяйка пододвинула ко мне стул. Засеменила к маленькому темному шкафу, заторопилась на кухню.

— Что же вы не садитесь? Прошу извинить меня за поздний визит.

Глаза у директора нынче были совсем добрые, даже виноватые.

— Ради бога, — ответила я. — Я тоже рада поговорить. Не привыкла ложиться рано. А что делать, не придумаю. Нет света. Это — колоссальное неудобство.

— А лампа есть?

— Есть, но она маленькая и больше коптит, чем светит.

— Шальная мысль, не правда ли, явиться к вам на ночь глядя и даже прихватить коньяк? Но мне очень захотелось. Ну, просто не мог удержаться... Мне необходимо поболтать. Нужна живая душа. Вот и пришел. А теперь жалуйтесь на вашу горькую долю.

— Не жалуюсь. Пока не жалуюсь.

— Ну и на том спасибо!

Он мигом откупорил бутылку, отыскал в шкафу маленькие стопочки.

— Поехал я вчера в Гудауту, — сказал он, наливая коньяку. — Нарочно. Чтобы у Смыров не быть... Наверное, там злословили обо мне?

— И не думали.

Он удивился:

— Вы это серьезно?

— Совершенно.

— Вот оно что! О людях иной раз думаешь хуже, чем они есть на самом деле. А мне казалось, что пере-

моют мне все косточки. И я решил доставить им это удовольствие.

— Вы ошиблись.

Он посмотрел на меня долгим взглядом.

— Нет, нет,— проговорил директор,— я не комплименты пришел вам говорить. Мне нужна живая душа. Понимаете?.. К тому же я вас обидел. И посему должен как-то искупить свою вину... Мой визит трудно объяснить кому-либо из жителей Дубовой Рощи. Мое дурное настроение они обычно приписывают тому, что от меня жена ушла. Может, отчасти это и так, но немножко примитивно. Будто я могу расстраиваться только по этому поводу! Что прошло, то прошло! Я считаю своим долгом сказать все это откровенно, ибо, как полагаю, вам наговорили обо мне кое-что лишнее. Так вот, выпьем немножко, самую малость.

— Нет,— сказала я.

— Не хотите? Ну, дело ваше.

Он достал из кармана пиджака плитку шоколада и поделил его на мелкие дольки.

— Что же вы будете пить? — спросил он.

— Чай. У нас есть чай. Как в городе.

Старуха принесла орехов, меду, кипятку и села с нами за стол. Кирилл Тамшугович чистил орехи и разговаривал. Орехи, казалось, занимали его в эту минуту больше, чем я.

— Меня мучает совесть,— сказал Кирилл Тамшугович.— Почему я не смог поговорить с вами как полагается, по-человечески? При первой встрече. Знаете, я много думал над этим.

Он говорил без выражения, монотонно. И было в его лишенных внешнего эффекта словах что-то привлекательное, искреннее.

— Прошлым летом я имел удовольствие прокатиться вокруг Европы,— продолжал он, задымив сигаретой.— Знаете, какое я сделал открытие? Наши девушки — самые лучшие, самые скромные в мире. А мы ворчим на них и мало их ценим. Пью за девушек в вашем лице. Вот и бабушка выпьет.

— Ай, мая не буду! Крепкий водка! — крикнула старуха.

— Нет, будешь,— настаивал директор, улыбаясь.— Наталья Андреевна... — Кирилл Тамшугович

подул на стопку, словно хотел остудить ее.— Нам с вами работать. Вы человек молодой. А я старый... Да, да! Мне под сорок. Как мог я обидеть вас? Тогда, при первой встрече.

Я запротестовала:

— Откуда вы это взяли? Я вовсе не обиделась.

— Не говорите этого, Наталья Андреевна. Я вас встретил не по-товарищески. Чего доброго, вы могли подумать, что я настроен против вас. Но это совсем не то... Это прошло. Даже удивительно, как я мог! Надо дорожить и собой и другими и не расстраиваться попусту. Ведь верно?

Я кивнула в знак согласия.

— Я, Наталья Андреевна, много думал в последнее время. Это, оказывается, небесполезное дело. Правда, находятся люди, которые считают, что думают одни бездельники, а настоящие люди только делают полезное дело. По образованию я физик, Наталья Андреевна. Учился в Московском университете. Есть у меня душа и совесть. Видите, какой я богатый!

Он захохотал и отпил коньяку.

Я смотрела на него и поражалась: во-первых, его изменившейся внешности и, во-вторых, тому ложному впечатлению, которое он произвел на меня с первого взгляда. Тогда он походил на бирюка, а нынче...

— Так вот, один пример из области физики. Существует полезная цепная реакция. Она происходит в атомном реакторе. А есть бесполезная. Это в людях. Ты обидел меня, я — другого, другой — третьего. Куда это годится? Я могу понять и простить невольные обиды, невольно нанесенные царапины. Обиды по глупости. Но ненавижу подлецов по призванию, наносящих долго не заживающие раны. Вот у нас работает один старикашка. Вернее, работал. Недавно ушел на пенсию. Он писал ложные доносы, а было время, когда ложным доносам давали ход. Мой отец погиб по ложному доносу этого старикашки. Два года назад отец получил реабилитацию. Бумажка есть, а человека нет! И вот я спрашиваю себя: можем ли мы терпеть в своей среде подлецов?

Он с минуту глядел мне в самые зрачки.

Я дала ему полную возможность выговориться. Он, видимо, испытывал в этом потребность.

Кирилл Тамшугович пил много. Чувствовалось, что он возбужден, говорил, сжав кулаки, время от времени ударяя ими по столу. Старушка при этом вздрагивала и мигала веками. Она, бедняжка, изо всех сил старалась потчевать нас, извиняясь за то, что нет на столе настоящей еды, а лишь орехи и мед.

Кирилл Тамшугович потрянул головой и сказал:

— Ладно! Не будем копать в душевных переживаниях. Верно говорю? Но вы литератор и должны меня понять.

— Какой я литератор! — сказала я. — Всего лишь истолкователь литературы для учеников, и то начинающий. Вроде щенка.

— Как вы сказали, Наталья Андреевна? Истолкователь? — Директор опустил на стол увесистый кулак. — Это очень верно! Истолкователь! Их-то нам и недостает. Ей-богу! Поучающих много, больше, чем надо, а вот истолкователей что-то маловато.

— Мне кажется, вы правы. Не знаю, как в физике, но в литературной критике, например, явно недостает глубоких истолкователей. Зато советчиков много.

Он надул губы. Сердито глянул из-под бровей.

— Ну их к бесу, этих советчиков! — проворчал Кирилл Тамшугович. — Мы слишком повзрослели, у нас уже седина в волосах, а советчики все на помочах нас водят. Плохие советчики на устаревших помочах... Вот был я вчера в районо, объяснял положение нашей школы, а они давай нотацию читать, как и что должно быть. И ни одного дельного, практически пригодного совета. Одни лозунги! Я послушал их и махнул рукой.

Я спросила, окончательно ли решено сохранить у нас прежний профиль школы-десятилетки.

— Да, — подтвердил он, — окончательно. Мы вводим основы сельскохозяйственного производства, расширяем школьное хозяйство. Значительно больше будет уроков по труду. Завтра должен приехать учитель по сельскохозяйственному производству. Посмотрим, что за человек.

Кирилл Тамшугович взглянул на часы.

— Ого, поздновато! — воскликнул он. — Вот это, называется, в гости явился! Ну, а теперь скажите честно: очень меня ругаете?

Я сказала, что вовсе не ругаю.

— Неправда!

Я настаивала на своем. Он недоверчиво косился на меня, на губах и в уголках его глаз все время играла улыбка.

Я устала, уже хотелось спать. Кирилл Тамшугович поднял стопку за мое здоровье.

— На этом закругляюсь... Мне кажется, я принял все меры, чтобы оградить вас от злословия. Присутствие вашей хозяйки исключает всякие сплетни.

— А я их не боюсь.

— Ну, это, должно быть, не совсем так. Девушка, особенно такая, как вы, не должна пренебрегать своей репутацией. Особенно в затерянном селе, как Дубовая Роща. Здесь одним словом могут наповал убить.

Директор встал, поблагодарил хозяйку. Он долго говорил по-абхазски, должно быть, приятные ей вещи: глазки старухи превратились в две небольшие линии, морщинистые щеки расплылись в улыбку.

— Спасибо вам,— сказал он, обращаясь ко мне.

Директор — человек высокий. Я смотрела на него снизу вверх. Он казался очень крепким. Такое создалось впечатление после сегодняшнего вечера.

— Спасибо вам, Наталья Андреевна. Простите мое вторжение. Вы еще молоды. Когда-нибудь поймете меня.

Он говорил снисходительно. Это чуточку задевало. Но что поделаешь! Сколько людей, столько и характеров.

Кирилл Тамшугович ушел в ночь, словно провалился сквозь землю.

Встала я в отличном настроении и утро решила посвятить ознакомлению с программой по русскому языку и литературному чтению в пятых — седьмых классах абхазских школ. Программы были изданы в Сухуми. Я не присутствовала на районном совещании педагогов, и мне надлежало основательно потрудиться самой над планом занятий. Аккуратно переписала из программ в особую тетрадь все самое важное... В пятом классе отводилось на грамматику сто семьдесят часов, на литературное чтение — сто тридцать

шесть. То же распределение часов в следующем классе, а в седьмом — несколько иное: на грамматику — сто шестьдесят пять, а на литературное чтение — около ста. Программы прямо указывали, что работа по развитию русской речи «должна иметь место на каждом уроке».

Вспоминая свои школьные уроки по грамматике — скучные, надоедливые, я решила во что бы то ни стало разнообразить материал так, чтобы ученики не зевали на уроках и не очень меня ненавидели. Полагала, что лучше всего изучать грамматику, одновременно знакомя учащихся с лучшими образцами литературных произведений. Это должно, на мой взгляд, заинтересовать их. Еще не очень точно представляла себе, как это сделать, но чувствовала интуитивно, что надо поступать именно так, а не иначе. Мне хотелось поделиться своими планами с кем-нибудь из опытных педагогов.

Медленно листая программы, страницу за страницей, я убеждалась в том, что не так уж сложно одолеть их. Я хорошенько зарубила себе на носу, что для педагога важнее всего донести материал до учащихся. Это зависит не только от знаний и опыта, но и от умения поддерживать дисциплину в классе. Мои старшие подруги жаловались именно на дисциплину. Возможно ли взять в руки подчас необузданных зверюшек? Иные мои подруги сразу бросили школу и ушли кто куда мог. Если судить по разговорам учителей, совместное обучение несколько улучшило дисциплину, но не смогло полностью решить эту проблему. Правда, здесь, в Дубовой Роще, не жаловались на дисциплину, что объясняли не столько заслугами преподавателей, сколько особыми условиями домашнего воспитания. Впрочем, Смыр держалась несколько иного мнения и не считала порядок в школе идеальным. Во всяком случае, дисциплина вызывала значительно меньше тревожений в преподавательском коллективе нашей школы, чем уход жены директора. Это меня успокаивало и, выражаясь высокопарно, вдохновляло.

Я сделала для себя и такую пометку: «Выяснить, почему в программах для внеклассного чтения не предусмотрены переводы абхазских писателей. Произведения, созданные на местном материале, способствовали

бы лучшему усвоению языка через строй знакомых образов».

Предстояло составить подробные конспекты уроков. Точное расписание всего материала по часам помогло бы более планомерному ведению занятий. Признаюсь, я горела желанием взяться за дело и показать себя с лучшей стороны...

Хозяйка несколько раз заглядывала ко мне и горестно покачивала головой, дивясь моей работоспособности. Если бы она спросила мою маму, та непременно ответила бы ей, что более ленивой девушки она не встречала на свете...

К вечеру поползли тучи. Они задевали кроны деревьев. Таких бурых и таких тяжелых туч я не видывала никогда. Стало темно-темно. Ударил гром, и за сверкали молнии. И вдруг хлынул дождь, да такой, что все скрылось за плотной пеленой воды.

Моя старушка, крестясь, улеглась в постель. Я осталась возле лампы наедине с программой и книгами.

Дождь неистово барабанил по кровле. Вода была везде, во всем свете. Я вспомнила легенду о Ноевом ковчеге. Наш деревянный дом напоминал ковчег.

И вместе с шумом дождя откуда-то сверху донесся человеческий голос. Я прислушалась. Разобрала слово, смысла которого не понимала.

— Айрума! Айрума! — вопил кто-то.

Может быть, это женское имя? А может быть, и мужское? Ясно слышу:

— Айрума! Айрума!

Потом все тонет в грохоте грома и дождя.

Нет, наверное, слышалось.

Сначала стало страшно, а потом грустно. Особенно грустно потому, что я не могла поднять телефонную трубку и позвонить кому-нибудь из друзей, как это бывало дома. Маленький аппарат немедленно рассеивал подавленное настроение.

Не выдержала и принялась сочинять письмо папе и маме.

Ожил каштановый дом, ожил он!

По двору сновали дети. На веранде прыгали дети. В классах галдели дети. Окна распахивались и с шумом закрывались. Кто смеялся, а кто хныкал, потирая ушибленное место, а кто орал благим матом. Новички жались к плетню. Дети постарше что-то оживленно обсуждали, сходясь небольшими группами. Девочки разгуливали, взявшись под руки, опасливо поглядывая на бешено мчащихся малышей.

Школьный колокол мигом внес успокоение. Ученики сломя голову бросились в классы.

Мой первый урок пришелся на седьмой класс. Я волновалась. Выждав несколько минут, пока угомонятся дети, мы, учителя, покинули свою комнату.

В руках я несла новенький классный журнал. Надо было выйти на веранду, пересечь ее и войти в дверь направо. Вошла не сразу. Дотронувшись до дверной ручки, постояла немного, прислушиваясь к тому, что делается в классе. Это продолжалось всего мгновение. Стоило мне перешагнуть порог, как воцарилась тишина и класс поднялся. Я видела много голов: темных, очень черных, светлых и даже русых. Девочки сидели на передних партах. Мальчики, видимо, не без удовольствия, заняли парты подальше от учителя.

— Здравствуйте, ребята! — громко проговорила я и направилась к столу.

Мне ответили очень нестройно, но довольно бойко. Усевшись, внимательно оглядела класс. Так вот он, класс! Мой первый класс! Которые же из них окажутся прилежными и добрыми учениками? Кто будет выматывать у меня душу своим бездельем, непослушанием, болтовней и иными проделками, на что горазды ученики всех времен и эпох?

На меня глядели тридцать пар любопытных глаз, глядели оценивающе, может быть сравнивая с прошлогодней учительницей и по-своему пытаясь угадать мои слабые стороны.

Кто-то из них станет человеком известным, кто-то прилежным крестьянином, кому-то, может быть, придется запускать в космос ракеты, а кому-то вот так же, как мне, учить детей. Но как бы ни сложились

судьбы, мне предстоит сыграть в них определенную роль, пусть незначительную, но придется. Я понимала, что ответственность на мне и моих коллегах лежит большущая, но не страшилась ее. Мне даже становилось лучше от сознания этой ответственности.

Пока я записывала присутствующих (основную массу составляли фамилии Бутба, Базба и Смыр), в углу началась возня. Мальчики шушукались, заговорщически переглядывались и хихикали.

— Мешаете, — сказала я негромко, но внушительно.

И тут же взвилась рука. Она тянулась вверх, настойчиво требуя внимания.

— Пожалуйста, — сказала я.

Поднялся мальчик лет четырнадцати, с таким непокорным вихром на лбу и живыми, как ртуть, глазами. Он казался слишком серьезным, что давало основание заподозрить какой-то подвох.

— Наталья Андреевна, — громко отчеканил он, — вы у нас вместо Гунды Александровны?

— Да, вместо нее.

— Она больше не приедет?

— Не могу сказать.

Ученики фыркнули.

— Что за смешки? — строго спросила я.

Мальчик ответил за всех:

— Нет, не приедет. Она и Кирилл Тамшугович...

Я оборвала его и заставила сесть на место. Мальчика звали Виктором Бутбой. Он продолжал о чем-то спорить со своими товарищами. Мне пришлось его одернуть.

Я рассказала классу о том, что мы будем делать в этом году, как мы должны относиться к занятиям. Кажется, мне удалось завладеть вниманием учеников. Я говорю «кажется» потому, что проклятый Виктор Бутба не давал мне сосредоточиться. Это был типичный классный шалун. Я заметила, как подобострастно смотрели на него и восхищались его проделками ученики. Припомнилось, что именно его имел в виду Кирилл Тамшугович, предупреждая о том, что «мальчик он способный, но шаловливый».

И тем не менее я чувствовала, что в этом классе будет у меня порядок, если только не подорвет его

Бутба. Он продолжал болтать с соседями и шалить. Еще миг — и я взорвусь. Меня начинала бить противная мелкая дрожь.

К счастью, Бутба сам помог мне выйти из создавшегося положения. После того, как я его еще раз сурово предупредила, он встал и громко заявил, что завтра же скажет отцу, чтобы явился в школу.

— Я разве просила об этом? — сказала я, едва сдерживая гнев.

— Нет, — ответил Виктор. — Гунда Александровна всегда вызывала. Я подумал, что и вы хотите поговорить с ним.

— Нет, пока обойдемся...

— Так не надо? — удивленно спросил он.

— Не надо!

Класс напряженно следил за нами. Этот маленький, едва вылупившийся из яйца человечек был очень опасен, ему ничего не стоило известить меня.

Мальчик оказался озадаченным не на шутку.

— Может быть, мне выйти? — спросил он.

— Это еще зачем?

— Гунда Александровна...

— Я запрещаю говорить о ней!

Он недовольно уселся, опустил голову. Я воспользовалась его замешательством. Мальчика, как видно, слишком энергично унимали в прошлом. И это дало противоположные результаты. Дай-ка, думаю, попробую иначе...

— Ребята, — сказала я, — надо выбрать старосту. И у меня имеется предложение: давайте выберем Виктора Бутбу.

Класс замер. «Виктора?» — читала я на многих лицах. «Вот этого шалуна Виктора?» — казалось, спрашивали меня.

— Ну? Что скажете?

Но Виктор успел вскочить раньше других.

— Я плохо дисциплинирован, — отчеканил он. — У меня много нарушений. Я не могу быть примером.

И грохнулся на скамью.

Я снова повторила свое предложение и поставила его на голосование. Класс проголосовал дружно.

— Поздравляю, Виктор! Обязанности свои знаешь?

— Ничего я не знаю.

— Ладно, поговорим потом.
И я преспокойно закончила урок.

В учительской рассказала своим коллегам о выборах старосты. Не терпелось узнать, встретит ли одобрение мой поступок.

— Напрасно,— заметила Смыр, выслушав меня.— Виктор ужасный.

Старшая пионервожатая согласилась с ней.

— Мы предполагали другого,— сказал директор.— Позабыл вас предупредить, Наталья Андреевна. Это моя вина.

Я объяснила, что не могла поступить иначе, совершенно не могла. На карту была поставлена судьба учебного года. И не видела иного выхода.

Но большинство учителей поддержало мои действия. В конце концов старосту всегда можно заменить другим — таков был вывод.

— Согласен, согласен,— сказал директор.— Очень важно, чтобы с самого начала все вошло в колею. Я имею в виду дисциплину. Она — главное в нашем деле.

Смыр шепнула мне на ухо, что директора словно подменили.

— Что с ним? — спрашивала она.

Я пожала плечами.

— Наверное, она приедет? — предположила Смыр.

— Кто — она?

— Его супруга.

— Вы думаете?

— А почему же он такой веселый? — Вдруг она прыснула от смеха и, уведя меня в угол, зашептала: — Извините меня, дорогая, но мне в голову пришла шальная мысль, и я не могу удержаться: может быть, это вы на него так повлияли?

— Я? С чего вы взяли?

— В том-то и дело, что с потолка. Но это очень странно: с вашим приездом он переменился. Возможно, это просто совпадение.

Я не могла сказать что-либо вразумительное.

В пятом классе урок прошел, на мой взгляд, хорошо. Я имею в виду все ту же злосчастную дисциплину.

О ней я беспокоюсь больше всего, ибо наслышалась всякой всячины. Не знаю, как в других школах Абхазии, но здесь, в Дубовой Роще, на дисциплину жаловаться не приходилось. Во всяком случае, в первый день занятий.

Пятиклассники взирали на меня, широко раскрыв глаза. Они ловили каждое слово, или мне казалось, что ловили. Во всяком случае, я отдыхала душой, могла следить за своим голосом и за жестами, которыми подкрепляла речь, стремясь сделать ее более доходчивой.

Подобно тому как цыплят по осени считают, так и работа учителя может быть по-настоящему оценена только в конце учебного года. Как усвоили ученики учебный материал, кто перешел, кто остался — вот мерило учительского таланта. А до летних каникул — целая вечность. Надо работать, работать и еще раз работать...

В классном журнале я удостоверила присутствие тридцати двух учеников.

— Все? — задала я вопрос.

— Нет, не все! — ответили мне.

— Кого же нет?

— Есыфа Базбы.

— Где же он?

— Дома!.. Не пришел!.. Ленится!..

Я успокоила ребят, отвечавших хором.

— Говори кто-нибудь один, — потребовала я.

Поднялась одна хорошенькая девчушка с удивительно русыми косами и сказала:

— Его не пускает отец. Заставляет коз пасти.

— Каких коз?

— Своих.

— Кто же его отец?

— Машь Базба. Колхозный пастух.

— Почему же не пускает?

— Говорит, довольно учиться.

— А где он живет?

— На реке Гвадиквара.

Я записала имя и фамилию отсутствующего ученика на отдельном листке бумаги. Но покончить с этим вопросом мне не удалось, так как попросил слова

мальчишка, сидевший на первой парте. Глаза у него бегали, как у мышонка. Был он маленький такой, шустренький, черноволосый и курчавый, словно негр-тенок.

— Ты что? Сказать что-нибудь хочешь?

Мальчик вытянул руки по швам и выпалил единым духом:

— Его папа плохой. Он говорит ему: не учись. А он говорит: хочу. А папа говорит: нет! Его папа бога любит. Его папа книги не читает. А он хочет читать. Он слушается папу, потому не может ходить в класс.

Я едва сдержала улыбку. Выслушала его со всей возможной серьезностью. Пришлось сказать несколько слов в назидание всем малышам. Папы всегда хорошие, утверждала я, нельзя таким тоном говорить о родителях. Их надо слушаться, их надо любить. Что касается Есыфа Базбы, — разберусь лично. Не верю, что отец может запретить сыну посещать школу. Напротив, все просят своих детей учиться, да притом лучше...

Мальчик попытался что-то возразить, но я остановила его...

Я рассказала директору и об этом случае.

— Базба? Базба Машь? — спросил он без всякого удивления. — От него можно ждать чего угодно. Он здесь пастухом работает, но славится главным образом как знахарь. Мальчика я силой вырвал у него в прошлом году. Надеюсь, с не меньшим успехом это сделаете и вы.

Выяснилось, что из всех детей школьного возраста не явилось в школу несколько человек, в том числе и мой Есыф Базба. Лично мне надлежало выяснить, что с ним и как поступить, чтобы мальчик не остался вне школы. На долю Смыр пришились два мальчика. Оставшихся распределили между собою остальные педагоги. Комсомольцы приняли меры и по своей линии. Вопрос о не явившихся в школу был включен в повестку дня ближайшего комсомольского собрания.

Обед готовлю сама. Вот если бы видела мама — то-то бы она поразилась! Она убеждена, что я ничегошеньки не умею стряпать. Она не подпускала меня

к керосинке. Ей все казалось, что я обварюсь, обожгусь или, вероятнее всего, учиню пожар. Ах, мама, мама! Если бы ты знала, какая у тебя трудолюбивая дочь! Да что там мама, когда я и сама того не подозревала!..

После занятий в школе обычно направляюсь в ларек сельского потребительского общества. Скажем прямо, ларек неказистый. Но это полбеды. Заведует ларьком такой хват, что описать невозможно. Я уже не говорю о том, что он обвешивает — эта слабость присуща многим торговым работникам. Вдобавок он и обсчитывает, причем весьма нагло. Что касается сдачи, то о ней он постоянно «забывает». Я пыталась несколько раз напоминать о мелочи. Что же он делает? Сует рубль вместо, скажем, десяти копеек, сует с улыбочкой — и я отхожу от прилавка пристыженная. Здесь к этому привыкли, и никто особенно не жалуется. Звать этого представителя великого рода Гермеса Роман Смыр. Он однофамилец моей Смыр. Но между ними нет ничего общего: та честная, добрая женщина, а этот жулик.

Когда я впервые явилась в ларек, Роман нахально выпучил глаза.

— Что тебе надо, красавица? — спросил он, вытирая руки о фартук.

— Разве мы пили на брудершафт?

Рот у него до ушей и точно смазан маслом.

— Красавица, какие слова говоришь! Хорошо, что мы одни в этом магазине, а то бы оскорбился. Слушай, требуй, что хочешь. Все будет!

Мне трудно было удержаться от улыбки при словах «все будет!». Пробежала взглядом по полкам, а там одни керосиновые лампы и хомуты да какие-то скобяные изделия. Он перехватил мой взгляд.

— Не туда смотришь, дорогая! — И Роман отдернул занавеску, прикрывавшую потайные полки.

И он торжественным жестом указал на мануфактуру, туфли, патефонные пластинки и какие-то ящики.

— Сюда надо смотреть! Ясно?

— Я бы на вашем месте предоставила возможность покупателям самим обозреть эти полки, а не драпировать их занавесками.

— Опять непонятное слово, дорогая. Я не

профессор. И не академик. Я всего-навсего Роман Смыр. А вы кто будете?

— Поймете в свое время.

Так состоялось наше знакомство.

Конечно, наивно было бы думать, что здесь, в Дубовой Роще, есть какой-нибудь духан или столовая. Таким образом, обстоятельства вынудили меня сделаться поварихой. У очага, который разжигала в кухне моя хозяйка, я стряпала себе и первое, и второе, и даже третье. В садочке моей хозяйки много фруктов, она ума не приложит, что с ними делать: ешь, ешь — не переешь!

Я сказала как-то Смыр, что познакомилась с ее однофамильцем. Она замахала руками:

— Этот бесчестный торговец никакого отношения к моему мужу не имеет. Только фамилия! Не понимаю, почему его держат в ларьке! Писали на него заявления, писали, всю книгу жалоб исписали — и ничего! Его председатель сельпо поддерживает. А это значит, что пока тот сидит в Гудауте, этот будет блаженствовать в Дубовой Роще. В общем, жулик, это всем известно. Но парень он веселый и хлебосольный.

Не знаю, какой он хлебосол, но ухаживания его довольно плоски. Это факт. Прихожу однажды в ларек, а Роман уже запер его и пломбу на замок наложил. Должно быть, лицо у меня вытянулось от досады. Однако Роман не поленился, открыл ларек, дал мне сахару и чаю, но денег не взял под тем предлогом, что «кассовый остаток уже снят». Плюс ко всему, самолично, несмотря на мои протесты, донес покупку до ворот, расточая по дороге безмерные похвалы по моему адресу. Прощаясь, он произнес только одну фразу:

— Вас похитят! И я буду не я, если ошибусь.

Две недели тому назад, едучи в Дубовую Рощу, я со страхом думала о том, что придется жить среди людей, которые не понимают моего языка и которых не пойму я. Теперь я могу сказать: к счастью, все обошлось хорошо — здесь неплохо говорят по-русски. Что касается наших учеников, они быстро все усваивают и ко времени окончания школы великолепно владеют русским. Мне кажется — насколько я успела вник-

путь в структуру абхазского языка,— секрет заключается в том, что в языке абхазцев много звуков. Наше «ы», которое доставляет хлопоты изучающим русский, абхазцы усваивают просто, ибо и у них есть звук, очень с ним сходный. Абхазцы еще в прошлом веке ввели у себя алфавит, основанный на русской графике. Это содействовало приобщению к русской грамоте еще в раннем возрасте. Что же касается окончивших высшее учебное заведение, им порою я завидовала: так хорошо, так свободно излагали они свои мысли. Классы, которые я вела, вполне меня удовлетворяли по уровню знаний. Никак не могла я пожаловаться на мою предшественницу. Она, по-видимому, неплохо знала свой предмет. Говорят, она и внешне была очень интересна. Но ведь и Кирилл Тамшугович не урод. Он умен и по-своему привлекателен. Но любовь есть любовь. У нее свои неведомые законы.

Кирилл Тамшугович интересуется моей работой, помогает, дает советы. Это ему я обязана некоторыми историческими, филологическими и этнографическими познаниями, относящимися к Абхазии.

Несколько дней тому назад он подошел ко мне, крепко пожал руку и сказал:

— Спасибо!

— За что? — удивилась я.

— Завуч рассказал мне о вашем письме в Министерство просвещения. Вы требуете, чтобы в программы по русскому языку были включены переводы абхазских писателей на русский язык. Вы подаете нам пример патриотизма.

— Ну уж и пример! — пошутила я.

— Ей-богу! Вы знаете, Наталья Андреевна, я очень люблю родную Абхазию, эти горы и язык абхазский. Если мне скажут: не будет завтра абхазского языка,— я скажу: тогда берите мою жизнь сегодня!

И тут неожиданно для себя я схватила его руку и потрясла со всей силой.

— За эти ваши слова я особенно вас уважаю!

Он даже смутился. Как девушка.

Наконец-то я собралась к Маше Базбе. Меня сопровождала старшая пионервожатая Светлана Килба. Она окончила педагогическое училище. Ей двадцать один

год. На вид это типичная северянка: волосы соломенного цвета, курносая, васильковые глаза.

— Света, — сказала я, — вас, наверное, удочерили? Она смеется:

— Я вся в прохожего молодца!

После недавнего ливня погода резко переменилась. Хотя и светило солнышко, а уж основательно дожнуло осенью, до того основательно, что я все время зябко куталась в шерстяную кофточку, в теплый шарф и демисезонное пальто.

Тропинка, которая должна была привести нас к Базбе, пролежала по диким мшистым местам. Лес был не натуральный, а сказочный: изогнутые стволы самой причудливой формы, лианы, обвивавшие их, тоже не менее причудливы, а гигантские кустарники могли разбудить даже уснувшую фантазию. Бери перо и сочиняй. Тут-то и вспомнила я нашего Чехова, который писал, что в Абхазии из каждого куста глядят сказочные сюжеты. Свидетельствую перед всеми: это так!

Светлана невольно жалась ко мне. Она откровенно призналась, что не решилась бы пройти сквозь эту чащу одна. И, не стесняясь, называла себя трусишкой. Я старалась не выдавать своего страха, но мне ни за что не хватило бы духу назвать себя храбрецом. Девственный лес — дело серьезное, атавистические инстинкты действуют здесь безотказно даже в двадцатом веке.

Ворота Базбы выросли перед нами вдруг, как изпод земли. Хозяин встретил радушно, но явно настороженно. Он архивежливо пригласил нас пройти на крыльцо. Усадил на длинную скамью, позвал свою супругу — смуглую сухощавую женщину лет пятидесяти. Передние зубы у нее сильно выдвигались вперед. От этого она казалась приветливей, чем была на самом деле.

Где-то возле кухни мелькнул мальчик. Он походил на оборванца — так плохо был одет.

Сам хозяин — с клювообразным носом, поседевшей остренькой бородкой и густо нависшими на самые глаза бровями — скорее смахивал на какого-нибудь представителя лесной фауны, нежели на двуногого царя земли. Одежда его давным-давно выгорела на со-

лице, и в живописи ее можно было передать лишь одним способом — смешав все цвета палитры. В таких случаях говорят: цвет серо-буро-малиновый. Но бог с ним, с этим цветом! К тому же одежда его была грязная, в бесчисленных заплатах.

Базба, видимо, понял, что поразил нас своим видом. Извинившись, удалился. И через пятнадцать минут показался другой Базба: в новеньких сапогах, новой блузе, в новой шапке. И брюки были под стать им. Вскоре к нам вышел и симпатичный мальчик, не знавший, куда девать руки, до крайности смущенный.

Базба не говорил по-русски. Светлана служила нам переводчиком. Я решила сразу взять быка за рога.

— Это ваш сын? — спросила я строго.

— Да, мой, — последовал ответ.

— Его имя Есыф?

— Верно, Есыф.

— Он учится в школе?

— Учится.

Ответы его следовали после небольшого раздумья, произносились ровным голосом.

— А в школу ходит?

— Не ходит.

— Вы его отец?

— Да. А вот его мать.

Он указал на женщину тростниковым чубуком своей трубки.

— Вы знаете, что существует закон о всеобщем обязательном обучении?

— Разве? — спросил Базба удивленно.

— А как же!

— Ты меня очень напугала своим вопросом. Я боюсь милиции. Вот и позабыл о законе. Вернее, перепутал его с законом о всеобщем поддержании жизни. Мальчик-то помогает мне по хозяйству. Без него нам пришлось бы худо...

Он говорил и улыбался.

Я не сразу его поняла. Но когда, как говорится, до меня дошло, то мне стало ясно, что я села в лужу. Не так с ним надо было разговаривать. Этого старого лиса законом о всеобщем обучении не проймешь.

— Деточка,— сказал он чрезвычайно снисходительным тоном,— ты шла лесом, устала. Обеспокоила себя ради моего сына. Прошу тебя, отдохни немного, поешь с нами что бог послал, а там уж поговорим, о чем будет угодно. А?

Светлана поторопилась ответить: разумеется, это верно.

Машь выдохнул клубы серого табачного дыма, в его глазах промелькнула хитринка.

— И отлично,— сказал он тем же ровным голосом.— Вы очень умные, рассудительные девушки. Верно, что девушки? Не замужем еще?.. Ну, стало быть, не ошибся.

В продолжение нашего разговора Есыф стоял поодаль и молча наблюдал за нами. Потом принялся помогать своей матери. Они вдвоем принесли из кухни холодную мамалыгу, жареный сыр и вино.

По обычаю, мы вымыли руки перед тем, как сесть за стол.

Машь говорил о том о сем, жаловался на нездоровье, на болезни скота и птиц, на плохую осеннюю охоту. Светлана, словно невзначай, обратила мое внимание на добрую дюжину свежих турьих рогов, сваленных на крыльце. Я слышала, что охота на туров — браконьерство. Хитрец Базба, от которого ничто не ускользало, заметил:

— Я очень люблю турьи рога. Их продает один охотник из Буковой Рощи. Знаете такое село?

И продолжал преспокойно есть и пить.

«С ним надо держать ухо востро»,— решила я.

Хозяйка рьяно прислуживала нам, и мы не смогли ее убедить присесть к столу.

— Хозяйка должна стоять,— твердила она.— Кто же иначе будет подавать?

Машь провозгласил тост. Он пожелал мне всего, всего наилучшего — обычная формула застолья. А потом ввернул «деловое слово»:

— Вы очень побеспокоились. Из-за кого же? Из-за него. Из-за этого вот мальчика. Вы оказали мне большую честь. Я все понимаю, хотя и безграмотен... Вон стоит мальчик. Несмышленный еще, а внимания требует. А главное — ему в жизни путь нужен. Верный путь. Школа — хорошо, но ведь одной школой сыт не

будешь. Разве мало таких, которые бродят по свету неприкаянными после того, как окончили не одну, а сразу три школы?

Я решительно возразила — решительно по существу, а не по форме. В этом смысле я учла свою неудачу. (Светлана сказала мне позже, что я становлюсь человеком Востока быстрее, чем это можно было предположить.) Мои доводы сводились к признанию того простого факта, что учение — свет, а неучение — тьма.

Базба замахал руками. Что, говорит, мы не знаем пользу науки, что ли? Все дело, говорит, в том, что помощник нужен.

Спрашиваю:

— Помощник? По хозяйству?

— Хотя бы и так.

— Другие же посылают детей в школу...

— У меня, — говорит, — дело обстоит совсем, совсем иначе. Надо его моему ремеслу обучить.

— Какому же?

— А кости вправлять.

— Знахарству?

— Зачем знахарству? Медицине.

— Для этого врачи существуют.

Машь не сдержал накипавшего раздражения.

— А что доктора умеют? — крикнул он, указывая на парящего в небе кречета. — Вот он летает, а моих цыплят не трогает.

— Почему не трогает?

— Потому что есть у меня наговорное слово. У соседей всех цыплят перетащит, а моих обойдет. Видишь? Квочка спокойна.

— Чепуха все это!

— Что она сказала? — обратился Машь к Светлане.

— Это удивительно, говорит.

— Еще бы! — Машь ударил указательным пальцем по столу, словно выговаривал нам. — Вы очень грамотные, но разум у вас младенческий. Вы не обижайтесь, девушки. Вот проживете с мое и поймете, что важны и цыплята, важны и кости, которые надо вправлять, — словом, много важных вещей на свете... Пускай наша русская гостья запомнит год, день и час. И мои слова. Вот что скажу...

Он взглянул на меня каким-то особенно острым взглядом, от которого у меня похолодели руки, и медленно-медленно, процеживая слова сквозь плотно сжатые зубы, сказал:

— Она выйдет замуж... Скоро-скоро... И никто не сумеет отговорить ее от этого брака... Не скажу, что она будет несчастной... Но не стану утверждать и того, что ей привалит счастье... Еще бы сказал кое-что, да боюсь обидеть...

Машь говорил так, словно вслушивался в чьи-то слова и повторял их.

Мы со Светланой не выдержали, расхохотались. Машь помрачнел было, но тут же поднял стакан за наше здоровье и заулыбался.

Наша беседа, в общем, закончилась довольно мирно. Машь обещал не чинить препятствий сыну и аккуратно посылать его в школу.

— Будет ходить, будет ходить,— сказала хозяйка, вытирая руки о подол юбки.

— Ежели сам захочет,— поправил ее хозяин.

Мы задали этот вопрос мальчику.

Он опустил голову и что-то пробормотал. Мы попросили его повторить. Он опять пробормотал невнятное.

— Не поняла,— сказала я.

— Буду ходить...— произнес он, делая над собой усилие.

— Ну и хорошо!

Мы поднялись. Поблагодарили за гостеприимство.

Хозяин прищурился, подергал себя за бороду и развел руками.

— Объясните мне, — сказал он, — кому нужны грамотные люди в таком количестве?

— Как кому, уважаемый Машь? Государству...

— Знаю, знаю. Одно скажу вам: шибко грамотный человек не станет пасти коз. Поверьте мне! Вы что же это, хотите обойтись и без коз, и без коров, и без сыра? Я человек неграмотный. Но подумайте сами! Что же до сына — я из него могу сделать хорошего человека, ежели мешать не будете, под локоть не толкнете меня.

Мы твердо стояли на своем: закон есть закон, и мальчика надо обучать.

— Разве что закон! — согласился в конце концов Машь и пообещал: завтра же сын его появится в школе.

Возвращаясь от Машь, мы много смеялись над его пророчеством. Я сказала Светлане, что скорее дуб, растущий в этом лесу, можно выдать замуж, нежели меня в течение ближайших двух-трех лет.

— Вокруг сколько хочешь женихов! — сказала Светлана.

— Много женихов?

— Конечно!

— А вы не ошибаетесь?

С ее чересчур легковесным утверждением я не могла согласиться. Если иметь в виду людей серьезных, а не шалопаев, со Светланой можно поспорить. Может, я слишком строго подхожу, но это так...

Но куда там! Светлана смотрела на жизнь оптимистически. Мы с ней горячо поспорили на эту тему.

Поднявшись в свою комнату, от усталости завалилась на кровать.

— Устал? — участливо спросила хозяйка, глядя меня по волосам.

— Очень. Знаете, где я была?

— Не знай.

— У Машь Базбы.

— Базба?! Машь?!

Старуха всплеснула руками, схватилась за голову. Заохала, причитая:

— Ты бедный... Ты бедный...

Потом она под села ко мне и объяснила, что необходимо омыться водой и выпить «один лекарство». Без этого я могла подвергнуться злой порче.

— Ай, Базба! Ай, Базба! — твердила старуха.

Я приложила немало усилий, чтобы успокоить ее. Можно ли в наши дни верить во всякую чертовщину? Это когда-то темные люди верили в существование дьяволов и ведьм...

Старуха ни за что не соглашалась:

— Базба имей глаз, как пуля. Бац! — и он смотрел на тебя и делал тебя больная... Он смотрел один человек — и умирал человек. Смотрел его жена —

умирал жена. Смотрел сын — умирал сын. Базба хочет — петух будет «ау! ау!», как собака. Хочет — утка будет, как петух, кричать. Этот Базба плахой! Базба ходить не надо!

Она заторопилась в свою комнату. Глядя на то, как тревожилась старуха, мне хотелось смеяться. Бедняжка заботилась обо мне, как могла. Меня это совершенно умилило. Из всего этого следовало, что старуха в паническом ужасе от злых чар злого Базбы и что она хорошо ко мне относится, то есть даже слишком хорошо. Сейчас я в этом совершенно убедилась.

Старуха возвратилась, тяжело дыша. Протянула мне стаканчик с какой-то жидкостью.

— Пей,— умоляла она.— Наташа, пей. Этот Базба плахой. Он смотрит, как пуля. Он говорит: люби! — и ты будишь любить дерево, свинья, корова. Все будишь любить! Он говорил: уходи от муж — и ты будишь уходить! Его глаз — настоящий пуля. Он не смотрел — он стреляй!

Она так страстно убеждала меня, что я выпила снадобье. Оно оказалось вином. Старуха пояснила, что это не простое вино. В нем «сила слова».

Я думала о странном Базбе и его пророчествах. Если бы поверить хотя бы на секунду его словам, я должна скоро выйти замуж. Что может быть глупее этого предсказания?!

Моя старуха что-то бормотала за перегородкой. Может быть, молилась за меня или отгоняла от своего дома базбовские наваждения.

Мне не спалось. Странное дело: минуту назад казалось, что я усну при одном виде постели. Но этого не случилось даже тогда, когда я почувствовала приятный холодок постельного белья.

Ворочалась я с боку на бок, а потом взяла да оделась. Вышла на крыльцо, благо светила ярчайшая южная луна...

Без солнца нет на земле жизни. Это непреложная истина. Но есть и другая истина: без луны было бы значительно неуютней. Много неуютней.

Эти глубокие мысли пришли мне в эту ночь. Не смейтесь: они действительно казались мне именно такими.

Виною этому ночной пейзаж. Все вокруг окрасилось в молочный цвет. Такой цвет впервые я увидела здесь, в горах. Он особенный, в степи такого не бывает. Его породила большая яркая луна. Только она.

И вдруг я слышу:

— Айрума! Айрума! Айрума!

Слышу явственно, четко.

Непонятное слово доносится откуда-то сверху, с горы. Что это? Имя чье-нибудь? Или условный зов? Я это слово как-то уже слышала однажды ночью.

— Айрума! Айрума! Айрума!

Может, это таинственные сигналы марсиан? Во всяком случае, странно звучат они в ночи.

— Айрума! Айрума! Айрума!

Голос то замирает, то раздается где-то совсем рядом, над самым ухом.

Я любовалась ночным пейзажем не меньше часа.

А вот уж после этого уснула как убитая.

Утром я попросила свою хозяйку объяснить мне, что значит таинственное слово «Айрума».

— Ах! Ах! — всплеснув руками, воскликнула она. — Молния на его голова! Гром его убивай! Это Шанаф! Он медведь гоняй, который кукуруза кушал...

Смыр разъяснила, что «Айрума» — это припев из «Пляски медведей». Шанаф воспользовался им, чтобы пугать непрощенных любителей кукурузы в пору ее молочно-восковой спелости...

3

Директор созвал педагогический совет. Обсуждались вопросы, связанные с первой неделей нового учебного года. Присутствовали все педагоги, в том числе и учитель по основам сельскохозяйственного производства — молчаливый молодой брюнет, и учитель по труду — спортивного вида товарищ. Мы, преподавательницы русского языка, сидели в одном ряду.

Кирилл Тамшугович, занимавший место в голове стола, казался совершенно подавленным. Он был небрит, как и при нашей первой встрече, говорил замогильным голосом, старался не глядеть нам в глаза.

С точки зрения формальной дела обстояли неплохо: год начат вовремя, педагоги на месте, почти все учащиеся школьного возраста привлечены к учебе. Явился даже Есыф Базба.

Все эти положительные моменты были перечислены, ко всеобщему удовольствию, заведующим учебной частью. Но вслед за этим начались жалобы педагогов: кое-где не вставлены еще стекла, одна из дверей плохо закрывается, мел попадает сырой, тряпки для досок отвратительные. Это вроде бы мелочи. А вот недостатки и посерьезнее: тесна и очень неудобна столярная мастерская, нужны слесарные инструменты. Мало лопат, кирок и цапок. Плуг надо ремонтировать. Преподаватель по физкультуре начисто забраковал почти весь спортивный инвентарь...

— Знаю, знаю, — говорил директор.

Он мрачно взывал к нашей самодеятельности, предлагая сделать все возможное, а тем временем, дескать, он примет все зависящие от него меры.

Подняли вопрос о дровах. Директор заявил, что в самые ближайшие дни ему обещали завезти достаточное количество дров. Так что вопрос этот можно считать решенным.

Заседание продолжалось часа полтора, а могло бы закончиться и раньше, если бы не чрезмерные, на мой взгляд, жалобы преподавателей по труду и физкультуре.

Вот уже несколько дней село живет делом Романа Смыра. Его проделки переполнили чашу терпения крестьян. В районный центр — в исполнительный комитет — посыпались заявления. Рассказывали, что скопились десятки таких заявлений. Как только не честили этого Романа! Какие только факты не приводились в заявлениях!

И вот в один прекрасный день на легковой машине прикатил товарищ из района. Прикатил и тут же заперся в кабинете председателя сельсовета.

Рассказывают, что в этот же день, когда должна была решиться судьба Романа, наглый торговец заявил:

— Я стою на этом месте прочнее, чем эти горы. А «это место» значило прилавок.

Тем не менее в сельский Совет поодиночке вызывали авторов заявлений, в том числе и одного из наших педагогов. Все показания старательно записывались. К концу дня, говорят, набралась пухлая папка бумаг, которая непременно должна была раздавить Романа или любого подобного ему жулика. Но человек, как говорится, предполагает...

Когда же вызвали самого Романа для дачи объяснений чуть ли не по тридцати пунктам, он, говорят, отвечал на вопросы не запинаясь и с улыбкой. Суть почти всех его ответов сводилась к одному слову — «нет». Он горько сетовал на недоброжелателей, которые, мол, вознамерились свергнуть его, чтобы заменить другим, менее «принципиальным» человеком. Интриги, интриги, интриги!.. Против него все интригуют. На его пост зарятся десятки людей. Его готовы съесть живьем!..

Но кое-что он и «признавал». Признавал, например, что в «отдельные моменты допускает грубость по отношению к некоторым покупателям», что «зачастую не обеспечивает высокого уровня культурной торговли», что «не всегда повышает свой политический уровень». И так далее. И так далее. Бил в грудь и клял себя за то, что последние «три недели не заглядывал в газеты и не слушал радио за неимением времени», а недоставало времени только потому, что занят был по горло «выполнением и перевыполнением плана не только в целом, но и по ассортименту».

Председатель сельского Совета, говорят, накинулся на него с критикой.

— Я, Роман,— жестко говорил он,— уважаю тебя за энергию, за умение торговать, уважаю как патриота Дубовой Рощи. Ты не можешь пожаловаться на невнимание Совета, на недостаточную помощь. Нам не раз приходилось указывать тебе на недостатки. Мы помогали, критикуя, мы помогали, хваля. Чего же еще тебе желать?.. Но как ты воспринял нашу помощь? Ты зазнался. Ты грубишь покупателям. Ты обвешиваешь их. Культурно не растешь, не работаешь над собой! Ты построил себе дом. Этого показалось тебе мало! Возвел второй. Обставил его рижской мебелью. У тебя дома раздвижной стол из венгерского гарнитура. Ты притащил из Сухуми сто метров ковровой

дорожки. Ты полагаешь, что мы этого не знаем? Мы всё знаем, и даже больше. У тебя три любовницы: здесь, в Гудауте и в Сухуми! Одной ты недавно купил импортную комбинацию, другую разodel в шелка, а третью послал в Сочи. На какие деньги? Сколько ты получаешь?

— Триста сорок.

— А тратишь пять тысяч в месяц? Да тебя судить надо, закатать в тюрьму!

Роман выслушал сие гневное обличение, едва сдерживая улыбочку. Наконец, обращаясь то к районному товарищу, то к председателю, произнес со смирением:

— В основном обвинение признаю. Обещаю недостатки исправить.— А после длительной паузы добавил: — Правду сказать, не знаю, как сладить с теми пачкунами бумаг, которые жалуются без конца.

— А ты не обращай на них внимания,— присоветовал товарищ из района.

— Верно, Роман,— поддержал его председатель, только что распекавший Романа.

Вы вправе спросить: откуда такой цинизм? Все дело в том, что вышеозначенные фразы были произнесены в узком кругу, уже без посторонних, а узнали о них от того же Романа...

Районный товарищ взял папку под мышку. Он обещал доложить по начальству результаты расследования жалоб. А в заключение Роман дал обед. Поздно вечером захмелевший товарищ из района был водворен на заднее сиденье машины и вывезен из Дубовой Роши по направлению к Гудауте.

Наутро покупатели узрели следующую картину: за прилавком стоял Роман и важно покручивал ус. На вопросы отвечал не сразу, а выждав добрую минуту. Поворачивался значительно медленнее, чем прежде, и ряду лиц отказывал в товарах.

— Не слышишь? — ворчал он.— Нету! Езжай в Гудауту, там все есть!

Жалобщики почесывали затылки: да, крепкий орешек этот Роман, не стоило с ним связываться. К Роману благоволит председатель сельсовета, какой-то товарищ из райисполкома горой стоит за Романа. Все это следовало заранее предвидеть... И только, как гово-

рится, отдельные лица продолжали питать надежду на то, что Роман рано или поздно будет убран.

А меня встретил восторженно.

— Милая, — промурлыкал Роман, — для вас найдется любой товар. Не угодно ли? Импортные кастрюли.

— Нет, нет, незачем...

— Понимаю, красавица. На днях получаю импортные шерстяные кофточки. Разрешите оставить для вас...

Он осмотрел меня, как профессиональный портной.

— Ну что ж...

— Вам, дорогая, нужен сорок восьмой размер в талии, а повыше — пятидесятый. Отличный размер! Надо подобрать.

Мне кофточка нужна была до зарезу, и я не обращала никакого внимания на дурацкие шуточки Романа.

Я сказала ему, что зайду через денек-два, и заторопилась к себе домой. Не шла, а летела, словно чувствовала, что меня ждет мамино письмо.

Да, меня ждало письмо!

Я не сентиментальна и все же на радостях расцеловала его. Нет, нам только кажется, что нас, взрослых, уже не соединяет больше жизнетворная пуповина с матерью! Я весь вечер читала и перечитывала письмо. Длинное, хорошее, теплое мамино письмо... И чего только не было в нем! Все сведения о моих друзьях, все, что касается соседей.

В конце письма две папиных строчки... Милые, хорошие строчки! Сдержанные. Мужские...

В эту ночь спала блаженнейшим сном праведника.

К моей старушке приехал сын. Она молится на него. Считает его большим человеком, совершенно не представляя себе, где и кем он работает. «Большой человек», — и этого для нее достаточно.

Сын оказался симпатичным человеком лет тридцати пяти. Он сказал, что работает инженером на Сухумской гидроэлектростанции.

— Сладкий, как сахар, — с умилением говорит старуха о своем сыне.

Во всяком случае, могу засвидетельствовать, что он крайне внимателен к ней. Периодически присылает через своих знакомых посылки и деньги. Она часто показывала мне его фотографии. На одних он изображен солдатом, на других — в гражданском костюме...

Сын приехал поздно ночью, а утром постучался ко мне.

— Можно вас пригласить на завтрак? — спросил он.

Худой, высокий, с лицом мексиканца: черные волосы с боковым пробором, усики, и смуглое лицо, и костюм по последней моде. Инженер чуточку картавил, и это даже шло ему.

— Вы — Нурбей Ясонович, — сказала я уверенно.

— Верно. А я знаю только ваше имя. Мама не признает отчества.

— Мое отчество — Андреевна, но ничего не буду иметь против, если вы его опустите.

— Отлично!.. Так вот, Наташа, давайте завтракать.

Старуха была вне себя от радости. Она носилась между домом и кухней с тарелками, ложками, вилками...

— Я рад, что мама теперь не одна, — говорил инженер за столом. — Не знаю, приятно ли вам здесь, вернее, удобно ли? После города трудно привыкать к деревенскому житью-бытью...

— Я довольна, — сказала я.

— А я не очень. Представьте себе: рожден я в этом самом доме, бегал по этой самой росной траве, гонял буйволов, а приезжаю сюда как в заброшенный край. Недостает водопровода, освещения, ванной. Понимаете?

Он положил на мою тарелку полкурицы. Я запротестовала. Не обращая на это внимания, подлил помидорного сока, придвинул ко мне мамалыгу. На столе появилась даже картошка.

— Это сюрприз, — сказал инженер. — Жарил ее лично я. И привез ее тоже я лично. Вы любите картошку?

— Очень.

— А теперь — ваше здоровье!

Мать сидела и смотрела на нас блестящими от счастья глазами. Он ел торопливо, а потом, словно

схватываясь, откидывался на спинку стула и продолжал беседу.

— С утра, Наташа, я был занят чудными мыслями. Каждый раз, когда приезжаю сюда, узнаю: то одного из соседей нет, то другого... Умирают люди. Физический закон! А я никак не могу привыкнуть к этой мысли. А вот скоро недосчитаются и меня.

— Ну, почему же скоро?

— Двадцать лет. Тридцать. Пусть сорок! Разве это не скоро?

Он поднял стакан с вином. Высоко поднял.

— Иногда, Наташа, я боюсь смерти. А вы?

Я призналась, что мне и в голову не приходила мысль о смерти.

— Пью за вас! — крикнул он. — Не подумайте, что я пессимист. Но я ненавижу вечно улыбающихся оптимистов. О смерти думать надо!

— Почему?

— А так, для порядка. В этом доме умер отец. А мне казалось, что он будет жить вечно, веселый и здоровый. Я воевал. О смерти не думал. Теперь же, потеряв отца, призадумался. И очень крепко.

— Это возрастное, — пошутила я.

— Возможно... Мне хочется пить. Вчера мы тут с друзьями малость не допили.

— Как? Вы были здесь с друзьями?

— Да. Чтобы не тревожить вас, мы устроились на кухне.

— Спасибо! — сказала я. — Мысленно поднимаю за вас бокал.

Старуха принесла фасоли. Сын от радости зааплодировал, как на стадионе. И вскоре бил себя ладонями по губам, пытаюсь потушить перечный пожар. Но тут же обратился к более верному средству — вину. И тогда немножко успокоился.

— Скажите, Наташа, что делается в школе?

— А что?

— Да нет, просто так. Перестройка, говорят...

Я рассказала о школе более или менее подробно, растолковала суть перестройки, о которой он знал только в общих чертах из газетных статей...

— Это хорошо, — сказал он. — Мы из наших детей воспитывали неженков. Это ужасно. Надо, чтобы они

засучили рукава с детских лет. Не знаете, кто сейчас работает в отделе народного образования?

— Сейчас нет такого отдела. Есть отдел просвещения.

— Это одно и то же... Гунба?

— Кажется.

— Мой товарищ! Вместе сидели за одной партой. А ваш директор поймал свою жену?

— Разве он охотник?

Инженер уставился на меня.

— Я вас обидел? — спросил он.

— С чего вы это взяли?

— Просто предположение. Как всякий мало-мальски наблюдательный человек, я кое-что примечаю в своих собеседниках. — Он заговорщически понизил голос: — Имейте в виду: человек он интересный. Уверяю вас! И в какой-то степени несчастный. Я все-таки стою на том, что жену следует брать некрасивую, но умную. Красивые всегда найдутся. Чужие.

— Эта пошлая теория стара как мир, — заметила я. — Спорить по этому поводу мне кажется делом бесполезным.

Инженер не согласился со мной: дескать, на то и дан язык, чтобы спорить...

— А вы знаете, что сказал о языке один писатель? Мы два года учимся говорить для того, чтобы шестьдесят лет держать язык за зубами.

Инженер расхохотался:

— Здорово сказано! Чьи это слова?

— Кажется, Лиона Фейхтвангера.

— Да, знаю такого писателя... Где он теперь?

— Умер.

— Видите, опять смерть! Давайте выпьем за то, чтобы подольше не появлялась эта злодейка на нашем пороге.

Настроение у меня было хорошее. Я ела не спеша, в свое полное удовольствие, благо день был воскресный.

После завтрака инженер занялся хозяйством. Ходил по двору, присматривался то к плетню, то к дому.

— Доложу вам, Наталья Андреевна, — сказал он, — что хозяйство приходит в упадок. Плетень надо

ремонтировать. Крышу тоже. На нее уйдет не менее трех тысяч дранок... Я предлагаю маме переехать ко мне, в город. В квартире есть газ. Есть ванна. Уговорите ее.

Старуха погрозила ему пальцем. Она ни за что не переедет в город. Там очень большие дома и очень шумно. Там нет леса. Что делать в городе? Разве там воздух? Там душно, как в тесной каморке. Зимой в городе нет снега, а здесь он как вата — белый, сухой!

— Слышите? — говорил инженер, продолжая свой осмотр. — Мама знать не хочет города.

— Она права, — заступилась я.

— Вот как! Союз заключаете? Против меня?

Старуха шепнула мне, что сын в плохом настроении. А я не заметила признаков плохого настроения у Нурбея Ясоновича. Напротив, он казался веселым, щедро расточал улыбки.

На уроках по литературе мы разобрали «Муму» и «Кавказского пленника». Ученики отвечали с душой. Тургенев и Толстой пришлись им по сердцу. Я вспомнила свои школьные годы. Разве не так же нравились они и мне! Я считала, что ничто не может сравниться с ними. Ну, а нынче? Говоря откровенно, читая их, восторгалась ими по-прежнему, но сердце требовало еще чего-то. С бóльшим удовольствием прочитала бы ученикам современное и талантливое, но программа требовала именно «Муму». У нас в университете выступал один писатель. Назовем его N. Он доказывал: важно то, о чем написана вещь, и маловажно, как она написана. Помнится, студенты напали на него и заставили в конце концов признать, что форма важна не менее содержания.

Внимательно читая программу по литературе, я обратила внимание на то, что ее составители очень уж сильно нажимают на содержание, на идейную, на воспитательную сторону и мало или почти не касаются формы, художественности. Не представляю себе, как это можно делить художественное произведение на две части. Это не отдельные части, а одно неделимое целое.

Я решила по мере сил исправить этот недостаток программы. Свои соображения высказала Кириллу

Тамшуговичу. Мы с ним возвращались из школы домой: я — к себе, а он — к себе. Наступали сумерки. Над Дубовой Рощей тишина. Небо нежно-голубого цвета с эмалевой фактурой. Сентябрь давал знать о себе легкими ночными заморозками и вечерней прохладой. А днем по-прежнему стояла жара.

Кирилл Тамшугович глядел себе под ноги, точно боялся споткнуться. Внимательно слушал мои замечания по программе.

— Ну что же, — сказал он, — вы, на мой взгляд, совершенно правы. Глупо рассуждать о художественном произведении, как о какой-нибудь статье или научном трактате. К сожалению, мое поколение сплошь отравлено этим вульгарным подходом к литературе. Нам втолковывали нечто архисоциологическое. Например: кто такой Онегин? Ответ: продукт помещичьего строя. А Печорин? Тоже. Или что-нибудь еще в этом роде. Надо прививать детям вкус к прекрасному. Это — самое главное.

Он добавил, что вполне согласен и с тем, чтобы на уроках литературы разбирались также переводы с абхазского...

— А я думала, что вы мои слова мимо ушей пропустили, — сказала я.

— Почему?

— Потому, что вы... Кажется, вас занимает что-то другое...

Он посмотрел на меня испытующе и снова перевел взгляд на землю.

— Извините, — сказала я, — мне это, должно быть, показалось.

Потом мы снова заговорили о литературе. К моему удивлению, директор был в курсе журнальных новинок. Он знал многое из того, чего не знала я, и попытался выяснить мои литературные вкусы. В общем, взгляды у нас совпадали. Ни я, ни он не были удовлетворены современными произведениями полностью. Я винила писателей в неумелом пользовании всеми богатствами литературного языка. Кирилл Тамшугович соглашался с этим, но с оговорками. Главный порок он видел в другом — в поверхностном изображении жизни. И еще порок — мало лирики.

— Вам нужна любовь? — смеясь, спросила я.

— Отчего бы и нет! — живо отозвался директор. — И любовь тоже. Только имейте в виду, что мне не пятнадцать и не двадцать лет. Просмотрите толстые журналы. Царствуют по преимуществу сантименты начала девятнадцатого века. В романах я не нахожу глубокой философии наших дней. Слишком чистенько и гладенько все изображается.

— Мы должны иметь перед собой идеалы, Кирилл Тамшугович.

— Умоляю вас, — проговорил он, — не пытайтесь равнять меня с детьми. Посмотрите: я сед. Поглядите в глаза. В них уже старческий холод. Разве нельзя учить, так сказать, и от противного? Как в некоторых математических задачах. Я не литератор, — продолжал Кирилл Тамшугович, — но знаю, что вся мировая литература на протяжении четырех тысячелетий — это еще с египетских литературных памятников! — повествовала о различных превратностях судьбы. Но были и трубадуры, те, что на пирах пели. Но они позабыты. Вы понимаете, позабыты! И никто не в силах воскресить их. Когда я все чаще читаю, что необходимы конфликты в книгах, с этим соглашаюсь всей душой.

Он шел и говорил. Ему уже не нужны были мои вопросы или возражения. Неожиданно он открывался с новой стороны. Под его грубоватой, вернее, угловатой внешностью все явственнее различалась чувствительная душа.

Кирилл Тамшугович неожиданно остановился, преградив мне дорогу.

— Знаете, Наталья Андреевна, я иногда думаю о стиле. Стил — очень странная штука. Такая же странная, как человек. Как бы все это объяснить?.. Вот я очень люблю женщин...

Я поразились такому обороту.

Но он, не давая мне возможности вставить слово, поспешно добавил:

— Нет, нет, я имею в виду отвлеченную женскую красоту. А не определенную женщину конкретно. Знаете, какой вопрос я задал себе в Лувре? Вот какой. Существуют на свете три женских портрета, которые восхищают меня. Какой из женских портретов, спросил я себя, хотелось бы повесить в своей комнате? Не правда ли, странный вопрос?

— Да, необычный, Кирилл Тамшугович.

Он продолжал:

— Во-первых, что это за портреты? Вы о царице Нефертити слышали? Она была женой египетского фараона Эхнатона. Сохранился ее скульптурный портрет работы Тутмоса. В «Огоньке» печатали снимок. Не знаю, была ли Нефертити красавицей, но Тутмос изобразил ее почти богиней. Вторая богиня — это Джиоконда. Она в Лувре. Джиоконда потрясает. Своим лицом. Глубиной души. Умом. А третья... Кто третья? Как думаете?

— Наверное, Сикстинская мадонна...

— Нет. «Мадам Самари» Ренуара. Которая в Москве.

Мы двинулись дальше. Из-за кустов показался какой-то человек. Он стремительно пошел нам навстречу, словно хотел столкнуться с нами.

Человек поздоровался с директором по-абхазски и что-то сказал ему скороговоркой. И тут же исчез, перейдя через дорогу. Это был Машь Базба.

Кирилл Тамшугович казался смущенным.

— Что сказал этот Базба? — любопытствовала я.

— А вы его знаете?

— Да, была у него дома. Кстати, его сын опять пропускает занятия. Что же он сказал, Кирилл Тамшугович?

Он пожал плечами.

— Какую-то чушь.

— А все-таки? — настаивала я.

— Он сказал... Как бы точнее перевести? Он говорит: «Сказанное слово не пропадает. Оно долго ищет пристанища и найдет его непременно. И тогда сбудется сказанное».

— Все?

— Все!

— Бог с ним, — сказала я, припомнив глупое предсказание Базбы.

— Так о чем же это мы? — попытался вернуться к нашему разговору Кирилл Тамшугович. — Да! Так вот, стало быть, о женских портретах. Я бы выбрал портрет Самари. Он такой розовый. Необычный. В этих портретах отобразились не только три эпохи, но

и три взгляда современников. Три различных видения. Три точки зрения художника. Они одна другую не исключают, но строго соответствуют своему времени, духу времени. Так вот, мне ближе всего, понятней и притягательней портрет Самари. Я бы его повесил у себя дома. Именно этот портрет из трех. Вам моя мысль ясна? Говорите прямо, я физик и в этих вопросах могу ошибаться.

Я честно сказала ему:

— Знаете, Кирилл Тамшугович, в том, что вы сказали, много нового для меня. И мне кажется, что вы правы. Искусство имеет право на жизнь, если оно современно... Так ведь?

Он утвердительно кивнул.

— До свидания, — сказала я.

— А все-таки, Наталья Андреевна, что имел в виду этот Базба? Он ведь слов на ветер не бросает. А все с умыслом... Ведь он очень наблюдательный и умный.

Кирилл Тамшугович был озадачен. Я попыталась успокоить его. Мало ли что придет на ум деревенскому шаману?

— Ладно, — сказал он, — провожу вас до дому. Если не возражаете.

И мы пошли дальше.

Глядя на нас со стороны, можно было, пожалуй, вообразить, что мы увлечены друг другом. Не знаю, что думал Кирилл Тамшугович, но я могла поручиться, что он нисколько меня не интересовал как мужчина. Он был для меня директором, хорошим собеседником — и все. Но чем больше я убеждала себя в этом в последнее время и чем больше внутренне опровергала «предсказание» Базбы, тем больше мне хотелось проникнуть в душу своего директора. И в то же время я отдавала себе отчет в том, что все это глупости, что ни к чему все это, совершенно ни к чему...

— Вы последние новости знаете, Наталья Андреевна?

— Какие?

— Ракета наша совсем близко от Луны.

— Вы читали в газетах?

— Нет. У меня есть небольшой ящичек дома, и он кое-что мне рассказывает.

— Счастливцев,— сказала я с завистью.— Сижу вечерами во тьме и только мечтаю...

— О чем?

— Мечта прозаическая: об электричестве.

— Ну что ж, уверен, что мечта ваша исполнится.

Мы уже были у ворот моего дома.

Прощаясь, директор сказал:

— Вы, конечно, не завистливы, Наталья Андреевна. Надеюсь, не будете завидовать и тому, что в моей комнате есть электричество.

— Нет, буду,— возразила я.

Он улыбнулся явно через силу.

— Не советую, Наталья Андреевна. Помните: можно быть глубоко несчастным, даже имея чудесное освещение.

На этом мы расстались.

В нем, несомненно, есть что-то такое,— даже не знаю, как и назвать,— что вызывает уважение...

Дома ждал меня сюрприз: огромный пирог с сыром, который называется «ача́ф». В буквальном переводе слово это обозначает «хлеб-сыр».

Старуха отозвала меня в сторону и с беспокойством предупредила:

— Не надо кушай.

От кого же этот подарок? Она не хотела говорить. В это время вошел Нурбей Ясонович.

— Наталья Андреевна,— сказал он весело,— это от вашего поклонника по фамилии Базба. Просил передать, чтобы не беспокоились о его сыне, он вот-вот снова появится в школе.

— Зачем это?..

— Как зачем, Наталья Андреевна? В знак уважения.

— А по-моему, это взятка.

Нурбей Ясонович расхохотался.

— Вы наивны, Наталья Андреевна. Ну, что такое пирог? Ломоть теста. Знак уважения. Только и всего! Если вернуть — значит, нанести глубочайшую обиду. Это же Дубовая Роща!

— Не надо кушай,— мрачно повторила хозяйка.

— Почему, мама? — спросил Нурбей Ясонович.

— Не надо!

— Ах, вот оно что! Теперь я понял! — воскликнул

инженер.— Пирог наговорный. Базба — местный ку-
десник. Порчу нагонит.

— Правда,— убежденно подтвердила его мать.

— Разрешите кусочек? — попросил инженер.

Мать ухватила сына за руку. Она не желала, что-
бы он пробовал тесто, приготовленное в доме Базбы.
Сын вынужден был уступить. Я колебалась: попробо-
вать или же?.. Все-таки послушалась старуху, чтобы
не огорчать ее.

— Мы съедим после,— сказал инженер.— А пока
спрячьте его.

Старуха возмущалась поступком Базбы, обещала
принять какие-то меры предосторожности.

— Наталья Андреевна,— сказал Нурбей Ясоно-
вич,— не ешьте пирог без меня. Я иду кутить,
а утречком отведаю этого пирога. Ладно?

Я дала слово сохранить пирог до его прихода.

В понедельник утром Кирилл Тамшугович сооб-
щил потрясающую новость: ракета попала на самую
Луну. Прилунилась! Там теперь наш вымпел!

Ура!

Вечером пошел дождь. Тучи созревали с самого
утра. Медленно наплзали. Одни чернее других. Под
бременем влаги опускались все ниже и ниже. Они уже
задевали верхушки деревьев. Стало темно. Чиркнули
молнии, громыхнуло над самым ухом. И вслед за этим
начался форменный потоп.

Дождь лил весь вечер. Лил всю ночь. Молнии свер-
кали одна за другой, причем промежутки между ними
все сокращались, и тогда сплошное зарево повисало
над горами. Дождь барабанил по кровле с такой си-
лой, что казалось, разнесет ее вдребезги.

Изо всей мочи пыталась уснуть. Ни о чем не ду-
мать!.. Только уснуть... И вот в эту ночь, среди чудо-
вищных раскатов грома и моря воды, впервые в моей
жизни я ощутила щемящую тоску одиночества. Захо-
телось живой души, живого дыхания, тепла.

Я вертелась всю ночь. И не заметила, когда явь
перешла в сон. А снилось всю ночь одно и то же: за

мною гнался какой-то страшный мужчина — вот-вот схватит! Но я ловко изворачивалась, и он снова бешено пускался за мной...

Будильник разбудил меня вовремя. Я была рада, что страшный мужчина так и не поймал меня.

Придя однажды в пятый класс, застала его наполовину пустым.

— Дети,— строго спросила я,— где же остальные? Ученики молча жались.

Я провела перекличку. Так и есть: отсутствует добрая половина. Не пойму, в чем дело. Погода хорошая, тропы сухие — шагай себе смело. Я понимаю, когда пропускают уроки в дождь и снег...

Но вот встает малюсенькая девочка с тонкими косичками и звонко говорит:

— Все бутбовцы и базбовцы ушли в Бабрипш.

— Зачем?

— Там праздник.

— Какой праздник?

— Не знаю.

У меня настроение испортилось, но урок все же провела. Если выражаться языком программы, мы разбирали предложения «с установлением связи по вопросам между подлежащим, сказуемым и второстепенными членами». Дети сидели смирнехонько. Им, казалось, было неловко за своих товарищей. С другой стороны, и я не сумела, как видно, зажечь в них творческое любопытство. Да и как зажечь, говоря откровенно? Грамматика меня никогда особенно не вдохновляла. Это скучнейший предмет, может быть, оттого, что ведут его, как правило, люди скучные, сухие буквоеды. Учитывая собственный горький опыт, я пыталась всячески оживлять урок. Но результатов особых пока не заметно. После урока я сообщила директору и завучу, что половина класса манкирует уроками.

— Скажите: полшколы,— поправил директор.

— Полшколы?

— Да, Наталья Андреевна. Потерпите несколько часов, и вы увидите гала-представление. Хотите?

Разумеется, от представления я не отказалась.

— В таком случае мы встречаемся с вами у сельсовета. В два часа. Вы будете к тому времени свободны?

— Я уже свободна.

— Отлично! Идите туда и ждите.

Завуч (он мало вмешивался в нашу школьную жизнь, ибо директор был человеком слишком активным) понимающе улыбался и помалкивал...

День был субботний. Ни жарко, ни холодно. В меру прохладно. Говорят, так и полагается в это время года. А время веселое. Скоро начнется сбор винограда, появится молодое сладкое вино, начнут играть свадьбы, которые специально откладываются на октябрь.

Возле сельского Совета я встретила бригадира Есната Бутбу. Был разряжен, словно жених. Низенький, пухленький, он выглядел молодцевато.

Завидев меня, пошел навстречу. Поздоровался весьма любезно. Справился о том, как учится его сын Едгй. Я хорошо знала этого шалопая-шестиклассника. Сказала, что следует как можно строже взыскивать с него дома, ибо слишком ленив. Отец обещал «задать ему жару». И тут же попросил о снисхождении к «неразумному ребенку»...

— Извиняюсь,— оборвал он неприятный разговор,— вы в сельсовет?

— Нет.

— Значит, встречаете кого-нибудь?

— Кого?

— Как это кого? — удивился Еснат.— Омеркедж-ипа прилетает.

— Прямо сюда?

— Конечно.— Еснат подбоченился и принял горделивый вид.— И мы полетим в Бабрипш.

— А зачем?

— Большое дело! Такое большое, что без Бабрипш нельзя. Может кровь пролиться. А Бабрипш помирит.

Я объяснила, что жду директора, который обещал показать мне удивительное зрелище.

— Вам? — поразился Еснат.

— Да, мне. А что?

— Это хорошо. Много знать будете. Бабрипш большую имеет силу. Бабрипш все может сделать.

Он жестикулировал, подкрепляя жестами свои слова.

— Вы летите в Бабрипш? — спросила я.

— Как же! А вы — нет?

Я сказала, что не имею никакого представления о том, куда мы поедem и поедem ли вообще. Был с директором такой уговор: встретиться возле сельского Совета. Возможно, директор имел в виду Бабрипш. Нельзя ли узнать поподробнее, что предвидится в этом Бабрипше?

Еснат охотно согласился ввести меня в курс дела. Оказывается, один из Бутба, некий Руфат, заподозрил одного из Базба, по имени Саат, в том, что он, Саат, якобы нагнал порчу на буйволиц Руфата и те перестали доиться. Саат отрицал это. В спор вмешался зоотехник из соседнего села. Он определил какую-то болезнь у буйволиц, однако вылечить их не сумел. А стороны продолжают враждовать, и гнев каждой из сторон все возрастает. Посему решено привести их к своеобразной присяге на горе Бабрипш. И вот сегодня там, под горой, состоится обряд, которому придается огромное значение, ибо таким путем, и только таким, можно прекратить вражду. Это, так сказать, высшая инстанция...

— Как? — сказала я возмущенно. — А сельский Совет? А районные организации? Разве некому рассудить этих спорщиков, тем более что суть их спора яснее ясного.

Еснат решительно не согласился.

— Как это так?! — возразил он. — Наоборот: ничего не ясно! Дурной глаз — вещь непростая.

— Как? — поразила я. — Вы верите в глаз?

— А как же? Если на каждом шагу встречаешься с этим, как не верить? Есть такие люди: идет, посмотрит на тебя, и ты уже больной. Или так. Спросит о твоей лошади или о буйволе — и готово: лошадь захромает, буйвол околет. А как же! Вы еще молоды. Поживете у нас, многое увидите, а еще больше поймете.

— Разве нет здесь коммунистов или комсомольцев, которые разъяснили бы всю несостоятельность таких предрассудков?

Еснат перебил меня.

— Почему нет? — сказал он обиженно. — Я сам коммунист. С сорок пятого. У нас много хороших людей.

— И вы искренне верите тому, что говорили сейчас о дурном глазе?

Еснат сплюнул. Поправил кепку на голове. Горячо сказал:

— Вот если каждый день горы видишь, — можешь сказать, что не горы это, а степь?

— Нет, не скажешь.

— Вот видите!

Беседу нашу прервал Кирилл Тамшугович. Он попытался было объяснить мне дальнейший план. Я поблагодарила его и сказала, что знаю все со слов Есна-та. Кирилл Тамшугович пошутил: он весьма доволен тем, что его избавили от объяснений, и тем самым он экономит свою энергию, хотя, добавил он, и не представляет себе, для какой цели ее экономить. Он говорил шутливо, но в словах сквозила грусть. Я подумала, что Кирилл Тамшугович безутешен в своем горе...

Пока мы разговаривали, над верхушками деревьев показался вертолет. Он невероятно гудел. Медленно опустился на землю. Мы поспешили к нему.

Из вертолета вышли двое мужчин. Меня познакомили с ними. Один из них был Владимир Петрович Онуфриюк, начальник геологоразведочной партии, другой — пилот Омеркедж-ипа, брат того самого шофера, который привез меня в Дубовую Рощу.

— С вашим братом знакома! — сказала я. — Он и про вас рассказывал.

Пилот был молоденький. Как выяснилось позже, всего на два года старше меня.

Владимир Петрович Онуфриюк — человек веселого нрава, как видно, и выпить не дурак. Ему под сорок, лицо загорелое, ярко-медного цвета. Говорит громко, как на митинге.

— И вы летите? — обратился он ко мне.

— Если возьмете.

— Вас да не взять! — воскликнул он. — Такую девушку! Откуда вы?

— Из Ростова.

— А, Ростов-папа! В Ростове до войны были чудесные девушки. А сейчас?

Я ответила, что бестактно задавать такой вопрос той, которая представляет здесь девушек Ростова.

— Верно,— согласился он.— Извините. Глушь и прочие вещи плохо на меня действуют.

От него несло хмельным, как из винного погреба. У меня было полное основание подчеркнуть, что скорее всего дурно действуют на него *эти прочие вещи*. Владимир Петрович замахал руками.

— Давайте не ссориться,— говорил он громко.— Как вас? Наталья Андреевна? Уж лучше буду звать Наташей. На Кавказе отвык от отчеств. А меня зовите Еолодей. Не хотите? Ваше дело. Ну что, поехали?

Я сказала, что никогда не летала на вертолете. Наверное, это страшно.

— Садитесь. Не бойтесь,— подбодрил Кирилл Тамшугович.— Пропустите меня вперед.

Одним словом, мы взлетели. Над головой громыхал мотор. Корпус сильно вибрировал. Омеркедж-ипа вел вертолет примерно так же, как его брат автомашину: не чураясь опасностей, крутых поворотов и прочего. Или это, может быть, так мне казалось с непривычки?

Я увидела наше село с птичьего полета. Квадраты драночных крыш среди зеленых дворов. Зеленые дворы среди леса. Широкие прогалины в лесах и высокие стебли кукурузы на прогалинах. Примечала белые точки кур.

Мы летели к зеленой горе, преграждавшей нам путь. Но мы не ударились об нее, потому что пилот круто повернул вправо и повел машину параллельно горе. Мы пролетели мимо дома, который оказался на одном уровне с нами, увидели старуху, вязавшую на крыльце... Пересекли реку Гвадиквара и, как объяснил Кирилл Тамшугович, взяли курс на Бабрипш.

— Как чувствуете себя? — прокричал он мне в самое ухо, и щетинка его усов задела мою щеку.

Не знаю, нарочно или случайно, но это повторялось каждый раз, как только он брался показывать мне какую-нибудь местность, над которой мы пролетали или к которой подлетали.

— Вам надо бриться,— посоветовала я.

Кирилл Тамшугович дружелюбно кивнул в знак согласия. Потом он снова нагнулся ко мне и, горячо

дыша в ухо, сыпал географическими названиями. Небольшой толчок, который испытал наш геликоптер, невольно прижал его ко мне. Я сделала вид, что не обратила на это внимания. И он как будто бы не обратил внимания. Так мы и летели, тесно прижавшись друг к другу.

Впереди все четче вырисовывалась гора Бабрипш, настоящая Фудзияма. Огромный пропеллер, вращавшийся над нами, поддерживал нас в воздухе и нес прямо на нее. Вскоре мы оказались над живописной полянкой, со всех сторон окруженной деревьями. Мы плавно опустились на землю. Хотя и не могла пожаловаться на полет, тем не менее, ощутив под ногами землю, облегченно вздохнула. Кирилл Тамшугович тут же, на ходу, рассказал восточную притчу:

— Однажды спросили философа Платона: «Мудрейший, ты побывал на многих морях-океанах, многое видел и пережил. Ответствуй нам, что было самым удивительным в тех путешествиях?» И Платон ответил: «Самое удивительное — благополучное возвращение на берег».

Можно ли не согласиться с этим мудрым ответом?

Здесь, у подножия горы Бабрипш, собралось до двухсот мужчин, женщин и детей. Женщин было сравнительно немного, и все они скучились возле огромной чинары. Волей-неволей и мне пришлось присоединиться к ним, хотя страшно хотелось быть поближе к небольшой группе стариков, которые чинно о чем-то беседовали, отделившись от всех.

В роще, у самого края ее, где она редет, были разложены костры. В огромном котле готовили мамалыгу. Чуть поодаль варили только что освежеванного быка. Недалеко от нас разливали вино по кувшинам. Его добывали из огромной бочки посредством резинового шланга. Словом, пиршество обещало быть на славу.

К сожалению, ни с одной из женщин я не была знакома. Зато, как видно, они знали меня. И я сразу же попала под покровительство двух шустрых молодых женщин, наперебой рассказывавших о том, что здесь происходит, и даже предсказывавших, что последует дальше. Не могу утверждать, чтобы кто-нибудь из присутствующих серьезно воспринимал происходя-

щее. Я это поняла из разговора с моими новыми знакомыми. Но ритуал проходил, должно быть, в строгом соответствии с традицией, а посему здесь царила дисциплина.

Еснат Бутба принимал во всей этой церемонии весьма деятельное участие. Он шептался то с одним, то с другим, бегал от одной группы к другой, отдавал распоряжения, как лучше варить мясо и где накрывать импровизированный стол.

Погода выдалась чудесная. Было жарко, точно летом. Сверху на нас глядела величавая снежная вершина Бабрипш. Легкий ветер порхал меж ярко-зеленых деревьев. Неподалеку протекала Гвадиквара — мелкая и узенькая, словно ручеек.

Один из Бутба и его противник Базба молча сошлись у огороженной плетнем опушки. Плетень был ветхий, колья едва держались.

Я поискала глазами Кирилла Тамшуговича, и мы встретились с ним взглядом. Он тут же направился ко мне.

— Они клянутся, — объяснил он. — Клянутся в том, что здесь, перед лицом горы Бабрипш, будут честны и откровенны. А вот к ним подошли старики, чтобы сначала задать вопросы, а затем примирить их. Ритуал, как видите, языческий, хотя часто упоминается имя христианского бога. А вот поглядите-ка теперь...

Бутба, а вслед за ним и Базба сорвали с ближайшего дерева зеленые листочки и кинули их за плетень. Спустя минуту они крепко пожимали друг другу руки.

— Этого мало, — пояснял Кирилл Тамшугович. — Старики требуют, чтобы они обнялись и поцеловались.

Противники слегка помялись, но им пришлось подчиниться требованию старейших.

К этому времени были накрыты «столы» прямо на земле. Сполоснув руки в речке, все приглашенные уселись за трапезу. Молодые люди — девушки и парни — прислуживали. Дети ели стоя. Меня, как гостью, пригласили «к столу», хотя по возрасту я не могла претендовать на такую честь. Директора усадили рядом со мной.

Первое слово произнес седовласый старик. Речь его была короткой. Она скорее походила на благословение.

Зато примечательно и длинно говорил Еснат Бутба. Словно на собрании. Кирилл Тамшугович не без иронии переводил его речь, и поэтому я могу привести ее почти целиком.

— Товарищи,— сказал он,— сегодня мы являемся свидетелями замечательного события: наши односельчане Бутба и Базба — они здесь перед вами — принесли присягу перед лицом этой священной горы. В чем присяга? Было между ними недоразумение. Это всем известно. Один обвинял другого. Разве это хорошо? Ежели нет основания для подозрения, стоит ли сердиться друг на друга? К чему это? Мы люди культурные, многое понимающие и поэтому, естественно, не можем допустить, чтобы понапрасну дулись друг на друга наши односельчане. Вот эта священная гора, которая, бог даст, еще долгие годы будет нелицеприятным судьей, молчит, ни слова не говорит, но сила ее распространяется не только на Абхазию, но и значительно дальше. Сила ее, подобно радио, невидима. Но от этого она не кажется менее грозной. Конечно, мы не можем прочесть ее мысли, подобно тому как читаем газетную передовицу, но от этого ничего не меняется. Когда это будет необходимо, она обрушит свою мощь на того, кто сказал неправду перед лицом Бабрипш, солгал на этом месте. Здесь присутствуют видные люди нашего села. Здесь же находятся председатель сельсовета, и секретарь парторганизации, и председатель колхоза, и директор школы, и начальник геологов, наш друг Владимир Петрович, и многие другие. Я пью за то, чтобы нам не приходилось больше собираться по поводу этого дела! Я пью за великую и несравненную гору Бабрипш, за ее извечную священную силу.

— И я попал в историю, — шепнул мне на ухо Кирилл Тамшугович.

— Вы один из столпов, поддерживающих священные устои Бабрипш,— сказала я.

— Выходит, так.

— Вы не считаете нужным побеседовать с учениками об этом обряде?

— А что? Это идея! Мне кажется, что лучше всего проведет ее в жизнь ее же автор...

И он преспокойно погрузил три пальца в горячую

мамалыгу и скатал аккуратный, округлый комок. Обмакнул его в красную, приперченную подливку и направил себе в рот. Потом повернулся ко мне и сказал, заглядывая мне в глаза:

— Лично я, Наталья Андреевна, могу объяснить свое присутствие на этом странном пиршестве...

— Интересно послушать, если не секрет.

Он прищурился.

— А вам очень хочется знать?

— Ну, как вам сказать...

— Ладно. Скажу. В этом повинны вы.

Я откровенно удивилась, и это удивление, должно быть, изобразилось на моем лице.

— Вы, Наталья Андреевна, вроде бы испугались.

— Ничуть.

— Ну, знайте же — вы! — проговорил он тихо и жестко, словно это ему было неприятно. — Я приехал сюда, чтобы показать вам это зрелище. Это полезно для вас. Вы скорее поймете нас, горцев. И, может быть, вам захочется побороться кое с чем. А? Чем черт не шутит! Я же испытываю удовольствие еще и оттого, что нахожусь рядом с вами. Вот и все. Думаю, что у каждого из присутствующих, в общем, имеются свои причины быть здесь, свои интересы. Один, возможно, хочет повеселиться, другой — выпить, третий — поболтать. И так далее. А получается религиозный ритуал. Итак, имейте в виду: вы причина тому, что я здесь.

— Похвальная откровенность, Кирилл Тамшугович. Но всегда ли вы так откровенны?

Я собиралась поймать его на слове, уличить в неискренности. Не знаю даже почему. Просто ума сейчас не приложу. Возможно, женское интуитивное кокетство.

— Нет! — отрезал он. — Не со всеми откровенничаю. В нас еще тлеют верования предков, древние начала, защитные средства. Молчание — это оборона. Но перед вами я готов вывернуть себя наизнанку, чтобы не казаться вам лучше, чем есть.

Он положил мне в тарелку огромный кусок мяса и сказал, чтобы я ела. А у меня от перца захватило дыхание. Он чокнулся со мной, и мы выпили. Мне стало лучше, хоть гортань горела, как в огне.

А вокруг нас шумели, смеялись, болтали люди, с хрустом жевали хрящи и мясо. Я заметила, что на нас поглядывали не без любопытства, но мне это было безразлично. Голос Кирилла Тамшуговича властвовал над всеми прочими голосами. Его глаза светились ярче, чем у других. Мне приятно было его слушать, ибо он говорил только для меня.

Владимир Петрович сидел наискосок от нас и с удовольствием пил вино. Наш пилот куда-то подевался. «Неужели и он пьет?» — с беспокойством подумала я. Сказала о своих опасениях директору. Он усмехнулся, ничего не ответил. Чуть позже признался, что ни о чем и ни о ком сейчас думать не в состоянии... Он тоже поднимал чарку за чаркой.

Пир продолжался...

Пили за здоровье одних, других, третьих. Пили сразу за двоих, а то и за троих. Помирившиеся Бутба и Базба были особенно придирчивы к каждому недопитому глотку. У них дело было поставлено серьезно (это в голове «стола»). Они поднимали сразу по пять и по шесть стаканов и опрокидывали в себя...

— Когда-нибудь мы выберемся отсюда? — спросила я.

— Вам плохо, Наталья Андреевна?

— Да нет.

— Что касается меня, я готов просидеть здесь сколько угодно. Только рядом с вами.

— Вы шутник, — бросила я.

— Впервые слышу, — пробасил Кирилл Тамшугович. — Обычно меня называли хмурым, нелюдимым и чем-то еще в этом роде.

— Кто называл?

— Люди.

— Какие же люди? — допытывалась я.

— Вам очень хочется знать?

— Может быть.

— Моя жена... Бывшая...

Он впервые в разговоре со мной упомянул о ней.

— Где она сейчас? — спросила я. (Это вино шевелило моим языком.)

— Где? — сказал он изменившимся голосом. — Я бы хотел увидеть ее в телескоп. Рядом с нашей ракетой. С той, что на Луне.

— Вы злой человек.

Он покачал головой. В эту минуту его лицо озарилось чудесным внутренним светом. Он показался мне красивым — таким мужественным, сильным, решительным.

Кирилл Тамшугович отставил стакан.

— Я хочу только небольшого внимания к себе. Человеческого отношения. И немного теплоты. Разве это — чрезмерное желание? — Он воодушевился. — Хочу, чтобы не терзали меня, не теребили понапрасну, не мучили по глупым поводам. Хочу быть человеком! Чтобы не смели считать меня обмылшем. Никто не смел! И в мыслях этого не допускал!.. Но, видимо, это очень трудно... Трудно, но возможно. Как вы полагаете?

Но он не дал мне ответить, говорил все сам. Он поднял наполненный до краев стакан. И мне показалось, что вот-вот он выплеснет вино. Однако этого не случилось...

Владимир Петрович прервал нашу беседу. Подошел, чтобы чокнуться.

— Я, — говорил он, — ревную. Нельзя же полонить такую красавицу — никакой возможности перекинуться с нею словечком.

— О плене и речи не может быть, — возразил Кирилл Тамшугович. — Я директор, а она подчиненная. Присаживайтесь, Владимир Петрович.

Что бы ни служило поводом для этой пирушки, она доставила большое удовольствие. Уверена, не только мне, а и другим. Все, казалось, были довольны: ели, пили, танцевали.

Бабриш курилась легким дымком. Ее белая шапка понемногу скрывалась за облачками.

Наш педагогический коллектив оказался, в общем, симпатичным. Он дружный, спаянный делом. В этом заслуга, я убеждена, нашего директора и меньше — завуча. Очень нравится мне старый преподаватель абхазского языка Георгий Эрастович Карба. Он учился грамоте по книге, изданной в конце прошлого века. В этой книге абхазские слова впервые были напечатаны абхазским алфавитом.

Георгий Эрастович — невысокий, полный мужчи-

на, с короткими, сплошь белыми волосами и белыми усами. Говорит он тихим голосом, выразительно поднимая брови, когда фраза заканчивается вопросом, или же грозно насупливая их, когда Георгий Эрастович восклицает. Он жил неподалеку от нашей школы, в старом доме, выстроенном еще его отцом. Две его дочери учились в Москве, в аспирантуре, и в скором времени им предстояла защита диссертаций по абхазской филологии.

Георгий Эрастович, самый старый среди педагогов, являлся той моральной силой, которая незримо властвовала в учительской. Даже директорские приказы не имели того авторитета, каким пользовались слова Георгия Эрастовича. Надо подчеркнуть, что Кирилл Тамшугович с большим уважением относился к старому педагогу и свои действия почти всегда согласовывал с ним. И это очень правильно: люди, обладающие огромным опытом, подобно Карбе, всегда бывают полезны.

— Как нравится вам наш каштановый дом? — спросил меня как-то Карба. — Я полагаю, у вас уже сложилось определенное представление.

Не кривя душой, я ответила, что школа мне нравится.

Разговор этот происходил во время большой перемены. Георгий Эрастович и я гуляли на солнышке по двору. Дети галдели так, как это умеют делать только учащиеся средней школы. Двор буквально кипел. Дети напоминали движение электронов вокруг атомного ядра — это нам показывали в Ростове на быстродействующей модели.

— Наталья Андреевна, — говорил Георгий Эрастович, — я неспроста поинтересовался вашим мнением о школе. Школа очень мне дорога. Она у меня в сердце. Вы молоды и не знаете далекого прошлого, не пережили того, что пришлось пережить старым людям. Молодость моя — это сплошная борьба за абхазскую грамоту, за абхазскую школу. Мы мечтали о школе, в которой дети учились бы на родном языке. В те времена с великим трудом удалось отпечатать азбуку, учебник арифметики. Но школы как таковой еще не было. А вот этот каштановый дом — детище нового времени, советской власти. Его строили крестьяне собственны-

ми руками, строили из самого дорогого дерева, ибо школа казалась предметом мечты, самым светлым свершением в жизни. Я не могу не уважать ее. Правда, она далека от совершенства с точки зрения современной строительной техники. Пусть в ней порою мы зябнем. И все-таки для нас она лучше и чище любого храма, даже самого красивого! И я прошу вас тоже любить и уважать этот каштановый дом. Если у вас что-нибудь не сладится, скажите мне, и я постараюсь помочь. Вам, как преподавательнице русского языка, труднее, чем нам: русским дети владеют неважно, их все время приходится поправлять...

— Они быстро усваивают, Георгий Эрастович.

— Согласен с вами, но все-таки вам трудно.

Он дал мне несколько практических советов, как добиваться от учащихся лучшего усвоения учебного материала.

Георгий Эрастович был отчески внимателен ко мне. И почему-то полагал, что у меня главные затруднения не в школе, а в личной жизни. Против этих утверждений я энергично восставала.

— Не надо, — останавливал он меня. — Я уже в том возрасте, когда имею право исповедовать молодых. Почти что папа римский. Так вот: вы юны, вам требуется общество. А где оно? Есть оно у вас? Успело ли оно образоваться вокруг вас? Вы скажете: это ни к чему. Нет, это важно! Когда меня послали в эту школу, я сказал себе: это на всю жизнь. И так как к тому времени я достиг зрелости, то начал подумывать о семье, а иначе пришлось бы уезжать. Рано или поздно, но уезжать! Следовало пустить корни. И я их пустил. И не жалею об этом!.. Извините, может, такая откровенность вас коробит?

Я сказала, что, напротив, такая откровенность очень мне приятна. Так это и было на самом деле.

— Ну, вот гляжу я на вас, как на дочь, и думаю: как бы ни были вы заняты, а все же выпадают у вас свободные минуты. Что вы делаете в эти минутки? Скучаете?..

— Не сказала бы... — протянула я не очень-то уверенно.

— Скажите мне, но только честно...

— Обещаю.

Он круто повернулся ко мне, и мы оказались очень близко, глаза в глаза.

— Наталья Андреевна, надолго вы приехали в Дубовую Рощу?

Вопрос серьезный. Что ответить?

— Если я работаю здесь...

— Нет, нет! Не говорите мне ни о приказах министерства, ни о долге перед государством. Я знаю, что вы сами предпочли эту глушь. Скажите мне о своих мыслях. О своем сердце. Что оно вам подсказывает? Что велит теперь, когда вы пригляделись к нашей жизни в горах?

— Я думаю продолжать работать...

— Как долго?

— Сколько нужно. Мне здесь пока что интересно. Он нетерпеливо взмахнул рукой и, словно нечаянно, схватился за ус.

— А как долго продлится это «сколько нужно»? И что значит «пока что»? По закону вам положено отработать три года. В продолжение этих трех лет вы, стало быть, будете вести не очень легкий... я бы сказал, тяжелый образ жизни. За эти три года вы обзаведетесь семьей? Нет? Значит, все время вы будете учить ребят не по велению сердца, а по необходимости. А потом уедете в Ростов. Или в Сухуми. Да?

— Как вам сказать?

— Откровенно.

Я растерялась. Сказать, что посвящу всю свою жизнь служению этому селу, о существовании которого я ничегошеньки не знала еще два месяца назад,— значит покривить душой. Короче говоря, я поняла, что у меня нет очень ясной, очень твердой жизненной программы.

— Так, так! — продолжал старый учитель, довольный тем, что припер меня к стене, и даже с удовольствием наблюдая, как я беспомощно трепыхаюсь в расставленных им сетях.— Надо кончать разговор — сейчас звонок. Так вот мой совет: глубоко уясните себе, чего вы хотите в жизни. Потратьте на это несколько ночей. Игра, как говорится, стоит свеч. И когда вы получше разберетесь во всем, мы еще раз побеседуем. Хорошо?

Я поблагодарила его.

Мы пошли в классы. Половицы поскрипывали подмною противно-препротивно, точно напоминая о несовершенствах каштанового дома.

В эту ночь долго сидела на крыльце. Хозяйка давно уже спала. Ее сын гулял где-то на свадьбе.

Небо изогнулось дугой, безоблачно-безмятежное. Сияла огромная луна. И я мысленно летела к ней — туда, к морю Спокойствия и морю Ясности. Это где-то там прилунилась наша ракета. Прилунилась! Вот и новое слово. Удивительно!..

Хорошо ей, ракете, спокойно лежать между морем Спокойствия и морем Ясности. А каково мне на Земле? Надо найти решение, казалось бы, простейших вопросов. Например: надолго ли приехала я сюда, в эти горы?

И я честно говорю: не знаю.

И в этом вся беда!

Буду сидеть на крыльце и думать.

Зеленое небо наверху.

Черные горы под ним. Они окружают меня так плотно, словно не желают выпустить отсюда.

И вдруг этот крик: «Айрума! Айрума! Айрума!»

Шанафу мешают только медведи. Его беспокоят только они. Счастливый человек!

— Сегодня воскресенье,— сказал Нурбей Ясонович.— Приглашаю вас, Наталья Андреевна, на телевизор.

Он стоял гладко выбритый, одетый с иголки: белая сорочка, бежевого цвета костюм, остроносые туфли. Очевидно, я рассматривала его с чрезмерным любопытством, потому что он сказал:

— Что-то вам во мне не нравится.

— Да вы просто... щеголь.

— Скажите лучше, стилига.

— Может быть, и так.

— Нет,— весело отозвался он.— Я стою всего-навсего на грани стилижества. До настоящего стилиги не дорос.

— Где же находится ваш телевизор? И откуда собираетесь принимать передачу?

— Телевизор у председателя колхоза. А передача из Сочи.

— Меня хозяева не приглашали,— сказала я.

— В том-то и дело, что приглашали! А мне будет очень приятно, если такая девушка составит мне компанию.

— Обычно говорят наоборот...

— Согласен. Пусть будет наоборот. Я плохо воспитан. Разных светских тонкостей не знаю.

— А пора бы.

— Хотите сказать, что я уже достаточно стар?

— А вас обижает это?

— Что?

— Старость.

— Как сказать? Пока — нет. Но скоро, вероятно, будет обижать.

Нурбей Ясонович внешне интересен. Высокий рост, широкие плечи, крепко посаженная голова. Но в нем много франтовства, я бы сказала резче — мужской самоуверенности. Приглашая меня, он не сомневается, что я не откажусь. Мне хочется отказать ему, проучить чисто по-женски. Но, с другой стороны, любопытно посмотреть на телевизор здесь, в горах, среди горцев. И я соглашаюсь.

— Это удивительно, Нурбей Ясонович, не правда ли?

— Что именно? — Он картинно повел бровью.

— Телевизор в горах.

— По-моему, ничего удивительного. Я собираюсь своей старушке газовую плиту соорудить. Это будет похлестче.

— Газ привозить будете?

— Это не проблема. Скоро куплю автомашину. Я уж записан в очередь. Спецсписок! Буду возить баллоны с газом раз в месяц. А телевизор — что? Ни один телевизор в мире не сравнится с вами. Что, не правда?

Шутка плосковатая. Я не могла простить.

— Спасибо за сравнение. С таким же успехом можно уподобить вас шифоньеру с костюмами. Но это сравнение не будет свидетельствовать о хорошем эстетическом вкусе его автора.

Никакого впечатления! Он слишком влюблен в себя, чтобы допустить мысль о том, что его решаются унижить или уколоть.

— Наташенька, да не ругайте вы меня! Через час будьте готовы.

— Могу и раньше.

— Вы девушка на большой палец!

Он сбежал с лестницы и помчался на кухню.

Такие люди сохраняют прыть и беззаботность до ста лет. Мать, говорят, давно и безуспешно подыскивает ему невест. Я ей как-то сказала, что такие, как Нурбей Ясонович, не женятся. Она обиделась.

Махти Базба, председатель колхоза, встретил нас радушно. Его дом у самой Гвадиквары. Река шумит, без конца распекает свои горные песенки.

Я перезнакомилась со всей многочисленной семьей председателя. Дети все в отца — настоящие альбиносы. Белокурые ангелочки. Бегают, шумят, что-то тараторят без конца, вроде Гвадиквары.

Махти поначалу повел официальный разговор.

— Товарищ Наташа, — сказал он, — как живется вам в нашем селе?

— Неплохо.

— Не обижают?

Он был далек от шутки. Поэтому я отвечала ему в тон:

— Отношение ко мне самое хорошее.

— Товарищ Наташа, мы, советская власть, обязаны заботиться о вас, рабочих просвещения. Это наш священный долг.

После этой неподражаемо точной формулировки, произнесенной, надо отдать справедливость, с большим достоинством, Махти бросил взгляд на ходики: стрелки приближались к заветному часу. Сумерки стремительно наступали. Кто-то включил электрический свет.

Телевизор стоял на старинном комоде. Устанавливал его не кто иной, как Нурбей Ясонович. Он с таинственным видом ходил вокруг аппарата, проверял антенну, приделанную к высокому дереву, дергал провод, чинил штепсельную вилку.

— Извините, — сказал Махти, поднося мне рюмку водки, — но мы очень просим. Для аппетита. Все выпили, кроме вас.

Я отказалась. Он не отставал.

— У нас сегодня праздник,— говорил он.— Нельзя в праздник без вина. Русский обычай и абхазский одинаковы.

Мне пришлось слегка пригубить.

Понемногу собирались соседи Махти. Он их сзывал со своего крыльца зычным криком. Те отвечали ему и вскоре появлялись на зов.

— Лишь бы свет не погас,— беспокоился Нурбей Ясонович.— Возьмет какой-нибудь товарищ на станции и выключит.

— Зачем же выключит? — спросила я.

— Захочет прогуляться — и выключит...

Махти вступился за электрика. Он сказал, что хотя станция и не велика, а с большой поспорит. Свет в Дубовой Роще ярче, чем в Сухуми. А электрики поста никогда не бросают. Вот так!

В восемь часов вечера многочисленные зрители с трудом разместились в просторной комнате. Горцы чинно переговаривались, покашливали, не спуская глаз с экрана.

Вот щелкнул выключатель... Заговорил мужской голос, и на экране появилась телевизионная таблица. Нурбей Ясонович отрегулировал изображение. Эту таблицу смотрели минут двадцать. А потом появилась девушка и поздоровалась с нами.

Я видела, как странно переглянулись между собой присутствующие. Они, несомненно, были удивлены, но никто этого не выказал открыто. Все было, как положено в середине двадцатого века.

Показывали хроникальный фильм. А потом запел бас, очевидно изгнанный из столичных телестудий. И через четверть часа стали крутить художественный фильм. Это была одна из тех кинокартин, которыми наводнен наш кинорынок: бездарная поделка с потугами на юмор. Я даже не запомнила названия. Сидела спокойно из уважения к собравшимся, но чувствовала, что мне невмоготу. Я тихонько прошла на крыльцо. За мной последовал Нурбей Ясонович. Он считал свою миссию выполненной.

— Я радуюсь за нашу промышленность,— сказал он.— Отличные телевизоры. Неплохая по качеству передача. Но можно ли смотреть этот фильм? И кто только его делал?

— Я не выдержала,— сказала я.

— Зато они высидят до конца.

В его голосе чувствовалось высокомерие по отношению к тем честным людям, которые вовсе не повинны в том, что им показывают плохие фильмы. Мне стало еще неприятнее, когда Нурбей Ясонович сказал:

— Эти фильмы для пещерных людей...

Я сурово перебила его:

— Простите, вы, кажется, до недавнего времени были одним из этих «пещерных».

— Был,— сказал он.— Был, да сплыл! И не жалею об этом. Если бы не вы, давно бы сбежал отсюда. Я больше одного дня здесь не выдерживаю.

Он вдруг взял меня за пальцы и сжал их.

— Дальше? — спросила я с усмешкой.

Он уставился на меня, отчаянно моргая глазами.

— Такие вещи, Нурбей Ясонович, на меня не действуют. Не тот возраст.

— Что случилось, Наталья Андреевна?

— Ничего. Я просто обижена за этих людей, которых вы несправедливо обозвали пещерными.

Он закурил.

— Вот оно что! Я люблю патриоток. Особенно патриоток Дубовой Рощи. Знаменитое место. Если вы и в самом деле обижены, я бы на вашем месте досмотрел фильм. Из солидарности.

Я тут же вошла в комнату. Он этого наверняка не ожидал.

Некоторые мужчины поражают меня своей толстокожестью. А еще больше — автоматичностью поступков.

Вернувшись домой после телевизионного сеанса у Махти, я сказала себе так: «Нурбей Ясонович, если только он верен своей натуре, непременно постучится ко мне. Такого сорта мужчины не прощают женщине даже малейших обид. Тем более если они пьяны». Я, не раздеваясь, погасила лампу.

Старуха давно улеглась. Она мирно почивала, не подозревая, в каком тревожном состоянии пребывает ее жилища.

Было уже за полночь, когда Нурбей Ясонович хлопнул створкой ворот и тяжело поднялся по лестни-

це. Он постоял на крыльце, очевидно в нерешительности. И случилось в точности так, как я предвидела: он постучался ко мне. Автомат сработал! В то же самое мгновение я открыла дверь и появилась перед самым его носом.

Он отпрянул от неожиданности.

— Наталья... Андреевна... — с трудом ворочая языком, выговорил Нурбей Ясонович. Он пошатывался. — Наталья... Андреевна... Извините... Извините...

— Поздновато заявляетесь в гости, — сказала я строго. — Ошиблись дверью.

Он перешел на шепот:

— Хочу поговорить...

— Слушаю.

— Там... Там... — Он попытался пройти в комнату.

— Нельзя!

— Что такое?

— Нельзя!

— Гостя не пускаешь?

— Не пускаю.

— Интерес-ресно.

Нурбей Ясонович попятился задом и неожиданно двинулся вперед.

Тут я толкнула его в грудь, и он вылетел за порог.

Я захлопнула дверь и закрыла ее на ключ. Нурбей Ясонович, видимо, смирился. А может быть, просто пришел в себя...

Утром хозяйка с грустью сообщила, что ее любимый сыночек отбыл в город.

4

Провожу перекличку. Против Базбы Есыфа заранее ставлю тирешку и машинально спрашиваю:

— Здесь?

Вижу, поднимается из-за парты этот самый Есыф. Молчит. Класс притих. Все ждут: что же будет дальше?

— Почему ты ходишь нерегулярно, Базба?

Он продолжает молчать.

— Вокруг твои товарищи, — говорю, — держи ответ перед ними. Ты обещал исправно посещать уроки. Скажи: обещал?

Наконец слышится тихо:

— Да.

— А почему не держишь обещание?

— Что?

— Я говорю, почему слова своего не держишь?

— Бо-лен.

— Чем?

Он прикладывает руку к груди.

— Сердце болело?

Есыф пожимает плечами.

— Допустим, болело. Кто из твоих товарищей тебя навещал? — Я обращаюсь к классу: — Ребята, кто навещал его?

Молчание. Все повернулись к Есыфу.

— Вот ты, — говорю, — на одной парте сидишь с ним. Отвечай.

Поднимается долговязый Нанба. Ковыряет пером под ногтями.

— Ты его друг?

— Да.

— Ты знал, что твой друг Базба болеет?

— Да... Нет...

Класс разражается взрывом хохота. Это больше из озорства, а не потому, что действительно смешно. Жду, пока успокоятся.

— Да или нет? — спрашиваю.

Молчание. Я терпелива.

— Нет, — бросает Нанба.

— Как так не знал? Не интересовался?

Нанба опустил голову.

— Он был здоровый...

Тогда я обращаюсь к Есыфу:

— В чем дело? Значит, ты лжешь?

Обвинение не из легких. Класс затихает.

Я делаю три шага к доске и столько же обратно. Еще раз повторяю этот маневр. И все видят и чувствуют, что я волнуюсь. Действительно, меня берет зло: зачем обманывать? Почему этот ученик считает меня дурой и плетет невесть что?!

Мальчики сидят понутив головы, а девочки, словно мышата, с любопытством оглядывают класс: дескать, мы ни при чем, в этой словесной перепалке наше дело сторона.

Секунды тянутся медленно, грузно, точно арба в горах. Тихо, муха пролетит — и ту слышно... Я снова к доске и обратно.

— Ну, что ж, будем играть в молчанку?

Тогда поднимает руку юркий мальчонка по имени Гач Доуа, великолепный зубрила грамматических правил... Он постепенно набирает побольше воздуха в легкие, чтобы единым духом, без намека на пунктуацию выпалить нижеследующее:

— Я скажу вот что его папа лечит людей лечит скот знает такое слово которое защищает уток гусей кур он знает такую траву которая соединяет кости высасывает гной дает свет глазу когда глаз больной его папа Базба Машь знает Бабрипш он имеет большую силу он знает много а Есыф ничего не знает Машь хочет чтобы его понимал Есыф и он говорит не ходи в школу а ходи со мной в Бабрипш ходи на речку ходи в лес. Все!

Он плюхнулся на скамью. И только тогда перевел дух.

Я хорошо поняла то, что протараторил Доуа. Мне было ясно, что речь идет о суеверии. И я решила объясниться с учениками начистоту. О каком таинственном могуществе Бабрипш можно говорить в наше время? Бабрипш — гора, географическое понятие и ничего общего с какой-то сверхъестественной силой не имеет. Тем более нет ничего магического в Машь Базбе... Я произнесла слово «магическое» и тут же сообразила, что его ученики не поймут. Спрашиваю:

— Всем ли ясно значение слова «магический»?

— Всем! — отвечают мне хором.

— Скажите. Хотя бы ты, Тамара.

Тамара встала и пропищала:

— Это слово от химического элемента магний.

Поднимается шум. С ней не согласны. Вскрикивает мальчишка на последней парте.

— Магический — это значит... — запинаясь, говорит он. — Это значит... Я знаю, что такое магнит!

И снова шум. Начинаются споры. С трудом навожу порядок. Сама не рада, что сорвалось у меня это слово.

— Магическое, — поясняю, — значит сверхъестественное...

И основательно разоблачаю перед ними все суевер-

рия, какие мне известны. Урок грамматики потерян. Но не жалею об этом. Если моя импровизированная лекция хоть настолечко подорвет доверие к Базбе, считаю, что час не прошел даром.

Слушали меня внимательно, точно я сказочку какую-нибудь рассказывала. Есыф Базба буквально проглатывал каждое мое слово. Это доставляло мне большое удовольствие. На мой взгляд, очень важно, чтобы Есыф, ближе других стоящий к «кудеснику», понял всю несостоятельность отцовской премудрости...

Прозвенел звонок. Я «закруглила» свою речь и отпустила ребят. Я была возбуждена. Щеки мои горели. Говорила я горячо и, думается, убедительно, сознавая, что тема разговора важная, нужная. Раньше я и в мыслях не допускала, что когда-либо столкнет меня судьба с подобными вещами. Кинофильм «Колдунья», по мотивам повести Куприна «Олеся», мы, студенты, смотрели с интересом, но с некоторым недоверием. А сейчас мне стало ясно, как много еще вокруг нас такого, что тянется из прошлого и чего еще не победила культура...

В большую перемену я рассказала в учительской о том, что произошло на уроке. И не могла скрыть удивления: как мирно сосуществуют в Дубовой Роще старое и новое!..

Директор слушал очень внимательно. Георгий Эрастович смеялся над поведением Базбы-младшего, ссылавшегося на свою немошь при стопроцентном здорье. О Базбе-старшем он сказал так:

— Конечно, «магических» свойств Базбы-старшего я не касаюсь. Что же до способностей костоправа — ручаюсь: это отличный мастер!

Смыр согласилась с ним. Она привела ряд доказательств тому, как хорошо лечит Базба не только переломы, но и болезни, в которых медицина плохо разбирается.

Косвенная защита деревенского знахаря мне не понравилась.

— А вы признаете, что он колдун? — в упор спросила я.

— Колдун? При чем здесь колдун? — возразила Смыр. — Но глаз у него плохой, а язык — и того хуже. Я очень его боюсь.

— Боже мой! — воскликнула я. — Может, вы объявите его кудесником?

Нет, это слово никого не устраивало. Начался спор. В нем приняли участие все учителя, за исключением Кирилла Тамшуговича. Он молчал. Только слушал...

Георгий Эрастович заявил вполне серьезно:

— Наталья Андреевна, никто из нас не верит в чертовщину, однако нельзя отрицать факта: бывает в человеке некая исключительная способность.

Я не смогла не возразить:

— Какая это исключительная способность, Георгий Эрастович?

Он пожал плечами.

— Гипнотическая, — подсказал физкультурник.

— Значит, Базба — гипнотизер?

— Отчасти, — ответил Георгий Эрастович. — Это очень сложный вопрос. Если вы придете хотя бы к тому же председателю колхоза, у которого смотрели телевизионную передачу, — передовому, по нашим понятиям, человеку, то он, смею уверить, никогда не позволит вам ругать Базбу Машь. Напротив, постарается убедить вас в том, что Машь — человек непростой и сила в нем непростая.

Было совершенно очевидно, что Машь Базба вызывал к себе уважение даже в среде педагогов. А что же говорить о крестьянах?

Наконец вмешался директор. Он сказал, что, когда говорят о борьбе между новым и старым, не следует это верное марксистское положение понимать упрощенно. Если педагогический коллектив — цвет села — не вполне единодушен в отношении к знахарским приемам Базбы, то это и есть одно из проявлений борьбы нового со старым. И новое и старое в нас самих. В нас борются два начала, вернее, два направления. Весь вопрос в том, что переборет. Телевизор, радио, электрический свет, с одной стороны, и Базба, с другой, — антиподы. Добавьте к этому сельскую интеллигенцию, вот и получится реалистический образ сегодняшней Дубовой Рощи. Если вопрос этот углублять дальше — мы придем к необходимости...

Директор глянул на часы.

— Пора звонить... Но в одном мы должны быть совершенно тверды: с Базбой у нас не может быть

мира, так же как с горой Бабрипш. Они — это беда! А мы чрезмерно благодушны.

Мне была оказана недвусмысленная поддержка. В душе я очень благодарила Кирилла Тамшуговича. С тем мы и разошлись по классам.

Смешная история произошла в шестом. О ней рассказала нам географичка — пожилая, болезненная женщина. Вызывает она мальчишку, не отличающегося примерным поведением. Стоит он у карты, знаки подает своим товарищам — таким же шалунам, как сам. Словом, дурака валяет. «Ладно, — думает учительница. — Я тебя проучу». И говорит ему:

— Покажи-ка мне границы трех морей, а потом — трех хребтов. А каких, я сейчас скажу.

Ученик настороженно поглядывает на друзей: на подсказку надеется.

— Покажи мне, — говорит учительница, — Каспийское море, а потом Красное, а потом Черное.

Мальчик долго разглядывал Западное полушарие, потом неторопливо обратился к Восточному. Поиски продолжались довольно долго.

— Сколько прикажешь ждать? — строго спросила учительница.

Прошло еще несколько минут, в течение которых не удалось обнаружить ни Каспийского, ни Красного, ни Черного морей.

И вдруг... Вдруг ученик резко поворачивается на каблуках и серьезно спрашивает учительницу:

— А можно я покажу лунные моря?

— Какие, какие?!

— Лунные.

Географичка была озадачена. Однако быстро нашлась:

— Ну, что ж, расскажи что-нибудь о лунных, если тебе незнакомы земные.

Мальчик берет в руки мел, чертит на доске большой круг и, что-то мысленно прикинув, указывает на левую четверть нижнего полукруга.

— Вот здесь море Спокойствия. А здесь — море Ясности.

Географичка плохо представляла себе лунные моря. Однако, по ее словам, сделала вид, что прекрасно разбирается в селенографии. Но тут же потребовала, чтобы ученик сошел теперь на Землю, где имеются Альпы и Кавказ, кои и надлежит немедленно разыскать.

Мальчик, верный себе, все-таки начертил их на том самом диске, который красовался перед всем классом, то есть на луне.

Географичка поставила ему «пять» за находчивость. По-моему, поступила вполне логично.

Накрапывал дождь.

Мы были одеты легко и жались друг к дружке — я и Смыр. Губы у нее были синие. Жаловалась на озноб. Съежилась вся. Походила на козулю-подранка. Вероятно, и я выглядела так же... Нет ничего хуже моросящего осеннего дождя! Но приходится терпеть, как и многие другие неудобства на этом свете.

О различных неудобствах и шла у нас речь. Я сказала словами поэта, что для веселья планета наша мало оборудована. Смыр охотно согласилась.

Мы шли и болтали, а дождь усиливался. И вдруг над нами появился зонт — такой огромный мужской зонт.

Оказывается, это заведующий ларьком.

— Не возражаете? — спросил он.

Что оставалось делать? Не гнать же его?..

— Спасибо за зонт, — сказала Смыр. — Но нельзя ли руку убрать с моего плеча?

— Можно, — отозвался потомок Гермеса. — Я думал удружить. Этот дождик, поверьте мне, способен пронизать человека до костей.

— Спасибо, — поблагодарила и я.

— Как твои дела, Роман? — спросила Смыр.

— Мои? — удивился Роман.

— Да, твои. К тебе, говорят, сильно придирались...

— Было кое-что, да сплыло, — сказал Роман.

От него несло чесноком и луком, а еще и водкой. Он шел прыгающей походкой. По всему чувствовалось, что человеку этому живется не так уж тяжело.

У нас, в Ростове, был сосед,— и сейчас на месте! — который тоже работал в торговой сети. Получая всего четыреста рублей в месяц, он тратил, по крайней мере, триста в день. Две его дочери ходили расфуфыренные, ежедневно меняя наряды. Как ни преследуют жуликов, они хорошо увертываются,— по крайней мере, многие из них. С ними надо делать что-то, решительно надо, покруче с ними, что ли! Это — мое твердое мнение.

Роман сказал, что более подлых людей, чем в Дубовой Роще, нет на свете! И все-таки он их не боится, плюет на них с самого высокого дерева, а еще точнее, с вертолета! Неужели эти чудаки думают, что его, Романа, можно съесть живьем? Во-первых, он «кругом чист», а догадки строить каждому вольно... Во-вторых, у него есть «рука» в районе, которая не даст ему погибнуть и в нужную минуту окажет помощь...

— Ясно вам? — сказал этот циник.

— Значит, ты непобедим? — допытывалась Смыр.

— Да!

— И ты уверен?

— Так же, как в том, что нынче идет дождь.

Он сказал, что камня на камне не оставил от обвинений, в дым развеял все инсинуации.

— А я думаю, что нет,— сказала Смыр вызывающе.

— Милая, не спорь.

— Буду спорить!

— Ну, и бог с тобой!

Торговец решил избавиться от неприятного разговора:

— Девушки, не угодно ли приобрести капрон? Очень хорошая ткань!

Мы не проявили особого интереса к капрону. Но от другого соблазна не удержались: у него, оказывается, имеются модельные туфли на тонких каблучках.

— Мне нужен тридцать седьмой размер,— сказала Смыр.

— А мне тридцать пятый,— сказала я.— Сколько они стоят?

— Пустяки. По сто сорок. Идемте ко мне.

Мы немедленно свернули в сторону и направились в ларек.

Роман провел нас через черный ход, предварительно убедившись в том, что никто не следит за нами. Мы попали в полутемную сырую комнату, которая служила складским помещением при ларьке. Здесь все было скрыто под бумагой или старыми тряпками. Он уверенно порылся в углу и подал нам две картонные коробки.

— Слушайте,— проговорил он обиженно,— я стараюсь для вас, а вы меня же и ругаете. Разве это справедливо?

— Очень даже,— сказала Смыр, улыбаясь. Она разулась, примерила туфлю.— Мы не к тебе пришли лично, а в советскую торговлю.

Надела туфлю и я. Она пришлась в самую пору.

— Ну, вот видите,— произнес сияющий Роман,— как они хороши! На обеих как картинки! А я все снесу, потому что вы мне нравитесь.

Он спрятал деньги в карман. Попросил нас никому, даже самому богу, не рассказывать о покупке. Если спросят, куплены, дескать, в Сухуми... Нет, мы не обещали ему хранить эту тайну.

— Я никого не боюсь,— сказал Роман, заворачивая покупки в газету с целью камуфляжа.— Но, знаете, дорогие, неудобно. Разговоры начнутся: мол, товар для знакомых прячет. А как мне не позаботиться о знакомых? Захаживайте, дорогие. Я ничего не боюсь и ни перед кем спину не гну. Я честный человек. Хотели меня спихнуть, но ведь не понимают они, кто за мной стоит. Район стоит, вот что!

Он запер за нами дверь, щелкнул замком.

— Первый на селе жулик,— сказала Смыр.

— Мы должны взяться за него, Вера Коблуховна. Теперь же. Организованно. Я не верю, что не найдем на него управу.

Вере Коблуховне очень понравилась моя решительность.

— Это мысль! Давайте возьмемся за этого жулика! Соединенными усилиями. И мы посмотрим, что скажет добрый дядя в Гудауте!

Нам стало очень весело. Весело от сознания того, что Роману не поздоровится, если мы возьмемся за дело как следует.

Вино! Все пьют молодое, сладкое, не успевшее перебродить вино. Куда ни придешь — перед тобою ставят кувшин, жарят кукурузные початки на костре.

Очень вкусно молодое вино. От него, говорят, живот пучит, если много выпить. Но я, кажется, не пропойца!

Теперь и я понимаю: хорошо в дождливую погоду сидеть у костра и пить молодое вино. В такую пору затеваются веселые разговоры. Прежде, когда не было еще радио, за костром, говорят, разыгрывались целые домашние представления с переодеванием, с малеванием лиц и прочими милыми штуками, присущими народному театральному творчеству. Сейчас такие представления — редкость. Кино, пришедшее и в горы, вытесняет самодеятельность, по крайней мере в старом ее виде. Правда, по-прежнему пышно цветут песни. Их распевают повсюду, несмотря на то что патефоны — в каждом доме. Я долго не могла привыкнуть к абхазским песням. Сначала они казались мне все на один лад. Но теперь я различаю напевы, и среди них есть такие, которые мне нравятся.

Я считаю, что многие из этих песен очень давнего происхождения, причем в них сохранилось все былое своеобразие. В школе хоровой кружок готовится к годовщине Октября. Участники часами поют и танцуют. И я наглядно изучаю народное творчество Абхазии...

Кирилл Тамшугович несколько раз заходил в мое отсутствие и оставлял кувшины с молодым вином. Я благодарила его. Но он каждый раз делал вид, что не понимает, за что же благодарность. Ему приносят в дар много вина, объяснял он, и, чтобы оно не испортилось, он делится с друзьями.

За последние дни Кирилл Тамшугович как-то посерел и осунулся. Снова оброс щетиной. Стал сухо-официальным. Правда, теперь он не ворчал, как раньше. Но я успела привыкнуть к его дружескому отношению. И вдруг снова такая отчужденность! Он совершенно не интересовался моей работой. И не только моей!

Меня чисто по-женски занимало одно небольшое обстоятельство: правда ли, что Кирилл Тамшугович делится вином не только со мной? Не являюсь ли

и исключением? И что бы вы думали? Оказывается, нет! Он приносил вино и географичке, и Георгию Драстовичу. Мне даже обидно сделалось... Я сказала ему, что не надо вина. Это неудобно. Не надо так.

— Почему? — В голосе его слышалась грусть, которую способна уловить только женщина.

— Не надо. Право, не стоит.

— Вас обижает это ничтожное внимание?

— Да нет... Но как-то...

Он резко оборвал наш разговор:

— Хорошо. Не буду.

И пошел прочь. Но тут же вернулся, попросил прощения за грубость:

— Честное слово, вы тут ни при чем, Наталья Андреевна. Понимаю, мое тягостное настроение не должно ссорить меня с друзьями, товарищами... Но слаб человек... Понимаю все это и тем не менее слаб... Простите.

И ушел.

Неожиданно вспомнилось: чем больше терзают женщину, тем вернее завлекают ее. Нет, достаточно хотя бы немножко знать Кирилла Тамшуговича, чтобы отбросить это банальное подозрение.

Но, во всяком случае, если когда-нибудь и зарождалось у него желание заставить меня думать о нем больше, чем следует думать о директоре, — он своей цели достиг. В нем было что-то притягательное. Он не был похож на остальных. Может быть, это имело решающее значение?.. Не знаю. Говоря откровенно, не знаю...

— Итак, Наталья Андреевна, ваше указание выполнено. Комсомольское собрание проведено. Культ Бабрипш осужден. — Кирилл Тамшугович смеется одними глазами, смеется очень весело.

— Вы перевыполняете мои задания, — сказала я.

— Собрание вам понравилось?

— Мне кажется, оно могло бы пройти и погорячее.

Кирилл Тамшугович удивился:

— Как, еще горячее?

— Разумеется. Да вы посмотрите, сколько молодцов среди десятиклассников!

— Учтем и это ваше замечание, Наталья Андреевна.

И он уже смеется громко, благо мы с ним одни в учительской.

Он говорит:

— У меня к вам вопрос. Может быть, не очень скромный. Вы, говорят, получили посылку с книгами.

— Получила.

— Много книг?

— Да сотни полторы.

— Ого! Дайте мне почитать что-нибудь поинтереснее. Роман какой-нибудь.

— А книг по педагогике, школьному делу не хотите?

— Хочу!

Мы с ним условились, что он зайдет ко мне и выберет сам.

— Спасибо. Буду счастлив. А теперь, Наталья Андреевна, расскажите, как идут дела в ваших классах. Только поподробнее. Детально. До последних мелочей.

Он берет перо и бумагу и подымает на меня глаза. Я начинаю ему докладывать: неторопливо, заглядывая в свою тетрадь, припоминая все, на мой взгляд, важное...

Иней на зелени! Серебрится трава. Деревья покрыты серебристой пылью. Воздух звонок, как в декабрьские морозы на Дону. Иду и слегка поеживаюсь. Наверное, не выше пяти градусов тепла. По местным понятиям, это уже холодно.

Иней здесь — показатель глубокой осени. Иней предвещает зиму. Там, на берегу моря, снег выпадает редко, раз в году, и растаивает в течение дня. Здесь же, в Дубовой Роще, говорят, можно и на лыжах ходить. Лыжи у крестьян особенные, вроде большой теннисной ракетки без ручки. В снег не провалишься. На них можно ходить, но нельзя быстро съезжать с горы...

Наш каштановый дом тоже под серебром. Он мне кажется таким маленьким, уютным и одиноким. Над ним вьются голубые дымки — директор приказал топить. Этим делом занимаются ученики, специально

выделенные по спискам дежурных. У нас и классы убирают дети. Ими всеми руководит одна уборщица. Получается вроде бы неплохо: будут знать, что такое уборка, научатся ценить труд — и свой, и своих товарищей...

Нынче в седьмом классе первый урок мой. Тема занятия скучновата: «Понятие о причастии как отглагольной форме, имеющей признаки глагола и прилагательного». Скажу прямо: не «Тысяча и одна ночь». Стараюсь, насколько это в моих силах, оживить тему. Придумываю примеры полюбопытнее, «из окружающей действительности».

Вместе с учениками неожиданно появляется и Кирилл Тамшугович. Он здоровается со мной, просит разрешения присутствовать на занятии. Это проверка, обычная в учебном заведении.

Готовилась я к уроку долго и неплохо. Могу это сказать без бахвальства. Но меня начало трясти. Лихорадить. С трудом различала фамилии учеников при перекличке: перед глазами появилась противная серая пелена. До сих пор не понимаю, почему я так волновалась! Очевидно, это свойственно каждому, кто подвергается какой-либо проверке. Я, по-видимому, и краснела и бледнела. Лоб то горел, то покрывался холодной испариной.

Постепенно вошла в роль, уверенности прибавилось. Спокойно прохаживалась у доски, ноги не подкашивались, писала мелом, затем обращалась то к классу, то к отдельным ученикам. Ученики — спасибо им! — не подвели: отвечали вполне прилично. Несколько раз они дружно смеялись: это я нарочно смешила их. Такие разрядки очень полезны. В общем, дело шло, даже блеснула хорошим произношением абхазских терминов: *áлахура* — причастие, *áулахура* — деепричастие, *ацýнгыла* — наречие и так далее.

Директор вначале сидел и куksился, но понемногу в его глазах ледок начал подтаивать. А к концу урока он, мне кажется, заинтересовался даже моими... туфлями. Не сводил с них глаз. Я уж подумала, не торчит ли из них палец. Улучила минутку, глянула себе на ноги: нет, все в порядке!..

Урок благополучно окончился. Уф!..

Кирилл Тамшугович подошел ко мне.

— Очень хорошо, Наталья Андреевна. У меня только одно пожелание: проводите уроки и дальше с таким же блеском.

Я залилась краской. Пока сообразила, что сказать, он уж был в дверях.

Перевела дыхание и почти без сил свалилась на стул.

А начальство все-таки есть начальство! Даже самое доброе и то наводит страх... Вот оно как!

После уроков педагоги семи наших классов по обычаю собрались в учительской, чтобы перекинуться словечком, поделиться впечатлениями. (У преподавателей восьмого — десятого классов своя комната в том, другом помещении.)

— Вас очень хвалили, — шепнула мне Смыр, хитро щурясь.

— Кто? — Я сделала вид, что не догадываюсь.

— Директор. За урок.

И она снова прищурилась, подчеркнуто повторив:

— За урок.

Кирилл Тамшугович сказал, что нынче весь день провел в классах. И заведующий учебной частью тоже побывал на уроках. Конкретные замечания сделает позже. А в общем впечатление хорошее. Вот климат в классах никуда не годится.

Педагоги одобрительно зашумели. Да, в классах холодно, дует изо всех щелей.

Директор разводил руками.

— Товарищи, я распорядился побольше отпускать дров. Могу и порадовать вас: с будущего года начнется строительство нового здания. Каменного. Двухэтажного. Вот на том месте. За деревьями.

Весть, разумеется, приятная, но ждать-то целых два года! И это как минимум.

Георгий Эрастович внес такое предложение: сохранить каштановый дом и после постройки нового здания, чтобы видели все своими собственными очами, как растет в Абхазии школьное дело...

✽

Я возвращалась из школы со своим студенческим портфелем в руках. Он знаменит тем, что необычайно вместителен: в его чреве находились и тетради, и кни-

ги, и мои модельные туфли, тщательно обернутые в бумагу. Эти туфли я берегла, надевая их только в школе. В прочее время мне верно служила грубая чешская обувь на каучуковой подошве — ни холод, ни слякоть ей нипочем. Особенно проявлялись эти качества на грязных тропах, набухших после дождей.

Домой возвращалась неторопливо, дышала пряным осенним воздухом. И думала о том, что в эту минуту ростовчане, облачившись в теплые пальто, идут наперекрест донским неугомонным ветрам.

Справа в густой зелени пели крестьянки. Мотив мне был знаком: хозяйка часто заводила пластинку с этой песней.

Ученики мои перевели ее слова, которые звучат примерно так:

Вот наш друг Азамат.
«Вот счастливчик, — говорят, —
Не семья, а загляденье
У тебя, друг Азамат:
Сын уехал на ученье,
Сын другой — учитель в школе,
Третий мчит, как ветер в поле,
На крылатом аппарате,
Дочка младшая на ферме,
И другая не проста...»

Это веселая песня о семье трудолюбивого Азамата. Ритм ее напоминает фокстрот, мелодия доходчива и легко усваивается даже неабхазцами, а этого нельзя сказать о многих других песнях...

Расстегнула пальто и перевела дух. Небо было изумрудно-синее. Солнце пекло, как весной на Дону. Можно сказать так: глубокая осень в Дубовой Роще — это все равно что весна в Приазовье. (В смысле температуры, разумеется.) Не знаю, долго ли еще будут тянуться эти чудесные дни.

Пока плелась, трижды надо мною в небе пролетели птицы длинным-предлинным караваном. Напрасно я пыталась определить, что это за птицы. Могу лишь утверждать, что не гуси, не утки и не журавли.

Еще издали заметила хозяйку: она стояла на крыльце. Завидев меня, знаками поманила к себе. И с таинственной улыбкой преподнесла целых два сюрприза:

первый — письма из дому и от одной моей подруги, второй — кувшин вина и пирог с сыром.

— А откуда ачаф? — спросила я удивленно.

— Директор школы присылай... Очень хорош ча-лавэк...

Я недоверчиво посмотрела на хозяйку. При чем здесь директор? Только что видела его, и он ничего мне не говорил про вино и ачаф...

— Он. Он. Присылай. Наташа кушай, говорила... — тараторила старуха.

«Что это за подношения такие?» — снова огорчилась я. Надо решительнее поговорить с Кириллом Тамшуговичем, чтобы впредь не делал этого. Ведь всякое могут подумать люди.

Но как поступить сейчас?

Как видно, придется попробовать вино. Старуха это вполне одобрила.

Второй день льет дождь без передышки.

Я просмотрела четыре десятка тетрадей. Не подымала головы с утра. Устала до чертиков и больше ничего не успела сделать... ни погладить белье, ни газеты просмотреть. А дождь все лил... Выглянула в окно. Точно такая же картина, что и вчера: серая пелена воды, серые горы, серая зелень...

Чтобы немного отдохнуть от тетрадей, достала письма, полученные мной в Дубовой Роще. Прошлась по ним беглым взглядом. На одном задержалась... Это письмо от Татьяны Куценко. Она устроилась в Ростове. Пишет о новых фильмах и новых театральных постановках. Кажется, дразнит меня. Какое мне сейчас дело до театров и кино? Она пишет, что просмотрела географические карты и нигде не нашла Дубовой Рощи! А о своей работе буквально две фразы: «Мой класс кажется мне зверинцем. Теперь я понимаю, что педагогика сушит людей, убивает последнюю живую мысль». И невольно припомнился вопрос Георгия Эрастовича, всерьез ли я остаюсь в горах или принадлежу к категории временных жительниц, отрабатывающих положенный после учебы срок? На этот вопрос до сих пор не могу честно ответить, хотя живу здесь около трех месяцев. Тем более не в состоянии ответить

на него сегодня. Как гляну в окно, меня словно мороз продирает: серый, тусклый мир дождливого дня!

Мы одни с хозяйкой. Она кряхтит, жалуется на боли в пояснице. А мне даже спать не хочется в такой день! По кровле барабанит дождь. Он какой-то тяжелый, словно падают с неба виноградинки.

Вот когда оценила я городскую жизнь! Там ведь так: скучно стало — выходи гулять. Надоело гулять — выбирай кино или театр. Не хочется в театр — есть парки. Да мало ли что придумаешь в городе! Правда, никогда не увлекалась всеми этими благами: родители — спасибо им! — приучили меня бездельничать как можно меньше. Папа строил дома. Подымался в шесть, ложился поздно вечером, все корпел над нарядами для рабочих. Мать была и при нем и при мне. Она старела на моих глазах от забот и домашних дел, нисколько не освобождавших ее от работы в бухгалтерии городского коммунального отдела. Так и жили. Не жаловались.

Я понимаю разумом всю пользу беззаветного труда, а все-таки скучно здесь, и тоскливо, и одиноко в дождливый день, если хоть на час оторвешься от работы.

Может, лучше было выйти замуж за Николая Ефимовича, папиного заместителя по работе? Я могла пойти на это, не погрешив против совести. Человек он неплохой. Это верно. Но ведь хочется еще чего-то, помимо простого уважения. Книжки для Николая Ефимовича — забава, театр тоже, кино тем более. Он честный человек и честно признавался в этом, а ведь другие умело скрывают свои мысли и выдают себя за людей высокоинтеллектуальных. Нет, не могла я выйти за Николая Ефимовича только ради того, чтобы в Ростове остаться. Таня Куценко смотрит на жизнь куда легче. Она, не задумываясь, вышла за отставного военного. Может, и не стоит особенно стесняться себя чрезмерной щепетильностью? Нет, нелепый вопрос!

Говорят, что здесь, в Дубовой Роще, как зарядят осенние дожди, так уж на много дней. Куда пойти в свободную минутку? И очень мне захотелось живой души, живого человеческого слова. Я поглядела на себя в зеркало и увидела в нем недурную девушку со

здоровым цветом лица, с упругими локонами над матово-белым лбом. Нет, почему она вынуждена сидеть одна и скучать?

Какие только глупости не приходили мне в голову! И все из-за этого беспросветного дождя.

Зашла старуха. Она тоже, как видно, тосковала по живой душе. На ломаном языке заявила, что хочет умереть. Не надо ей жить. Сын взрослый. Зачем дальше жить? Она показала карточку: молодая женщина с задорными глазами рядом с усатым джигитом.

— Я... Я... — говорит старуха, и слезы навертываются на ее глаза. — Нога не болел. Бок не болел. Я был сильный.

Ее умыкнули пятнадцати лет от роду. Выкрал этот самый усатый джигит, умерший в тридцатых годах от простуды.

Я пытаюсь успокоить старуху. Плету всякую бодряческую чушь. И сама своим словам не верю. Старость — это плохо. Болезни — плохо. Одиночество — плохо. А говорю ей все наоборот. Я не верю себе, а она не верит мне. Скорбно качает головой:

— Моя хочет умирай...

Потом уходит, оставляя меня наедине с собою.

Что же все-таки делать?

Беру со столика первую попавшуюся книгу. Купила в нашем ларьке. Автор незнакомый. Название ничего не говорит. Открываю первую страницу. Едва перелистываю шестую. Нет, не хочется читать ее.

А тут этот дождь. Проклятый дождь!

Выхожу на крыльцо подышать свежим воздухом: возле керосиновой лампы голова быстро тяжелеет. Взгляд упирается в сплошную стену угольного цвета. Как ни стараюсь что-нибудь разглядеть во тьме, ничего не вижу.

Вдруг раздается знакомый голос Шанафа. Он аккуратно, подобно часовому механизму, еженощно пугает медведей. Неужели эти звери отправляются за добычей и в такой ливень? Не знаю, как они, а вот Шанаф готов в любую погоду оборонять свое поле.

— Айрума! Айрума! Айрума!

Когда же спит этот Шанаф? Его голос можно слышать и в десять вечера, и в двенадцать, и в три часа ночи. Шанаф объясняет свои бдения тем, что его

участок находится очень близко от тайных медвежьих логовищ.

— Айрума! Айрума! Айрума!

Я слышу этот голос, и мне уже не так тоскливо.

— Наташа... Наташа...

Меня осторожно будит старуха. Выходит из комнаты, снова появляется и, наклонившись надо мной, шепчет:

— Наташа... Директор... Вставай!

С трудом соображаю, что происходит.

Слышу кашель. Мужской кашель за стеной.

— Директор... Директор... Наташа, — тормозит старуха.

И снова уходит. На часах девять вечера.

Я быстро привожу себя в порядок, не забываю надеть туфли на каблучках-гвоздиках. Вид у меня не очень свежий, но это ничего — не на бал же...

Кирилл Тамшугович сидит на нарах. Смотрит в темень. Его папироса точно светлячок в ночи. Он в грубом брезентовом плаще, на ногах резиновые сапоги.

Он встает мне навстречу.

— Наталья Андреевна, опять врываюсь неожиданно-негаданно, — говорит Кирилл Тамшугович извиняющимся тоном. — Не велите казнить, а велите милловать.

Нет, я вовсе не сержусь на него.

— А какая мне выгода от казни? Живая душа в такую погоду — настоящий подарок.

— Вы ко мне слишком милостивы. Ставите в неловкое положение. Скажите же, что не сердитесь на мой приход.

— А я что же говорю?

Он протягивает мне какой-то мешочек:

— Это называется ажурджын. Переметная сума, что ли. Не бойтесь, берите. В нем кружок сыра, хлеб, яблоки. И бутылочка вина. И курица ошипанная. Вы, кажется, недовольны?

— О нет! Но нельзя ли без этого?

— Нет, Наталья Андреевна. Хочу отметить небольшое событие. Да нет, даже не событие... Давайте

отдадим все это хозяйке. А во-вторых, и это главное: я пришел за обещанными книгами.

Надо было видеть, как забегала моя старуха! И куда только девалась боль в пояснице? Куда исчезли эти «охи» и «ахи»? Она как-то призналась, что если бы не гости, которые волей-неволей заставляют ее двигаться, она бы давно протянула ноги. Думаю, что это верно.

Старуха стряпала на кухне, а мы беседовали на крыльце, куда я вынесла керосиновую лампу и два стула.

Кирилл Тамшугович скинул тяжело шуршащий плащ.

— Как нравится вам этот дождь?

— Ужасен. Ненавижу.

— Напрасно, — улыбаясь, говорит он, швыряя папиросу во двор. — Вам не кажется, что мир становится уютней, когда темень и ливень сжимают его со всех сторон?

— Помилуйте, Кирилл Тамшугович! Мир и без того мал. В наше время от континента до континента рукой подать.

Он со мной не согласен. Снисходительно смотрит на меня, точно я несмышленная. Обычно меня это оскорбляет: слава богу, приближаюсь к четверти века — это половина жизни!

— Вы — дитя времени, — задумчиво произносит Кирилл Тамшугович. — Мыслите его масштабами. И по-своему правы. Даже безусловно правы. Это я просто от зависти ворчу. А как велико расстояние от одного сердца до другого?! Сократить его — это ведь важнее, чем сократить расстояния между континентами. Я не пессимист. Более того, я тоже сын своего века. Люблю технику, литературу, искусство, с удовольствием полетел бы на Луну. Вы знаете, что я сотворил вчера?

Он сделал длинную паузу. Закурил. Фон, на котором вырисовывалась ссутулившаяся фигура Кирилла Тамшуговича, составляли тысячи водяных нитей. Они казались грязноватыми. А если бы на них падал яркий свет, они бы серебрились...

— Надеюсь, ничего плохого не совершили? — спросила я.

— А что?

— Было бы неприятно.

— Вам?

— И мне.

— Спасибо на добром слове. Короче говоря, я начал бракоразводный процесс. А звучит-то как! Словно цитата из «Анны Карениной».

— Верно.

Он начинал горячиться.

— Вы сказали «верно». Не то слово! И тон не тот. Ракеты и — бракоразводный процесс! Вам не кажется, что здесь налицо какие-то «ножницы»?

Я сказала, что ничего противоречивого не вижу. Ракета есть ракета, а развод есть развод! О каких «ножницах» он говорит? Об отставании сознания от развития материальных средств? Но это слишком уж грубый пример.

Он махнул рукой:

— Бог с ним, с этим теоретическим спором. Мне было трудно решиться на развод. Казалось, что все в меня пальцами тычут. Неприятная процедура!

Он содрогнулся. Задымил папиросой.

— И вы решили отметить это чрезвычайное событие?

— Ну, что вы, Наталья Андреевна? Кто это отмечает? Однако начало осенних дождей не худо бы отметить. Мне почему-то подумалось, что вы грустите...

— И не ошиблись.

— Что клянете в сердцах эту непогоду...

— Что верно, то верно!

— Мечтаете о Ростове...

— Допустим...

— Строите планы бегства.

Я промолчала.

— Угадал, значит! Вот все это, вместе взятое, и заставило меня предстать пред ваши очи.

— О бегстве рано говорить, — сказала я.

— Послушайте, Наталья Андреевна, мне жаль вас.

Я сидела напротив него, вполоборота. Справа от меня — окно.

Кирилл Тамшугович взъерошил волосы.

— Мне жаль вас, Наталья Андреевна. Проходят ваши лучшие дни в этой глуши. Мало развлечений.

- Что вы имеете в виду?
- Например, театр, кино.
- Вы и сами-то в моем положении.
- В том-то и беда!

Он встал и медленно прошелся по крыльцу. Половицы неистово скрипели под его шагами.

— Я, наверное, не о том говорю, Наталья Андреевна. Если по правде, то я необычайно счастлив, встречаясь с вами. Понимаете? А ничем хорошим отплатить не могу.

Что мне было отвечать? Я молчала. Слушала.

Он наклонился надо мной. Дышал над самым ухом.

— Как бы вы отнеслись к лжецу, Наталья Андреевна?

— Как? Плохо, разумеется.

Голос у него переменился. Стал гуще. Тревожнее.

— А к человеку неискреннему?

— Тоже плохо.

— В таком случае, Наталья Андреевна, не желая быть ни тем, ни другим, я хочу, очень хочу поцеловать вашу руку. Независимо от того, нравится это вам или нет. Я не хочу лгать, изъясняться в каких-то глубоких чувствах. Считайте, что это невинная прихоть.

Он еще говорил что-то не совсем понятное. Я была словно ледяная, может, оттого и не понимала. И он поцеловал мою руку и не сразу выпустил ее.

— Вы играете на пианино? — спросил он.

— Нет.

— У вас руки пианистки. Такие тонкие пальцы...

Я осторожно выдернула руку. Осторожно не потому, что не хотела обидеть его, а чтобы не придавать своему жесту особого значения.

— Я поцеловал вашу руку, Наталья Андреевна, до того, как выпил вина. И вы не можете сказать, что я сделал это под влиянием алкоголя.

Я заняла позицию «стороннего наблюдателя». Совершенно произвольно. Не знаю, удалась ли мне эта роль. Не понимаю тех, сказала я ему, кто придает слишком много значения простой любезности. Пусть Кирилл Тамшугович не беспокоится: обиды никакой нет, но не было, кажется, и необходимости в таком театральном жесте с его стороны. Мы люди взрослые.

Годы обязывают к более зрелой оценке поступков, как своих, так и поступков наших друзей. Я понимаю его если не сердцем, то разумом. Товарищи могут встретиться, поговорить, но давать волю своим чувствам не надо. Тем более что чувства проверяются временем. И потом, надо иметь в виду и окружающих нас людей. Легко совершить что-нибудь необдуманное, но труднее исправить последствия... И еще многое говорила я ему на эту тему. Совсем как закоренелый «синий чулок».

Я хотела казаться искушенной в жизни. Но трудно придумать что-либо более странное, чем мои слова, выдававшие мою растерянность. Кирилл Тамшугович сел напротив и уставился на меня. И долго-долго не менял своей позы.

— О чем вы думаете? — спросила я.

— Или вы наивны, — проговорил он тихо, почти шепотом, — или очень коварны.

— Почему вы так решили, Кирилл Тамшугович?

— А очень просто. Я, можно сказать, вызываю вас на кокетство, вы же морализуете по этому поводу. Если вы в самом деле такая, какой представляетесь сейчас, то предсказываю: быть вам старой девой.

— Спасибо за пророчество.

Он вытянул руку, набрал горсть дождевой воды и побрызгал себе лицо.

— Кажется, хозяйка нас приглашает. Знаете что: давайте ужинать на крыльце. Если бы вы знали, как хороша эта небесная водичка! — И он снова побрызгал себе лицо.

— А я зябну, — сказала я.

— Возьмите мой плащ!

— Нет, нет, я накину платок.

Кирилл Тамшугович помогал старухе накрывать на стол. Он сказал, что сегодня сам будет хозяйничать, что в Абхазии это не зазорно, что это соответствует старинному обычаю: в старину женщине не разрешалось обслуживать стол.

— Прекрасный обычай! — воскликнула я.

— Нравится?

— Еще бы.

Старуха отказалась ужинать вместе с нами, предпочитая теплый очаг. Не убеждена, что при этом она

не руководствовалась известным правилом «третий — лишний».

Итак, мы сидели вдвоем, ели вкусную, острую еду. Запивали вином.

— Нет, вы не пьяница, — сказал мне Кирилл Тамшугович, глядя, как я подношу к губам полный бокал и, слегка пригубив, ставлю его на стол.

Мне захотелось пожелать Кириллу Тамшуговичу чего-то очень хорошего... Он воспротивился. Сослался на права тулумбаша. Я настаивала, и он уступил...

— У каждого человека есть заветное желание, — начала я. — Есть оно и у вас. Человек все время чего-то желает. И мы безмерно счастливы, когда исполняется наше желание. Один мечтает о запуске ракеты на Венеру, другой — о большом урожае, третий — о скоростной плавке. Недавно вы так хорошо говорили о новом школьном здании. Жаль, что не видели себя в зеркале. У вас загорелись глаза. Одухотворилось лицо. Пью за исполнение ваших желаний.

— И вы говорите хорошо, — сказал он, улыбаясь. — Даже очень хорошо. Как завзятый оратор. Нет, нет, я вовсе не желаю принижать значение ваших слов. Но поймите, Наталья Андреевна, что мало, всетаки очень мало того, что вы пожелали. Счастье в труде — этому меня научила наша жизнь. Да и вас, вероятно. А вот проклятое сердце требует еще чего-то. В последнее время я люблю повторять, что мы уже не дети. Мы, мои сверстники, поседели. Одни в боях за родину. Другие — в труде во имя родины. И нам хочется еще чего-то. Любви. Тепла. Сердечности.

Кирилл Тамшугович стукнул кулаком по столу. Несмотря на его тон — жесткий, требовательный, — взгляд его был полон грусти.

— Что значит любовь? Это может быть и семья. И не семья. И просто любовница. Я угадываю ваши возражения. И заранее принимаю их, требуя лишь одного: своего права на счастливую личную жизнь...

— Можно подумать, что вам запрещают личную жизнь.

— Я этого не говорю. Но в то же время осложняют, мешают ей.

— То есть?

— Например: я не желаю судиться со своей женой, которая и без того для меня «бывшая». Мучить себя, когда ни в чем решительно не виноват. Еще пример: я не хочу выслушивать всякие сплетни только потому, что тянет меня к вам. Да, Наталья Андреевна, тянет! Не сказать этого — значит солгать.

Какие «сплетни»? Это слово меня огорчило. Я попросила сказать яснее. Кирилл Тамшугович махнул рукой:

— Ерундовые сплетни. Не пугайтесь.

Он закурил, машинально предложив и мне. Я минутку заколебалась, взяла папиросу. Первый же дымок застрял у меня в горле. Поперхнулась. Закашлялась.

— Говорят, что я ухаживаю за вами,— сказал Кирилл Тамшугович.— Говорят, что вы с ума меня свели и я осыпаю вас золотом.

— Что-то золота не замечала,— сказала я, смеясь.

— И я тоже, хотя мне приятно было бы осыпать вас золотом. Я поначалу обиделся...

— За себя? — перебила я его.

— Нет, за вас.

— Спасибо.

Он побарабанил пальцами по столу. Опустив голову, смотрел на меня исподлобья.

— А что, если эти самые сплетни имеют под собой какую-то почву?

— Вы хотите сказать, нет дыма без огня?

— Да... Именно, нет дыма без огня. Давайте выпьем за сегодняшний вечер. За огонь. За дым. За этот дождь. За лужи во дворе. За свет керосиновой лампы. За тишину.

Вдруг донеслось хорошо знакомое:

— Айрума! Айрума! Айрума!

— Что это? — спросил Кирилл Тамшугович.

— Шанаф медведей пугает.

— В такую погоду?

— Да, и в такую.

— В таком случае и за Шанафа. За его упорство... Если не обидитесь, Наталья Андреевна, выпью и за ваши музыкальные пальцы. Не запрещайте мне этого.

Глаза его стали добрыми-добрыми.

И опять это настороженное: «Айрума! Айрума! Айрума!»

Мы оба прислушались. И почему-то расхохотались. Чокнулись и продолжали хохотать. Смешной этот Шанаф... Медведей боится. А мы ничего и никого не боимся...

И в эту самую минуту все и решилось. Глядя на Кирилла Тамшуговича, я сказала себе, что люблю его. Люблю — и все.

У меня не было времени анализировать свое чувство. Ведь можно же в таких случаях обойтись и без анализа?

— Айрума! Айрума! Айрума!

Нет, смешной этот Шанаф. Нельзя же всю ночь медведей бояться и со страху пугать их...

Мы чокаемся. Еще и еще раз...

5

Декабрь.

Шапка на горе Бабрипш значительно увеличилась, стала наползать ей на лоб. Окрестные горы тоже покрылись снегом. И все-таки в солнечные дни — а их в декабре немало — вполне можно было довольствоваться демисезонным пальто. Однажды вышла из дому в одном шерстяном платье. Правда, местные жители не оценили этой отваги: они просто удивлялись моей странности. Больше всех Смыр. Она не могла взять в толк, как это можно ходить зимой в одном платье. Я это гордо объяснила своей закалкой. Но когда вошла в класс, продуваемый ветрами всех четырех сторон света и до чертиков продрогла, я дала себе зарок не валять больше дурака и одеваться потеплее.

Ученики простуживались все чаще. Многих мы, учителя, навещали на дому, выясняя, требуется ли врачебная помощь. Все сведения о больных учениках немедленно передавались сельскому врачу, а он принимал необходимые меры.

Большую помощь оказывали нам депутаты сельского Совета. Подбросили дров, и не только школе, но и учителям. Это была трогательная забота. Председатель Совета объяснял ее так: село завершило, притом

успешно, все полевые работы, и теперь не стоило большого труда помочь школе и учителям.

Я предложила оклеить стены обоями. Мне стали доказывать, что в местном сыром климате обои не годятся. Однако я настояла, а Георгий Эрастович и Кирилл Тамшугович поддержали меня. Было решено провести оклейку стен силами учеников в дни зимних каникул.

Я уговорила свою старуху разрешить оклеить и мою комнату. Она согласилась без особого энтузиазма, но, когда увидела обои, просияла. Ее пленили золотистые розы на бледно-салатовом фоне. Я же скрепя сердце купила их у Романа, ибо что-нибудь попроще, посовременнее нельзя было достать «в системе Абхазского общества потребительских союзов». Засучив рукава взялась я за работу, и в течение одного воскресного дня моя комнатка приобрела вид будуара в стиле восемнадцатого века. Как бы там ни было, стало в комнате теплее.

Дни сильно уменьшились. В восемь вечера уже темно. Ночи длинные, темные, шакалы воют надрывнее, подступают к самому плетню, таскают кур, цыплят, индюшек.

Занятия идут нормально. В седьмом руководительницей являюсь я. В общем, это неплохой класс. Возни не так уж много. Но иногда ученики ставят меня в неловкое положение. Вот один такой пример.

После урока подходят ко мне девочки и спрашивают, что такое любовь. Я ответила так: любовь — хорошее чувство, это чувство большой дружбы. А как же еще объяснить? Девочки вроде бы удовлетворились моим ответом.

Но на следующий день подымается одна из них и задает вопрос:

— Наталья Андреевна, женщина без любви может жить?

А сама едва сдерживает смех.

— А как думаешь ты?

— Не может! — отрезает она.

— Почему?

— Женщина — существо нежное. Она без любви умирает.

Класс дружно захохотал. Попыталась навести порядок, но ничего не вышло. В общем, потеряли мы не менее двадцати минут.

— Ну что, успокоились? — сказала я. — А теперь отвечай: почему же все-таки женщина без любви умирает?

Ученица пролепетала:

— Потому что любовь не дружба. От дружбы не умирают, а от любви — да.

Словом, хлебнула я с этими девчонками горя. Трудно с ними: вроде бы не взрослые, но желают понимать не меньше взрослых...

Другой случай более неприятного свойства. С некоторых пор я стала замечать, что одна из учениц, отличавшаяся любознательностью и живым умом, понемногу теряет интерес к занятиям. Пишет работы все хуже и хуже. Готовит уроки плохо. Отвечает рассеянно. Она красивая: высокая, стройная, с симпатичным личиком, глаза — что черная смородина. Старше своих подружек — ей пятнадцать лет.

Я несколько раз вызывала ее для беседы с глазу на глаз. Однако все безуспешно: добиться перелома не удалось. Не удалось даже выяснить, в чем причина, а причина, несомненно, имелась. Тогда я приступила к ее подругам. И вот одна из них заявляет:

— Разве не замечаете? Она влюблена.

— Кто? — спрашиваю.

— Нина.

— Как так влюблена?

— Есть один человек. Он в Гудауте работает.

— Молодой?

— Нет, старый. Ему двадцать пять лет.

С трудом удерживаюсь от смеха. Беру платок и делаю вид, что сморкаюсь.

— Так, значит, старый?

— Старый.

— Во-первых, не время заниматься такими глупостями.

Девочка соглашается со мной.

— Во-вторых, учиться надо.

Девочка убежденно говорит: она не может больше учиться. Она заболела.

Ну, что делать с этими противными девчонками?

Иду я как-то по дороге. И не заметила, как нагнала меня машина. Слышу, что-то гроыхнуло рядом, и окутали меня клубы пыли.

— Здравствуйте! Привет!

Из кабины выглядывает Омеркедж-ипа, скалит в улыбке зубы. Протягиваю ему руку. Он больно пожимает ее своими ручищами.

— Как живете?

— Хорошо живу. А вы?

— Мое дело — баранку крутить. Это я умею. Значит, морской порядок!.. Дети у вас в печенках сидят или еще их терпите?

— Зачем же, вполне терплю.

— Замуж не вышли?

— Что вы!

— А что? — Омеркедж-ипа закуривает папиросу. — Разве такая, как вы, останется без мужа? Да еще где?! В Дубовой Роще! Разве здесь перемерли мужчины? Скажите, перемерли?

Я смеюсь:

— Нет еще.

— А может быть, ослепли?

— Тоже нет.

— Что же с ними случилось? Такая красавица, а ходит незамужняя. Вы Наташа, да?.. Слушайте, Наташа. Эта Дубовая Роща удивительная. Не сама по себе. А люди. Они очень странные. Одно говорят, другое делают. Вы, наверно, крепко засели в сердце какого-нибудь джигита. Он молчит, ничего не говорит, а потом — фьюй! Украдет!..

Я смеюсь:

— А зачем красть? Сама пойду. Если, конечно, понравится.

Он восхищенно посмотрел на меня.

— Правильно! Вы, Наташа, молодец! Хотите, подвезу?

— Спасибо. Я гуляю.

Омеркедж-ипа поморщился. Точно съел барбарисовой подливки.

— Знаете, Наташа, это село не поймешь. И таким оно может показаться и этаким. Остерегайтесь жуликов. Здесь работает один. Роман его имя. В ларьке.

— Знаю его.

— Жулик! Его слово как воздух — ничего на весах не тянет. Его язык как мед, а потом как желчь. Он в каждом селе имеет жену. Там молодая, там старая, там богатая, там бедная. Большой жулик! Но богатый.

— Я жуликов не боюсь, — говорю, — даже богатых.

— Хорошо! — кричит шофер, включая мотор. — Значит, ехать не хотите? Будьте здоровы! Привет!

Я помахала ему рукой.

Если на дело взглянуть сугубо философски, то станет ясно, что в мире немало ангелов-хранителей. Одним из них, несомненно, является шофер грузовой машины из села Буксовая Роща Омеркедж-ипа.

Декабрь или не декабрь? Просто не верится: тепло, солнце сверкает, зелень вокруг.

— Настоящий огонь, — говорю и киваю на солнце.

Кирилл Тамшугович уточняет:

— Нерукотворный реактор, дающий энергию солнечной системе.

Мы идем берегом Гвадиквары. Буйная речка рычит и пенится у нас под ногами. Вода в ней чистая, как линза.

Кирилл Тамшугович обещал показать мне древний храм, вернее, то, что от него осталось. Полностью сохранились стены, фрески над алтарем. Купол обвалился, и сквозь глубокий колодец округлой башни виднеется синее южное небо.

Храм стоит на взгорье. Гвадиквара плавно огибает его, создавая естественную защиту храма-крепости.

— Он возведен в восьмом веке, — поясняет Кирилл Тамшугович. — Поглядите на эти формы. Все в них пропорционально. А вот камень с надписью: «Во славу Божию я, царь абхазский...» Ее расшифровал археолог, приезжавший из Сухуми.

Мы находимся в каменном мешке. Пахнет сыростью древней кладки. Мох и кустарники покрывают

подножия стен и пол, выстланный мрамором. А за каменными стенами зеленая поросль, что под стать весенней, молодые дубы, ольха и фундук. Неужели же нынче декабрь?

Кирилл Тамшугович увлечен собственным рассказом. Он вспоминает имена абхазских царей, даты построек разных храмов. Мне трудно уложить все это в памяти. Но слушаю с удовольствием.

— Вот здесь,— говорит Кирилл Тамшугович,— под этой самой плитой похоронен епископ. Об этом свидетельствует надпись.

Я сошла со своего места. Не могу себе позволить такого кощунства: стоять на могиле.

— Там нет даже костей,— успокоил Кирилл Тамшугович.

— Неужели одна земля?

— Да, земля. Прах.

Я задумалась. И он тоже.

— Наталья Андреевна...

— Да?

— О чем вы?

— А вы?

— Мне кажется, о том же, что и вы.

— Правда?

— Я сказал себе: неужели и мы превратимся в землю?

— То же подумала и я. Вы боитесь смерти, Кирилл Тамшугович? Только откровенно.

Он сказал:

— Да.

В глазах у него — грусть и блуждающая, беспокойная мысль. Он взял меня за руки, словно собирался покружиться. А потом неторопливо обнял меня и поцеловал в губы. И тут же выпустил. Я бы солгала, если б сказала, что не ожидала этого. Когда уходишь с мужчиной в такую глухомань и мужчина этот не очень противен тебе, разумеется, могут быть всякие «неожиданности». По-моему, это ясно всякой женщине, если она не дура набитая...

И все-таки я переволновалась. Меня всю трясло. И он стоял бледный. Прятал глаза и не знал, куда девать руки.

— Вы не сердитесь? — спросил Кирилл Тамшугович.

В таких случаях девушки обычно надувают губки и молчат или же говорят: «Сержусь». Мне не хотелось быть похожей на девушек, уж очень высоко несущих знамя своей невинности. Да и в мои годы это выглядело бы несколько странновато, не говоря уж о чрезмерной старомодности.

— Не сержусь, — сказала я.

Он просиял. Поцеловал меня. Еще и еще раз.

— Не надо, — сказала я. — Что вы делаете?

Кирилл Тамшугович тяжело отдышался.

— Подумайте, что скажут...

— Кто?

— Люди.

— Здесь только история и мы.

— Все равно неудобно.

— Может, вы другого любите?

Его вопрос возмущает меня.

— Неужели я стояла бы с вами, если бы мне нравился кто-нибудь другой? Не говоря уж о любви.

Кирилл Тамшугович благодарно склонился над моей рукой и поцеловал ее. Его голова, покрытая густой, местами седеющей шевелюрой, была как бы у меня в руках. В это мгновение я испытывала к нему чувство, как к малому, милому дитяти.

— Вы хорошая, — прошептал он.

— Вы же меня не знаете.

— А я утверждаю: хорошая.

— Нельзя доверять всем.

— Но и подозревать всех тоже невозможно.

Наверное, я потеряла голову. Наверное, во мне проснулось какое-то чувство, притаившееся до поры до времени. Не знаю, по чьему велению я поцеловала его...

Он сжал меня в объятиях, точно медведь. Это был могучий и нежный медведь. А потом отпустил, и мы осторожно поднялись на полуразрушенную стену, окружавшую храм. Под нами, на глубине двадцати метров, шумела Гвадиквара. Зеленые руки деревьев тянулись к нам. Хотелось броситься в их зеленые объятия...

— Я, кажется, стал легче,— шепнул Кирилл Тамшугович, — точно я на Луне. А вы?

— Не знаю.

— Считайте, что я на Луне. А точнее, на седьмом небе.

— Почему на седьмом?

— Там только счастливы, Наталья Андреевна. Мне трудно сейчас связно говорить... Но когда приду в себя...

— Что тогда?

— Я все объясню...

А я и так все читала в его глазах, как в открытой книге. Знала уже все и без его объяснений. Пусть говорят, что он хмурый, сухой, черствый. Он хороший, хороший, хороший... Я могу крикнуть на весь мир: «Люблю! Люблю! Люблю!»

Мы сидели, прижавшись друг к другу. Он пытался что-то сказать, а я закрывала ему ладонью губы, чтобы молчал. А он целовал мои ладони, приговаривая:

— Люблю! Люблю! Люблю!

— Наташа, вы, наверное, собираетесь?

— Куда?

Смыр делает большие глаза.

— Вы же сами говорили — в Ростов.

— Когда?

Смыр удивленно пожимает плечами.

Ах да! Верно, говорила, что поеду родных проведать.

— Как вы думаете, Вера Коблуховна, отпустят нас? Мы же сами предложили оклеить классы обоями.

Смыр не сомневается, что меня отпустят. Во всяком случае, меня! Надо же родных навестить. Кто имеет право задерживать?

— Дело не в праве,— отвечаю.— Мы же сами вызвались.

— А вам надо ехать или не надо?

— Я и сама не знаю,— говорю.— Может, приедет мама...

— О, это другое дело,— говорит Смыр.— Тогда можно и не ехать.

Я внимательно присматриваюсь к ней. Догадывается она о чем-нибудь? Должно быть, да. Она все понимает. В ее зрачках вспыхивают лукавые огоньки. Она со значением сжимает мне руку выше локтя и ничегошеньки не говорит. Ну, и я молчу.

Мы прогуливаемся по школьному двору перед началом уроков. Собираются ученики. Оживает каштановый дом после ночного покоя.

Вот прошел степенным шагом Георгий Эрастович. Он словно с ношей. Тяжело идет.

Промчался физкультурник, бодро кивнув нам. Учитель по труду пронес какой-то мешок с инструментами.

С каждой минутой двор шумит все громче. Младшеклассники затевают игры с невероятными прыжками. Они словно козлы: их любимые места на изгороди, на столбах, подпирающих кровлю над верандой, на турнике и на кольцах. Им не терпится как можно скорее растратить накопленную энергию.

Смыр прижимается ко мне. Облегченно вздыхает:

— Что было бы, если бы не эта наша школа? Посмотрите, Наташа, как все живет, как все кипит! Без этого каштанового дома здесь было бы тихо, как сто, как двести и триста лет тому назад...

Вот пробил колокол. Какой-то ученик старается изо всей мочи: «Дон, дон, дон!..»

Начинается новый день...

Где же Кирилл Тамшугович? Опаздывает или уже сидит в учительской на обычном месте? Если долго не вижу его, становится грустно. Мне хочется знать: где он, что делает? Если он в школе, мне веселее, с удовольствием работается... А если нет...

Я иду к крыльцу, а сама глазею во все стороны: откуда покажется Кирилл Тамшугович?

Лунная ночь. Большая округлая луна.

Встаю, набрасываю поверх платья прорезиненный плащ, ибо прохладно и влажно. Осторожно открываю дверь. А на крыльце — моя старуха. К сожалению, я обнаружена.

— Наташа, Наташа, — шепчет старуха. Она указывает рукой на кусты фундука. — Там. Там.

Я делаю вид, что не понимаю ее. Стараюсь казаться равнодушной, а старуха свое:

— Там. Там.

Я машу рукой: дескать, ничего не вижу. А старуха говорит:

— Он там. Твоя ждет.

— Кто?

— Директор. Моя видит. Мой глаз как иголка. Все видит. Скорей.

Она поцеловала меня в щеку, как сообщница. Что делать? Не отпираться же, когда и так все ясно. Я сказала старухе какие-то теплые слова и побежала к ореховой рощице.

Молочный луч падал прямо на Кирилла Тамшуговича. Он улыбался, и глаза его отражали поток молочного света.

И тут же, как нарочно, это «Айрума! Айрума!».

Шанаф продолжал битву с медведями. Но ведь кукуруза уже убрана. Чего надо зверям от Шанафа?

— Это удивительно! — говорил Кирилл Тамшугович. — Шанаф воюет по инерции. Он уже не может не воевать. Он привык.

— Айрума! Айрума! Айрума!

Бог с ним, с Шанафом. Мы забываем о нем ровно через минуту. Мы остаемся совсем наедине — без старухи, без Шанафа. Только луна вверху — традиционная свидетельница свиданий во все времена и эпохи.

Мы беремся за руки и гуляем по росной траве. Мы забираемся в густую чащу дубов и вступаем в сообщество призраков, неотъемлемую принадлежность любого густого бора.

Но мы не боимся. Нас не пугают причудливые, изогнутые стволы и ветви. Нас двое, и мы любим друг друга.

— Помнишь первую встречу? — говорил Кирилл.

— Ты мне показался суровым. Ты был небрит. Не приветлив.

— А ты понравилась мне с первого же взгляда.

— Неправда.

— Какой смысл говорить неправду?

Он целует меня в шею, как бы подтверждая, что теперь уже лгать ни к чему.

— Знаешь, Наташа, мне еще не верится. Поэтому хочется сказать кое-что. Деловое. Не очень лирическое.

Я закрываю ему рот ладонью. Ничего делового я не желаю слышать. Не такая ночь, чтобы вмешивались дела. Я хочу опираться на волосатую руку, хочу прижиматься щекой к его щетинистой щеке. Хочу бездумно болтать, слушать ночные голоса леса. К черту дела!..

— Ты женщина с головы до ног,— говорит он, смеясь.— А мне, мужчине, положено думать.

— Что же ты надумал?

Он обхватывает мои плечи, заглядывает мне в самые зрачки и целует в губы. Целует раз. Другой. Третий. У меня кружится голова.

— А теперь я все-таки задам деловой вопрос. Что нам делать?

— Дай вздохнуть... Что делать? О чем ты?..

— Может, съездим в Ростов?

— Это зачем?

— Как зачем? Там же твои родители. Надо же мне познакомиться с ними. Вернее, им со мной.

Мы споткнулись о какой-то пенек и чуть не растянулись.

— Айрума! Айрума! — доносится сверху.

Мы выходим на тропинку, сверкающую, точно серебряная нить. Здесь идти безопаснее: ни пней, ни стволов.

— Что же ты молчишь? — спрашивает Кирилл.

Не знаю, что и говорить. Мне кажется, я знаю Кирилла, но в то же время знаю явно недостаточно. Я предвижу мамины возражения: «Он много старше тебя. Он был женат. Пара ли он тебе?!» И сама не знаю: пара или не пара? Но уверена в одном: без него теперь жизнь не жизнь. Сентиментально? Может быть. Но это так.

Луна пытается догнать нас. Она за нашей спиной. Длинные тени бегут перед нами. Две тени, бегущие в обнимку.

— Мне не хочется уходить, Наташа.

— А надо...

— Это ужасно, Наташа. Все надо, все должно! — Он хмурит брови.

— Ладно. Спокойной ночи, Кирилл. Как быстро бегут часы.

Он подхватывает меня на руки. Несет прямо к воротам. Боже, что он делает? Вдруг старуха увидит. Сраму не оберешься!..

Мы прощаемся.

Его шаги затихают. Направляюсь к крыльцу. Чувствую, как пылают щеки. Который же час? Не меньше двух. Присаживаюсь на нары. Вокруг так тихо, так светло. Декабрьская ночь разворачивает свои чудеса. Здесь нельзя не быть поэтом. Теперь я понимаю, почему все наши ученики пишут стихи. У нас в школе три поэтических кружка. И недавно приезжал товарищ из Союза писателей Абхазии... Наверное, и я разражусь стихами. Проза меня не удовлетворяет...

Наконец-то увидела «Пляску медведей». Этот танец исполняла группа ребят из нашего школьного хора. А заинтересовал меня танец вот почему: мне сказали, что слово, которое выкрикивает Шанаф по ночам — «Айрума», — взято из одной старинной плясовой песни.

На сцену выходят трое в бурках. В руках у них длинные посохи. Медленно, переваливаясь с ноги на ногу, изображают они косолапых. Один из участников хора выкрикивает фальцетом:

На тропу из логова
Вышли, словно боровы...

Дальше эти слова подхватывает весь хор — зычно, громоподобно:

Три медведя, целых три!
Удивляйся и смотри!
Айрума! Кварчарума!

Танцующие выделывают замысловатые па, припадая на левую ногу. Движения понемногу становятся резкими. Убыстряется ритм.

Вот они идут тропюю,
Ног не чувуют под собою, —

поет высокий голос,—

Три дубины раздобыли,
Ветви соснам перебили...
Вот взялись они за скалы,
Небо ими закидали...
Только позднею порою
Захрапели под горою...

Танцоры иллюстрируют этот текст. Это картина, воплощенная в пляске.

Теперь я поняла, что именно изображал Шанаф во время своих ночных бдений. Однако объяснить мне смысл слова «Айрума» так никто и не смог. Кирилл обещал поговорить с фольклористами в Сухуми. Он предлагал съездить туда вместе со мной, если...

— Если к тому времени ты что-нибудь решишь,— сказал он.

— Решать нужно не только мне,— возразила я.

Он молча протянул руку.

— Бей,— попросил он.

-- Что это значит?

— Это значит, что ты согласна.

— Нет, к чему такая торопливость?

Он, кажется, помрачнел, но вскоре отошел. Он и сам понимает, что ударить по рукам можно, но прежде полагается крепко подумать.

— Есыф Базба, встань!

Мальчик лениво поднимается из-за парты. Начинает грызть ногти, лукаво озираясь по сторонам. Ему со всех сторон что-то шепчут, но я не могу понять, что именно.

— Прекратите разговоры!.. А ты, Базба, отвечай: почему не занимаешься дома?

— А время?

— Разве ты очень занят?

— Да.

— Чем ты занят? Расскажи нам.

— Крал невесту.

— Что?!

— Мой брат женился. Крал девочку.

Класс насторожился. Всем интересно, что будет дальше. Мне говорили, что недавно в соседнем селе

была свадьба, что действительно невесту «выкрали». Но я не могла предположить, что в этой проделке участвовал мой ученик... Надо немедленно менять тему. Я говорю: «Садись!»

Он усаживается, словно министр какой-нибудь, выпитив грудь и раскидав на спинке скамьи руки. Ухмылка не сходит с его лица.

Нет, с ними надо поосторожней. Они много знают, у них зоркий глаз и острый слух. Надо относиться к ним как к равным, а иначе провалишься. Но это не значит, что следует потворствовать всем их прихотям, которым несть числа. Я подчас забываю, что передо мною дети двадцатого века. Они хотят знать больше, чем знали их деды. И они знают значительно больше. Их остро развитое любопытство может поставить тебя в тупик, если на секунду ослабить внимание. В развитии детей, помимо взрослых наставников в семье и школе, участвуют, притом весьма активно, книги, газеты, журналы, кино, радио. Надо остерегаться накопленного детского опыта, беспощадного к твоим ошибкам, случайным оговоркам.

Я нахожусь в самом начале своего пути, а мне чудится, что уже постигла психологию ребят. Разумеется, это — заблуждение! Их психология очень сложна, и как много трудностей и неожиданностей на тернистом пути педагога!

Получила письмо от мамы с папиной припиской. Они спрашивают, скоро ли я приеду к ним. Они не задают вопроса, приеду ли. Это для них дело решенное... Милые, милые родители! Как легко забываете вы свою юность! Скажите положа руку на сердце: разве в то время у вас не было собственных мыслей, собственного мнения и желаний? Вспомните. Конечно же, были! А у нас, у ваших детей? Разве их нет?..

Меня письмо умилило. Я целовала его. Носилась по комнате, прижав к груди листок бумаги...

Они просят телеграфировать выезд. Им не терпится увидеть свою дочь. Всего каких-нибудь три месяца прошло, а их уже взяла тоска. И я слышу укоризненный мамин голос: «Вырастешь, заведутся у тебя дети — и тогда поймешь нас».

Я кидаюсь к столу, хватаю ручку и пишу. Я пишу: ждите. Я пишу: еду. Я обещаю: дам телеграмму. Я уверяю: жажду их видеть. Я искренна. Я до конца откровенна...

Вот и готово письмо. Я запечатаю его на почте. Я пошлю его завтра.

Потом бегу к старухе и целую ее. Буквально душу в объятиях. Она никак не поймет, в чем дело. В ее глазах я взбалмошное существо...

А меня ждут десятки тетрадей. Надо читать и исправлять. Исправлять и читать. Ищу красный карандаш...

А хорошая у меня мама! И папа тоже...

В сельском Совете состоялось совещание, на которое были приглашены все педагоги нашей школы. Молодой архитектор, приехавший из Сухуми, демонстрировал проект будущей школы. Это был сюрприз. Мы и не подозревали, что дело продвинулось так далеко. Но главное, разумеется, не в проекте. Более знаменательным показалось нам присутствие председателей трех соседних колхозов. Председатель сельского Совета, как видно, поставил дело на практическую почву. Он выяснял, сколько денег могут отпустить колхозы. Здание школы было задумано по-настоящему: двухэтажное, с центральным отоплением, спортзалом, мастерскими, раздевалкой.

Архитектор разъяснил нам существо проекта. Мы полюбовались фасадом школы. Что же можно сказать? Мы все в один голос приветствовали проект.

Георгий Эрастович заметил небольшое упущение: в двух классных комнатах, в угоду архитектуре, будет маловато света. Автор проекта, не споря, обещал устранить этот недостаток.

По сравнению с нашим каштановым домом новая школа будет выглядеть дворцом даже при любых недочетах. Проект был единодушно одобрен. После этого началась менее интересная, но немаловажная часть — распределение расходов на постройку. Общая стоимость определялась в один миллион триста тысяч рублей с хвостиком. Однако председатель сельского Совета предупредил, что, как показывает опыт,

потребуется на строительство несколько бóльшая сумма. Архитектор подтвердил это.

Председатель нашего колхоза отвалил четыреста тысяч.

— Если бы не строительство фермы,— сказал он,— мы дали бы и побольше.

Чернявый толстяк, председатель соседнего колхоза «Апсны», начал свою речь с небольшого экскурса в историю.

— Эту каштановую школу мы строили тоже сообщца,— сказал он.— Три года строили. А теперь, стало быть, надо построить за год. Значит, надо проявить большое умение. Школа у нас деревянная, небольшая. А теперь задуман дворец. Значит, мы богаче стали.

Он говорил неторопливо, заглядывая в шпаргалку, которую подсунул ему один из его друзей. Оратор доказывал, что школа — большое дело, школа — это свет во тьме и прочее. Но закончил он тем, что выделить деньги отказался.

Вот тут-то и началась перепалка. Его стыдили, а он яростно отбивался. Два других, менее мощных колхоза, отпустили по триста тысяч.

— У тебя дети есть? — кричали председателю «Апсны».

— Есть. Трое,— отвечал он.

— Ты учить их собираешься?

— Да.

— Где?

— В школе.

— В какой?

— Советской! — огрызнулся председатель «Апсны». — Дети мои без учения не останутся. Об этом позаботится государство.

— Иждивенец несчастный! — крикнул председатель сельского Совета.

С толстяка пот лил градом. Его атаковали со всех сторон. От него требовали горячего отношения к делу народного просвещения. А тот упрямо доказывал, что бюджет у него напряженный, что ему-де...

— Ты автомашины легковые покупаешь! — обвиняли его. — По-царски ездешь!

— Машина тоже нужна!

— А школа?!

Попросил слова Кирилл. Он говорил кратко и внятно. Основной тезис его выступления был такой: нет, мы ослышались, колхоз «Апсны» не может отставать от других. Слова директора, произнесенные удивительно спокойно и тихо, возымели свое действие на пылких южан. Во-первых, сразу стало тише, во-вторых, люди стали лучше понимать друг друга, а в-третьих, председатель «Апсны» сдался: выложил двести тысяч.

После небольшого спора сумма распределилась следующим образом: наш колхоз — четыреста пятьдесят тысяч, два других — по триста, а остальная часть пала на колхоз «Апсны».

Это решение было зафиксировано на бумаге.

Было решено также привлечь к строительству школы всю молодежь колхозов.

Все закончилось к общему удовольствию. Но больше всех радовались мы, учителя: будет у нас новая школа, будет в ней тепло, уютно, светло!

— А все-таки мне жаль нашей старой, — с грустью проговорил Георгий Эрастович. — В каштановом доме я проработал тридцать лет...

Вернувшись домой, я села и написала очередное письмо маме и папе. Не знаю, насколько взволновало бы их описание будущей школы, но одна фраза, будто случайно оброненная, наверняка взволнует. Я сообщала, что не смогу приехать на каникулы. Причина: дикая занятость в школе. Я просила маму приехать ко мне. Я очень по ней соскучилась. Мне хотелось о многом с ней потолковать. Чувствовала, что нуждаюсь в этом, а главное — в ее поддержке.

Опять льет как из ведра, а мне непременно надо сходить к Маше Базбе. Его сын вовсе отбился от рук. Что с ним делать? Во всем виноват отец. Мне рассказывали, что Маша вызывали в сельский Совет. Надо бы приказать, чтобы он покончил со знахарством и прочей чертовщиной, а его слегка пожурили и взяли с него честное слово, что не станет вовлекать сына в свои колдовские дела.

Председатель сельского Совета мог бы пресечь своей властью деятельность Базбы. Однако боюсь, что

он в душе верит в «силу» этого кудесника так же, как Сенат Бутба. Я этого не утверждаю категорически. Но Кирилл согласен со мной. Он говорит, что нечистая сила в Дубовой Роще прекрасно уживается с телевизором.

Это мнение разделяет и Георгий Эрастович.

— Иногда мне кажется,— говорит он,— что чертам даже нравится телевизор. И они не покидают наше село, как это может показаться на первый взгляд. Однако, Наталья Андреевна, могу смело сказать: черти нынче не те, не дореволюционные. Они менее опасны.

— Это вы очень верно, Георгий Эрастович. Но их нужно выгнать.

Он подает на прощание руку:

— Наталья Андреевна, Новый год на носу. А я что-то не слышу разговоров о вашем отъезде.

— Отъезде?

— Ну да, в Ростов. На каникулы.

— Наверное, мне не удастся уехать, Георгий Эрастович. Надо же школу укреплять.

Он крепко пожимает мне руку:

— Наталья Андреевна, помяните мое слово, из вас получится хороший педагог. Это верно: надо любить тот дом, в котором преподаешь. В данном случае — каштановый. Без любви ничего не выйдет.

Он многозначительно произносит слова: «Без любви». И у меня горят кончики ушей.

Первого января в школе состоится елка. Где достать настоящую елочку? Смыр говорит, что за нею долго идти — куда-то за гору Бабриш. Физкультурник обещал разузнать подробнее, где найти красивое деревцо. В поиски включились ученики. И вот накануне Нового года во дворе школы появилась красавица елка, какой я никогда не видывала: высотой в три метра, с серебристо-зелеными, точно нарисованными ветвями. И кто бы мог подумать: раздобыл ее не кто иной, как Машь Базба! Он вместе с сыном притащил ее в школу.

— Поди и разбери их,— проворчал Кирилл. Он не меньше моего был поражен поступком Машь.

Тем не менее директор сердечно поблагодарил Базбу.

— Нет,— сказал Машь,— не благодари меня. Это сделал мой мальчик. Он снова возвращается к вам.

— Он уже исключен, Машь,— сказал директор.— Ты заставляешь тревожиться о тебе и твоём сыне все село. Это очень нехорошо.

Машь улыбнулся:

— Извини меня, директор. Я хотел принести небольшую пользу. Ради этого побывал за двумя хребтами и раздобыл нужное вам дерево. Что касается моего сына, его исключить невозможно.

И он показал нам спину, направившись к воротам. Кирилл почесал за ухом.

— Хитер старик. Он хорошо усвоил закон о всеобщем обучении.

Снеговой покров опускается все ниже и ниже: горы теперь зеленеют только у самых подножий. В комнате у меня тепло. Кирилл привез мне новогодний подарок: керосиновую лампу-генератор и приемник. Стало быть, к теплу прибавился довольно яркий свет и говорливый ящичек, по мановению руки превращающийся в музыкальный. Моя старуха любопытствует: каким образом эта чудо-лампа попала ко мне? Говорю ей неправду: директор, дескать, купил ее в городе на мои деньги. Это заявление удовлетворяет ее любопытство.

Сегодня мы, учителя, приглашены на встречу Нового года к директору. Он попросил своих хозяев на вечер уступить ему весь дом. Разумеется, приглашены и сами хозяева.

Я одета. За мной к восьми часам обещал зайти Кирилл. Он пунктуален и на сей раз. Ждет меня у ворот. В руках у него электрический фонарик. Узкий белый луч глубоко пронзает тьму.

Я не вижу Кирилла: фонарик на мгновение ослепляет меня. Кирилл протягивает руку. Она горячая и сильная. Попадаю прямо в объятия.

— Хорошо? — шепчет он.

— Хорошо,— отвечаю я.

Мы стоим обнявшись, не трогаясь с места. Стоим и молчим. Как хорошо иногда помолчать, слушая биение чужого, но милого сердца! Стою и думаю о том, как быстро пролетело время. Как будто только вчера

ступила на эту землю. Будто только вчера увидела впервые Кирилла. А кажется мне, что знаю его давно и давно люблю его...

И все-таки надо идти. Я опираюсь на его руку, чтобы не упасть.

— Я,— говорит он,— долго ломал себе голову, как бы нам вместе встретить Новый год, не вызывая лишних разговоров. Решил, что лучше всего собраться всем нашим коллективом. Неплохо, а?

— Да, неплохо.

— Два обстоятельства меня особенно радуют.

— Какие же?

— Что ты у нас, в Дубовой Роще. И что у нас скоро будет большая, каменная, настоящая школа. И что в этой школе будем работать и ты и я. Немножко сентиментально, может быть, зато правдиво. Тебя не радует такая перспектива?

— Конечно! Так же, как и тебя.

— И еще кое-что радует.

— Что же?

— Что ты хорошая, прилежная, славная учительница.

— Вот сколько эпитетов в одном предложении!

— А ты думала, что мы, физики, сухари? — И он прижимает меня к себе. Крепко, крепко... — Ты не обижайся, если нынче буду уделять тебе внимания не больше, чем другим.

— Что ты!

— А буду думать только о тебе.

— И я тоже.

— Я хочу сегодня выпить.

— Это ни к чему.

— Нет, хочу. Не теряя головы.

— Тогда можно.

— Но это зависит от тулумбаша.

— Кто же будет тулумбашем?

— Возможно, Георгий Эрастович. Старик еще молодец.

Вдруг я поскользнулась. Он подхватил меня.

— Ну? — говорит он. — Удержал?

И целует.

— Увидят,— говорю,— не надо.

— Кто увидит?

Кирилл озирается вокруг. Никого! Только горы, убеленные снегами. Только снега, освещенные голубым светом. Только зеленые ели да дубы. Только высокое небо над нами. И я да он.

Кирилл говорит:

— Не думал, что когда-нибудь буду счастлив.

— А человек бывает счастлив?

— Да. Например, я.

— Между прочим,— говорю я,— тебе не кажется кое-что странным?

— Что именно?

— А это самое...

— Поцелуй, что ли?

— Всё. И поцелуй тоже.

— Видишь ли,— говорит он.— пусть всему этому удивляется тот, кто никогда не любил...

Мы убыстряем шаг. Мы идем навстречу Новому году. Он уже где-то рядом, шаг — и уже шестидесятый! Надо спешить.

— Счастливый всегда торопится,— говорит Кирилл.

И я приноравливаюсь к его шажищам.

Агудзера, 1959

Скучная уютная

Повесть

Устроился я, в общем, не хуже самого Альфонса Доде: только вместо мельницы — крохотная хижина, сплошь в щелях и трещинах. Это мазанка, выбеленная известкой снаружи и внутри. Летом в ней жить можно, а вот зимой — не знаю... По ночам наблюдаю звезды, лежа на своих нарах, и мне кажется, что я — древний звездочет. Моя хозяйка — женщина, видимо, объективная — сказала при первой нашей встрече, что сдает склеп. Я спросил ее:

— Где вы видели такой склеп?

У нее немножко смешная фамилия — Пинцук. (Я даже переспросил ее: «це» или «че»?) Она родом с Кубани. Скорее всего, казачка. Звать ее Анастасия Григорьевна. Женщина худущая, но, должно быть, двужильная: в свои шестьдесят пять лет хлопочет от зари до зари. Так вот, она честно призналась, что отродясь не видывала склепа.

— Почему же вы думаете, — сказал я, — что этот домик напоминает склеп?

— А что же еще? Он и есть склеп!

— Реклама у вас, Анастасия Григорьевна, доложу вам, небогатая.

— Вольному воля! Нравится — въезжайте, не нравится — скатертью дорога.

— Да разве так разговаривают настоящие хозяева?

— А кто говорит, что — настоящая? Была когда-то настоящей. Это да! А теперь что?! Смехота одна. Просто личинка на капустном листе, а не хозяйка!

— Ладно, будь по-вашему: я снимаю этот склеп ровно на месяц.

И я въехал без дальних слов.

Мой единственный чемодан уместился в прихожей, напоминающей тамбур железнодорожного вагона. Голова моя — на расстоянии одного сантиметра от стенки. Ноги упираются в противоположную. Задняя стенка дома, к которой примыкает мое жесткое ложе, обросла саскапарелью. А в крохотное оконце глядится финиковая пальма. Она черная на фоне темно-зеленого неба. Возле моего изголовья — разумеется, с той стороны стенки — любит мочиться дворняжка со страшно избитым именем Шарик. И когда слышу его прерывистое дыхание, начинаю понимать, что в этой ночи я не один. В правом верхнем углу, подальше от двери, живет сверчок. И он тоже свидетельствует, что темной ночью не я один бодрствую под звездами.

Тишина здесь тем не менее отчаянная. Особенно по ночам. Мне кажется, что явственно слышу легкое жужжание радиоволны сверххолодного водорода в двадцать один сантиметр. Это голос космоса. Он хорошо знаком радиоастрономам. В моей хижине я улавливаю эту волну безо всяких электронных приборов. Просто лежу и слушаю. Гляжу на далекие звезды, мерцающие сквозь щели в кровле. Это прекрасное занятие для человека, переутомленного газетной работой. Я зову сюда всех своих братьев, попотевших на различных меридианах и широтах, под водой и в стратосфере. Водород жужжит удивительно приятно. Он действует на нервы благотворней брома. Я сказал Анастасии Григорьевне, что мне по душе эта бухта. И море здесь вроде бы бирюзовое — чистое. Она подумала эдак с минуточку и сказала:

— Верно, Скурча уютная...

— Вот именно, — подхватил я, — уютная. Это очень правильное определение. Иного слова и не придумаешь.

Скурча пристроилась меж двух мысков — северного и южного. В ста метрах от уреза воды начинается густой лес (бук, ольха, отчасти граб). Между лесом и прибрежным песком — метров шестьдесят плодородной земли. На этой полосе и живут люди — крестьяне, рыбаки, Анастасия Григорьевна Пинцук в том числе. Причем последняя — на отлете, если это слово применимо к Скурче, ибо сама Скурча кажется на отлете

селенной. Хотя отсюда до Сухуми не более двадцати километров по прямой и немногим больше этого до Очамчире. Однако ощущение такое, что каждый километр равен световому году. А как же иначе, если по ночам слышишь жужжание водорода? Да и не только по ночам...

От порога моей хижины — если смотреть на север — видны горы. Это отроги Кавказского хребта. Они в снегу даже сейчас, в июле. Впрочем, и на востоке тоже горы. Они, видимо, пониже тех, северных: на них не заметно снега. Они какие-то светло-голубые. Чуть потемнее неба...

Когда на своих нарах я переворачиваюсь на правый бок, вижу большой морской барометр. Подозреваю, что он неисправен, хотя моя хозяйка утверждает обратное.

— Анастасия Григорьевна, — возразил я, — этот морской прибор показывает только «переменно».

— Ну и что же?

— Насколько понимаю, стрелка барометра должна двигаться вверх и вниз.

— Как это — вверх и вниз?

— А так: давление должна показывать.

— Какое еще давление?

— Атмосферное.

— А что показывает мой?

— Только «переменно».

Она поглядела на меня крайне недоверчиво. И вполголоса отчеканила:

— Уж больно все умниками стали!

И пошла кормить Шарика. Вечером я встретил ее у калитки. Она сидела в белом платке и грызла семечки.

— Анастасия Григорьевна...

— Аиньки?

— Вы на меня не сердитесь?

При лунном свете я увидел два блестящих глаза. Они почему-то показались такими молодыми.

— За что же, господи помилуй? — сказала она.

— А за барометр.

— Да нет, не сержусь. Я, батенька, сердиться-то разучилась. Кто я? Просто тля. Свой век доживаю. Нет, сердиться мне не положено.

Она жила в небольшом двухкомнатном доме, который достался ей от мужа, скурчинского рыбака. Позади дома — крошечный огород. На грядках ярко зеленеют помидоры, картофельная ботва и кукурузные всходы. Имея в виду это ее хозяйство, я сказал, что за всем этим нужен глаз и ни о каком «доживании века» не может быть и речи. Вместо ответа отсыпала мне горсть семечек и пересела на край скамейки, уступая место. В ногах у нее сидел черномазый Шарик. Он, видимо, отсыпался, чтобы ночью противно лаять.

Я уселся на скамейку, прислонившись спиной к ветхому штакетнику. Для меня было сущим блаженством сидеть вот так, совершенно бездумно, и глядеть на море — абсолютно чернильно-черное, только в самой середине бухты прорезанное желтой лунной тропинкой.

— Молодой, а уж сиднем сидите все дни, — заметила Анастасия Григорьевна. — Вам, должно быть, тридцать?

— Шутите, Анастасия Григорьевна.

— Шучу? С чего бы это? У меня на языке всегда то, что думаю. Всегда. Всю жизнь. И всю жизнь через это самое несчастная... Неужели тридцать пять?

— Угадали.

— Все равно не много.

— Седина уже...

— Это пустое все. Тридцать пять — даже не середина жизни. С чего это вы так устали? Неужели от этих самых книг?

— Всего-навсего от газеты.

— Что же вы, все пишете и пишете?

— Почти...

— И так — всю жизнь?

— Да, почти, если не считать того, что могу ослепнуть. Или с ума спятить.

— Не ослепнете. И в уме останетесь, — жестко проговорила хозяйка. — Крестьянин и тот не часто слепнет, а земляная работа — самая тяжелейшая... А писать хоть и не просто, но и не очень мудрёно. Ежели, разумеется, писать что видишь, а не сказочки выдумывать из головы.

Я улыбнулся: довольно-таки востер язычок у Анастасии Григорьевны. А если посмотреть поглуб-

же, то и желчи немало. Она кажется рассерженной. Но на кого и почему она сердита? Я заметил про себя, что этот вопрос необходимо выяснить. Просто так. Из журналистского любопытства...

А звезды наверху сверкают во всей своей ослепительной белизне. Точнее — голубизне. В комнатке темно, — выключил сорокасвечовую лампу. А в узкой потолочной щели небо еще темнее. Если слегка приподымаю голову, то вижу новый рой звезд. Если опускаюсь на подушке ниже, упираясь ногами в стенку, то в поле моего зрения еще какая-нибудь тысяча звезд. Прекрасный наблюдательный пункт. Отсюда я, пожалуй, могу следить и за полетами наших спутников. И недаром вообразил себя звездочетом. Не думаю, чтобы в Древнем Вавилоне мои самодеятельные братья находились в более удобном положении в моменты наблюдений за далекими светилами.

Черт возьми, слово «далекое» — не совсем точное слово. Определение «бесконечность» — тоже умозрительно, причем настолько, что и нельзя представить себе. Когда дело имеешь с космосом, художественные образы блекнут. Вероятно, от гигантских масштабов.

Прошлой ночью я тоже лежал вот так и глядел вверх. Моя фантазия работала довольно четко. Вообразил себя совершенным бобылем. И мысленно принялся искать тех, кто бы смог приветить меня на далеких планетах, буде полечу туда. И когда я попытался достичь Эпсилона Эридана, Тау Кита или какой-нибудь другой предположительно обитаемой планеты — мне вдруг стало жутко. Дорогие товарищи, ведь пустыня же вокруг, да такая, что Сахара по сравнению с ней кажется сущим оазисом. Вот какие дела!..

Шарик снова возвращает меня к делам земным. А точнее — к скурчинским. Он старательно обнюхивает давно знакомую плоскость глинобитной стены с зеленым покровом саскапарели и делает свое дело. Этот песик настолько пунктуален, что я могу сказать, не глядя на часы: сейчас ровно полночь... Беру таблетку нембутала и проглатываю ее. Запиваю сладким холодным чаем. Один знакомый врач сказал буквально следующее: лучше наладить сон хотя бы при помощи снотворного, чем ночь промучиться без сна. Я следую

этому совету довольно скрупулезно и не превратился в наркомана, как это предсказывали иные друзья. Чтобы избежать придирок Минздрава, могу пояснить: снотворными не злоупотребляю...

— Чем вы занимаетесь, что так выдохлись? — спросила Анастасия Григорьевна, когда узнала про мою бессонницу. — Даже от сна таблетки пьете.

— Я же сказал вам: сотрудничаю в газете.

— Что же с того?

— Пишу.

— Так это разве так трудно?

— Я бы не сказал. Но и не очень легко.

— Что же вы, больше на одном месте сидите?

— Скорее, наоборот. За неделю до того, как приехать сюда, я находился почти на Северном полюсе. Прямо на льду.

— Что ж вы туда, пешком ходили?

— Кто же в наше время пешком отправляется на Север? На самолете, конечно!

Она призналась, что никогда не согласилась бы сесть в самолет. Эти вертолеты, которые летают чуть не задевая печные трубы, тоже страшные: вроде непонятных кузнечиков. Нет, родная земля куда ближе и милей!

— А почему вы без жинки приехали? — неожиданно спросила она.

Анастасия Григорьевна интересуется этим не впервой. Мне кажется, что ей очень хочется подловить меня на лжи. Но это не удастся: я говорю чистую правду.

— Видите ли, Анастасия Григорьевна, нет у меня жены. Ее и не было. Так сложилась жизнь. Те, кто нравится мне, за меня не идут, те, кому я по душе, вроде бы мне не подходят.

— Привередлив, что ли?

— Не сказал бы.

— А что же это такое? Можно сказать, не молодой, а семья побоку. Это как же? Всякий мужчина жениться обязан, в хомут полезть. И эту жизнь попробовать. А то что же это: одни маются, а другие — ягодки срывают, в свое полное удовольствие?

Пытаюсь пояснить, что никаких ягод не рву, а просто существую, как велит судьба. Тем более что

с головой ушел в любимое дело. Газета для меня — и семья, и жена, и дети.

— А что за фифа у вас?

— Где же.

— А в комнате.

— Вы имеете в виду статуэтку?

— Каменная такая...

— Видите ли, Анастасия Григорьевна, это копия со знаменитой скульптуры египтянки Нефертити.

— Ваша знакомая?

— Что вы! Она жила чуть ли не четыре тысячи лет тому назад.

Она усмехнулась. Поправила косынку.

— Вы, право, чудной, — сказала она.

На следующий день хозяйка явилась, чтобы подмести комнату. И долго не спускала глаз с гипсовой царицы.

— Она улыбается? — спросила она.

— Чуть-чуть.

— Камень-то камень, а словно живая. Губы у нее немного бесстыжие.

Я повернул Нефертити так, чтобы «в три четверти» была к нам. Египтянка таинственно улыбалась, уверенная в своей женской силе. Ее тонкая шея была словно колонна в священном храме: изящно поддерживала великолепную сокровищницу таинственных гор.

Моя хозяйка рассматривала гипсовую египтянку, как живую, словно гостью, которую неожиданно застала со мной. Может быть, завидовала ее молодости, ее уму, ее чудо-носу и чудо-губам?..

— Скуласта больно, — заключила не без тайного злорадства Анастасия Григорьевна. — Словно калмычка.

— Не сказал бы, — возразил я.

— Разве это не скула? — она тронула пальцем одну щеку, потом — другую. — Вы этот камень всюду таскаете с собой?

— Нет. Только сюда привез. На отдых.

— Чудно!

— Я просто люблю ее.

— Вам жениться надо. Вот что!

Я расхохотался. Это ее немного обидело. Анастасия Григорьевна заявила, что пришла убирать комнату и было бы не плохо, если бы я вышел во двор. На чистый воздух.

И все-таки это милая старуха. Руки ее напоминают ветки замшелого дуба. Цвет ее кожи — коричневый. Жилы вздутые, склеротические. А вот глаза — живые. Они смотрят на тебя испытующе, эдак недоверчиво чуть-чуть, — дескать, всё знаем, не таись от нас. Жизнь ее, на мой взгляд, была многотрудной. Я это говорю, почти не зная ее биографии, интуитивно, так сказать. У нее на огорожке много овощей, и она мне готовит обед. Так мы условились. Есть у нее и фрукты. А молочными продуктами меня снабжает один крестьянин по имени Леварса Ануа. У него замечательная простокваша. Моя старуха это объясняет особой закваской, которая только здесь, в Абхазии...

Я сказал, что и в Болгарии тоже замечательная простокваша.

— Где это?

— В Болгарии. — И я указал рукою за море.

— Не знаю, — сказала она. — Не бывала. Нам и здесь пока что не тесно.

Удивительно, она все переводит на какую-то субъективную точку зрения: то ей не тесновато, то и слыхом о том-то не слыхивала или ведать ничего не ведала. Словно ничегонезнайка. Подозреваю, что за всеми этими, невинными на первый взгляд, словами кроется какая-то обида на людей. А с чего бы иначе она стала разбрасывать мелкие булавочки?..

— Лев Николаич, — сказала она, — вот вы много, как погляжу, по белу свету бродили, а к нам в Скурчу на отдых пожаловали. Как это понимать?

— Только так, как полагается.

— А все-таки?

— Мои друзья очень расхваливали это место.

— И они правы: Скурча — место уютное. Первый сорт!

Я с нею охотно согласился.

— Кушайте молоко, Лев Николаич. — Хозяйка ставит на шаткий столик глиняный горшочек и косит-

ся на каменную Нефертити. В руках у нее какой-то бумажный сверточек. Она протягивает мне его.

— Что это, Анастасия Григорьевна?

— Табачок. От Леварсы. Твой жилец, говорит, оценил наше кислое молоко. Он, говорит, и в Болгарии бывал, и в Стамбуле тоже. Пусть, говорит, наш табачок попробует. Абхазский.

Я раскрываю сверточек. В нем душистый, шелковистый табак. Тонко-тонко нарезанный. Я пробую его на пальцах — слегка разминаю понюшку, с удовольствием нюхаю его.

— Должно быть, крепкий, — предполагаю я.

— А вы покурите — и сами поймете какой.

— Передайте ему мою благодарность, Анастасия Григорьевна.

— А он здесь, — говорит старуха, — у калитки.

Я беру с собой коробочку болгарской «Шипки» и выхожу к калитке. (Это буквально в двух шагах от моего порога.) Со скамеечки поднимается высокий поджарый горец в башлыке. Это настоящий Аполлон. Подпоясан тонким кавказским ремнем. Брюки бриджи заправлены в шерстяные ноговицы.

— Я хочу вас поблагодарить... — начинаю я.

— И поэтому побеспокоился?

— Какое же это беспокойство?

— Неужели за фунт табаку тоже благодарность полагается?

— Не за фунт, а за внимание.

Леварса учтиво приложил руку к сердцу.

— Это другой табак, — улыбнулся он.

— И за кислое молоко благодарю вас. После Болгарии такого и не пробовал.

— Это все чепуха: деньги — твои, молоко — мое. Ты табак покури.

(Позже мне объяснили, что в абхазском языке обращение на «ты» — явление нормальное, а «вы» — режет ухо.)

Я предложил абхазцу «Шипку»:

— А вы — вот это.

Мы с ним закуриваем. Как дегустаторы на табачной фабрике. Как настоящие ценители.

— Хороший, — говорит он.

— Берите всю коробочку.

— Спасибо, большое спасибо.

Анастасия Григорьевна слушает нашу немногословную беседу с улыбочкой. Мне кажется, что она гордится тем, что здесь, в Скурче, живет такой Леварса, который в грязь лицом перед приезжим не ударит: и молоко у него что надо, и табачок знатный.

— Вы живете в раю,— говорю я.

— А что делать? — отвечает Леварса. — Здесь родился, здесь и умру. Если бы даже был ад. Ты знаешь русскую поговорку: «Каждая лягушка свое болото хвалит»? Я тоже хвалю Скурчу.

— Нет, кроме шуток, Скурча — великолепный уголок. Я бы хотел на старости лет поселиться именно здесь...

— Когда? На старости? — сказал, смеясь, Леварса. — Сразу видно, что Скурча — так себе, если такое хорошее дело отложил до старости. Ты же еще совсем-совсем молодой.

— Ну, это не очень точно. Мне под сорок...

— А мне — семьдесят. Но стариком еще не считаю себя. Правда, Настя?

— И очень даже,— всерьез поддержала его Анастасия Григорьевна. — Видали бы вы, как Леварса пашет, как он чувалы с кукурузой тягает, как табак полет! Молодому за ним не угнаться!

Леварса ухмыляется в усы, слушая приятные для него слова.

— Вам что́! — сказал я. — Вам жить полтора ста, а мы — люди северные. Шестьдесят — и глядишь, очо-чурился.

Мы поболтали еще немного. Леварса пригласил меня к себе. «Это совсем недалеко,— объяснил он. — Раз, два и — у меня!»

— Знатный мужик,— сказала Анастасия Григорьевна, когда мы остались вдвоем. — Он в Сухуми пешком ходит. И в Очамчире тоже. Не потому, что скупой или денег нет. А просто из интересу. Это вроде бы спорт для него. И работающий какой! Словно буйвол, весь день туда-сюда. Жена тоже у него бедовая. Сухонькая такая, а без устали все. Рук не покладает. Я, говорит, как та абхазская лошадка — маленькая, но выносливая. Хорошие люди, скажу я вам. И хозяйство у него — ого какое! Каждый сантиметр, каждый вер-

шок земли на учете и под делом. Ничего не скажешь — хозяин настоящий, он землю, как дите, любит. Да что там дите! Еще больше! С ним потягаться — одно удовольствие.

Подзадоренная собственными словами, Анастасия Григорьевна помчалась на свой огород. А я решил лучше отдегустировать Леварсин табак. Оказывается, этот абхазец и папиросную бумагу приложил к табаку. Это было очень кстати, ибо я уже подумывал о газетной, что, разумеется, значительно подпортило бы вкус.

Хорошенький клуб дыма достался и Нефертити. Но она никак не реагировала: продолжала улыбаться все той же тонкой и могущественной улыбкой.

Табак был крепкий, душистый. Я не знаю, примут ли всерьез эти мои эпитеты люди, незнакомые с курением. Но любители табака меня поймут. Леварса, очевидно, решил поразить меня. И в какой-то мере достиг своего...

Около девяти утра, прихватив полотенце, я отправился на берег.

День обещал быть знойным. Море совершенно спокойно, как на картинах Марке. А может, еще спокойней. Оно одного цвета, без каких-либо оттенков. И казалось прозрачным. Банальное сравнение со стеклом — это первое, что приходило в голову. Банальное, однако же точное. Я подумал, что сказал бы мой редактор, прочитав в очерке, скажем, такую фразу: «Море напоминало расплавленное, но давно остывшее стекло». Хорошо это или очень плохо? Наверное, все-таки не очень хорошо. Но к образу редактор наш подходит несколько иначе — рационалистически, я бы сказал: «Кому охота столько стекла плавить, чтобы специально заливать наполнять? А что значит «давно остывшее стекло»? Нельзя ли уточнить в промышленном отделе, сколько времени нужно для того, чтобы остыла такая уйма стекла?» И, не дожидаясь справок, аккуратно зачеркнет всю фразу и выведет каллиграфическим почерком: «Море напоминало хрусталь». Главное — соблюсти изящный стиль. Меня рефлексивно передернуло от подобного изящества. Но я тут же подумал: а как все-таки точнее передать образ этого моря, какое прилагательное призвать на помощь?

Я улегся на песок.

Что сейчас делается в нашей редакции? Съезжаются сотрудники... А впрочем, рановато. Здешнее время опережает московское на час. Неделю тому назад я с превеликим удовольствием — так мне казалось — покидал редакцию, чтобы перенестись с помощью воздушного транспорта в незнакомое мне место. А теперь, спустя неделю, — или мне это кажется? — я скучаю по шумным редакционным коридорам и машинописному бюро. И покой, о котором я буквально мечтал, понемногу начинает приедаться.

Я лежал на спине. Надо мною простиралось бесконечное небо. Нынче меня не пугало одиночество: черт с ними, с этими Эриданом и ему подобными! Солнце греет отменно, море плещется и поет что-то сладкое, точно на тончайшей гитаре играет, — эдак в четверть голоса, пианиссимо. Я очень доволен своей крохотной планетой, на которой такая чудесная бухточка Скурча. Справа и слева от меня поблизости никого. И только метрах в ста виднеется здешний Эридан в образе какого-то мальчишки, а еще дальше — еще какое-то людское созвездие. Я полагаю, что безмятежная скурчинская жизнь окажет на меня благотворное влияние, и я снова смогу ринуться на север или юг, запад или восток. Я — рядовой журналист и в качестве такового каждую минуту жду приказа свыше...

Было часов одиннадцать, когда из-за леса выкатилась автомашина и попыталась ринуться прямо на меня. К счастью, песок подвел водителя, и он вынужден был отказаться от этой малопонятной затеи. Машина развернулась на сто восемьдесят градусов. Вскоре ко мне направилась группа в шесть человек. Вернее, не ко мне, а в мою сторону. Возглавлял ее курчавый и чернявый молодой человек, довольно плотный, пышущий здоровьем, похожий на готтентота. Он вел себя как римский завоеватель, ступивший на африканский берег.

«Готтентот» деловито оглядел бухту, чуть не наступив при этом на мою руку.

— Разгружайтесь! — крикнул он своим друзьям.

И тотчас же стал раздеваться. (Спасибо ему за то, что ботинки и одежду он бросил не в меня, а мимо.)

— Вы что — местный рыбак? — спросил он.

— Нет.

— А что здесь делаете?

— Отдыхаю.

— Это я вижу, — бесцеремонно продолжал он. — Я спрашиваю — вообще.

— И вообще тоже.

По-видимому, мои спокойные ответы несколько озадачили его. Как можно заключить из нашего короткого диалога, я вполне мог послать его к черту и, несомненно, был бы прав.

— Значит, приезжий?

— Да.

— Откуда?

— Из Москвы.

Он тут же забыл обо мне и стал отдавать распоряжения, из которых я понял, что эти молодые люди приехали сюда с легкими водолазными аппаратами и собираются обследовать дно бухты.

— Вот от того буя до этого, — говорил «готтентот», размахивая руками. — Расстояние от берега — не больше ста метров. Петя и Ваня, собирайтесь. Миша следит с берега. Варя — тоже. А Мыстаф рванет на шоссе, в ресторанчик, и привезет бутерброды.

Я решил, что Мыстаф — шофер. И не ошибся. Потому что худощавый паренек вернулся к машине и действительно «рванул», чтобы выполнить приказ своего начальника.

Ребята-водолазы быстро разделись. Началась проверка снаряжения. Как выяснилось позже, это были студенты Томского университета, решившие посвятить лето археологическим изысканиям в Абхазии.

— Так вы, значит, москвич? — обратился ко мне «готтентот», точно и не было никакого перерыва в нашем, на мой взгляд, странноватом диалоге. — А чем вы, собственно, занимаетесь?

— В данную минуту?

— Нет, в данную минуту вы принимаете солнечную ванну. — «Готтентот» говорил очень серьезно, чуточку с пристрастием.

— Я отдыхаю в Скурче.

— Догадываюсь. А в Москве?

— По профессии я журналист.

Он занялся своими делами и на время опять позабыл о моем существовании. Двое парней надели на ноги ласты, прикрепили к своим спинам баллоны с кислородом, надели маски с очками, похожими на небольшие иллюминаторы. Они погрузились в воду — и над ними поплыли буйки-указатели. А третий парень и девушка не спускали глаз с тех самых буйков. Их начальник снова вспомнил обо мне.

— Послушайте, — сказал он запросто, — как вас звать? Лично моя фамилия — Габлия. Имя Виктор. Можете звать меня по кавказскому обычаю просто Виктором.

— А я — Лев Николаевич. Только не Толстой, а Мочалов.

— Лева, значит.

Я усмехнулся:

— По-видимому, да.

— Вот что, Лева, поскольку вы журналист, вас должна заинтересовать наша экспедиция.

Я привстал, чтобы вежливо выслушать его.

— Видите ли, Лева, в этой бухте, на дне, вполне возможно, находится великий город античности Диоскурия. Может быть, слышали о нем? Это был большой красивый город. Сюда приходили триремы с разных концов древнего мира. Торговля была бойкая. Говорят, семьдесят толмачей переводили с одного языка на другой. Как видно, до черта было этих языков! И вот этот город исчез. С начала нашей эры. Где он стоял? Что с ним стряслось? Эти вопросы волнуют не только меня. Я что — человек небольшой: всего-навсего начальник Управления по охране памятников. Всего-навсего кандидат наук. Всего-навсего автор полдюжины книг.

— Не скромничайте, — сказал я ему. Мне показалось, что мы с ним знакомы давным-давно.

Он воскликнул:

— При чем тут скромность!

Его глаза хитро светились за белыми ресницами, а щеки пылали румянцем.

— Вы «Огонек» читаете? — спросил он в упор.

— Иногда.

— Тогда вы знаете мою статью. Если следите за прессой, вы должны быть знакомы с некоторыми археологическими материалами по Абхазии.

Я напрягал память, но ничего не приходило в голову. Габля тут же добыл из карманов брюк объемистый пакет с газетными вырезками. Проглядев их, я понял, что я законченный профан по части археологии. Ни одной из этих заметок не читал. Это была только моя вина. Каюсь громогласно, повсеградно, повсеместно...

— Так вы журналист, дорогой друг? — издевательски спросил он.

Я понял, что выгляжу брехуном. Но доказать обратное был не в состоянии, ибо документы находились в моем бунгало.

— Я покажу вам свое удостоверение, — пообещал я.

— Зачем?! — воскликнул Виктор. — Я верю!

— Нет, я докажу.

— Варя, — крикнул он девушке, — идите сюда и познакомьтесь с моим лучшим другом — известным московским журналистом... — Неожиданно он осекся и обратился ко мне: — Извините, забыл ваше имя.

— Лева, — напомнил я.

— Да, с Левой, — сказал Виктор громко.

Девушка подала маленькую влажную ручку. Пожал мне руку и чернявый парнишка.

— Хотите мы вас включим в нашу экспедицию? — неожиданно предложил Виктор. — Мы будем искать Диоскурию, а вы будете нашим летописцем.

— Видите ли... — начал было я.

— А впрочем, не надо. — Виктор тут же отказался от своего предложения. Это у него получилось очень просто, я бы сказал, изящно. — Я совсем упустил из виду, что вы отдыхаете... Так вот, Лева, что получается топономически: Диоскурия, Скурия, Исгур, Скурча. Вы понимаете: Диоскурия — Скурча. Вы отдаете себе отчет, что это значит?

Я кивнул.

— Мы нашли подводный город близ Сухуми. Подводные развалины близ села Килашур. Мы найдем развалины и здесь!

Мне почему-то захотелось, чтобы Диоскурия оказалась именно на этом месте.

— Лева,— продолжал Виктор,— как называется этот мыс?

— Северный.

— Что за чушь?! Кто вам сказал? Это мыс Кастора! А это что за мыс? — он указал на Южный.

— Мне сказали — Южный.

— Что за провокация! — возмутился «готтен-тот». — Я, кажется, ясно всем сказал, что это мыс Поллукса. Кастор и Поллукс — братья-близнецы, Диоскуры. Я же нашел бутылку с вином возле этих мысов! Об этом в «Апсны капш» было напечатано. Вы читаете «Апсны капш»?

Я отрицательно покачал головой.

— Ха! — сказал Виктор. — Это же абхазская газета и где ее вам читать! Ну и сказал же я чепуху!..

Он разбежался и бултыхнулся в воду. Пофыркав немного, потер себе шею и быстро вылез на берег.

— Лева, а где вы живете?

Я указал рукой на свою хибару.

— В доме, который поменьше? Или побольше?

— Нет, в хижине дяди Тома.

— Поздравляю вас, вы нашли себе жилище рядом с развалинами храма Афродиты. Смотрите, не сманила бы вас в тот лесок какая-либо красавица!

— Нет, это мне не грозит.

— На этом самом месте, где мы сидим, была городская площадь. Позади нас стоял одеон. Это значит театр. Хотите знать, где находилась базилика? — Он кивнул на старый платан, что в полсотне метров от берега. — Некрополь, дорогой товарищ, был в сотне шагов от храма Афродиты. Вот так!

Он начертил на песке план Диоскурии. Я только понял одно: причал и различные портовые сооружения находились теперь — увы! — на дне бухты.

Петя что-то крикнул нам с моря и поплыл к берегу. В одной руке он держал не то камень, не то рыбу.

— Видите!.. — вскричал Виктор. — Первый камень найден!

К великому огорчению археолога, находка оказалась каким-то крабом — без роду и племени. Одна нога у него отсутствовала — ее, по-видимому, откусил некий драчливый морской житель.

— Что это? — с грустью произнес Виктор.

Краб пялил глаза и вознамерился проковылять к храму Афродиты. Но вскоре должен был отказаться от этого, ввиду крайнего истощения сил.

— Этот краб ошалел на свежем воздухе, — определил археолог. — Вы знаете, что черепахи, попавшие под радиацию в районе Бикини, теряли ориентировку и шли в горы, вместо того чтобы ползти к морю?

— Да, слышал, — сказал я.

— Это же факт!

Краб был передан Варе, и она занялась им. А Петя снова погрузился под воду. Виктор поглядел на часы. Где же этот Мыстаф?

— Запаздывает ваш шофер, — заметил я.

— Он никогда не запаздывает, — всерьез заступился за своего подчиненного начальник. Но, минутку поразмыслив, он сказал: — Правда, он может проскочить в Очамчире. Там у него тетка. Тогда нам — хана. Будем загорать здесь до вечера. Да к тому же голодные как волки.

— А я вас накормлю, — предложил я.

Виктор поблагодарил и добавил, что может не есть двое суток. Какой же это археолог, который непривычен к тяжелым испытаниям? Я спросил его, часто ли ему приходится голодать? Как видно, позабыв только что сказанное, он удивленно спросил:

— Голодать?

— Ну да.

— Это что же — без хлеба, без воды?

— С водой, но без хлеба.

Виктор решительно замотал головой. Нет, он не помнит, чтобы приходилось голодать. Зачем же голодать, если все хорошо организовано? Каждую экспедицию приходится долго продумывать, всесторонне готовить, а потом уж трогаться с места.

— Где же, Виктор, вы испытывали выносливость на голод?

— Я?

— Ну да. Вы же только что говорили об этом.

Он провел несколько раз обеими ладонями по лицу, точно умывался холодной водой. Расхохотался. Ударил меня по плечу тяжелой розовой рукой:

— Я? Голодать? И не подумаю!

Нет, это был занятный малый.

Около пяти вечера появился Мыстаф на машине. Я уже был дома. Стоя у калитки, я видел усердно размахивавшего руками Виктора и поникшего головой шофера. Однако нотация длилась очень недолго. Искатели абхазской Атлантиды уселись в кружок и принялись за трапезу.

— Чего им надо? — поинтересовалась моя хозяйка.

— Ищут город, — пояснил я. — Затонувший давно-давно...

Анастасия Григорьевна ничуть не удивилась.

— В море, — сказала она, — все, что хочешь, найдешь. Вон за мысом, у реки Кодор, — там и стена стоит. Мой завсегда говаривал, что там есть такая стена и стена та уходит в море. И в море, когда он сети забрасывал с товарищами, камни цепляли.

— Значит, и там искать надо, Анастасия Григорьевна. Искать надо везде, где существует подозрение, — пояснил я. — Это дело такое: не обшаришь все как следует, ничего не найдешь. Вот мою египтянку в песках нашли.

— Сдалась вам эта каменная баба, — сказала старуха. — Я б на вашем месте живую поискала, а то закиснете ненароком.

Я махнул рукой.

— Небось надоели бабы? — щуря глаза, спросила старуха. — Сейчас они ведь какие? Сами вешаются на шею.

— Здесь и вешаться некому.

— И это верно. Чего-то заезду нет в нынешнем году.

— А что — бывают курортники?

— Не то чтобы курортники, а так, всякие шалтай-болтай. То на машине заедут, то к рыбакам нашим заявятся на недолгое проживание. И среди них бывают налитые соком девки. Вот за ними можно и по-

ухаживать. Бывает всякое. И ревность, и кое-что еще, что прилипает к человеку, который с жиру бесится.

— Ну зачем же так, Анастасия Григорьевна? — пожурил я ее. — Разве любовь перевелась на свете? Любовь свойственна всем. Без нее скучно было бы.

Старуха замахала руками.

— Не говорите мне про любовь. Любовь — одна фантазия, вроде бы сон. От безделья придумана. Вот живу я седьмой десяток, а спросите меня, что есть любовь?

— Ну, что есть любовь?

— Отвечу, — с превеликой готовностью ответила старуха. — Любовь есть гипноз и сон!

Я с трудом удержался, чтобы не расхохотаться. Старуха была настроена серьезно и решительно. Она далека была от шуток. Что-то накипевшее готово было вырваться наружу.

— Вы же были замужем, Анастасия Григорьевна, вы же любили своего мужа...

— Не знаю, — произнесла она сквозь стиснутые зубы. — Уважать — уважала, а вот любить — сама не знаю. Говорят, люди с ума от любви сходят. Вот в прошлом году одна приезжая с рыбаком путалась. Молокососом. Сказала, все бросит из-за этого хлопца: и мужа, и квартиру в Киеве, и даже дите... А то одна, — продолжала старуха, — тут за Леварсой увивалась. Он старик, прости господи, а она такая вертлявая, тщедушненькая. На вашей койке жила целый месяц. Ежели, говорит, посмотрит он на меня, ей-ей поддамся. Да на вас же креста нет, говорю, как же такое может в голову запасть, он же женатый, говорю, да и старик к тому же?! А она хохочет так, чистые зубки наружу, голубенькие глаза так и сверкают дьявольщиной. Бабушка, говорит, надо понятие иметь, чтобы старика завлечь. Они, говорит, лучше нынешних ребятишек. Вот чертовка, а?! Любовь — это выдумка. — Она дунула на ладонь. — Фу! — вот она любовь!

У нее в ногах Шарик терся. Старуха потрепала его за уши:

— Вот Шарик тоже любит, когда приходит пора. Только он без грязи и прочего. А люди все в грязь

затоптали. Нет, батенька, любовь — досужая выдумка. Словно облаки на небе: приплывут — уплывут. Гипноз, одним словом.

Мне стало жаль ее. А сколько таких женщин на святой Руси, изверившихся в простых человеческих чувствах, всю жизнь делавших только тяжелую работу? Не слишком ли много взвалили мы забот на хрупкие женские плечи? В одном своем очерке я написал о том, как мужчина поцеловал ногу возлюбленной. И я получил кучу писем. Одно — помню очень хорошо — было из Саратова. «Мы читали вашу статью, — писала мне незнакомая женщина. — Читали, можно сказать, всем двором — одни бабы. И мы хотим задать вопрос: придумали вы или бывает так на свете, когда мужчина через любовь способен женщине ноги поцеловать? Лично мы все считаем, что это ваше литературное вдохновение. Это все очень красиво, но в жизни так не бывает...»

— Вы уж меня извините, — сказала Анастасия Григорьевна, — болтаю тут всякое. Чего доброго, вы еще подумаете, что сумасбродная я...

И заторопилась. К себе, на огородик.

Привиделся мне этой ночью сон. Я бы его определил как археолого-эротический.

Я оказался в Диоскурии. Шел по городским улицам, замощенным торцовой мостовой, и диву давался: где же руины, о которых толковал Виктор Габля? Город был нарядный: новые дома со слюдяными окнами, витражи из финикийского цветного стекла, мраморные колонны и пилястры, барельефы ваятелей Милета и Сиракуз, массивные двери из лучших пород колхских деревьев. Квадриги так и шныряли по улицам туда-сюда. Горячие кони били копытами мостовую так, что казалось, долбили ее, словно каменотесы в каменоломне. Великолепна была бухта. Высокие колонны-ростры высились на мысе Кастора и мысе Поллукса. Многочисленные триремы стояли на якорях. Матросы, говорившие на многих языках и наречиях, шумной толпой бродили по каменному молу. Веселые женщины из прибрежных притонов сопровождали их.

Грубая брань, заразительный смех разносились на всю окрестность. Зачарованный, я медленно брел по улицам. Мне хотелось повидать Габлиа и сообщить ему, что необходимо прекратить всяческие поиски Диоскурии, ибо город этот никогда не исчезал: он живет и здравствует!

Как и следовало ожидать, самое удивительное зрелище предстало передо мной в храме Афродиты. Очаровательные девственницы брызгали благовоения на полированные плиты храма. Представьте себе, девы были нагими! Я отдаю себе отчет в совершенно недопустимом содержании этого сна, но тем не менее это было так, и я не намерен приукрашивать его в угоду кому бы то ни было (имею в виду ханжей).

Самое отвратительное ожидало меня впереди. Две из этих легкомысленных — по утверждению жреца — девственниц нахально осмотрели меня и, пользуясь тем, что в храме не было посторонних, подталкивая сзади, повели к алтарю, а может быть, к жертвеннику. Они нагло заглядывали мне в глаза. Меня почему-то угнетала мысль о том, что все это может дойти до слуха редакционного месткома и я буду посрамлен навеки. Видимо, я невольно высказал вслух мои опасения, ибо одна из этих девиц сказала:

— Однако, молодой человек, перестраховщик вы изрядный.

Я искренне удивился:

— Позвольте, разве не нахожусь я в Диоскурии?

— Вы угадали.

— В храме Афродиты?

— Разумеется.

— Откуда же это слово — перестраховщик?

— Вы, очевидно, только себя считаете способным на всяческое словотворчество.

— Отнюдь, — сказал я, — хотя в редакции меня величают блестящим стилистом.

Девственница плутовато ухмыльнулась.

— Значит, вы пишете в стиле девятнадцатого века, — сказала она.

Я прикинул в уме эту цифру: как же это так — девятнадцатый век? Это же, скорее, время Тутанхамона, а не Тургенева.

— Для стилиста-архаика это не имеет значения, — продолжала девственница. — Что такое десяток веков? Важен принцип.

Мы обменялись этими короткими фразами, пока двигались к алтарю, изображая русскую тройку с одной коренной и двумя пристяжными. Не скрою: их общество было приятно. Они были очень веселы, милы и даже красивы. Правда, их нагой вид не мог не шокировать...

Главная жрица приветствовала меня у алтаря поднятием изогнутой в локте руки. И тут же сделала выговор своим младшим подругам, косясь на мои брюки. Девушки мигом сообразили, в чем дело, и не успел я опомниться, как я оказался в одних плавках. По-видимому, и плавки смущали жрицу, но я ухватился за свои чресла с такой силой, что скорее умер бы, нежели позволил оголить себя.

— Прошу учесть, — взмолился я, — что в моем лице вы видите одного из ревностных сотрудников нашей редакции. Я очень дорожу мнением коллектива. Вообразите себе, что бы сказал коллектив, если бы только узнал, в каком виде его сотрудник вращался среди вас? Ведь вы — вроде бы заграница.

— Пустое говорите, — надув щечки, произнесла главная жрица. — Коллектив ваш умнее, чем вы думаете. Вы же не мальчик!

— Все равно, — умолял я слезно, — не надо стаскивать с меня эти несчастные плавки. Ведь они — последнее прибежище, вернее, последний щит для сохранения чистоты моего поведения в вашем изумительном храме. Я согласен на все, лишь бы плавки оставались на своем месте!

Главная жрица готова была внять моей просьбе, но эти две чертовки, тащившие меня к алтарю, вцепились в плавки. Еще мгновение — и разорвали бы их...

Тут, к счастью, я открыл глаза. Что-то журчало возле моего уха. Это был чудесный Шарик. Несомненно, это он уберег меня от разврата, и я простил ему этот естественный акт, так раздражавший меня.

Я с детства сохранил суеверное уважение ко снам. Но никогда не пытался раскрывать их тайное значение — времени не хватало. А нынче призадумался:

что бы все это могло означать? Почему клетки моего мозга перенесли меня в далекую Диоскурию, вытолкнув на сцену весь тот сумбур, который приснился мне?

Сквозь щели пробивался слабый предрассветный луч. В моей камерке царил полумрак. Я глянул на часы: было четыре пятнадцать... Духота стояла необычная. Возможно, ей я обязан этим идиотским сном. Я встал и, прихватив с собою папиросу и коробок спичек, вышел к калитке.

Тишина вокруг потрясающая. Предрассветный миг. Море уснуло вместе со всем миром. Ни единый листочек не шелохнется на деревьях. Птицы спят. Лягушки не квакают. Представьте себе: не квакают! Это прямо-таки удивительно. У моря даже тише, чем в моей хижине.

Я искупался, точнее, нырнул разок и вернулся к своей скамейке, чтобы посидеть на ней и покурить, ни о чем не думая. Это очень удобная скамейка — низенькая, широкая, на ней лучше отдыхается. Посидел, оглянулся вокруг и только теперь заметил машину на берегу. Возле нее возились мужчина и женщина. Вчера их не было, они, должно быть, приехали совсем недавно — может быть, на рассвете. Выбрали они недурное местечко: как раз под тем самым платаном, под которым закусывали Виктор Габля и его друзья-водолазы.

Было хорошо видно, как они разгружали свой скарб, что-то устанавливали возле машины, оттаскивали к кустам ежевики большой мешок, по-видимому, со спальными принадлежностями.

Она была в трусах и бюстгалтере, он — в брюках, до пояса голый. Женщина открыла дверцу машины, а затем сильно хлопнула ею. Эта ее неаккуратность в обращении с машиной вызвала, как видно, замечание мужчины: он подошел к машине, открыл дверцу и осторожно закрыл. Женщина махнула рукой. Эдак небрежно...

Нашего полку прибыло, подумал я безо всякой особенной радости. Не хватает того, чтобы они оказались москвичами, да еще из журналистского мира. Это

было бы слишком! Неужели же от нашего брата нельзя избавиться даже здесь, в Скурче?

Вдруг мужчина направился прямо ко мне. Я решил, что ему нужна моя помощь, а может быть, у него испортилась машина и требуются рабочие руки. Однако я ошибся.

— Доброе утро,— сказал он негромко, точно боясь разбудить кого-то.

Ему лет тридцать, такой чернявый, атлетического сложения, косая сажень в плечах. Он щурил глаза за толстыми стеклами очков, словно это были не его, а чужие очки.

— Здравия желаю...

Он извинялся за столь ранний визит. Но что поделаешь, если я единственная живая бодрствующая душа в Скурче.

— Мы куда-то подевали спички,— сказал он мягким голосом.— Правда, целую дюжину коробков умудрились замочить в реке. Это недалеко отсюда.

— Сделайте одолжение,— сказал я.— Вот вам коробок. И пожалуйста, без возврата. Этого добра хватает. Вы что — проездом, случайно?

Он объяснил, что намеренно заехал в Скурчу. В прошлом году здесь отдыхал один знакомый киевлянин и очень советовал заглянуть в Скурчу, если доведется быть в Абхазии...

— Мы с женой путешествуем,— сказал он.— Проехали из Киева на Ростов, по Военно-Грузинской дороге — на Тбилиси, а теперь решили найти приют где-нибудь на побережье.

— Так вы киевлянин?

— Я родился там. Будем знакомы: Глущенко...

Он назвал свое имя и отчество, но я не разобрал. Глущенко, видимо, догадался, что и я на отдыхе, что вовсе не местный рыбак: кто же будет курить на завалянке чем свет? — только приезжий чудак... Я сказал, что не спится что-то...

— У меня имеется пипольфен,— сказал он.— Это очень хорошее снотворное.

Я поблагодарил его, и он отправился назад, к своей машине.

— Приходите к нам,— крикнул он, обернувшись ко мне.

Я вернулся на свое ложе. Оно так заскрипело, что казалось, на него железнодорожная платформа въехала. Визг стоял прямо-таки кошачий. Может быть, это из-за сильной засухи?

Что делает человек в пятом часу утра, когда ему не спится? Трудно говорить за всех. Что касается меня, журналиста, твердо решившего отдохнуть на берегу Черного моря, то я пытался ни о чем не думать. Хочешь уснуть — не надо думать. Буквально ни о чем. Даже об этих автотуристах, забредших сюда на своей «Волге». И о Леварсе не стоит думать. Он приглашал к себе. Ленъ ходить в гости — а любопытство все же разбирает. Хочется поговорить с ним. Сколько людей — столько судеб, сколько людей — столько биографий. Мне все хуже и хуже удаются жизнеописания, вернее, очерки о так называемых положительных героях. Я говорю «так называемых», вовсе не желая умалить жанр газетного очерка, рассказывающего о хорошем человеке. Просто хочется подчеркнуть, до чего все это непросто! Очень трудно написать свежо, написать так, чтобы люди читали очерк с удовольствием, а не воротили от него носа после первых же строк. Чем больше встреч с самыми разными людьми, тем легче пишется. А что, если...

Любопытно, что думали о положительном герое в Диоскурии? Там тоже, наверное, были свои герои труда: шкипера судов, грузчики, лоцманы... А как реагировали в то время, когда предъявлял коносамент какой-нибудь заморский купец?..

Кастор и Поллукс...

Где я слышал эти строки: «А в небе светят Тиндариды и их двуокая звезда»?..

В храме Афродиты... Да, да...

Проснулся я очень поздно. Ныла грудь. Голова отяжелела, точно выпил вчера. Было одно средство прийти в себя и почувствовать настоящим человеком: побежать к морю и бултыхнуться. Только так...

И вот через минуту надо мною была толща воды, по крайней мере, в два метра. Камни, поблескивавшие на песчаном дне, уходили назад. Вода становилась все более темной и тяжелой. А когда я выплыл на поверхность, был уже вполне здоров. Безо всякого пирамидо-

на и аспирин прошла голова. Недаром же я люблю южное море, целительное и прекрасное. Чего не смогу сказать о Белом море или Балтийском: тамошний холодок даже летом продирает до костей. Одна знакомая говорила мне, что наступит день, когда я полюблю Балтику, ибо гипертония не минует и меня. А я все-таки остаюсь при своем: не может быть, чтобы старикам вредило южное море, словно аптека, наполненное до краев целебными солями и растворами и излучающее, как говорят, сверхполезные ионы (разумеется, отрицательные).

Дома меня ждал стакан кислого молока, который тоже действовал в одном и том же направлении вместе с отрицательными ионами.

Я спросил Анастасию Григорьевну, которая возилась на огороде:

— Много ли отрицательных ионов в Скурче?

Она ответила, не запинаясь:

— Ой, много! Сказывают, такого добра не сразу отыщешь. А здесь они роем роятся.

— А что это за ионы, Анастасия Григорьевна?

— Чего не знаю — того не знаю. Говорят, для здоровья лучше всякого масла или сала.

— Так ли?

— Чего не знаю — того не знаю.

— А что бы вы пожелали себе: ионов или сала?

— Сала! Что правда — то правда. Потому что в сале наверняка ионов побольше будет, чем в воде.

— Вы наших новых соседей видели, Анастасия Григорьевна?

— Это которые у машины портки вывесили?

— Какие портки?

— Обыкновенные. Мужские.

— Их там двое. Муж и жена. Он утром за спичками приходил.

— Ну, значит, они надолго. Надо предупредить Леварсу, чтобы поосторожней был с молоком.

Я не понял, какая связь между молоком Леварсы и появлением двух автотуристов.

— А как же? — сказала старуха. — Им тоже хочется кушать. Вот и пойдут они к Леварсе.

— Зачем же непременно к Леварсе?

— Больше и не к кому. У нас, батенька, на всю

бухту одна коровенка осталась. А раньше их сколько было! Сколько семей — столько и коров. Масла, молока, сметаны девать было некуда. На шоссе возили — проезжим продавали. Вы бы сходили к Леварсе — приглашает вас. Хочется ему с вами чачи выпить.

— Что ж, пожалуй, и схожу. Сегодня же.

День выдался ядреный: в полную силу жара, спокойное море, горячий, как сковорода, песок. В самом деле, почему бы в гости не сходить? Поближе к вечеру. Это где же живет Леварса? Старуха толком объяснила: не доходя Южного мыса, вернее, мыса Поллукса, у самого моря. Заблудиться невозможно. Решительно невозможно.

Что делать курортнику в жаркий день? На берегу валяться. В песке. Эту участь себе заранее уготовил. Поэтому без дальних слов отправился на берег. Пусть пигментируется кожа, аккумуляруется энергия. Стыдно без загара на севере появляться.

Шагаю к морю, как на работу. Вот уже восьмой день. Без прогулов и опозданий.

— Хорошо, хорошо, — говорит моя старуха, — вы вроде негра теперь. Завидки будут брать ваших друзей.

— Сердца не попорчу на солнце, Анастасия Григорьевна?

— А вы, значит, легурируйте. Сюда и назад, сюда и назад. Чем же вам еще заниматься? Мозги проветривать да сил набираться. Вот вам нынче щей зеленых наготовлю. Попробуйте наших кубанских щей.

— Так я же потом изойду, — говорю в шутку.

— И это неплохо. Русский человек от пара не гнется. А кубанские щи попробовать надо.

Надо — так надо!

Анастасия Григорьевна — я это уже заметил — нет-нет да и вспомнит про кубанское житье-бытье. А недавно целый час рассказывала про себя, то с ненавистью, то с сожалением. Мне порой казалось, что она за что-то себя ненавидела, за что-то ранила себя безо всякого сожаления. Возможно, что это только казалось. А вот боль в ее словах сквозила совершенно явственно. Боль за прошедшее, невозвратимое, боль ни за что ни про что оскорбленного человека. Трудно, разумеется, все принимать на веру, не зная,

что́ было и как. Но не верить ничему — я имею в виду трагическое в ее жизни — трудно и просто невозможно. Человек есть человек: даже самый завзятый лгун не может не быть в чем-то правдивым. А ей, Анастасии Григорьевне, зачем неправдой голову мне морочить? Какая от этого польза? Человек она по-крестьянски расчетливый и напраслину на себя возводить не будет. И какой ей смысл накладывать на себя мученический венец? И просто так плакаться тоже не станет — не тот характер. Как-никак кубанская казачка, и сердце у нее довольно очерствело и к своему и к чужому горю.

— Хозяйство у нас, правду сказать, — рассказывала Анастасия Григорьевна, — было большое. У отца моего все сыновья — дюжие и работающие. Подремлют ночью немножечко — и снова за работу. Эта дремота у них заместо сна. И у мужниной родни, значит, тоже, как муравьи, с утра до вечера в земле копошатся. Ну, значит, в гражданку все хозяйство наше потрепали — то белые, то зеленые. В тридцать седьмом мужа моего, значит, в тюрьму, и там, говорят, от сердца умер.

— От разрыва, что ли?

— А кто его знает?

— Где же он сидел?

— Ведать не ведаю. Забрали, и все.

— Так и не виделись?

— А кто покажет?

— В чем же его обвиняли?

— Тоже не знаю.

— А умер когда?

— Числа, что ли, какого?

— Ну, года, ну, месяца...

— Чего не знаю, того не знаю.

— И вы не пытались узнать что-либо поподробнее?

— А где? У кого?

— Там, где жили.

— А что узнаешь-то? Грозились и меня туда же упечь, если не уберусь куда глаза глядят.

— Куда же вы должны были убраться?

— Куда хошь.

— Может, жив ваш муж?

— Может быть.

— Наверное ли умер? Может, ошибка вышла с извещением?

— С каким извещением?

— А кто же сообщил о смерти?

— Вот еще какие нежности! Сообщили? Да просто писарчук из сельсовета сказал.

— М-да.

— Вот, значит, какие дела? С той поры — котомку за плечи и пошла батрачить. Табак собирала в Абхазии, землю копала. Потом брата нашла. Здесь он и жил. Здесь и помер.

— А ваш дом? Ваша станица?

— Бросила все. Да разве же я одна?! Гвоздь в дверь — и жми, куда донесут ноги!

Анастасия Григорьевна рассказывала бесстрастным, изнуренным голосом, точно все это ее и не касалось даже ни одним бочком.

2

— Как вам нравится мой дворец? — смеясь говорил Леварса Ануа, когда я ступил на его двор. — Правда, дворец?

Это был деревянный дом, почерневший от времени. Может, из каштана, а может, из дуба сколоченный. Он стоял на высоких сваях, или, как называют их строители, стульях, посреди небольшого двора-прямоугольника — я бы сказал, посредине сплошной бахчи или сплошного сада. А вместо штакетника по периметру двора — ежевика, ошетилившаяся острыми шипами. Под полом свободно мог стоять человек, можно было поставить и лошадь и корову. На верхний этаж вела каменная лестница. Кровля — железная, выкрашенная в красный цвет.

На лестнице меня приветствовала жена Леварсы. Звали ее Нұца. Отчества своего не называли ни он, ни она, мотивируя тем, что в Абхазии-де не принято называть два имени сразу. Ей, вероятно, было лет пятьдесят. Одета в черное траурное платье (как выяснилось, у нее в прошлом году умерла тетя в соседнем селе). Была она удивительно бела лицом и скуласта, точно монголка. Глаза ее все время улыбочиво

светились. Эта небольшая сухонькая женщина в проворности могла потягаться с любой девушкой.

— Пажалста, пажалста,— приглашала она,— русски мало понимай. Извиняй.

— Нуца,— сказал я,— ваш муж говорит чисто, а вы?..

— Ай, ай, ай,— по-девичьи краснея, вскрикнула Нуца,— мой многа была город, а я не был город.

Леварса церемонно ввел меня в свой дом, усадил за стол. Его супруга на скорую руку накрыла на стол. Традиционная чача была водружена посреди тарелок. Сыр и чурек да свежие овощи — недурная, должен заметить, закуска.

— Ых, дорогой мой человек! — Леварса порывисто обнял меня и расцеловал.— Конечно, бросает, если он мужчина! Посмотрите на пять верст вокруг меня. Только на море не надо, а вот туда, на лес, и за лес. Это есть колхоз «Алашара», что значит «Свет». Я — член колхоза. Клянусь вот этим чуреком, я не знаю, что значит настоящий доход! Работаю, как буйвол — денег нет, не работаю — все равно денег нет. Что лучше? Конечно, не работать лучше, если все равно денег нет, кукурузы нет, табака нет. Если бы не моя хозяйка, ее огород и ее корова — бедный Леварса давно бы чувства лишился и лежал здесь, как мертвый. Разве это дело?

Он вскочил с места и подошел к распахнутому окну. Подозвал меня и спросил — хорошо ли вижу я окрестность? Я сказал — вижу хорошо.

— Пусть я не сойду с этого места, если во всем поселке остался хоть один молодой колхозник. Если кто пока дома, то, значит, калека. Если не калека — скоро уйдет в город. Потому, что он не любит землю, потому, что земля для него — ноль, как песок на берегу, никто ее не ценит. Рабочий любит свой станок?

— Любит,— подтвердил я.

— А шофер свою машину?

— Любит.

— А крестьянин в Скурче землю не любит. Может быть, я это говорю, потому что выпил. Тогда ты так и скажи: товарищ Ануа Леварса выпил и потому говорил чепуху. Но если я не пьяный — вы должны послушать товарища Ануа, я еще раз говорю: если бы

не моя корова, если бы не эта ладонь земли, я бы окочурился. Разве это не правда? Я — человек старый; ты — человек молодой. Я знаю много, а у тебя силы много. Вы все должны советоваться со мной, я должен любоваться вами, вашей работой, воодушевляться. Я правду говорю?.. Если ты плюешь на мои слова, если ты не хочешь меня спрашивать ни о чем, тогда дело твое. Тогда не спрашивай меня, почему нет хлеба, почему нет моркови, почему нет молока. Тогда все ты сам доставай.

Я сказал, что он правильно рассуждает, только, на мой взгляд, в открытую ломится дверь; никто не отрицает опыта старших, никто не пренебрегает советом знающих крестьян.

Леварса хватил кулаком по столу.

Сказать откровенно, встряска была основательной — мы выпили по десятку рюмок абхазского самогона. Слава богу, рюмки были старинные — не более полсотни граммов емкостью. А иначе бы ног оттуда не унести.

Это были настоящие люди земли, кондовые крестьяне, ушедшие корнями, словно дуб, глубоко-глубоко в почву. Выковырять их отсюда было бы, по моему разумению, совершенно невозможно. Казалось, у них и у бахчи — одна кровеносная система: оторвешь от земли — умрут от истечения крови и эти люди и зелень.

— Она прямо сумасшедшая, — добродушно говорил Леварса. — Хозяйка моя без бахчи жить не может. А я что? Я везде проживу. Даже в городе.

Нуца тут же его разоблачила:

— Ай, ай, неправда говорил. Он земля, как свой мальчик, любит.

Леварса улыбался в усы. Положа руку на сердце в прямом смысле этого слова, он подтверждал:

— Правда, моя земля как солнце в глазах, как душа вот здесь. — И он хлопал себя ладонью по груди.

— Я вовсе не удивляюсь вашим словам, — заметил я. — Не надо быть агрономом, чтобы определить, что огород у вас образцовый. Мал, да богат. Вот если бы все любили землю, как вы!

Он чокнулся со мной, опрокинул рюмку:

— Вот здесь, на этом месте, я не согласен с вами. Вы, конечно, работаете в столице, все видите

и понимаете. Мы здесь — люди маленькие и темные. И все-таки, я извиняюсь, у нас есть мнение. Если можно, я выскажу его вам, как младшему брату, — я же старше вас. А скажу вот что: нет в Скурче человека, который землю не любит. Правда, есть лентяи. Но их мы считать не будем, мы все очень разучились любить землю.

— Как так? — удивился я.

— Я извиняюсь: очень просто. Если человек пять, десять лет ничего от земли не получает — у него любовь пропадает. Извиняюсь за грубость: если мужчина десять лет ухаживает за дамой и ничего у него не выходит, что он делает? — Он уставился на меня вопросительно. — Ну, что он делает?

— Бросает ее! — отрезал я решительно.

— Вот тут я извиняюсь! — воскликнул он запальчиво. — Если все так, как ты говоришь, то почему молодые в Скурче от земли бегут? Это очень большой вопрос. Наш председатель колхоза то паспорта у нас отбирает, то справок не дает, а молодежь все-таки бежит, как волки в лес смотрят. Я скажу тебе так: если молодые не любят землю, как мы, то дело не получится. А почему так? Почему совсем рядом — в Адзюбже, Киндге, Ата́ре — хорошо, а в Скурче плохо? Потому, дорогой, что у нас такой председатель колхоза.

Мы выпили с ним еще по одной, и он повел меня хозяйство свое показывать. А жене наказал вина принести и сыру поджарить к вину. Я протестовал, но ничего не вышло. Нуца занялась своим делом.

Леварса стоял посреди грядок, похожих на любовно приготовленные пироги: нет ни одного квадратного сантиметра, которого не коснулись бы человечески пальцы.

— Ты не знаешь, почему мои дети землю не любят?

Я молчал.

— Почему не отвечаешь? — спросил он насмешливо.

— Не чувствую себя компетентным.

— Кем?

— Компетентным. Специалистом, что ли.

Леварса усмехнулся. Посмотрел на меня долгим, умным взглядом.

— Скажи, дорогой,— проговорил он,— почему писать в газете все специалисты, а когда я, простой крестьянин, задаю очень простой вопрос, вы молчите?

— Я не молчу,— не очень решительно оправдывался я,— не знаю местных условий...

— Хорошо,— Леварса взял меня за плечи и внушительно проговорил: — Я скажу. Я, который ничего не пишет, нигде не бывает и ничего не видит. Слушай: потому что работать никто с нашим председателем не хочет.

— То есть как это — работать не хочет?

— Я сказал что-нибудь неясно?

— Не совсем ясно.

Он увел меня на балкон. За оградой его двора лежали пустыри.

— Что это? — спросил он.

— Насколько я понимаю, пустырь.

— Пустырь — это значит пусто?

— Примерно.

— А здесь был сад и поле. Кукуруза росла выше моей головы, а яблоки сами падали на землю — так было много.

— Куда это все девалось?

— Это надо спросить у нашего председателя Сымсыма.

— Так снимите его!

— А кто его снимет? У него в Очамчире зять работает. В райисполкоме.

— Напишите в газету.

— Написали! Не помогает! Может, ты напишешь? У тебя есть перо, есть голова! Твое слово — как слово пророка!

Я искренне хохотал. Попросил его не смешить меня. Какой я, к черту, пророк?! Просто журналист, каких и в Сухуми немало.

Он подбоченился, отошел от меня на шаг и, напустив на себя наивность, сказал:

— Неужели и ты говоришь то, что тебе твой редактор говорит?

— Почти.

— Ай-ай-ай! Как нехорошо! Я делаю то, что говорит мой председатель Сымсым. Ты пишешь то, что хочет твой редактор. Значит, государство потеряло две

головы: твою и мою. Потому, что мы перестаем думать. Ну, моя голова много не стоит, а твоя — не меньше миллиона!

Я замахал руками.

— Ну пятьдесят тысяч новыми деньгами. Зачем терять такую голову? Напиши в своей газете так: давайте экономию наводить — пускай думает каждая голова. Вот тогда некуда будет девать вино, кукурузу, сыр.

— Стоит над вашими словами задуматься.

— Над моими? Кто я? — уничтожительно сказал он. — Фу, пыль, мушка! Давай лучше вино попробуем. Может, и я когда-нибудь в Москву приеду — непременно к тебе зайду.

— Буду только рад... — сказал я искренне.

Он сидел визави загорелый, поджарый, с юношеским задором в глазах. Своими огромными ручищами напоминал орла. Леварса поднял чайный стакан вина, точно наперсток, и произнес небольшой, приличествующий данному моменту тост.

Вино было сплошным нектаром. Никогда не пил ничего подобного. Нуца стояла в стороне и улыбалась во весь рот своими снежно-белыми зубами.

Я возвращался домой при луне. Она висела над Скурчей такая огромная и неестественно светлая, что казалось, ее кто-то смастерил специально для этих мест. Все лунные моря — напоказ. Все лунные цирки — точно на блюде: гляди, любуйся!

По левую руку от меня — таинственная масса моря. Словно живое оно: мечтательное, задумчивое, полное мыслей. Море словно бы беседовало со мной, понимая любой немой вопрос, обращенный к нему. А по правую руку — лес. Я еще не был в нем и плохо понимал его. Он тоже казался таинственным. Там светились огоньки, и я не понимал, кто зажег их. Они были такими же далекими, как и звезды, и такими же непонятными, как звезды.

Голова кружилась. Будто жернова работали в ней — приятно, неназойливо. Это от выпитого вина. Но пьяным себя не чувствовал. Было этакое очень легкое ощущение от собственного существования. Не

знаю, понятно ли я выражаюсь? Не было тяжести, того многопудья, которое делает тебя чугунным от выпитого. Все было в норме, и это ни с чем не сравнишь. Норма — великая вещь!

Я уносил с собой подаренную Леварсой бутылку чачи. Она немножко мешала мне, но ведь не бросать же ее! Шел я по улице Зевса Громовержца. Правда, подо мной не звенели гранитные торцы, и квадриги не пугали меня. Проселочная дорога вилась вдоль морского берега на границе зеленой травы и серого песка. В сильный шторм море, несомненно, доходит сюда и слизывает сухие травинки и опавшие листья.

Впереди маячил платан. Под ним чернел силуэт автомашины. Где же сами автотуристы?купаются или лежат на разложенной возле машины постели?

Они, оказывается, ужинали, сидя на коврике с той, невидимой стороны машины. Дорога проходила шагах в десяти от них. Я сказал громко:

— Если не ошибаюсь, Глущенко еще не спят?

— Вы угадали,— отозвался женский голос.— Кто там?

— Ваш муж, как бы это сказать,— дома?

— Валя, к тебе пришли.

Теперь я вспомнил его имя и отчество: Валентин Павлович.

— А,— сказал Глущенко,— пожалуйста! Вы в самое время успели. Присаживайтесь к нашему немудреному столу.

Он по-прежнему был неотразим своей фигурой и атлетическими плечами. Она оказалась весьма миловидной. Таково было самое первое впечатление при лунном свете.

— Валентин Павлович,— сказал я,— мы с вами познакомились нынче утром.

— Ну конечно же!

— Если не возражаете, есть тут у меня бутылочка местной водки. Чача называется. Иду, можно сказать, от гостей да в гости.

— Прошу вас... Простите, не знаю вашего имени...

— Лев Николаевич...

Его жена хихикнула. Я знаю почему: ее смутили мое имя и отчество. Особенно потому, что я без бороды, хотя и ношу имя Толстого...

— Прошу вас, Лев Николаевич, присаживайтесь вот здесь. Зовите меня просто Валя, а ее — Лида. Так естественней... Давайте вашу бутылку. Ею распоряжусь я, а Лидочка угостит кофе. Хотите кофе по-турецки?

— Вот его-то мне сейчас и недостает. Все было сегодня, а вот кофе не было!

Много ли надо, чтобы далеко от дома перезнакомиться людям, желающим чувствовать себя независимо и непринужденно? Думаю, что для этого вполне достанет пяти минут. На шестой минуте уже кажется, что болтаешь со старыми друзьями. (Ну, разумеется, речь идет о людях общительных, а не бирюках-одиночках.)

Мы разговорились, что называется, по душам.

Лидочка — Лидия Игнатьевна, — которую уже успел рассмотреть более подробно, внесла существенные коррективы в мои первые впечатления: она настоящая красавица, с цыганским блеском глаз и резкими, порывистыми движениями. Должно быть, у нее раздражена щитовидка. Мой знакомый врач говорил, что это для женщины не очень плохо, если только не слишком беспокоит. Легкая раздражительность щитовидки подсвечивает зрачки внутренним огоньком, к которому, дескать, весьма чувствительны мужчины.

Ее матовое лицо с крепко посаженным, задиристым носиком и большими глазами все время как бы обращалось к тебе. Если даже при этом она разговаривала с мужем. Бывают иконы, которые не спускают с тебя своих глаз, где бы ты ни находился. Так постарался богомаз. И в данном случае я имел дело с неведомым богомазом, сотворившим прелестную Лидочку.

Была она не высока, но под стать своему мужу: тоже стройная, тоже атлетического сложения — я бы подумал, что она неоднократная чемпионка в соревнованиях по художественной гимнастике. И в то же время было в ней что-то архиженское, что-то от «Неизвестной» Крамского и что-то едва уловимое от шансонеток Тулуз-Лотрека. Я имею в виду не прямое сходство, а нечто отдаленное, намекающее, напоминающее и так далее. Одним словом, меня, надеюсь, поймут: ибо просто так, грубо сплавить «Неизвестную» с шан-

сонетками нелепо и нелегко. Но что-то объединить в их характере, их облике, как это сделал богомаз, создавший Лидочку, вполне возможно...

— Здесь очаровательно,— говорила Лидочка.— Мне очень нравится. Именно вот так по-цыгански, на берегу моря. А вы, наверное, со всеми удобствами?

— О да! — ответил я с подчеркнутой горделивостью.

— Мы с нею все время спорим,— сказал муж.— Она за полную дикость, а я — за примесь цивилизации. Скажем, так: дикий берег и хорошенький коттедж с ванной, душевой и гаражом.

— Нет, нет,— неистово возражала Лидочка,— надо по-первобытному. Хотя бы раз в году!

Супруги и не подозревали, на каком знаменитом месте живут. И я выложил в наиболее красочной форме (кое-что прибавляя от себя) все, что знал о Диоскурии. Она слушала восхищенно, он — посапывая, как медведь. Нос у него, по-моему, был поврежден, как у боксеров. Я, оказывается, не ошибся в своем предположении: он некогда действительно занимался боксом. Сейчас все это ушло в область преданий. Валя по специальности физик-теоретик, а она занимается физической химией.

— Вы вполне могли бы изобрести атомную бомбу,— пошутил я,— если бы ее не изобрели лет двадцать назад. Вы соединяете в себе Паули, Эйнштейна и Ферми.

— Лидочка,— удивленно сказал Валя,— неужели мы имеем дело с коллегой?

— По-моему, с дилетантом,— без стеснения сказала она.— Сейчас все говорят об атомах. Это модно. Как ты этого, Валя, не понимаешь?

— Вы правы, Лидочка, я и есть дилетант. Но не забудьте, что дилетанты сделали гигантские открытия, например, в египтологии и еще кое-каких науках.

— Это верно,— сказал Валя.— В какой же области вы работаете?

— Журналистики.

— Они все знают,— весело заметила Лидочка.— С ними ухо надо держать востро.

— Почему же, Лидочка?

— Я не люблю борзописцев...

— Послушай...— укоризненно остановил ее муж.

— И не послушаю! Я говорю то, что думаю. Я человек прямой. И не терплю китайских церемоний!

— Слышите? — обратился он ко мне виновато.— Для нее все нипочем. Не знаете ли вы, откуда берутся такие храбрые женщины?..

Она прервала его:

— Лучше скажите, откуда берутся трусоватые мужчины? У нас уже и женщины летают в космос. Дали бы возможность — полетели бы первыми!

Валя схватился за голову. Он сказал, что теперь уж пропал окончательно, что житья ему уже не будет, раз женщина в космосе побывала.

— Бедный мученик! — сказала она жестко, без тени иронии.

Пикировка между супругами была, скорее всего, показной, так сказать, милой семейной шуткой. Однако я кое-что распознал в ворохе едва уловимых интонаций: она явно выдавала себя — не могла, просто не умела скрывать острых шипов. Ибо таков был ее характер... А впрочем, все это, может быть, мне просто показалось. Во всяком случае, это были милые люди...

— Давайте купаться,— неожиданно предложила Лидочка.

— М-м-м,— промычал Валя.

— Не мычи! А лучше соглашайся. Вот тебе плавки, вот полотенце. А вам — что?

Этот вопрос относился ко мне. Поскольку вопрос о купании принципиально она решила сама и за меня, я сказал, что все необходимое при мне, за исключением полотенца.

— Вот это мужчина! — воскликнула она с явно провокационной целью.

Но муж не обратил внимания на это.

— Обожаю воду,— успела крикнуть Лидочка, скрываясь в чернильном Понте Евксинском, как называли его диоскуры.

Мы с Валею стояли по щиколотку в воде. Море фосфоресцировало, поспешая за Лидочкой. Вскоре исчезли и всплески и голубые огоньки.

Делать нечего: надо раздеваться. А Лидочку не было ни видно, ни слышно. Муж не высказывал по этому поводу ни малейшего беспокойства. Он, должно быть, отлично изучил ее повадки.

Супруги еще купались, когда я покинул их, пожелав приятного купания и спокойной ночи. Да, запомнил было, пригласил их в свое бунгало. «Обожаю бунгало!» — воскликнула Лидочка.

Не знаю, в котором часу уснул. Прилег не раздеваясь, чтоб поразмышлять, и — уснул. Проснулся также неожиданно: что-то страшное надвигалось на меня. Спросонок решил, что это квадрига стучит колесами по торцам Диоскурии. Подождал несколько секунд, надеясь, что шум исчезнет вместе со сном. Но нет — грохот усиливался. Он стал почти невыносимым. И я заторопился к калиточке.

В черноте ночи у самого моря шумело какое-то чудовище. Оно двигалось от мыса Кастора в сторону мыса Поллукса. Первое, что пришло в голову: ихтиозавр! А на самом деле это был танк. Но почему же он двухгорбый на фоне темно-темно-зеленого, почти черного моря? Присмотревшись получше (минутой назад я был ослеплен светом фар), понял, что имею дело с обыкновенным, мощным трактором, перевозящим по песку что-то очень грузное. Людей не видно. Только иногда слышится: «Левее! Правее!» А кто командовал — так и не уразумел. Луна куда-то задевалась, и трудно было определить, что именно волокут по песку. Постепенно глаза пришли в нормальное состояние, и я увидел какое-то строение, установленное на полозьях. (На таких полозьях перевозили саркофаги фараонов.) Вдруг трактор развернулся на девяносто градусов и, точно военный корабль, осветил меня боевыми огнями. И я снова ослеплен. Будто нарочно. Чтобы вывести из строя единственного, как мне казалось, свидетеля.

Утром рано по следам трактора прошел огромный экскаватор. Он тоже громыхал так, что дай боже! Скурча тряслась, словно в лихорадке, содрогаемая мощными гусеницами. Каким-то чудом выдержали это землетрясение руины храма Афродиты. А еще через

час, все в том же направлении, торопился самосвал с дымящимся асфальтом.

— Что это такое? — спросил я Анастасию Григорьевну.

— Ума не приложу, Лев Николаич. Сколько здесь живу, а такого не видывала. Вот придет Леварса — спрошу у него. Он-то уж знать должен.

Я предположил:

— У вас затевается какая-то стройка, Анастасия Григорьевна.

— Вот уж никогда! Какая же у нас может быть стройка!

— Помяните мои слова: стройка! И не иначе.

Самосвал трижды проезжал по пляжу. На песке красовались глубокие следы от гусениц и автопокрышек низкого давления. Техника, я бы сказал, была брошена сюда самая современная.

Я нетерпеливо дожидался Леварсы Ануа. Сам не знаю, откуда взялось такое нетерпение. Неужели мне больше всех положено знать о делах Скурчи?..

Леварса с некоторым опозданием доставил традиционный литр молока и банку простокваши. Я преградил ему дорогу у самой калитки.

— У меня к вам будут вопросы, — начал я с места в карьер.

— Ко мне? — удивился он. — Бог мой, неужели я стал таким большим человеком, что ко мне москвичи обращаются с вопросами?!

— А вы этого не знали?

— Что я большой человек?

— Вот именно!

— Даже и не подозревал!

Леварса вручил свое ежедневное приношение подоспевшей старухе, которая осталась с нами, чтобы послушать новости.

Я сказал:

— Леварса, вы слышали этой ночью шум?

— Конечно.

— Что же это было?

— Чепуха была!

— А все-таки?

— Я же говорю — чепуха!

— Как это понимать?

Леварса закурил папиросу, которую предложил ему я. Закурил неторопливо.

— А ты думал — танки? Танки, да?

— Очень было похоже.

— А за хорошую новость магарыч будет? — Леварса явно интриговал.

Я пообещал магарыч.

— Ну что же, — сказал он, — могу поздравить с хорошей абхазской харчевней. Запомните сегодняшнее число: Скурча уже имеет первоклассный ресторан.

Я ничего не понимал. Эти его иносказания и аллегории сбивали с толку. Какая харчевня? Какой ресторан?

— А какой у вас самый лучший ресторан в Москве? — спросил Леварса.

Я затруднялся ответить. Может быть, «Москва»? Или «Националь»?

— Теперь и у нас есть свой «Националь», — подтвердил Леварса.

Из его рассказа, довольно бессвязного, я понял, что в Скурче, недалеко от платана, за ночь был сооружен ларек. Разровняли землю, притащили дощатое сооружение из ближайшего села, заасфальтировали «территорию», оградили ее частоколом. И утром в окошке появилась жирная морда некоего Шукúра. Леварса уже имел честь познакомиться с ним и даже выпить рюмочку водки. Для созидания этого ресторанчика Шукуру потребовалось ровно восемь часов ноль-ноль минут. Все было сделано с быстротой фронтовой обстановки, когда ведется подготовка на направлении главного удара. И когда скурчинцы продрали глаза — они узрели чудо-ресторанчик, который, казалось, стоял здесь со времен самой Диоскуриады.

Журналистское любопытство не давало мне покоя: уж очень хотелось познакомиться со столь энергичным, весьма оперативным строителем. Ночная молниеносная операция, несомненно, могла быть осуществлена только выдающейся личностью. Было бы преступлением пройти мимо нее. И я после купания отправился в скурчинский «Националь». Анастасия Григорьевна к тому времени успела выяснить, что этот Шукур из соседнего села Адзюбжа, что и ларек тоже адзюбжинский. Окончил Шукур Плехановский инсти-

тут в Москве. Последнее обстоятельство вызывало особое уважение к личности завларьком. Человек с высшим специальным образованием удостоивает своим вниманием Скурчу — шутка ли сказать?! Причем не гнушается такой рядовой должностью, как должность заведующего ларьком сельпо. Даже утверждали, что Шукур совсем недавно занимал пост то ли заместителя министра торговли Абхазии, то ли заместителя директора Абхазпромторга. Точно установить не удалось.

Итак, я вооружился кое-какими данными. Тем более любопытной обещала быть встреча с Шукуром.

Это был сравнительно молодой человек, лет тридцати — тридцати пяти. Коренастый здоровяк с волосатыми руками и грудью гориллы. Полукопченая колбаса в его руках казалась сосиской, бутылку водки он держал словно флакон из-под валерьянки. Глаза у него красные, как после бессонной ночи, каковой она в действительности и была.

Увидев меня и тотчас же признав в моем облике приезжего, спросил без дальних слов:

— Сто? Двести?

— Пока сто, — сказал я.

Закуску приготовил он сам, полностью игнорируя мой вкус: нарезал луку, колбасы, малосолевых огурцов.

— На здоровье, — буркнул он.

Я не торопился пить.

— Что творится! — сказал Шукур на чистейшем русском языке. — Этот Гарринча делает чудеса.

— Кто? — спросил я.

Шукур вытаращил глаза:

— Дорогой, я говорю о Гарринче. Из бразильской футбольной команды.

Верно, есть такой Гарринча. Теперь я вспомнил. Правда, с недопустимым, с точки зрения Шукура, опозданием. Почему-то был далек в этот день от футбола...

— В матче с Аргентиной он забил гол с тридцати метров, — продолжал Шукур. — Это же ужас!

Мне пришло в голову имя другого футболиста — Пеле. Не желая казаться абсолютным идиотом, я сказал:

— Пеле тоже хорош.

— Га! — сказал Шукур. — Пеле нашел Гарринчу! Вы знаете, кто такой Гарринча?

— Нет.

— Это уличный футболист. Гонял мячи по дворам и улицам. Его заметил Пеле. Гарринча — ученик Пеле. Когда Пеле сломал себе ногу, Гарринча заменил его... Извиняюсь, Пеле не ломал ноги — жилу растянул. Ногу сломал один перуанец по фамилии Родригес... Если Пеле и Гарринча будут играть против наших — это очень плохо.

Я всерьез заметил, что это просто катастрофа.

— Верно! — воскликнул Шукур и хватил волосатым кулаком по прилавку. — А что надо сделать, чтобы ликвидировать эту угрозу на первенстве мира по футболу?

Я выпил свои сто граммов, точно касторку, — без всякой охоты. Но не выпить было невозможно. А иначе как бы услышал полезный совет о первенстве по футболу? Прежде чем выложить свои новые мысли, Шукур включил небольшой транзисторный радиоприемник и покрутил ручку.

— Нет, — сказал он с грустью, — сегодня не передают — матч завтра... А чтобы отразить угрозу, я бы в корне перестроил нашу сборную команду.

И он изложил свой план скупно, но предельно четко и ясно: одного надо выгнать, другого — пригласить, третьего — с центра нападения перевести в левого крайнего и так далее. И он угрожающе заключил, точно разговаривал с капитаном сборной:

— Если не будет этого — проиграете! Даю голову на отсечение! Вот — нож, вот — моя голова!

Он продемонстрировал мне и нож, и лохматую голову.

Я заказал для приличия еще сто граммов и спросил его — не выпьет ли со мной? Оказалось, что он готов на жертву, если не буду настаивать более чем на пятидесяти граммах. На том и сошлись. Шукур взял наперсточек (а как назовешь рюмочку в его толстых пальцах?). Он сказал:

— За наше знакомство. Дай бог вам здоровья, успехов, всего, что я желаю сам для себя!..

Выпил. От закуски отказался. Просто глотнул минеральной воды.

— Нет, этот Гарринча делает чудеса. Его удар весит почти три пуда. В матче в Рио-де-Жанейро он порвал три мяча. А кого мы выставим против него? А?

Я был в крайнем затруднении: действительно, кого мы выставим против Гарринчи, который запросто рвет футбольные мячи? Меня никогда не обзывали болельщиком, но кое-что в футболе понимаю. Так мне казалось до встречи с Шукуром. Однако с этой минуты ощутил свою полную беспомощность в этом вопросе, ибо имел дело с великим знатоком.

— Приходите слушать матч,— пригласил Шукур.— Завтра передают в восемнадцать ноль-ноль.

Оказывается, он тут же, в ларьке, и живет. А жена его, молодая, худощавая женщина, прислуживает клиентам, которые желают посидеть под гостеприимным брезентовым кровом скурчинского «Националя». Из-за частокола доносился горячий разговор и даже кто-то пробовал петь.

Мы с ним расстались лучшими друзьями, но так ни на чем не сошлись относительно действий, могущих обезвредить могучего и воистину великого Гарринчу — любимца скурчинского Шукура.

Жара все усиливалась. Рыбаки говорили, что в тени — тридцать два, а на солнце — сорок пять. Июль был в полном разгаре. Валя и Лидочка очень довольны зноем, они говорят, нахолодались на кавказских перевалах. Анастасия Григорьевна молила бога о дожде, но не потому, что было жарко, а потому, что влага до заката нужна была бахчам и полям: «Еще три дня — и все сгорит на корню». Я был категорически против дождя. И это естественно: мне хотелось жариться на пляже и купаться. Одного мнения со мной держалась и чета Глущенко. В отношении погоды желания их совпадали. А вообще говоря, они все время пикировались между собою. Только купались и ныряли единодушно. Впрочем, и по песку ходили в обнимку и даже целовались.

По этому поводу моя старуха сказала:

— Это не к добру. Когда супруги милуются на виду у всех, словно голубки,— не к добру. К чему это?

Раз женаты — к чему эти нежности? Женаты — значит, любят.

Момент был подходящий, и я поймал ее на слове:

— Анастасия Григорьевна, а ведь вы говорили, что не верите в любовь.

— И не верю.

— А ведь вы были замужем — значит, по вашим словам, любили.

— Так что же с того, что замужем была? Выдали меня девчонкой. Пятнадцати лет. И мой через месяц ушел на войну. На германскую. Потом на гражданскую. Приехал — чужой. Одно слово: муж! Какая тут любовь? И характером был злой. Может, война сломала? Сидит, бывало, день-деньской и слова не вымолвит. Такой был крутой казак! Но справедливый. Спину гнул на поле, на мельнице. Из кожи лез. Однажды так кулаком по скуле съездил, что я чуть рассудка не лишилась. Такой он сделался нервный. Какая уж тут любовь?!

Анастасия Григорьевна смахнула концом косыночки мутную слезу и заторопилась к себе.

Зачем завел я этот разговор? Надо же понимать, голова садовая, что сердце у нее изранено! Да и сама она как-то назвала себя подранком — дескать, давным-давно ранена, а живет. И в самом деле, какая уж тут любовь?

3

Ко мне в окошко залетают майские жуки. У меня в хижине жарко и душно, как в железной бочке. Душно даже ночью. Древесные лягушки квакают на всю вселенную. Одна из них, по-моему, находится в саскапарели, вьющейся по стене моей хижины. Я видел эту зелененькую штучку: такая малюсенькая, а голосиста. А те, которые в ближайших болотах, состязаются с древесными. Не знаю, как на лягушачий вкус, но, на мой взгляд, победу в соревновании одерживают древесные. Или это мне так кажется? Еще бы: они квакают у меня над самым ухом!

На рассвете Скурча особенно любопытна: напоминает птичий базар. Каких только голосов не услышишь! Я очень сожалею, что плохо знаком с обитателями фауны. Даже среднерусской, среди которой про-

жил всю жизнь. Если сравнивать с оркестром — здесь найдешь все, начиная от пикколо и кончая геликоном. А какая-то пичужка имитирует ксилофон. Совершенно немыслимо, что называется, узреть их очами: то ли так малы эти граждане, то ли великолепно закамуфлированы под зелень и кору деревьев.

Особенно остро чувствуется возня и пение птиц, ибо все это происходит в ближайших кустах, буквально в двух шагах от моих барабанных перепонок. Или же на деревьях, стоящих тут же, рядом с моим бунгалло. Словом, любителю природы в Скурче скучать не приходится.

А более всего по душе — моя хижина. Нет, иного жилища я бы себе не желал! Пусть нету в ней ни ванной, ни шикарного туалета и разных удобств. Ощущение близости природы, близости, не знающей средостения, порожденного цивилизованным комфортом, — замечательное ощущение. В году, по крайней мере, раз испытывать его необходимо... (В этом отношении Лидочка права.) И живу безо всякого расписания, по правилам Марка Твена: ложусь, когда предоставляется возможность, встаю, когда принуждают к тому обстоятельства.

Вот сегодня улегся рано.

Пускаю дым в потолок. Хорошо лежать вот так и ни о чем не думать. Я задаю себе только один вопрос: увижу ли сон? И какой именно? В Скурче я совершаю во сне различные исторические экскурсии. Неужели мозг так чутко среагировал на рассказы Виктора Габля? Вообще говоря, редко вижу сны. Тем более не придаю им никакого значения... И все же одна из обитательниц храма Афродиты стоит у меня перед глазами. Она смугла, юна, у нее глаза точно греческие маслины: блестящие, большие. Она улыбается мне. Вижу, как шевелятся ее губы. Что она говорит? И почему так плохо слышу? Ведь она очень близко — достаточно протянуть руку... протянуть руку... она говорит...

Она говорит:

— Здравствуйте.

Я протираю глаза. Кто это: девица из храма Афродиты? Похожи, как две капли воды. Позвольте, что

это: сон или явь? Ничего не пойму! Она сидит на скамеечке. У нее большие блестящие глаза милетянки и матовое лицо финикиянки. Рядом с нею на скамеечке — небольшой, коричневого цвета чемоданчик. У девушки худые руки. Сидит она ровно прислонясь головой к штакетнику и чуть раскрыв губы.

— Здравия желаю,— говорю я ей.— Кто вы?

— Племянница Анастасии Григорьевны. Я приехала, а ее нет дома.

— Она, видимо, за хлебом пошла. Скоро вернется. А я ее жилец. Милости просим.

— Нет, нет, подожду здесь.

Но не могу же я допустить, чтобы девушка сиротливо дожидалась на скамеечке. Настаиваю на том, чтобы она вошла если не в бунгало, то, по крайней мере, во двор. Но лучше всего — в хижину, ко мне. В припадке гостеприимства забываю о том, что она запросто может подняться в дом к своей тетушке — ведь у Анастасии Григорьевны ничего не запирается. Об этом варианте она сама напоминает. Я тут же соглашаюсь с ней, ибо это логичнее.

Ей-богу, она совсем не дурна и ничуть не уступает девушкам из храма Афродиты. Потому что и ей тоже лет двадцать. Я не удержался от того, чтобы не глянуть, как говорят, не зыркнуть ей вслед, когда она пошла по двору. Честное слово, интересная девушка! Она устала с дороги — это чувствовалось. Отоспится, отдохнет — будет еще краше!..

Инстинктивно пощупал свои щеки — не брит. А еще того хуже — стою в трусах, с оголенной грудью. Просто позор!..

— Прошу прощения! — кричу я ей вдогонку. — Я в таком затрапезном, можно сказать, виде.

Она мило поворачивается, мило улыбается и мило говорит:

— Что вы! Я же как с неба свалилась. Вы думаете, я этого не понимаю?

А тон, а тон каков? И я не могу не удержаться, чтобы не метнуть комплимента:

— Вы просто очаровательны!

Вы думаете, я не заметил, как покраснела она до ушей? Я это отлично видел! Видел, как сверкнула она

голубоватыми зубами. Видел, как плавно шагает, круто сворачивая на каменную лестницу...

Я полез в свою конуру, побрился своей заслуженной электробритвой, которую купил в Вене вскоре после войны, облачился в белые брюки и нейлоновую рубашку.

Смотрю — еще одна гостя: у калиточки Лида! Такая нарядная: в брючках, голубой безрукавке, с яркими деревянными бусами на шее, в светло-зеленых очках.

— Лев Николаевич, доброе утро!

— Лидочка, дорогая, прошу вас!

— Я хочу осмотреть ваше бунгало.

— Добро пожаловать! — провозгласил я, а сам подумал: «Черт возьми, эти девицы из храма, кажется, соберутся в моем бунгало наяву!»

Она вошла во двор, внимательно осмотрела его и, попросив разрешения, направилась в мою конуру. Я ждал, что вот-вот за штакетником появится мощная голова Валентина на мощной шее. Однако он заставлял себя ждать.

— Где же ваш муженек? — спросил я, все еще надеясь, что увижу его.

— А зачем он вам? — сказала Лидочка.

Я что-то пробормотал, не знаю даже что. И очутился рядом с нею на моих сверхскрипучих нарах. Она сидела непринужденно, и я — рядом с нею.

— Люблю мужчиночный дух, — раздувая ноздри, проговорила Лидочка. — Уф, как сладко! А все-таки вы — животные. Вы, все мужчины. В вас есть что-то псиное, обезьянье. Не находите?

Я готов был провалиться сквозь трухлявые половицы. Да, разумеется, не очень-то у меня прибрано...

— Да нет же, — небрежно перебила меня Лидочка, вытянув ноги и положив их одна на другую. — Я говорю о специфически мужчиночном духе. А холостяцкую неразбериху лично я обожаю. Это ужасно, когда у мужчин все чисто, аккуратно. Настоящий мужчина должен спать на подстилке или прямо на полу, как лев в зоопарке.

Она резко сняла с себя очки и испытующе взглянула на меня.

— Не знаю,— сказал я нерешительно.— Правда, на полу валяться приходилось, но львом никогда не был.

— А кто из вас бывает львом? — брезгливо сказала она.— Все вы — кролики!

— Спасибо на добром слове.

— И вы — тоже. Лично вы! Слышите?

— Возможно вполне.

— Нет, не возможно, а точно! — Она положила руку мне на плечо.— Скажите, вы боитесь меня? Вы не спрашиваете себя, почему я здесь, у вас?

— Признаться, спрашиваю.

— И что же?

Я решил оцетиниться. Хотя бы чуть-чуть. А иначе такая женщина, как Лидочка, сочтет тебя за тряпку.

— Я думаю, что это лучше всего объясните сами. Зачем мне гадать?

— Верно, объясню сама. Мы с Валею поссорились.

— Мелкая стычка?

— Не знаю. Не уверена.

В таких случаях, как мне кажется, необходимо сказать несколько слов в утешение. Но Лидочка не из тех, кто нуждается в этом.

— Но, надеюсь, ничего серьезного? — сказал я.

— Тоже не знаю.

— Могу ли я предложить свое посредничество?

— Можете, но из этого выйдет только пшик!

«Пшик» меня не устраивал. Зачем вступать в это дело, ежели «пшик» заранее обеспечен, и притом на все сто процентов?

— Лев Николаевич,— беззаботно продолжала Лидочка, любуясь на свое отражение в ужасном осколке зеркала, вделанном в стенку,— давайте поговорим о чем-нибудь более приятном.

— Например, о холере в Одессе, как некогда писал Шолом-Алейхем? — пошутил я.

— Хотя бы. Только не о нашей бездарной ссоре... Вы бы лучше сказали, что это за милое существо обитает в этом доме? — И она кивнула в окошко.

— Вы имеете в виду эту девушку?

Молодая гостья, племянница моей старухи, стояла на балкончике и глядела в нашу сторону. Она была ослепительно хороша в лучах утреннего солнца.

— Вы отлично знаете, что я имею в виду, Лев Николаевич.

— Я ее впервые увидел полчаса тому назад.

— А зачем вы краснеете?

— Серьезно?

— Вполне.

Я взял ее руку. Как-то машинально.

— Ну? — бросила она снисходительно. — Что же дальше?

— Как — что?

— А так! Скоро ли начнем целоваться?

Я немедленно оставил в покое ее руку. Отодвинулся к стенке. Извинился.

— Поверьте, я не виноват, — пробормотал я.

— Я, что ли?

— Скорее — вы.

— Не будем препираться, — сказала она примирительно, точно мы с нею давным-давно знакомы. — Она вам нравится?

— Станный вопрос.

— Вовсе не странный. А вполне законный. Взрослые люди мгновенно определяют свои отношения. Это только ханжи делают вид, что люди влюбляются друг в друга месяцами, работая на двух смежных станках — токарном и фрезерном. На самом деле все и проще и сложнее.

Она говорила увлеченно, веря в истинность своих слов. Это была, несомненно, увлекающаяся женщина. А впрочем, не ручаюсь и за это. Она точно в той песне — «как ветер мая»... Что же до этой девушки на балкончике, очень милой, — я просто ничего не могу сказать, кроме того, что она молода...

Она перебила меня:

— Молода? Признайтесь, это не самое худшее качество, особенно для женщины.

Мы продолжали разговор в этом духе, а я думал о ее муже. Вовсе не из трусости. А просто из обычного человеческого сочувствия: наверное, Валя переживает, гадает, о чем это здесь, в бунгало, беседуем мы между собою.

— Пойдемте к Вале, — предложил я.

— Он вам нужен, Лев Николаевич?

— Скорее вам, Лидочка.

— Нет, я побуду у вас. Мне здесь нравится!

— Он, наверное, беспокоится. Это слишком жестоко с вашей стороны.

Она вдруг посерела лицом. На секунду погасли глаза. Губы плотно сжались. И я услышал глухой голос:

— Что вы понимаете в жестокости? Еще вопрос: кто из нас более жесток? Я или еще кто-нибудь? Не надо говорить лишнего, если не знаешь человека.

И неожиданно блеснули у нее на глазах слезы. Они блеснули так, точно стеклышки на солнце. На мгновение. И снова их как не бывало. Через секунду она снова обрела беззаботность и весело пошучивала надо мной и той девушкой, которую, дескать, так неумело скрываю... Вот уж доподлинно: чужая душа потемки.

Я, что называется, одним глазком косился на балкончик, на котором маячила девушка. Теперь она была не одна: Анастасия Григорьевна обнимала ее и о чем-то горячо толковала с ней, размахивая руками. По-видимому, старуха радовалась приезду племянницы. Я думаю, это естественно, если живешь один как перст...

— Лев Николаевич!

— Да.

— Я могу и обидеться.

— Простите.

— Я не привыкла к тому, чтобы в моем присутствии любовались другою. Это не ревность! Это мой врожденный недостаток. Или достоинство.

— Достоинство,— сказал я вполне искренне. И поцеловал ей руку.

Она вскочила, будто вспомнила о чем-то важном.

— Ладно! — сказала Лидочка решительно.— Надо идти!

— Как? Вы уже уходите?

— А вы думали?!

— Нет, нет, я ничего не думал. Разумеется, надо идти. Я провожу вас.

— Ни в коем случае! — Она бросила на меня взгляд, исполненный высокого достоинства.— Вот этого делать никак не следует... Нет, нет, здесь нет ничего особенного: я просто не хочу этого!

Я повиновался. Не мог не повиноваться. Она обладала каким-то особым свойством воздействия. Лидочка остановила на мне свой строгий взгляд, точно гипнотизер.

— Знаете что? — Она дотронулась до моей руки. — Если я решу — то приду сама. И ни на кого не посмотрю. Не провожайте меня. Я так хочу!

Повернулась и ушла.

Что все это значит? И значит ли вообще что-нибудь? Как прикажете воспринимать все это? Относить на счет моей неотразимо обаятельной внешности? Ни в коем случае, ибо таковой нет и в помине! Человек я, можно сказать, ординарный, — так я думаю. И вообще... Словом, я ничего понять не в состоянии...

Анастасия Григорьевна суется. Снует по балкончику взад и вперед. Я ложусь на кровать и берусь за чтение какого-то современного романа. В нем нет ни конца, ни начала. Однако мне все ясно, точно уже читал его. Это образчик нашей так называемой «областной» литературы. Хотя и говорят, что ее не существует, а я убежден, что она живет и здравствует даже в Москве... Глаза мои бегут по строчкам, а я думаю о Лидочке. Все-таки как понять ее выходку?

Ко мне стучится Анастасия Григорьевна. Старуха покраснелась, концом косынки вытирает пот, проступающий на щеках и на лбу.

— Уф, — говорит она, — заморилась. Племянница ко мне приехала. Видели ее?

Я сказал, что разговаривал с ней и даже имел смелость пригласить ее в дом.

— Ну а как же! — сказала она. — Своя же, единственная! Как не пригласить! Я очень люблю ее. Девушка она скромная, такая рассудительная. А красива собой! Правда, красива?

— По-моему, да.

— Нет, Лев Николаич, она была уставшая, с дороги. А вы приглядитесь, когда она приоденется да отдохнет. Она каждое лето ко мне приезжает. Люблю, как родную дочь.

— Я с ней, можно сказать, познакомился, а имени ее так и не знаю.

— Светлана она у меня. Светлана Ивановна. Мое-то девичья фамилия Чугунова. И ее Чугунова. Вот вы с ней поговорите об чем попало — все равно об чем. И вы поймете, какая у нее золотая голова.— Она понизила голос и по секрету сообщила: — Только она скромница. И ничего такого не любит. Ну, там гулянок или разных там глупых разговоров... Давеча к вам прибегала эта самая... Которая недавно ушла. Такая бесстыжая на вид. Так у моей Светы уже неприязнь в глазах. Она же скромница!

Я высказал несколько комплиментов в адрес Светы и снова принялся за роман.

Старуха занялась стряпней. Племянница помогала ей. Потом они сели за столик, у окна. Тетушка, насколько я уразумел, угощала девушку.

Отложил роман в сторону. Что, ежели пойти и окунуться? Это же мое основное занятие здесь, в Скурче...

4

— Нынче кислого молока не будет,— объявила Анастасия Григорьевна.— И молока тоже.

— Обойдемся,— сказал я.

Старуха смотрела на меня слегка прищурясь, подозревая, очевидно, что ее сообщение выведет меня из себя. Я курил, мне было хорошо, был сыт и всем доволен. В такие минуты я не могу думать еще о какой-то еде, словно обезьяна, у которой всегда есть пища в защечных мешках. Когда я сыт, никогда не загадываю наперед: провиантские вопросы волнуют меня только тогда, когда я голоден и чувствую, что начинаю звереть.

У Анастасии Григорьевны, судя по всему, подготовлен для меня еще кое-какой сюрприз. И она отчеканила:

— И завтра не будет молока!

— Не беда.

— И послезавтра!

Тут уж я не выдержал:

— Что же стряслось, Анастасия Григорьевна?

Этого вопроса только и ждала моя старуха:

— Значит, так, Лев Николаич: приехал к нам

на берег тоже какой-то человек. Тоже на машине, как ваша знакомая. И тоже, значит, в Скурче хочет пожить. Он да жена. Да еще один ребенок. Охоч он до молока — ох как! Один выпивает четверть. Не переводя дыхания. Присосется к горлышку — и конец молоку! Его жена — молодуха пудов на шесть, — говорят, выдувает столько же. И ребенок у них какой-то дряблый, жирный, весь в откормленного поросё. И вот, значит, они втроем объедаются кислым молоком, и вместо воды у них молоко. Пришли они, значит, до нашего Леварсы и говорят: давай нам весь твой запас, мы будем к тебе заходить и все забирать. А вместо пятиалтынного за кружку накинём еще по два-три пятачка. А Леварса — что? Возьми да отдай все оптом, да и пообещай наперед.

Я возмутился: нельзя так поступать Леварсе! Надо и совесть иметь! Что же это он, своих старых клиентов без молока оставит?

К моему удивлению, старуха горой встала за Леварсу. Леварса, дескать, человек дельный, толк в земле и коровах понимает. Разве не волен он распоряжаться своей единственной коровой? Все сразу на бедного крестьянина валят! А лучше бы было поговорить с этим самым приезжим и чуточку усовестить его самого. Ведь одна же коровенка на всю Скурчу!

— Ну, это совсем ни к чему, — сказал я. — Лучше я перекинусь словечком с Леварсой.

— Дело ваше, — завершила разговор Анастасия Григорьевна.

Позже я повидался с Ануа. Совершенно случайно. Перед заведением Шукура. Мы с ним распили по рюмке.

— Нехорошо, — сказал я.

— Что — плохо?

— Вы оставили нас без молока, Леварса.

— Как оставил?

— Мне Анастасия Григорьевна сказала.

— Настя сердится, да?

— Думаю, что да.

Леварса сказал, что не оставит меня без молока, хотя один хороший человек все просил отдавать только ему, этому хорошему человеку.

— А я, по-вашему, плохой? — пошутил я.

— Ни в коем случае!

— Тогда прошу доказать это на деле.

— Слово — дороже денег! Даю слово!

Кризисное положение с молочными продуктами было преодолено. Это освобождало меня от лишних забот. И я пожал Леварсе руку.

Шукур улыбался во весь рот.

— Сладкое слово — и все в порядке! — провозгласил пищеторговский делец.

— Что поделывает Пеле? — перевел я разговор на другую тему.

Шукур ударил себя ладонью по лбу. Удивительно, как он не высек при этом искру: хлопок был звонкий.

— Пеле?! — воскликнул он. — Слушайте, Пеле — это сатана. Пеле — это черт! Пеле бьет мяч — и мяч лопається, как детский шарик. Правда, Гарринча тоже черт порядочный! Гарринча — заместитель Пеле. Не знаете, как сыграли Уругвай и Аргентина?

— Они должны были играть?

— А как же! Вчера, в пять часов по Гринвичу... Эх, Пеле, Пеле! Но Родригес — тоже неплох!

Шукур, как он выразился, поседел от забот: что будет делать наша команда в предстоящем мировом первенстве? Кого мы противопоставим Пеле и Гарринче? О чем думает наша футбольная федерация? Как увеличить шансы на выигрыш? Эти заботы, однако, не мешали Шукуру расчетливо, даже чересчур расчетливо, разливать водку, нарезать колбасу и готовить салаты...

Леварса сказал, что всех футболистов надо прислать в их колхоз на прополку табака. Шукур смертельно обиделся. Он перестал резать колбасу и мрачно попросил:

— Леварса, если любишь меня — не говори больше так.

— За футболистов! — крикнул Леварса.

— Это — другой мармелад! — весело заметил Шукур.

Примирение состоялось, хотя не думаю, чтобы Шукур серьезно мог обидеться на своих клиентов из-за какого-то Пеле. А впрочем, кто знает...

Недалеко от «Националя» показался какой-то голый товарищ. Не совсем голый, разумеется. Он был

в черных узеньких трусах, черных очках и голубых резиновых туфлях. Он нес чемоданчик. (Позже выяснилось, магнитофон...)

— Ага! — рявкнул Леварса, завидя нагиша. — Это он!

Ануа пригласил к нам товарища с магнитофоном.

— Не этот ли хотел лишить меня молока? — осведомился я у Леварсы.

— Он самый. Но он — свой парень!

Мы познакомились. Он назвался Витольдом. Наверное, лет ему тридцать два — тридцать пять. Но выглядел он моложе. Не пил ни вина, ни водки. Не ел колбасы. И не прикоснулся к салату. Шукур очень этому удивился.

— Ничего не понимаю, — проговорил он смущенно. — Может, вам коньяку?

— Тоже не пью, — сказал Витольд.

— Он любит молоко, — заметил я.

— Молоко? — Шукур чрезвычайно удивлен.

— Да, — признался Витольд, — обожаю молоко. Я могу его пить литрами. Просто как воду. Дома открываю холодильник и достаю такой алюминиевый жбан. Там всегда есть молоко. Только не порошковое. А цельное.

— Вы москвич? — спросил я его.

— Да. Коренной. А вы?

Я сказал, кто я: москвич, журналист, назвал свое имя и фамилию. (Рассчитывал, что и он тоже представится и объяснит, кто он.)

— А вы надолго сюда?

Витольд лапидарен. Сообщил, что здесь ему нравится, что молоко у Леварсы отличное. При этих условиях, наверное, пробудет в Скурче недели две. А после «махнет» в Сочи, оттуда — в Крым, а уж потом — в Москву.

— Ого, — сказал Шукур, — у вас маршрут — люкс! А вот трусы — еще лучше. Какой это материал?

Витольд небрежно произнес слово — не то силон, не то перлон.

— Хорошие, хорошие, — приговаривал Шукур, любуясь трусами Витольда.

— Хотите такие? — предложил Витольд.

— Очень! — У Шукура глаза загорелись.

— Впрочем, у вас... — Витольд критически при-
смотрелся к Шукуру. — Вы какой размер носите?

— Ей-богу, не знаю!

— Наверное, пятьдесят шестой. Да... Не подойдет.
У меня с собой пятьдесят второй. Вот на вас будут
хороши. — Витольд обратился ко мне.

— Я бы купил, — сказал я. — Дорогие?

— Пустяки, — обронил Витольд.

— Спасибо. Если можно, то парочку.

— Хоть дюжину, — сказал Витольд. — Их делают
на нашей фабрике.

— Возьму и я, — решил Шукур.

Шукур на минутку задумался. Что-то прикидывал
в уме. А потом поинтересовался:

— Правда, дюжина?

— И две, — не моргнув глазом, запросто сказал
Витольд.

— Договоримся!

Шукур разлил водку. Пододвинул к нам закуску.

— Я угощаю, — сказал он.

Леварса заметил, что когда угощают — надо пить.
Он первый поднял рюмку. Витольд отказался, а я под-
чинился Леварсе.

Шукур громко, точно за большим столом, обратил-
ся к нам с короткой, но выразительной речью:

— Кто пьет — умирает, кто не пьет — тоже умира-
ет! Будьте здоровы, как львы, будьте долговечны,
как дубы, будьте всегда радостны и богаты. Алла-
верды!

Гляжу: открывается дощатая дверь, и из «отдель-
ного кабинета» скурчинского «Националя» показыва-
ется Глущенко. Он весь потный, покрасневшийся
такой.

— Ба! — говорит он зычно. — Вы здесь? Пьете
в стоячку?

— Как все. А вы?

— Я съел пару шашлычков и попробовал этой
проклятой чачи. Шукур, сколько градусов в твоей
чаче?

Шукур смеется. В черном четырехугольнике окна-
прилавка этакой ядреной тушей красуется Шукур. Он

говорит, что градусов в чаче не считал, но чача в самом деле первосортная. Такой чачей можно уложить любого богатыря.

Глущенко берет меня под руку и отводит в сторону.

— Лев Николаевич,— говорит он тихо,— к вам заходила Лида. Вы уж извините ее.

— За что же извинять?

— Как за что? Ворваться к человеку и жаловаться на свою судьбу! Разве этого недостаточно для извинений?

Я счел необходимым уточнить, что врываться она не врывалась, жаловаться — не жаловалась. Разговор был дружеский, товарищеский. Так что не считаю ее повинной в чем-нибудь. Кстати, где она?

Глущенко объяснил, что она решила прокатиться по шоссе, чтобы раздобыть кое-каких припасов. Скоро будет обратно...

— Она хороший человек,— продолжал он,— немного сумасбродный, как все женщины, немного импульсивна, как все в наш атомный век, немного влюбчива, что не удивительно, если учесть, что к украинской крови у нее примешана еще и польская. Мы с ней расходились трижды,— сообщил он без тени юмора,— и трижды сходились. Я считаю так: семью надо разбивать лишь в самом крайнем случае.

Он походил на большого ребенка, чем-то обиженного. В нем было столько простодушия, что невольно тронул меня.

— Валя,— сказал я,— вы правы. Однако не кажется ли вам, что не стоит злоупотреблять разрывами, даже если после этого и восстанавливаются хорошие отношения?

— И я так считаю, что не стоит. А вот Лиде попадет вожжа под хвост и — конец! Тут уж ничем не можешь: собирает вещи и съезжает к своим родным.

— У вас детей нет?

— А зачем? При нашей загруженности это только окончательно угробило бы нас. И я и Лида работаем в научно-исследовательском институте. Мы оба увлекаемся делом...

Я перебил его:

— Откуда же берется время на ссоры?

Он развел руками и пробормотал:

— Сам не пойму... Лида считает, что вы добрый и чуткий человек.

— Я?!

— Да, вы.

— Кто ей это внушил?

— У нее нюх на чутких людей.

— Не смешите меня... — начал было я.

Однако он и не думал смешить: был серьезен, точно решал математическую задачу.

— Пойдемте выкупаемся, а заодно и поболтаем, — предложил он. — Вы мне тоже нравитесь. Приятно поваляться на песке и посудачить о королях и о капусте.

— Ну что ж, я — за.

О королях и о капусте — так о королях и о капусте! И мы начали с короля. То есть с Шукура. Валя Глущенко поражался оперативности Шукура, быстроте и натиску, с каким он возвел на данном месте «Националь»...

— Вы все видели? — спросил я.

— Да, все!

— И я тоже был свидетелем этого аврала.

Глущенко поражался комплексности строительных дел.

— Представляете себе? — говорил он. — Одновременно, то есть в одну ночь, работали тракторист, экскаваторщик, асфальтировщики, электромонтеры, водопроводчики, плотники и печник! А если бы это было дело государственное?

— А он работает от сельпо.

— Сельпо ни при чем! Он просто жулик! Разве не видите, что это самое настоящее частное предприятие?!

— Вы хотели бы его закрыть? — спросил я.

Глущенко воскликнул:

— Ни в коем случае! Где бы мы веселились, если бы прикрыли этот шалман?!

Шукур привез сюда свою жену, работают без выходных и безо всякой нормы. Разумеется, это им выгодно. У них всегда имеется хлеб, колбаса, разные консервы, минеральная вода и даже холодное пиво.

— Впервые за многие годы,— сказал Глущенко,— я пью холодное пиво. У Шукура работает холодильник!

Далее разговор наш перекинулся на рыбу. (До капусты мы еще не дошли.) В Скурче, в этой прекрасной бухте, где имеется целая бригада рыбаков и рыбозавод, нет свежей рыбы.

— А я хочу рыбы,— капризно заявил Глущенко.

— И я хочу, Валя.

— Давайте выясним: почему нет в Скурче свежей рыбы? Вижу их каждое утро. На рассвете. Я имею в виду рыбаков. От берега отплывают шаланды — или как их там называют? Может, сейнера. Или рефрижераторы. Уходят в море. А вот я ни разу не видел, чтобы они возвращались назад. Это вроде южноамериканцев, отплывавших на запад на плотках «Кон-Тики».

Я сказал Вале, что Диоскурия была завалена рыбой. Ее обменивали на соль и мед.

— Зато они не имели подводных локаторов,— пошутил Валя.

— И сводок о выполнении плана.

Мы решили, что непременно сходим к местному Нептуну и поговорим о рыбозаготовках. А втайне надеялись купить за сходную цену свежую или копченую кефаль.

От кефали до галактики — один шаг. И наш разговор плавно, без всяких рывков, как-то сам собою вылился в беседу о космосе. (Из понятного такта я не спрашивал его о том, имеет ли космогония отношение к его работе в институте.)

Во-первых, мы сошлись на том, что галактика удивительно пустынна: ни живой души на астрономически великих просторах.

Вторым пунктом коммюнике стояло следующее утверждение: несмотря ни на что, надо стремиться ввысь,— чем черт не шутит, может, и удастся открыть какую-нибудь космическую Америку. Надо растить космических Колумбов...

— А вам не кажется, Лев Николаевич, что это становится похожим на детскую игру?

— Что именно, Валя?

(С первого часа нашего знакомства он называл меня по имени и отчеству, а я его — только по имени. Так оно и осталось.)

— Вот это самое: значит, космическая пустыня и страстное желание лететь куда-то вверх, хотя встреч с оазисом и не предвидится?

— Что вы предлагаете, Валя? Не пытаться летать в космос?

— Нет,— твердо сказал Валя, перевертываясь на живот и подставляя спину солнцу.— Умозрительно я понимаю, что, сделав первый шаг, человек обязательно доведет до логического конца и эту свою затею. Самолет Райтов и современный реактивный аэроплан! Разумеется, все это удивительно. Вполне закономерно предположить, что от первых облетов Земли до космических путешествий нет непреодолимых рубежей. И все же...

Валя поймал какого-то жучка и закопал его в песок. Вскоре песок зашевелился, и жучок снова выполз на свет божий. Валя снова повторил свой опыт с жучком. Жучок снова оказался на солнце — крошечная тьма его явно не устраивала.

— Вы посмотрите на эту козявку,—сказал я Вале.

— А что?

— Он очень упрям.

— И очень живуч.

— Упорен, можно сказать.

— Для него это — все равно что слетать в космос.

Валя взял пригоршню песка, засыпал жука и прикатал ладонью, словно катком асфальт. Мы наблюдали. Вот наконец шевельнулся песочек... Образовалась маленькая воронка. Затем показались черные лапки. И вот козявка снова на поверхности!..

— Валя,— сказал я,— вы можете допустить такую мысль: мы рвемся в космос, делаем небольшие прыжки, а в это время за нами наблюдают галактические Гаргантюа и посмеиваются над нами, как мы над этим жучком?

Валя задумался. У него были серые, как у кошек, глаза, с какой-то непонятной запятой сбоку.

— Я думал об этом не раз,— сказал он.

— Мы взлетаем в космос, а они там посмеиваются. А?

— Вы журналист, не правда ли? — спросил Валя.

— Да.

— Я, кажется, встречал вашу фамилию.

— Возможно.

— Вы недавно писали о наших полярных станциях?

— Писал.

— Значит, читал вас. Вот вы ответьте мне: почему вы ни разу не написали об этих галактических Гаргантюа?

Ей-богу, не знаю, что и ответить. Собственно говоря, зачем об этом писать журналисту? Это область фантастики. Я так и сказал. Но мой ответ не устраивал Глущенко. Он считал, что фантазия должна быть присуща и журналистике. Помимо всего прочего это придает статьям ту самую живость, которой часто недостает.

— Вы писали о станции «Полюс-12», — продолжал он. — Читал. Не без любопытства. Что отличало ваш очерк от сухого отчета, который начальник станции посылает в Главсевморпуть или еще куда-нибудь? Небольшие зарисовки северной природы? Согласитесь, что этого мало для настоящего публициста, для боевого журналиста.

Воленс-ноленс согласился с ним. Но не во всем. Я считаю, что газета — это прежде всего факты, информации.

— А что такое серый очерк, до отказа набитый фактами, как троллейбус пассажирами?

Нет, говорил он убежденно, нашим газетам недостает пылких чувств. Пылкие чувства — не высокие слова, которые, кстати, набивают оскомину. Слова простые — а чувства сильные! Вот так! Представьте себе, говорил он, что ежедневно, вернее ежевечерне палят ракетницы, салютуют по тому или иному поводу. Разве праздничность салютов не снизится от этого?

— Снизится или нет? — спрашивал он меня.

— Вероятно, снизится.

— Вот видите! Желание все и вся втиснуть в очерк и сказать обо всем высокими словами наносит ущерб. Журналистике наносит. Я почти не читаю очерков. Вот именно поэтому.

— Это серьезно?

— Вполне.

— А мой прочли?

— Как исключение.

— Это лестно.

— Мне понравился спокойный тон и полнейшее хладнокровие при описании суровых условий зимовки. Отсутствие навязчивой идеи, грубо говоря, выражающейся словами: все трын-трава!

Я, видимо, невольно улыбался, слушая его.

— Чему улыбаетесь? — спросил он обиженно.

— Разве я улыбаюсь?

— Да.

— Я слушаю с интересом.

— И не обижаетесь?

— Ни столечко!

— Серьезно?

В это время послышался шум мотора. Дважды рывкнул резкий сигнал. Глущенко приподнялся на руках.

— Приехала киевская ведьма, — проговорил он.

Я так и не уразумел — была ли в его словах истинная злоба, или добродушие его приняло несколько оригинальную форму. Затем он снова улегся на песок.

Лидочка поставила машину на место — под платан — и направилась к нам, на ходу стаскивая с себя платье. Грешным делом, я вообразил, что она предстанет перед нами в наряде Евы. Однако опасения мои не сбылись: она загодя надела купальный костюм. А может быть, прямо в нем и спала. Пока она шагала к нам, я мучительно спрашивал себя: где я ее видел прежде? Вероятно, где-нибудь в Москве. Или в том же Киеве. Ведь неспроста сказано: мир тесен. Где же все-таки я видел ее?..

— Греетесь, мальчики? — крикнула она весело.

— Это не то слово, — сказал я. — Мы — печемся.

— Уступите и мне местечко.

Валя скорчил кислую мину. Вынужден повториться: не понимаю их отношений — то милуются, то цапаются. Неужели не устают от всего этого? Если бы могли они охватить свой жизненный путь, особенно его последний отрезок! Если бы всерьез призадумались над чертой, к которой их неумолимо несет, словно к Ниагаре! Пусть проживут по тридцати и сорока

лет еще — неужели же это такой большой срок, чтобы растрачивать драгоценные минуты на глупые выходки и утомительные ссоры? Смерть! — вот о ней мы почти не пишем, а еще меньше говорим. Надо внушать каждому, особенно молодому человеку, что жизнь не беспредельна, что все мы смертны. Не надо этого бояться. У меня такое впечатление, что некоторые даже не верят в смертный час. (Вспоминается такой случай: один из партийных работников, точнее секретарь райкома, сказал еще при жизни Сталина, что с грустью думает о смерти Сталина. Этого секретаря до полусмерти мордовали на всех бюро, вплоть до бюро крайкома. Дескать, как смел подумать о смерти гения?) Лично я за то, чтобы думали о смерти, раз она неумолимо надвигается на нас. Думали о ней, так сказать, во имя жизни, во имя человечности. А не для того, чтобы сеять пессимизм. Если бы Лидочка хотя бы на секунду вообразила себя на смертном одре, я уверен, перестала бы есть поедом своего симпатичного мужа. Или перестала бы жить с ним. Я всегда за это самое: или — или... Где я ее все-таки видел?

Лидочка была, что называется, баба ядреная. В теле. С крепкими ногами, довольно длинными. Стройная шея, живот — типично женский: слегка полный, обрамленный с двух сторон в меру широкими бедрами. Но более всего поразили меня стопы — стопы римской холеной патрицианки. Я и ляпнул ей об этом...

— Только ножки? — Лидочка кокетливо повертела невысоко над песком то одной, то другой стопой, точно примеряла туфли.

— Не только, — сказал я.

— Перестань кокетничать! — пробасил Валя.

— Почему?

— Потому что у Льва Николаевича хороший вкус.

— Как это понять, Лев Николаевич? Я вам нравлюсь все-таки или нет?

— Нравитесь, Лидочка. И даже очень.

— Видишь? — обратилась она к мужу.

— Он просто изголодался, — равнодушно сказал Валя. — Ведь один же! Подумай ты!

— Почему один? — натурально изумилась Лидочка. — Лев Николаевич, а та девушка?

У нее раздувались ноздри, как в то утро. Нет, это опасная тигрица!

— Какая девушка, Лидочка?

— Самая обыкновенная.

— Бог с вами, она совсем девочка, если вы имеете в виду племянницу моей хозяйки.

— Ну и что же, что девочка?!

— Не обращайтесь на нее внимания, — посоветовал мне Валя. — У нее язык без костей.

Он встал, лениво потянулся и бултыхнулся в воду. Я хочу еще раз подчеркнуть, что и Валя под стать жене: высокий, стройный, здоровый.

— У вас интересный муж, Лидочка.

По-видимому, эту истину она усвоила и без моей помощи. Лидочка ткнула ногой песок и посыпала его, как лопаточкой, мне на живот. И проговорила едва слышно:

— Почему же вы не любите меня?

Я от удивления чуть не подскочил. Что она говорит? Просто не верил своим ушам. И задал преглупый вопрос:

— Что вы сказали?

— То, что слышали.

И Лидочка последовала за мужем.

Пока приходил в себя, Лидочка озорно ныряла под воду и снова появлялась на поверхности. А ее муж лежал на спине. Недвижимый. Точно пробковый.

Где же я видел ее?

Вспомнил! Наконец-то! Во сне, разумеется. В храме Афродиты. Главная жрица походила на нее, как две капли воды. Тому, кто пожелал бы обвинить меня в мистике или иррациональности, я отвечу: в храме было такое множество девушек, что не мудрено встретить наяву похожих на них женщин. Красавицы разные и хорошие — вот каковы были девственницы из диоскурийского храма Афродиты. А любопытно — жил ли в то время болван вроде меня?..

Я встал, чтобы остудить себя в светло-бирюзовой воде — такое чистое здесь, в Скурче, море. Но я не торопился. Мне хотелось дожидаться момента, когда Лидочка выйдет из воды. Говорят, что шагающая вверх по берегу женщина вернее обнаруживает недостатки своей фигуры...

По-видимому, начинаю скучать по телефонным звонкам, по редакционной сутолоке, телетайпным сообщениям. Прошло всего две недели. А кажется — целая вечность. Лидочка говорит, что я из тех чудаков, которые не умеют отдыхать. А муж ее, как обычно, поперек: дескать, люди интеллектуальные никогда не способны отдыхать на все сто процентов. По-моему, это очень смешная пара. Один скажет одно, другой — непременно поперек. И все же что-то их объединяет, что-то очень незаметное для стороннего наблюдателя. Молодость? Или необычная любовь, непонятная для ординарных людей? Она его называет «глупым медведем», а он честит ее «киевской ведьмой с Лысой горы». Иногда это у них получается добродушно. Пожалуй, не «иногда», а чаще всего, почти всегда...

Света, молоденькая племянница Анастасии Григорьевны, тайнственно посмеивается, когда я скажу что-нибудь о Лидочке. Даже самый пустячок. Я по этому поводу учинил ей форменный допрос. По всем милицеевским правилам.

— Чему вы смеетесь? — спросил я ее.

— Своим мыслям.

— Можно узнать, какие это мысли?

— Мои собственные.

— Нет, вы, Света, отвечайте на вопрос. Какие мысли?

— Хорошие.

— Боже мой, это же не ответ!

— Как вам будет угодно.

Она сидит рядом со мной на скамейке и лузгает семечки. Глядит на меня исподлобья или вовсе не смотрит на меня, а куда-то в сторону.

— Сколько вам лет, Света?

— Все мои.

— Нет, я серьезно.

— Девятнадцать. Двадцатый.

— Ваша фамилия?

— Чугунова.

— А где вы работаете?

— Счетоводом в Новороссийском порту.

— Учитесь?

— Учусь.

— Где же?

— В Ростовском университете. Заочно...

— Да,— сказал я,— вы слишком большая, чтобы вас отчитывать.

— За что же отчитывать?

— За то, что скрытны.

— Я?

Она пронзила меня насмешливым взглядом. У нее на губах, казалось, алеет какая-то особенно яркая помада. Об этой яркости позаботилась, верно, сама молодость...

— Чем, например, я скрытна? — спросила она, помолчав.

— Из вас приходится вытягивать каждое слово.

— Это чтобы не обижать вас.

Я слегка опешил:

— Обижать? Меня?

— Вы же, наверное, влюблены в эту длинноногую...

— Лидочку?

— Может, и Лидочку. Я с ней не знакомилась...

— А вам она не нравится?

— Нет! — твердо ответила Света.

В это время подошла Анастасия Григорьевна. Мы умолкли. А вскоре Света ушла домой под каким-то предлогом.

— Как девка-то? — с гордостью спросила старуха.

— Хороша!

— То-то же! А образованна как!.. Но главное — скромна. Ай как скромна. Не сегодняшнего дня девушка. Ее родители в ежовых рукавицах держат — во как! — И она сжала сморщенные руки в кулаки.

— Зачем же в ежовых?

— Как зачем?! — возмутилась старуха. — Чтобы честь берегла! Чтобы женскую совесть имела!

Я чувствовал небольшое недомогание: голова побаливала, в горле першило. Это оттого, вероятно, что плохо ночь проспал. И я лениво обронил:

— Какую честь? Какую совесть?

Она широко раскрыла глаза. От изумления у нее чуть не вывалилась верхняя стальная челюсть:

— Лев Николаич, побойтесь бога! Может, чести и копейка цена на старые деньги у этой, которая к вам прибегала, а девушке честь подобает беречь!

— А это не скучно, Анастасия Григорьевна?

Она вперила в меня острые, как шила, глаза. Не знаю, что на нее подействовало: то ли тон мой, то ли выпирающий из этих слов цинизм? Она скрестила руки на груди и тихо произнесла:

— Пожалуй, правда ваша, Лев Николаич. Вот так проскучают всю жизнь и вспомнить будет нечего. А жизнь — она одна. И правильно вы делаете, что не теряетесь с ними.

С кем это «с ними» — до меня, как говорят, не дошло. Кажется, я хожу здесь в ловеласах. Только не ведаю — с чего бы это?

Мы все-таки решили идти к местному Нептуну: я из журналистского любопытства, а Валя — из солидарности со мной. Моя старуха рассказывала кое-что о Нептуне. Звать его в переводе на скурчинский — Темраз, фамилия — Матуа. Контора его находится недалеко от мыса Поллукса. В полдень он всегда на работе. А потом куда девается — один аллах ведает!

— Идите, — сказала Лидочка, — а я приготовлю обед.

Я сказал, чтобы она не беспокоилась об обеде, ибо они приглашены сегодня в «Националь».

— Вот как! — обрадовалась Лидочка. — Это очень мило. В таком случае я позагораю на солнце.

Итак, мы направились к мысу Поллукса. Шли босые. По щиколотку в воде. Солнце палило, как в Сахаре, а может быть, нещадней. Тяжелое море лежало на окружающей природе. Море сливалось с небом. Лес стоял в дымке — полинялый такой, точно неживой.

— Мы шагаем по улице Громовержца, — сказал я Вале. — А вот сейчас пересекаем остатки Торговой палаты. Эти остатки глубоко в земле... Теперь мы вступаем на улицу Гермеса.

— Можно подумать, что вы в Диоскурии были прописаны, — сказал Валя.

— Кое-что мне объяснили, а кое-что додумал сам, — объяснил я. — Я часто вижу сны и тем самым пополняю свои познания по истории.

Валя недоверчиво покосился на меня.

— Серьезно,— сказал я,— здесь я вижу сны только исторического характера.

Он вдруг спросил:

— А что вы знаете о телепатии?

— Ни черта!

— О гипнозе?

— Ни черта!

— О сновидениях?

— Почти ни черта!

Валя пожал плечами. Ухмыльнулся. И кинул этак небрежно, через плечо:

— Так вам и надо!

Я вспыхнул:

— А что знаете вы?

— Тоже ни черта,— ответил он.

Мы спокойно пошли дальше. Сколько я себя помню, мне внушали, что сновидение — это продукт «материальной деятельности нервных клеток мозга», а телепатия — чепуха, причем вредная, гипноз — что-то медицинское, но тоже почти чепуха...

— Верно,— подтвердил Валя.— Мои познания тоже не идут дальше этих блестящих формулировок. Но я думаю, что для истинно образованного человека это ничтожно мало.

Я погрозил ему пальцем:

— Мы не позволим вам раскисать от разных там телепатий.

— Кто это — мы?

— Журналисты.

Валя смешно надул щеки:

— В таком случае — сдаюсь.

Наш спор, как обычно на протяжении всего нашего знакомства, и на этот раз окончился впустую: то ли мы все уяснили — каждый сам для себя, то ли опасались доводить спор до логического конца, избегая четкого выражения своих мнений. Все уходило куда-то в песок...

Темраз Матуа встретил нас словно адмирал боевую эскадру: во всей рыбацко-руководящей форме. Он был в новенькой зюйдвестке. Белый китель элегантно облегал его неполное тело, Лихой матросский клеш.

И огромный морской бинокль на груди. Как выяснилось позже, это была его обычная производственная одежда, тщательно охраняемая от норд-оста и разных бризов. А зюйдвестка блестела, точно отлакированная час тому назад, и никаких таких следов рыбьей чешуи или соленой морской воды на ней не обнаруживалось.

Ему не более пятидесяти. Тщательно, по-морскому выбрит. А на вид — анемичен. Малоподвижен. Говорит вяло, словно нехотя. Роста же высокого. Адмиральского.

Он пригласил нас в контору. Вдруг нам почудилось, что мы перенеслись в корабельную боевую рубку, одновременно являющуюся каким-то складом инструментариев и приборов.

На стене, за спиной Матуа, висел огромный барометр. А я подумал — городские часы. Слева и справа от барометра разместились судовые хронометры разных типов и манометры котельные. На шатких столах стояли ящики с электронным оборудованием и радиоприемники довоенного образца (СИ, СВД-9 и другие, вплоть до детекторных). На полу мы увидели обрывки сетей, стеклянные поплавки, сваленные в кучу, дюжину багров, не меньше — весел и множество непонятного железного лома и прочей, как выражаются на Кавказе, харахурь. Вместо стульев посетителям служили ящики из-под копченой барабули и бочонки, в которых некогда тесными рядками лежала селедка. Да, не забыть бы о буре, ярко окрашенном свинцовым суриком. Он удачно завершал морской колорит конторки...

Матуа уселся за стол. Достал коробку «Казбека». Предложил нам покурить. И, глядя в морскую синеву, — большая складского типа дверь была отворена настежь, — сказал ровным, бесстрастным голоском:

— Вы откуда будете, товарищи?

Я объяснил ему, что мы — простые отдыхающие, мечтающие о свежей рыбе. При слове «рыба» Матуа вздрогнул. Я выждал минутку и сказал, что не возражали бы и против копченой. В ответ — странная улыбка Джиоконды.

— Так. — Матуа неторопливо постучал мундштуком папиросы о коробку. — Значит, вы отдыхаете? В Скурче? Это очень хорошо, Значит, вы не местные?

Мы доложили, кто мы и откуда. При слове «журналист» он среагировал той же улыбкой Джиоконды. Ореол физика, коим был увенчан Валя, не произвел на Матуа ровно никакого впечатления.

— Вам у нас нравится, товарищи?

— Очень.

— Вот бы рыбешки еще... — нетерпеливо добавил Валя.

Матуа внимательно следил за линией горизонта.

— Свежей или копченой? — спросил он глубоко-мысленно.

— Все равно какой, — небрежно ответил Валя. — Разумеется, за наличный расчет.

То, что мы слышали, было столь же холодно, сколь и категорично. Матуа сказал:

— Уважаемые товарищи... Здесь контора завода... Ларька у нас нет...

И замолчал.

Я пробормотал что-то насчет того, что нас, дескать, интересуют скурчинские рыбаки. Нам, естественно, захотелось, дескать, явиться сюда.

Матуа аккуратно выпустил струйку дыма прямо перед собой, не прерывая наблюдений за линией горизонта.

— Я здесь работаю, — сказал он, — ровно шесть месяцев и три дня. Я был директором раймага в Очамчире. Меня знают в Министерстве торговли. В райкоме. — И неожиданно поинтересовался: — Вы рыбу любите, уважаемые товарищи?

— А кто же ее не любит? — простодушно спросил Валя.

Матуа царственно повернулся к нему всем корпусом. (Горизонт, разумеется, остался в эти мгновения без наблюдателя.)

— Кто не любит? — сказал Матуа. Его лицо приняло каменное выражение. — Кто не любит?.. Я не люблю, уважаемые товарищи.

Чего не ждали — того не ждали! Валя всплеснул руками и чуть не покатился со своего ящика. Я был потрясен: рыболовецкий начальник, ненавидящий рыбу! Скажем прямо: ничего себе явлениице. Так и просится в фельетон. А может, это шутка?

— Разве это удивительно, уважаемые товарищи? У меня холецистит. Один врач даже выразился так: цирроз. Эта болезнь есть самая страшная. Я ем только отварное. Надо в день питаться пять раз. А еще лучше — шесть. Понемногу, уважаемые товарищи. Хорошо, что рыбы нет...

— Как нет?

— Вот так, уважаемые товарищи, нету.

— В море нет?

— Конечно, в море. А на суше рыба не проживает. Я вам скажу откровенно: море тоже влияет на человека. Вы знаете морскую болезнь, уважаемые товарищи?

Мы дружно закивали.

— Это, знаете, кишки выворачивает. Кишки можно полоскать, как белье. Уважаемые товарищи, когда болеешь этой мерзостью, не только жить не хочется, но даже сдыхать противно. Вы думаете, эта болезнь приходит только во время шторма?

— А когда же? — Валя нервно заерзал на ящике.

— Это неточно. Еще хуже вот такое море.

Матуа указал пальцем — почему-то большим пальцем, а не указательным — на распахнутую дверь конторы, туда, где синело тишайшее море.

Мы с Валею многозначительно переглянулись.

— Такое море чем опасно? — невозмутимо продолжал рыболовецкий начальник, куря папиросу торжественно-медленно. — Думаешь так: сейчас похожу на сейнере. А как начнется качка, ты словно в абхазской люльке лежишь, завернутый в пеленки. Рукой, ногой шевельнуть не можешь. Как дурак лежишь. Только, извиняюсь за это, рвешь, как последняя сволочь. Это разве дело? Я вам, уважаемые товарищи, скажу так: море — опасная вещь. Скажу почему: если сейнер перевернется? Или, скажем, баркас? Что тогда, спрашивается, уважаемые товарищи?

— Плыть придется, — ответили мы, как ученики на уроке.

— Правильно, — сказал Матуа. — Надо плыть. Я теперь знаю: есть стиль брасс, есть саженка, есть баттерфляй. Может, стилей много, а жизнь свою, извиняюсь перед вами, спасти надо. При чем здесь стиль, если плавать не умеешь?! Я всегда был в номенклату-

ре. Я скажу прямо, по-товарищески: я здесь шесть месяцев и три дня, а работаю как будто всю жизнь... И потом... эти рыбаки. Их мало, но все они грубые. Если их один день не выпустишь в море — они ругаются. Извините, товарищи, но за такие слова человека стреляют. У нас. В горах. А я должен все это слушать. Нет, я уже подал третье заявление. Не хочу и не могу работать!

— Что же вам сказали? — спросил я.

Матуа величественно загасил папиросу, основательно помяв ее о стенки массивной пепельницы.

— Что ответили? На мои заявления? — Он подумал. — Меня все знают. И в райкоме. И в министерстве. Я же двадцать лет в номенклатуре. Сказали, что так просто этот вопрос решать нельзя. Я понимаю: надо работу подобрать, надо проект решения подготовить, надо согласовать и по партийной и по советской линии.

— Ясно, — сказал я.

— Не так просто, — заключил Матуа. — Я так думаю: проведу я, значит, ремонт рыболовецких приспособлений и осеннюю путину проведу — и опять подам заявление. В райкоме меня хорошо знают. Там у меня знаете сколько друзей? — И опять улыбка, которая мгновенно сменилась скорбью Данте. — Я лично буду руководить осенней путинной, если не уйду до того. Вы знаете, уважаемые товарищи, что такое море?.. Опасная штука. Я в детстве чуть-чуть не утонул. С тех пор не могу его видеть. У меня начинает сердце стучать, когда я приезжаю в контору и вижу воду. А когда рыба попадает на глаза, меня, извиняюсь, начинает тошнить.

Матуа, видимо, что-то вспомнил. Включил рубильник. Вскоре что-то загудело, и начальник взял в руки микрофон. Приосанился и важно произнес:

— Алло, алло! Я — «Камбала»! Я — «Камбала»! Прием!

Он это повторил несколько раз. Я уже заподозрил было его в мистификации, ибо трудно предположить, что железный лом может когда-либо заговорить, если даже об этом его попросит сама камбала. Но не тут-то было! Репродуктор гаркнул из паутины, украсившей весь правый верхний угол конторы:

— Я — «Форель»! Я — «Форель»! Прием!

Матуа кашлянул:

— Слушай, Ризабей, как дела?

— Хорошо, — ответил Ризабей жизнерадостно. — Живем, хлеб жуем. А ты?

— Я уже жевал хлеб. Прием!

— Слушай, Темраз, у тебя, говорят, хорошее вино и козленок имеется... Прием!

— Ты не ошибся. Приезжай! А если хочешь, есть и телячья лопаточка.

— Телячья? Я — за! Прием!

— Ты уже свободен?

— Как птица.

— Я — тоже.

И в эфире два рыбака условились о встрече.

Во время радиоразговора товарища Матуа появился какой-то рослый детина в брезентовой одежде. Он сжал мне руку до хруста и назвался Дионисием Кацба.

— Приехали отдохнуть? — спросил он.

— Да, — ответил я, — отдохнуть.

— И познакомиться с рыбаками, — добавил Валя.

Кацба удивился:

— Здесь? С рыбаками?

— А где же?

— В море! — отрезал Кацба. — Здесь только директор. — И буркнул вполголоса: — И сами видите какой...

Матуа как раз закончил беседу. Он представил нам Кацбу как лучшего рыбака. Дескать, давно портрет Кацбы висит на доске Почета в Сухуми. Дескать, Кацба лично знаком с каждой рыбой в Черном море.

Кацба был смугл, от него пахло солью и водорослями.

— Это совсем другое дело, — шепнул Валя.

Кацба, мне кажется, демонстративно стал спиной к Матуа и сказал нам:

— Ребята, если хотите в море, приходите на берег ровно в пять ноль-ноль. Вот и познакомитесь с рыбаками! До встречи!

Он взвалил к себе на плечи какие-то снасти и понес их к дороге, где его поджидал пикап...

— Передовой рыбак, — без энтузиазма сказал Матуа.

Мы не смели долее беспокоить величественного Нептуна и покинули его обитель, поблагодарив за беседу. А потом долго-долго хохотали. Уж очень занятной была картина на рыбозаводе, если отбросить грустную сторону дела. А может, и не стоит грустить? От грусти печень портится, нервы расшатываются. Грустящим бром прописывают и капли Зеленина...

Валя держался такого же мнения. Он не советовал фельетон писать. Едва ли фельетоном прошибешь толстую стену приятелей, которой ограждена персона скурчинского Нептуна.

— Вы верите в его рассказы о друзьях в райкоме? — спросил я Глущенко.

— Несомненно! Здесь он так же правдив, как и в своем полном неуважении к морю.

Мы возвращались той же дорогой, которой шли на рыбозавод: по самому урезу моря, по щиколотку в бирюзовой скурчинской воде.

Одно из двух: или склероз порастил меня раньше времени, или меня приворожила Лидочка.

Моя старуха ушла к кому-то в гости. Вместе с Шариком, который не желал отпускать в путь одну хозяйку. Я окликнул Свету, бредшую по двору с какой-то книгой под мышкой. Она не расслышала.

— Лидочка! — повторил я громче.

— Вы думаете, я глухая? — сказала она, обернувшись ко мне.

— Так зачем же заставляете надирать горло?

— А вот угадайте!

Я пригласил ее в бунгало, и она вошла. Не ломаясь, запросто. На ней было розовое с большим вырезом и без рукавов платье. Что-то вроде сарафана. Усадил ее на единственный, шаткий стул.

— Ну-с, — сказал я, — что же надлежит мне угадывать?

— Вы же сами сказали, что горло надирываете.

— Ах да!

— А как назвали меня?

— Лидочка!

— Вот видите!

Она захохотала. Я подумал эдак с минуту и хлопнул себя ладонью по лбу. Какой же я болван! Сущий олух! Как же так — спутать Светочку с Лидочкой?!

— Это ничего, — говорит Света, — разница небольшая.

Хороша «небольшая» разница: где Лида Глущенко и где Света Чугунова! Нет, как это могло стрястись? Опечаленный происшедшим, но не настолько, чтобы унывать, я взял ее руку в свои и извинился. В шутку сказал, что такое случается с человеком при склерозе. «Вы знаете, — говорил я, — что склеротики часто забывают, зачем явились они к своим любовницам?..» Это ее ужасно рассмешило. Она закрыла лицо руками и хохотала. А я смотрел на нее, на пышные волосы, смуглые руки и тоже смеялся. Не могу похвастать, что сказал что-то очень смешное. Просто ей было смешно. А я от нее заразился. У нее ходили плечи. И я, отчасти движимый умилением, дружески обнял ее.

— Ладно, — говорил я, — вы и меня уморите смехом.

Она не пыталась меня отталкивать. Я сжал ее крепче и сказал:

— Ладно же... Ладно...

И выпустил наконец. Она осторожно вытирала пальцами глаза, слезившиеся от смеха.

— Нет ли у вас платочка, Лев Николаевич? — попросила она.

Я тотчас же дал ей. Она прижала его к глазам, губам и заявила, что вернет, когда постирает.

— Вы считаете, что он такой грязный?

— Нет, я его испачкала.

— Слезами?

— А чем же еще? Я же не сморкалась.

После смеха наступила какая-то неловкость. Или мне это, может быть, показалось? Я никогда не умел поддерживать беседу с женщинами. Думаю, что и нынче вел ее не лучшим образом...

— А что вы читаете, Света?

— Дюма, — ответила Света и показала «Трех мушкетеров».

- Интересно?
- Очень! Я перечитываю.
- Волнует?
- Представьте себе!

Света поправила сбившиеся волосы. Она смотрела куда-то в сторону, стараясь не встречаться со мною взглядом. Я чувствовал, что лоб мой согревается, словно камень на солнцепеке. А на кончиках пальцев — озноб, будто они льда касаются. Все это, говоря откровенно, шло от Светы, которая действовала сильнее гравитации и всех прочих законов галактики.

Она сказала вполголоса:

- Можно я задам один вопрос?
- Разумеется, Светочка.
- А вы не обидитесь?

Я совершенно искренне ответил, что она может обращаться ко мне с любым вопросом. Именно с любым! Безразлично, какой это вопрос.

Она потупила взгляд, зажала руки между колен — совсем как девочка:

- Правда, не рассердитесь?
- Правда.
- Вы ее тоже так обнимали?
- Как?
- Вот так, случайно. Как меня.

Я проглотил едкую слюну:

— Света, вы имеете в виду эту самую особу? Жену...

- Да, ее.
- Вы хотите, чтобы я был правдив? Не правда ли?
- Хочу.
- Я к ней пальцем не притронулся!
- Не разрешила?
- При чем тут разрешение! Просто не хотелось. Вы что, думаете, я обнимаю каждую встречную-поперечную?

И она совершенно обезоружила меня, обронив это самое:

- Да.
- Ну, знаете!..

Я развел руками. (А больше ничего и не оставалось.)

Мне страсть как хотелось понять это милое создание, проникнуть в ее мысли...

— Света, — сказал я, — у родных вы единственная?

— Нет, у меня есть братик. Младший.

Я решил идти напрямик, без идиотских верчений вокруг да около. Не могу утверждать, что к такому приему надо прибегать во всех случаях. Но мне кажется, что в мои годы лучше знать все наперед.

Я сказал:

— Теперь наступил, Светочка, мой черед спросить вас. Не обидит вас мой вопрос?

— Какой?

— Я скажу. Вы ответите мне прямо, честно?

— Да.

Она это слово произнесла тихо, но столь решительно, что всякие сомнения, если они и были у меня, рассеялись.

— Я стар, — сказал я (каюсь, не без кокетства).

Она кинула взгляд на мою шевелюру и понимающе улыбнулась.

— Серьезно, я стар. Но вы мне очень нравитесь, и я хочу спросить вас: вы были влюблены?

— Да.

— Серьезная любовь?

— Нет.

— Как понять?

— Можно влюбиться в фото киноактера?

— Только и всего?

Она смотрела мне в глаза смело, твердо:

— Да.

— Только-только?

— Да.

— И вы, Светочка, никогда не целовались?

— Нет.

Гм... Что же это такое?.. И я на какую-то минуту чуть было не потерял голову. Чуть не поцеловал ее. В ее прохладные, как морские раковинки, губы. Детски пухлые.

— Вы — красивая... — шепнул я.

И усадил рядом с собой. Она была предельно покорна. До странности покорна. Ее голова лежала на моем плече. Я слышал запах ее волос. Совершенно

одуряющий. Может быть, сравнил бы его с ароматом лесной хвои. Скорее всего, так пахнет морская вода — соленая, терпкая и здоровая в своей солености.

У нее глаза были закрыты, и мне казалось, что она без сознания. Я набрался духу и поцеловал ее. В плечо. Чуть повыше ключицы.

— Что вы делаете? — прошептала Света.

Я бросился перед нею на колени. Она вся розовая. Дыхание у нее горячее. Передо мною сомнамбула. Настоящая сомнамбула!

В горах доводилось мне видеть чистые родники в скалистой чаше. Если это не покажется банально, именно такие родники напоминала собою Света.

Она понемногу, словно бы с трудом, приходила в себя. Улыбаясь. Эдак виновато. Совершенно неподражаемо...

— А вы не сердитесь, Светочка?

Даже не знаю, почему задал ей этот вопрос. Какое это имело значение — сердится или нет? Она склонилась голову мне на плечо. Доверчиво. По-детски.

— Нет, — услышал я. — За что же?

Я и сам не знал, за что.

Поднялся с колен и грохнулся на стул, который едва не разлетелся на части.

— Света, — сказал я, — когда вернется Анастасия Григорьевна?

— Не знаю.

— Может быть, сию минуту?

— Возможно. — ответила она. — А ведь я вовсе запомняла...

— Что?

— А то, что тетя Настя может в любую минуту прийти.

— Неужели? — Я выглянул во двор. Там было тихо и пусто. Ни Шарика. Ни тети Насти. Зной да зеленые деревья.

— Можно я пойду?.. — сказала Света.

— Да, да! Конечно!

И она пустилась домой. Наутек. Как девчонка. Я видел ее сверкающие, словно форели в воде, пятки... Распахнула дверь и — исчезла в черном четырехугольнике.

Я бросился навзничь на постель и уставился взглядом в потолок. Что она обо мне думает?

Сердце колотилось, как сумасшедшее. Я протянул руку и дотянулся до чайника с холодной водой. Отпил глоток, и стало лучше. Еще глоток — совсем хорошо! И то, что было пять минут назад, уже оборачивается легендой, отголоском древнего происшествия. Как все это было давно! Если бы Света в эту минуту вздумала уехать куда-нибудь — все бы казалось настоящим сном. Только сном!..

На столе лежал том Александра Дюма. Вот оно, вещественное доказательство: Света действительно была здесь!

Интересно, как бы на моем месте поступил Дюма? Он, как известно, не знал в любви преград. Как бы то ни было, рад, что поступил именно так, как поступил.

5

— Слушай, начальник, — сказал мне Леварса Ануа, — зачем ходил к Матуа?

— Директору рыбозавода?

— Да.

Я объяснил ему, что это было проявлением чистойшей воды любопытства. Просто рыбки захотелось, и мы пошли к нему.

Леварса покачал головой. Недоверие к моим словам сквозило в каждом его слове. Нет, он был уверен, что я лгу. Он сказал:

— Разве за рыбой на рыбозавод ходят?

— А куда же?

— К рыбакам, у которых динамит имеется.

— Что они, рыбу глушат?

— Да еще как! Разве вы не слышите?

(Верно, время от времени в разное время суток раздавались взрывы где-нибудь у мыса Кастора или мыса Поллукса. Но кто мог предположить, что это браконьеры бесчинствуют?)

— Да, браконьеры, — подтвердил Леварса. — Они. А кто же? Одну рыбу берут — миллион губят. Рыба есть у браконьеров. Хотите кефаль? А? Таковую свежую?.. А у Матуа — что? У него одни бинокли и эти...

Как их?.. Барометры! Правда, и радио есть. Но разве радио поймает что-нибудь?

Я сказал, что, по моему твердому убеждению, Матуа не на своем месте.

— Почему? — спросил Леварса.

— Он же не специалист...

Леварса сделал вид, что говорит серьезно. Притворился крайне наивным... Напротив, Матуа большой специалист, утверждал он.

— Я этого не заметил, — сказал я.

— Как — не заметил?

— Он ничего не понимает...

— Он все понимает!

— Мы с вами, Леварса, по этому вопросу не договоримся.

Он взял меня за пуговицу рубашки и внушительно сказал:

— Матуа — прекрасный специалист: он знает, как нужно лизать одно место всем начальникам.

Я пожал ему руку. Теперь мы поняли друг друга.

Леварса был уверен, что я напишу фельетон. Таких людей, дескать, надо давить, как клопов. А впрочем... При ближайшем рассмотрении Леварса оказался ярым пессимистом. Он не верил в фельетон, не мог вообразить себе силу, способную сокрушить этого Матуа. Такой человек, дескать, еще не рождался. Вот раньше в Абхазии, сказывают, жил герой нарт Сасрыква или герой Абрискил. Они никого не боялись, потому что правду любили. Сейчас в Скурче самые большие герои — это Матуа и Шукур. Что захотят, то и сделают. Предколхоза у них в кулаке, предсельсовета — за пазухой...

— Ой ли? — усомнился я.

— Не верите?

— Это же страшно, Леварса.

— Если страшно, надо что-то делать. Я — маленький человек. Я — темный человек. Это правда. Если меня спросят: Леварса, скажи, что делать? — я скажу.

Я решительно возразил:

— Во-первых, вы человек не маленький. Во-вторых, не темный. Вы — полноправный гражданин. Это значит, что в ваших руках большая сила.

В его глазах зажглись веселые огоньки. В усах играла улыбка. Такая ироническая, снисходительная, точно перед ним стоял ребенок. Я говорил вполне искренне, и его отношение к моим словам — эта ухмылка — возмутило меня.

— Вы циник,— сказал я в сердцах.

Его лицо приняло каменное выражение. Леварса все время играл, точно актер, и я не мог понять, когда он бывает самим собой.

— Циник? — спросил он сквозь стиснутые зубы.

— Да, потому что уверен, что все, о чем говорю, вам известно давным-давно...

— Может быть.

— Зачем же, в таком случае, вы задаете мне наивные вопросы?

— Потому что ты сам наивен.

— Я?

— Да,— сказал Леварса, и снова заиграла в его усах снисходительная улыбочка.

— Докажите это!

— Пожалуйста.

Леварса закурил, снял башлык и накиннул его на плечи.

— Давайте присядем, — пригласил я его.

— Если сяду, проговорим до вечера, — сказал он.— Значит,— как это ты сказал,—я полноправный гражданин?

— Да.

— Значит, я тоже виноват?.. Значит, не смог я разоблачить Шукура и Матуа?

— Да.

— Вы так пишете в своей газете?

— Да. Считаю, что каждый человек должен пользоваться своим правом.

— Хорошие слова!

— Я знаю многих, очень многих, которые пользуются этим правом. И отлично пользуются!

— Слава богу.

— Что слава богу?

Леварса пыхнул дымом:

— Слава богу, что есть такие люди. А иначе бы что с нами было? Какой-нибудь Шукур окончательно

сел бы нам на шею и погонял бы нами. Да! Как буйволами!

— Тогда о чем же мы спорим?! — воскликнул я.

— О чем?

— Да, о чем?

Леварса объяснил:

— Вы сделали дырку в бумаге, на которой пишете, и через эту дырку смотрите вокруг. А у меня — глаза. Я все вижу вот так. — Он вытянул правую руку ладонью кверху. — Вот так! Вижу и говорю: жизнь — такая, и люди — такие, и начальство у нас в Скурче — такое!

А потом он сам потянул меня к скамейке, усадил рядом с собою. Кипя злостью, рассказал кое-что о председателе колхоза. Этот председатель — лучший в глазах здешнего начальства. Этот председатель — всегда на виду у начальства. Этот председатель — живодер настоящий, а каждую неделю улыбается в местной газете. Его все время печатают. Этот председатель обманывает начальство. Он представляет неверные сводки. Он обводил вокруг пальца руководство района. Ему почет и прочее. Ему вера и прочее. Ему доверие и прочее. А кто ударил в прошлом году бригадира Ромео Шларбу? Он. Кто ухаживал за женой заключенного крестьянина Гиргуала? Он! Кто пьет, кутит без конца? Он! Кто ворует общее добро? Он!

— Что вам надо? — строго спросил меня Леварса. — Документы? Вон они там, в колхозном правлении. Вам свидетелей надо? Они там, в селе. Садитесь, опишите все это и снимите с работы нашего председателя. Хорошо? Дайте руку! Вот моя рука! Магарыч будет большой. Хорошо?

Я сказал, что знаю одного хорошего парня — я имел в виду Виктора Габля, — который может помочь через газету. Я непременно переговорю с Габля при первой же встрече...

Но могу сделать и так: поехать в Сухуми и поговорить в обкоме или Совете Министров. Эта мысль ему понравилась. Леварса похлопал меня по плечу. Дружески. Я бы сказал — отечески. И пробормотал что-то насчет того, что силу и здоровье, дескать, надо беречь и нечего растрачивать их на какую-то Скурчу. Он угостил собственным табаком и тут же оставил меня

наедине с моими мыслями. Он шел высокий и ровный, как бы из бетона отлитый. У него были сильные ноги и шея...

«Неужели он прав? — подумал я. — Прав на все сто процентов?.. Может, и в самом деле поехать в Сухуми?»

В современных романах журналист вроде меня не стал бы размышлять, а ринулся бы в бой, круша всяческую нечисть, являя собой пример «беззаветного служения правде». О таком герое в рецензиях обычно пишут: «Читатель хочет походить на него».

Не знаю, что скажет читатель, но я уверен, что Скурчей надо заняться. Как следует заняться.

В общем, я решаю, что называется, покумекать. Кумеканье вроде бы никогда не мешает... И я тут же ловлю себя на мысли: а может, это всего-навсего удобная формула, это самое кумеканье? Для трусов и лентяев.

М-да...

Вечером лежали на песке — Лида, Валентин и я. После дневного зноя наступила прохлада, обычная в прибрежной полосе. Дул легкий бриз. Но, несмотря на это, не хотелось шевелить ни единым мускулом — уж слишком разморила жара. Хорошо лежалось вот так: без движения. Носы задраны кверху. А Валентин, кажется, дремлет. В самую жару он смазывал машину, а теперь сопит, как поросенок в лужице.

— Правда, хорошо? — говорит Лидочка.

— Да, хорошо, — отвечаю я.

А Валентин молчит. Знай сопит себе.

— А мои ноги в воде, — говорит Лидочка.

Верно ведь: она улеглась так, что пятки оказались в воде. Море совершенно неподвижно, разве что плеснет иногда волночкой и невзначай облизнет Лидочкины тугие икры. Дай-ка, думаю, и я пристроюсь так же. И слегка сползаю вниз. Очень это приятно — лежать на теплом песке, а ногами касаться воды!

А Валентин словно убитый — не шевелится.

— Валя, — говорю, — вы не последуете нашему примеру?

— Нет, — отвечает он.

Меня разбирает такая приятная истома, какой не

испытывал с юношеских лет. Я вглядываюсь в небо, и мне кажется, что мириады звезд светят сверху. Звезды, звезды, звезды... Целый космический хоровод в глазах.

— Лидочка,— говорю я мечтательно,— слава богу, что существует такой чудесный осколок вселенной, как наша Земля. Правда, хорошо?

— Еще бы!

Лидочка вскидывает вверх правую ногу и удерживает ее под прямым углом. У нее, что называется, точеная нога. Почти классическая. Загорелая и оттого — земная, волнующая. А классика в ваянии не всегда трогает. Я люблю ее ножкой. Откровенно люблю. И, вздохнув, говорю:

— Нет, серьезно: прелестный осколок вселенной...

— Лев Николаевич, вы даже не подозреваете, как вы правы. — Лидочка медленно опускает ногу. — Наша земля во всех отношениях — чудо мироздания. Даже с точки зрения распределения химических элементов. И температурного режима. Весьма оптимального для зарождения жизни и ее развития.

— Чепуха! — вдруг подает голос Валя.

— Что — чепуха?

Лидочка настораживается:

— Что чепуха, спрашиваю?

— Все, — равнодушно отвечает Валя. У него глаза полужакрыты. Руки — под головой. — Все чепуха. И земля и мы. Все!

— Он шутит, Лидочка.

— Вовсе нет! Вы прекраснодушны, как первобытные люди. Вы радуетесь всему: и небу над головой, и земле, что под ногами, этому песку, и этой воде. Но вы живете в двадцатом веке. Неужели не понимаете, как вы одиноки?!

И он умолкает. Точно и не он говорил: губы, лицо, все мускулы — каменные.

— Еретик,— бросает Лидочка.— Не слушайте его. Это на него нападает. Иногда.

— А вы — чудаки! — Это опять подает голос Валя.

Лидочка приподнимается на руках. Смотрит на меня вопросительно. Я пожимаю плечами — дескать, не солидарен с Валею.

— Его укусила муха цеце, — говорит Лидочка.

— Ничего подобного, — возражает Валя. — Вы совершенно лишены всякой философичности. А наверное, лет пятнадцать изучали философию.

— Вот именно — изучали! — со значением произносит его жена.

— Надо не только изучать, но, изучая, вырабатывать в себе особый взгляд на жизнь, особую точку зрения. Из ваших слов я понял, что вы оба по своей природе — обыватели. Простые смертные.

Я сказал, что горжусь тем, что простой смертный. Что в этом плохого?

— Ну и будьте им! — зло бросает Валя.

Молчание. Молчание. Все трое молчим.

А затем шепотом я спросил Лиду: «Что с Вале́й?» Она дала понять, что у них вышла какая-то ссора и Валя не в духе.

«Черт возьми этих супругов, — подумал я, — на кой они ляд живут вместе, ежели все время цапаются и дуются друг на друга? Хорошо жить вдвоем, когда полное понимание и согласие... Только так!» И я вознес хвалу аллаху, который оставил меня до поры до времени холостяком...

Я сказал вслух:

— Философия моя такова: жизнь прекрасна, наша планета уникальна, и нам надо беречь и жизнь и планету.

— Так рассуждают мещане атомного века, — огрызнулся Валя. — Какая разница между мещанином, влюбленным в свой крохотный домик, и вами, не чающими души в своей крохотной планете? Вы вместе с вашей Землей — песчинка среди миллиарда галактик. И вы одиноки так, что даже и не подозреваете. А когда лучше разберетесь в своем одиночестве — подохнете от тоски.

С утверждением, что наша планета — песчинка во вселенной, спорить не приходилось. До ближайших звезд, на которых можно — подчеркиваю, можно — предположить присутствие жизни в той или иной органической форме, от четырех до девяти световых лет. Достичь их даже на фотонной ракете — сущая химера. Далеко, далеко вокруг — холод, пустота. Сплошное жужжание водорода на волне в двадцать один сантиметр. Это, конечно, одиночество. Полное. С этим

нельзя не согласиться. Но что же из этого следует? — спросил я Валю.

— Постарайтесь унять свои страсти, — посоветовал он. — Вот что!

— Как это понимать?

— Исключительно философски. Не прыгай, человек, выше своей головы. Пойми трагичность своего положения!

— Трагичность?

— Если угодно: трагикомичность. Да-с, царь природы, так обстоит дело! Вы можете любоваться сколько влезет закатами и восходами, можете делать вид, что вы довольны всем, — это ваше право, уважаемые мещане двадцатого века.

Мы с Лидочкой напустились на него. Изобличили в нем пессимиста, заклеили его как мрачного философа. Он слушал нас безучастно, упершись носом в небо.

— Что же нам делать? — спросил я. — С горя рвать на себе волосы?

— Зачем?

— Вот я и спрашиваю: зачем? Зачем, отталкиваясь от факта мироздания, от фактического положения нашей планеты среди галактик, рядиться в трагиков?

— Затем, чтобы ощутить свое ничтожество.

— Ну, знаете...

Я присел. По-турецки поджал под себя ноги. Спросил Лидочку: не похож ли наш спор на спор двух схоластов? Она сказала, что похож, ибо безрезультатен...

— Я вам скажу так, — продолжал Валя несколько горячее, я бы сказал, человечнее. — Учитывая наше одиночество, надо обратить внимание на какие-то иные проблемы. Как это делает человек на пустынном острове, с которого ему никогда уже не выбраться: смириться и заняться усовершенствованием духовных качеств и благоустройством жизни, начисто выскребая из души жестокость и властолюбие.

— Устроить подобие всемирного монастыря?

Валя повернулся ко мне. Он казался сердитым. Лоб его испещрен морщинами.

— Знаете что, Лев Николаевич? Я — ученый и знаю наше истинное положение. Недалеко то время,

когда один современный алхимик сможет начисто уничтожить весь наш шарик своим адским изобретением. В этой обстановке наш долг заключается в том, чтобы взяться за ум и поскорее взглянуть на мир несколько иными глазами. Бьет час! — закончил Валя многозначительно. И полез в воду...

Жена его усмехнулась, глядя ему вслед.

— Конец света! Ясно вам? — сказала она.

— Что с ним, Лидочка?

— Наверное, разойдемся... — Ее безразличный тон поразил меня, и я подумал, что дело это у них давно решенное. И, как бы подтверждая мою мысль, она объяснила:

— Он предложил поехать на Кавказ. Надеялся, что отношения наши как-то склеятся. Но я — киевская ведьма, и я не верю в склеенную любовь. — Она сверкнула глазами: — Мне нужна настоящая, неподдельная!

Я возьми да и сболтни:

— А меня вы могли бы полюбить?

Лидочка пытливо посмотрела на меня. Постепенно на ее лице проступила широкая, привлекательная улыбка — с ямками на щеках и подбородке, со звездочками в зрачках и мелкой дрожью обеих губ.

— Вас? — сказала она, проводя руками вниз от груди к бедрам. — Может быть... Знаете, что я обожаю? — Из ее глаз посыпались зеленоватые искры. — Чтобы охватили меня, как обручем, и сожгли.

Я кивнул на море, где бултыхался Валентин:

— Можно ли жечь сильнее?

— Вы о нем?

— Да.

— Он? Отчасти да... Но мне нужен особенный человек... Я, например, совсем не уверена, что таким можете быть вы.

Она осматривала меня бесстыдно, как вола какого-то или лошадь на базаре. Что делать? Я молчал, глотая горькие слюны.

— Ладно, Лев Николаевич, перенесем этот разговор на более удобное время. — И снова этот странный взгляд, подернутый индевью. — Только, чур, не обижаться. Испытание будет настоящим, беспощадным.

— Вот это по мне!

Она поднялась и медленно опустила в воду свое тело — пружинистое, молодое, как у Афродиты. (Наш фотокорреспондент сказал бы о ней: «Это прекрасный загорелый сюжет с хорошими ножками».)

Мне в голову вдруг пришла такая мысль: она любит Валю. Она очень его любит!.. Однако не дурачиться она не может. Вот и дурачится. Не только с ним. А и со мной. Они оба дурачатся.

Она скрылась под водой. И Валентин нырнул и надолго исчез в пучине. Показался он снова метрах в тридцати правее от нас.

Я уставился в небо и вдруг ощутил себя ничтожеством, более одиноким, чем Маленький принц Экзюпери на крохотной планете.

6

Вчера, ложась спать, видел сквозь окошечко Свету. Она стояла, опершись о перила. И казалась задумчивой. Глядела куда-то в землю, точно в колодец. Потом она прошла на лестницу и, вероятно не подозревая, что я слежу за ней из своей хибары, сбросила с ног тапочки и стала в таз с водою.

За несколько дней Света загорела и походила на креолку из романов Майн-Рида. Не только ее вид, а и вся обстановка субтропиков навевала невольные сравнения с Майн-Ридом.

Вдруг девушка посмотрела в мою сторону. Ее глаза были широко раскрыты — так смотрят настороженные лани. По-видимому, темень в моем бунгало успокоила ее, и она продолжала омовение. Подобные видения перед сном не сулят мужчине ничего доброго, и я подумывал о порции барбамила или нембутала, которые у меня всегда под рукой.

Было ли в ней столько блеска, сколько в Лидочке (в смысле женственности и красоты)? Думаю, что нет. Ведь та — настоящая женщина, вполне оформившаяся, а эта еще, можно сказать, подросток. Но и Света обладала несомненными достоинствами, главное из которых — девятнадцать лет и полное отсутствие какой-либо изощренности в человеческих отношениях — так сказать, стопроцентная душевная целина.

Вот наконец Света вытерла ноги, вылила воду из таза и, еще раз бросив взгляд в мою сторону, удали-

лась в свою комнату. Вскоре свет погас во всем доме Анастасии Григорьевны. И я улегся в постель.

Света стояла у меня перед глазами. Она появлялась откуда-то из темноты. Словно наплывом в кинематографе. Казалось, готова была заговорить со мной. Так явственно, будто живую видел ее.

Я закурил. Это было великолепно — лежать вот так и закурить. Пуская клубы дыма. И представьте себе — в клубах дыма снова и снова оживала Света. Я уж потянулся за стаканом воды, чтобы принять таблетку барбамила. Однако оставил эту мысль. Уж очень все это было необычайно...

Уснул я совершенно незаметно. Удивляюсь, как это не спалил хижину окурком непогашенной папиросы.

Когда же открыл глаза, чуть было не вскрикнул, — сон или, точнее, видения мои продолжались: в окошке светилось ее лицо.

Не сознавая еще хорошенько, что происходит, я сладко потянулся, разом привстал и уставился на окошко.

Света помахала мне рукой и этак легонько постучала пальцами по стеклу. Да, я все видел ясно и все слышал. Нет, это был не сон! А что же тогда? Явь?

Поманил ее к себе — и чем-то встревоженное Светино лицо исчезло. В следующее мгновение девушка появилась в дверях — благо я их никогда не запираю ввиду полной бессмысленности подобной меры: уж слишком хрупким было дверное полотно.

Она, видимо, очень стеснялась. Не знала, куда девать глаза. И руки. Мы смотрели друг на друга молча, пока я не нашел в себе мужества попросить ее присесть.

— Спасибо, — прошептала она и аккуратно опустилась на краешек стула.

— Света, как хорошо, что вы пришли, — сказал я.

— А вы ругать не будете?

— За что?

— За то, что ворвалась ни свет ни заря.

— Что вы!.. А который теперь час?

— Не знаю.

— Анастасия Григорьевна спит?

— Нет, проснулась. Я у нее попросила разрешения прийти к вам.

— Разрешения?

— Да.

Она говорила шепотом. Была тщательно причесана и одета в белое, свежепоглаженное платье. А с меня пот течет градом. У меня сохнет во рту от волнения. У меня сердце рвется наружу.

— А я думала о вас...

Она горько усмехнулась.

— Когда же, Света?

— Всю ночь. Это глупо, да?

Света, кажется, готова провалиться сквозь пол (что вовсе не трудно при некотором усилии).

— Расскажите, Света, все,— взмолился я.— Расскажите, что и как вы думали? Когда это было? Я очень прошу.

— Может быть, не стоит?

— Умоляю вас, Света!

Я отодвинулся к стенке, усадил ее на постель.

— Расскажите все, Светочка, все до последней мелочи. Это очень важно. Я потом все объясню.

Она сказала:

— Вечером, перед сном, я мыла ноги. И мне почудилось, что кто-то смотрит на меня. Пристально-пристально. Будто сверлит буравом.

— Сбоку смотрели или сзади? — попросил я уточнить.

— Спереди. Вот так, как вы сейчас.

— Вы полагаете, Света, это был я?

— Нет, нет! — Света протестовала энергично.— У вас свет был погашен. В окошке было совсем темно. Вы спали. Я легла, а все равно: на меня кто-то смотрел.

— И вам стало страшно?

Света ладонями прикрыла лицо.

— Нет,— прошептала она.

— Почему же, Света? Ну почему же? — допытывался я.

И она призналась.

— Потому, что это были... Это были...

— Я слушаю, Света.

— Вы!

— Что я?

— Вы на меня смотрели.

— Я?!

— Да, вы.

Я притворился, что оскорблен таким подозрением. Поклялся, что лежал у себя в бунгало, что спал мертвецким сном, что не выходил за порог. Она скрестила на груди руки. И чуть не заплакала:

— Лев Николаевич, знаю, что это были не вы. Я ничего худого о вас не подумала. Мне только казалось, что это вы. Ей-богу, я правду говорю.

— Верю,— сказал я, сжимая ей пальцы.

— Так вот, сначала мне казалось, что кто-то подглядывает. Это там, на крыльце, когда ноги мыла. А в комнате я слышала даже слова...

— Вы не припомните, Света, что вам говорили?

— Что?

Света задумалась. А потом спросила:

— Все рассказать?

— Именно все, Света! Объясню вам позже, для чего это надо.

— Хорошо.

И она, припоминая подробности, рассказала о том, как в ушах у нее звенел живой голос. Этот голос нашептывал ей самые нежные нежности, совершенно непривычные для ее слуха, чтобы могла их просто придумать. Я допытывался, как звучал голос — сильно или тихо и какого был тембра... Она все объяснила. Может быть, это было телепатическое явление? Так называемая биологическая радиосвязь. А как же иначе это объяснить?..

Я коротко рассказал Свете о телепатии, о том, как в нее не верили наши ученые, но что в последнее время вопросы телепатии занимают умы биологов. Не упустил, разумеется, американского опыта, когда телепатическая связь осуществлялась на огромном расстоянии, и притом с подводной лодки. Есть сила, утверждал я, еще недостаточно изученная. Эта сила способна принимать и передавать на расстояние человеческие мысли. Отлично пользуются такой связью животные. Инстинктивно, разумеется. Отсюда можно сделать вывод, что биологическая радиосвязь в человеческом обществе — явление атавистическое, отмирающее. Однако при определенной тренировке можно достичь поразительных результатов...

Светлана слушала внимательно. Мне казалось, что объясняю все очень понятно. Не преминул рассказать и об особых радиолучах, испускаемых человеческим глазом, и о том, что обнаружено особое свечение организма — зеленовато-голубое. Причем у женщин эта окраска несколько иная — так же как особые токи, излучаемые ими. Сдается мне, что говорил весьма убедительно. Во всяком случае, не жалел ни слов, ни темперамента...

— Помнится, где-то читала, — проговорила Светлана, — что телепатия — лженаука.

— И не то еще могли прочесть! — воскликнул я. — Разве мало честили генетику? Мало трепали эту науку? Чем только ее не объявляли?! А теперь признают. Даже институты генетики открывают. Телепатия, Света, вещь не простая. Сейчас даже трудно определить ее пределы и возможности...

— Лев Николаевич...

— Слушаю, Света.

— Лев Николаевич, как вы считаете, к примеру: этот призрак вызывала я сама? Или вы его присылали ко мне?

Она сидела ровная, неподвижная. И настороженная. Чувствовал, как ее била мелкая-мелкая дрожь. Точно перепелку.

— Нет, Света, никого вы не вызывали. Это я напросился к вам. Это я глядел на вас, когда вы мыли ноги в тазу.

— Вы?

— Ну да. А кто же? Я думал о вас крепко-крепко. Мои мысли передались вам. Вы их приняли, как чувствительный радиоприемник.

— А что обо мне думали?

— Только хорошее! — пылко воскликнул я. — Мне до смерти хотелось видеть вас.

— Почему вы думали именно обо мне?

Вопрос, скажем прямо, не из простых. Это тот самый вопрос, который часто решает судьбу двух людей. Если сказать, что думал потому, что люблю ее безумно, — значит, сжечь за собою мосты, значит, принять определенное решение. Такой ответ во мне еще не созрел, а лгать было противно.

— Почему я думал о вас, Света? Скажу вам откровенно: вы мне просто нравитесь.

— Правда?

— Истинная!

— А та дама тоже нравится?

«Она знает все,— сказал я про себя.— Она следила за мной. А впрочем, не так уж трудно узнать, с кем валяешься на пляже,— ведь не хоронишься от посторонних!»

— Нет,— сказал я искренне,— вы совсем другая. Если сказать грубо: вы меня волнуете.

— Как это — волную?

Неужели же должен растолковывать ей, что значит «волнует»?..

— Как тебе сказать, Света? Не могу равнодушно смотреть на тебя... на тебя... Понимаешь?

— Нет.

Как это еще объяснить? И возможно ли?

— А если поцелую, Света, поймешь?

Она смешно прикрыла губы ладонью. Точно маленькая. Тогда я поцеловал в щеку.

Глаза у нее были большие, насмешливые. Она, казалось, готова была расхохотаться.

— Вы довольны? — спросила она.

— Очень, Света.

Она пожала плечами: дескать, очень это странно, странно, что один поцелуй может кого-то осчастливить. А что я счастлив — у нее на этот счет не могло быть сомнений. Счастье светилося вокруг меня щедрым светом. Был я вполне счастлив. Счастлив бездумно, безотчетно.

— Лев Николаевич, а вы еще будете беседовать со мной? Как этим утром?

— Буду,— ответил я, не задумываясь, и, кажется, вполне серьезно.

Она легонько вскрикнула. Скорее, от девичьего кокетства, нежели от испуга, который тщетно пыталась изобразить на лице.

— Зачем же?

— Затем, что нравитесь,— сказал я.— Я же говорил: вы очень мне нравитесь! Очень, очень!

Это ее вполне удовлетворяло. Нравится — разве мало этого?..

Солнце заглянуло ко мне. Вошло без стука. Словно в жилище пещерного человека, осветив до предела ярко жалкую обстановку. Луч упал и на Нефертити. Ее чувственный рот выделился особенно резко, натурально, как у живой. Нефертити, казалось, третье живое существо в этом бунгало...

— Мне пора, — собралась Светлана.

— Верно. Идите, Света.

Прощание было недолгим — всего-навсего дружеский кивок головы.

А Нефертити пялила глаза. Может, укоряла, а может, была ей непонятна эта человеческая особь двадцатого века, которая именовалась Львом Мочаловым. Любопытно, как вели себя влюбленные вроде нас со Светой во времена Нефертити? И что говорили они при этом?..

Было девять часов. Во дворе заливался хриплым лаем Шарик. Фауна на ближайших деревьях, кустах и лужках в полную силу давала знать о себе: чирикала, свистела, кряхтела, вздыхала, аукала, крякала, готала, кудахтала, кукарекала, мычала, рычала, пищала, визжала, лаяла, шипела, квакала...

Было лень вставать. В этом я, по-видимому, признался вслух, так как Нефертити очень удивилась. Она невероятно выпучила глаза, и рот у нее расползся до ушей. Я подумал: как могла понравиться мне такая женщина? Где были мои глаза? Однако через секунду египетская царица снова приняла обычное выражение...

Ко мне постучали.

— Одну минутку, — крикнул я, укрываясь легким одеялом.

Ко мне явилась Анастасия Григорьевна. На ней была косынка — как всегда, снежно-белая. И, как всегда, черное платье. Но самое главное — чем-то обеспокоена. Это было тоже ясно.

— Извините, — сказала хозяйка.

— Нет, это вы должны извинить меня.

Кашлянула в кулак. Явно готовилась к какому-то монологу. Нутром угадывал, о чем она поведет речь.

— Лев Николаич, — начала старуха, — моя Светлана на свиданку к вам приходила.

— Да,— подтвердил я,— мы с нею беседовали. Умная девушка.

— Умная? — Старуха махнула рукой. — Теперь нет умных. Все они на один покрой.

— Не скажите, Анастасия Григорьевна. Светлана не такая, как все.

— А я ведь с просьбицей, Лев Николаич. И вот чего я хотела просить. Светлана — девочка скромная. Наивная в жизни. Кроме материнского подولا, что она видывала? Почитай, ничего. Ну, бредит вами. Чисто по-девичьи. Я-то чую это.

Я запротестовал: и ничего она не бредит, просто и ей и мне интересно перемолвиться о том о сем. Старуха будто бы согласилась со мной.

— Это, должно быть, так, Лев Николаич, как вы говорите. И все-таки прошу, значит, наставления ей давать правильные.

Меня обдало холодным потом...

— Вы, значит, так, Лев Николаич, дружите с ней, если она нравится. Разве я возражаю? Разве я дура? Только, значит, прошу так, чтобы, значит, она локти себе не искусала. А поговорить по-хорошему — так я же не сквалыга на чувства, тоже понятие имею. Пожалуйста! Ради бога! Кто же это запрещает. Гуляйте, если вам нравится... Ну а теперь я пойду, а то Света заест. Только все между нами, Лев Николаич...

И старуха исчезла. «Как сон, как утренний туман». А я остался лежать в постели оболваненный. До крайней степени. Я не знал — презирать себя или нет? Но ничего: я объяснюсь со Светой...

7

Шукур удивил меня своей вестью: оказывается, Пеле переметнулся в миланскую футбольную команду. Или собирается переметнуться. Что же теперь будет с Бразилией? На этот счет у Шукура имелось вполне определенное предложение: заменить Пеле Гарринчой или же Родригесом, коего следует в свою очередь переманить из Перу или Аргентины. А иначе что получится?..

Я сделал вид, что сражен этой черной вестью. Начал строить различные догадки, называя первые по-

павшиеся на язык имена. Шукур вытаращил глаза: таких футболистов не слышал даже он, Шукур!

— Разве ты не читаешь «Советский спорт»? — сказал я.

— Как не читаю?!

— Наверное, пропустил тот номер!

— Ох, черт возьми!

— Как же! Целый подвал напечатали.

Он заставил меня еще раз повторить свои соображения. Я выразился, по-моему, просто и понятно:

— Вместо Пеле надо поставить Гарринчу. Или Санчеса. Амиче я бы взял вратарем. Хуана хорошо бы сделать нападающим, а Спарафучиле я бы переманил из Мадрида.

— Спарафучиле? — спросил Шукур. — Какой такой Спарафучиле?

— Его мало еще знают, но скоро о нем заговорят.

Шукур начертил карандашом на стенке: «Спарафучиле». И качал головой — дескать, откуда взялся этот гений футбола, неизвестный даже ему, Шукуру?

— Слушай, — предложил Шукур, — приходи ко мне вечером. Покушаем шашлык, поговорим. Приглашаю тебя!

Я колебался.

— Приглашаю! — вскричал Шукур. И схватил мою руку своей ручищей. — Слышишь? Приглашаю!

Делать нечего: пришлось дать обещание. Твердое.

— Твои друзья тоже будут, — пояснил Шукур.

— Какие друзья?

— Валя и его жена. Хорошая она, а?

— Ничего себе.

Шукур сощурил глаза:

— Она не засушит человека. Правда?

— В каком смысле — не засушит?

— В том самом! Она — добрая!

Было бы сущим благодеянием дать оплеуху этому обожравшемуся подлецу и жулику.

— Не могу судить, — как можно жестче сказал я. — Никогда не сужу о людях только по первому впечатлению. Бывают тихони, в которых черти водятся.

— Я тоже не сужу с первого взгляда... Ты приходи обязательно — они славные ребята. Придешь?

Я кивнул утвердительно и распрощался.

Вернувшись домой, сел за стол и черкнул письмецо редактору. Письмо о том о сем. Впечатления загорающего на песке. Приветы всем и прочее.

Написал — и вдруг почувствовал, что устал. Неужели же, думаю, от этой дюжины строк? Вероятно, слишком я перенапрягся за прошедший год, если пустяковая работа вышибает меня из колеи.

Я взял полотенце и плавки, намереваясь повалиться и поплавать. Постоял немного на пороге — может, думаю, Светлана появится. Не терпелось перекинуться с ней словечком — она как в воду канула с позавчерашнего утра. Но крыльцо было пусто. Пусто было и во дворе. Даже Шарик куда-то запропастился. Возможно, Светочка где-нибудь на задворках?

Я медленно поплелся к морю.

И первый, на кого наткнулся, — Виктор Габлиа. Он озабоченно глядел на Понт и тер платком багровый затылок. Вдруг мне сделалось весело. Виною был все тот же Виктор. Этот энергичный человек, по-моему, и в окружающих возбуждал жизнерадостность и жажду деятельности.

Он встретил меня как давнишнего знакомого...

— Привет, Лев Николаевич! — крикнул он, еще издали протягивая розовую волосатую руку. — Вы не уехали? Вы знаете, я подумал, что хорошо бы написать статью о новых находках на берегу Кодора.

Все это он прокричал, шагая мне навстречу. Я спросил, что это за находка. Вместо ответа Виктор высыпал мне на ладонь горсть мелких орехов.

— Замечательная находка!

Виктор присел на корточки и указательным пальцем стал чертить что-то на земле. Точно Пифагор в Сиракузах.

— На левом берегу Кодора обнаружено крепостное сооружение. В густых зарослях. Совершенно случайно. Что это такое? Один из элементов Великой Абхазской стены. Здесь — большой зал, вокруг — служебные помещения, а снаружи — оборонительный пояс. Вот в этом углу закопаны пять амфор. В земле. Вот тут найден склад оружия — копья и стрелы. Но самая главная находка — здесь, в этой комнатке. Это барельеф, изображающий бородача со щитом и кинжалом. Материал — местный известняк, хорошо поддающийся-

ся обработке... Писать будете? — Виктор вскинул на меня бесцветные глаза.

Я ответил, что не очень большой специалист по части археологии.

— Вы журналист, — сказал Виктор, — значит, мастер на все руки. Я к вам заскочу на машине и отвезу на место раскопок. Хорошо?

Я промывчал что-то неопределенное, но мое отношение не интересовало Виктора ни с какой стороны. Главное — он сделал предложение, а остальное, по-видимому, не столь уж важно.

— А что вы здесь делаете сегодня? — спросил я.

— Как что? Продолжаем поиски.

— Диоскурии?

— Разумеется! Хотя в Сухуми уже открыт ресторан «Диоскурия», но настоящая Диоскурия все же важнее.

Я сказал ему вполне серьезно, что готов написать статью об археологических находках. Но только так: баш на баш! Взамен он пишет статью о скурчинских делах, вернее, о безобразиях... И вкратце объяснил, в чем суть.

Вы думаете, он долго ломался или раздумывал?

— Идет! — крикнул он на весь берег. — Я позову сюда моих друзей из «Апсны́ капш», и мы зададим перцу и председателю, и директору, и этому Шукуру!

— Не так громко, Виктор!

— Чепуха! Я никого не боюсь. Вот вы увидите, что мы напишем и как пойдет здесь дело. Ни слова, Лева, я все понимаю! Будет подвальная статья. Обещаю вам! А вы пишете заметку.

— Большую заметку, — поправил я.

— Все равно какую. Лишь бы слово прозвучало, как гитарная струна.

И археолог затрясся от смеха. Он, как видно, имел обыкновение хохотать над собственными остротами.

В море никого не было видно, но я предположил, что друзья Виктора — под водой. Так оно и оказалось. Виктор, в общем, был очень недоволен поисками древнего города — вернее, темпами самих поисков. Под его началом работали три группы с аквалангами: здесь, в Скурче, в Сухуми и в районе Агудзэры (это между Скурчей и Сухуми). Надо идти, по его словам, и вширь

и вглубь. Город найдет тот, кто энергичнее, кто планомернее поведет поиски.

— Виктор,— сказал я,— а когда вы обнаружите остатки города — что же тогда?

— Как — что?

Он смерил меня взглядом с головы до ног, словно несмышлениша или чудака. И крикнул:

— Диоскурия будет обнаружена! Диоскурия! Вы понимаете, что это значит для науки?!

Я кивнул.

— Во-первых, высвободится огромное количество энергии, растрачиваемой сейчас на споры. А во-вторых, на карту будет нанесен город. Абхазская Атлантида!

— Да, это важно. Это понятно даже мне, неархеологу.

— Вы оставьте мне свой адрес,— сказал Виктор,— и я пришлю телеграмму, как только наткнемся на Диоскурию.

И он стал раздеваться, беспорядочно разбрасывая вещи. Раздевшись, глыбой плюхнулся в воду, и на секунду показалось, что море выйдет из берегов. Едва ли кит возмутил бы воду так, как это удалось Виктору. Море на миг как бы обратилось в сельтерскую воду.

Наблюдая за Виктором, я и не заметил, как возле меня оказался Валентин Глущенко. На нем были огромные зеркальные очки «против солнца».

— Кажется, не видел вас целую вечность,— сказал он, опускаясь на песок. Он основательно-таки загорел, а на плечах кожа багровела кровавой раной.

— И я соскучился по вас,— признался я.— А где Лидочка?

— Она же все делает поперек. Я — к вам, а она, значит, у машины. Что-то стряпает.

Валя поклялся, что весь остаток жизни посвятит изучению женской психологии, если только таковая в природе наличествует. По его мнению, женщины действуют рефлекторно, не пытаясь отдавать себе точный отчет. Я попытался возразить. Аргумент мой был прост: женщины отличны от мужчин — и это наше счастье,— но психология у них прелюбопытная...

— Вы холостяк? — перебил он.

— Да.

— Убежденный?

— Нет. Отчего же?

— Так вот, Лев Николаевич: Лидочка у меня вторая жена. И разрешите мне знать, какова у них психология. Возможно, я и олух. Возможно, что я тьюфяк. Думайте обо мне что угодно. Я скажу так: пока не встречу настоящую женщину, не поверю в существование какой-либо доступной для исследования женской психологии.

— Вы скептик, Валя.

— Поневоле станешь скептиком.

— Может, вы не любили?

— Кого?

— Женщин.

— Этого сказать не могу. Без любви не женился бы.

— Разлюбили потом, да?

— Разумеется.

— И Лидочку разлюбили?

— Говоря откровенно, иногда начинаю ее ненавидеть. Если ненависть одна из форм любви, то я ее люблю. Невозможно уважать человека, который перечит вам во всем и считает это высшим шиком. Не могу понять, на что она рассчитывает?

— В каком смысле?

— В смысле — новой семьи, нового мужа.

— Об этом они и не думают.

— То-то и оно! Мне грустно оттого, что она — моя жена. Понимаете? Мне гадко и грустно от этого тяжелого сознания. Вчера вечером она вдруг заявляет, что покончит с собой. Черт знает что!

— Она это серьезно? — сказал я. — Иные дамы любят воздействовать на мужей недозволенными средствами.

— Вполне, — сказал Валя. — Она сказала, что постарается нырнуть так, чтобы никогда больше не показываться мне на глаза.

— Она на это способна?

— Думаю, что да.

— Почему вы так думаете?

Валя все досконально растолковал:

— Когда дело у нас затянулось с распиской в загсе, она пообещала выпить сулемы...

— И она выпила?!

— Конечно,— спокойно продолжал Валя.— Она хлебнула-таки. Ее еле откачали. Пришлось мне ускорить эту процедуру с загсом.

— Она шизофреничка, Валя?

— Нет, что вы! У нее щитовидка, и то чуть-чуть. Она слишком умна для шизофренички. Вы знаете, она талантливый человек, и ее очень ценят на работе. У нее широкий кругозор, она очень начитанна, но эта проклятая щитовидка портит все дело.

— Может, подлечить ее?

— Она лечится.

Он сумрачно уставился на горизонт. Был встревожен не на шутку. Все это не вязалось с его прекрасной плотью, созданной природой специально для того, чтобы наслаждаться жизнью.

— Вы не верьте,— успокоил я его.

— Чему?

— Ее угрозам. Она никогда не покончит с собой. Помяните мое слово.

— Вы плохо ее знаете! Ни на кого не похожа. Она — черт знает что!..

Из воды, тяжело отдуваясь, выполз Виктор. Точно динозавр. Мы прекратили беседу — зачем сор выносить из скурчинской избы?

— Виктор,— сказал я,— значит, наш уговор прочный?

— Я сказал: будет целый газетный подвал. Будет решение по этому делу, и ваш Шукур своей шапки не отыщет. Ясно?

— Ясно, Виктор, ясно.

— Можете свою заметку не писать! Я тоже член Союза журналистов, и я тоже против жуликов.

Я вполне уразумел: Виктор не шутил.

Витольд Губарев со всем своим семейством жил в Скурче припеваючи. Хотя и выдавал себя за инженера из столицы, на деле оказался товарищем из какой-то промартели. Витольд занимал немаловажный, но не очень трудоемкий пост. Он вместе со своими друзьями вырабатывал изделия из полимеров: не то губки, не то коврики для ванн, не то шапочки и пляжные сумочки. Точно этого в Скурче установить не удалось.

А то, что он из промартели, это стало доподлинно известно. Воистину ничего невозможно сокрыть в этом мире, даже при большом желании, а в том, что именно таким желанием был обуреваем Губарев, нет никакого сомнения.

Витольд во главе своего семейства, словно Черномор, появился из воды. Казалось, они побывали в подводном городе Диоскурия. Он крикнул мне:

— Послушайте, чего это они ныряют целыми днями? Случайно, не золото ищут?

— Ищут,— подтвердил я в шутку.

— Так и меня пусть берут с собой!

Виктор бесцеремонно спросил его:

— А кто вы будете, собственно говоря?

— Человек. Гражданин. Вам этого мало?

— Чтобы вместе искать золото?

— Да.

— Мало! Мы берем на морское дно только честных людей.

Витольд прыснул со смеху. Честный человек? Да ведь это понятие растяжимое! Бывает и дурак честным. И честный бывает дураком. А какая между ними разница?

— Ну какая? — допытывался Витольд.

Виктору пришлось пораскинуть мозгами: не кроется ли в вопросе какой-либо подвох? Этот Витольд, видать по всему, человек дошлый... Виктор растер ладонями брюхо, точно оно болело, а затем помассировал себе щеки.

— Кто бы ни были — вы мне нравитесь,— сказал Виктор.

— И вы мне — тоже.

— Как вас зовут?

— Витольд.

— А меня — Виктор.

— О'кей! — осклабился Витольд.

— Слушайте, Витольд, помогите достать покрышки,— с места в карьер начал Виктор.

— Автомобильные?

— Для «Волги». Можно и для «Москвича».

Витольд слегка задумался. Потом поинтересовался — сколько?.. Сколько? Комплект, пять штук.

Столичный деятель скорчил рожу — дескать, уж слишком мизерное дело...

— А я-то подумал,— сказал он как о пустячном деле,— дюжины две надо. Ну ничего, договоримся.

Виктор тут же отвел его в сторонку, между тем как шумное Витольдово семейство направилось домой для очередного принятия пищи.

— Жук он,— сказал мне Валя, указывая на Витольда.— Этот тип предлагал мне почти новенькую «Волгу». Я спрашиваю, где она? Будет здесь через трое суток, ответил он... По-моему, он такой же инженер, как я китайский богдыхан.

Я заметил на это, что Валя слишком поздно приходит к точным определениям. Мне давно ясно, что за тип Витольд. Валя был не в курсе того, как недавно этот самый Витольд все побережье без молока и простокваши оставил.

— Как же он ухитрился?

— Очень просто,— объяснил я.— Постольку поскольку нас всех в Скурче кормит всего лишь одна корова, принадлежащая Леварсе, и поскольку колхозным молоком торгуют где-то у черта на куличках, на всю продукцию наложил лапу этот Витольд, и мы чуть было не остались без простокваши и молока.

— Разве здесь всего одна корова?

— Абсолютно точно: одна!

— Где же остальные?

— Это неизвестно. Но совершенно бесспорно: товарную продукцию, так сказать, выдает один Леварс со своей коровой.

— Не густо,— усмехнулся Валя.

— Еще бы!

Витольд и Виктор ударили по рукам и довольные вернулись на исходные позиции, то есть к нам.

— Вы спускаетесь на дно, Витольд? — сказал Валя.

— На какое? На морское?

— Ну, а на какое еще?

— Мне и здесь неплохо,— объявил Витольд.— Мне что, жить надоело? Да пропади пропадом все эти Диоскурии и прочие истории!

Таким образом, основное кредо Витольда в отношении археологии и истории было высказано. Виктор

стал на дыбы. Он в запальчивости заявил, что все противники археологии — круглые идиоты.

— Вы так думаете? — хладнокровно спросил Витольд.

— Да!

— А мне до Феньки!

— Ну и черт с вами!

Витольд решает переменить «пластинку». Он спрашивается, откуда Виктор? Выяснив, что Виктор местный, таинственно спрашивает:

— А кто здесь у вас обэхаэс?

— А что это такое?

— Археолог, а в простых делах не кумекает! Обэхаэс — никогда не слышали?

Виктор вспомнил:

— Ах, это что-то насчет растратчиков.

— Вот-вот!

— Не знаю начальника.

— А кто прокурор?

— Тоже не знаю.

— Вы — ангел! — произнес Витольд, презрительно оглядывая Виктора. — Вам бы в Диоскурии жить. Там не работал обэхаэс. Вот была житуха!

Виктор почувствовал себя виноватым перед человеком, который, видимо, пообещал ему автомобильные покрышки.

— Хотите, я справлюсь, кто начальник обэхаэс?

— Если можно.

— И кто в прокуратуре — тоже выясню.

— Неплохо бы! Между прочим, не имею права вас обязывать.

Витольд растянулся на песке.

— Начальник, — обратился он к Вале, — вы, кажется, химик?

— Допустим.

— Нельзя ли организовать в Скурче производство золота? Прямо из моря его выкачивать, поскольку на Диоскурию надежд маловато.

— Это можно.

— Вы были бы директор, а я работал бы у вас на базе.

— Мы работали бы в убыток, — заметил Валя.

— Ну и что? — сказал Витольд. — Мало у нас убыточных предприятий? А зачем потребитель существует? Вы представляете себе — зачем?

Валя ответил:

— Наверное, для того, чтобы потреблять.

— Устарелый взгляд! Для того, чтобы убытки покрывать!

Я слушал всю эту болтовню и пришел к выводу, что Витольд большой делец. Ему палец в рот не клади. Это один из тех гешефтмахеров, которые время от времени украшают своими именами газетные рубрики «Из зала суда». Вредоносность подобных типов не в том, что сами по себе они — махинаторы. Это полбеда. А в том, скорее, что растлевают вокруг себя все и вся. Одно соприкосновение с ними преступно с моральной точки зрения и несомненно преступно при деловом контакте. Я знаком с этой породой людей. Их хлебом не корми, но дай возможность обделать какое-либо грязное дельце. Все равно какое, лишь бы было оно доходно.

Шукур, например, был о Витольде самого высокого мнения. По его разумению, этот москвич олицетворял деловитость и коммерческую честность. Я могу без расписки доверить ему миллион, заявил Шукур. Особое впечатление произвел на директора «Националя» следующий факт. Витольд позвонил в Москву — и в Скурчу прибыл груз: бочонок атлантической селедки пряного посола и бочонок кетовой икры. Как в стародавние времена, векселем в этой сделке служило честное слово Шукура. Однако и Шукур оказался на высоте: он тут же выплатил москвичу условленную сумму. Витольд, в свою очередь, отозвался о Шукуре так: человек-кристалл! Не знаю, ясно ли видит рыбак рыбака, но жулики далеко-далеко видят друг друга...

Витольд все еще нежился в песке, когда его окликнула жена — женщина пухлая, как подушка.

— Пора ехать! — предупредила она.

Витольд живо поднялся.

— Поехал я, — сказал он. — Надо в город смотаться. Мне обещали вырезку. Там же я и зажарю. В ресторане.

— Это хорошо, — облизнулся Виктор. — Вырезка и алычовая подливка! Что может быть лучше?

— Что? Лучше литр холодного молока,— возразил Витольд.— С хорошим белым хлебом и маслом. И с зернистой икрой.

— Нет! — отрезал Виктор.— Я — за кавказский стол!

— Я тоже,— согласился москвич.— Но сначала — икру, а потом горячие кавказские блюда.

На этом они и сошлись.

— Кому что нужно в городе? — осведомился Витольд.

— Если не трудно, привезите каких-нибудь сигарет,— попросил я.— Все равно каких.

— Есть!

— И черного хлеба,— бросил вдогонку Валя.

— Есть! — повторил Витольд, убыстряя шаг.

Мы смотрели вослед ему с любопытством. С пре-
большим. Виктор безошибочно определил:

— Жук!

8

Лежу на скрипучих нарах и слушаю жужжание холодного водорода, разлитого по всей вселенной. В ушах всегда что-то шумит при абсолютной тишине. Поэтому-то я и приписываю его соответствующему поведению водорода, которого, разумеется, простым ухом не уловишь. В моем ящике, как это ни странно, я бы сказал, прохладно. Ветерок вдруг заскочит в окошко. То ненароком шмыгнет через дверь. Если я скажу, который час, вас не удивит прохлада: три часа утра! В такое время всем нормальным спать положено. А я не сплю. Возможно, ветерок повинен в этом. Я даже озяб. И это в июле! Да еще где! В самой Скурче!

В углу хоронится от посторонних глаз заветная бутылочка. Если не ошибаюсь, в ней осталось немножко целебной жидкости. Верно, не ошибся. Прикладываюсь к ней — и чувствую себя значительно лучше. Проходит озноб, настроение резко поднимается. Пусть теперь дует этот ветерок сколько ему влезет!

Выглядываю в окошко. Оно не больше корабельного иллюминатора, только квадратное. В сером предутреннем свете я вижу дом Анастасии Григорьевны. Он

молчалив. Точно пустой. Я спрашиваю себя: неужели вовсе не думает обо мне моя Светлана? Почему это мои мысли будят ее, а я совершенно не ощущаю ее биологических радиоволн? Или они очень слабы, или она крепко спит, и ничто не тревожит ее сна?

А что, ежели прокрасться к ее окну и легонько постучаться? Надеюсь, она достаточно романтична, чтобы понять мою невинную выходку...

Вот там, справа, калиточка в огород. Я знаю тропинку, которая ведет к восточной стороне дома... Дайка подам о себе весточку... Чем черт не шутит — может, и появится в окне!

Еще раз проверяю время — начало четвертого... А вдруг наткнусь на Анастасию Григорьевну? Ведь у старух сон чуток, а иные ночи напролет глаз не смыкают. Что я ей скажу? Чем объясню свое раннее путешествие?..

Пересилил себя и поборол нелепое, как я убедил себя, желание. Нечего шататься под окошком, лучше поговорить с нею днем, не хоронясь от Анастасии Григорьевны. Она же разрешила свиданки. Правда, с некоторыми оговорками. Но эти оговорки меня вполне устраивают. Так к чему эти испанские средневековые штучки?!

С тем и улегся в постель. Но сон, как говорится, бежал от меня. Вспомнилось детство. Кто может сказать, почему в три пятнадцать утра человек вспоминает детские годы?.. Тихое подмосковное село ожило передо мной. Пятистенная изба. Лесные ягоды. Пахучие сосновые перелески. Шумные ребята. Отец и мать... Боже, как все это было давно! Все тогда казалось неповторимо радостным. Ни забот, ни тревог. Самая большая забота — не проспать бы в школу, самая большая тревога — не пропустить бы картину в кино-театре. Ах, какое это было время! Неужели юность? И неужели прошла безвозвратно? Вот так — начисто, навсегда! И только по утрам является в полусне и полужави?

Ребята величают меня дядей, а какой-то юнец обозвал даже отцом. Наверное, я и есть отец. По летам. По виду...

Я не захватил с собой ни листочка писчей бумаги, ни единой книжонки для чтения. Так советовал мне

редактор. Для полного отдыха. Для полной отдачи себя во власть ничегонеделания. Теперь не уверен, что поступил правильно. Разве мысль способна отдыхать когда-нибудь? Нет! А если нет, так не лучше ли направлять ее по определенному руслу при помощи бумаги и книг, а не плыть во времени и пространстве по ее прихоти?

Я вспоминаю одного моего товарища, тоже журналиста, который говаривал: «Бумага и книга — лучший друг интеллигента, а еще ближе ему — барбамил». Может быть, мне прибегнуть к помощи фармакологии и покончить с разными воспоминаниями, которые просто ни к чему?

Надо решить это скорее: дело идет к рассвету. Уже что-то верещит в саскапарели. Что-то шуршит в густой траве. стакан с водой находится на расстоянии вытянутой руки — давнишняя привычка. Барбамил — еще ближе. Принимаю лекарство и окончательно убеждаюсь в том, что я «гнилой интеллигент», который не способен уснуть без снотворного.

Набрасываю рубаху на окошко — это вместо шторы. Закрываю дверь на крючок. Мечтаю выспаться. Буду дрыхнуть сколько влезет. На сколько способен этот самый барбамил.

Буду думать днем. Всякие воспоминания — днем. Так решено. Бесповоротно... И в самую торжественную минуту, когда начинают смыкаться веки, этот проклятый Шарик открывает свой кран у самого моего носа — за стеной, у корней саскапарели. Журчанье, производимое им, куда реальнее жужжания сверххолодного водорода. Оно наводит меня на веселые думы: не так ли всегда? Не так ли драматическое всегда завершается комическим? Не в этом ли великий смысл бытия?

Разбудил меня Леварса. Утром. Собственно говоря, утро только условно можно было назвать утром: было начало одиннадцатого.

— Ого! — удивился Леварса. — Так спали только богатыри-нарти. Это очень хорошо. У тебя, Лева, не нервы, а шпагат, на который табачные листья нанизывают.

— Вы так думаете?

— Зачем думать? Я же все вижу: вот ты спишь, а твой начальник не спит.

С этими словами он вытащил из кармана мятую бумажку. При ближайшем рассмотрении она оказалась телеграммой: официальный бланк был покрыт мелкой демотической скорописью (в отличие от иероглифической или иератической времен Нефертити). Пришлось превращаться в Шампольона, дешифровавшего древнеегипетские надписи. В итоге кропотливой работы удалось восстановить следующее:

«Намечаем вашу командировку поселок Мирный Антарктиде тчк подготовьтесь морально хотя это не так просто в вашей как вы пишете уютной Скурче под благодатным абхазским солнцем тчк лучше вернуться отпуска два дня раньше чем днем позже тчк приветом...»

Насколько я уразумел, телеграмма была подписана редактором. Об этом свидетельствовали начальный слог «Пе» и окончание «ов». Все промежуточные слоги древнеегипетский писец превратил в сплошное «ш ш ш ш ш ш».

— Хорошая телеграмма? — спросил Леварса, молча покуривавший папиросу, пока я занимался дешифровкой.

— Как вам сказать? Для журналиста — обычная. Из Скурчи придется перебираться прямо на Южный полюс...

— Куда? — У Леварсы глаза чуть не выкатились наружу. — Такой хороший парень и вдруг — Южный полюс! Лева, не надо туда.

Это получилось очень непосредственно. В его голосе чувствовалось большое сочувствие. Я сказал, что это не так страшно теперь, как ему кажется. Если будет чача, пошутил я, то все в порядке.

— Будет! Будет! — порадовал он. — Я дам тебе целый бурдюк. Чача будет, а все-таки не езжай туда. Разве мало места здесь?

— Это приказ, — пояснил я. — Ничего не поделаешь... А как попала телеграмма к вам?

— Очень просто, Лева. Утром выхожу на шоссе и встречаю Тамела. Это мой сосед. Тамел говорит, что у него в кармане лежит бумага для такого-то. А бумагу дал ему сын, который встретил начальника дранд-

ской почты два дня назад. Вот как дошла твоя телеграмма.

— Чудно́,— заметил я. В самом деле, непонятно, почему в Дранду, почему к Тамелу?.. А верно ведь: не затерялась!

— У нас никогда ничего не пропадает,— успокоил Леварса,— три года в разных карманах пролежит, а деловая бумажка все-таки найдет тебя. Если будешь жив, конечно...

Я рассказал ему об одном газетном сообщении, в котором говорилось о том, как письмо, посланное в 1918 году из одного австрийского городка в другой, было вручено адресату совсем недавно, то есть примерно через сорок пять лет. Леварса ничуть не удивил. Что же тут особенного? Один передавал другому, люди аккуратные, вот и шло письмо от кармана к карману...

— Бог с ними, со всякими письмами,— сказал я.— Лучше расскажите, как живете?

— Плохо.— Он вздохнул.— Если не пойдет дождь, все погибнет.

— Что именно?

— Все, Лева. Табак сохнет, овощи сохнут. Трава сохнет. А вот виноград, правда, будет сладкий... Очень плохо без дождя.

— А я-то думал, Леварса, что погода отличная.

— Для вас — отличная. А для нас — очень плохая. Дождь нужен. Десятый день сухо. Земля как песок. Можно на ней загорать, как на пляже.

— А что говорят метеорологи?

— Матуа, что ли?

— Разве он метеоролог?

— Такой же, как я. И ты. У него есть радио и есть разные приборы. Он обещает дождь. Целых две недели дождя.

— Прекрасно, Леварса!

— Нет, совсем не прекрасно, — сокрушается Леварса. — Дождь будет две недели. Это совсем не нужно! Кому нужен дождь целых две недели?!

— А сколько же?

Леварса подсчитал сколько: день-два, но зато чтобы хороший, чтобы земля пропиталась как следует, на пол-аршина. Не меньше! Потом — снова хорошая,

теплая погода четыре-пять дней. А там — опять дождь. Тогда будет урожай!

В детстве, я говорил уже, в деревне жил. Но в ту пору меня больше занимали рогатки, из которых бил несчастных птиц, нежели урожай и погода. Переселившись в город, сделался эгоистом: дожди выводили меня из себя. Хотелось, чтобы небеса всегда были солнечно-ясными. И совсем не думал о пахарях, чьи желания в отношении погоды являлись прямо противоположными...

Я смотрел на озабоченного Леварсу и думал о превратностях крестьянской судьбы: от чего только она не зависит! И от дождя, и от тепла, и от грозы, и от половодья, и от ведра, и от ливней, и от града, и от ветра, и бог знает от чего еще! Скоро ли наука избавит их от этих переживаний?..

Во дворе показалась Анастасия Григорьевна. Она несла тяжелое ведро.

— Настя! — окликнул ее Леварса.

Старуха поставила ведро наземь. Вытерла руки о фартук.

— Слушай, Настя, — сказал Леварса, — сколько ты работаешь? Давай лучше мужа тебе найдем. Знаешь какого?

— А ну, какого? — любопытствовала старуха.

— Такого молодого. Чтобы хозяйство вел.

Старуха замахала руками:

— Это чтобы обшивать и обстирывать его? Да еще и мамалыгу варить? Да пропади он пропадом! Такой хомут я уже терпела. Рубцы на загривке живые еще. Премного благодарствую!

Леварса не сдавался:

— Нет, Настя, — если хорошего?

— Да где хорошие-то?

— Сколько угодно! — Абхазец озорно подмигнул мне.

— Натерпелася на своем веку, — продолжала старуха. — Бабская доля такая — век мытарься, век ишачь и помирай, как собака. И никакого мне мужа не надо!

— Неправильно говоришь, Настя!

Старуха подошла к Леварсе и хлопнула его по плечу. Он сделал вид, что ему очень больно.

— Это полезно, — удовлетворенно произнесла Анастасия Григорьевна, — пусть немного и от нас перепадет. Не всегда же нам пощечины получать.

И она сердито направилась к своему ведру.

— Все равно буду искать мужа, — не успокаивался Леварса.

Он сообщил мне как бы доверительно, что Настя — очень хорошая, можно сказать, святая женщина. Если бы не они, такие женщины, земля наверняка перестала бы вращаться. Это как пить дать.

— Послушай, Лева, — секретничал Леварса, — я очень много, много думал. Вот возьмем нашу Настю. Она же совсем старуха. Совсем слабая. Правда? Посмотришь: совсем силы нету. Какая сила в мурашке? А кто с утра до вечера работает? Кто таскает из колодца ведро? Кто ухаживает за садом? За огородом? Настя сама себя кормит! Ни у кого куска хлеба не просит! И у государства не просит. Она в наш колхозный ларек груши и яблоки сдает. Капусту и бурак. Морковку тоже. Что она делает? Она пользу дает. Правда?

— Да, конечно.

— Я скажу так: таким старухам «спасибо» надо говорить. На руках носить. Если ей слегка поможем — пользу даст большую. Она кормить всех будет. В Скурче. А тысяча таких старух всю Абхазию прокормят. Нет, Настю я как сестру люблю. Она — в моем сердце.

Наверное, этот крестьянин прав. Я ведь и сам наблюдал из своего склепа, как день-деньской хлопочет Анастасия Григорьевна, она же тетя Настя. Пожалуй, сравнение с муравьем — очень точное. Нет покою старушечьим рукам и ногам! Какая же в них сила заложена? А любовь? Любовь к земле? Не знаю, право, кого больше любит она — землю или человека? Во всяком случае, земля для нее — точно живая. Холит изо всех сил, лелеет, как дитя, ухаживает порою, как за больным. И водицы подаст вовремя, и лекарства, и всего прочего. И невольно вспомнились слова Леварсы о том, что эту любовь к земле их председатель колхоза почему-то убивает... Я напомнил ему эти слова.

— Разве я не прав? — сказал он. — Если не прав — докажи. А я говорю так: мы все очень и очень... Как бы это сказать?

— Отвратили, — подсказал я.

— Да! Отвратили людей от земли. Почему все мои дети должны жить в городе? Почему они не любят землю? Они ждут, когда я, крестьянин, накормлю их. А почему они не берут в руки мотыгу? Почему не пахут? Не сеют? Они же убежали от земли! А почему так?!

Он глядит на меня пытливо. Он задает мне вопрос за вопросом. Он спрашивает меня о том, чего я толком не знаю сам.

— Правда, — примирительно говорит Леварса, — очень много хорошего сделано для Скурчи. Есть у нас свет. У всех есть радио. Некоторые телевизоры поставили. Когда все это видел абхазский крестьянин? И когда бы увидел, если бы не советская власть? Мало этого! В Скурче, наверно, не меньше десяти — пятнадцати автомашин. У наших. У крестьян. Я уж не говорю о школе, об учителях, о газетах. Это все факт! Но ведь и это тоже факт: мои дети живут в городе. А я хотел бы, чтобы приехали в Скурчу. Я хочу, чтобы они землю любили. Когда я все это говорю нашему председателю, он в другую сторону смотрит.

Я успокоил его: приедут товарищи, непременно помогут. (Про себя твердо решил: они будут из обкома или Совета Министров Абхазии.)

Он сказал:

— Посмотрим.

И снова заговорил о погоде: нынче она его беспокоила больше, чем председатель колхоза. Погода у него в печенках сидела.

Приготовил телеграмму в редакцию — о том, что прибуду в срок. Не опоздаю. Что здоров. Что готов ехать, куда пошлют. И так далее... Для верности решил послать ее из Сухуми. Супруги Глущенко вызвались отвезти меня, заявив, что им тоже надо побывать в городе по различным пустяковым делам.

Я сказал:

— А у меня дела на час, а может, и побольше.

— Серьезное дело?

— Думаю, что да.

— Ладно, подождем вас. Торопиться некуда.

Вот мы и двинулись втроем в город.

Вела машину Лидочка. Справедливости ради следует отметить, что вела она себя за рулем как бог. Управляла уверенно, смело, без малейшего риска. За полчаса прискакали в город, как на коньке-горбунке.

В Сухуми я не новичок. Но и на этот раз город произвел на меня очень приятное впечатление. Он какой-то весь чистенький, будто только что умыт. Улицы аккуратно подметены. А движение оживленное, даже слишком для такого небольшого города. А впрочем, это столица Абхазской Республики, и центр чувствуется.

Послал телеграмму и условился о времени встречи с друзьями.

— Где же? — спросила Лидочка.

Я и сам не знал.

— Знаю где, — продолжала она. — Здесь, направо, агентство «Аэрофлота». Стоянка машин разрешена. Устраивает вас?

— Вполне. Через полтора часа. Хорошо?

На том окончательно и договорились.

Я решил пойти в Совет Министров. И вовсе не был уверен, что попаду, что называется, прямо с ходу к какому-нибудь ответственному товарищу. В лучшем случае, думаю, примет меня заведующий отделом. Или еще кто-нибудь в этом роде...

Вахтеру, сидевшему в бюро пропусков, я показал свое журналистское удостоверение.

— Проходите, — сказал он.

— А к кому? — спрашиваю.

— В приемную председателя. Там скажут.

Поднялся на второй этаж старинного, добротного построенного особняка. Оказалось, что председателя нет. Один из его заместителей был занят, и меня направили к другому.

Я осторожно приоткрыл массивную, цвета слоновой кости дверь и очутился в просторном кабинете. За дубовым столом сидел бледный большеглазый мужчина. Перед ним возвышался ворох бумаг.

— Можно? — сказал я, перешагнув порог.

Он кивнул. Глаза у него были грустные, а точнее, усталые. Я про себя тут же охарактеризовал его: скучный, сухой чиновник... С тем и присел к столу.

— Слушаю вас, товарищ.

Голос у него глухой, надтреснутый.

Я в двух словах объяснил, кто я, что я и почему побеспокоил... Пока излагал свою просьбу, — «хорошо бы вмешаться в дела скурчинского колхоза и так называемого рыбозавода», — у заместителя председателя в уголках губ медленно зрела улыбка. Чутьочку ироническая...

Он сидел в кресле ровно, руки лежали на столе. И все время пытливо глядел на меня. Наверное, ему было под пятьдесят. На голове отличные, выющиеся черные волосы. Уши слегка оттопырены и бледны...

Он прервал меня:

— А я думал, что вы на море пожелуетесь или на состояние пляжа...

— Почему вы так подумали?

— А как же? Человек приехал отдыхать. Покупаться. Подзагореть.

— Море — отличное. Пляж — тоже. Жалоб никаких!

— И на солнце — тоже?

— Тоже!

Тут он улыбнулся полной улыбкой: губами, глазами, как бы всем существом. И сказал:

— Видите, не все у нас плохо.

— Нет, не все, — рассмеялся я.

— По вашей журналистской традиции положено, чтобы я как-то реагировал. Правда?

— Желательно, — сказал я. — И поэтому свою ручку я бы хотел приберечь.

Он продолжал улыбаться.

— Одни считают, — есть такая порода людей, — что все должно совершаться... Как бы это сказать?..

— В мгновение ока, — подсказал я.

— Вот именно: как говорят абхазцы, пока светит молния. А другие — мирятся с чем угодно, ленятся рукой пошевелить... Если скажу вам, что в два дня наведем порядок, — значит, надую вас. Притом бессовестно. Лучше будет так: я вот записываю... Мы изучим положение и примем меры. Обещаю вам!

Улыбка исчезла. Он насупил брови. Умолк.

— Это хорошо,— заметил я.

— Что — хорошо? Что пообещал? Это нетрудно. Вы скажете «хорошо», когда мы что-либо реальное совершим. Что-либо хорошее.

Он чего-то засопел и снова заулыбался.

— Спасибо,— сказал я.

— Как?

— Спасибо,— повторил я.

Он откинулся на спинку кресла. Растопыренной пятерней взлохматил густые волосы.

— Зна-чит... зна-чит...— вдруг споткнулся он на слове,— значит, и мне надо сказать вам «спасибо». Я — вам, вы — мне. И так — бесконечно... Нет, так не надо. Скорее, спасибо вам. Это точнее. Да, да! Если каждый из нас — я имею многих! — выведет на свет божий двух дураков или нерадивых работников — жизнь буквально засверкает, точно радуга.

— Верно! — воскликнул я.

— А вам, дорогой товарищ журналист, я бы посоветовал отдыхать теперь. Все, что возможно... — Заместитель председателя задумался.— Все, что возможно, мы сделаем. Пусть в этом не будет сомнений. Посмотрим, что это за председатели и директора в Скурче!

Я встал. Поблагодарил. Протянул ему руку. Он тоже встал, вышел из-за стола. Продолжал улыбаться — правда, одними только уголками губ.

— Как это полагается? — сказал он.— Как в романах полагается? Такой человек, как вы, должен забросить море, пляж, девушек, родных, плюнуть на свой отдых и ринуться на борьбу со злом. Верно?

— В плохих романах,— сказал я подчеркнуто.

Глаза его сверкнули, словно от задористой, вдруг народившейся мысли:

— И в плохих, и в хороших. Я... я... Я не совсем разбираюсь. Немножко разучился разбираться, где хорошие и где плохие книги. Одним словом, не убивайте свой отпуск, а мы поработаем. За это государственные деньги получаем.

Черт возьми, понравился мне этот товарищ! И я сказал без обиняков, что в плохих романах и

чиновников выводят таких, которые не всегда похожи на живых...

— Не льстите, — вполне серьезно попросил он. — А вот вам еще раз большое спасибо. Думаю, что преодолеем скурчинские недостатки.

И мы простились.

Пришлось моих друзей ждать. Возле закрытой на замки машины. Они, оказывается, слонялись где-то поблизости. Вместе с Виктором Габля.

— У вас все? — сказала Лидочка, приметив меня.

— Все.

— Прекрасно! Куда же мы пойдем?

— Куда угодно.

— С делами — порядок? — поинтересовался Валя.

— Да. А с тобой, Виктор, мне надо особо поговорить.

Мы с ним условились о встрече, он попрощался с нами.

Что делает человек, попавший в город? Как правило, слоняется по магазинам. Этой участи не избежали и мы. Лидочка в универмаге набросилась на какой-то ситчик. Восторженно заявила, что не видывала ничего подобного. Ей завернули два с половиной метра. Купила себе приколки-невидимки. (Они тоже привели ее в восторг.) «Нет, в Сухуми всего много», — сказала она.

Валя смотрел на ее коммерческую деятельность весьма скептически — я бы даже сказал, с каким-то презрением.

— Ой, какие очки! — воскликнула Лидочка.

Сунула мужу под нос зеркальные противосолнечные очки. Он не пожелал их нюхать. Брезгливо отвернулся и сказал:

— Покупай немедленно для ровного счета. Их у тебя будет дюжина!

Сунула себе в сумку и эту покупку. Туфли тоже привели ее в неопикуемый восторг. Да, это была настоящая женщина! Стала визжать и пищать от радости. Ей хотелось надеть сразу несколько пар и щеголять в них. Валя хватался за голову: ну зачем так громко выражать свой восторг?

Лидочка передала мне свою сумку и приступила к примерке. К счастью, против женщины восстала женщина: то есть Лидочка стала браковать пару за парой. То ей не нравился носок, то каблук, то подъем, то стелька, то ремешок, то цвет. В конце концов успокоилась, сообщив продавщице, что туфли вовсе не нужны, ибо вполне ими обеспечена. Валя облегченно вздохнул. Мы пошли дальше.

— Посмотрите на него! — возмущенно говорила Лидочка. — Как он доволен, что туфли пришлись не впору.

— Это ты им не впору, а не они тебе, — буркнул Валентин.

— Вот возьму да и куплю первую попавшуюся под руку пару!

— А я что говорю? Покупай!

Я подумал: ученая женщина, а на мелочах срыгается. Ну какая же это проблема — туфли?! Не босая же ходит! Но тут, видимо, и заключается трудно постигаемый секрет: женщина все-таки есть женщина, недаром говорят, что она излучает какие-то токи, совершенно отличные от мужских.

Мы шли по главным улицам, меняя направление по прихоти Лидочки. Увидев рекламу — тюленя с мороженым на носу, заявила, что умрет, ежели не съест мороженого сию же минуту. Пришлось поторопиться и занять место под матерчатым грибком. К мороженому я попросил шампанского.

— Посмотрите-ка, — сказала Лидочка, — это шампанское не московского производства?

— А иного вы не пьете? — спросил я.

— Нет, дело в том, что я хорошо знаю директора московского завода. Это весьма симпатичный человек.

Валентин сказал:

— Вот тут я полностью схожусь во мнении с моей женой: это действительно интересный человек. Он предложил новый метод ускоренного производства вин.

Я бросил взгляд на этикетку и разочаровал моих друзей: вино оказалось не московского завода.

Лидочка вкратце изложила историю производства шампанского (королевские виноделы во Франции изготовляли его в течение нескольких лет) и суть изобре-

ния. Несколько лет — и несколько недель! Правда, есть разница? Причем при равных вкусовых и прочих качествах.

— Шампанское — вино эпохи коммунизма, — деловито заметил Валя.

— А что? — пылко поддержала его Лидочка. — Раньше его пили короли и требовалось шампанского не много, а нынче пьет весь народ и нужда в нем большая. Правда?

Этот вопрос был обращен ко мне, и я поддержал Лиду энергичным кивком. Потом чокнулись и выпили. Вино заедали мороженым. Ввиду буднего дня народу вокруг было не много, и очень это приятно, что было не много. Аншлаг хорош только в театре. А в пищевкусовых заведениях всегда должны быть свободные места. Здесь нельзя набивать как сельдей в бочку...

— А вы знаете, что сказал Наполеон о сельдях? — спросил меня Валя.

— Наполеон? О сельдях?

— Да. Наполеон.

Наполеон наговорил немало любопытного, а вот о сельдях что-то не припомню...

Лидочка уже смеялась: она знала, что сказал Наполеон о сельдях. И не дала договорить мужу:

— Наполеон сказал, что селедка — рыба прекрасная, но ее слишком много на белом свете. Поняли?

— О да! — сказал я. — Перебор прекрасного!

И мы выпили за то, чтобы ни в чем не было перебора.

Перед нами расстилалось море. Мы сидели в окружении пальм и эвкалиптов. Мы пили шампанское... Ей-богу, совсем не плохо. А когда подавальщица сказала, что могла бы принести турецкого кофе из ближайшего ресторана, Валя даже захохотал от счастья.

— И еще бутылочку, — заказал он шампанского.

В глазах у Лидочки прыгали сатанинские огоньки. Она казалась наверху блаженства. Вполне счастливой.

Валя пошел купить газет в киоске. Лидочка отхлебнула вина и, пронзая взглядом, прошептала:

— Хо-ро-шо...

Она схватила мою руку и сжала ее. Вокруг были люди.

— Лидочка, — укоризненно сказал я.

— Наплевать! — И Лидочка чуть не разбила свой бокал о мой.

От шоссе до Скурчи — всего лишь одна дорога. Грунтовая, довольно прочная. Она выходит к лукоморью в полсотне шагов от моего жилища. Здесь она разветвляется — в сторону мыса Кастора и в сторону мыса Поллукса. Если постоять на перекрестке, ни одна машина тебя не минует: ни рыбозаводская, ни какая иная. На этом-то перекрестке я и повстречался с товарищем Матуа. Он сошел с машины (старый «виллис») и любезно поздоровался со мной.

— Уважаемый товарищ журналист, — сказал он официально, без тени улыбки, — как ваше самочувствие?

— Благодарю. Неплохо. А как вы?

Он снял форменную фуражку, вытер лысину платком.

— Ничего хорошего, — таинственно сказал он. — Работа. Все время — работа.

Матуа повернулся лицом к морю. Присмотрелся к горизонту. Я тоже последовал его примеру, но, признаться, ничегошеньки не увидел, кроме обычной линии, отделяющей воду от тверди небесной. Но ведь он был морской волк, а я? Кто я? Он, видимо, дальше меня видел...

— Товарищ журналист, сегодня наши сейнера проводят лов. Вы знаете, что такое косяк? Это рыба. Много рыбы. У меня есть радиограмма. Если не верите, я прочту вам.

— Что вы! Что вы! — запротестовал я. — Как не верить!

Он добыл из кармана какой-то замусоленный листок и прочел радиограмму громко, почти по складам. Как читают в первом классе. Затем свернул ее вчетверо и вознамерился было спрятать в грудной карман, но раздумал и положил ее в брючный. И шумно вздохнул — то ли от неутешной тоски, то ли от бремени забот, навалившихся в связи с вышеуказанной радиограммой.

— Я должен поскандальить, — сказал он. — Будет большой шухер, если тару не дадут. Я откажусь

принимать рыбу. Мне нужна тара и соль. Морозилка тоже. У меня есть законное основание: не дадут — не приму. Я же не могу портить рыбу! Под суд, что ли?! Сколько живу на свете, сколько был на ответработках, а суда не знал. И знать не хочу! У меня всегда — законное основание. Если мне говорят «принимай рыбу», я отвечаю: не приму. Потому что у меня законное основание. Вон в прошлом году хотели всучить рыбу. Поймали ее до черта! На косяк напали. Все рыбозаводы приняли, а я — отказался. Всех судили, а меня нет. У них один закон, а у меня сразу два. Поэтому я стою как скала.

Это был монолог весьма опытного в делах человека. Ответработника. Районного, а может быть, и большего масштаба. Номенклатурного по всем статьям.

По простоте душевной я подал ему банальный совет:

— Попросите тары и соли. Пусть завезут.

Он скривил лицо, точно Мефистофель, слушающий неразумные речи Фауста, — дескать, дитя вы еще, дескать, кто же сам напрашивается на такие штуки?..

— Уважаемый товарищ журналист, я вчера совсем не спал. Я думал. У меня в сердце гвоздик. Знаете, так крепко сидит! Молотком заколотили. Это же очень опасно! Один знакомый доктор сказал, что люди сейчас от сердца умирают. Как мухи.

Он подал мне руку. Вежливо распрощался. Сел на развалюху и уехал, дымя бензином почище локомотива, доживающего свой век.

Я торопился к себе. И видно, не напрасно, словно чуяла душа: у калитки, прижавшись к штакетнику, стояла Светлана.

— Здравствуйте, Светочка! — приветствовал я, что называется, от всего сердца. Схватил ее руку и с трудом удержался от того, чтобы не поцеловать. — Где пропадали, Света? А я так соскучился! Как вам не стыдно бросать меня надолго!

— А я вас видела, — проговорила она.

— Видели?

— Ну да. В щелочки глядела. Я ведь тоже скучала. Или думаете, у меня камень вместо сердца?

Уткнулась носом в руку, которой обвивала старый столб. Я пытался кое-что прочесть в ее глазах, а она их прятала.

— Да ну же, Света,— уговаривал ее,— взгляните на меня.

— А я вас вижу. И даже очень хорошо.

— Мне хочется глаза в глаза.

— Зачем?

— Скучаю.

— А вы не скучайте.

— Не умею.

— А вы через то самое «не умею».

— Я же совершенно серьезно.

— А я будто нет?

Анастасия Григорьевна что-то стряпала на крыльце. И я максимально понизил голос:

— Я хочу видеть вас, Света.

Она молчала. Это значило: да. Я подождал, когда Светлана подтвердит это более определенным знаком.

— Приду,— сказала она.— А когда — не знаю. Когда тетя Настя крепко уснет.

— Жду,— шепнул я.

Я полагал, что в целях камуфляжа хорошо бы завести разговор со старухой. Лучше всего деловой, по возможности хозяйственный. Еще не поздоровавшись с ней, прямо, что называется, с ходу сообщил старухе радостную весть: сейнера вышли в море, к Скурче движется огромный косяк рыбы.

Она повернула ко мне тонкое, морщинистое лицо и эдак, скосив глаза, недоверчиво спросила:

— А кто вам сказал?

— Сам директор рыбозавода.

— Этот новенький, что ли?

— Да, Матуа.

— Он болтает, а вы уши развесили?

«Уж больно сердита,— подумал я,— не иначе как за племянницу обижается. За наше шушуканье у калитки...»

К счастью, Анастасия Григорьевна и не собиралась дуться. Это она Матуа презирала. Можно сказать, не выносила его имени.

— Слушайте его поменьше,— присоветовала она.— Он тут человек шальной, попал сюда бог знает

как и бог знает зачем! Рыбаки ни в грош его не ставят. И то правда: человека за что уважают? За его самостоятельность, за то, что правду любит, за то, что слово его — слово! А Матуа ваш — что? Воздух один! Ему что Скурча, что ад — все одно! Гони ему монету, а остальное — трын-трава. А ведь Скурча — не только песок и море. Здесь люди, значит. Рыбаки. Рыбачки. Семьи. А как же?! Сидит такой Матуа, а от него одно горе народу. И никак его не одолеешь.

Вытерев руки о фартук, старуха села на приступок и поведала о том, как один директор рыбозавода лет пять баклуши бил, и никак не могли его сбросить с того места. (Я потихоньку обернулся к Свете — она стояла все там же, у калитки, прислонившись щекой к старому столбу.)

— Не найдем управы на бездельников, — заключила старуха.

— А вам-то какая корысть? — спросил я.

— Как так — какая? — возмутилась старуха. — Или я не живой человек, или Скурча для меня чужая?.. Да вы подивитесь на эту красоту. Уют-то какой! В целом свете не сыщешь! Тут бы впору рай соорудить. Земной рай. Здесь бы рыбу есть да не пере-есть. А вы — что? Дескать, косяк плывет. Что твой косяк? Разве Скурча только косяками живет и жить должна? Здесь, брат ты мой, все как в театре должно быть: играть, блеснуть, сытостью да красотой людей удивлять. Не то что рыбой похвалиться. Да и той нету!

Ну и попал же в переделку! Старуха ажно с кулаками на меня напустилась. Но я не сердился. Понимал, что она скурчинское начальство кроет, а кулаки у меня под носом — для пущего моего убеждения.

Горячие, как уголья, старухины слова привлекли внимание Светланы. Она подошла к нам. Я несказанно был рад этому.

Закончив негативную часть речи, Анастасия Григорьевна перешла, так сказать, к конструктивным предложениям. Главнейшее из них заключалось в том, чтобы люди на должностях своих не засиживались слишком долго. Я попросил уточнений.

— Что, разве не по-русски говорю? — сказала она, подбоченившись. — Председатель колхоза, почитай,

полтора десятка лет работает. Председатель сельского Совета — и того более. Председатель сельпо чуть ли не тридцать на своем месте брюки протирает. Он построил и сменил три дома. А нынче дворец строит на шоссе.

Я, кажется, уразумел суть ее предложения: надо чаще менять начальство в Скурче, чтобы не прирастало оно к своему стулу и не обрастало мохом, не покрывалось лишаями. Во-первых, новая метла всегда лучше метет. Во-вторых, всякой шушеры вокруг начальства меньше виться будет, и само начальство, в-третьих, не так уж зазнаваться будет. Вот какие, значит, мысли зрели в голове этой многострадальной женщины. Она непрестанно подчеркивала, что говорит это «из своей неразумной головы», что она «темная и малограмотная» и так далее.

— Как это, значит, получается? — продолжала Анастасия Григорьевна. — Вот столб (она указала на штакетник). Он вроде бы здесь и стоял всю жизнь. Он же с землей — одно целое! Так и начальство: к столу прирастает, со стулом — одно, значит, живое. Кровь от жил, значит, к стулу течет и к столу, значит, на котором бумаги и печати. Вот оно как!

— Что скажете вы? — обратился я к племяннице Анастасии Григорьевны.

— Вот тут я с тетей согласна, — с живостью отвечала племянница. — Нельзя, чтобы человек считал учреждение своей вотчиной. Я читала Программу партии...

— И что же, Света?

— Там ограничен срок: выбрали два раза, а на третий — надо подумать.

— Что я говорила? — Анастасия Григорьевна торжествовала. — Что говорила? Только подумала, а уж где-то записано это самое...

Светлана сказала:

— Когда в Скурче жизнь по всем нашим законам пойдет, тогда хорошо будет.

— То-то и оно-то! — поддержала племянницу старуха. — Поди, доченька, ведро воды принеси.

Света ушла по воду. А старуха вопросительно уставилась на меня:

— Какова-то девушка, а?

— Хороша!

— А ума-то в ней сколько!

— Разумна, смышлена. Несомненно.

Однако старухе все это казалось недостаточным:

— И скромна, и работница, и начитанна. Сейчас таких девушек — раз-два, и обчелся. Не потому, что она — моя, кровная, а потому, что правда все это.

Я полностью с ней солидаризировался.

— И не дурнушка какая-нибудь, — как бы вслух размышляла Анастасия Григорьевна. — В прошлом году едва из детства вышла, а нынче расцвела, что твой цвет.

Светлана принесла воды, и мы перевели разговор на другое. Но поговорили мы недолго. Анастасия Григорьевна вдруг учуяла какое-то движение на берегу. Тут же взбежала на крыльцо, приложила ладонь козырьчком ко лбу:

— Никак, сейнера плывут...

Пробежавший мимо дома сосед крикнул Анастасии Григорьевне:

— Слышь, Григорьевна: коли рыбки хочешь — поспешай на́ берег!

Старуха пояснила мне:

— Рыбаки, значит, рыбу поймали. Так они на минутку к берегу причаливают и продают ее народу. Не всю, а малую дольку. Продадут — и давай, давай в море! А иначе приметит начальство и жару задаст. Вот такие, брат, дела!

Есть, по-моему, смысл в двух словах рассказать о том, что творилось на берегу.

Недалеко от того места, где стояла машина Глущенко, толпился народ, сбежавшийся почти со всей Скурчи. В двух кабельтовых от берега красовался сейнер. Сбавив ход, медленно подплывал к нам. Неторопливо, расчетливо. Вскоре от него отделилась лодчонка. С каждым взмахом весел она сокращала расстояние между собой и берегом. Вот наконец уперлась носом в песок, и к ней протянулись десятки рук с деньгами и кошелками. Такса была твердая: рубль за три ставриды. А вяленая — по два рубля за штуку. Посудинка морская ходила к сейнеру и обратно. Торговля шла

бойко. Возле мыса Кастора тоже маячил сейнер. Там тоже продавали рыбу.

Не так-то просто было пробиться к лодочнику. Его обступили плотным кольцом молодые и пожилые скурчинцы. Я стоял в нерешительности: то ли бросаться напролом, то ли ждать своей очереди? Инстинкт и житейский опыт подсказывали мне держаться первого правила, то есть идти напролом. Но ведь, кроме инстинкта, была еще и совесть. (Правда, с нею можно было остаться без рыбы.) Рядом со мною толкалась Света, совершенно растерянная в этой толпе.

Вдруг кто-то окликнул меня. Возле носа лодки распоряжался Витольд. Он приветливо помахал рукой и справился: сколько? Я показал ему пять пальцев. Он немедленно передал мне через головы поклонников морской фауны пять серебристых ставрид. И крикнул: «Деньги потом».

Я взял Светлану под руку, и мы счастливые отправились домой. В двух шагах от калитки повстречали какого-то дядю, который перепродавал вяленую ставриду. За три рубля купил у него отличную рыбку. Светлана ахнула, когда увидела, сколько я плачу.

— Это же обдираловка,— сказала она негромко.

Слова ее были услышаны дядей. Он бросил в ее сторону взгляд, полный презрения.

— Мадам,— проскрежетал он зло,— если дорого, могли бы сами половить рыбу.

— Очень дорого! — не отступалась от своего Светлана.

— Дорого?!

— Ничего, ничего,— сказал я примирительно.— Каждый берет за свой товар столько, сколько считает нужным.

Перекупщик еще раз окатил Свету целым ушатом презрения:

— Слышите, мадам? Ваш супруг правду говорит. Он, видно, человек умный. Понимает толк в рыбе!

Мы поскорее скрылись за калиткой, чтобы не слышать больше его разглагольствований.

— Мадам! — шутливо обратился я к Свете.

— А что, разве я похожа на мадам, Лев Николаевич?

— В смысле женственности — да.

— Это хорошо или плохо?

— Хорошо, Света. А плохо то, что вы не хотите меня видеть.

— Неправда.

— Когда же вы придете, Света?

Она молчала.

— Когда же, Света?

И вдруг:

— Может, нынче ночью.

У меня аж дыхание сперло.

— Я буду ждать, Светочка,— с трудом выговорил я.

Она шагала впереди меня. Полуобернувшись, бросила:

— Ждите. Приду.

Анастасия Григорьевна была довольна сверх меры.

— Чую рыбу, — сказала она. — С уловом вас!

— Спасибо, Анастасия Григорьевна. Вот мы с молодой рыбачкой поработали сколько могли.

В припадке нежности она поцеловала Светлану:

— Умница ты моя, рódная.

Чувствовал себя явно не в своей тарелке. Здесь, в Скурче, от этого имеется прекрасное средство: море. Забежал в бунгало, взял трусы и полотенце. Намерение мое было вполне определенным: выкупаться, прийти в себя. Лягу, думаю, и буду лежать в воде, пока не озябну. Но по дороге переменил свое решение. Ведь есть еще не менее сильное средство, чем море. В соответствии с вышеизложенным повернул к Шукуру. И в некотором смысле даже повезло: ко мне примкнул Валя Глущенко. Он был зол, как бог во дни потопа. И тоже захотел взбудоражить себя общеизвестным способом. Жена его махнула куда-то в город за покупками. Он с нею не поехал: довольно нагляделся на нее здесь, в Скурче...

— Так нельзя жить, Валя,— заметил я.

— Знаю!

— Вы что, разведетесь с нею?

— Это решено!

— А что она?

— По-моему, и до ее сознания дошло, что больше так невозможно.

Он выглядел и злым и удрученным. Вполне ему сочувствую: развод не самое веселое занятие. Все это тягостно. А может быть, он любит ее? Тогда это тягостнее втройне.

— Вы ее любите, Валя?

Он протер очки.

— Как вам сказать?

— Любите, значит.

— Она была совершенно другою. Ее словно подменили.

— А долго за нею ухаживали?

— Долго... Пожалуй, все прошлое лето.

Я чуть было не прыснул со смеху: после слова «долго» он сделал паузу, и я подумал, что Валя подсчитывает какой-то продолжительный срок, — ну, скажем, два, три года, а может, и пять лет. Одно лето! Ну что же, и лето вроде бы не неделя. И тем не менее очень мало — человека же надо узнать досконально!

Валя был несколько иного мнения на этот счет:

— Да нет же, Лев Николаевич, мы с нею познакомились в Трускавце. Потом встречались в Киеве. Она познакомила меня со своей мамой. Все было нормально. Лида — прекрасный работник. Очень ее в институте любят...

— Наверное, баловали ее в детстве...

— А что особенно-то баловать? Отец ее, полковник, бросил семью. Лиду воспитали мать и отчим.

Я посоветовал ему:

— Тогда ищите причину в себе.

— Как это — в себе?

— Значит, виноваты вы.

— Это почему же? Нет, вину на себя не приму. Я к ней отношусь как нельзя лучше.

— Что же это? Вы — хороший, она — хорошая. А любви-то, видимо, нет!

— Видимо, нет, — повторил он, точно эхо.

— Как это у вас говорят? Не вмер Даныла, так болячка задавила. Так, что ли?

— Да, так.

— Анализ имеет смысл только тогда,— убеждал я,— если в результате будет найдено решение вопроса. Но что решать, ежели нет любви?

— Верно, решать нечего, Лев Николаевич...

Мы вошли в «отдельный кабинет» шукуровского «Националя». К счастью, мы оказались нынче единственными посетителями: могли посидеть и поболтать.

Шукур подошел, пожал нам руки. Повторяю: это был образец здорового человека, не обремененного, однако, никаким интеллектом. Глаза его сверкали, если можно так выразиться, тем коммерческим огоньком, который, наверное, загорался в решающие минуты у Генри Детердинга или какого-нибудь Ротшильда.

Валя твердо заявил, что желает угостить меня, а посему все переговоры с Шукуром будет вести единолично.

— Вот что,— сказал Валя,— атоубáры есть?

— Что это такое? — поинтересовался я.

— Абхазские домашние колбасы,— объяснил скороговоркой Валя. — Есть атоубáры?

— Для вас найдем,— прохрипел Шукур (после серьезных возлияний голос у него пропадал на два-три дня).

— Чача есть?

— Будет.

— Только покрепче.

— Семьдесят градусов устроит?

— Вполне!.. Чурек, зелень и все прочее — на ваше усмотрение, Шукур. Да, минеральной не забыть бы.

Шукуру было все ясно — эти двое хотят выпить средне не очень здорово, но и не очень мало.

Валя вернулся к прерванному разговору:

— Понимаете, Лев Николаевич, жизни не будет. Может, во всем виноват я. Как говорится, за дурною головою ногам нема покою. Голова у меня, наверно, дурная — и отсюда вся беда.

— Что сказать, Валя? У меня по этой части нет опыта. Я всего-навсего теоретик. Умные головы утверждают, что жену надо выбирать осмотрительно. Но и самая большая предосторожность иногда является тщетной. Тоже умные говорят, что женитьба — лотерея. Скорее всего, это так. И тем не менее жен выбирают. Да-с. Старомодно, может быть, зато правильно!

Мы мало собираем информации о невестах. Нас вполне устраивают ее карие или голубые глаза. Или милое личико. Но воду-то пить не с лица! И жизнь прожить — не поле перейти! В прежние времена информацию добывали свахи. А нынче нам некогда. Поцеловались — и поженились! Согласитесь, что мудростью здесь и не пахнет. Зато легкомыслия — хоть лопатой выгребай.

Валя обхватил голову своими ручищами, точно она готова была арбузом свалиться наземь. Снял очки. И я, можно сказать, впервые увидел его глаза — такие добрые, мягкие, водянисто-серые. Такой большой и сильный мужчина — и такой нежный взгляд и неопределенность в чувствах! Лидочка, видимо, обладает сильным характером. Она знает, чего хочет, и, по всей вероятности, не терпит мягкотелости. Есть женщины, которым, наверное, нужен муж-господин. Я не сомневался ни на минуту в том, что Лидочка принадлежит именно к такому типу женщин. Говорят, что природа требует дополнений: то есть муж в чем-то дополняет жену, и наоборот. Например, сильным женщинам нравятся слабые мужчины, высоким — низкие, низким — высокие, и так далее. Все это, может быть, и верно, за исключением первого случая: сильные женщины нуждаются в еще более сильном муже, подобно тому как необъезженные жеребцы — в искусном седоке... А впрочем, может быть, все на этом свете наоборот. Супружество — такая вещь, которую под определенные правила не подгонишь. Лотерея, возможно, лучшее определение ему. Поэтому жениху и недолго обмисуриться. Лично я не очень-то доверяю лотерее. Предпочитаю все видеть собственными глазами и пощупать товар собственноручно.

Когда высказал эти соображения Вале, он усмехнулся:

— Вы ни разу еще не ошиблись в своих женах. Это делает честь вашей теории.

Он прав: мой голос в решении семейных проблем не может не быть сугубо совещательным...

Шукур расставил на столике тарелки и рюмки. Чача блеснула серебристыми струйками. Мы выпили. По одной. По другой. Запивая минеральной... Что я могу

сказать? Настроение — и мое и Валино — значительно улучшилось. Суждения стали более резкими, определенными. Мы с Валею уже всю громил коварный женский род. Ему наверняка не поздоровилось бы, если бы Шукур не отвлек нас.

— Витольда знали? — спросил он.

— Какого? Молодого человека из Москвы? — спросил Валя.

— Он и молодой, и золотой. С семьей отдыхал здесь. Я такого хорошего друга давно не встречал. — Шукур вздохнул. — Он сегодня завел машину и газанул в Москву.

— В Москву?

— А может, и не в Москву. Его вчера вызывали в Сухуми, и по телефону с Москвой разговаривал. Наверно, плохой был разговор. Приходит Витольд и говорит: «Шукур, мой друг погорел». Погорел — это плохо! На пустяке погорел. Обэхаэс накрыл.

Валя заметил, что Витольд, несомненно, занимался кое-какими махинациями.

Шукур отверг эти подозрения:

— Махинации?! Дорогой, какие это махинации, если лишний рубль зарабатываешь?!

— Его жена торговала в Скурче чулками и комбинациями. Весь берег снабдила.

Шукур развел руками:

— Люди спасибо ей говорили! А как же? Где достанешь чулки? Почти по твердой цене. Нет, Витольд — парень на большой! Только скажу по секрету: настоящему парню сейчас очень тяжело. Со всех сторон прокуратура, суд, милиция, обэхаэс! Кто это выдержит? Вы? Я? Никто не выдержит, если золотой Витольд не выдержал! Он сказал так: еду, говорит, Шукур, в Москву. Выручу друга, и — баста! Бросаю, говорит, работу, перехожу с производства в канцелярию. На повышение пойдет!

Валя захмелел. Он грубо выругал жуликов, всяких этих витольдов...

Шукур промолчал... Ушел к себе и больше не показывался. Его сменила жена.

— Черт с ним! — пробасил Валя с зубным скрежетом.

Нет, чача сделала из него настоящего мужчину.

Лидочка в одних трусах и бюстгальтере жарила яичницу. Сковородочка стояла на походной газовой плите.

— А мы уже обедали,— сообщил ей Валя.

— Догадываюсь.— Лидочка смерила нас обоих насмешливым взглядом.— Прикажете мне без чачи обедать?

Я тотчас повернулся на сто восемьдесят градусов и рысцой понесся к Шукуру. Было очень приятно через пять минут вручить Лидочке бутылку. Она сказала, что не привыкла пить одна. И мы с Валею расселись на земле, наподобие пашей. Перед нами белела свежая салфетка, были расставлены тарелки, к которым присоединилась и зеленая бутылочка от Шукура.

— Мы выпили капельку,— оправдывался Валя.

— Вас бы следовало за чупрыну потаскать. Как запорожцев жинки таскали.

— Ну, Лидочка, зачем такие крайние меры? — взмолился я.— С нас вполне достаточно и словесного выговора. Без занесения в учетную карточку.

Валя полез к ней целоваться. С показным видом она отталкивала его. А глаза у Лидочки блестели, как у ведьмы.

— Отстань, скаженный! — прикрикнула она на мужа. Но ведь женщину понимать надо, когда она, что называется, понарошку что-нибудь делает, а когда взаправду. Вот сию минуту это было понарошку.

Лидочка хохотала, не выпускала из рук сковородки: жарила и целовалась. Наконец мне это надоело.

— Послушайте,— сказал я,— вы не могли бы отложить свои ласки до вечера?

Валя посмотрел на меня воловьими глазами и сказал:

— Нет.

— Почему же? Я прошу объяснить. Может, мне уйти?

— Лев Николаевич, она без вас не разрешит. Становилось любопытно.

— Правда это? — спросил я Лидочку.

Она ответила кокетливо:

— Правда.

— Слыхали, Лев Николаевич?

Ведьма выставила напоказ все свои потрясающе здоровые зубы и захохотала во все горло.

— Ладно,— сказал я,— поглядим, как долго способны вы миловаться на людях.

Яичница начинала подгорать, и это обстоятельство вынудило Лидочку бесцеремонно оттолкнуть захмелевшего мужа. Валя говорил, что Лида баба что надо, но что иногда ей вожжа попадает под хвост, и тогда ее несет бог знает куда. Он нес всякий вздор. Но она не сердилась, принимала все как должное.

— Ты дашь мне покушать? — сказала она мужу.

Тот молча поднялся и, шатаясь, направился к морю.

— Пейте,— предложила Лидочка.— Ваше здоровье!

Мы чокнулись. Она потребовала, чтобы мы смотрели друг другу в глаза, в самые зрачки. Чтобы все было без лжи, искренне. Я, признаться, не понимал, что должно быть без лжи...

— Поменьше рассуждайте,— посоветовала она.

Я вознамерился поцеловать ей руку. Она протянула ее. Мне стало весело.

— Лида,— сказал я,— вы мне очень нравитесь.

— Скажите пожалуйста!

— Я это всерьез.

— Что прикажете делать?

— Нет, ничего. Я высказал вслух свою мысль.

— Вы всем высказываете?

— Всем невозможно.

— А вашей Светлане?

— Какой Светлане?

— Браво! — воскликнула она и захлопала в ладоши.— Он уж позабыл ее! Вот так настоящий мужчина! Люблю непосредственных!

А ведь верно: есть такая Светлана, совсем недалеко отсюда.

— Лидочка, почему вы Светлану вспомнили?

— Просто так.— В глазах у нее сто чертей.

— Просто так не бывает.

— Нет, бывает.

— Лидочка...

— Да?

— Вы же научный работник... Ученая...

— Дайте соли, Лева.

— Не дам.

— Почему?

— Скажите: «Дай соли, Лева».

— Не скажу.

— Почему?

— Надо говорить: «Скажи «Дай соли, Лева».

Я схватил ее руки и давай целовать. Она хохотала на весь берег, запрокинув голову.

— Хорошо, Лидочка, скажи: «Дай соли, Лева».

— Дай соли, Лева.

— Бери, Лидочка, бери.

— Это — другое дело.

Так мы дурачились, пока Валя изображал фыркающего дельфина. Я был, как это нетрудно определить по вышеприведенному диалогу, навеселе. Не то чтобы очень, но хорошо навеселе, ибо мы с Валею чуточку посидели. (Один мой друг, журналист, говаривал: бутылка водки на двоих — значит, просто остановились на дороге; по бутылке на брата — посидели, а уж больше — выпили! Если принять эту терминологию, мы с Валею «посидели».) Я опять повернул разговор на Светлану. Нет, почему Лидочка вспомнила Светлану?

— Разве она не нравится тебе?

— Как сказать?..

Лидочку вдруг взорвало:

— Что это ты, Лева, очки втираешь: мне все рассказала тетя Настя.

— Что — все?

— Как она на свиданку к тебе приходила.

— Тетя Настя?

— Не смейся, Лева. Не Настя, а тетя Светлана. Старуха так и сказала на свиданку. Что это за слово?

— Не знаю, — буркнул я.

— Юпитер, ты сердишься, — значит, ты не прав.

Я сказал про себя: что эта Лидочка представляет собой? Странная или обычная сумасбродка?

— Не смотрите так на меня.

— Буду!

— Я прошу.

— Ты обидела меня.

— Я? Чем же?

У нее расширились глаза. Руки она скрестила на груди. На ресницах, к моему великому удивлению, блеснули слезы. И вдруг — как бросится ко мне на грудь да как зарыдает!.. Боже, что же это такое?

С меня весь хмель как рукой сняло. Лидочка рыдала у меня на груди, точь-в-точь как в старинных романах. Вот застанет нас, думаю, Валя в таком виде — что вообразит? Горе ее было неподдельным, слезы натуральными. Все было реально, за исключением причины, которую я даже отдаленно не мог представить себе. Я был далек от мысли о том, что мои с Лидочкой отношения довели ее до истерики. Тем более глупо предполагать, что в этой несусветной истории замешана Света. Пока я размышлял, она плакала и слезы ее лились мне на грудь. В более глупом положении мне давно не доводилось быть. Что делать?

Я принялся успокаивать ее, как мог. Боюсь, что она не слышала моих слов. Я горячо утверждал, что вовсе не обижен на нее, что во всем виноват мой несдержанный язык, и так далее. Что уважение к Лидочке — превыше всего, и так далее. Что Светлана сама по себе, а я — сам по себе, что нет у нас ничего общего, и так далее. Что я скоро уезжаю и постараюсь забыть и тетю Настю, и ее племянницу, и так далее.

Неожиданно она отшатнулась от меня, вытерла слезы, высморкалась в сарафан, который валялся рядом с нею, и как ни в чем не бывало принялась доедать яичницу.

Я ровным счетом ничего не понимал. Если бы не эта влага на моей рубашке, то вообразил бы, что нахожусь в глубоком сне.

— Чего вы сидите? — сказала Лидочка. — Пейте, ешьте.

Не верил своим ушам: как это — пейте, ешьте? А слезы? А рыдания? Трын-трава?

— Не обращайтесь внимания, Лев Николаевич, я же ужасная дура. Все это спонтанно, независимо от меня. Вдруг мне показалось, что вы женитесь на Светлане. И чисто по-женски приревновала. Я способна ревновать к кому угодно.

— Позволь... Позвольте...

Она совершенно успокоилась, будто только что на свет народилась. Не дала мне высказаться.

— Лев Николаевич, я вам объясню все. Тут недавно встретились мы с тетей Настей и почесали языки. Вот она и говорит: «Живет тут один,— да вы его знаете! — он в мою Свету влюблен». Дальше — больше: выясняется, что вы поженитесь.

— Что за чушь!

— Не знаю. Я говорю, что было. Вот я и не выдержала. Можете меня осуждать, сколько угодно.

Нет, без чачи здесь не разберешься — чепуха какая-то! Происходил ли между ними такой разговор, или Лидочка сфантазировала — трудно судить. Скорее всего — второе.

Я налил себе и Лидочке.

— Выпей, Лида.

— С удовольствием!

Наконец появился Валя. Улегся рядом с женой. Я счел момент благоприятным и, что называется, смотался.

На нашей скамеечке сидели Леварса и Анастасия Григорьевна и о чем-то беседовали. Завидев меня, подвинулись, освобождая местечко.

— Посидите с нами,— пригласил Леварса.

— Не помешаю?

— Нам? — Леварса подмигнул старухе.— Мы уже объяснились, что любим друг друга.

— Да, да! — со смехом подтвердила старуха.

— Раз так,— сказал я,— разрешите к вам подсесть.

Леварса выглядел, как всегда, молодцом: бритый, подтянутый, чистенький. Закурил самокрутку и меня угостил.

— Лева,— сказал он,— вчера я слушал радио. Разговаривали о мире. О войне тоже. И о бомбе. Наверно, это очень плохо, да?

— Что — плохо?

— Новая война.

— Очень,— сказал я.

— Как она называется, Лева? Я забыл ее имя.

— Термоядерная?

— Вот-вот!

Леварса объяснил тете Насте, что это за война такая. Значит, так: разорвется одна бомба — и на

триста верст все вокруг выгорит. Потом образуется облако, которое все отравит: и людей, и зверей, и рыб.

Тетя Настя сокрушенно мотала головой:

— Светопреставление... Светопреставление...

Леварса искал у меня подтверждения. Я сказал, что термоядерная война наверняка опустошит планету. Война нынче — сплошное безумие.

— А что я говорил? — Леварса обратил свой вопрос к старухе, будто она не соглашалась с ним. — В эту войну я со стариками ходил на Санчарский перевал. Наступал немец, а мы везли продукты нашим на фронт. Бомбы — бум, бум, бум! Там, здесь, впереди, сзади. Если на голову не упадет — ничего!.. А если будет новая война — куда денешься?

Тетя Настя кивнула:

— Никуда.

— Как говорят абхазцы, свое имя позабудешь. Правда, Лева?

— Пожалуй, так.

Старуха заахала. Это очень плохо, если будет новая война. И пусть тот с места не встанет живым, кто войну желает. Только изверги ее хотят. Разве не довольно войны? В первую не пришли одни, в гражданку — другие, в последнюю войну — третьи. Все близкие — почти все — погибли от пуль.

— Надо тому язык отрезать, — сказал Леварса, — кто за новую войну болтает. Разве можно воевать атомными бомбами? Один студент говорил мне, что если сделать большой взрыв — наша земля может треснуть, как спелый арбуз.

— Ой! Ой! — Старуха, по-моему, готова была перекреститься.

Леварса не жалел мрачных красок. Он рисовал страшную картину вселенского опустошения. Содом и Гоморра бледнели перед всепожирающим пламенем термоядерной войны. Тетя Настя сидела ни жива ни мертва.

— Между прочим, — сказал я, — Леварса очень близок к истине. Если когда-либо разговоры о конце света имели под собою почву, то именно сейчас. В ядерный век. Можете мне поверить. Я видел на экране настоящий ядерный взрыв. Это страшно! Это оружие Судного дня. Вот когда человечество единогласно

решит покончить самоубийством — пусть начнет атомную войну.

Леварсе очень понравились мои слова в смысле поддержки его, Леварсиного, взгляда на современную войну. Этот абхазский крестьянин попросил меня, журналиста, выступить с «зубодробительной статьей» против тех, кто хочет войны. Нельзя, дескать, играть жизнью миллионов и миллионов людей!.. Я сказал, что против войны пишут и борются и без меня, но что при случае не премину сообщить всем, всем, всем о мнении скурчинского человека...

— Скажу спасибо, Лева. Мое спасибо — не только мое спасибо. Весь народ так думает. Был бы на твоём месте — написал бы об этом красиво и послал бумагу нашему правительству.

— Верно, верно ведь! — поддержала его старуха. — Все скажем — больше веры будет нашим словам.

— А наше правительство горой стоит за мир, — сказал я.

— У нас есть пословица... — Леварса подумал, подумал. — Вот какая пословица: одного человека спросили, значит, что самое дорогое на свете? Этот человек был очень храбрый. Всю жизнь воевал. Был настоящий герой. Знаете, что он сказал? Он не сказал: бриллиант. Не сказал: золото. Не сказал: деньги. Он сказал: мир!

Старуха облегченно вздохнула.

— Дай ему бог здоровья! — сказала она. — Хороший был человек!

Разговор понемногу перекинулся на погоду. Когда пойдет дождь? Позавчерашний дождичек не в счет. Разве это дождь, если землю чуть покropило? Надо, чтобы дождь шел день, шел ночь, еще день и еще ночь. Шел как сумасшедший, чтобы промочил землю на глубину в пол-аршина, чтобы почувствовалась влага, чтобы комья на поле были как комья, а не как булыжники на берегу моря.

— А как же мы загорать будем? — пошутил я.

— Ничего не случится, Лева, если два-три дня дома посидишь. Я тебе чачу принесу, выпьем, в карты поиграем. Когда на поле все хорошо — можно и в карты поиграть.

Старуха держалась точь-в-точь такого же мнения. Если на огороде благодать — человек обут и сыт. А на одном загаре далеко не уедешь. Я их вполне понимал. Так сказать, разумом. А все-таки хотелось ясной, жаркой погоды. Впрочем, ведро стояло и без учета моего мнения. Небесная канцелярия в этом смысле — абсолютный диктатор: он глух и к голосу разума, и к воплям души...

— Пойду пригоню корову, — сказал Леварса. — Она так кушает траву, что не оторвешь ее. А что кушает? Почти сено! Дождя же нету!

И когда он встал и покинул нас, старуха сказала с особенной ноткой уважения:

— Ох и правильный же человек этот Леварса! Он, Лев Николаич, на своих ногах стоит. Голова и руки — вот его опора. Как упрется он в плуг, а ногами — в землю, тут он и бог, и царь, и герой, стало быть. Как в песне той поется. Пяток таких мужиков — вот чтобы с места не встать! — любую область прокормят. И совсем запросто. Как бы в шутку. Только дай им волю, дай своим разумением работать. Ты, значит, ему того, скажи, что надо, а уж как и чего — это его ума дело. Он у тебя советов не спросит, и ты к нему со своими не лезь. А только осенью урожай принимай. Ей-богу!

Вечерело. Море с трудом шевелилось в своем гигантском ложе. Оно, казалось, из ртути. Небо горело на западе холодным пламенем. Оранжевый диск солнца медленно опускался в серое облачко. Это облачко смутило меня. Не к дождю ли? Анастасия Григорьевна подтвердила, что именно к дождю. Да и ветерок что-то слишком посвежел. Ей-богу, к дождю!

9

К полуночи сделалось неимоверно душно. Звезды скрылись за плотным слоем облаков. Море зашумело. Дышать было нечем. Все это произошло буквально в несколько часов.

Я пошел к колодцу и вылил на себя полное ведро. Но это было все равно что в Сандунах опрокинуть на себя ушат холодной воды, — почти никакого облегчения.

Я завалился на нары и закурил. Стал думать о том о сем. Точно высчитал, что до конца отпуска осталось шесть дней. Через шесть дней поеду в Сухуми и попытаюсь сесть в любой проходящий московский поезд — ведь я же «дикарь» и позаботиться о моем билете некому, кроме как самому. В крайнем случае улечу — аэродром под боком. Нет, лучше, пожалуй, лететь. Там, наверху, прохладней.

И вдруг по крыше ударил дождь. Или, по выражению одного моего друга, настоящий дождяра. Такой хлесткий, тропический ливень под грохот грома и сверканье молний. Сразу полегчало — словно впрыснули возбуждающее или поднесли бокал холодного вина.

Я чиркнул спичкой и посмотрел на часы: без четверти час. Ну, слава богу, теперь можно и поспать, теперь-то уж не задохнешься...

Небесная твердь неистовствовала почти на библейский манер: она разверзлась, из нее лилась вода, она исторгала молнии, похожие на корни старого гигантского дуба. Одним словом, потоп был в полном разгаре. Все было в полном соответствии с Моисеевым описанием в «Бытии»: «Разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились... Вода все усиливалась и весьма умножалась на земле...» (Не так давно мне довелось писать о семье одного уральского баптиста, и я освежил в памяти сотворение мира по Библии.)

Лежал и слушал шум дождя. И даже не заметил, как вошла Света...

Поверил не сразу. Думал, во сне...

Нет, это была Светлана, в мокром платице, мокрая как рыба. Я подал ей полотенце, и она вытерлась, смеясь мягким, грудным смехом. Потом уселась на стул. Сложив руки на коленях.

Молча.

Без единого слова.

Ничего не объясняя.

Полная доверия...

Мы смотрели друг на друга. Долго. Очень долго. В свете молний любовался ее профилем. Профилем боярыни чистойшей голубой крови.

А дождь все хлестал. Бил по кровле неистово. И самое удивительное: крыша не протекала, хотя и казалась решетом.

Она не проронила ни единого словечка.

— Света! — почти крикнул я.

— Я слушаю, — сказала она.

— О чем ты думаешь?

— Я?

— Да, ты.

— Дождь идет...

— Та-ак...

— Молнии точно зенитки бьют.

— Разве ты помнишь войну?

— Конечно, нет.

— Где же ты видела отсветы зенитных залпов?

— Как — где? В кино.

— Ах, в кино...

Дождь все хлещет да хлещет по дранке и вдруг кончается. Разом. Словно воды не стало там, наверху. После небольшой паузы — новая порция увесистых струй. Гром гремит над самым бунгалом. Он взрывается где-то справа от нас. А может быть, сзади. Или спереди, на огороде. То возле колодца. Вся Скурча дрожит, как при землетрясении. Гудит, будто огромная пустая комната, в которой бьют в литавры...

— Ты боишься грома, Света?

— Боюсь.

— Очень?

— Очень.

— А я думал — ты храбрая.

— Ой, что вы...

— Может, ты снимешь платье и оботрешься вон тем мохнатым полотенцем? А я отвернусь.

— Я уже обсохлась... Правда...

Молчание. Только дождь. Только гром. Сплошная вода вокруг...

— Светлана...

— Да.

— Скажи мне что-нибудь.

— Я люблю слушать.

— У тебя голос такой...

— Какой?

— Как бы тебе сказать? Волнующий.

Она тихонько засмеялась. Таким недоверчивым смешком — дескать, почему неправду говорите?

— У меня голос скрипучий.

— Совсем не скрипучий. Низкий такой. Низкий женский голос — что может быть лучше?

— Вы это говорите, чтобы не обидеть меня.

Я решительно поцеловал ее в губы, жаркие, как уголья.

— Ну и горячая ты!

Она поправила:

— Нет, холодная, точно улита.

— Неправда... Слушай, Света, ну поцелуй же меня! Ты обещала меня поцеловать.

— Не сейчас.

— А когда же, Света?

— Когда люблю вас.

— Значит, не скоро?

— Не знаю.

— Теперь вижу, что я тебе безразличен.

Светлана сказала очень серьезно:

— Неправда... Но не заставляйте целовать. Целуйте вы.

— Не люблю целовать иконы. Давно их целовал и не намерен возвращаться к ним.

— А женщин целовали?

— Целовал.

Она умолкла.

— У тебя, Света, больше нет вопросов?

— Нет.

— Тебе скучно со мной?

— Напротив, хорошо.

Вдруг ахнул гром, да такой неимоверной силы, что казалось, разнесет в щепы мою хижину, а нас самих превратит в пепел.

— Света...

— Слушаю.

— Света, а почему ты ничего не расскажешь о себе?

— Что, например?

— Что-нибудь.

— Как одного мальчишку возненавидела?

— Хотя бы...

А впрочем, сказала она, может, это и не интересно?.. За ней ухаживал один. Такой разбитной парнишка лет двадцати. Это там, в Туапсе. Они вместе учились в школе. Сидели на одной парте. Однажды пришел к ним на огород, где она полола капустные грядки. И стал приставать... И тогда она исцарапала ему все лицо. Как кошка... А он сбежал. И стал противен, как змея...

Она сказала:

— Лев Николаевич...

— Да?

— Теперь вы презирать меня будете?

— За что?

— За то, что пришла... Сижу тут с вами... Ночью... Совсем без стыда...

— Что ты, Света! И тебе не совестно задавать мне такой вопрос?

— Нет. Потому что и сама не знаю, что делаю...

— Милая, милая Света!

Мы сидели еще долго, вот так просто, глядя друг на друга. А потом вдруг она спохватилась, точно ее позвали, и выскочила из моего бунгало.

И Шарик взвизгнул, будто на хвост ему наступили. А потом стал лаять. В первую секунду я подумал, что мы разоблачены, что кто-то подкарауливал. Но нет, все оказалось в полном порядке...

Дождь унялся. В воздухе пахло озоном. Далекие зарницы напоминали о недавней грозе.

Меня позвали. Голос шел от калитки. Я решил, что это Валя Глущенко. И не ошибся: он стоял за забором.

— Лев Николаевич,— сказал Валя прерывающимся голосом,— несчастье.

Я живо натянул на себя брюки, безрукавку.

— Что случилось? — спрашиваю, а сам гляжу в сторону дома — все ли там в порядке. Там все тихо, все спокойно.

Шарик полаял, полаял и угомонился. Побежал к себе под лесенку и заскулил.

Луна была большой и ясной, точно ее только что умыли. Она освещала Валу как прожектором. Могу

сказать одно: лицо у Глущенко было перекошено, словно от страшной боли. Какое-то горе, вернее, страх исказил его. Валя тяжело сопел и не мог выговорить ни слова. Я взял его за руку и попросил объяснить толком, в чем же дело.

— Лида, Лида... — с трудом выговорил он. — Лида... Лида...

— Что Лида? Где она?

— Там. — Валя кивнул в сторону моря.

Я заскочил в хижину и вынес стакан воды. Он отхлебнул глоток и чуть не поперхнулся: бедняжка был на грани шока.

— Утонула Лида, — смог он сообщить наконец.

— Как — утонула?! Когда?!

— Сегодня ночью.

— Где?! — задал я довольно странный вопрос.

Он вытянул руку, указывая на море.

Я бросился туда, куда... Словом, к морю. За мною заторопился и Валя. Я слышал за спиною топот бегемота, преследующего врага. Это придавало мне сноровку и силу.

Добежав до белой каемки моря, я остановился перед чернильной бездной.

— Дальше, дальше, — скомандовал Валя. И мы помчались вдоль берега. И вдруг остановился как вкопанный: передо мною в нескольких шагах лежало что-то голубоватое.

— Да, — услышал я над ухом, — это ее платье. А там туфли и штанишки.

— Какие штанишки? — Я не сводил глаз от этого голубоватого пятна на черном песке.

— Шелковые, — пояснил Валя.

Ничего не понимаю: при чем шелковые штанишки? И почему они на берегу? Что за чушь!..

— Она купалась? — спросил я.

— Не знаю.

— Где же она была?

— Я спал. А когда проснулся — ее уже не было. Я полежал в машине. Переждал ливень. А потом пошел искать. Наткнулся на платье. Я стал ее звать. Никакого ответа! Я поплыл в море. Зову — никакого ответа. О Лида, Лида, что же это такое?

И Валя заплакал. Навзрыд. Громко-громко. Ревел, как раненый лев. Рычал трагически, будто тигр. Бил себя в грудь, как горем убитый бедуин... Я внушительно сказал ему:

— Валя, не лучше ли поискать, чем плакать?

— Нет,— ответил он сквозь рыдания,— я не могу не плакать. О Лида, Лида!.. Что я скажу ее родителям?

— Где ее родные, Валя?

— В Киеве.

— И мать и отец?

— Да.

Мне хочется задать вам такой вопрос: что бы вы делали на моем месте? Нет, серьезно. Ну что? Было три часа ночи или утра. Весь берег спал. Ни души, кроме нас с Валею. Я спрашиваю: что делать? Глупо было обращаться с подобным вопросом к Вале. Он ничего не соображал. И все время твердил: «Лида, Лида!» — и никак не мог придумать, что скажет ее родителям по приезду в Киев...

Я счел необходимым учинить допрос, дабы выяснить, как говорится, все обстоятельства дела. У меня у самого голова не очень-то варила. Я был полон ею, Светланой. И мне, естественно, трудно было немедленно переключиться с роли Ромео на роль Шерлока Холмса.

— Валя, постарайтесь припомнить все детали. Когда вы легли спать?

— Часов в двенадцать. На надувных матрасах. А когда пошел дождь, мы перекочевали в машину.

— И вы, и Лидочка?

— Да.

— Потом вы уснули?

— Да. Во всяком случае, я.

— А когда вы хватились ее?

— Когда прошла гроза.

— Вы перед этим поссорились?

— Да.

— Сильно?

— Не очень. Лида заявила, что уйдет.

— Куда?

— Этого она не сказала.

— А вы и не поинтересовались, да?

— Верно. Она часто говорила: уйду да уйду! Я ей сказал, что она дура набитая. Что ненавижу ее. Но это была неправда.

— А она — что?

— Ничего.

— А потом вы нашли это платье?

— Да.

— Ничего не понимаю, — признался я.

Нет, в самом деле, я попрошу вас еще разок перечисть вышеприведенный диалог и сказать чистосердечно: что из него можно уяснить? Выходит, так: они повздорили, потом уснули, а потом Лидочка решила покончить с собой. Для этого она оделась, потом в тридцати шагах от машины разделась и — пошла ко дну... Лично я не вижу никакой логики в ее действиях...

— Валя, — сказал я, — говорят, что утопленника невозможно спасти через десять минут. Вы это знаете?

— Да, я слышал.

— Прошло, по крайней мере, полчаса. Верно?

— Да, так.

— Поймите меня правильно: торопиться теперь уже ни к чему.

— Скорее всего, так. Но нельзя же сидеть сложа руки до самого утра?!

— Верно, нельзя. Что вы предлагаете?

Мы внимательно прислушались к шуму моря и внимательно осмотрели поверхность его. Ничего особенного не заметили. Никто не взывал к нашей помощи. Никто не махал руками.

— Вот что, — предложил я, — пойдем к Шукуру и разбудим его. Позовем Леварсу, поскольку хорошо его знаю, и посоветуемся. На всякий случай разбужу и тетю Настю: пусть все знают о случившемся.

Бедный Валя повторял: «да», «да», «да»... Будь я на его месте, очевидно, вел бы себя так же...

Через полчаса прибыли Шукур и Леварса, а тетя Настя в чистеньком платочке сидела у своей калиточки. Рассветало, и она хорошо видела со своего наблюдательного пункта все, что творится на берегу.

Надо отдать должное и Шукуру и Леварсу. Как только мы постучались к ним и объяснили, в чем дело, они немедля оделись и поспешили на берег. Оба

они были озабочены и искренне сочувствовали Вале...

— Это платье вашей супруги? — спросил Шукур.

— Ее, — ответил я вместо Вали.

— Может быть, чужое?

— Нет, тут нет ошибки.

Шукур качал головой. А Леварса между тем обследовал берег. И вернулся, как и следовало ожидать, ни с чем. Ничего утешительного!.. Шукур вспомнил Виктора Габля, «готтентота»-археолога, вернее, его друзей-ныряльщиков. Они, дескать, живо найдут Лиду, если даже отнесло ее куда-нибудь к мысу. Леварса, напротив, считал, что поисками должны заняться спасатели из Сухуми или Агудзеры, как-никак они люди официальные. А молодые студенты кто? Просто любители подводного спорта...

— Что я скажу ее родителям? — плакался Глущенко.

В этом вопросе у нас было полное единодушие: их следует известить как можно скорее, не дожидаясь, пока будет найдено тело. Ибо поиски могут затянуться. Море не всегда расстаётся быстро со своей жертвой.

— Да, да, да, — плакался Валя. Бедняга совершенно размяк, что, впрочем, не мудрено в его положении.

Шукур проявил человечность: сбегал к себе в «Националь» и принес водки с бутербродами. Он сказал, что надо выпить, а иначе не выдержат ни сердце, ни нервы. Шукур обнес нас трижды или четырежды стопкой. Первую мы выпили — по его предложению — за упокой души. Бедняга Глущенко был безутешен — водку пришлось буквально вливать ему в глотку. Однако не поперхнулся, проглотил. А следующую стопку выпил самостоятельно.

Заведующий ларьком оказался прав: настроение наше значительно улучшилось, в предрассветной свежести мы чувствовали себя вполне сносно, я бы даже сказал, совсем не плохо. Все было бы гораздо лучше, если бы не это ужасное происшествие... Валя значительно приободрился. Он вздохнул и горестно произнес:

— Ах, Лида, Лида, если бы могла ты посидеть с нами.

Мы — трое — переглянулись и пришли к молчаливому согласию: да, это было бы просто замечательно! Представляете себе? Четверо мужчин и одна красивая женщина в четыре утра пьют водку на берегу уютной Скурчи. Эта картина, пусть воображаемая, произвела на нас сильное впечатление.

Отдаю себе отчет в том, что довольно-таки кощунственно вели мы себя в то горькое — в прямом и переносном смысле — утро. Однако жизнь есть жизнь, она берет свое, а человек по природе оптимистичен. Мы в этом отношении не составляли никакого исключения. Даже Валя примирился с тяжелой утратой и теперь рассуждал о том, где хоронить жену, здесь ли, в уютной Скурче, или в Киеве? А может быть, в Сухуми?..

Как говорят украинцы, це дило треба розжуваты. Мы в меру своих сил и таланта «це дило» разбирали досконально. Так что к концу «разбора» обрели ту меру благодушия, которая позарез необходима, чтобы взглянуть на мир глазами невинного дитяти. Дело дошло до того, что Шукур разделся и стокилограммовой нимфой бросился в объятия моря. Оно приняло его благосклонно: пофыркивая, точно лошадь, Шукур барахтался в воде, пеня ее, словно пиво в кружке. Спустя десять минут он повалился на песок в сладостной истоме и заявил во всеуслышание, что женщину «там» не обнаружил.

Леварса был предельно пристоеен и не осквернил трагический час купанием в море. На нем по самый кадык были застегнуты все пуговицы на блузе, и шерстяной башлык увенчивал седую голову. Он все время курил, и это вполне понятно: трудно даже настоящему абхазцу перебороть волнение, вызванное гибелью женщины во цвете лет.

С Вале́й произошла примечательная метаморфоза: он полностью обрел дар речи, ясность ума и необходимую в данной ситуации решительность. Нет, он похоронит ее в Киеве! Для этого, если надо, закажет самолет. Продаст свою «Волгу», а самолет непременно закажет. Они будут в кабине вдвоем: он и Лидочка! Ну кто бы мог подумать, что она приведет в исполнение свою сумасбродную идею?..

Поскольку рассвело по-настоящему и время завтрака было не за горами, исподволь созрела идея: всем вместе потрапезничать. Разумеется, у Шукура. Так сказать, помянуть Лидочку. Я полагаю, что идея эта с железной последовательностью была бы претворена в жизнь, если бы не Анастасия Григорьевна.

Она пришла к нам на сырой песок и торопливо поведала о том, что одна ее соседка, дескать, поделилась с ней секретом. А секрет довольно простой: та самая, дескать, женщина, которая с мужем живет в машине, ночью попросила убежища. То есть разрешения переночевать, ибо в машине душно и муж ее «с вечера выпимши». Что та женщина, которая с мужем в автомобиле живет, объята сладким сном на пуховой постели, которая в приданое досталась соседке в тыща девятьсот двадцать пятом году...

Мы разинули рты. Могу заметить в скобках: великолепно задуманный завтрак у Шукура в «Национале» был окончательно испорчен. Леварса проникновенно сказал «слава богу» — и удалился. И Шукур покинул нас. Мне и Вале оставалось искупаться, привести в норму нервную систему. В качестве постскриптума могу добавить: вскоре к нам присоединилась и Лидочка, которая «спивала веселу украинську пісню».

...Вот так вот многое в нашем мире.

Я имею в виду трагическое...

Все хорошо, что хорошо кончается. Истина эта общеизвестна. Еще со времен Адама. У меня слипались глаза. Очень хотелось спать. И я решил поспать. Распрощался с Глущенко.

Засыпая, думал о ней. О Светлане. Знает ли она о ночном переполохе с Лидочкой? Или она и ведать не ведает о случившемся? Чудно́ как-то все получилось. Послал же бог жену бедняге Вале!

А любопытно: каков характер у Светланы? То, что она не сумасбродка и не взбалмошная, — это для меня ясно. Но, как говорится, все хороши в девичестве, а вот неизвестно, откуда берутся плохие жены. Что скажет Света при встрече? Осмелеет ли чуточку или же по-прежнему спрячет глаза?

Видимо, тут же уснул... То есть уснул наверняка. И увидел во сне море. Я нежусь на берегу. А на меня идет цунами — гигантская волна. Разумом понимаю, что надо бежать. А душа рвется к зеленой водной машине. Миг — и я под волной. Она давит на грудь, теснит дыхание. Воздуха! Воздуха! Я задыхаюсь... И вдруг — смена кадра. Как в кинематографе... Лежу на холодном мозаичном полу. В храме Афродиты. И жрицы склонились надо мной. Все красавицы — одна в одну. Почему-то перед глазами вырастает «Анатомия доктора Тульпа» Рембрандта. Доктор Тульп режет меня, а вместо студентов-медиков — жрицы. Они с любопытством рассматривают мои обнаженные мышцы...

Я хорошо знаю: среди жриц Светлана. Но которая из них? Может, позвать ее? Крикнуть во весь голос?.. Не эта ли, кареглазая? Не эта ли с тонкими чертами лица? Нет, не она! Не вижу Светланы, зато узнаю Нефертити. Она совсем не из песчаника и не из гипса. Она живая. Ласковая.

Сплю и вижу Нефертити. А ищу Светлану. В точности как в жизни: мечтаешь об одном — получается совсем другое. Редко, когда мечта сбывается полностью. Чаще всего бывает наоборот. Так мне кажется во сне. Сплю и слышу чей-то голос, упорно вколачивающий эту мысль мне в голову, как гвоздь в деревянную стену...

10

Я в буквальном смысле подстерег Светлану, когда она мыла кастрюлю на крыльце — никак не удалось застать одну и перемолвиться словечком. То ли тетя Настя не спускала с нее глаз, то ли Светлана не очень жаждала повидать меня.

— Где ты пропадаешь, Света? — спросил я.

— Нигде. Дома сижу.

— Что так?

— Книжку дочитываю.

— Дюма?

— Ага!

— А где Анастасия Григорьевна?

— На задворке куру щиплет. Решила суп сварить. А я вот занялась кастрюлей.

— Светлана!

Она вскинула на меня лучистые глаза.

— Ты так и не сказала, как добралась к себе.

— Юркнула, и все. А вы, говорят, уезжать собрались?

— Верно. Послезавтра.

— Счастливого пути.

— И это все?

— Что же еще?

— Мне нужен твой адрес, Света.

— Туапсинский?

— Именно. Домашний.

— Не надо. Пишите лучше до востребования. А то пойдут расспросы да пересуды.

— А ты-то писать будешь?

— Ленива на письма.

— Все-таки?

— Там видно будет. Наверно, отвечу. Рука-то не отсохнет.

— Она отсохнет только в том случае, если не ответишь. Я же люблю тебя!

Она немного удивилась. Отставила кастрюлю. Улыбнулась своей тайной мысли. Затем тряхнула головой.

— Правда? — спросила она.

— Я не в том возрасте, когда шутят таким словом.

Она стояла на две ступеньки пониже меня. Легкое ситцевое платье облегалo ее, точно купальник. Ее фигура гимнастки только выигрывала от этого: Света была вся на виду. Вся какая-то стерильно чистая, гибкая, удивительно женственная.

— Лев Николаевич... — Света вдруг осеклась. По-краснела. И, снова собравшись с духом, продолжала: — Лев Николаевич, а за что любите? Вы же меня совсем-совсем не знаете.

Вопрос был законный. Я ее действительно совсем-совсем не знал. Мало с нею встречались, как говорится, вместе цветов на лугу не собирали. Нет, она загнала меня в тупик. Кажется, окончательно.

— Послушай, Света. Человек одинок. Хотя он животное и общественное, тем не менее — одинок. Есть верное средство против одиночества. Это — любовь. У человека есть душа, и он — любит. А иначе траги-

чески одинок, как тот принц из сказки Экзюпери, который жил на малюсенькой планете. Человек без любви — это принц на планете-крохотулечке.

— Значит, вы — принц? — Она была насмешлива.

— Почему принц?

— Потому, что вы холосты.

— Может, ты и права. Но теперь люблю — и я уже не принц, хотя чувствую себя лучше любого принца.

Она вдруг загрустила, отвернулась от меня и снова взялась за свою кастрюлю.

Я торопился. Опасался, что появится старуха и не даст договорить... Сказал Свете, что она, конечно, во многом права. Я не собираюсь анализировать, что такое любовь. Я грубо передаю то, что ощущаю, что чувствую. Утверждаю, что это любовь. Не будем спорить — будущее покажет. Покамест прошу одного: адреса. И разрешения писать ей, а при случае — навестить.

Она сказала очень кротко:

— Хорошо, Лев Николаевич. Сделаю все, как вы говорите. У себя на столе найдете записку с адресом.

Я был по гроб ей благодарен. Она прошла мимо меня — босая, красивая, кроткая. Я готов был уцепиться за нее, чтобы волокла меня волоком куда ей заблагорассудится...

Валя был особенно внимателен к жене. То есть буквально заискивал перед нею. Я не мог понять, когда же он искренен: когда он мечтает о разводе или в эти минуты пресмыкательства перед нею? Валя, улучив минуту, шепнул мне:

— Я не хочу обострять. До приезда в Киев.

Лидочка что-то стряпала на газовой плитке, пела, вела себя так, как будто ничего и не приключалось.

Я объявил, что уезжаю не далее как послезавтра.

— Ну-у? — огорченно протянул Валя.

Лидочка погрозила мне пальцем:

— А отвальная, Лев Николаевич?

— Выставляю, — пообещал я. — Хотите, нынче? А можно и завтра вечером.

— Завтра вечером, — решила Лидочка.

Я улегся на перлоновом коврике. Настроение у меня предотъездное. Хотелось думать о чем-то значительном, добром. Хотелось забыть мелкие семейные дразги, которые проходили у меня на глазах. Хотелось вообразить, что Валя и Лидочка на самом деле выше, чем они кажутся сами себе. Ведь они были хорошими людьми — каждый в отдельности. Неужели не жалко растрачивать жизненные силы и энергию по пустякам? Нельзя же быть таким щедрым, щедрым в кавычках!..

— Валя, — сказал я глубокомысленно, — значит, во вселенной около девяноста девяти процентов всего вещества — водород и гелий?

— Да, Лев Николаевич. А что?

— А что, ежели б и на земле было то же самое? Мы с вами не свиделись бы в этой уютной Скурче? Не познакомились бы? Не знали б друг друга?

— Наверняка!

— И чудесная Лидочка не поджаривала б сейчас баранину?

— Точно!

— Вы знаете, ребята, что полюбил вас?

Этот вывод несколько неожиданным показался даже мне самому. Однако говорил то, что чувствовал. Не кривя душой.

— Поймите меня правильно: через тридцать — сорок лет не останется от нас ничего на этом нашем шарике, кроме наших дел. Если дискретность играет определенную роль в явлениях физических, то жизнь, как таковая, не терпит дискретности: она непрерывна! И в этом наше счастье. Что я хочу сказать? Отнюдь не претендуя на роль пророка, призываю вас к любви и согласию. Между собой. Между вашими друзьями. К согласию между вами и всем человечеством. Ибо вы — частица его. Сколок гигантской трехмиллиардной человеческой массы. — Я приподнял голову, посмотрел на моих друзей. Они были удивлены. Во всяком случае, Лидочка. — Я, наверное, говорю прописные истины? Да? Знаю сам!

Лидочка медленно, растягивая слова, сказала:

— Лев Николаевич, вы влюблены. Только не вздумайте отбрыкиваться!

Я сказал:

— Вы правы.

Она пошла еще дальше в своих догадках:

— Вы влюблены в эту девушку?

— Да.

— Как ее зовут?

— Светлана.

Лидочка нарочито зевнула:

— Девчонка ничего себе. Она купалась утром недалеко отсюда. Фигурка и все прочее — на месте.

Я привстал. Поджав под себя ноги и подперев голову руками, гордо восседал Валя. Лидочка раскладывала по тарелкам кусочки жареного мяса.

Мне все показалось обыденным. После ее слов... А жаль...

Леварсу, который напоследок забросил ко мне изумительную простоквашу, я встретил традиционным вопросом:

— Как живете, Леварса?

— Плохо,— услышал я.

— Как? Плохо? Желанный дождь-то пошел?

Леварса безнадежно махнул рукой.

— Разве это дождь? На два вершка и то не промочил землю!

— А мне показалось, что было здорово.

— Нет, нет, Лева! Нужен знаешь какой дождь? Чтобы три дня и три ночи.

— Потоп будет, Леварса.

— Хорошо будет. Тогда я отвечу — хорошо! Табак горит. Кукуруза плохо растет. Земля в Скурче как песок, как камень. А этот дождик — для вас. Для отдыхающих.

Я подумал, что на крестьянина никак не угодишь: даже дождь пошел — и тем недоволен. Невозможно же автоматизировать природные явления настолько, чтобы Леварса Ануа был вечно доволен и беспечен...

— Черт с ним, с дождем, Лева. Мы это как-нибудь по-абхазски переживем. И ты нам в этом деле не поможешь. А вот насчет нашего председателя вот что скажу: у него что-то настроение испортилось. Говорят, какая-то комиссия вчера приезжала. Не от тебя ли?

— Я же не начальство, Леварса.

Он улыбнулся. Понимающе.

— Кто бы ни прислал — хорошо!.. Слушай, нельзя

же так: наш председатель командует, как в полку. Полк — одно, а колхоз — другое. Солдат — одно, а Леварса — другое. Солдат только кушает, а Леварса спину на поле гнет. Есть разница? Я спрашиваю, есть разница?

— Есть.

— Тогда напиши и ты об этом командире без погон. Это моя просьба. Такой большой человек, как ты, все может. Напиши, даже если его снимут. Пусть знают все, что так в наше время нельзя.

Я чуть было не лопнул от смеха:

— Не смейся, Леварса! Какой же я большой человек?

— А почему нет?

— А почему да?

— Ручка есть? Голова есть? Бумага есть? Знаешь, какие дела можно делать? Я человек темный, маленький. Но я так понимаю. Что напечатал — хуже пули. Пуля может мимо проскочить, а напечатанное слово — прямо в сердце попадает. В серединку.

И он показал мне, где эта самая серединка: чуть ниже левого соска. Нет, анатомию он знал хорошо, а что до печатного слова — тут он показал себя явным дилетантом. Во всяком случае, в отношении моей редакции. Ведь кроме умения писать, нужна еще и смелость редактора, надо, чтобы стул не жег ему то место, на котором сидит!

Леварса смотрел на меня не то сочувственно, не то насмешливо-укоризненно. Он, казалось, говорил: «Я понимаю твои сомнения, но будь же смелым и ты. Я оробею, ты оробеешь, он оробеет — жулики и самодуры будут торжествовать! Разве это дело?»

— Что сказать, Леварса? Я не редактор. Но я обещаю доложить мои наблюдения редакции и постараюсь убедить, чтобы направили сюда меня или кого-либо другого. Если не поможет Габля. Он человек энергичный. Не сегодня-завтра нагрянет в Скурчу вместе с товарищами из «Апсны капш».

— До свидания, Лева! И не забывай нас. Знай, что, кроме хороших людей, солнца и красоты, здесь, в Скурче, есть и безобразия.

Леварса отечески обнял меня и ушел со двора, высокий, ровный в плечах, полный собственного достоин-

ства. Я дал себе слово сделать все, чтобы помочь ему и его друзьям — скурчинцам. Чем могу. Печатным словом, которое страшнее пули...

Я направился было к себе, в бунгало, но увидел спускавшуюся с лестницы Анастасию Григорьевну. Подождал ее. Она явно хотела поговорить со мной. И не ошибся.

— Лев Николаич, — сказала она, — это я посоветовала Леварсе, чтобы о председателе напомнил. Ох и правильный человек этот Ануа! Он слово скажет — только правда! На ветер бросать не станет. Такой уж он! А что председатель никудышный — так это всяк подтвердит. А сладу с ним нет. Взобрался на место, и оттуда не спихнешь. Вот я, значит, Леварсу и попилила вчера вечером. Мол, напомни Льву Николаичу.

— А что, этот председатель и вас обижает? — спросил я.

— А кого не обижает? Почитай, нет такого крестьянина в Скурче. А вот лодырей да подхалимов — ни-ни! Они у него первые, он с ними запанибрата. Вместе пьют, вместе едят.

Мне сделалось как-то хорошо от сознания, что выгляжу таким могущественным журналистом в глазах этих доверчивых — несомненно, все еще доверчивых — людей...

Затем она эдак просветлела лицом и доверительно сказала:

— Лев Николаич, и моя Светлана о вас знает какого мнения? Ого! Она же много читает, она очень разбирается во всем. Он, говорит моя Светлана, хороший, говорит, и Скурче, говорит, большую подмогу оказать может.

— Передайте ей «спасибо», Анастасия Григорьевна.

— Сами скажете... Вот, правда, уж очень она скромная... Говорю ей: перестань книжки читать, выдь, побалакай с Львом Николаичем. Куды там! Разве выгонишь из комнаты?! Нет, она такая... и скромная, значит, и умная, и себя, значит, в руках держит. А я ругаю, ругаю ее! Нельзя, значит, затворщицей. Ее подружки бегают, мажутся да чулки ежедневно меняют. А она уродилась такая... Нет, скромность в наше

время не почитается. И мужчины не признают ее. Они тоже все больше расфуфыренных да разбитных любят...

Я обнял за плечи Анастасию Григорьевну:

— Она у вас очень, очень хорошая.

Поговорили еще чуточку и пошли: она — к себе, а я — к себе. Устроился на стуле рядом с Нефертити, чтобы ни о чем не думать. Чувствую: уезжаю завтра, а итогов подводить не могу. Надо лучше разобраться в своих впечатлениях. Я, можно сказать, побывал на пленере, делал зарисовки «на воздухе», которые так обожали французские импрессионисты. При этом обычно верно «ухватываешь миг». Но может «вкрасться ошибка». С точки зрения дальнейшей перспективы, которая очень важна в нашем четырехмерном мире... Пока я вот так «ни о чем» не думал, египтянка улыбалась своей проницательной, полной таинственности улыбкой. Мне захотелось, чтобы она обронила хотя бы два слова о своих сестрах Светлане и Лидочке. Почему они так же загадочны, как и сама Нефертити? Я не дождался ответа на свой вопрос. Ее губы слегка дрожали, глаза были полны озорства и нежности, она тянулась ко мне своей тонкой и длинной шеей. Ответа от нее так и не дождался. Это правда. Зато нашел бумажку, которую, как ладонью, прикрывала далекая и близкая египетская царица. На бумажке был аккуратно выведен адрес Светланы. Домашний и служебный. «Спасибо, нефер — прекрасная — Тити!» Она едва сдерживалась, чтобы не расхохотаться. Может быть, ситуация казалась ей почти такой же, как и в ее далекие времена?

Спрятал бумажку. Пошел к калитке. Передо мною — зеленовато-голубая чаша залива. Направо — мыс Кастора. Весь в зелени. Налево — мыс Поллукса. Тоже в зелени. Желтый песок и чистое, однотонное небо. Всего четыре цвета. Наверно, так и надо писать Скурчу — четырьмя красками. От этого она будет понятней, милей и ближе. Четыре краски и одно сердце! Это уже много. Больше, чем вмещает обычная палитра.

Верно: я прощаюсь со Скурчей. А надолго ли?

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Дымшиц. Писатель — его жизнь, его творчество 5

Д р у з ь я и з С а к е н а . Т р и л о г и я

 Весна в Сакене 23

 Добрый город 139

 Кама 251

К а ш т а н о в ы й д о м . З а п и с к и м о л о д о й у ч и т е л ь - н и ц ы . П о в е с т ь 383

С к у р ч а у ю т н а я . П о в е с т ь 513

Гулиа Г.

Г94 Собрание сочинений. В 4-х томах. Т. I. Друзья из Сакена. Трилогия. Каштановый дом. Скурча уютная. Вст. статья А. Л. Дымшица. М., «Худож. лит.», 1974.

672 с.

В том входят широко известная трилогия «Друзья из Сакена», рисующая жизнь абхазского горного села, а также повести «Каштановый дом» и «Скурча уютная». Герои всех этих произведений — наши современники. О них рассказывается с сердечной заинтересованностью в их судьбах и с мягким юмором, свойственным перу Г. Гулиа.

«Каштановый дом» — это повесть о молодой русской учительнице, начинающей свой трудовой путь в абхазской деревне. «Скурча уютная» показывает жизнь небольшого посёлка, лежащего на берегу Чёрного моря, — жизнь крестьян, рыбаков и тех, кто приехал сюда просто отдохнуть.

**Георгий Дмитриевич
Гулиа**

*Собрание сочинений
Том 1*

Редактор *В. Белова*
Художественный редактор
В. Горячев

Технический редактор
В. Иващенко

Корректор *И. Тереховская*

Сдано в набор 29/XII 1973 г. Подписа-
но в печать А02370 от 7/X 1974 г.
Бум. типогр. № 1. Формат 84×108¹/₃₂.
21 печ. л. 35,28 усл. печ. л. 34,894+1 вкл.=
=34,944 уч.-изд. л. Заказ № 18.
Тираж 100 000 экз. Цена 1 р. 25 к.

Издательство «Художественная лите-
ратура». Москва, Б-78, Ново-Басман-
ная, 19.

Ордена Трудового Красного Знамени
Ленинградская типография № 2
имени Евгении Соколовой Союзполи-
графпрома при Государственном ко-
митете Совета Министров СССР по де-
лам издательств, полиграфии и книж-
ной торговли. 198052, Ленинград, Л-52,
Измайловский проспект, 29

11951